

Aldous Huxley

ОЛДОС ХАКСЛИ

О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР
СЛЕПЕЦ В ГАЗЕ

О дивный новый мир. Слепец в Газе

Олдос Хаксли

Аннотация
Олдос Хаксли. О дивный новый мир. Слепец в Газе
О дивный новый мир
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая

Глава восемнадцатая
Слепец в Газе
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24

Глава 25
Глава 26
Глава 27
Глава 28
Глава 29
Глава 30
Глава 31
Глава 32
Глава 33
Глава 34
Глава 35
Глава 36
Глава 37
Глава 38
Глава 39
Глава 40
Глава 41
Глава 42
Глава 43
Глава 44
Глава 45
Глава 46
Глава 47
Глава 48
Глава 49
Глава 50

Глава 51
Глава 52
Глава 53
Глава 54

Аннотация

«О дивный новый мир» (1932) — культовая антиутопия Олдоса Хаксли, изданная миллионными тиражами по всему миру. Роман о генетически программируемом «обществе потребления», обществе «всеобщего счастья», в котором разворачивается трагическая история человека, ставшего чужаком в этом мире…

«Слепец в Газе» (1936) — роман, который многие критики называли и называют «главной книгой Олдоса Хаксли». Холодно, талантливо и безжалостно изложенная история интеллектуала в Англии 30-х годов прошлого века — трагедия непонимания, нелюбви, неосознанности душевных порывов и духовных прозрений…

Олдос Хаксли
О дивный новый мир. Слепец в Газе

Aldous Huxley
BRAVE NEW WORLD. EYELESS IN GAZA
© Aldous Huxley, 1932, 1936

© Перевод. О. Сорока, наследники, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

О дивный новый мир

Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать их окончательного осуществления… Утопии осуществимы… Жизнь движется к утопиям. И открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, как вернуться к не утопическому обществу, к менее «совершенному» и более свободному обществу.

Николай Бердяев

Глава первая

Серое приземистое здание — всего лишь в тридцать четыре этажа. Над главным входом надпись: «ЦЕНТРАЛЬНО-ЛОНДОНСКИЙ ИНКУБАТОРИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», и на геральдическом щите — девиз Мирового Государства: «ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ».

Огромный зал на первом этаже обращен окнами на север, точно художественная студия. На дворе лето, в зале и вовсе тропически жарко, но по-зимнему холоден и водянист свет, что жадно течет в эти окна в поисках живописно драпированных манекенов или нагой натуры, пусть блеклой и зябко-пупырчатой, — и находит лишь никель, стекло, холодно блестящий фарфор лаборатории. Зиму встречает зима. Белы халаты лаборантов, на руках перчатки из белесой, трупного цвета, резины. Свет заморожен, мертвен, призрачен. Только на желтых тубусах микроскопов он как бы сочнеет, заимствуя живую желтизну, — словно сливочным маслом мажет эти полированные трубки, вставшие длинным строем на рабочих столах.

— Здесь у нас Зал оплодотворения, — сказал Ди-

ректор Инкубатория и Воспитательного Центра, открывая дверь.

Склонясь к микроскопам, триста оплодотворителей были погружены в тишину почти бездыханную, разве что рассеянно мурлыкнет кто-нибудь или посвистит себе под нос в отрешенной сосредоточенности. По пятам за Директором робко и не без подобострастия следовала стайка новоприбывших студентов, юных, розовых и неоперившихся. При каждом птенце был блокнот, и, как только великий человек раскрывал рот, студенты принимались яро строчить карандашами. Из мудрых уст — из первых рук. Не каждый день такая привилегия и честь. Директор Центрально-Лондонского ИВЦ считал всегдашним своим долгом самолично провести студентов-новичков по залам и отделам. «Чтобы дать вам общую идею», — пояснял он цель обхода. Ибо, конечно, общую идею хоть какую-то дать надо — для того, чтобы делали дело с пониманием, — но дать лишь в минимальной дозе, иначе из них не выйдет хороших и счастливых членов общества. Ведь, как всем известно, если хочешь быть счастлив и добродетелен, не обобщай, а держись узких частностей; общие идеи являются неизбежным интеллектуальным злом. Не

философы, а собиратели марок и выпиливатели рамочек составляют становой хребет общества.

«Завтра, — прибавлял он, улыбаясь им ласково и чуточку грозно, — наступит пора приниматься за серьезную работу. Для обобщений у вас не останется времени. Пока же…»

Пока же честь оказана большая. Из мудрых уст и — прямиком в блокноты. Юнцы строчили как заведенные.

Высокий, сухощавый, но нимало не сутулый, Директор вошел в зал. У Директора был длинный подбородок, крупные зубы слегка выпирали из-под свежих, полных губ. Стар он или молод? Тридцать ему лет? Пятьдесят? Пятьдесят пять? Сказать было трудно. Да и не возникал у вас этот вопрос; ныне, на 632-м году эры стабильности, Эры Форда, подобные вопросы в голову не приходили.

— Начнем сначала, — сказал Директор, и самые усердные юнцы тут же запротоколировали: «Начнем сначала». — Вот здесь, — указал он рукой, — у нас инкубаторы. — Открыл теплонепроницаемую дверь, и взорам предстали ряды нумерованных пробирок — штативы за штативами, стеллажи за стеллажами. — Недельная партия яйцеклеток. Хранятся, — продолжал

он, — при тридцати семи градусах; что же касается мужских гамет, — тут он открыл другую дверь, — то их надо хранить при тридцати пяти. Температура крови обесплодила бы их. (Барана ватой обложив, приплода не получишь.)

И, не сходя с места, он приступил к краткому изложению современного оплодотворительного процесса — а карандаши так и забегали, неразборчиво строча, по бумаге; начал он, разумеется, с хирургической увертюры к процессу — с операции, «на которую ложатся добровольно, ради блага Общества, не говоря уж о вознаграждении, равном полугодовому окладу»; затем коснулся способа, которым сохраняют жизненность и развивают продуктивность вырезанного яичника; сказал об оптимальной температуре, вязкости, солевом содержании; о питательной жидкости, в которой хранятся отделенные и вызревшие яйца; и, подведя своих подопечных к рабочим столам, наглядно познакомил с тем, как жидкость эту набирают из пробирок; как выпускают капля за каплей на специально подогретые предметные стекла микроскопов; как яйцеклетки в каждой капле проверяют на дефекты, пересчитывают и помещают в пористый яйцеприемничек; как (он провел студентов дальше, дал понаблюдать

и за этим) яйцеприемник погружают в теплый бульон со свободно плавающими сперматозоидами, концентрация которых, подчеркнул он, должна быть не ниже ста тысяч на миллилитр; и как через десять минут приемник вынимают из бульона и содержимое опять смотрят; как, если не все яйцеклетки оказались оплодотворенными, сосудец снова погружают, а потребуется, то и в третий раз; как оплодотворенные яйца возвращают в инкубаторы, и там альфы и беты остаются вплоть до укупорки, а гаммы, дельты и эпсилоны через тридцать шесть часов снова уже путешествуют с полок для обработки по методу Бокановского.

— По методу Бокановского, — повторил Директор, и студенты подчеркнули в блокнотах эти слова.

Одно яйцо, один зародыш, одна взрослая особь — вот схема природного развития. Яйцо же, подвергаемое бокановскизации, будет пролиферировать — почковаться. Оно даст от восьми до девяноста шести почек, и каждая почка разовьется в полностью оформленный зародыш, и каждый зародыш — во взрослую особь обычных размеров. И получаем девяносто шесть человек, где прежде вырастал лишь один. Прогресс!

— По существу, — говорил далее Директор, — бокановскизация состоит из серии процедур, угнетающих развитие. Мы глушим нормальный рост, и, как это ни парадоксально, в ответ яйцо почкуется.

«Яйцо почкуется», — строчили карандаши.

Он указал направо. Конвейерная лента, несущая на себе целую батарею пробирок, очень медленно вдвигалась в большой металлический ящик, а с другой стороны ящика выползала батарея уже обработанная. Тихо гудели машины. Обработка штатива с пробирками длится восемь минут, сообщил Директор. Восемь минут жесткого рентгеновского облучения — для яиц это предел, пожалуй. Некоторые не выдерживают, гибнут; из остальных самые стойкие разделяются надвое; большинство дает четыре почки; иные даже восемь; все яйца затем возвращаются в инкубаторы, где почки начинают развиваться; затем, через двое суток, их внезапно охлаждают, тормозя рост. В ответ они опять пролиферируют — каждая почка дает две, четыре, восемь новых почек, — и тут же их чуть не насмерть глушат спиртом; в результате они снова, в третий раз, почкуются, после чего уж им дают спокойно развиваться, ибо дальнейшее глушение роста

приводит, как правило, к гибели. Итак, из одного первоначального яйца имеем что-нибудь от восьми до девяноста шести зародышей — согласитесь, улучшение природного процесса фантастическое. Причем это однояйцевые, тождественные близнецы — и не жалкие двойняшки или тройняшки, как в прежние живородящие времена, когда яйцо по чистой случайности изредка делилось, а десятки близнецов.

— Десятки, — повторил Директор, широко распахивая руки, точно одаряя благодатью. — Десятки и десятки.

Один из студентов оказался, однако, до того непонятлив, что спросил, а в чем тут выгода.

— Милейший юноша! — круто обернулся к нему Директор. — Неужели вам не ясно? Неужели не ясно? — Он вознес руку; выражение лица его стало торжественным. — Бокановскизация — одно из главнейших орудий общественной стабильности.

«Главнейших орудий общественной стабильности», — запечатлелось в блокнотах.

— Она дает стандартных людей. Равномерными и одинаковыми порциями. Целый небольшой завод комплектуется выводком из одного бокановскизированного яйца.

— Девяносто шесть тождественных близнецов, работающих на девяноста шести тождественных станках! — Голос у Директора слегка вибрировал от воодушевления. — Тут уж мы стоим на твердой почве. Впервые в истории. «Общность, Одинаковость, Стабильность», — проскандировал он девиз планеты. Величественные слова. — Если бы можно было бокановскизировать беспредельно, то решена была бы вся проблема.

Ее решили бы стандартные гаммы, тождественные дельты, одинаковые эпсилоны. Миллионы однояйцевых, единообразных близнецов. Принцип массового производства, наконец-то примененный к биологии.

— Но, к сожалению, — покачал Директор головой, — идеал недостижим, беспредельно бокановскизировать нельзя.

Девяносто шесть — предел, по-видимому; а хорошая средняя цифра — семьдесят два. Приблизиться же к идеалу (увы, лишь приблизиться) можно единственно тем, что производить побольше бокановскизированных выводков от гамет одного самца, из яйцеклеток одного яичника. Но даже и это — непросто.

— Ибо в природных условиях на то, чтобы яичник дал две сотни зрелых яиц, уходит тридцать

лет. Нам же требуется стабилизация народонаселения безотлагательно и постоянно. Производить близнецов через год по столовой ложке, растянув дело на четверть столетия, — куда это годилось бы?

Ясно, что никуда бы это не годилось. Однако процесс созревания в огромной степени ускорен благодаря методике Подснапа. Она обеспечивает получение от яичника не менее полутораста зрелых яиц в короткий срок — в два года. А оплодотвори и бокановскизируй эти яйца — иначе говоря, умножь на семьдесят два, — и полтораста выводков составят в совокупности почти одиннадцать тысяч близнецовых братцев и сестриц с всего лишь двухгодичной максимальной разницей в возрасте.

— В исключительных же случаях удается получить от одного яичника более пятнадцати тысяч взрослых особей.

В это время мимо проходил белокурый, румяный молодой человек. Директор окликнул его: «Мистер Фостер», сделал приглашающий жест. Румяный молодой человек подошел.

— Назовите нам, мистер Фостер, рекордную цифру производительности для яичника.

— В нашем Центре она составляет шестнадцать

тысяч двенадцать, — ответил мистер Фостер без запинки, блестя живыми голубыми глазами. Он говорил очень быстро и явно рад был сыпать цифрами. — Шестнадцать тысяч двенадцать — в ста восьмидесяти девяти одноядцевых выводках. Но, конечно, — продолжал он тараторить, — в некоторых тропических Центрах показатели намного выше. Сингапур не раз уже переваливал за шестнадцать тысяч пятьсот, а Момбаса достигла даже семнадцатитысячного рубежа. Но разве это состязание на равных? Видели бы вы, как негритянский яичник реагирует на вытяжку гипофиза! Нас, работающих с европейским материалом, это просто ошеломляет. И все-таки, — прибавил он с добродушным смешком (но в глазах его зажегся боевой огонь, и с вызовом выпятился подбородок), — все-таки мы еще с ними потягаемся. В данное время у меня работает чудесный дельта-минусовый яичник. Всего полтора года как задействован. А уже более двенадцати тысяч семисот детей, раскупоренных или на ленте. И по-прежнему работает вовсю. Мы их еще побьем.

— Люблю энтузиастов! — воскликнул Директор и похлопал мистера Фостера по плечу. — Присоединяйтесь к нам, пусть эти юноши воспользуются вашей эрудицией.

Мистер Фостер скромно улыбнулся:

— С удовольствием.

И все вместе они продолжили обход.

В Укупорочном зале кипела деятельность дружная и упорядоченная. Из подвалов Органохранилища на скоростных грузоподъемниках сюда доставлялись лоскуты свежей свиной брюшины, накроенные под размер. Вззз! И затем: щелк! — крышка подъемника отскакивает; устильщице остается лишь протянуть руку, взять лоскут, вложить в бутыль, расправить, и еще не успела устланная бутыль отъехать, как уже — взз, щелк! — новый лоскут взлетает из недр хранилища, готовый лечь в очередную из бутылей, нескончаемой вереницей следующих по конвейеру.

Тут же за устильщицами стоят зарядчицы. Лента ползет; одно за другим переселяются яйца из пробирок в бутыли: быстрый надрез устилки, легла на место морула, залит солевой раствор… и уже бутыль проехала, и очередь действовать этикетчицам. Наследственность, дата оплодотворения, группа Бокановского — все эти сведения переносятся с пробирки на бутыль. Теперь уже не безымянные, а паспортизованные, бутыли продолжают медленный маршрут и через окошко в

стене медленно и мерно вступают в Зал социального предопределения.

— Восемьдесят восемь кубических метров — объем картотеки! — объявил — просмаковал цифру — мистер Фостер при входе в зал.

— Здесь вся относящаяся к делу информация, — прибавил Директор.

— Каждое утро она дополняется новейшими данными.

— И к середине дня увязка завершается.

— На основании которой делаются расчеты нужных контингентов.

— Заявки на таких-то особей таких-то качеств, — пояснил мистер Фостер.

— В таких-то конкретных количествах.

— Задается оптимальный темп раскупорки на текущий момент.

— Непредвиденная убыль кадров восполняется незамедлительно.

— Незамедлительно, — подхватил мистер Фостер. — Знали бы вы, какой сверхурочной работой обернулось для меня последнее японское землетрясение! — Добродушно засмеявшись, он покачал головой.

— Предопределители шлют свои заявки оплодотворителям.

— И те дают им требуемых эмбрионов.

— И бутыли приходят сюда для детального пред определения.

— После чего следуют вниз, в Эмбрионарий.

— Куда и мы проследуем сейчас.

И, открыв дверь на лестницу, мистер Фостер первым стал спускаться в цокольный этаж.

Температура и тут была тропическая. Сгущался постепенно сумрак. Дверь, коридор с двумя поворотами и снова дверь — чтобы исключить всякое проникновение дневного света.

— Зародыши подобны фотопленке, — юмористически заметил мистер Фостер, толкая вторую дверь. — Иного света, кроме красного, не выносят.

И в самом деле, знойный мрак, в который вступили студенты, рдел зримо, вишнево, как рдеет яркий день сквозь сомкнутые веки. Выпуклые бока бутылей, ряд за рядом уходивших вдаль и ввысь, играли бессчетными рубинами, и среди рубиновых отсветов двигались мглисто-красные призраки мужчин и женщин с багряными глазами и багровыми, как при волчанке, лицами. Приглушенный рокот, гул машин слегка колебал тишину.

— Попотчуйте юношей цифрами, мистер Фо-

стер, — сказал Директор, пожелавший дать себе передышку.

Мистер Фостер с великой радостью принялся потчевать цифрами. Длина Эмбрионария — двести двадцать метров, ширина — двести, высота — десять. Он указал вверх. Как пьющие куры, студенты задрали головы к далекому потолку.

Бесконечными лентами тянулись рабочие линии: нижние, средние, верхние. Куда ни взглянуть, уходила во мрак, растворяясь, стальная паутина ярусов. Неподалеку три красных привидения деловито сгружали бутылки с движущейся лестницы.

— Эскалатор этот — из Зала предопределения.

Прибывшая оттуда бутыль ставится на одну из пятнадцати лент, и каждая такая лента является конвейером — ползет неприметно для глаза с часовой скоростью в тридцать три и одну треть сантиметра. Двести шестьдесят семь суток, по восемь метров в сутки. Итого: две тысячи сто тридцать шесть метров. Круговой маршрут внизу, затем по среднему ярусу, еще полкруга по верхнему, а на двести шестьдесят седьмое утро — Зал раскупорки и появление на свет, на дневной свет. Выход в так называемое самостоятельное существование.

— Но до раскупорки, — заключил мистер Фостер, — мы успеваем плодотворно поработать над ними. О-очень плодотворно, — хохотнул он многозначаще и победоносно.

— Люблю энтузиастов, — похвалил опять Директор. — Теперь пройдемтесь по маршруту. Потчуйте их знаниями, мистер Фостер, не скупитесь.

И мистер Фостер не стал скупиться.

Он поведал им о зародыше, растущем на своей подстилке из брюшины. Дал каждому студенту попробовать насыщенный питательными веществами кровезаменитель, которым кормится зародыш. Объяснил, почему необходима стимулирующая добавка плацентина и тироксина. Рассказал об экстракте желтого тела. Показал инжекторы, посредством которых этот экстракт автоматически впрыскивается через каждые двенадцать метров по всему пути следования вплоть до 2040-го метра. Сказал о постепенно возрастающих дозах гипофизарной вытяжки, вводимых на финальных девяноста шести метрах маршрута. Описал систему искусственного материнского кровообращения, которой оснащается бутыль на 112-м метре, показал резервуар с кровезаменителем и центробежный насос, прогоняющий

без остановки эту синтетическую кровь через плаценту, сквозь искусственное легкое и фильтр очистки. Упомянул о неприятной склонности зародыша к малокровию и о необходимых в связи с этим крупных дозах экстрактов свиного желудка и печени лошадиного эмбриона.

Показал им простой механизм, с помощью которого бутыли — на двух последних метрах каждого восьмиметрового отрезка пути — встряхиваются все сразу, чтобы приучить зародышей к движению. Дал понять об опасности так называемой раскупорочной травмы и перечислил принимаемые контрмеры — рассказал о специальной тренировке обутыленных зародышей. Сообщил об определении пола, производимом в районе 200-го метра. Привел условные обозначения: Т — для мужского пола, О — для женского, а для будущих «неплод» — черный вопросительный знак на белом фоне.

— Понятно ведь, — сказал мистер Фостер, — что в подавляющем большинстве случаев плодоспособность является только помехой. Для наших целей был бы, в сущности, вполне достаточен один плодоносящий яичник на каждые тысячу двести женских особей. Но хочется иметь хороший выбор. И разумеется, должен всегда быть

обеспечен огромный аварийный резерв плодоспособных яичников. Поэтому мы позволяем целым тридцати процентам женских зародышей развиваться нормально. Остальные же получают дозу мужского полового гормона через каждые двадцать четыре метра дальнейшего маршрута. В результате к моменту раскупорки они уже являются неплодами — в структурном отношении вполне нормальными особями (с той, правда, оговоркой, что у них чуточку заметна тенденция к волосистости щек), но не способными давать потомство. Гарантированно, абсолютно не способными. Что наконец-то позволяет нам, — продолжал мистер Фостер, — перейти из сферы простого рабского подражания природе в куда более увлекательный мир человеческой изобретательности.

Он удовлетворенно потер руки.

— Вынашивать плод и корова умеет; довольствоваться этим мы не можем. Сверх этого мы предопределяем и приспособляем, формируем. Младенцы наши раскупориваются уже подготовленными к жизни в обществе — как альфы или эпсилоны, как будущие работники канализационной сети или же как будущие… — Он хотел было сказать «Главноуправители», но вовремя

поправился: — Как будущие директора инкубаториев.

Директор улыбкой поблагодарил за комплимент.

Остановились далее у ленты 11, на 320-м метре. Молодой техник, бета-минусовик, настраивал там отверткой и гаечным ключом кровенасос очередной бутыли. Он затягивал гайки, и гул электромотора понижался, густел понемногу. Ниже, ниже… Последний поворот ключа, взгляд на счетчик — и дело сделано. Затем два шага вдоль конвейера — и началась настройка следующего насоса.

— Убавлено число оборотов, — объяснил мистер Фостер. — Кровезаменитель циркулирует теперь медленнее; следовательно, реже проходит через легкое; следовательно, дает зародышу меньше кислорода. А ничто так не снижает умственно-телесный уровень, как нехватка кислорода.

— А зачем нужно снижать уровень? — спросил один наивный студент.

Длинная пауза.

— Осел! — произнес Директор. — Как это не сообразить, что у эпсилон-зародыша должна быть не только наследственность эпсилона, но и

питательная среда эпсилона.

Несообразительный студент готов был сквозь землю провалиться от стыда.

— Чем ниже каста, — сказал мистер Фостер, — тем меньше поступление кислорода. Нехватка прежде всего действует на мозг. Затем на скелет. При семидесяти процентах кислородной нормы получаются карлики. А ниже семидесяти — безглазые уродцы, которые ни к чему уж не пригодны, — отметил мистер Фостер. — А вот изобрети мы только, — мистер Фостер взволнованно и таинственно понизил голос, — найди мы только способ сократить время взросления, и какая бы это была победа, какое благо для Общества! Обратимся для сравнения к лошади.

Слушатели обратились мыслями к лошади.

В шесть лет она уже взрослая. Слон взрослеет к десяти годам. А человек и к тринадцати еще не созрел сексуально; полностью же вырастает к двадцати. Отсюда и этот продукт замедленного развития — человеческий разум.

— Но от эпсилонов, — весьма убедительно вел далее мысль мистер Фостер, — нам человеческий разум не требуется.

Не требуется — стало быть, и не формируется. Но, хотя мозг эпсилона кончает развитие в

десятилетнем возрасте, тело эпсилона лишь к восемнадцати годам созревает для взрослой работы. Долгие потерянные годы непроизводительной незрелости. Если бы физическое развитие можно было ускорить, сделать таким же незамедленным, как, скажем, у коровы, — какая бы гигантская получилась экономическая выгода для Общества!

— Гигантская! — шепотом воскликнули студенты, зараженные энтузиазмом мистера Фостера.

Он углубился в ученые детали: повел речь об анормальной координации эндокринных желез, вследствие которой люди и растут так медленно; ненормальность эту можно объяснить зародышевой мутацией. А можно ли устранить последствия этой мутации? Можно ли с помощью надлежащей методики вернуть каждый отдельный эпсилон-зародыш к былой нормальной, как у собак и у коров, скорости развития? Вот в чем проблема. И ее уже чуть было не решили.

Пилкингтону удалось в Момбасе получить особи, половозрелые к четырем годам и вполне выросшие к шести с половиной. Триумф науки! Но в общественном аспекте бесполезный. Шестилетние мужчины и женщины слишком глупы — не справляются даже с работой эпсилонов.

А метод Пилкингтона таков, что середины нет — либо все, либо ничего не получаешь, никакого сокращения сроков. В Момбасе продолжаются поиски золотой середины между взрослением в двадцать и взрослением в шесть лет. Но пока — безуспешные. Мистер Фостер вздохнул и покачал головой.

Странствия в вишневом сумраке привели студентов к ленте 9, к 170-му метру. Начиная от этой точки, лента 9 была закрыта с боков и сверху; бутыли совершали дальше свой маршрут как бы в туннеле; лишь кое-где виднелись открытые промежутки в два-три метра длиной.

— Формирование любви к теплу, — сказал мистер Фостер. — Горячие туннели чередуются с прохладными. Прохлада связана с дискомфортом в виде жестких рентгеновских лучей. К моменту раскупорки зародыши уже люто боятся холода. Им предназначено поселиться в тропиках или стать горнорабочими, прясть ацетатный шелк, плавить сталь. Телесная боязнь холода будет позже подкреплена воспитанием мозга. Мы приучаем их тело благоденствовать в тепле. А наши коллеги на верхних этажах внедрят любовь к теплу в их сознание, — заключил мистер Фостер.

— И в этом, — добавил назидательно Дирек-

тор, — весь секрет счастья и добродетели: люби то, что тебе предначертано. Все воспитание тела и мозга как раз и имеет целью привить людям любовь к их неизбежной социальной судьбе.

В одном из межтуннельных промежутков действовала шприцем медицинская сестра — осторожно втыкала длинную тонкую иглу в студенистое содержимое очередной бутыли. Студенты и оба наставника с минуту понаблюдали за ней молча.

— Привет, Линайна, — сказал мистер Фостер, когда она вынула наконец иглу и распрямилась. Девушка, вздрогнув, обернулась. Даже в этой мгле, багрянившей ее глаза и кожу, видно было, что она необычайно хороша собой — как куколка.

— Генри! — Она блеснула на него алой улыбкой, коралловым ровным оскалом зубов.

— О-ча-ро-вательна, — заворковал Директор, ласково потрепал ее сзади, и в ответ девушка его тоже одарила улыбкой, но весьма почтительной.

— Какие производишь инъекции? — спросил мистер Фостер уже сугубо деловым тоном.

— Да обычные уколы — от брюшного тифа и сонной болезни.

— Работников для тропической зоны начинаем

колоть на 150-м метре, — объяснил мистер Фостер студентам, — когда у зародыша еще жабры. Иммунизируем рыбу против болезней будущего человека. — И, повернувшись опять к Линайне, сказал ей: — Сегодня, как всегда, без десяти пять на крыше.

— Очаровательна, — бормотнул снова Директор, дал прощальный шлепочек и отошел, присоединился к остальным.

У грядущего поколения химиков — у длинной вереницы бутылей на ленте 10 — формировалась стойкость к свинцу, каустической соде, смолам, хлору. На ленте 3 партия из двухсот пятидесяти зародышей, предназначенных в бортмеханики ракетопланов, как раз подошла к тысяча сотому метру. Специальный механизм безостановочно переворачивал эти бутыли.

— Чтобы усовершенствовать их чувство равновесия, — разъяснил мистер Фостер. — Работа их ждет сложная: производить ремонт на внешней обшивке ракеты во время полета непросто. При нормальном положении бутыли скорость кровотока мы снижаем, и в это время организм зародыша голодает; зато в момент, когда зародыш повернут вниз головой, мы удваиваем приток кровезаменителя. Они приучаются свя-

зывать перевернутое положение с отличным самочувствием, и счастливы они по-настоящему бывают в жизни лишь тогда, когда находятся вверх тормашками. А теперь, — продолжал мистер Фостер, — я хотел бы показать вам кое-какие весьма интересные приемы формовки интеллектуалов альфа-плюс. Сейчас пропускаем по ленте 5 большую их партию. Нет, не на нижнем ярусе — на среднем, — остановил он двух студентов, двинувшихся было вниз. — Это в районе 900-го метра, — пояснил он. — Формовку интеллекта практически бесполезно начинать прежде, чем зародыш становится бесхвостым. Пойдемте.

Но Директор уже поглядел на часы.

— Без десяти минут три, — сказал он. — К сожалению, на интеллектуалов у нас не осталось времени. Нужно подняться в Питомник до того, как у детей кончится мертвый час.

Мистер Фостер огорчился.

— Тогда хоть на минуту заглянем в Зал раскупорки, — сказал он просяще.

— Согласен. — Директор снисходительно улыбнулся. — Но только на минуту.

Глава вторая

Оставив мистера Фостера в Зале раскупорки, Директор и студенты вошли в ближайший лифт и поднялись на шестой этаж.

«МЛАДОПИТОМНИК. ЗАЛЫ НЕОПАВЛОВСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСОВ» — гласила доска при входе.

Директор открыл дверь. Они очутились в большом голом зале, очень светлом и солнечном: южная стена его была одно сплошное окно. Пять или шесть нянь в форменных брючных костюмах из белого вискозного полотна и в белых асептических, скрывающих волосы шапочках были заняты тем, что расставляли на полу цветы. Ставили в длинную линию большие вазы, переполненные пышными розами. Лепестки их были шелковисто-гладки, словно щеки тысячного сонма ангелов — нежно-румяных индоевропейских херувимов, и лучезарно-чайных китайчат, и мексиканских смуглячков, и пурпурных от чрезмерного усердия небесных трубачей, и ангелов, бледных как смерть, бледных мраморной надгробной белизною.

Директор вошел — няни встали смирно.

— Книги по местам, — сказал он коротко.

Няни без слов повиновались. Между вазами они разместили стоймя и раскрыли большеформатные детские книги, манящие пестро раскрашенными изображениями зверей, рыб, птиц.

— Привезти ползунков.

Няни побежали выполнять приказание и минуты через две возвратились; каждая катила высокую, в четыре сетчатых этажа, тележку, груженную восьмимесячными младенцами, как две капли похожими друг на друга (явно — из одной группы Бокановского) и одетыми все в хаки (отличительный цвет касты «дельта»).

— Снять на пол.

Младенцев сгрузили с проволочных сеток.

— Повернуть лицом к цветам и книгам.

Завидя книги и цветы, детские шеренги смолкли и двинулись ползком к этим скоплениям цвета, к этим красочным образам, таким праздничнопестрым на белых страницах. А тут и солнце вышло из-за облачка. Розы вспыхнули, точно воспламененные внезапной страстью; глянцевитые страницы книг как бы озарились новым и глубинным смыслом. Младенцы поползли быстрей, возбужденно попискивая, гукая и

щебеча от удовольствия.

— Превосходно! — сказал Директор, потирая руки. — Как по заказу получилось.

Самые резвые из ползунков достигли уже цели. Ручонки протянулись неуверенно, дотронулись, схватили, обрывая лепестки преображенных солнцем роз, комкая цветастые картинки. Директор подождал, пока все дети не присоединились к этому радостному занятию. Затем:

— Следите внимательно! — сказал он студентам. И подал знак вскинутой рукой.

Старшая няня, стоявшая у щита управления в другом конце зала, включила рубильник.

Что-то бахнуло, загрохотало. Завыла сирена, с каждой секундой все пронзительнее. Бешено зазвенели сигнальные звонки.

Дети трепыхнулись, заплакали в голос; личики их исказились от ужаса.

— А сейчас, — не сказал, а прокричал Директор (ибо шум стоял оглушительный), — сейчас мы слегка подействуем на них электротоком, чтобы закрепить преподанный урок.

Он опять взмахнул рукой, и Старшая включила второй рубильник. Плач детей сменился отчаянными воплями. Было что-то дикое, почти безумное в их резких, судорожных вскриках.

Детские тельца вздрагивали, цепенели; руки и ноги дергались, как у марионеток.

— Весь этот участок пола теперь под током, — проорал Директор в пояснение. — Но достаточно, — подал он знак Старшей.

Грохот и звон прекратились, вой сирены стих, иссяк. Тельца перестали дергаться, бесноватые вскрики и взрыды перешли в прежний нормальный перепуганный рев.

— Предложить им снова цветы и книги.

Няни послушно подвинули вазы, раскрыли картинки; но при виде роз и веселых кисок-мурок, петушков — золотых гребешков и черненьких бяшек дети съежились в ужасе; рев моментально усилился.

— Видите! — сказал Директор торжествующе. — Видите!

В младенческом мозгу книги и цветы уже опорочены, связаны с грохотом, электрошоком; а после двухсот повторений того же или сходного урока связь эта станет нерасторжимой. Что человек соединил, природа разделить бессильна.

— Они вырастут, неся в себе то, что психологи когда-то называли «инстинктивным» отвращением к природе. Рефлекс, привитый на всю жизнь. Мы их навсегда обезопасим от книг и

от ботаники. — Директор повернулся к няням: — Увезти.

Все еще ревущих младенцев в хаки погрузили на тележки и укатили, остался только кисломолочный запах, и наконец-то наступила тишина.

Один из студентов поднял руку: он, конечно, вполне понимает, почему нельзя, чтобы низшие касты расходовали время Общества на чтение книг, и притом они всегда ведь рискуют прочесть что-нибудь могущее нежелательно расстроить тот или иной рефлекс, но вот цветы… насчет цветов неясно. Зачем класть труд на то, чтобы для дельт сделалась психологически невозможной любовь к цветам?

Директор терпеливо стал объяснять. Если младенцы теперь встречают розу ревом, то прививается это из высоких экономических соображений. Не так еще давно (лет сто назад) у гамм, дельт и даже у эпсилонов культивировалась любовь к цветам — и к природе вообще. Идея была та, чтобы в часы досуга их непременно тянуло за город, в лес и поле, и таким образом они загружали бы транспорт.

— И что же, разве они не пользовались транспортом? — спросил студент.

— Транспортом-то пользовались, — ответил

Директор. — Но на этом хозяйственная польза и кончалась.

У цветочков и пейзажей тот существенный изъян, что это блага даровые, подчеркнул Директор. Любовь к природе не загружает фабрики заказами. И решено было отменить любовь к природе — во всяком случае, у низших каст; отменить, но так, чтобы загрузка транспорта не снизилась. Оставалось существенно важным, чтобы за город ездили по-прежнему, хоть и питая отвращение к природе. Требовалось лишь подыскать более разумную с хозяйственной точки зрения причину для пользования транспортом, чем простая тяга к цветочкам и пейзажам. И причина была подыскана.

— Мы прививаем массам нелюбовь к природе. Но одновременно мы внедряем в них любовь к загородным видам спорта. Причем именно к таким, где необходимо сложное оборудование. Чтобы не только транспорт был загружен, но и фабрики спортивного инвентаря. Вот из чего проистекает связь цветов с электрошоком, — закруглил мысль Директор.

— Понятно, — произнес студент и смолк — в безмолвном восхищении.

Пауза; откашлявшись, Директор заговорил

опять:

— В давние времена, еще до успения Господа нашего Форда, жил-был мальчик по имени Рувим Рабинович. Родители Рувима говорили по-польски. — Директор приостановился. — Полагаю, вам известно, что такое «польский»?

— Это язык, мертвый язык.

— Как и французский, и как немецкий, — поспешил другой студент выказать свои познания.

— А «родители»? — вопросил Директор.

Неловкое молчание. Иные из студентов покраснели. Они еще не научились проводить существенное, но зачастую весьма тонкое различие между непристойностями и строго научной терминологией. Наконец один набрался храбрости и поднял руку.

— Люди были раньше… — Он замялся; щеки его залила краска. — Были, значит, живородящими.

— Совершенно верно. — Директор одобрительно кивнул.

— И когда у них дети раскупоривались…

— Рождались, — поправил Директор.

— Тогда, значит, они становились родителями — то есть не дети, конечно, а те, у кого… — Бедный юноша смутился окончательно.

— Короче, — резюмировал Директор, — родите-

лями назывались отец и мать.

Гулко упали (трах! тарах!) в сконфуженную тишину эти ругательства, а в данном случае — научные термины.

— Мать, — повторил Директор громко, закрепляя термин, и, откинувшись в кресле, веско сказал: — Факты это неприятные, согласен. Но большинство исторических фактов принадлежит к разряду неприятных. Однако вернемся к Рувиму. Как-то вечером отец и мать (трах! тарах!) забыли выключить в комнате у Рувима радиоприемник. А вы должны помнить, что тогда, в эпоху грубого живородящего размножения, детей растили их родители, а не государственные воспитательные центры.

Мальчик спал, а в это время неожиданно в эфире зазвучала передача из Лондона; и на следующее утро, к изумлению его отца и матери (те из юнцов, что посмелей, отважились поднять глаза, перемигнуться, ухмыльнуться), проснувшийся Рувимчик слово в слово повторил переданную по радио длинную беседу Джорджа Бернарда Шоу. («Это старинный писатель-чудак — один из весьма немногих литераторов, чьим произведениям было позволено дойти до нас».) По преданию, довольно достоверному, в тот вечер темой беседы

была его, Шоу, гениальность. Рувимовы отец и мать (перемигивание, тайные смешки) ни слова, конечно, не поняли и, вообразив, что их ребенок сошел с ума, позвали врача. К счастью, тот понимал по-английски, распознал текст вчерашней радиобеседы, уразумел важность случившегося и послал сообщение в медицинский журнал.

— Так открыли принцип гипнопедии, то есть обучения во сне. — Директор сделал внушительную паузу.

Открыть-то открыли; но много, много еще лет минуло, прежде чем нашли этому принципу полезное применение.

— Происшествие с Рувимом случилось всего лишь через двадцать три года после того, как Господь наш Форд выпустил на автомобильный рынок первую модель Т. — При сих словах Директор перекрестил себе живот знаком Т, и все студенты набожно последовали примеру. — Но прошло еще…

Карандаши с бешеной быстротой бегали по бумаге. «Гипнопедия впервые официально применена в 214 г. Э. Ф. Почему не раньше? По двум причинам. 1)…»

— Эти ранние экспериментаторы, — говорил Директор, — действовали в ложном направ-

лении. Они полагали, что гипнопедию можно сделать средством образования…

(Малыш, спящий на правом боку; правая рука свесилась с кроватки. Из репродуктора, из сетчатого круглого отверстия, звучит тихий голос:

— Нил — самая длинная река в Африке и вторая по длине среди рек земного шара. Хотя Нил и короче Миссисипи-Миссури, но он стоит на первом месте по протяженности бассейна, раскинувшегося на 35 градусов с юга на север…

Утром, когда малыш завтракает, его спрашивают:

— Томми, а какая река в Африке длиннее всех, ты знаешь?

«Нет», — мотает головой Томми.

— Но разве ты не помнишь, как начинается: «Нил — самая…»

«Нил-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая-по-длине-среди-рек-земного-шара. — Слова льются потоком. — Хотя-Нил-и-короче…»

— Так какая же река длиннее всех в Африке?

Глаза мальчугана ясны и пусты.

— Не знаю.

— А как же Нил?

— «Нил-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая…»

— Ну, так какая же река длинней всех — а, Томми?

Томми разражается слезами.

— Не знаю, — ревет он.)

Этот горестный рев обескураживал ранних исследователей, подчеркнул Директор. Эксперименты прекратились. Были оставлены попытки дать детям во сне понятие о длине Нила. И правильно сделали, что бросили эти попытки. Нельзя усвоить науку без понимания, без вникания в смысл.

— Но вот если бы они занялись нравственным воспитанием, — говорил Директор, ведя студентов к двери, а те продолжали поспешно записывать и на ходу, и пока подымались в лифте, — вот нравственное-то воспитание никогда, ни в коем случае не должно основываться на понимании.

«Тише! Тише!» — зашелестел репродуктор, когда они вышли из лифта на пятнадцатом этаже, и это шелестение сопровождало их по коридорам, неустанно исходя из раструба репродукторов, размещенных через равные промежутки. Студенты и даже сам Директор невольно пошли на цыпочках. Все они, конечно, были альфы; но и у альф рефлексы выработаны неплохо. «Тише!

Тише!» — весь пятнадцатый этаж шелестел этим категорическим императивом.

Пройдя на цыпочках шагов сто, Директор осторожно открыл дверь. Они вошли и оказались в сумраке зашторенного спального зала. У стены стояли в ряд восемьдесят кроваток. Слышалось легкое, ровное дыхание и некий непрерывный бормоток, точно слабенькие голоса журчали в отдалении.

Навстречу вошедшим встала воспитательница и застыла навытяжку перед Директором.

— Какой проводите урок? — спросил он.

— Первые сорок минут были уделены началам секса, — ответила она. — А теперь переключила на основы кастового самосознания.

Директор медленно пошел вдоль шеренги кроваток. Восемьдесят мальчиков и девочек тихо дышали, разрумянившись от сна. Из-под каждой подушки тек шепот. Директор остановился и, нагнувшись над кроваткой, вслушался.

— Основы, говорите вы, кастового самосознания. Дадим-ка чуть погромче — через рупор.

В конце зала, на стене, был укреплен громкоговоритель. Директор подошел, включил его.

— …ходят в зеленом, — с полуфразы начал тихий, но очень отчетливый голос, — а дельты — в

хаки. Нет, нет, не хочу я играть с детьми-дельтами. А эпсилоны еще хуже. Они вовсе глупые, ни читать, ни писать не умеют. Да еще ходят в черном, а это такой гадкий цвет. Как хорошо, что я бета.

Голос помолчал — и начал снова:

— Дети-альфы ходят в сером. У альф работа гораздо трудней, чем у нас, потому что альфы страшно умные. Прямо чудесно, что я бета, что у нас работа легче. И мы гораздо лучше гамм и дельт. Гаммы глупые. Они ходят в зеленом, а дельты в хаки. Нет, нет, не хочу я играть с детьми-дельтами. А эпсилоны еще хуже. Они вовсе глупые, ни…

Директор нажал выключатель. Голос умолк. Остался только его призрак — слабый шепот, по-прежнему идущий из-под восьмидесяти подушек.

— До подъема им повторят это еще разочков сорок или пятьдесят; затем снова в четверг и в субботу. Трижды в неделю по сто двадцать раз в продолжение тридцати месяцев. После чего они перейдут к другому, усложненному уроку.

Розы и электрошок, дельты в хаки и струя чесночной вони — эта связь уже нерасторжимо закреплена, прежде чем ребенок научится го-

ворить. Но бессловесное внедрение рефлексов действует грубо, огульно; с помощью его нельзя сформировать более тонкие и сложные шаблоны поведения. Для этой цели требуются слова, но вдумывания не нужно. Короче — требуется гипнопедия.

— Величайшая нравоучительная сила всех времен, готовящая к жизни в обществе.

Студенты записали это изречение в блокноты. Прямехонько из мудрых уст.

Директор опять включил рупор.

— …страшно умные, — работал тихий, задушевный, неутомимый голос. — Прямо чудесно, что я бета, что у нас…

Словно это падает вода капля за каплей, а ведь вода способна проточить самый твердый гранит; или, вернее, словно капает жидкий сургуч, и капли налипают, обволакивают и пропитывают, покуда бывший камень весь не обратится в аловосковой комок.

— Покуда наконец все сознание ребенка не заполнится тем, что внушил голос, и то, что внушено, не станет в сумме своей сознанием ребенка. И не только ребенка. А и взрослого — на всю жизнь. Мозг рассуждающий, желающий, решающий — весь насквозь будет состоять из того, что

внушено. Внушено нами! — воскликнул Директор торжествуя. — Внушено Государством! — Он ударил рукой по столику. — И следовательно…

Шум заставил его обернуться.

— О Господи Форде! — произнес он сокрушенно. — Надо же, детей перебудил.

Глава третья

За зданием, в парке, было время игр. Под теплым июньским солнцем шестьсот — семьсот голеньких мальчиков и девочек бегали со звонким криком по газонам, играли в мяч или же уединялись по двое и по трое, присев и примолкнув в цветущих кустах. Благоухали розы, два соловья распевали в ветвях, кукушка куковала среди лип, слегка сбиваясь с тона. В воздухе плавало дремотное жужжание пчел и вертопланов.

Директор со студентами постояли, понаблюдали, как детвора играет в центробежную лапту. Десятка два детей окружали башенку из хромистой стали. Мяч, закинутый на верхнюю ее площадку, скатывался внутрь и попадал на быстро вертящийся диск, так что мяч выбрасывало с силой через одно из многих отверстий в цилиндрическом корпусе башни, а дети, вставшие кружком, ловили.

— Странно, — заразмышлял вслух Директор, когда пошли дальше, — странно подумать, что даже при Господе нашем Форде для большинства игр еще не требовалось ничего, кроме одного-двух мячей да нескольких клюшек или там сетки.

Какая это была глупость — допускать игры, пусть и замысловатые, но нимало не способствующие росту потребления. Дикая глупость. Теперь же Главноуправители не разрешают никакой новой игры, не удостоверясь прежде, что для нее необходимо по крайней мере столько же спортивного инвентаря, как для самой сложной из уже допущенных игр… Что за очаровательная парочка, — указал он вдруг рукой. В траве на лужайке среди древовидного вереска двое детей — мальчик лет семи и девочка примерно годом старше — очень сосредоточенно, со всей серьезностью ученых, углубившихся в научный поиск, играли в примитивную сексуальную игру.

— Очаровательно, очаровательно! — повторил сентиментально Директор.

— Очаровательно, — вежливо поддакнули юнцы. Но в улыбке их сквозило снисходительное презрение. Сами лишь недавно оставив позади подобные детские забавы, они не могли теперь смотреть на это иначе как свысока. Очаровательно? Да просто малыши балуются, и больше ничего. Возня младенческая.

— Я всегда вспоминаю… — продолжал Директор тем же слащавым тоном; но тут послышался громкий плач.

Из соседних кустов вышла няня, ведя за руку плачущего мальчугана. Следом семенила встревоженная девочка.

— Что случилось? — спросил Директор.

Няня пожала плечами.

— Ничего особенного, — ответила она. — Просто этот мальчик не слишком охотно участвует в обычной эротической игре. Я уже и раньше замечала. А сегодня опять. Расплакался вот…

— Ей-форду — встрепенулась девочка, — я ничего такого нехорошего ему не делала. Ей-форду.

— Ну конечно же, милая, — успокоила ее няня. — И теперь, — продолжала она, обращаясь к Директору, — веду его к помощнику Старшего психолога, чтобы проверить, нет ли каких ненормальностей.

— Правильно, ведите, — одобрил Директор, и няня направилась дальше со своим по-прежнему ревущим питомцем. — А ты останься в саду, деточка. Как тебя зовут?

— Полли Троцкая.

— Превосходнейшее имя, — похвалил Директор. — Беги-ка поищи себе другого напарничка.

Девочка вприпрыжку побежала прочь и скрылась в кустарнике.

— Прелестная малютка, — молвил Директор,

глядя ей вслед. Затем, повернувшись к студентам, сказал: — То, что я вам сообщу сейчас, возможно, прозвучит как небылица. Но для непривычного уха факты исторического прошлого в большинстве своем звучат как небылица.

И он сообщил им поразительную вещь. В течение долгих столетий до Эры Форда и даже потом еще на протяжении нескольких поколений эротические игры детей считались чем-то ненормальным (взрыв смеха) и, мало того, аморальным («Да что вы!») и были поэтому под строгим запретом.

Студенты слушали изумленно и недоверчиво. Неужели бедным малышам не позволяли забавляться? Да как же так?

— Даже подросткам не позволяли, — продолжал Директор, — даже юношам, как вы…

— Быть того не может!

— И они, за исключением гомосексуализма и самоуслаждения, практикуемых украдкой и урывками, не имели ровно ничего.

— Ни-че-го?

— Да, в большинстве случаев ничего — до двадцатилетнего возраста.

— Двадцатилетнего? — хором ахнули студенты, не веря своим ушам.

— Двадцатилетнего, а то и дольше. Я ведь говорил вам, что историческая правда прозвучит как небылица.

— И к чему ж это вело? — спросили студенты. — Что же получалось в результате?

— Результаты были ужасающие, — неожиданно вступил в разговор звучный бас.

Они оглянулись. Сбоку стоял незнакомый черноволосый человек среднего роста — горбоносый, с сочными красными губами, с глазами очень проницательными и темными.

— Ужасающие, — повторил он.

Директор, присевший было на одну из каучуково-стальных скамей, удобно размещенных там и сям по парку, вскочил при виде незнакомца и ринулся к нему, широко распахнув руки, скаля все свои зубы, шумно ликуя.

— Главноуправитель! Какая радостная неожиданность! Представьте себе, юноши, — сам Главноуправитель, его фордейшество Мустафа Монд!

Во всех четырех тысячах залов и комнат Центра четыре тысячи электрических часов одновременно пробили четыре. Зазвучали из репродукторов бесплотные голоса:

— Главная дневная смена кончена. Заступает

вторая дневная. Главная дневная смена…

В лифте, поднимаясь к раздевальням, Генри Фостер и помощник Главного предопределителя подчеркнуто повернулись спиной к Бернарду Марксу, специалисту из отдела психологии, — отстранились от человечка со скверной репутацией.

Глухой рокот и гул машин по-прежнему колебал вишнево-сумрачную тишь Эмбрионария. Смены могут приходить и уходить, одно лицо волчаночного цвета сменяться другим; но величаво и безостановочно ползут вперед конвейерные ленты, груженные будущими людьми.

Линайна Краун упругим шагом пошла к выходу.

Его фордейшество Мустафа Монд! Глаза дружно приветствующих студентов чуть не выскакивали из орбит. Мустафа Монд! Постоянный Главноуправитель Западной Европы! Один из десяти Главноуправителей мира. Один из десяти — а запросто сел на скамью рядом с Директором и посидит, побудет с ними, побеседует… да, да, они услышат слова из фордейших уст. Считай, из самих уст Господних.

Двое детишек, бурых от загара, как вареные креветки, явились из зарослей, поглядели боль-

шими удивленными глазами и вернулись в кусты к прежним играм.

— Все вы помните, — сказал Главноуправитель своим звучным басом, — все вы, я думаю, помните прекрасное и вдохновенное изречение Господа нашего Форда: «История — сплошная чушь». История, — повторил он не спеша, — сплошная чушь.

Он сделал сметающий жест — словно невидимой метелкой смахнул горсть пыли, и пыль та была Ур Халдейский и Хараппа; смёл древние паутинки, и то были Фивы, Вавилон, Кносс, Микены. Ширк, ширк метелочкой — и где ты, Одиссей, где Иов, где Юпитер, Гаутама, Иисус? Ширк! — и прочь полетели крупинки античного праха, именуемые Афинами и Римом, Иерусалимом и Срединным царством. Ширк! — и пусто место, где была Италия. Ширк! — сметены соборы; ширк, ширк! — прощай, «Король Лир» и Паскалевы «Мысли». Прощайте, «Страсти», ау, Реквием; прощай, Симфония; ширк! ширк!..

— Летишь вечером в ощущалку, Генри? — спросил помощник Предопределителя. — Я слышал, сегодня в «Альгамбре» первоклассная новая лента. Там любовная сцена есть на медвежьей шкуре; говорят, изумительная. Воспроизведен каждый

медвежий волосок. Потрясающие осязательные эффекты.

— Потому-то вам и не преподают историю, — продолжал Главноуправитель. — Но теперь пришло время…

Директор взглянул на него обеспокоенно. Ходят ведь странные слухи о старых запрещенных книгах, спрятанных у Монда в кабинете, в сейфе. Поэзия, библии всякие — форд знает что.

Мустафа Монд заметил этот беспокойный взгляд, и уголки его красных губ иронически дернулись.

— Не тревожьтесь, Директор, — сказал он с легкой насмешкой. — Они не развратятся от моей беседы.

Директор устыженно промолчал.

Презирающих тебя сам встречай презрением. На лице Бернарда застыла надменная улыбка. Медвежий волосок — вот что они ценят!

— Обязательно слетаю, — сказал Генри Фостер.

Мустафа Монд подался вперед, к слушателям, потряс поднятым пальцем.

— Вообразите только, — произнес он таким тоном, что у юнцов под ложечкой похолодело, задрожало. — Попытайтесь вообразить, что это

означало — иметь живородящую мать.

Опять это непристойное слово. Но теперь ни у кого на лице не мелькнуло и тени улыбки.

— Попытайтесь лишь представить, что означало «жить в семье».

Студенты попытались; но видно было, что без всякого успеха.

— А известно ли вам, что такое был «родной дом»?

«Нет», — покачали они головой.

Из своего сумрачно-вишневого подземелья Линайна Краун взлетела в лифте на семнадцатый этаж и, выйдя там, повернула направо, прошла длинный коридор, открыла дверь с табличкой «Женская раздевальная» и окунулась в шум, гомон, хаос рук, грудей и женского белья. Потоки горячей воды с плеском вливались в сотню ванн, с бульканьем выливались. Все восемьдесят вибровакуумных массажных аппаратов трудились, гудя и шипя, разминая, сосуще массируя тугие загорелые тела восьмидесяти превосходных экземпляров женской особи, наперебой галдящих. Из автомата синтетической музыки звучала сольная трель суперкорнета.

— Привет, Фанни, — поздоровалась Линайна с молоденькой своей соседкой по шкафчику.

Фанни работала в Укупорочном зале; фамилия ее была тоже Краун. Но поскольку на два миллиарда жителей планеты приходилось всего десять тысяч имен и фамилий, это совпадение не столь уж поражало.

Линайна четырежды дернула книзу свои застежки-молнии: на курточке, справа и слева на брюках (быстрым движением обеих рук) и на комбилифчике. Сняв одежду, она в чулках и туфлях пошла к ванным кабинам.

Родной, родимый дом — в комнатенках его, как сельди в бочке, обитатели: мужчина, периодически рожающая женщина и разновозрастный сброд мальчишек и девчонок. Духота, теснота; настоящая тюрьма, притом антисанитарная; темень, болезни, вонь.

(Главноуправитель рисовал эту тюрьму так живо, что один студент, повпечатлительнее прочих, побледнел, и его чуть не стошнило.)

* * *

Линайна вышла из ванны, обтерлась насухо, взялась за длинный, свисающий со стены шланг, приставила дульце к груди, точно собираясь застрелиться, и нажала гашетку. Струя подогретого

воздуха обдула ее тончайшей тальковою пудрой. Восемь особых краников предусмотрено было над раковиной — восемь разных одеколонов и духов. Она отвернула третий слева, надушилась «Шипром» и, с туфлями в руке, направилась из кабины к освободившемуся виброваку.

А в духовном смысле родной дом был так же мерзок и грязен, как в физическом. Психологически это была мусорная яма, кроличья нора, жарко нагретая взаимным трением спершихся в ней жизней, смердящая душевными переживаниями. Какая душная психологическая близость, какие опасные, дикие, смрадные взаимоотношения между членами семейной группы! Как помешанная, тряслась мать над своими детьми (своими! родными!) — ни дать ни взять как кошка над котятами, но кошка, умеющая говорить, умеющая повторять без устали: «Моя детка, моя крохотка». «О моя детка, как он проголодался, прильнул к груди, о эти ручонки, эта невыразимо сладостная мука! А вот и уснул моя крохотка, уснул моя детка, и на губах белеет пузырик молока. Спит мой родной…»

— Да, — покивал головой Мустафа Монд, — вас недаром дрожь берет.

* * *

— С кем развлекаешься сегодня вечером?

— Ни с кем.

Линайна удивленно подняла брови.

— В последнее время я как-то не так себя чувствую, — объяснила Фанни. — Доктор Уэллс прописал мне курс псевдобеременности.

— Но, милая, тебе всего только девятнадцать. А первая беременность не обязательна до двадцати одного года.

— Знаю, милочка. Но некоторым полезно начать раньше. Мне доктор Уэллс говорил, что таким, как я, брюнеткам с широким тазом следует пройти первую псевдобеременность уже в семнадцать лет. Так что я не на два года раньше времени, а уже с опозданием на два года.

Открыв дверцу своего шкафчика, Фанни указала на верхнюю полку, уставленную коробочками и флаконами.

— «Сироп желтого тела, — стала Линайна читать этикетки вслух. — Оварин, свежесть гарантируется; годен до 1 августа 632 г. Э. Ф. Экстракт молочной железы; принимать три раза в день перед едой, разведя в небольшом количестве воды. Плацентин; по 5 миллилитров через

каждые два дня внутривенно...» Брр! — поежилась Линайна. — Ненавижу внутривенные.

— И я их не люблю. Но раз они полезны...

Фанни была девушка чрезвычайно благоразумная.

* * *

Господь наш Форд — или Фрейд, как он по неисповедимой некой причине именовал себя, трактуя о психологических проблемах, — Господь наш Фрейд первый раскрыл гибельные опасности семейной жизни. Мир кишел отцами — а значит, страданиями; кишел матерями — а значит, извращениями всех сортов, от садизма до целомудрия, кишел братьями, сестрами, дядьями, тетками — кишел помешательствами и самоубийствами.

— А в то же время у самоанских дикарей, на некоторых островах близ берегов Новой Гвинеи...

Тропическим солнцем, словно горячим медом, облиты нагие тела детей, резвящихся и обнимающихся без разбора среди цветущей зелени. А дом для них — любая из двадцати хижин, крытых пальмовыми листьями. На островах Тробриан зачатие приписывали духам предков; об отцовстве,

об отцах там не было и речи.

— Крайности сходятся, — отметил Главноуправитель. — Ибо так и задумано было, чтобы они сходились.

— Доктор Уэллс сказал, что трехмесячный курс псевдобеременности поднимет тонус, оздоровит меня на три-четыре года.

— Что ж, если так, — сказала Линайна. — Но, Фанни, выходит, ты целых три месяца не должна будешь…

— Ну что ты, милая. Всего неделю-две, не больше. Я проведу сегодня вечер в клубе, за музыкальным бриджем. А ты, конечно, полетишь развлекаться?

Линайна кивнула.

— С кем сегодня?

— С Генри Фостером.

— Опять? — сказала Фанни с удивленно-нахмуренным выражением, не идущим к ее круглому, как луна, добродушному лицу. — Неужели ты до сих пор все с Генри Фостером? — укорила она огорченно.

Отцы и матери, братья и сестры. Но были еще и мужья, жены, возлюбленные. Было еще единобрачие и романтическая любовь.

— Впрочем, вам эти слова, вероятно, ничего не говорят, — сказал Мустафа Монд.

«Ничего», — помотали головами студенты.

Семья, единобрачие, любовная романтика. Повсюду исключительность и замкнутость, сосредоточенность влечения на одном предмете; порыв и энергия направлены в узкое русло.

— А ведь каждый принадлежит всем остальным, — привел Мустафа гипнопедическую пословицу.

Студенты кивнули в знак полного согласия с утверждением, которое — от шестидесяти двух с лишним тысяч повторений в сумраке спальни — сделалось не просто справедливым, а стало истиной бесспорной, самоочевидной и не требующей доказательств.

— Но, — возразила Линайна, — я с Генри всего месяца четыре.

— Всего четыре месяца! Ничего себе! И вдобавок, — обвиняюще ткнула Фанни пальцем, — все это время, кроме Генри, ты ни с кем. Ведь ни с кем же?

Линайна залилась румянцем. Но в глазах и в голосе ее осталась непокорность.

— Да, ни с кем, — огрызнулась она. — И не знаю, с какой такой стати я должна еще с кем-то.

— Она, видите ли, не знает, с какой стати, — повторила Фанни, обращаясь словно к незримому слушателю, вставшему за плечом у Линайны. Но тут же переменив тон: — Ну кроме шуток, — сказала она. — Ну прошу тебя, веди ты себя осторожней. Нельзя же так долго все с одним да с одним — это ужасно неприлично. Уж пусть бы тебе было сорок или тридцать пять — тогда бы простительнее. Но в твоем-то возрасте, Линайна! Нет, это никуда не годится. И ты же знаешь, как решительно наш Директор против всего чрезмерно пылкого и затянувшегося. Четыре месяца все с Генри Фостером и ни с кем кроме — да узнай Директор, он был бы вне себя…

— Представьте себе воду в трубе под напором. — Студенты представили себе такую трубу. — Пробейте в металле отверстие, — продолжал Главноуправитель. — Какой ударит фонтан! Если же проделать не одно отверстие, а двадцать, получим два десятка слабых струек.

То же и с эмоциями. «Моя детка. Моя крохотка!..» «Мама!» Безумие чувств заразительно. «Любимый, единственный мой, дорогой и бесценный…»

Материнство, единобрачие, романтика любви. Ввысь бьет фонтан; неистово ярится пенная

струя. У чувства одна узенькая отдушина. Мой любимый. Моя детка. Немудрено, что эти горемыки, люди дофордовских времен, были безумны, и порочны, и несчастны. Мир, окружавший их, не позволял жить беспечально, не давал им быть здоровыми, добродетельными, счастливыми. Материнство и влюбленность, на каждом шагу запрет (а рефлекс повиновения запрету не сформирован), соблазн и одинокое потом раскаяние, всевозможные болезни, нескончаемая боль, отгораживающая от людей, шаткое будущее, нищета — все это обрекало их на сильные переживания. А при сильных переживаниях — притом в одиночестве, в безнадежной разобщенности и обособленности — какая уж могла быть речь о стабильности?

— Разумеется, не обязательно отказываться от Генри совсем. Чередуй его с другими, вот и все. Ведь он же не только с тобой?

— Не только, — сказала Линайна.

— Ну, разумеется. Уж Генри Фостер не нарушит правил жизни — он всегда корректен и порядочен. А подумай о Директоре. Ведь как неукоснительно Директор соблюдает этикет.

Линайна кивнула:

— Да, он сегодня потрепал меня по ягодицам.

— Ну вот видишь, — торжествующе сказала Фанни. — Вот тебе пример того, как строжайше он держится приличий.

* * *

— Стабильность, — подчеркнул Главноуправитель, — устойчивость, прочность. Без стабильного общества немыслима цивилизация. А стабильное общество немыслимо без стабильного члена общества. — Голос Мустафы звучал как труба. В груди у слушателей теплело и ширилось.

Машина вертится, работает и должна вертеться непрерывно — вечно. Остановка означает смерть. Копошился прежде на земной коре миллиард обитателей. Завертелись шестерни машин. И через сто пятьдесят лет стало два миллиарда. Остановите машины. Через сто пятьдесят не лет, а недель население земли сократится вполовину. Один миллиард умрет с голоду.

Машины должны работать без перебоев, но они требуют ухода. Их должны обслуживать люди — такие же надежные, стабильные, как шестеренки и колеса, — люди, здоровые духом и телом, послушные, постоянно довольные.

А горемыкам, восклицавшим: «Моя детка, моя мама, мой любимый и единственный», стонав-

шим: «Мой грех, мой грозный Бог», кричавшим от боли, бредившим в лихорадке, оплакивавшим нищету и старость, — по плечу ли тем несчастным обслуживание машин? А если не будет обслуживания?… Трупы миллиарда людей непросто было бы зарыть или сжечь.

— И в конце концов, — мягко уговаривала Фанни, — разве это тягостно, мучительно — иметь еще одного-двух в дополнение к Генри? Ведь не тяжело тебе — а значит, обязательно надо разнообразить мужчин…

— Стабильность, — подчеркнул опять Главноуправитель, — стабильность. Первооснова и краеугольный камень. Стабильность. Для достижения ее — все это. — Широким жестом он охватил громадные здания Центра, парк и детей, бегающих нагишом или укромно играющих в кустах.

Линайна покачала головой, сказала в раздумье:

— Что-то в последнее время не тянет меня к разнообразию. А разве у тебя, Фанни, не бывает временами, что не хочется разнообразить?

Фанни кивнула сочувственно и понимающе.

— Но надо прилагать старания, — наставитель-

но сказала она, — надо жить по правилам. Что ни говори, а каждый принадлежит всем остальным.

— Да, каждый принадлежит всем остальным, — повторила медленно Линайна и, вздохнув, помолчала. Затем, взяв руку подруги, слегка сжала в своей: — Ты абсолютно права, Фанни. Ты всегда права. Я приложу старания.

Поток, задержанный преградой, взбухает и переливается — позыв обращается в порыв, в страсть, даже в помешательство: сила потока множится на высоту и прочность препятствия. Когда же преграды нет, поток стекает плавно по назначенному руслу в тихое море благоденствия.

Зародыш голоден, и день-деньской питает его кровезаменителем насос, давая свои восемьсот оборотов в минуту. Заплакал раскупоренный младенец, и тут же подошла няня с бутылочкой млечно-секреторного продукта.

Эмоция таится в промежутке между позывом и его удовлетворением. Сократи этот промежуток, устрани все прежние ненужные препятствия.

— Счастливцы вы! — воскликнул Главноуправитель. — На вас не жалели трудов, чтобы сделать вашу жизнь в эмоциональном отношении легкой — оградить вас, насколько возможно, от эмоций

и переживаний вообще.

— Форд в своем «форде» — и в мире покой, — продекламировал вполголоса Директор.

— Линайна Краун? — застегнув брюки на молнию, отозвался Генри Фостер. — О, это девушка великолепная. Донельзя пневматична. Удивляюсь, как это ты не отведал ее до сих пор.

— Я и сам удивляюсь, — сказал помощник Предопределителя. — Непременно отведаю. При первой же возможности.

Со своего раздевального места — в ряду напротив — Бернард услышал этот разговор и побледнел.

— Признаться, — сказала Линайна, — мне и самой это чуточку прискучивать начинает — каждый день Генри да Генри. — Она натянула левый чулок. — Ты Бернарда Маркса знаешь? — спросила она слишком уж нарочито небрежным тоном.

— Ты хочешь с Бернардом? — вскинулась Фанни.

— А что? Бернард ведь альфа-плюсовик. К тому же он приглашает меня слетать с ним в дикарский заповедник — в индейскую резервацию. А я всегда хотела побывать у дикарей.

— Но ведь у Бернарда дурная репутация!

— А мне что за дело до его репутации?

— Говорят, он гольфа не любит.

— Говорят, говорят, — передразнила Линайна.

— И потом он бóльшую часть времени проводит нелюдимо — один, — с сильнейшим отвращением сказала Фанни.

— Ну, со мной-то он не будет один. И вообще, отчего все к нему так по-свински относятся? По-моему, он милый. — Она улыбнулась, вспомнив, как до смешного робок он был в разговоре. Почти испуган — как будто она Главноуправитель мира, а он — дельта-минусовик из машинной обслуги.

— Поройтесь-ка в памяти, — сказал Мустафа Монд. — Наталкивались ли вы хоть раз на непреодолимые препятствия?

Студенты ответили молчанием, означавшим, что нет, не наталкивались.

— А приходилось ли кому-нибудь из вас долгое время пребывать в этом промежутке между позывом и его удовлетворением?

— У меня… — начал один из юнцов и замялся.

— Говорите же, — сказал Директор. — Его фордейшество ждет.

— Мне однажды пришлось чуть не месяц ожидать, пока девушка согласилась.

— И, соответственно, желание усилилось?

— До невыносимости!

— Вот именно, до невыносимости, — сказал Главноуправитель. — Наши предки были так глупы и близоруки, что когда явились первые преобразователи и указали путь избавления от этих невыносимых эмоций, то их не желали слушать.

«Точно речь о бараньей котлете, — скрипнул зубами Бернард. — «Не отведал, отведаю». Как будто она кусок мяса. Низводят ее до уровня бифштекса… Она сказала мне, что подумает, что даст до пятницы ответ. О Господи Форде. Подойти бы да в физиономию им со всего размаха, да еще раз, да еще».

— Я тебе настоятельно ее рекомендую, — говорил между тем Генри Фостер приятелю.

— Взять хоть эктогенез. Пфитцнер и Кавагучи разработали весь этот внетелесный метод размножения. Но правительства и во внимание его не приняли. Мешало нечто, именовавшееся христианством. Женщин и дальше заставляли быть живородящими.

— Он же страшненький! — сказала Фанни.

— А мне нравится, как он выглядит.

— И такого маленького роста, — поморщилась Фанни. (Низкорослость — типичный мерзкий признак низших каст.)

— А по-моему, он милый, — сказала Линайна. — Его так и хочется погладить. Ну, как котеночка.

Фанни брезгливо сказала:

— Говорят, когда он еще был в бутыли, кто-то ошибся — подумал, он гамма, и влил ему спирту в кровезаменитель. Оттого он и щуплый вышел.

— Вздор какой! — возмутилась Линайна.

— В Англии запретили даже обучение во сне. Было тогда нечто, именовавшееся либерализмом. Парламент (известно ли вам это старинное понятие?) принял закон против гипнопедии. Сохранились архивы парламентских актов. Записи речей о свободе британского подданного. О праве быть неудачником и горемыкой. Неприкаянным, неприспособленным к жизни.

— Да что ты, дружище, я буду только рад. Милости прошу. — Генри Фостер похлопал друга по плечу. — Ведь каждый принадлежит всем остальным.

«По сотне повторений три раза в неделю в течение четырех лет, — презрительно подумал Бернард; он был специалист-гипнопед. — Шестьдесят две тысячи четыреста повторений — и

готова истина. Идиоты!»

— Или взять систему каст. Постоянно предлагалась — и постоянно отвергалась. Мешало нечто, именовавшееся демократией. Как будто равенство людей заходит дальше физико-химического равенства.

* * *

— А я все равно полечу с ним, — сказала Линайна.

«Ненавижу, ненавижу, — кипел внутренне Бернард. — Но их двое, они рослые, они сильные».

— Девятилетняя война началась в 141 году Эры Форда.

— Все равно, даже если бы ему и правда влили тогда спирту в кровезаменитель.

— Фосген, хлорпикрин, йод-уксусный этил, дифенилцианарсин, слезоточивый газ, иприт. Не говоря уже о синильной кислоте.

— А никто не подливал, неправда и не верю.

— Вообразите гул четырнадцати тысяч самолетов, налетающих широким фронтом. Сами же разрывы бомб, начиненных сибирской язвой,

звучали на Курфюрстендамм и в восьмом парижском округе не громче бумажной хлопушки.

— А потому что хочу побывать в диком заповеднике.

— $CH_3C_6H_2(NO_2)_3$+$Hg(CNO)_2$; и что же в сумме? Большая воронка, груда щебня, куски мяса, комки слизи, нога в солдатском башмаке летит по воздуху и — шлеп! — приземляется среди ярко-красных гераней, так пышно цветших в то лето.

— Ты неисправима, Линайна, — остается лишь махнуть рукой.

— Восточный способ заражать водоснабжение был особенно остроумен.

Повернувшись друг к дружке спиной, Фанни и Линайна продолжали одеваться уже молча.

— Девятилетняя война, Великий экономический крах. Выбор был лишь между всемирной властью и полным разрушением. Между стабильностью и…

— Фанни Краун тоже девушка приятная, — сказал помощник Предопределителя.

В Питомнике уже отдолбили основы кастового

самосознания, голоса теперь готовили будущего потребителя промышленных товаров. «Я так люблю летать, — шептали голоса, — я так люблю летать, так люблю носить все новое, так люблю…»

— Конечно, сибирская язва покончила с либерализмом, но все же нельзя было строить общество на принуждении.

— Но Линайна гораздо пневматичней. Гораздо, гораздо.

* * *

— А старая одежда — бяка, — продолжалось неутомимое нашептывание. — Старье мы выбрасываем. Овчинки не стоят починки. Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое чинить, лучше…

— Править надо с умом, а не кнутом. Не кулаками действовать, а на мозги воздействовать. Чтоб заднице не больно, а привольно. Есть у нас опыт: потребление уже однажды обращали в повинность.

— Вот я и готова, — сказала Линайна; но Фанни по-прежнему молчала, не глядела. — Ну, Фанни,

милая, давай помиримся.

— Каждого мужчину, женщину, ребенка обязали ежегодно потреблять столько-то. Для процветания промышленности. А вызвали этим единственно лишь…

— Чем старое чинить, лучше новое купить. Прорехи зашивать — беднеть и горевать; прорехи зашивать — беднеть и…

— Не сегодня-завтра, — раздельно и мрачно произнесла Фанни, — твое поведение доведет тебя до беды.

— …гражданское неповиновение в широчайшем масштабе. Движение за отказ от потребления. За возврат к природе.

* * *

— Я так люблю летать, я так люблю летать.

— За возврат к культуре. Даже к культуре, да-да. Ведь, сидя за книгой, много не потребишь.

— Ну, как я выгляжу? — спросила Линайна. На ней был ацетатный жакет бутылочного цвета, с зеленой вискозной опушкой на воротнике и рукавах.

— Уложили восемьсот сторонников простой жизни на Голдерс-Грин — скосили пулеметами.

— Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое чинить, лучше новое купить.

Зеленые плисовые шорты и белые, вискозной шерсти, чулочки до колен.

— Затем устроили Мор книгочеев: переморили горчичным газом в читальне Британского музея две тысячи человек.

Бело-зеленый жокейский картузик с затеняющим глаза козырьком. Туфли на Линайне ярко-зеленые, отлакированные.

— В конце концов, — продолжал Мустафа Монд, — Главноуправители поняли, что насилием не многого добьешься. Хоть и медленней, но несравнимо верней другой способ — способ эктогенеза, формирования рефлексов и гипнопедии…

А вокруг талии — широкий, из зеленого искусственного сафьяна, отделанный серебром пояс-патронташ, набитый уставным комплектом противозачаточных средств (ибо Линайна не была неплодой).

— Применили наконец открытия Пфитцнера

и Кавагучи. Широко развернута была агитация против живородящего размножения…

— Прелестно! — воскликнула Фанни в восторге. Она не умела долго противиться чарам Линайны. — А какой дивный мальтузианский пояс!

— И одновременно начат поход против Прошлого, закрыты музеи, взорваны исторические памятники (большинство из них, слава Форду, и без того уже сровняла с землей Девятилетняя война); изъяты книги, выпущенные до 150 года Э. Ф.

— Обязательно и себе такой достану, — сказала Фанни.

— Были, например, сооружения, именовавшиеся пирамидами.

— Мой старый чернолаковый наплечный патронташ…

* * *

— И был некто, именовавшийся Шекспиром. Вас, конечно, не обременяли всеми этими наименованиями.

— Просто стыдно надевать мой чернолаковый.

— Таковы преимущества подлинно научного

образования.

— Овчинки не стоят починки, овчинки не стоят…

— Дату выпуска первой модели Т Господом нашим Фордом…

— Я уже чуть не три месяца его ношу.

— …избрали начальной датой Новой Эры.

— Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое…

— Как я уже упоминал, было тогда нечто, именовавшееся христианством.

— …лучше новое купить.

— Мораль и философия недопотребления…

— Люблю новое носить, люблю новое носить, люблю…

* * *

— …была существенно необходима во времена недопроизводства; но в век машин, в эпоху, когда люди научились связывать свободный азот воздуха, недопотребление стало прямым

преступлением против общества.

— Мне его Генри Фостер подарил.

— У всех крестов спилили верх — преобразовали в знаки Т. Было тогда некое понятие, именовавшееся Богом.

— Это настоящий искусственный сафьян.

— Теперь у нас Мировое Государство. И мы ежегодно празднуем День Форда, мы устраиваем вечера песнословия и сходки единения.

«Господи Форде, как я их ненавижу», — думал Бернард.

— Было нечто, именовавшееся Небесами; но тем не менее спиртное пили в огромном количестве.

«Как бифштекс, как кусок мяса».

— Было некое понятие — душа и некое понятие — бессмертие.

— Пожалуйста, узнай у Генри, где он его достал.

* * *

— Но тем не менее употребляли морфий и кокаин.

«А хуже всего то, что она и сама думает о себе как о куске мяса».

— В 178 году Э. Ф. были соединены усилия и финансированы изыскания двух тысяч фармакологов и биохимиков.

— А хмурый у малого вид, — сказал помощник Предопределителя, кивнув на Бернарда.

— Через шесть лет был налажен уже широкий выпуск. Наркотик получился идеальный.

— Давай-ка подразним его.

— Успокаивает, дает радостный настрой, вызывает приятные галлюцинации.

— Хмуримся, Бернард, хмуримся. — От хлопка по плечу Бернард вздрогнул, поднял глаза. Это Генри Фостер, скотина фордова. — Грамм сомы принять надо.

— Все плюсы христианства и алкоголя — и ни единого их минуса.

«Убил бы скотину». Но вслух он сказал только:

— Спасибо, не надо, — и отстранил протянутые таблетки.

— Захотелось, и тут же устраиваешь себе сомотдых — отдых от реальности, — и голова с похмелья не болит потом, и не засорена никакой мифологией.

— Да бери ты, — не отставал Генри Фостер, — бери.

— Это практически обеспечило стабильность.

— «Сомы грамм — и нету драм», — черпнул помощник Предопределителя из кладезя гипнопедической мудрости.

— Оставалось лишь победить старческую немощь.

— Да катитесь вы от меня! — взорвался Бернард.

— Скажи, пожалуйста, какие мы горячие.

— Половые гормоны, соли магния, вливание молодой крови…

— К чему весь тарарам, прими-ка сомы грамм. — И, посмеиваясь, они вышли из раздевальной.

— Все телесные недуги старости были устране-

ны. А вместе с ними, конечно…

— Так не забудь, спроси у него насчет пояса, — сказала Фанни.

* * *

— А с ними исчезли и все старческие особенности психики. Характер теперь остается на протяжении жизни неизменным.

— …до темноты успеть сыграть два тура гольфа с препятствиями. Надо лететь.

— Работа, игры — в шестьдесят лет наши силы и склонности те же, что были в семнадцать. В недобрые прежние времена старики отрекались от жизни, уходили от мира в религию, проводили время в чтении, в раздумье — сидели и думали!

«Идиоты, свиньи!» — повторял про себя Бернард, идя по коридору к лифту.

— Теперь же — настолько шагнул прогресс — старые люди работают, совокупляются, беспрестанно развлекаются; сидеть и думать им некогда и недосуг, — а если уж не повезет и в сплошной череде развлечений обнаружится разрыв, расселина, то ведь всегда есть сома, слад-

чайшая сома: принял полграмма — и получай небольшой сомотдых; принял грамм — нырнул в сомотдых вдвое глубже; два грамма унесут тебя в грезу роскошного Востока, а три умчат к луне на блаженную темную вечность. А возвратясь, окажешься уже на той стороне расселины — и снова ты на твердой и надежной почве ежедневных трудов и утех, снова резво порхаешь от ощущалки к ощущалке, от одной упругой девушки к другой, от электромагнитного гольфа к…

— Уходи, девочка! — прикрикнул Директор сердито. — Уходи, мальчик! Не видите разве, что мешаете его фордейшеству? Найдите себе другое место для эротических игр.

— Пустите детей приходить ко мне, — произнес Главноуправитель.

Величаво, медленно, под тихий гул машин, продвигались конвейеры — на тридцать три сантиметра в час. Мерцали в красном сумраке бессчетные рубины.

Глава четвертая

I

Лифт был заполнен мужчинами из альфараздевален, и Линайну встретили дружеские, дружные улыбки и кивки. Ее в обществе любили; почти со всеми с ними — с одним раньше, с другим позже — провела она ночь.

Милые ребята, думала она, отвечая на приветствия. Чудные ребята! Жаль только, что Джордж Эдзел лопоух (быть может, ему крошечку лишнего впрыснули гормона паращитовидки на 328-м метре?). А взглянув на Бенито Гувера, она невольно вспомнила, что в раздетом виде он, право, чересчур уж волосат.

Глаза ее чуть погрустнели при мысли о черноКудрявости Гувера, она отвела взгляд — и увидела в углу щуплую фигуру и печальное лицо Бернарда Маркса.

— Бернард! — Она подошла к нему. — А я тебя ищу. — Голос ее раздался звонко, покрывая гудение скоростного, идущего вверх лифта. Мужчины с любопытством оглянулись. — Я насчет нашей экскурсии в Нью-Мексико. — Уголком глаза она

увидела, что Бенито Гувер удивленно открыл рот. «Удивляется, что не с ним горю желанием повторить поездку», — подумала она с легкой досадой. Затем вслух еще горячей продолжала: — Прямо мечтаю слетать на недельку с тобой в июле. (Как бы ни было, она открыто демонстрирует сейчас, что неверна Генри Фостеру. На радость Фанни — хотя новым партнером будет все же Бернард.) То есть, — Линайна подарила Бернарду самую чарующе-многозначительную из своих улыбок, — если ты меня еще не расхотел. — Бледное лицо Бернарда залилось краской. «С чего он это?» — подумала она, озадаченная и в то же время тронутая этим странным свидетельством силы ее чар.

— Может, нам бы об этом потом, не сейчас, — пробормотал он, запинаясь от смущения.

«Как будто я что-нибудь стыдное сказала, — недоумевала Линайна. — Так сконфузился, точно я позволила себе непристойную шутку — спросила, кто его мать, или тому подобное».

— Не здесь, не при всех… — Он смолк, совершенно потерявшись.

Линайна рассмеялась хорошим, искренним смехом.

— Какой же ты потешный! — сказала она,

от души веселясь. — Только по крайней мере за неделю предупредишь меня, ладно? — продолжала она, отсмеявшись. — Мы ведь «Синей Тихоокеанской» полетим? Она с Черинг-Тийской башни отправляется? Или из Хэмпстеда? — Не успел Бернард ответить, как лифт остановился.

— Крыша! — объявил скрипучий голосок.

Лифт обслуживало обезьяноподобное существо, одетое в черную форменную куртку минус-эпсилон-полукретина. — Крыша!

Лифтер распахнул дверцы. В глаза ему ударило сияние погожего летнего дня, он встрепенулся, заморгал.

— О-о, крыша! — повторил он восхищенно. Он как бы очнулся внезапно и радостно от глухой, мертвящей спячки. — Крыша!

Поднявши свое личико к лицам пассажиров, он заулыбался им с каким-то собачьим обожанием и надеждой. Те вышли из лифта переговариваясь, пересмеиваясь. Лифтер глядел им вслед.

— Крыша? — произнес он вопросительно.

Тут послышался звонок, и с потолка кабины, из динамика, зазвучала команда, очень тихая и очень повелительная:

— Спускайся вниз, спускайся вниз. На девятнадцатый этаж. Спускайся вниз. На девятнадцатый

этаж. Спускайся…

Лифтер захлопнул дверцы, нажал кнопку и в тот же миг канул в гудящий сумрак шахты, в сумрак обычной своей спячки.

Тепло и солнечно было на крыше. Успокоительно жужжали пролетающие вертопланы; рокотали ласково и густо ракетопланы, невидимо несущиеся в ярком небе, километрах в десяти над головой. Бернард набрал полную грудь воздуха. Устремил взгляд в небо, затем на голубые горизонты, затем — на Линайну. — Красота какая! — Голос его слегка дрожал. Она улыбнулась ему задушевно, понимающе.

— Погода просто идеальная для гольфа, — упоенно молвила она. — А теперь, Бернард, мне надо лететь. Генри сердится, когда я заставляю его ждать. Значит, сообщишь мне заранее о дате поездки. — И, приветно махнув рукой, она побежала по широкой плоской крыше к ангарам. Бернард стоял и глядел, как мелькают, удаляясь, белые чулочки, как проворно разгибаются, сгибаются — раз-два, раз-два — загорелые коленки и плавней, колебательней движутся под темно-зеленым жакетом плисовые, в обтяжку, шорты. На лице Бернарда выражалось страдание.

— Ничего не скажешь, хороша, — раздался за

спиной у него громкий и жизнерадостный голос.

Бернард вздрогнул, оглянулся. Над ним сияло красное щекастое лицо Бенито Гувера — буквально лучилось дружелюбием и сердечностью. Бенито славился своим добродушием. О нем говорили, что он мог бы хоть всю жизнь прожить без сомы. Ему не приходилось, как другим, глушить приступы дурного или злого настроения. Для Бенито действительность всегда была солнечна.

— И пневматична жутко! Но послушай, — продолжал Бенито посерьезнев, — у тебя вид какой хмурый! Таблетка сомы, вот что тебе нужно. — Из правого кармана брюк он извлек флакончик. — Сомы грамм — и нету др… Куда ж ты?

Но Бернард, отстранившись, торопливо шагал уже прочь.

Бенито поглядел вслед, подумал озадаченно: «Что это с парнем творится?» — покачал головой и решил, что Бернарду и впрямь, пожалуй, влили спирту в кровезаменитель. «Видно, повредили мозг бедняге».

Он спрятал сому, достал пачку жевательной секс-гормональной резинки, сунул брикетик за щеку и неторопливо двинулся к ангарам, жуя на ходу.

Фостеру выкатили уже из ангара вертоплан,

и, когда Линайна подбежала, он сидел в кабине, ожидая. Она села рядом.

— На четыре минуты опоздала, — кратко констатировал Генри. Запустил моторы, включил верхние винты. Машина взмыла вертикально. Генри нажал на акселератор; гудение винтов из густого шмелиного стало осиным, истончилось затем в комариный писк; тахометр показывал, что скорость подъема равна почти двум километрам в минуту. Лондон шел вниз, уменьшаясь. Еще несколько секунд — и огромные плосковерхие здания обратились в кубистические подобия грибов, торчащих из садовой и парковой зелени. Среди них был гриб повыше и потоньше — это Черинг-Тийская башня взносила на тонкой ноге свою бетонную тарель, блестящую на солнце.

Как дымчатые торсы сказочных атлетов, висели в синих высях сытые громады облаков. Внезапно из облака выпала, жужжа, узкая алого цвета букашка и устремилась вниз.

— «Красная Ракета» прибывает из Нью-Йорка, — сказал Генри. Взглянул на часики, прибавил: — На семь минут запаздывает, — и покачал головой. — Эти атлантические линии возмутительно непунктуальны.

Он снял ногу с акселератора. Шум лопастей

понизился на полторы октавы — пропев снова осой, винты загудели шершнем, шмелем, хрущом и, еще басовей, жуком-рогачом. Подъем замедлился; еще мгновение — и машина повисла в воздухе. Генри двинул от себя рычаг; щелкнуло переключение. Сперва медленно, затем быстрей, быстрей завертелся передний винт и обратился в зыбкий круг. Все резче засвистел в расчалках ветер. Генри следил за стрелкой; когда она коснулась метки «1200», он выключил верхние винты. Теперь машину несла сама уж поступательная тяга.

Линайна глядела в смотровое окно у себя под ногами, в полу. Они пролетали над шестикилометровой парковой зоной, отделяющей Лондон-Центр от первого кольца пригородов-спутников. Зелень кишела копошащимися куцыми фигурками. Между деревьями густо мелькали, поблескивали башенки центробежной лапты. В районе Шепардс-Буш две тысячи бета-минусовых смешанных пар играли в теннис на римановых поверхностях. Не пустовали и корты для эскалаторного хэндбола, с обеих сторон окаймляющие дорогу от Ноттинг-Хилла до Уилсдена. На Илингском стадионе дельты проводили гимнастический парад и праздник песнословия.

— Какой у них гадкий цвет — хаки, — выразила вслух Линайна гипнопедический предрассудок своей касты.

В Хаунслоу на семи с половиной гектарах раскинулась ощущальная киностудия. А неподалеку армия рабочих в хаки и черном обновляла стекловидное покрытие Большой западной магистрали. Как раз в этот момент открыли летку одного из передвижных плавильных тиглей. Слепяще раскаленным ручьем тек по дороге каменный расплав; асбестовые тяжкие катки двигались взад-вперед; бело клубился пар из-под термозащищенной поливальной цистерны.

Целым городком встала навстречу фабрика Телекорпорации в Брентфорде.

— У них, должно быть, сейчас пересменка, — сказала Линайна.

Подобно тлям и муравьям, роились у входов лиственно-зеленые гамма-работницы и черные полукретины — или стояли в очередях к монорельсовым трамваям. Там и сям в толпе мелькали темно-красные бета-минусовики. Кипело движение на крыше главного здания: одни вертопланы садились, другие взлетали.

— А ей-форду хорошо, что я не гамма, — проговорила Линайна.

Десятью минутами поздней, приземлившись в Сток-Поджес, они начали уже свой первый круг гольфа с препятствиями.

II

Бернард торопливо шел по крыше, пряча глаза, — если и встречался взглядом с кем-либо, то бегло, тут же снова потупляясь. Шел, точно за ним погоня и он не хочет видеть преследователей — а вдруг они окажутся еще враждебней даже, чем ему мнится, и тяжелее тогда станет ощущение какой-то вины и еще беспомощнее одиночество.

«Этот несносный Бенито Гувер!» А ведь Гувера не злоба толкала, а добросердечие. Но положение от этого лишь намного хуже. Не желающие зла точно так же причиняют ему боль, как и желающие. Даже Линайна приносит страдание. Он вспомнил те недели робкой нерешительности, когда он глядел издали и тосковал, не отваживаясь подойти. Что, если напорешься на унизительный, презрительный отказ? Но если скажет «да» — какое счастье! И вот Линайна сказала «да», а он по-прежнему несчастлив — несчастлив потому, что она нашла погоду «идеальной для гольфа», что бегом побежала к Генри Фостеру, что он, Бернард, показался ей «потешным» из-за нежелания

при всех говорить о самом интимном. Короче, потому несчастен, что она вела себя как всякая здоровая и добродетельная жительница Англии, а не как-то иначе, странно, ненормально.

Он открыл двери своего ангарного отсека и подозвал двух лениво сидящих дельта-минусовиков из обслуживающего персонала, чтобы выкатили вертоплан на крышу. Персонал ангаров составляли близнецы из одной группы Бокановского — все тождественно маленькие, черненькие и безобразненькие. Бернард отдавал им приказания резким, надменным, даже оскорбительным тоном, к какому прибегает человек, не слишком уверенный в своем превосходстве. Иметь дело с членами низших каст было Бернарду всегда мучительно. Правду ли, ложь представляли слухи насчет спирта, по ошибке влитого в его кровезаменитель (а такие ошибки случались), но физические данные у Бернарда едва превышали уровень гаммовика. Бернард был на восемь сантиметров ниже, чем определено стандартом для альф, и соответственно щуплей нормального. При общении с низшими кастами он всякий раз болезненно осознавал свою невзрачность. «Я — это я; уйти бы от себя». Его мучило острое чувство неполноценности. Когда глаза его оказывались

вровень с глазами дельтовика (а надо бы сверху вниз глядеть), он неизменно чувствовал себя униженным. Окажет ли ему должное уважение эта тварь? Сомнение его терзало. И не зря. Ибо гаммы, дельты и эпсилоны приучены были в какой-то мере связывать кастовое превосходство с крупнотелостью. Да и во всем обществе чувствовалось некоторое гипнопедическое предубеждение в пользу рослых, крупных. Отсюда смех, которым женщины встречали предложения Бернарда; отсюда шуточки мужчин, его коллег. Вследствие насмешек он ощущал себя чужим, а стало быть, и вел себя как чужой — и этим усугублял предубеждение против себя, усиливал презрение и неприязнь, вызываемые его щуплостью. Что, в свою очередь, усиливало его чувство одиночества и чуждости. Из боязни наткнуться на неуважение он избегал людей своего круга, а с низшими вел себя преувеличенно гордо. Как жгуче завидовал он таким, как Генри Фостер и Бенито Гувер! Им-то не надо кричать для того, чтобы эпсилон исполнил приказание; для них повиновение низших каст само собою разумеется; они в системе каст, словно рыбы в воде, — настолько дома, в своей уютной, благодетельной стихии, что не ощущают ни ее, ни себя в ней.

С прохладцей, неохотно, как показалось ему, обслуга выкатила вертоплан на крышу.

— Живей! — произнес Бернард раздраженно. Один из близнецов взглянул на него. Не скотская ли издевочка мелькнула в пустом взгляде этих серых глаз? — Живей! — крикнул Бернард с каким-то уже скрежетом в голосе. Влез в кабину и полетел на юг, к Темзе.

Институт технологии чувств помещался в шестидесятиэтажном здании на Флит-стрит. Цокольный и нижние этажи были отданы редакциям и типографиям трех крупнейших лондонских газет — здесь издавались «Ежечасные радиовести» для высших каст, бледно-зеленая «Гамма-газета», а также «Дельта-миррор», выходящая на бумаге цвета хаки и содержащая слова исключительно односложные. В средних двадцати двух этажах находились разнообразные отделы пропаганды: Телевизионной, Ощущальной, Синтетически-голосовой и Синтетически-музыкальной. Над ними помещались исследовательские лаборатории и защищенные от шума кабинеты, где занимались своим тонким делом звукосценаристы и творцы синтетической музыки. На долю института приходились верхние восемнадцать этажей.

Приземлившись на крыше здания, Бернард

вышел из кабины.

— Позвоните мистеру Гельмгольцу Уотсону, — велел он дежурному гамма-плюсовику, — скажите ему, что мистер Бернард Маркс ожидает на крыше. — Бернард присел, закурил сигарету.

Звонок застал Гельмгольца Уотсона за рабочим столом.

— Передайте, что я сейчас подымусь, — сказал Гельмгольц и положил трубку. Дописав фразу, он обратился к своей секретарше тем же безлично-деловым тоном: — Будьте так добры прибрать мои бумаги, — и, без внимания оставив ее лучезарную улыбку, энергичным шагом направился к дверям.

Гельмгольц был атлетически сложен, грудь колесом, плечист, массивен, но в движениях быстр и пружинист. Мощную колонну шеи венчала великолепная голова. Темные волосы вились, крупные черты лица отличались выразительностью. Он был красив резкой мужской красотой — настоящий альфа-плюсовик «от темени до пневматических подошв», как говаривала восхищенно секретарша. По профессии он был лектор-преподаватель, работал на институтской кафедре творчества и прирабатывал как технолог-формировщик чувств: сочинял ощущальные

киносценарии, сотрудничал в «Ежечасных радиовестях», с удивительной легкостью и ловкостью придумывал гипнопедические стишки и рекламные броские фразы.

«Способный малый, — отзывалось о нем начальство. — Быть может (и тут старшие качали головой, многозначительно понизив голос), немножко даже чересчур способный».

Да, немножко чересчур; правы старшие. Избыток умственных способностей обособил Гельмгольца и привел почти к тому же, к чему привел Бернарда телесный недостаток. Бернарда отгородила от коллег невзрачность, щуплость — и возникшее чувство обособленности (чувство умственно-избыточное, по всем нынешним меркам), в свою очередь, стало причиной еще большего разобщения. А Гельмгольца — того талант заставил тревожно ощутить свою особенность и одинокость. Общим у обоих было сознание своей индивидуальности. Но физически неполноценный Бернард всю жизнь страдал от чувства отчужденности, а Гельмгольц совсем лишь недавно, осознав свою избыточную умственную силу, одновременно осознал и свою несхожесть с окружающими. Этот теннисист-чемпион, этот неутомимый любовник (говорили, что

за каких-то неполных четыре года он переменил шестьсот сорок девушек), этот деятельнейший член комиссий и душа общества внезапно обнаружил, что спорт, женщины, общественная деятельность служат ему лишь плохонькой заменой чего-то другого. По-настоящему, глубинно его влечет иное. Но что именно? Вот об этом-то и хотел опять поговорить с ним Бернард — вернее, послушать, что скажет друг, — ибо весь разговор вел неизменно Гельмгольц.

При выходе из лифта Уотсону преградили путь три обворожительные сотрудницы Синтетически-голосового отдела.

— Ах, душка Гельмгольц, пожалуйста, поедем с нами в Эксмур на ужин-пикничок, — стали они умоляюще льнуть к нему.

— Нет-нет, — покачал он головой, пробиваясь сквозь девичий заслон.

— Мы только тебя одного приглашаем!

Но даже эта заманчивая перспектива не поколебала Гельмгольца.

— Нет, — повторил он, решительно шагая. — Я занят.

Но девушки шли следом. Он сел в кабину к Бернарду, захлопнул дверцу. Вдогонку Гельмгольцу полетели прощальные укоры.

— Ох, эти женщины! — сказал он, когда машина поднялась в воздух. — Ох, эти женщины! — И покачал опять головой, нахмурился. — Беда прямо.

— Спасения нет, — поддакнул Бернард, а сам подумал: «Мне бы иметь столько девушек и так запросто». Ему неудержимо захотелось похвастаться перед Гельмгольцем. — Я беру Линайну Краун с собой в Нью-Мексико, — сказал он как можно небрежней.

— Неужели? — произнес Гельмгольц без всякого интереса. И продолжал после небольшой паузы: — Вот уже недели две как я отставил все свидания и заседания. Ты не представляешь, какой из-за этого поднят шум в институте. Но игра, по-моему, стоит свеч. В результате… — Он помедлил. — Необычный получается результат, весьма необычный.

Телесный недостаток может повести к своего рода умственному избытку. Но получается, что и наоборот бывает. Умственный избыток может вызвать в человеке сознательную, целенаправленную слепоту и глухоту умышленного одиночества, искусственную холодность аскетизма.

Остаток краткого пути они летели молча. Потом, удобно расположась на пневматических

диванах в комнате у Бернарда, они продолжили разговор.

— Приходилось ли тебе ощущать, — очень медленно заговорил Гельмгольц, — будто у тебя внутри что-то такое есть и просится на волю, хочет проявиться? Будто некая особенная сила пропадает в тебе попусту — вроде как река стекает вхолостую, а могла бы вертеть турбины. — Он вопросительно взглянул на Бернарда.

— Ты имеешь в виду те эмоции, которые можно было бы перечувствовать при ином образе жизни?

Гельмгольц отрицательно мотнул головой.

— Не совсем. Я о странном ощущении, которое бывает иногда, — будто мне дано что-то важное сказать и дана способность выразить это что-то, но только не знаю, что именно, и способность моя пропадает без пользы. Если бы по-другому писать или о другом о чем-то… — Он надолго умолк. — Видишь ли, — произнес он наконец, — я ловок придумывать фразы, слова, заставляющие встрепенуться, как от резкого укола, — такие внешне новые и будоражащие, хотя содержание у них гипнопедически-банальное. Но этого мне как-то мало. Мало, чтобы фразы были хороши; надо, чтобы целость, суть значительна была и

хороша.

— Но, Гельмгольц, вещи твои и в целом хороши.

Гельмгольц пожал плечами:

— Для своего масштаба. Но масштаб-то у них крайне мелкий. Маловажные я даю вещи. А чувствую, что способен дать гораздо более значительное что-то. И более глубокое, взволнованное. Но что? Есть ли у нас темы более значительные? А то, о чем пишу, — может ли оно меня взволновать? При правильном их применении слова способны быть всепроникающими, как рентгеновы лучи. Прочтешь — и ты уже пронизан и пронзен. Вот этому я и стараюсь, среди прочего, научить моих студентов — искусству всепронизывающего слова. Но на кой нужна пронзительность статье об очередном фордослужении или о новейших усовершенствованиях в запаховой музыке? Да и можно ли найти слова по-настоящему пронзительные — подобные, понимаешь ли, самым жестким рентгеновским лучам, — когда пишешь на такие темы? Можно ли сказать нечто, когда перед тобой ничто? Вот к чему в конце концов сводится дело. Я стараюсь, силюсь…

— Тшш! — произнес вдруг Бернард и предостерегающе поднял палец. — Кто-то там, по-моему,

за дверью, — прошептал он.

Гельмгольц встал, осторожно, на цыпочках подошел к двери и распахнул ее рывком. Разумеется, никого там не оказалось.

— Прости, — сказал Бернард виновато, с глупосконфуженным видом. — Должно быть, нервы расшатались. Когда человек окружен недоверием, то начинает сам не доверять.

Он провел ладонью по глазам, вздохнул, голос его звучал горестно. Он продолжал оправдываться.

— Если бы ты знал, что я перетерпел за последнее время, — сказал он почти со слезами. На него нахлынула, его затопила волна жалости к себе. — Если бы ты только знал!

Гельмгольц слушал с каким-то чувством неловкости. Жалко ему было бедняжку Бернарда. Но в то же время и стыдновато за друга. Не мешало бы Бернарду иметь немного больше самоуважения.

Глава пятая

I

К восьми часам стало смеркаться. Из рупоров на башне Гольф-клуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. Линайна и Генри прекратили игру и направились к домам клуба. Из-за ограды Треста внутренней и внешней секреции слышалось тысячеголосое мычание скота, чье молоко и чьи гормоны шли основным сырьем на большую фабрику в Фарнам-Ройал.

Непрестанный вертопланный гул полнил сумерки. Через каждые две с половиной минуты раздавался звонок отправления и сиплый гудок монорельсовой электрички — это низшие касты возвращались домой в столицу со своих игровых полей.

Линайна и Генри сели в машину, взлетели. На двухсотметровой высоте Генри убавил скорость, и минуту-две они висели над меркнущим ландшафтом. Как налитая мраком заводь, простирался внизу лес от Бернам-Бичез к ярким западным небесным берегам. На горизонте там рдела последняя малиновая полоса заката, а выше небо

тускнело — от оранжевых через желтые переходя к водянистым бледно-зеленым тонам. Правей, к северу, электрически сияла над деревьями фарнам-ройалская фабрика, свирепо сверкала всеми окнами своих двадцати этажей. Прямо под ногами виднелись строения Гольф-клуба — обширные, казарменного вида, постройки для низших каст и, за разделяющей стеной, дома поменьше, для альф и для бет. На подходах к моновокзалу черно было от муравьиного кишения низших каст. Из-под стеклянного свода вынесся на темную равнину освещенный поезд. Проводив его к юго-востоку, взгляд затем уперся в здания-махины Слауского крематория. Для безопасности ночных полетов четыре высоченные дымовые трубы подсвечены были прожекторами, а верхушки обозначены багряными сигнальными огнями. Крематорий высился, как веха.

— Зачем эти трубы обхвачены как бы балкончиками? — спросила Линайна.

— Фосфор улавливать, — лаконично стал объяснять Генри. — Поднимаясь по трубе, газы проходят четыре разные обработки. Раньше при кремации пятиокись фосфора выходила из кругооборота жизни. Теперь же более девяноста восьми процентов пятиокиси улавливается.

Что позволяет ежегодно получать без малого четыреста тонн фосфора от одной только Англии. — В голосе Генри было торжество и гордость, он радовался этому достижению всем сердцем, точно своему собственному. — Как приятно знать, что и после смерти мы продолжаем быть общественно полезными. Способствуем росту растений.

Линайна между тем перевела взгляд ниже, туда, где виден был моновокзал.

— Приятно, — кивнула она. — Но странно, что от альф и бет растения растут не лучше, чем от этих противненьких гамм, дельт и эпсилонов, что копошатся вон там.

— Все люди в физико-химическом отношении равны, — нравоучительно сказал Генри. — Притом даже эпсилоны выполняют необходимые функции.

«Даже эпсилоны»… Линайна вдруг вспомнила, как она, младшеклассница тогда, проснулась за полночь однажды и впервые услыхала наяву шепот, звучавший все ночи во сне. Лунный луч, шеренга белых кроваток; тихий голос произносит вкрадчиво (слова те, после стольких повторений, остались незабыты, сделались незабываемы): «Каждый трудится для всех других. Каждый нам

необходим. Даже от эпсилонов польза. Мы не смогли бы обойтись без эпсилонов. Каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим…» Линайна вспомнила, как она удивилась сразу, испугалась; как полчаса не спала и думала, думала; как под действием этих бесконечных повторений мозг ее успокаивался постепенно, плавно — и наползал, заволакивал сон…

— Наверно, эпсилона и не огорчает, что он эпсилон, — сказала она вслух.

— Разумеется, нет. С чего им огорчаться? Они же не знают, что такое быть неэпсилоном. Мы-то, конечно, огорчались бы. Но ведь у нас психика иначе сформирована. И наследственность у нас другая.

— А хорошо, что я не эпсилон, — сказала Линайна с глубоким убеждением.

— А была бы эпсилоном, — сказал Генри, — и благодаря воспитанию точно так же радовалась бы, что ты не бета и не альфа.

Он включил передний винт и направил машину к Лондону. За спиной, на западе, почти уже угасла малиновая с оранжевым заря; по небосклону в зенит всползла темная облачная гряда. Когда пролетали над крематорием, вертоплан подхватило потоком горячего газа из труб и тут

же снова опустило прохладным нисходящим током окружающего воздуха.

— Чудесно колыхнуло, прямо как на американских горках, — засмеялась Линайна от удовольствия.

— А отчего колыхнуло, знаешь? — произнес Генри почти с печалью. — Это окончательно, бесповоротно испарялась человеческая особь. Уходила вверх газовой горячей струей. Любопытно бы знать, кто это сгорал — мужчина или женщина, альфа или эпсилон?... — Он вздохнул. Затем решительно и бодро кончил мысль: — Во всяком случае, можем быть уверены в одном: кто б ни был тот человек, жизнь он прожил счастливую. Теперь каждый счастлив.

— Да, теперь каждый счастлив, — эхом откликнулась Линайна. Эту фразу им повторяли по сто пятьдесят раз еженощно в течение двенадцати лет.

Приземлясь в Вестминстере на крыше сорокаэтажного жилого дома, где проживал Генри, они спустились прямиком в столовый зал. Отлично там поужинали в веселой и шумной компании. К кофе подали им сому. Линайна приняла две полуграммовые таблетки, а Генри — три. В двадцать минут десятого они направились через

улицу в Вестминстерское аббатство — в новооткрытое там кабаре. Небо почти расчистилось; настала ночь, безлунная и звездная; но этого, в сущности, удручающего факта Линайна и Генри, к счастью, не заметили. Космическая тьма не видна была за световой рекламой. «КЭЛВИН СТОУПС И ЕГО ШЕСТНАДЦАТЬ СЕКСОФОНИСТОВ» — зазывно горели гигантские буквы на фасаде обновленного аббатства. «ЛУЧШИЙ В ЛОНДОНЕ ЦВЕТОЗАПАХОВЫЙ ОРГАН. ВСЯ НОВЕЙШАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА».

Они вошли. На них дохнуло теплом и душным ароматом амбры и сандала. На купольном своде аббатства цветовой орган в эту минуту рисовал тропический закат. Шестнадцать сексофонистов исполняли номер, давно всеми любимый: «Обшарьте целый свет — такой бутыли нет, как милая бутыль моя». На лощеном полу двигались в файв-степе четыреста пар. Линайна с Генри тут же составили четыреста первую. Как мелодичные коты под луной, взвывали сексофоны, стонали в альтовом и теноровом регистрах, точно в смертной муке любви. Изобилуя обертонами, их вибрирующий хор рос, возносился к кульминации, звучал все громче, громче — и наконец, по взмаху руки дирижера, грянула финальная

сверхчеловеческая, неземная нота, отбросивши в небытие шестнадцать дудящих людишек, — грянул гром в ля-бемоль-мажоре. Затем, почти что в бездыханности, почти что в темноте, последовало плавное спадание, диминуэндо — медленное, четвертями тона, нисхожденье в доминантовый аккорд, нескончаемо и тихо шепчущий поверх биенья ритма (в размере 5/4 и наполняющий секунды напряженным ожиданием. И вот томление разрешилось, взорвалось, брызнуло солнечным восходом, и все шестнадцать заголосили:

Бутыль моя, зачем нас разлучили?

Укупорюсь опять в моей бутыли.

Там вечная весна, небес голубизна,

Лазурное блаженство забытья.

Обшарьте целый свет — такой бутыли нет,

Как милая бутыль моя.

Линайна и Генри замысловато двигались по кругу вместе с остальными четырьмястами парами — и в то же время пребывали в другом мире, в теплом, роскошно цветном, бесконечно радушном, праздничном мире сомы. Как добры, как хороши собой, как восхитительно-забавны

все вокруг! «Бутыль моя, зачем нас разлучили?...» Но для Линайны и для Генри разлука эта кончилась... Они уже укупорились наглухо, надежно — вернулись под ясные небеса, в лазурное забытье. Изнемогшие шестнадцать положили свои сексофоны, и аппарат синтетической музыки вступил самоновейшим медленным мальтузианским блюзом, — и колыхало, баюкало Генри с Линайной, словно пару эмбрионов-близнецов на обутыленных волнах кровезаменителя.

— Спокойной ночи, дорогие друзья. Спокойной ночи, дорогие друзья, — стали прощаться репродукторы, смягчая приказ музыкальной и милой учтивостью тона. — Спокойной ночи, дорогие...

Послушно, вместе со всеми остальными, Линайна и Генри покинули Вестминстерское аббатство. Угнетающе-дальние звезды уже переместились в небесах на порядочный угол. Но хотя завеса рекламных огней поредела, Линайна с Генри по-прежнему блаженно не замечали ночи.

Повторная доза сомы, проглоченная за полчаса перед окончанием танцев, отгородила молодую пару и вовсе уж непроницаемой стеной от реального мира. Укупоренные, пересекли они улицу; укупоренные, поднялись к себе на двадцать девятый этаж. И однако, несмотря на

укупоренность и на второй грамм сомы, Линайна не забыла принять все предписанные правилами противозачаточные меры. Годы интенсивной гипнопедии в сочетании с мальтузианским тренажем, проводимым трижды в неделю с двенадцати до семнадцати лет, выработали в Линайне навык, почти такой же автоматический, непроизвольный, как мигание.

— Да, кстати, — сказала она, вернувшись из ванной, — Фанни Краун интересуется, где ты раздобыл этот мой прелестный синсафьянный патронташ.

II

Раз в две недели, по четвергам, Бернарду положено было участвовать в сходке единения. В день сходки, перед вечером, он пообедал с Гельмгольцем в «Афродитеуме» (куда Гельмгольца недавно приняли, согласно второму параграфу клубного устава), затем простился с другом, сел на крыше в вертакси и велел пилоту лететь в Фордзоновский дворец фордослужений. Поднявшись метров на триста, вертоплан понесся к востоку, и на развороте предстала глазам Бернарда великолепная громадина дворца. В прожекторной подсветке снежно сиял на Ладгейтском холме фасад «Форд-

зона» — триста двадцать метров искусственного белого каррарского мрамора; по четырем углам взлетно-посадочной площадки рдели в вечернем небе гигантские знаки Т, а из двадцати четырех огромных золотых труб-рупоров лилась, рокоча, торжественная синтетическая музыка.

— Опаздываю, форд побери, — пробормотал Бернард, увидев циферблат «Большого Генри» на дворцовой башне. И в самом деле, не успел он расплатиться с таксистом, как зазвучали куранты.

— Форд, — бухнул густейший бас из золотых раструбов. — Форд, форд, форд… — и так девять раз. Бернард поспешил к лифту.

В нижнем этаже дворца — грандиозный актовый зал для празднования Дня Форда и других массовых фордослужений. А над залом — по сотне на этаж — семь тысяч помещений, где группы единения проводят дважды в месяц свои сходки. Бернард мигом спустился на тридцать четвертый этаж, пробежал коридор, приостановился перед дверью № 3210 и, собравшись с духом, открыл ее, вошел.

Слава Форду, не все еще в сборе. Три стула из двенадцати, расставленных по окружности широкого стола, еще не заняты. Он поскорей, понезаметней сел на ближайший и приготовился

встретить тех, кто придет еще позже, укоризненным качанием головы.

— Ты сегодня в какой гольф играл — с препятствиями или в электромагнитный? — повернувшись к нему, спросила соседка слева.

Бернард взглянул на нее (Господи Форде! Это Моргана Ротшильд) и, краснея, признался, что не играл ни в какой. Моргана раскрыла глаза изумленно. Наступило неловкое молчание.

Затем Моргана подчеркнуто повернулась к своему соседу слева, не уклоняющемуся от спорта.

«Хорошенькое начало для сходки», — горько подумал Бернард, предчувствуя уже свою очередную неудачу — неполноту единения. Оглядеться надо было прежде, чем кидаться к стулу! Ведь можно же было сесть между Фифи Брэдлоо и Джоанной Дизель. А вместо этого он слепо сунулся к Моргане. К Моргане! О Господи! Эти черные ее бровищи — вернее, одна слитная бровища, потому что брови срослись над переносицей. Господи Форде! А справа — Клара Детердинг. Допустим, что у нее брови не срослись. Но Клара уж чересчур, чрезмерно пневматична. А вот Джоанна и Фифи — абсолютно в меру. Тугие блондиночки, не слишком крупные. И уже уселся между ними Том Кавагучи, верзила этот косолапый.

Последней пришла Сароджини Энгельс.

— Ты опоздала, — сурово сказал председатель группы. — Прошу, чтобы это не повторялось больше.

Сароджини извинилась и тихонько села между Джимом Бокановским и Гербертом Бакуниным. Теперь состав был полон, круг единения сомкнут и целостен. Мужчина, женщина, мужчина, женщина — чередование это шло по всему кольцу. Двенадцать сопричастников, чающих единения, готовых слить, сплавить, растворить свои двенадцать раздельных особей в общем большом организме.

Председатель встал, осенил себя знаком Т и включил синтетическую музыку — квазидуховой и суперструнный ансамбль, щемяще повторяющий, под неустанное, негромкое биение барабанов, колдовски-неотвязную короткую мелодию Первой Песни единения. Опять, опять, опять — и не в ушах уже звучал этот пульсирующий ритм, а под сердцем где-то; звон и стон созвучий не головой воспринимались, а всем сжимающимся нутром.

Председатель снова сотворил знамение Т и сел. Фордослужение началось. В центре стола лежали освященные таблетки сомы. Из рук в

руки передавалась круговая чаша клубничной сомовой воды с мороженым, и, произнеся: «Пью за мое растворение», каждый из двенадцати в свой черед осушил эту чашу. Затем, под звуки синтетического ансамбля, пропели Первую Песнь единения:

Двенадцать воедино слей,
Сбери нас, Форд, в поток единый,
Чтоб понесло нас, как твоей
Сияющей автомашиной…

Двенадцать зовущих к слиянию строф. Затем настало время пить по второй. Теперь тост гласил: «Пью за Великий Организм». Чаша обошла круг. Не умолкая, играла музыка. Били барабаны. От звенящих, стенящих созвучий замирало, млело, таяло нутро. Пропели Вторую Песнь единения, двенадцать куплетов опять:

Приди, Великий Организм,
И растворі в себе двенадцать.
Большая, слившаяся жизнь
Должна со смерти лишь начаться.

Сома стала уже оказывать свое действие. Заблестели глаза, разрумянились щеки, внутренним

светом вселюбия и доброты озарились лица и заулыбались счастливо, сердечно. Даже Бернард и тот ощутил некоторое размягчение. Когда Моргана Ротшильд взглянула на него, лучась улыбкой, он улыбнулся в ответ как только мог лучисто. Но эта бровь, черная сплошная бровь — увы, бровища не исчезла; он не мог, не мог отвлечься от нее, как ни старался. Размягчение оказалось недостаточным. Возможно, если бы он сидел между Джоанной и Фифи… По третьей стали пить. «Пью за близость Его Пришествия», — объявила Моргана, чья очередь была пускать чашу по кругу. Объявила громко, ликующе. Выпила и передала Бернарду. «Пью за близость Его Пришествия», — повторил он, искренне усиливаясь ощутить близость Высшего Организма; но бровища чернела неотступно, и для Бернарда Пришествие оставалось до ужаса неблизким. Он выпил, передал чашу Кларе Детердинг. «Опять не сольюсь, — подумал. — Уж точно не сольюсь». Но продолжал изо всех сил улыбаться лучезарно.

Чаша пошла по кругу. Председатель поднял руку, и по ее взмаху запели хором Третью Песнь единения:

Его Пришествие заслышав,

Истай, восторга не тая!
В Великом Организме Высшем
Я — это ты, ты — это я.

Строфа следовала за строфой, и голоса звучали все взволнованней. Воздух наэлектризованно вибрировал от близости Пришествия. Председатель выключил оркестр, и за финальной нотой финальной строфы настала полная тишина — тишь напрягшегося ожидания, дрожью, мурашками, морозом подирающего по спине. Председатель протянул руку; внезапно Голос, глубокий звучный Голос — музыкальней всякого человеческого голоса, гуще, задушевней, богаче трепетной любовью, и томлением, и жалостью, — таинственный, чудесный, сверхъестественный Голос раздался над их головами. «О Форд, Форд, Форд», — очень медленно произносил он, постепенно понижаясь, убывая. Сладостно растекалась в слушателях теплота — от солнечного сплетения к затылку и кончикам пальцев рук, ног; слезы подступали; сердце, все нутро взмывало и ворочалось. «О Форд!» — они истаивали; «Форд!» — растворялись, растворялись. И тут внезапно и ошеломительно:

— Слушайте! — трубно воззвал Голос. — Слу-

шайте!

Они прислушались. Пауза — и Голос сник до шепота, но шепота, который потрясал сильнее вопля:

— Шаги Высшего Организма…

И опять:

— Шаги Высшего Организма…

И совсем уж замирая:

— Шаги Высшего Организма слышны на ступенях.

И вновь настала тишина; и напряжение ожидания, на миг ослабшее, опять возросло, натянулось почти до предела. Шаги Высшего Организма — о, их слышно, их слышно теперь, они тихо звучат на ступенях, близясь, близясь, сходя по невидимым этим ступеням. Шаги Высшего, Великого… И напряжение зашло внезапно за предел. Расширив зрачки, раскрыв губы, Моргана Ротшильд поднялась рывком.

— Я слышу его, — закричала она. — Слышу!

— Он идет, — крикнула Сароджини.

— Да, он идет. Я слышу. — Фифи Брэдлоо и Том Кавагучи вскочили одновременно.

— О, о, о! — нечленораздельно возгласила Джоанна.

— Он близится! — завопил Джим Бокановский.

Подавшись вперед, председатель нажал кнопку, и ворвался бедлам медных труб и тарелок, исступленный бой тамтамов.

— Близится! Ай! — визгнула, точно ее режут, Клара Детердинг.

Чувствуя, что пора и ему проявить себя, Бернард тоже вскочил и воскликнул:

— Я слышу, он близится.

Неправда. Ничего он не слышал, и к нему никто не близился. Никто — невзирая на музыку, несмотря на растущее вокруг возбуждение. Но Бернард взмахивал руками, Бернард кричал, не отставая от других; и когда те начали приплясывать, притопывать, пришаркивать, то и он затанцевал и затоптался.

Хороводом пошли они по кругу, каждый положив руки на бедра идущему перед ним, каждый восклицая и притопывая в такт музыке, отбивая, отбивая этот такт на ягодицах впереди идущего; закружили, закружили хороводом, хлопая гулко и все как один — двенадцать пар ладоней по двенадцати плотным задам. Двенадцать как один, двенадцать как один. «Я слышу, слышу, он идет». Темп музыки ускорился; быстрее затопали ноги, быстрей, быстрей забили ритм ладони. И тут мощный синтетический бас зарокотал,

возвещая наступление единения, финальное слияние Двенадцати в Одно, в осуществленный, воплощенный Высший Организм. «Пей-гу-ляй-гу», — запел бас под ярые удары тамтамов:

Пей-гу-ляй-гу, веселись,
Друг-подруга, единись.
Слиться нас Господь зовет,
Обновиться нам дает.

— Пей-гу-ляй-гу, ве-се-лись, — подхватили пляшущие литургический запев, — друг-по-дру-га, е-ди-нись…

Освещение начало медленно меркнуть — но в то же время теплеть, делаться краснее, рдяней, — и вот уже они пляшут в вишневом сумраке Эмбрионария. «Пей-гу-ляй-гу…» В своем бутыльном, кровяного цвета мраке плясуны двигались вкруговую, отбивая, отбивая неустанно такт. «Ве-се-лись…» Затем хоровод дрогнул, распался, разделился, пары опустились на диваны, образующие внешнее кольцо вокруг стола и стульев. «Друг-по-дру-га…» Густо, нежно, задушевно ворковал могучий Голос; словно громадный негритянский голубь в красном сумраке благодетельно парил над лежащими теперь попарно плясунами.

Они стояли на крыше; «Большой Генри» только что проблаговестил одиннадцать. Ночь наступила тихая и теплая.

— Как дивно было! — сказала Фифи Брэдлоо, обращаясь к Бернарду. — Ну просто дивно!

Взгляд ее сиял восторгом, но в восторге этом не было ни следа волнения, возбуждения — ибо где полная удовлетворенность, там возбуждения уже нет. Восторг ее был тихим экстазом осуществленного слияния — покой не пустоты, не серой сытости, а покой гармонии, покой жизненных энергий, приведенных в равновесие. Покой обогащенной, обновленной жизни. Ибо сходка единения не только лишь взяла, но и дала — опустошила для того лишь, чтобы наполнить. Фифи всю, казалось, наполняло силами и совершенством; слияние для нее еще длилось.

— Ведь правда же дивно? — не унималась она, устремив на Бернарда эти свои сверхъестественно сияющие глаза.

— Да, именно дивно, — солгал он, глядя в сторону; ее преображенное лицо было ему и обвинением, и насмешливым напоминанием о его собственной неслиянности.

Бернард был сейчас все так же тоскливо отъединен от прочих, как и в начале сходки, — еще

даже горше обособлен, ибо опустошен, но не наполнен — сыт, но мертвой сытостью. Оторван и далек в то время, когда другие растворялись в Высшем Организме; одинок даже в объятиях Морганы — одинок, как еще никогда в жизни, и безнадежней прежнего замурован в себе. Из вишневого сумрака в мир обычных электрических огней Бернард вышел с чувством отчужденности, обратившимся в настоящую муку. Он был до крайности несчастен, и возможно (в том обвиняло сияние глаз Фифи) — возможно, по своей же собственной вине.

— Именно дивно, — повторил он; но маячило в его мозгу по-прежнему одно — бровь Морганы.

Глава шестая

I

Чудно́й, чудно́й, чудно́й — такое сложилось у Линайны мнение о Бернарде. Чудной настолько, что в последовавшие затем недели она не раз подумывала: а не отменить ли поездку в Нью-Мексико и не слетать ли взамен с Бенито Гувером на Северный полюс? Но только была она уже на полюсе — недавно, прошлым летом, с Джорджем Эдзелом, — и безотрадно оказалось там. Заняться нечем, отель до жути устарелый — спальни без телевизоров, и запахового орга́на нет, а только самая наидряннейшая синмузыка, и всего-навсего двадцать пять эскалаторных кортов на двести с лишним отдыхающих. Нет, снова на полюс — брр! Притом она разочек только летала в Америку. И то на два лишь дня, на уик-энд. Дешевая экскурсия в Нью-Йорк с Жан-Жаком Хабибуллой или с Бокановским Джонсом? Забыла уже. Да и какая разница? А полететь туда теперь на целую неделю — так заманчиво! Да к тому же из этой недели три дня, если не больше, провести в индейской резервации! Во всем их Центре лишь

человек пять-шесть побывали в диких заповедниках. А Бернард как психолог-высшекастовик имеет право на пропуск к дикарям — среди ее знакомых чуть ли не единственный с таким правом. Так что случай из ряда вон. Но и странности у Бернарда настолько из ряда вон, что Линайна всерьез колебалась — не пренебречь ли этой редкостной возможностью и не махнуть ли все-таки на полюс с волосатеньким Бенито? По крайней мере Бенито нормален. А вот Бернард…

Для Фанни-то все его чудаковатости объяснялись одним — добавкой спирта в кровезаменитель. Но Генри, с которым Линайна как-то вечером в постели озабоченно стала обсуждать своего нового партнера, — Генри сравнил бедняжку Бернарда с носорогом.

— Носорога не выдрессируешь, — пояснил Генри в своей лаконично-энергичной манере. — Бывают и среди людей почти что носороги; формировке поддаются весьма туго. Бернард из таких горемык. Счастье его, что он работник неплохой. Иначе Директор давно бы с ним распростился. А впрочем, — прибавил Генри в утешение, — он, по-моему вреда не причинит.

Вреда-то, может, и не причинит; но беспокойство очень даже причиняет. Взять хотя бы эту

его манию уединяться, удаляться от общества. Ну чем можно заняться, уединясь вдвоем? (Не считая секса, разумеется, — но невозможно же заниматься все время только этим.) Ну правда, чем заняться, уйдя от общества? Да практически нечем. День, который они впервые проводили вместе, выдался особенно хороший. Линайна предложила поплавать в бассейне Торкийского пляжного клуба и затем пообедать в «Оксфорд-юнионе». Но Бернард возразил, что и в Торки, и в Оксфорде будет слишком людно.

— Ну тогда в Сент-Андрус, поиграем там в электромагнитный гольф.

Но опять не хочет Бернард: не стоит, видите ли, на гольф тратить время.

— А на что же его тратить? — спросила Линайна не без удивления.

На пешие, видите ли, прогулки по Озерному краю — именно это предложил Бернард. Приземлиться на вершине горы Скидо и побродить по вересковым пустошам.

— Вдвоем с тобой, Линайна.

— Но, Бернард, мы всю ночь будем вдвоем.

Бернард покраснел, опустил глаза.

— Я хочу сказать — побродим, поговорим вдвоем, — пробормотал он.

— Поговорим? Но о чем?

Бродить и говорить — разве так проводят люди день?

В конце концов она убедила Бернарда, как тот ни упирался, слетать в Амстердам на четвертьфинал чемпионата по борьбе среди женщин-тяжеловесов.

— Опять в толпу, — ворчал Бернард. — Вечно в толпе.

И до самого вечера хмурился упрямо; не вступал в разговоры с друзьями Линайны, которых они встречали множество в баре «Сомороженое» в перерывах между схватками; наотрез отказался полечить свою хандру сомовой водой с малиновым пломбиром, как ни убеждала Линайна.

— Предпочитаю быть самим собой, — сказал он. — Пусть хмурым, но собой. А не кем-то другим, хоть и развеселым.

— Дорога таблетка к невеселому дню, — блеснула Линайна перлом мудрости, усвоенной во сне.

Бернард с досадой оттолкнул протянутый фужер (полграмма сомы в сливочно-малиновом растворе).

— Не надо раздражаться, — сказала Линайна. — Помни: «Сому ам! — и нету драм».

— Замолчи ты, ради Форда! — воскликнул

Бернард.

Линайна пожала плечами.

— Лучше полграмма, чем ругань и драма, — возразила она с достоинством и выпила фужер сама.

На обратном пути через Ла-Манш Бернард из упрямства выключил передний винт, и вертоплан повис всего метрах в тридцати над волнами. Погода стала уже портиться; подул с юго-запада ветер, небо заволоклось.

— Гляди, — сказал он повелительно Линайне.

Линайна поглядела и отшатнулась от окна:

— Но там ведь ужас!

Ее устрашила ветровая пустыня ночи, черная вздымающаяся внизу вода в клочьях пены, бледный, смятенный, чахлый лик луны среди бегущих облаков.

— Включим радио. Скорей! — Она потянулась к щитку управления, к ручке приемника, повернула ее наудачу.

— «...Там вечная весна, — запели, тремолируя, шестнадцать фальцетов, — небес голубиз...»

Ик! — щелкнуло и пресекло руладу. Это Бернард выключил приемник.

— Я хочу спокойно глядеть на море, — сказал он. — А этот тошный вой даже глядеть мешает.

— Но они очаровательно поют. И я не хочу глядеть.

— А я хочу, — не уступал Бернард. — От моря у меня такое чувство… — Он помедлил, поискал слова. — Я как бы становлюсь более собой. Понимаешь, самим собой, не вовсе без остатка подчиненным чему-то. Не просто клеточкой, частицей общественного целого. А на тебя, Линайна, неужели не действует море?

Но Линайна повторяла со слезами:

— Там ведь ужас, там ужас. И как ты можешь говорить, что не желаешь быть частицей общественного целого! Ведь каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим. Даже от эпсилонов…

— Знаю, знаю, — сказал Бернард насмешливо. — «Даже от эпсилонов польза». И даже от меня. Но чихал я на эту пользу!

Линайну ошеломило услышанное фордохульство.

— Бернард! — воскликнула она изумленно и горестно. — Как это ты можешь?

— Как это могу я? — Он говорил уже спокойней, задумчивей. — Нет, по-настоящему спросить бы надо: «Как это я не могу?», или вернее — я ведь отлично знаю, отчего я не могу. — «А что, если

бы я мог, если б я был свободен, а не сформован по-рабьи?»

— Но, Бернард, ты говоришь ужаснейшие вещи.

— А ты бы разве не хотела быть свободной?

— Не знаю, о чем ты говоришь. Я и так свободна. Свободна веселиться, наслаждаться. Теперь каждый счастлив.

— Да, — засмеялся Бернард. — «Теперь каждый счастлив». Мы вдалбливаем это детям, начиная с пяти лет. Но разве не манит тебя другая свобода — свобода быть счастливой как-то по-иному? Как-то, скажем, по-своему, а не на общий образец?

— Не знаю, о чем ты, — повторила она и, повернувшись к нему: — О, Бернард, летим дальше! — сказала умоляюще Линайна. — Мне здесь невыносимо.

— Разве ты не хочешь быть со мной?

— Да хочу же! Но не среди этого ужаса.

— Я думал, здесь… думал, мы сделаемся ближе друг другу — здесь, где только море и луна. Ближе, чем в той толпе, чем даже дома у меня. Неужели тебе не понять?

— Ничего не понять мне, — решительно сказала она, утверждаясь в своем непонимании. — Ничего. И непонятней всего, — продолжала она

мягче, — почему ты не примешь сому, когда у тебя приступ этих мерзких мыслей. Ты бы забыл о них тут же. И не тосковал бы, а веселился. Со мною вместе. — И сквозь тревогу и недоумение она улыбнулась, делая свою улыбку чувственной, призывной, обольстительной.

Он молча и очень серьезно смотрел на нее, не отвечая на призыв, — смотрел пристально. И через несколько секунд Линайна дрогнула и отвела глаза с неловким смешком; хотела замять неловкость и не нашлась, что сказать. Пауза тягостно затянулась.

Наконец Бернард заговорил — тихо и устало.

— Ну, ладно, — произнес он, — летим дальше. — И, выжав педаль акселератора, послал машину резко ввысь. На километровой высоте он включил передний винт. Минуты две они летели молча. Затем Бернард неожиданно начал смеяться. По-чудному как-то, подумалось Линайне, — но все же засмеялся.

— Лучше стало? — рискнула она спросить.

Вместо ответа он снял одну руку со штурвала и обнял ее этой рукой, нежно поглаживая груди.

«Слава Форду, — подумала она, — вернулся в норму».

Еще полчаса — и они уже в квартире Бернарда.

Он проглотил сразу четыре таблетки сомы, включил телевизор и радио и стал раздеваться.

* * *

— Ну как? — спросила Линайна многозначительно-лукаво, когда назавтра они встретились под вечер на крыше. — Ведь славно же было вчера?

Бернард кивнул. Они сели в машину. Вертоплан дернулся, взлетел.

— Все говорят, что я ужасно пневматична, — задумчивым тоном сказала Линайна, похлопывая себя по бедрам.

— Ужасно, — подтвердил Бернард. Но в глазах его мелькнула боль. «Будто о куске мяса говорят», — подумал он.

Линайна поглядела на него с некоторой тревогой.

— А не кажется тебе, что я чересчур полненькая?

— Нет, — успокоительно качнул он головой. («Будто о куске мяса…»)

— Я ведь как раз в меру?

Бернард кивнул.

— По всем статьям хороша?

— Абсолютно по всем, — заверил он. И подумал:

«Она и сама так на себя смотрит. Ей не обидно быть куском мяса».

Линайна улыбнулась торжествующе. Но, как оказалось, прежде времени.

— А все же, — продолжал он, помолчав, — пусть бы кончилось у нас вчера по-другому.

— По-другому? (А какие другие бывают концы?)

— Я не хотел, чтобы кончилось у нас вчера постелью, — уточнил он.

Линайна удивилась.

— Пусть бы не сразу, не в первый же вечер.

— Но чем же тогда?…

В ответ Бернард понес несусветную и опасную чушь. Линайна мысленно заткнула себе уши поплотней; но отдельные фразы то и дело прорывались в ее сознание:

— …попробовать бы, что получится, если застопорить порыв, отложить исполнение желания…

Слова эти задели некий рычажок в ее мозгу.

— Не откладывай на завтра то, чем можешь насладиться сегодня, — с важностью произнесла она.

— Двести повторений дважды в неделю с четырнадцати до шестнадцати с половиной лет, — сухо отозвался он на это. И продолжал городить свой

дикий вздор. — Я хочу познать страсть, — доходили до Линайны фразы. — Хочу испытать сильное чувство.

— Когда страстями увлекаются, устои общества шатаются, — молвила Линайна.

— Ну и пошатались бы — что за беда.

— Бернард!

Но Бернарда не унять было.

— В умственной сфере и в рабочие часы мы взрослые. А в сфере чувства и желания — младенцы.

— Господь наш Форд любил младенцев.

Словно не слыша, Бернард продолжал:

— Меня осенило на днях, что можно ведь быть взрослым во всех сферах жизни.

— Не понимаю, — твердо возразила Линайна.

— Знаю, что не понимаешь. Потому-то мы и легли сразу в постель, как младенцы, а не повременили с этим, как взрослые.

— Но было же славно, — не уступала Линайна. — Ведь славно?

— Еще бы не славно, — ответил он, но таким скорбным тоном, с такой унылостью в лице, что весь остаток торжества Линайны улетучился. «Видно, все-таки показалась я ему слишком полненькой».

— Предупреждала я тебя, — только и сказала Фанни, когда Линайна поделилась с ней своими печалями. — Это все спирт, который влили ему в кровезаменитель.

— А все равно он мне нравится, — не сдалась Линайна. — У него ужасно ласковые руки. И плечиками вздергивает до того мило. — Она вздохнула. — Жалко лишь, что он такой чудно́й.

II

Перед дверью директорского кабинета Бернард перевел дух, расправил плечи, зная, что за дверью его ждет неодобрение и неприязнь, и готовя себя к этому. Постучал и вошел.

— Нужна ваша подпись на пропуске, — сказал он как можно беззаботнее и положил листок Директору на стол.

Директор покосился на Бернарда кисло. Но пропуск был со штампом канцелярии Главноуправителя, и внизу размашисто чернело: Мустафа Монд. Все в полнейшем порядке. Придраться было не к чему. Директор поставил свои инициалы — две бледные приниженные буковки в ногах у жирной подписи Главноуправителя — и хотел уже вернуть листок без всяких комментариев и без напутственного дружеского «С

Фордом!», но тут взгляд его наткнулся на слово «Нью-Мексико».

— Резервация в Нью-Мексико? — произнес он, и в голосе его неожиданно послышалось — и на лице, поднятом к Бернарду, изобразилось — взволнованное удивление.

В свою очередь удивленный, Бернард кивнул. Пауза.

Директор откинулся на спинку кресла, хмурясь.

— Сколько же тому лет? — проговорил он, обращаясь больше к себе самому, чем к Бернарду. — Двадцать, пожалуй. Если не все двадцать пять. Я был тогда примерно в вашем возрасте… — Он вздохнул, покачал головой.

Бернарду стало неловко в высшей степени. Директор, человек предельно благопристойный, щепетильно корректный, и на тебе — совершает такой вопиющий ляпсус! Бернарду хотелось отвернуться, выбежать из кабинета. Не то чтобы он сам считал в корне предосудительным вести речь об отдаленном прошлом — от подобных гипнопедических предрассудков он уже полностью освободился, как ему казалось. Конфузно ему стало оттого, что Директор был ему известен как ярый враг нарушения приличия — и вот этот

же самый Директор нарушал теперь запрет. Что же его понудило, толкнуло предаться воспоминаниям? Подавляя неловкость, Бернард жадно слушал.

— Мне, как и вам, — говорил Директор, — захотелось взглянуть на дикарей. Я взял пропуск в Нью-Мексико и отправился туда на краткий летний отдых. С девушкой, моей очередной подругой. Она была бета-минусовичка и, кажется… (он закрыл глаза), кажется, русоволосая. Во всяком случае, пневматична, чрезвычайно пневматична — это я помню. Ну-с, глядели мы там на дикарей, на лошадях катались и тому подобное. А потом — уже почти в последний день моего отпуска, — потом вдруг… пропала без вести моя подруга. Мы с ней поехали кататься на одну из этих мерзких гор, было невыносимо жарко, душно, и поев, мы прилегли и уснули. Вернее, я уснул. Она же, видимо, встала и пошла прогуляться. Когда я проснулся, ее рядом не было. А разразилась ужасающая гроза, буквально ужасающая. Лило, грохотало, слепило молниями; лошади наши сорвались с привязи и ускакали; я упал, пытаясь удержать их, и ушиб колено, да так, что вконец охромел. Но все же я искал, звал, разыскивал. Нигде ни следа. Тогда я подумал, что

она, должно быть, вернулась одна на туристский пункт отдыха. Чуть не ползком стал спускаться обратно в долину. Колено болело мучительно, а свои таблетки сомы я потерял. Спускался я не один час. Уже после полуночи добрался до пункта. И там ее не было; там ее не было, — повторил Директор. Помолчал. — На следующий день провели поиски. Но найти мы ее не смогли. Должно быть, упала в ущелье куда-нибудь или растерзал ее кугуар. Одному Форду известно. Так или иначе, происшествие ужасное. Расстроило меня чрезвычайно. Я бы даже сказал: чрезмерно. Ибо, в конце концов, несчастный случай такого рода может произойти с каждым; и, разумеется, общественный организм продолжает жить, несмотря на смену составляющих его клеток. — Но, по-видимому, это гипнопедическое утешение не вполне утешало Директора. Опустив голову, он тихо сказал: — Мне даже снится иногда, как я вскакиваю от удара грома, а ее нет рядом, как ищу, ищу, ищу ее в лесу. — Он умолк, ушел в воспоминания.

— Большое вы испытали потрясение, — сказал Бернард почти с завистью.

При звуке его голоса Директор вздрогнул и очнулся; бросил какой-то виноватый взгляд на Бернарда, опустил глаза, побагровел; метнул на

Бернарда новый взгляд — опасливый — и с гневным достоинством произнес:

— Не воображайте, будто у меня с девушкой было что-либо неблагопристойное. Ровно ничего излишне эмоционального или не в меру продолжительного. Взаимопользование наше было полностью здоровым и нормальным. — Он вернул Бернарду пропуск. — Не знаю, зачем я рассказал вам этот незначительный и скучный эпизод.

И с досады на то, что выболтал постыдный свой секрет, Директор вдруг свирепо накинулся на Бернарда:

— И я хотел бы воспользоваться случаем, мистер Маркс (в глазах Директора теперь была откровенная злоба), чтобы сообщить вам, что меня нимало не радуют сведения, которые я получаю о вашем внеслужебном поведении. Вы скажете, что это меня не касается. Нет, касается. На мне лежит забота о репутации нашего Центра. Мои работники должны вести себя безупречно, в особенности члены высших каст. Формирование альфовиков не предусматривает бессознательного следования инфантильным нормам поведения. Но тем сознательнее и усерднее должны альфовики следовать этим нормам.

Быть инфантильным, младенчески-нормальным даже вопреки своим склонностям — их прямой долг. Итак, вы предупреждены. — Голос Директора звенел от гнева, уже вполне самоотрешенного и праведного, — был уже голосом всего осуждающего Общества. — Если я опять услышу о каком-либо вашем отступлении от младенческой благовоспитанности и нормальности, то осуществлю ваш перевод в один из филиалов Центра — предпочтительно в Исландию. Честь имею. — И, повернувшись в своем вращающемся кресле прочь от Бернарда, он взял перо, принялся что-то писать.

«Привел в чувство голубчика», — думал Директор. Но он ошибался. Бернард вышел гордо, хлопнув дверью, — ликуя от мысли, что он один геройски противостоит всему порядку вещей; его окрыляло, пьянило сознание своей особой важности и значимости. Даже мысль о гонениях не угнетала, а скорей бодрила. Он чувствовал в себе довольно сил, чтобы бороться с бедствиями и преодолевать их, даже Исландия его не пугала. И тем увереннее был он в своих силах, что ни на секунду не верил в серьезность опасности. За такой пустяк людей не переводят. Исландия — не больше чем угроза. Бодрящая, живительная

угроза. Шагая коридором, он даже насвистывал.

Вечером он поведал Гельмгольцу о стычке с Директором, и отвагою дышала его повесть. Заканчивалась она так:

— А в ответ я попросту послал его в Бездну Прошлого и круто вышел вон. И точка.

Он ожидающе глянул на Гельмгольца, надеясь, что друг наградит его должной поддержкой, пониманием, восхищением. Но не тут-то было. Гельмгольц сидел молча, уставившись в пол.

Он любил Бернарда, был благодарен ему за то, что с ним единственным мог говорить о вещах, по-настоящему важных. Однако были в Бернарде неприятнейшие черты. Это хвастовство, например. И чередуется оно с приступами малодушной жалости к себе. И эта удручающая привычка храбриться после драки, задним числом выказывать необычайное присутствие духа, ранее отсутствовавшего, Гельмгольц терпеть этого не мог — именно потому, что любил Бернарда. Шли минуты. Гельмгольц упорно не подымал глаз. И внезапно Бернард покраснел и отвернулся.

III

Полет был ничем не примечателен. «Синяя Тихоокеанская Ракета» в Новом Орлеане села на

две с половиной минуты раньше времени, затем потеряла четыре минуты, попав в ураган над Техасом, но, подхваченная на 95-м меридиане попутным воздушным потоком, сумела приземлиться в Санта-Фе с менее чем сорокасекундным опозданием.

— Сорок секунд на шесть с половиной часов полета. Не так уж плохо, — отдала должное экипажу Линайна.

В Санта-Фе и заночевали. Отель там оказался отличный — несравненно лучше, скажем, того ужасного «Полюсного сияния», где Линайна так томилась и скучала прошлым летом. В каждой спальне здесь подача сжиженного воздуха, телевидение, вибровакуумный массаж, радио, кипящий раствор кофеина, подогретые противозачаточные средства и на выбор восемь краников с духами. В холле встретила их синтетическая музыка, не оставляющая желать лучшего. В лифте плакатик доводил до сведения, что при отеле шестьдесят эскалаторно-теннисных кортов, и приглашал в парк на гольф — как электромагнитный, так и с препятствиями.

— Но это просто замечательно, — воскликнула Линайна. — Прямо ехать никуда больше не хочется. Шестьдесят кортов!..

— А в резервации ни одного не будет, — предупредил Бернард. — И ни духов, ни телевизора, ни даже горячей воды. Если ты без этого не сможешь, то оставайся и жди меня здесь.

Линайна даже обиделась.

— Отчего же не смогу? Я только сказала, что тут замечательно, потому что… ну потому, что замечательная же вещь прогресс.

— Пятьсот повторений, раз в неделю, от тринадцати до семнадцати, — уныло пробурчал Бернард себе под нос.

— Ты что-то сказал?

— Я говорю: прогресс — замечательная вещь. Поэтому если тебе не слишком хочется в резервацию, то и не надо.

— Но мне хочется.

— Ладно, едем, — сказал Бернард почти угрожающе.

На пропуске полагалась еще виза Хранителя резервации, и утром они явились к нему. Негр, эпсилон-плюсовик, отнес в кабинет визитную карточку Бернарда, и почти сразу же их пригласили туда.

Хранитель был коренастенький альфа-минусовик — короткоголовый блондин с круглым красным лицом и гудящим, как у лектора-гипно-

педа, голосом. Он немедленно засыпал их нужной и ненужной информацией и непрошеными добрыми советами. Раз начав, он уже не способен был остановиться.

— …пятьсот шестьдесят тысяч квадратных километров и разделяется на четыре обособленных участка, каждый из которых окружен высоковольтным проволочным ограждением.

Тут Бернард почему-то вспомнил вдруг, что в ванной у себя дома не завернул одеколонный краник.

— Ток в ограду поступает от Гранд-Каньонской гидростанции.

«Пока вернусь в Лондон, вытечет на колоссальную сумму. — Бернард мысленно увидел, как стрелка расходомера ползет и ползет по кругу — муравьино, неустанно. — Быстрей позвонить Гельмгольцу».

— …пять с лишним тысяч километров ограды под напряжением в шестьдесят тысяч вольт. — Хранитель сделал драматическую паузу, и Линайна учтиво изумилась:

— Неужели!

Она понятия не имела, о чем гудит Хранитель. Как только он начал разглагольствовать, она незаметно проглотила таблетку сомы и теперь

сидела, блаженно не слушая и ни о чем не думая, но неотрывным взором больших синих глаз выражая упоенное внимание.

— Прикосновение к ограде влечет моментальную смерть, — торжественно сообщил Хранитель. — Отсюда вытекает невозможность выхода из резервации.

Слово «вытекает» подстегнуло Бернарда.

— Пожалуй, — сказал он, привставая, — мы уже отняли у вас довольно времени. (Черная стрелка спешила, ползла юрким насекомым, сгрызая время, пожирая деньги Бернарда.)

— Из резервации выход невозможен, — повторил Хранитель, жестом веля Бернарду сесть; и поскольку пропуск не был еще завизирован, Бернарду пришлось подчиниться. — Для тех, кто там родился, — а не забывайте, дорогая моя девушка… — прибавил он, маслено глядя на Линайну и переходя на плотоядный шепот: — Не забывайте, что в резервации дети все еще родятся, именно рождаются, как ни отталкивающе это звучит… — Он надеялся, что непристойная тема заставит Линайну покраснеть; но она лишь улыбнулась, делая вид, что слушает и вникает, и сказала: «Неужели!» Хранитель разочарованно продолжил: — Для тех, повторяю, кто там родился, вся жизнь

до последнего дня должна протечь в пределах резервации.

Протечь… Сто кубиков одеколона каждую минуту. Шесть литров в час.

— Пожалуй, — опять начал Бернард, — мы уже…

Хранитель, наклонясь вперед, постучал по столу указательным пальцем.

— Вы спросите меня, какова численность жителей резервации. А я отвечу вам, — прогудел он торжествующе, — я отвечу, что мы не знаем. Оцениваем лишь предположительно.

— Неужели!

— Именно так, милая моя девушка.

Шесть помножить на двадцать четыре — нет, уже тридцать шесть часов протекло почти. Бернард побледнел, дрожал от нетерпения. Но Хранитель неумолимо продолжал гудеть:

— …тысяч примерно шестьдесят индейцев и метисов… полнейшие дикари… наши инспектора навещают время от времени… никакой иной связи с цивилизованным миром… по-прежнему хранят свой отвратительный уклад жизни… вступают в брак — но вряд ли вам, милая девушка, знаком этот термин; живут семьями… о научном формировании психики нет и речи…

чудовищные суеверия… христианство, тотемизм, поклонение предкам… говорят лишь на таких вымерших языках, как зуньи, испанский, атапасский… дикобразы, пумы и прочее свирепое зверье… заразные болезни… жрецы… ядовитые ящерицы…

— Неужели!

Наконец им все же удалось уйти. Бернард кинулся к телефону. Скорей, скорей; но чуть не целых три минуты его соединяли с Гельмгольцем.

— Словно мы уже среди дикарей, — пожаловался он Линайне. — Безобразно медленно работают!

— Прими таблетку, — посоветовала Линайна.

Он отказался, предпочитая злиться. И наконец его соединили, Гельмгольц слушает — и Бернард объяснил, что случилось, и тот пообещал незамедлительно, сейчас же слетать туда, закрыть кран, да-да, сейчас же, но сообщил кстати Бернарду, что Директор Инкубатория вчера вечером объявил…

— Как? Ищет психолога на мое место? — повторил Бернард горестным голосом. — Уже и решено? Об Исландии упомянул? Господи Форде! В Исландию… — Он положил трубку, повернулся

к Линайне. Лицо его было как мел, вид — убитый.

— Что случилось? — спросила она.

— Случилось… — Он тяжело опустился на стул. — Меня отправляют в Исландию.

Часто он, бывало, раньше думал, что не худо бы перенести какое-нибудь суровое испытание, мучение, гонение — причем без сомы, опираясь лишь на собственную силу духа; ему прямо мечталось об ударе судьбы. Всего неделю назад, у Директора, он воображал, будто способен бесстрашно противостоять насилию — стоически, без слова жалобы, страдать. Угрозы Директора только окрыляли его, возносили над жизнью. Но, как теперь он понял, потому лишь окрыляли, что он не принимал их полностью всерьез; он не верил, что Директор в самом деле будет действовать. Теперь, когда угрозы зримо осуществлялись, Бернард пришел в ужас. От воображаемого стоицизма, от сочиненного бесстрашия не осталось и следа.

Он бесился на себя: какой же я дурак! Бесился на Директора: как это несправедливо — не дать даже возможности исправиться (а он теперь не сомневался, что хотел, ей-форду, хотел исправиться). И в Исландию, в Исландию…

Линайна покачала головой.

— «Примет сому человек — время прекращает бег, — напомнила она. — Сладко человек забудет и что было, и что будет».

В конце концов она уговорила его проглотить четыре таблетки сомы. И в несколько минут прошлое с будущим исчезло; розово расцвел цвет настоящего. Позвонил портье отеля и сказал, что по распоряжению Хранителя прилетел за ними охранник из резервации и ждет с вертопланом на крыше. Они без промедления поднялись туда. Очень светлый мулат в гамма-зеленой форме поприветствовал их и ознакомил с программой сегодняшней экскурсии.

В первой половине дня — облет и обзор сверху десяти — двенадцати основных поселений-пуэбло, затем приземление и обед в долине Мальпаис. Там неплохой туристский пункт, а наверху, в пуэбло у дикарей, — летнее празднество должно быть. Закончить день там будет интереснее всего.

Они сели в вертоплан, поднялись в воздух. Через десять минут они были уже над рубежом, отделяющим цивилизацию от дикости. Пересекая горы и долы, солончаки и пески, леса и лиловые недра каньонов, через утесы, острые

пики и плоские месы, гордо и неудержимо по прямой шла вдаль ограда — геометрический символ победной воли человека. А у ее подножия там и сям белела мозаика сухих костей, темнел еще не сгнивший труп на рыжеватой почве, отмечая место, где коснулся смертоносных проводов бык или олень, кугуар, дикобраз или койот или слетел на мертвечину гриф и сражен был током, словно небесной карой за прожорливость.

— Нету им науки, — сказал зеленый охранник-пилот, указывая на белые скелеты внизу. — Неграмотная публика, — прибавил он со смехом, будто торжествуя личную победу над убитыми током животными.

Бернард тоже засмеялся; после принятых двух граммов сомы шуточка мулата показалась забавной. А посмеявшись, тут же и уснул, и сонный пролетел над Таосом и Тесукве, над Намбе, Пикурисом и Похоакве, над Сиа и Кочити, над Лагуной, Акомой и Заколдованной Месой, над Зуньи, Сиболой и Охо-Кальенте, — когда же проснулся, вертоплан стоял уже на земле, Линайна с чемоданами в руках входила в квадратное зданьице, а зеленый пилот говорил на непонятном языке с хмурым молодым индейцем.

— Прилетели, — сказал пилот вышедшему

из кабины Бернарду. — Мальпаис, туристский пункт. А ближе к вечеру в пуэбло будет пляска. Он проведет вас. — Мулат кивнул на индейца. — Потеха там, думаю, будет. — Он широко ухмыльнулся. — Они все делают потешно. — И с этими словами он сел в кабину, запустил моторы. — Завтра я вернусь. Не беспокойтесь, — сказал он Линайне, — они не тронут; дикари полностью ручные. Химические бомбы отучили их кусаться. — Ухмыляясь, он включил верхние винты, нажал на акселератор и улетел.

Глава седьмая

Меса была как заштилевший корабль среди моря светло-бурой пыли — вернее, среди извилистого неширокого пролива. Между крутыми его берегами, по дну долины косо шла зеленая полоса — река с приречными полями. А на каменном корабле месы, на носу корабля, стояло поселение-пуэбло Мальпаис и казалось скальным выростом четких, прямых очертаний. Древние дома вздымались многоярусно, как ступенчатые усеченные пирамиды. У подошвы их был ералаш низеньких построек, путаница глиняных заборов — и затем отвесно падали обрывы на три стороны в долину. Несколько прямых столбиков дыма таяло в безветренной голубой вышине.

— Странно здесь, — сказала Линайна. — Очень странно. — («Странно» было у Линайны словом осуждающим.) — Не нравится мне. И человек этот не нравится. — Она кивнула на индейца-провожатого. Неприязнь была явно обоюдной: даже спина индейца, шедшего впереди, выражала враждебное, угрюмое презрение. — И потом, — прибавила она вполголоса, — от него дурно пахнет.

Бернард не стал отрицать этот факт. Они продолжали идти.

Неожиданно воздух весь ожил, запульсировал, словно наполнясь неустанным сердцебиением. Это сверху, из Мальпаиса, донесся барабанный бой. Они ускорили шаги, подчиняясь ритму таинственного этого сердца. Тропа привела их к подножию обрыва. Над ними возносил свои борта почти на сотню метров корабль месы.

— Ах, зачем с нами нет вертоплана, — сказала Линайна, обиженно глядя на голую кручу. — Ненавижу пешее карабканье. Стоя под горой, кажешься такою маленькой.

Прошагали еще некоторое расстояние в тени холма, обогнули скальный выступ и увидели рассекающую склон ложбину, овражную промоину. Стали подыматься по ней, как по корабельному трапу. Тропинка шла крутым зигзагом. Пульс барабанов делался иногда почти неслышен, а порой казалось, что они бьют совсем где-то рядом.

На половине подъема орел пролетел мимо них — так близко, что в лицо им дохнул холодноватый ветер крыльев. Куча костей валялась в расщелине. Все было угнетающе-странным, и от индейца пахло все сильнее. Наконец они вышли наверх, в яркий солнечный свет. Меса лежала

перед ними плоской каменной палубой.

— Как будто мы на диске Черинг-Тийской башни, — обрадовалась Линайна. Но недолго пришлось радоваться этому успокоительному сходству. Мягкий топот ног заставил их обернуться. Темно-коричневые, обнаженные от горла до пупка и разрисованные белыми полосами («Как теннисные корты на асфальте», — рассказывала потом Линайна), с лицами, нелюдски заляпанными алым, черным и охряным, по тропе навстречу им бежали два индейца. В их черные косы были вплетены полоски лисьего меха и красные лоскуты. Легкие, индюшиного пера, накидки развевались за плечами; окружая голову, пышнели высокие короны перьев. На бегу звенели и брякали серебряные их браслеты, тяжелые мониста из костяных и бирюзовых бус. Они бежали молча, спокойно в своих оленьих мокасинах. Один держал метелку из перьев; у другого в каждой руке было три или четыре толстые веревки. Одна веревка косо дернулась, извилась, и Линайна вдруг увидела, что это змеи.

Бегущие близились, близились; их черные глаза смотрели на Линайну, но как бы совершенно не видя, как будто она — пустое место. Змея, дернувшись, опять обвисла. Индейцы пробежали

мимо.

— Не нравится мне, — сказала Линайна. — Не нравится мне.

Но еще меньше понравилось ей то, что встретило при входе в пуэбло, где индеец их оставил, а сам пошел сказать о гостях. Грязь их встретила, кучи отбросов, пыль, собаки, мухи. Лицо Линайны сморщилось в гадливую гримасу. Она прижала к носу платочек.

— Да как они могут так жить? — воскликнула она, негодуя, не веря глазам.

Бернард пожал философски плечами.

— Они ведь не со вчерашнего дня так живут, — сказал он. — За пять-шесть тысяч лет попривыкли, должно быть.

— Но чистота — залог благофордия, — не успокаивалась Линайна.

— Конечно. И без стерилизации нет цивилизации, — насмешливо процитировал Бернард заключительную фразу второго гипнопедического урока по основам гигиены. — Но эти люди никогда не слышали о Господе нашем Форде, они не цивилизованы. Так что не имеет смысла…

— Ой! — Она схватила его за руку. — Гляди.

С нижней террасы соседнего дома сходил очень медленно по лесенке почти нагой индеец — спус-

кался с перекладины на перекладину с трясучей осторожностью глубокой старости. Лицо его было изморщинено и черно, как обсидиановая маска. Беззубый рот ввалился. По углам губ и с боков подбородка торчали редкие длинные щетинки, белесо поблескивая на темной коже. Незаплетенные волосы свисали на плечи и грудь седыми космами. Тело было сгорбленное, тощее — кожа, присохшая к костям. Мешкотно, медлительно спускался он, останавливаясь на каждой перекладине.

— Что с ним такое? — шепнула пораженная Линайна, широкоглазая от ужаса.

— Старость, вот и все, — ответил Бернард самым небрежным тоном. Он тоже был ошеломлен, но крепился и не подавал виду.

— Старость? — переспросила она. — Но и наш Директор стар, многие стары; но у них же нет ничего подобного.

— Потому что мы не даем им дряхлеть. Мы ограждаем их от болезней. Искусственно поддерживаем их внутренне-секреторный баланс на юношеском уровне. Не позволяем магниево-кальциевому показателю упасть ниже цифры, соответствующей тридцати годам. Вливаем им молодую кровь. Постоянно стимулируем у них

обмен веществ. И конечно, они выглядят иначе. Отчасти потому, — прибавил он, — что они в большинстве своем умирают задолго до возраста, какого достигла эта развалина. У них молодость сохраняется почти полностью до шестидесяти лет, а затем — хруп! — и конец.

Но Линайна не слушала. Она смотрела на старика. Медленно, медленно спускался он. Ноги его коснулись наконец земли. Тело повернулось. Глубоко запавшие глаза были еще необычайно ясны. Они неторопливо поглядели на Линайну, не выразив ни удивления, ничего, словно ее здесь и не было. Сутуло, медленно старик проковылял мимо и скрылся.

— Но это ужас, — прошептала Линайна. — Это страх и ужас. Нельзя было нам сюда ехать.

Она сунула руку в карман — за сомой — и обнаружила, что по оплошности, какой с ней еще не случалось, забыла свой флакончик на туристском пункте. У Бернарда карманы тоже были пусты.

Приходилось противостоять ужасам Мальпаиса без крепительной поддержки. А ужасы наваливались на Линайну один за другим. Вон две молодые женщины кормят грудью младенцев — Линайна вспыхнула и отвернулась. Никогда в жизни не сталкивалась она с таким непристой-

ным зрелищем. А тут еще Бернард, вместо того чтобы тактично не заметить, принялся вслух комментировать эту омерзительную сцену из быта живородящих. У него уже кончилось действие сомы, и, стыдясь слабонервности, проявленной утром в отеле, он теперь всячески старался показать, как он силен и независим духом.

— Что за чудесная, тесная близость существ, — восхитился он, намеренно порывая с приличиями. — И какую должна она порождать силу чувства! Я часто думаю: быть может, мы теряем что-то, не имея матери. И возможно, ты теряешь что-то, лишаясь материнства. Вот представь, Линайна, — ты сидишь там, кормишь свое родное дитя…

— Бернард! Как не стыдно!

В это время прошла перед ними старуха с воспалением глаз и болезнью кожи — и Линайна уж и возмущаться перестала.

— Уйдем отсюда, — сказала она просяще. — Мне противно.

Но тут вернулся провожатый и, сделав знак, повел их узкой улочкой между домами. Повернули за угол. Дохлый пес валялся на куче мусора; зобастая индианка искала в голове у маленькой девочки. Проводник остановился у приставной

лестницы, махнул рукой сперва вверх, затем вперед. Они повиновались этому молчаливому приказу — поднялись по лестнице и через проем в стене вошли в длинную узкую комнату; там было сумрачно и пахло дымом, горелым жиром, заношенной, нестираной одеждой. Сквозь дверной проем в другом конце комнаты падал на пол свет солнца и доносился бой барабанов, громкий, близкий.

Пройдя туда, они оказались на широкой террасе. Под ними, плотно окруженная уступчатыми домами, была площадь, толпился у домов народ. Пестрые одеяла, перья в черных волосах, мерцание бирюзы, темная кожа, влажно блестящая от зноя. Линайна снова прижала к носу платок. Посреди площади виднелись из-под земли две круговые каменные кладки, накрытые плоскими кровлями, — видимо, верха двух подземных помещений; в центре каждой кровли — круглой, глиняной, утоптанной — открытый люк, и торчит из темноты оттуда деревянная лестница. Внизу там играют на флейтах, но звук их почти заглушен ровным, неумолимо упорным боем барабанов.

Барабаны Линайне понравились. Она закрыла глаза, и рокочущие барабанные раскаты

заполнили ее сознание, заполонили, и вот уже остался в мире один этот густой рокот. Он успокоительно напоминал синтетическую музыку на сходках единения и празднованиях Дня Форда. «Пей-гу-ляй-гу», — мурлыкнула Линайна. Ритм в точности такой же.

Раздался внезапный взрыв пения: сотни мужских голосов в унисон металлически-резко взяли несколько свирепых длинных нот. И — тишина, раскатистая тишина барабанов; затем пронзительный, заливчатый хор женщин дал ответ. И снова барабаны; и опять дикое, медное утверждение мужского начала.

Странно? Да, странно. Обстановка странная, и музыка, и одежда странная, и зобы, и кожные болезни, и старики. Но в самом хоровом действе вроде ничего такого уж и странного.

— Похоже на праздник песнословия у низших каст, — сказала Линайна Бернарду.

Однако сходство с тем невинным праздником тут же стало и кончаться. Ибо неожиданно из круглых подземелий повалила целая толпа устрашающих чудищ. В безобразных масках или размалеванные до потери человеческого облика, они пустились в причудливый пляс — вприхромку, топочуще, с пением; сделали по площади

круг, другой, третий, четвертый, — убыстряя пляску с каждым новым кругом; и барабаны убыстрили ритм, застучавший лихорадочно в ушах; и народ запел вместе с плясунами, громче и громче; и сперва одна из женщин испустила истошный вопль, а за ней еще, еще; затем вдруг головной плясун выскочил из круга, подбежал к деревянному сундуку, стоявшему на краю площади, откинул крышку и выхватил оттуда двух черных змей.

Громким криком отозвалась площадь, и остальные плясуны все побежали к нему, протягивая руки. Он кинул змей тем, что подбежали первыми, и опять нагнулся к сундуку. Все новых змей — черных, коричневых, крапчатых — доставал он, бросал плясунам. И танец начался снова, в ином ритме. Со змеями в руках пошли они по кругу, змеисто сами извиваясь, волнообразно изгибаясь в коленях и бедрах. Сделали круг, и еще. Затем, по знаку головного, один за другим побросали змей в центр площади; поднялся из люка старик и сыпнул на змей кукурузной мукой, а из другого подземелья вышла женщина и окропила их водой из черного кувшина. Затем старик поднял руку, и — жуткая, пугающая — мгновенно воцарилась тишина. Смолкли барабаны, жизнь

словно разом оборвалась. Старик простер руки к отверстиям, устьям подземного мира. И медленно возносимые — а кем, сверху не видно, — возникли два раскрашенных изваяния; из первого люка — орел, из второго — нагой человек, пригвожденный к кресту. Изваяния повисли, точно сами собой держась в воздухе и глядя на толпу. Старик хлопнул в ладоши. Из толпы выступил юноша лет восемнадцати в одной лишь набедренной белой повязке и встал перед стариком, сложив руки на груди, склонив голову. Старик перекрестил его. Медленно юноша пошел вокруг кучи змей, спутанно шевелящейся. Совершил один круг, начал другой, и в это время, отделясь от плясунов, рослый человек в маске койота направился к нему с ременной плетью в руке. Юноша продолжал идти, как бы не замечая человека-койота. Тот поднял плеть; долгий миг ожидания, резкое движение, свист плети, хлесткий удар по телу. Юноша дернулся весь; но он не издал ни звука, он продолжал идти тем же неторопливым, мерным шагом. Койот хлестнул опять, опять; каждый удар толпа встречала коротким общим вздохом и глухим стоном. Юноша продолжал идти. Два, три, четыре раза обошел он круг. Кровь струилась по телу. Пятый, шестой раз обошел. Линайна вдруг

закрыла лицо руками, зарыдала.

— Пусть прекратят, пусть прекратят, — взмолилась она.

Но плеть хлестала неумолимо. Седьмой круг сделал юноша. И тут пошатнулся — и, по-прежнему без звука, рухнул плашмя, лицом вниз. Наклонясь над ним, старик коснулся его спины длинным белым пером, высоко поднял это перо, обагренное, — показал людям — и трижды тряхнул им над змеями. Несколько капель упало с пера, и внезапно барабаны ожили, рассыпались тревожной дробью; раздался гулкий клич. Плясуны кинулись, похватали змей и пустились бегом. За ними побежала вся толпа — мужчины, женщины, дети. Через минуту площадь была уже пуста, только юноша недвижно лежал там, где лег. Три старухи вышли из ближнего дома, подняли его с трудом и внесли туда. Над площадью остались нести караул двое — орел и распятый; затем и они, точно насмотревшись вдоволь, неспешно канули в люки, в подземное обиталище.

Линайна по-прежнему плакала.

— Невыносимо, — всхлипывала она, и Бернард был бессилен ее утешить. — Невыносимо! Эта кровь! — Она передернулась. — О, где моя сома!

За спиной у них, в комнате, раздались шаги.

Линайна не пошевелилась, сидела, спрятав лицо в ладони, погрузясь в свое страдание. Бернард оглянулся.

На террасу вышел молодой человек в одежде индейца; но косы его были цвета соломы, глаза голубые, и бронзово-загорелая кожа была кожей белого.

— День добрый и привет вам, — сказал незнакомец на правильном, но необычном английском языке. — Вы — цивилизованные? Вы — оттуда, из Заоградного мира?

— А вы-то сами?... — изумленно начал Бернард.

Молодой человек вздохнул, покачал головой.

— Пред вами несчастливец. — И, указав на кровь в центре площади, произнес голосом, вздрагивающим от волнения. — Видите вон то проклятое пятно?

— Лучше полграмма, чем ругань и драма, — машинально откликнулась Линайна, не открывая лица.

— Там бы по праву следовало быть мне, — продолжал незнакомец. — Они не захотели, чтобы жертвой был я. А я бы десять кругов сделал, двенадцать, пятнадцать. Палохтива сделал только семь. Я дал бы им вдвое больше крови. Просторы

обагрил бы морей. — Он распахнул руки в широком жесте, тоскливо уронил их опять. — Но не позволяют мне. Нелюбим я за белокожесть. От века нелюбим. Всегда. — На глазах у него выступили слезы; он отвернулся, стыдясь этих слез.

От удивления Линайна даже горевать перестала. Отняв ладони от лица, она взглянула на незнакомца.

— То есть вы хотели, чтобы плетью били вас?

Молодой человек кивнул не оборачиваясь.

— Да. Для блага пуэбло — чтоб дожди шли и тучнела кукуруза. И в угоду Пуконгу и Христу. И чтобы показать, что могу выносить боль не крикнув. Да. — Голос его зазвенел, он гордо расправил плечи, гордо, непокорно вздернул голову, повернулся. — Показать, что я мужчи… — У него перехватило дух, он так и застыл, не закрыв рта. Впервые в жизни увидел он девушку с лицом не бурым, а светлым, с золотисто-каштановой завивкой — и глядит она с дружелюбным интересом (вещь небывалая!). Линайна улыбнулась ему; такой привлекательный мальчик, подумала она, и тело по-настоящему красиво. Темный румянец залил щеки молодого человека; он опустил глаза, поднял опять, увидел все ту же улыбку и до того уже смутился, что даже отвернулся, сделал вид,

будто пристально разглядывает что-то на той стороне площади.

Выручил его Бернард — своими расспросами. Кто он? Каким образом? Когда? Откуда? Не отрывая взгляда от Бернарда (ибо так тянуло молодого человека к улыбке Линайны, что он просто не смел повернуть туда голову), он стал объяснять. Он с Линдой — Линда его мать (Линайна поежилась) — они здесь чужаки. Линда прилетела из Того мира давно, еще до его рождения, вместе с отцом его. (Бернард навострил уши.) Пошла гулять одна в горах, что к северу отсюда, и сорвалась, упала и поранила голову. («Продолжайте, продолжайте», — возбужденно сказал Бернард.) Мальпаисские охотники наткнулись на нее и принесли в пуэбло. А отца его Линда больше так и не увидела. Звали отца Томасик. (Так, так, имя Директора — Томас.) Он, должно быть, улетел к себе обратно в Заоградный мир, а ее бросил — черствый, жестокий сердцем человек.

— В Мальпаисе я и родился, — закончил он. — В Мальпаисе. — И грустно покачал головой.

Хибара за пустырем на окраине пуэбло. Какое убожество, грязь!

Пыльный пустырь завален мусором. У входа в хибару два оголодалых пса роются мордами в

мерзких отбросах. А внутри — затхлый, гудящий мухами сумрак.

— Линда! — позвал молодой человек.

— Иду, — отозвался из другой комнатки довольно сиплый женский голос.

Пауза ожидания. В мисках на полу — недоеденные остатки.

Дверь отворилась. Через порог шагнула белесоватая толстуха-индианка и остановилась, пораженно выпучив глаза, раскрыв рот. Линайна с отвращением заметила, что двух передних зубов во рту нет. А те, что есть, жуткого цвета… Брр! Она гаже того старика. Жирная такая. И все эти морщины, складки дряблого лица. Обвислые щеки в лиловых пятнах прыщей. Красные жилки на носу, на белках глаз. И эта шея, эти подбородки; и одеяло накинуто на голову — рваное, грязное. А под коричневой рубахой-балахоном эти бурдюки грудей, это выпирающее брюхо, эти бедра. О, куда хуже старика, куда гаже! И вдруг существо это разразилось потоком слов, бросилось к ней с распахнутыми объятиями и — Господи Форде, как противно, вот-вот стошнит — прижало к брюху, к грудям и стало целовать. Господи! Слюнявыми губами, и от тела запах скотский, — видимо, не принимает ванны никогда, — и разит изо рта

ядовитой этой мерзостью, которую подливают в бутыли дельтам и эпсилонам (а Бернарду не влили, неправда), буквально разит алкоголем. Линайна поскорей вы свободилась из объятий.

На нее глядело искаженное, плачущее лицо.

— Ох, милая, милая вы моя, — причитало, хлюпая, существо. — Если б вы знали, как я рада! Столько лет не видеть цивилизованного лица. Цивилизованной одежды. Я уж думала, так и не суждено мне увидать опять настоящий ацетатный шелк. — Она стала щупать рукав блузки. Ногти ее были черны от грязи. — А эти дивные вискозно-плисовые шорты! Представьте, милая, я еще храню, прячу в сундуке свою одежду, ту, в которой прилетела. Я покажу вам потом. Но конечно, ацетат стал весь как решето. А такой прелестный у меня белый патронташ наплечный — хотя, должна признаться, ваш сафьяновый зеленый еще даже прелестнее. Ах, подвел меня мой патронташ! — Слезы опять потекли по щекам. — Джон вам, верно, рассказал уже. Что мне пришлось пережить — и без единого грамма сомы. Разве что Попе принесет мескаля выпить. Попе ходил ко мне раньше. Но выпьешь, а после так плохо себя чувствуешь от мескаля, и от пейотля тоже; и притом назавтра протрезвишься — и

еще ужаснее, еще стыднее делается. Ах, мне так стыдно было. Подумать только — я, бета, и ребенка родила; поставьте себя на мое место. (Линайна поежилась.) Но, клянусь, я тут не виновата; я до сих пор не знаю, как это стряслось; ведь я же все мальтузианские приемы выполняла — знаете, по счету: раз, два, три, четыре — всегда, клянусь вам, и все же забеременела; а конечно, абортариев здесь нет и в помине. Кстати, абортарий наш и теперь в Челси? (Линайна кивнула.) И, как раньше, освещен весь прожекторами по вторникам и пятницам? (Линайна снова кивнула.) Эта дивная из розового стекла башня! — Бедная Линда, закрыв глаза, экстатически закинув голову, воскресила в памяти светлое видение абортария. — А вечерняя река! — прошептала она. Крупные слезы медленно выкатились из-под ее век. — Летишь, бывало, вечером обратно в город из Сток-Поджеса. И ждет тебя горячая ванна, вибровакуумный массаж… Но что уж об этом. — Она тяжко вздохнула, покачав головой, открыла глаза, сопнула носом раз-другой, высморкалась в пальцы и вытерла их о подол рубахи. — О, простите меня, — воскликнула она, заметив невольную гримасу отвращения на лице Линайны. — Как я могла так!.. Простите. Но что делать, если нет носовых платков? Я помню, как

переживала раньше из-за всей этой нечистоты, сплошной нестерильности. Меня с гор принесли сюда с разбитой головой. Вы не можете себе представить, что они прикладывали к моей ране. Грязь, буквальнейшую грязь. Учу их: «Без стерилизации нет цивилизации». Говорю им: «Смой стрептококков и спирохет. Да здравствуют ванна и туалет», — как маленьким детям. А они, конечно, не понимают. Откуда им понять? И в конце концов я, видимо, привыкла. Да и как можно держать себя и вещи в чистоте, если нет крана с горячей водой? А поглядите на одежду здешнюю. Эта мерзкая шерсть — это вам не ацетат. Ей износу нет. А и порвется, так чини ее изволь. Но я ведь бета; я в Зале оплодотворения работала; меня не учили заплаты ставить. Я другим занималась. Притом чинить ведь вообще у нас не принято. Начинает рваться — выбрось и новое купи. «Прорехи зашивать — беднеть и горевать». Верно же? Чинить старье — антиобщественно. А тут все наоборот. Живешь как среди ненормальных. Все у них по-безумному. — Она оглянулась, увидела, что Бернард с Джоном вышли и прохаживаются по пустырю; но понизила тем не менее голос, пододвинулась близко, так что ядовито-алкогольное ее дыхание шевельнуло прядку у Линайны

на щеке, и та сжалась вся. — Послушайте, к примеру, — зашептала Линда сипло, — как они тут взаимопользуются. Ведь каждый принадлежит всем остальным — ведь по-цивилизованному так? Ведь так же? — напирала она, дергая Линайну за рукав. Линайна кивнула, полуотвернувшись, делая украдкой вдох, набирая воздуху почище. — А здесь, — продолжала Линда, — каждый должен принадлежать только одному, и никому больше. Если же ты взаимопользуешься по-цивилизованному, то считаешься порочной и антиобщественной. Тебя ненавидят, презирают. Один раз явились сюда женщины со скандалом — почему, мол, их мужчины ко мне ходят? А почему б им не ходить? И как накинутся женщины на меня скопом… Нет, невыносимо и вспоминать. — Линда, содрогнувшись, закрыла лицо руками. — Здешние женщины ужасно злобные. Безумные, безумные и жестокие. И понятия, конечно, не имеют о мальтузианских приемах, о бутылях, о раскупорке. И потому рожают беспрерывно — как собаки. Прямо омерзительно. И подумать, что я… О Господи, Господи Форде. Но все же Джон был мне большим утешением. Не знаю, как бы я тут без него. Хотя он и переживал страшно всякий раз, как придет мужчина… Даже

когда совсем еще был малышом. Однажды (он тогда уже подрос) чуть было не убил бедного Попе — или Вайхусиву? — за то лишь, что они ко мне ходили. Сколько ему ни втолковывала, что у цивилизованных людей иначе и нельзя, но так и не втолковала. Безумие, видимо, заразительно. Джон, во всяком случае, заразился от индейцев. Он водится с ними. Несмотря на то что они всегда относились к нему по-свински, не позволяли быть наравне с остальными мальчиками. Но это в некотором смысле к лучшему, потому что облегчало мне задачу — позволяло хоть слегка формировать его. Но вы себе вообразить не можете, как это трудно. Ведь столького сама не знаешь; от меня и не требовалось знать. Допустим, спрашивает ребенок, как устроен вертоплан или кем создан мир, — ну что будешь ему отвечать, если ты бета и работала в Зале оплодотворения? Ну что ему ответишь?

Глава восьмая

Джон с Бернардом прохаживались взад-вперед на пустыре, среди пыли и мусора. (В отбросах рылись теперь уже четыре собаки.)

— Так трудно мне представить, постигнуть, — говорил Бернард. — Мы словно с разных планет, из разных столетий. Мать, и грязь вся эта, и боги, и старость, и болезни… — Он покачал головой. — Почти непостижимо. Немыслимо понять, если вы не поможете, не объясните.

— Что́ объясню?

— Вот это. — Он указал на пуэбло. — И это. — Кивнул на хибару. — Всё. Всю вашу жизнь.

— Но что ж тут объяснять?

— Все с самого начала. С первых ваших воспоминаний.

— С первых моих… — Джон нахмурился. Долго молчал, припоминая.

Жара. Наелись лепешек, сладкой кукурузы.

— Иди сюда, малыш, приляг, — сказала Линда. Он лег возле, на большой постели.

— Спой, — попросил, и Линда запела. Спела «Да здравствуют ванна и туалет» и «Баю-баю, тили-

тили, скоро детке из бутыли». Голос ее удалялся, слабел…

Он вздрогнул и проснулся от громкого шума. У постели стоит человек — большущий, страшный. Говорит что-то Линде, а Линда смеется. Закрылась одеялом до подбородка, а тот стягивает. У страшилы волосы заплетены, как два черных каната, и на ручище серебряный браслет с голубыми камешками. Браслет красивый; Джону страшно; он жмется лицом к материну боку. Линда обнимает его рукой, и страх слабеет. Другими, здешними словами, которые не так понятны, Линда говорит:

— Нет, не при Джоне.

Человек смотрит на него, опять на Линду, тихо говорит несколько слов.

— Нет, — говорит Линда. Но тот наклоняется к нему, лицо громадно, грозно; черные канаты кос легли на одеяло. — Нет, — говорит опять Линда и сильней прижимает Джона к себе. — Нет, нет.

Но страшила берет его за плечо, больно берет. Он вскрикивает. И другая ручища берет, подымает. Линда не выпускает, говорит:

— Нет, нет.

Тот говорит что-то коротко, сердито и вот уже отнял Джона.

— Линда, Линда. — Джон бьет ногами, вырывается; но тот несет его за дверь, сажает на пол там среди комнаты и уходит к Линде, закрыв за собой дверь. Он встает, он бежит к двери. Поднявшись на цыпочки, дотягивается до деревянной щеколды. Двигает ее, толкает дверь; но дверь не поддается.

— Линда, — кричит он. Не отвечает Линда.

Вспоминается обширная комната, сумрачная; в ней стоят деревянные рамы с навязанными нитями, и у рам много женщин — одеяла ткут, сказала Линда. Она велела ему сидеть в углу с другими детьми, а сама пошла помогать женщинам. Он играет с мальчиками, долго. Вдруг у рам заговорили очень громко, и женщины отталкивают Линду прочь, а она плачет, идет к дверям.

Он побежал за ней. Спрашивает, почему на нее рассердились.

— Я сломала там что-то, — говорит Линда. И сама рассердилась. — Откуда мне уметь их дрянные одеяла ткать, — говорит. — Дикари противные.

— А что такое дикари? — спрашивает он.

Дома у дверей ждет Попе и входит вместе с ними. Он принес большой сосуд из тыквы, полный воды не воды — вонючая такая и во рту печет, так что закашляешься. Линда выпила, и Попе выпил,

и Линда смеяться стала и громко говорить; а потом с Попе ушла в другую комнату. Когда Попе отправился домой, он вошел туда. Линда лежала в постели, спала так крепко, что не добудиться было. Попе часто приходил. Ту воду в тыкве он называл «мескаль», а Линда говорила, что можно бы называть «сома», если бы от нее не болела голова. Он терпеть не мог Попе. Он всех их не терпел — мужчин, ходивших к Линде. Как-то, наигравшись с детьми, — было, помнится, холодно, на горах лежал снег, — он днем пришел домой и услыхал сердитые голоса в другой комнате. Женские голоса, а слов не понял; но понял, что это злая ругань. Потом вдруг — грох! — опрокинули что-то; завозились, еще что-то шумно упало, и точно мула ударили хлыстом, но только звук мягче, мясистей; и крик Линды: «Не бейте, не бейте!» Он кинулся туда. Там три женщины в темных одеялах. А Линда — на постели. Одна держит ее за руки. Другая легла поперек, на ноги ей, чтоб не брыкалась. Третья бьет ее плетью. Раз ударила, второй, третий; и при каждом ударе Линда кричит. Он, плача, стал просить бьющую, дергать за кромку одеяла:

— Не надо, не надо.

Свободной рукой женщина отодвинула его.

Плеть снова хлестнула, опять закричала Линда. Он схватил огромную коричневую руку женщины обеими своими и укусил что было силы. Та охнула, вырвала руку, толкнула его так, что он упал. И ударила трижды плетью. Ожгло огнем — больней всего на свете. Снова свистнула, упала плеть. Но закричала на этот раз Линда.

— Но за что они тебя, Линда? — спросил он вечером.

Красные следы от плети на спине еще болели, жгли, и он плакал. Но еще и потому плакал, что люди такие злые и несправедливые, а он малыш и драться с ними слаб. Плакала и Линда. Она хоть и взрослая, но от троих отбиться разве может? И разве это честно — на одну втроем?

— За что они тебя, Линда?

— Не знаю. Не понимаю. — Трудно было разобрать ее слова — она лежала на животе, лицом в подушку. — Мужчины, видите ли, принадлежат им, — говорила Линда, точно не к нему обращаясь вовсе, а к кому-то внутри себя. Говорила долго, непонятно; а кончила тем, что заплакала громче прежнего.

— О, не плачь, Линда, не плачь.

Он прижался к ней. Обнял рукой за шею.

— Ай, — визгнула Линда, — не тронь. Больно

же! Ай! — И как пихнет его от себя. Он стукнулся головой о стену. — Ты, идиотик! — крикнула Линда и вдруг принялась его бить. Шлеп! Шлеп!..

— Линда! Не бей, мама!

— Я тебе не мама. Не хочу быть твоей матерью.

— Но, Линд… — Она шлепнула его по щеке.

— В дикарку превратилась, — кричала она. — Рожать начала, как животные… Если б не ты, я бы к инспектору пошла, вырвалась отсюда. Но с ребенком как же можно. Я бы не вынесла позора.

Она опять замахнулась, и он заслонился рукой.

— О, не бей, Линда, не надо.

— Дикаренок! — Она отдернула его руку от лица.

— Не надо. — Он закрыл глаза, ожидая удара.

Но удара не было. Помедлив, он открыл глаза и увидел, что она смотрит на него. Улыбнулся ей робко. Она вдруг обняла его и стала целовать.

Случалось, Линда по нескольку дней не вставала с постели. Лежала и грустила. Или пила мескаль, смеялась, смеялась, потом засыпала. Иногда болела. Часто забывала умыть его, и нечего было поесть, кроме черствых лепешек. И помнит он, как Линда в первый раз нашла этих серењких тлей у него в голове, как она заахала, запричитала.

Сладчайшею отрадой было слушать, как она рассказывает о Том, о Заоградном мире.

— И там правда можно летать когда захочешь?

— Когда захочешь.

И рассказывала ему про дивную музыку, льющуюся из ящика, про прелестные разные игры, про вкусные блюда, напитки, про свет — надавишь в стене штучку, и он вспыхивает, — и про живые картины, которые не только видишь, но и слышишь, обоняешь, осязаешь пальцами, и про ящик, создающий дивные запахи, и про голубые, зеленые, розовые, серебристые дома, высокие, как горы, — и каждый счастлив там, и никто никогда не грустит и не злится, и каждый принадлежит всем остальным, и экран включишь — станет видно и слышно, что происходит на другом конце мира. И младенцы все в прелестных, чистеньких бутылях — все такое чистое, ни вони и ни грязи, — и никогда никто не одинок, а все вместе живут и радостные все, счастливые, как на летних плясках в Мальпаисе здесь, но гораздо счастливее, и счастье там всегда, всегда… Он слушал и заслушивался.

Порой, когда он и другие дети садились, устав от игры, кто-нибудь из стариков племени заводил на здешнем языке рассказ о великом Претвори-

теле Мира, о долгой битве между Правой Рукой и Левой Рукой, между Хлябью и Твердью; о том, как Авонавилона задумался в ночи, и сгустились его мысли во Мглу Возрастания, а из той туманной мглы сотворил он весь мир; о Матери-Земле и Отце-Небе; об Агаюте и Марсайлеме — близнецах Войны и Удачи; об Иисусе и Пуконге; о Марии и об Этсанатлеи — женщине, вечно омоложающей себя; о Лагунском Черном Камне, о великом Орле и Богоматери Акомской. Диковинные сказы, звучавшие еще чудесней оттого, что сказывали их здешними словами, не полностью понятными. Лежа в постели, он рисовал в воображении Небо и Лондон, Богоматерь Акомскую и длинные ряды младенцев в чистеньких бутылях и как Христос возносится и Линда взлетает; воображал Всемирного начальника инкубаториев и великого Авонавилону.

Много ходило к Линде мужчин. Мальчишки стали уже тыкать на него пальцами. На своем, на здешнем языке они называли Линду скверной, ругали ее непонятно, однако он знал, что слова это гнусные. Однажды запели о ней песню, и опять, и опять — не уймутся никак. Он стал кидать в них камни. А они — в него; острым камнем рассекли ему щеку. Кровь текла долго; он весь

вымазался.

Линда научила его читать. Углем она рисовала на стене картинки — сидящего зверька, младенца в бутыли; а под ними писала: КОТ НЕ СПИТ. МНЕ ТУТ РАЙ. Он усваивал легко и быстро. Когда выучился читать все, что она писала на стене, Линда открыла свой деревянный сундук и достала из-под тех красных куцых штанов, которых никогда не надевала, тоненькую книжицу. Он ее и раньше не раз видел. «Будешь читать, когда подрастешь», — говорила Линда. Ну вот и подрос, подумал он гордо.

— Вряд ли эта книга тебя очень увлечет, — сказала Линда. — Но других у меня нет. — Она вздохнула. — Видел бы ты, какие прелестные читальные машины у нас в Лондоне!

Он принялся читать. «Химическая и бактериологическая обработка зародыша. Практическое руководство для бета-лаборантов Эмбрионария». Четверть часа ушло на одоление слов этого заглавия. Он швырнул книжку на пол.

— Дрянь ты, а не книга! — сказал он и заплакал.

По-прежнему мальчишки распевали свою гнусную дразнилку о Линде. Смеялись и над тем, какой он оборванный. Линда не умела чинить

рваное. В Заоградном мире, говорила она ему, если что порвется, сразу же выбрасывают и надевают новое. «Оборвыш, оборвыш!» — дразнили мальчишки. «Зато я читать умею, — утешал он себя, — а они нет. Не знают даже, что значит читать». Утешаясь этим, было легче делать вид, что не слышишь насмешек. Он снова попросил у Линды ту книжку.

Чем злее дразнились мальчишки, тем усерднее читал он книгу. Скоро уже он разбирал в ней все слова. Даже самые длинные. Но что они обозначают? Он спрашивал у Линды; но даже когда она и в состоянии была ответить, то ясности особой не вносила. Обычно же ответить не могла.

— Что такое химикаты? — спрашивал он.

— А это соли магния, или спирт, которым глушат рост и отупляют дельт и эпсилонов, или углекислый кальций для укрепления костей и тому подобные вещества.

— А как делают химикаты, Линда? Где их добывают?

— Не знаю я. Они во флаконах. Когда флакон кончается, то спускают новый из Химикатохранилища. Там их и делают, наверно. Или же с фабрики получают. Не знаю. Я химией не занималась. Я работала всегда с зародышами.

И так вечно, что ни спроси. Никогда Линда не знает. Старики племени отвечают куда определеннее.

«Семена людей и всех созданий, семя солнца, и земли, и неба — все семена сгустил Авонавилона из Мглы Возрастания. Есть у мира четыре утробы; в нижнюю и поместил он семена. И постепенно взрастали они…»

Придя как-то домой (Джон прикинул позже, что было это на тринадцатом году его жизни), он увидел, что в комнате на полу лежит незнакомая книга. Толстая и очень старая на вид. Переплет обгрызли мыши; листы некоторые измяты, вылезают. Он поднял книгу, взглянул на заглавный лист: «Сочинения Уильяма Шекспира в одном томе».

Линда лежала в постели, потягивая из чашки мерзкий свой вонючий мескаль.

— Ее Попе принес, — сказала Линда сиплым, грубым, чужим голосом. — Валялась в Антилопьей киве, в одном из сундуков. Сотни лет уже провалялась, говорят. И не врут, наверно, потому что полистала я, а там полно вздора. Нецивилизованность жуткая. Но тебе пригодится — для тренировки в чтении. — Она допила, опустила чашку на пол, повернулась на бок, икнула раза

два и заснула.

Он раскрыл книгу наугад.

…Похоти рабой
Жить, прея в сальной духоте постели,
Елозя и любясь в свиной грязи…

Необычайные эти слова раздались, раскатились громово в мозгу, как барабаны летних плясок — но барабаны говорящие; как хор мужчин, поющих Песнь зерна — красиво, красиво до слез; как волшба старого Митсимы над молитвенными перьями и резными палочками, костяными и каменными фигурками — кьятла тсилу силокве силокве силокве. Кьяи силу силу, тситль, — но сильнее, чем волшба Митсимы, потому что эти слова больше значат и обращены к нему, говорят ему чудесно и наполовину лишь понятно — грозная, прекрасная новая волшба, говорящая о Линде; о Линде, что храпит в постели, и пустая чашка рядом на полу; о Линде и Попе, о них обоих.

Все горячей ненавидел он Попе. Да, можно улыбаться, улыбаться — и быть мерзавцем. Безжалостным, коварным, похотливым. Слова он понимал не до конца. Но их волшба была могуча,

они звучали в памяти, и было так, словно теперь только начал он по-настоящему ненавидеть Попе — потому что не мог раньше облечь свою ненависть в слова. А теперь есть у него слова — волшебные, поющие, гремящие, как барабаны. Слова эти и странный, странный сказ, из которого слова взяты (темен ему этот сказ, но чудесен, все равно чудесен), — они обосновали ненависть, сделали ее острей, живей; самого даже Попе сделали живей.

Однажды, наигравшись, он пришел домой — дверь спальной комнатки растворена, и он увидел их, спящих вдвоем в постели, — белую Линду и рядом Попе, почти черного; Линда лежит у Попе на руке, другая темная рука на груди у нее, и одна из длинных кос индейца упала ей на горло, точно черная змея хочет задушить. На полу возле постели — тыква, принесенная Попе, и чашка. Линда храпит.

Сердце в нем замерло, исчезло, и осталась пустота. Пустота, озноб, мутит слегка, и голова кружится. Он прислонился к стене. Безжалостный, коварный, похотливый… Волшбой, поющим хором, барабанами гремят слова. Озноб ушел, ему стало вдруг жарко, щеки загорелись. Комната поплыла перед ним, темнея. Он скрежетнул зубами.

«Я убью его, убью, убью». И загремело в мозгу:

Когда он в лежку пьян, когда им ярость

Владеет или кровосмесный пыл…

Волшба — на его стороне, волшба все проясняет и дает приказ. Он шагнул обратно, за порог. «Когда он в лежку пьян…» У очага на полу — мясной нож. Поднял его и на цыпочках — опять в дверь спальной комнаты. «Когда он в лежку пьян, в лежку пьян…» Бегом к постели, ткнул ножом — ага, кровь! — снова ткнул (Попе взметнулся тяжко, просыпаясь), хотел в третий раз ударить, но почувствовал, что руку его схватили, сжали и — ох! — выворачивают. Он пойман, двинуться не может, черные медвежьи глазки Попе глядят в упор, вплотную. Он не выдержал их взгляда, опустил глаза. На левом плече у Попе — две ножевые ранки.

— Ах, кровь течет! — вскрикнула Линда. — Кровь течет! (Вида крови она не выносит.)

Попе поднял свободную руку — чтобы ударить, конечно. Джон весь напрягся в ожидании удара. Но рука взяла его за подбородок, повернула лицом к себе, и опять пришлось смотреть глаза в глаза. Долго, нескончаемо долго. И вдруг, как ни

пересиливал себя, он заплакал. Попе рассмеялся.

— Ступай, — сказал он по-индейски. — Ступай, отважный Агаюта.

Он выбежал в другую комнату, пряча постыдные слезы.

— Тебе пятнадцать лет, — сказал старый Митсима индейскими словами. — Теперь можно учить тебя гончарству.

Они намесили глины, присев у реки.

— С того начинаем, — сказал Митсима, взявши в ладони ком влажной глины, — что делаем подобие луны. — Старик сплюснул ком в круглую луну; загнул края, и луна превратилась в неглубокую чашку.

Медленно и неумело повторил Джон точные, тонкие движения стариковских рук.

— Луна, чашка, а теперь змея. — Взяв другой ком глины, Митсима раскатал его в длинную колбаску, свел ее в кольцо и налепил на ободок чашки. — И еще змея. И еще. И еще. — Кольцо за кольцом наращивал Митсима бока сосуда: узкий внизу, сосуд выпукло расширялся, опять сужался к горлышку. Митсима мял, прихлопывал, оглаживал, ровнял; и вот наконец стоит перед ними мальпаисский сосуд для воды, но не черный, обычный, а кремово-белый и еще мягкий на

ощупь. А рядом — его собственное изделие, кривобокая пародия на сосуд Митсимы. Сравнив их, Джон поневоле рассмеялся.

— Но следующий будет лучше, — сказал он, намешивая еще глины.

Лепить, придавать форму, ощущать, как растет умение и сноровка в пальцах, было необычайно приятно.

— А, бэ, цэ, витамин Д, — напевал он, работая. — Жир в тресковой печени, а треска в воде.

Пел и Митсима — песню о том, как добывают медведя. Весь день они работали, и весь тот день переполняло Джона чувство глубокого счастья.

— А зимой, — сказал старый Митсима, — научу тебя делать охотничий лук.

Долго стоял он у дома; наконец обряд внутри кончился. Дверь распахнулась, стали выходить. Первым шел Котлу, вытянув правую руку и сжав ее в кулак, точно неся в ней драгоценный камень. За ним вышла Кьякиме, тоже вытянув сжатую руку. Они шли молча, и молча следовали за ними братья, сестры, родичи и толпа стариков.

Вышли из пуэбло, прошли месу. Встали над обрывом — лицом к утреннему солнцу.

Котлу раскрыл ладонь. На ладони лежала горстка кукурузной муки; он дохнул на нее, прошептал

несколько слов и бросил эту щепоть белой пыли навстречу встающему солнцу. То же сделала и Кьякиме. Выступил вперед отец ее и, держа над собой оперенную молитвенную палочку, произнес длинную молитву, затем бросил и палочку навстречу солнцу.

— Кончено, — возгласил старый Митсима. — Они вступили в брак.

— Одного я не понимаю, — сказала Линда, возвращаясь в пуэбло вместе с Джоном, — зачем столько шума и возни по пустякам. В цивилизованных краях, когда парень хочет девушку, он просто… Ну куда же ты, Джон?

Но Джон бежал не останавливаясь, не желая слушать, — прочь, прочь куда-нибудь, где нету никого.

Кончено. В ушах раздавался голос старого Митсимы. Кончено, кончено… Издали, молча, но страстно, отчаянно и безнадежно он любил Кьякиме. А теперь кончено. Ему было шестнадцать лет.

В полнолуние, в Антилопьей киве, тайны будут звучать, тайны будут вершиться и передаваться. Они сойдут в киву мальчиками, а подымутся оттуда мужчинами. Всем им было боязно — и в то же время нетерпение брало. И вот наступил

этот день. Солнце село, показалась луна. Он шел вместе с остальными. У входа в киву стояли темной группой мужчины; уходила вниз лестница, в освещенную красную глубь. Идущие первыми стали уже спускаться. Внезапно один из мужчин шагнул вперед, взял его за руку и выдернул из рядов. Он вырвал руку, вернулся, пятясь, на свое место. Но мужчина ударил его, схватил за волосы.

— Не для тебя это, белобрысый!

— Не для сына блудливой сучки, — сказал другой. Подростки засмеялись.

— Уходи отсюда. — И видя, что он медлит, стоит неподалеку, опять крикнули мужчины: — Уходи!

Один из них нагнулся, поднял камень, швырнул.

— Уходи отсюда, уходи!

Камни посыпались градом. Окровавленный, побежал он в темноту. А из красных недр кивы доносилось пение. Уже все подростки туда спустились. Он остался совсем один.

Совсем один, за чертой пуэбло, на голой скальной равнине месы. В лунном свете скала — точно кости, побелевшие от времени. Внизу, в долине, воют на луну койоты. Ушибы от камней болят,

кровь еще течет; но не от боли он рыдает, а оттого, что одинок, что выгнан вон в этот безлюдный, кладбищенский мир камня и лунного света. Он опустился на краю обрыва, спиной к луне. Глянул вниз, в черную тень месы — в черную сень смерти. Один только шаг, один прыжок… Он повернул к свету правую руку. Из рассеченной кожи на запястье сочилась еще кровь. Каждые несколько секунд падала капля, темная, почти черная в мертвенном свете. Кап, кап, кап. Завтра и снова завтра, снова завтра…

Ему открылись Время, Смерть, Бог.

— Всегда, всегда один и одинок.

Эти слова Джона щемящим эхом отозвались в сердце Бернарда. Один и одинок…

— Я тоже одинок, — вырвалось у него. — Страшно одинок.

— Неужели? — удивился Джон. — Я думал, в Том мире… Линда же говорит, что там никто и никогда не одинок.

Бернард смущенно покраснел.

— Видите ли, — пробормотал он, глядя в сторону, — я, должно быть, не совсем такой, как большинство. Если раскупориваешься не таким…

— Да, в этом все дело, — кивнул Джон. — Если

ты не такой, как другие, то обречен на одиночество. Относиться к тебе будут подло. Мне ведь нет ни к чему доступа. Когда мальчиков послали провести ночь на горах — ну, чтобы увидеть там во сне тайного твоего покровителя, твое священное животное, — то меня не пустили с ними; не хотят приобщать меня к тайнам. Но я сам все равно приобщился. Пять суток ничего не ел, а затем ночью один поднялся на те вон горы. — Он указал рукой.

Бернард улыбнулся снисходительно:

— И вам явилось что-нибудь во сне?

Джон кивнул.

— Но что явилось, открывать нельзя. — Он помолчал, потом продолжал негромко: — А однажды летом я сделал такое, чего никто до меня не делал: простоял под жарким солнцем, спиною к скале, раскинув руки, как Иисус на кресте…

— А с какой стати?

— Хотел испытать, каково быть распятым. Висеть на солнцепеке.

— Да зачем вам это?

— Зачем?… — Джон помялся. — Я чувствовал, что должен. Раз Иисус вытерпел. И потом, я тогда худое сделал… И еще — тосковал я; вот еще почему.

— Странный способ лечить тоску, — заметил Бернард. Но, чуть подумав, решил, что все же в этом есть некоторый смысл. Чем глотать сому…

— Стоял, пока не потерял сознание, — сказал Джон. — Упал лицом в камни. Видите метину? — Он поднял со лба густые желто-русые пряди. На правом виске обнажился неровный бледный шрам.

Бернард глянул и, вздрогнув, быстренько отвел глаза. Воспитание, формирование сделали его не то чтобы жалостливым, но до крайности брезгливым. Малейший намек на болезнь или рану вызывал в нем не просто ужас, а отвращение и даже омерзение. Брр! Это как грязь, или уродство, или старость. Он поспешно сменил тему разговора.

— Вам не хотелось бы улететь с нами в Лондон? — спросил он, делая этим первый ход в хитрой военной игре, стратегию которой начал втихомолку разрабатывать, как только понял, кто является так называемым отцом этого молодого дикаря. — Вы бы не против?

Лицо Джона все озарилось.

— А вы правда возьмете с собой?

— Конечно, если то есть получу разрешение.

— И Линду возьмете?

— Гм… — Бернард заколебался. Взять это отвратительное существо? Нет, немыслимо. А впрочем, впрочем… Бернарда вдруг осенило, что именно ее отвратность может оказаться мощнейшим козырем в игре. — Но конечно же! — воскликнул он, чрезмерной и шумной сердечностью заглаживая свое колебание.

Джон глубоко и счастливо вздохнул.

— Подумать только — осуществляется то, о чем мечтал всю жизнь. Помните, что говорит Миранда?

— Кто?

Но молодой человек, видимо, не слышал переспроса.

— О чудо! — произнес он, сияя взглядом, разрумянившись. — Сколько вижу я красивых созданий! Как прекрасен род людской! — Румянец стал гуще: Джон вспомнил о Линайне — об ангеле, одетом в темно-зеленую вискозу, с лучезарно юной, гладкой кожей, напоенной питательными кремами, с дружелюбной улыбкой. Голос его дрогнул умиленно. — О дивный новый мир… — Но тут он вдруг осекся; кровь отхлынула от щек, он побледнел как смерть. — Она за вами замужем? — выговорил он.

— За мной — что?

— Замужем. Вступила с вами в брак. Это провозглашается индейскими словами и нерушимо вовек.

— Да нет, какой там брак! — Бернард невольно рассмеялся. Рассмеялся и Джон, но по другой причине — от буйной радости.

— О дивный новый мир, — повторил он. — О дивный новый мир, где обитают такие люди. Немедля же в дорогу!

— У вас крайне эксцентричный способ выражаться, — сказал Бернард, озадаченно взирая на молодого человека. — Да и не лучше ли подождать с восторгами, увидеть прежде этот дивный мир?

Глава девятая

Линайна чувствовала себя вправе — после дня, наполненного странным и ужасным, — предаться абсолютнейшему сомотдыху. Как только вернулись на туристский пункт, она приняла шесть полуграммовых таблеток сомы, легла в кровать и минут через десять плыла уже в лунную вечность. Очнуться, очутиться опять во времени ей предстояло лишь через восемнадцать часов, а то и позже.

А Бернард лежал, бессонно глядя в темноту и думая. Было уже за полночь, когда он уснул. Далеко за полночь; но бессонница дала плоды — он выработал план действий.

На следующее утро, точно в десять часов, мулат в зеленой форме вышел из приземлившегося вертоплана. Бернард ждал его среди агав.

— Мисс Краун отдыхает, — сказал Бернард. — Вернется из сомотдыха часам к пяти, не раньше. Так что у нас в распоряжении семь часов.

(«Слетаю в Санта-Фе, — решил Бернард, — сделаю там все нужное и вернусь, а она еще спать будет».)

— Безопасно ей будет здесь одной? — спросил

он мулата.

— Как в кабине вертоплана, — заверил тот.

Сели в машину, взлетели. В десять тридцать четыре они приземлились на крыше санта-фейского почтамта; в десять тридцать семь Бернарда соединили с Канцелярией Главноуправителя на Уайтхолле; в десять тридцать девять он уже излагал свое дело четвертому личному секретарю его фордейшества; в десять сорок четыре повторял то же самое первому секретарю, а в десять сорок семь с половиной в его ушах раздался звучный бас самого Мустафы Монда.

— Я взял на себя смелость предположить, — запинаясь, докладывал Бернард, — что вы, ваше фордейшество, сочтете случай этот представляющим достаточный научный интерес…

— Да, случай, я считаю, представляет достаточный научный интерес, — отозвался бас. — Возьмите с собой в Лондон обоих индивидуумов.

— Вашему фордейшеству известно, разумеется, что мне будет необходим специальный пропуск…

— Соответствующее распоряжение, — сказал Мустафа, — уже передается в данный момент Хранителю резервации. К нему и обратитесь безотлагательно. Всего наилучшего.

Трубка замолчала. Бернард положил ее и побежал на крышу.

— Летим к Хранителю, — сказал он мулату в зеленом.

В десять пятьдесят четыре Хранитель тряс руку Бернарду, здороваясь.

— Рад вас видеть, мистер Маркс, рад вас видеть, — гудел он почтительно. — Мы только что получили специальное распоряжение…

— Знаю, — не дал ему кончить Бернард. — Я разговаривал сейчас по телефону с его фордейшеством. — Небрежно-скучающий тон Бернарда давал понять, что разговоры с Главноуправителем — вещь для Бернарда самая привычная и будничная. Он опустился в кресло. — Будьте добры совершить поскорее все формальности. Поскорей, будьте добры, — повторил он с нажимом. Он упивался своей новой ролью. В три минуты двенадцатого все необходимые бумаги были уже у него в кармане.

— До свидания, — покровительственно кивнул он Хранителю, проводившему его до лифта. — До свидания.

В отеле, расположенном неподалеку, он освежил себя ванной, вибровакуумным массажем, выбрился электролизной бритвой, прослушал

утренние известия, провел полчасика у телевизора, отобедал не торопясь, со вкусом и в половине третьего полетел с мулатом обратно в Мальпаис.

— Бернард, — позвал Джон, стоя у туристского пункта. — Бернард!

Ответа не было. Джон бесшумно взбежал на крыльцо в своих оленьих мокасинах и потянул дверную ручку. Дверь заперта.

Уехали! Улетели! Такой беды с ним еще не случалось. Сама приглашала прийти, а теперь нет их. Он сел на ступеньки крыльца и заплакал.

Полчаса прошло, прежде чем он догадался заглянуть в окно. И сразу увидел там небольшой зеленый чемодан с инициалами Л. К. на крышке. Радость вспыхнула в нем пламенем. Он схватил с земли голыш. Зазвенело, падая, разбитое стекло. Мгновение — и он уже в комнате. Раскрыл зеленый чемодан, и тут же в ноздри, в легкие хлынул запах Линайны, ее духи, ее эфирная сущность. Сердце забилось гулко; минуту он был близок к обмороку. Наклонясь к драгоценному вместилищу, он стал перебирать, вынимать, разглядывать. Застежки-молнии на вискозных шортах озадачили его сперва, а затем — когда решил загадку молний — восхитили. Дерг туда, дерг обратно, жжик-жжик, жжик-жжик; он был в восторге. Зе-

леные туфельки ее — ничего чудесней в жизни он не видел. Развернув комбилифчик с трусиками, он покраснел, поспешно положил на место; надушенный ацетатный носовой платок поцеловал, а шарфик повязал себе на шею. Раскрыл коробочку — и окутался облаком просыпавшейся ароматной пудры. Запорошил все пальцы себе. Он вытер их о грудь свою, о плечи, о загорелые предплечья. Как пахнет! Он закрыл глаза; он потерся щекой о запудренное плечо. Прикосновение гладкой кожи, аромат этой мускусной пыльцы — будто сама Линайна здесь.

— Линайна, — прошептал он. — Линайна!

Что-то ему послышалось, он вздрогнул, оглянулся виновато. Сунул вынутые воровским образом вещи обратно, придавил крышкой; опять прислушался и огляделся. Ни звука, ни признака жизни. Однако ведь он явственно слышал — не то вздох, не то скрип половицы. Он подкрался на цыпочках к двери, осторожно отворил — за дверью оказалась широкая лестничная площадка. А за площадкой — еще дверь, приоткрытая. Он подошел, открыл пошире, заглянул.

Там, на низкой кровати, сбросив с себя простыню, в комбинированной розовой пижаме на молниях, лежала и спала крепким сном Линайна

— и была так прелестна в ореоле кудрей, так была детски-трогательна со своим серьезным личиком и розовыми пальчиками ног, так беззащитно и доверчиво разбросала руки, что на глаза Джону навернулись слезы.

С бесконечными и совершенно ненужными предосторожностями — ибо досрочно вернуть Линайну из ее сомотдыха мог разве что гулкий пистолетный выстрел — он вошел, он опустился на колени у кровати. Глядел, сложив молитвенно руки, шевеля губами. «Ее глаза», — шептал он:

Ее глаза, лицо, походка, голос;
Упомянул ты руки — их касанье
Нежней, чем юный лебединый пух,
А перед царственной их белизною
Любая белизна черней чернил…

Муха, жужжа, закружилась над ней; взмахом руки он отогнал муху. И вспомнил:

Мухе — и той доступно сесть
На мраморное чудо рук Джульетты,
Мухе — и той дозволено похитить
Бессмертное благословенье с губ,
Что разалелись от стыда, считая

Грехом невольный этот поцелуй;
О чистая и девственная скромность!

Медленно-медленно, неуверенным движением человека, желающего погладить пугливую дикую птицу, которая и клюнуть может, он протянул руку. Дрожа, она остановилась в сантиметре от сонного локтя — почти касаясь. Посметь ли? Посметь ли осквернить прикосновением низменной руки… Нет, нельзя. Слишком опасна птица и опаслива. Он убрал руку. Как прекрасна Линайна! Как прекрасна!

Затем он вдруг поймал себя на мысли, что стоит лишь решительно и длинно потянуть вниз эту застежку у нее на шее… Он закрыл глаза, он тряхнул головой, как встряхивается, выходя из воды, ушастый пес. Пакостная мысль! Стыд охватил его. «О чистая и девственная скромность!..»

В воздухе послышалось жужжание. Опять хочет муха похитить бессмертное благословение? Или оса? Он поднял глаза — не увидел ни осы, ни мухи. Жужжание делалось все громче, и стало ясно, что оно идет из-за ставней, снаружи. Вертоплан! В панике Джон вскочил на ноги, метнулся вон, выпрыгнул в разбитое окно и, пробежав по тропке между высокими агавами, поспел как раз

к приземлению вертоплана.

Глава десятая

На всех четырех тысячах электрических часов, во всех четырех тысячах залов и комнат Центра стрелки показывали двадцать семь минут третьего. В «нашем трудовом улье», как любил выражаться Директор, стоял рабочий шум. Все и вся трудилось, упорядоченно двигалось. Под микроскопами, яростно двигая длинными хвостиками, сперматозоиды бодливо внедрялись в яйцеклетки; и оплодотворенные яйца разрастались, делились или же, пройдя бокановскизацию, почковались, давая целые популяции близнецов. С урчанием шли эскалаторы из Зала предопределения вниз, в Эмбрионарий, — и там, в вишневом сумраке, прея на подстилках из свиной брюшины, насыщаясь кровезаменителем и гормонами, росли зародыши — или, отравленные спиртом, прозябали, превращались в щуплых эпсилонов. С тихим рокотом ползли конвейерные ленты незаметно глазу — сквозь недели, месяцы и сквозь биологические эры, повторяемые эмбрионами в своем развитии, — в Зал раскупорки, где новораскупоренные младенцы издавали первый вопль изумления и ужаса.

Гудели в подвальном этаже электрогенераторы, мчались вверх и вниз грузоподъемнички. На всех одиннадцати этажах Младопитомника было время кормления. Восемнадцать сотен снабженных ярлыками младенцев дружно тянули из восемнадцати сотен бутылок свою порцию пастеризованного млечного продукта.

Над ними в спальных залах, на десяти последующих этажах, малыши и малышки, кому полагался по возрасту послеобеденный сон, и во сне этом трудились не менее других, хотя и бессознательно, — усваивали гипнопедические уроки гигиены и умения общаться, основы кастового самосознания и начала секса. А еще выше помещались игровые залы, где по случаю дождя девятьсот детишек постарше развлекались кубиками, лепкой, прятками и эротической игрой.

Жж-жж! — деловито, жизнерадостно жужжал улей. Весело напевали девушки над пробирками; насвистывая, занимались своим делом предназначатели; а какие славные остроты можно было слышать над пустыми бутылями в Зале раскупорки! Но у Директора, входящего с Генри Фостером в Зал оплодотворения, лицо выражало серьезность, деревянную суровость.

— В назидание всем, — говорил Директор. — И

в этом зале, поскольку здесь наибольшее у нас число работников высших каст. Я велел ему явиться сюда в два тридцать.

— Работник он очень хороший, — лицемерно свеликодушничал Генри.

— Знаю. Но тем оправданнее будет суровость наказания. Повышенные умственные данные налагают и повышенную нравственную ответственность. Чем одаренней человек, тем способнее он разлагать окружающих. Лучше, чтобы пострадал один, но спасены были от порчи многие. Рассудите дело беспристрастно, мистер Фостер, и вы согласитесь, что нет преступления гнусней, чем нарушение общепринятых норм поведения. Убийство означает гибель особи — а собственно, что для нас одна особь? — Взмахом руки Директор охватил ряды микроскопов, пробирки, инкубаторы. — Мы с величайшей легкостью можем сотворить сколько угодно новых. Нарушение же принятых норм ставит под угрозу нечто большее, чем жизнь какой-то особи, — наносит удар всему Обществу. Да, всему Обществу, — повторил он. — Но вот и сам преступник.

Бернард приближался уже к ним, шел между рядами оплодотворителей. Вид у него был бой-

кий, самоуверенный, но из-под этой маскировки проглядывала тревога.

— Добрый день, Директор, — произнес он до нелепости громко; заметив это сам, он тут же сбавил тон чуть не до шепота и пискнул: — Вы назначили мне встречу здесь.

— Да, — сказал Директор важно и зловеще. — Назначил встречу здесь. Вы вернулись, как я понимаю, из своего отпуска.

— Да, — сказал Бернард.

— Так-с-сс, — змеино протянул звук «с» Директор. И внезапно повысив голос: — Леди и джентльмены, — воззвал он трубно, — дамы и господа.

Вмиг прекратилось мурлыканье лаборанток над пробирками, сосредоточенное посвистывание микроскопистов. Наступило молчание, лица всех обратились к Директору.

— Дамы и господа, — повторил он еще раз. — Простите, что прерываю ваш труд. Меня к тому вынуждает тягостный долг. Под угрозу поставлены безопасность и стабильность Общества. Да, поставлены под угрозу, дамы и господа. Этот человек, — указал он обвиняюще на Бернарда, — человек, стоящий перед вами, этот альфа-плюсовик, которому так много было дано и

от которого, следовательно, так много ожидалось, этот ваш коллега — но не лучше ли мне сразу же сказать, этот ваш бывший коллега — грубо обманул доверие Общества. Своими еретическими взглядами на спорт и сому, своими скандальными нарушениями норм половой жизни, своим отказом следовать учению Господа нашего Форда и внести себя во внеслужебные часы «как дитя в бутыли» (Директор осенил себя знаком Т) он разоблачил себя, дамы и господа, как враг Общества, как разрушитель Порядка и Стабильности, как злоумышленник против самой Цивилизации. Поэтому я намерен снять его, отстранить с позором от занимаемой должности; я намерен немедленно осуществить его перевод в третьестепенный филиал, причем как можно более удаленный от крупных населенных центров — так будет в интересах Общества. В Исландии ему представится мало возможностей сбивать людей с пути своим фордохульственным примером.

Директор сделал паузу, скрестив руки на груди, повернулся величаво к Бернарду.

— Можете ли вы привести убедительный довод, который помешал бы мне исполнить вынесенный вам приговор?

— Да, могу, — не сказал, а крикнул Бернард.

Несколько опешив, но все еще величественно:

— Так приведите этот довод, — промолвил Директор.

— Пожалуйста. Мой довод в коридоре. Сейчас приведу. — Бернард торопливо пошел к двери, распахнул ее. — Входите, — сказал он, и довод явился и предстал перед всеми.

Зал глухо ахнул, по нему прокатился ропот удивления и ужаса; взвизгнула юная лаборантка; кто-то вскочил на стул, чтобы лучше видеть, и при этом опрокинул две пробирки, полные сперматозоидов. Оплывшая, обрюзгшая — устрашающее воплощение безобразной немолодости среди этих молодых, крепкотелых, туголицых, — Линда вошла в зал, кокетливо улыбаясь своей щербатой, линялой улыбкой и роскошно, как ей казалось, колебля на ходу свои окорока. Бернард шел рядом с ней.

— Вот он, — указал Бернард на Директора.

— Будто я уж такая беспамятная, — даже обиделась Линда и, повернувшись к Директору, воскликнула: — Ну конечно, я узнала, Томасик, я бы тебя узнала среди тысячи мужчин. А неужели ты меня забыл? Не узнаешь? Не помнишь меня, Томасик? Твою Линдочку. — Она глядела на него, склонив голову набок, продолжая улыбаться, но

на лице Директора застыло такое отвращение, что улыбка Линды делалась все неуверенней, растерянней и угасла наконец. — Не помнишь, Томасик? — повторила она дрожащим голосом. В глазах ее была тоска и боль. Дряблое, в пятнах лицо перекосилось горестной гримасой. — Томасик! — Она протянула к нему руки. Раздался чей-то смешок.

— Что означает, — начал Директор, — эта чудовищная…

— Томасик! — Она подбежала, волоча свою накидку-одеяло, бросилась Директору на шею, уткнулась лицом ему в грудь.

Зал взорвался безудержным смехом.

— …эта чудовищная шутка? — возвысил голос Директор. Весь побагровев, он вырывался из объятий. Она льнула к нему цепко и отчаянно.

— Но я же Линда. Я же Линдочка.

Голос ее тонул в общем смехе.

— Я же родила от тебя, — прокричала она, покрывая шум. И внезапно, грозно воцарилась тишина; все смолкли, пряча глаза в замешательстве. Директор побледнел, перестал вырываться, так и замер, ухватясь за руки Линды, глядя на нее остолбенело.

— Да, родила — стала матерью.

Она бросила это, как вызов, в потрясенную тишину; затем, отстранясь от Директора, объятая стыдом, закрыла лицо, зарыдала.

— Я не виновата, Томасик. Я всегда же выполняла все приемы. Всегда-всегда… Я не знаю, как это… Если бы только знал, Томасик, как ужасно… Но все равно он был мне утешением. — И повернувшись к двери: — Джон! — позвала она. — Джон!

Джон тут же появился на пороге, остановился, осмотрелся, затем быстро, бесшумно в своих мокасинах пересек зал, опустился на колени перед Директором и звучно произнес:

— Отец мой!

Слово это (ибо ругательство «отец», менее прямо, чем «мать», связанное с мерзким и аморальным актом деторождения, звучит не столь похабно, сколь попросту навозно) — комически-грязное это словцо разрядило атмосферу напряжения, ставшего уже невыносимым. Грянул хохот-рев, оглушительный и нескончаемый. «Отец мой» — и кто же? Директор! Отец! О Господи Фо-хо-хо-хо!.. Да это ж фантастика! Все новые, новые приступы, взрывы — лица раскисли от хохота, слезы текут. Еще шесть пробирок спермы опрокинули. Отец мой!

Бледный, вне себя от унижения, Директор огля-

делся затравленно вокруг дикими глазами.

Отец мой! Хохот, начавший было утихать, раскатился опять, громче прежнего. Зажав руками уши, Директор кинулся вон из зала.

Глава одиннадцатая

После скандала в Зале оплодотворения все высшекастовое лондонское общество рвалось увидеть этого восхитительного дикаря, который упал на колени перед Директором Инкубатория (вернее сказать, перед бывшим Директором, ибо бедняга тотчас ушел в отставку и больше уж не появлялся в Центре), который бухнулся на колени и обозвал Директора отцом, — юмористика почти сказочная! Линда же, напротив, не интересовала никого. Назваться матерью — это уже не юмор, а похабщина. Притом она ведь не настоящая дикарка, а из бутыли вышла, сформирована как все и подлинной эксцентричностью понятий блеснуть не может. Наконец — и это наивесомейший резон, чтобы не знаться с Линдой — ее внешний вид. Жирная, утратившая свою молодость, со скверными зубами, с пятнистым лицом, с безобразной фигурой — при одном взгляде на нее буквально делается дурно. Так что лондонские сливки общества решительно не желали видеть Линду. Да и Линда, со своей стороны, нимало не желала их видеть. Для нее возврат в цивилизацию значил возвращение к соме — означал

возможность лежать в постели и предаваться непрерывному сомотдыху без похмельной рвоты или головной боли, без того чувства, какое бывало всякий раз после пейотля, — будто совершила что-то жутко антиобщественное, навек опозорившее. Сома не играет с тобой таких шуток. Она — средство идеальное, а если, проснувшись наутро, испытываешь неприятное ощущение, то неприятное не само по себе, а лишь сравнительно с радостями забытья. И поправить положение можно — можно сделать забытье непрерывным. Линда жадно требовала все более крупных и частых доз сомы. Доктор Шоу вначале возражал, потом махнул рукой. Она глотала до двадцати граммов ежесуточно.

— И это ее прикончит в месяц-два, — доверительно сообщил доктор Бернарду. — В один прекрасный день ее дыхательный центр окажется парализован. Дыхание прекратится. Наступит конец. И тем лучше. Если бы мы умели возвращать молодость, тогда бы дело другое. Но мы не умеем.

Ко всеобщему удивлению (ну и пускай себе спит Линда и никому не мешает), Джон пытался возражать:

— Ведь, закармливая этими таблетками, вы

укорачиваете ей жизнь.

— В некотором смысле укорачиваем, — соглашался доктор Шоу. — Но в другом — даже удлиняем. (Джон глядел на него непонимающе.) Пусть сома укорачивает временно́е протяжение вашей жизни на столько-то лет, — продолжал врач. — Зато какие безмерные вневременные протяжения она способна вам дарить. Каждый сомотдых — это фрагмент того, что наши предки называли вечностью.

— Вечность была у нас в глазах и на устах, — пробормотал Джон, начиная понимать.

— Как? — не расслышал доктор Шоу.

— Ничего. Так.

— Конечно, — продолжал доктор Шоу, — нельзя позволять людям то и дело отправляться в вечность, если они выполняют серьезную работу. Но поскольку у Линды такой работы нет…

— Все равно, — не успокаивался Джон, — по-моему, нехорошо это.

Врач пожал плечами:

— Что ж, если вы предпочитаете, чтоб она вопила и буянила, домогаясь сомы…

В конце концов Джону пришлось уступить. Линда добилась своего. И залегла окончательно в своей комнатке на тридцать восьмом этаже

дома, в котором жил Бернард. Радио и телевизор включены круглые сутки, из краника чуть-чуть покапывают духи пачули, и тут же под рукой таблетки сомы — так лежала она у себя в постели и в то же время пребывала где-то далеко, бесконечно далеко, в непрерывном сомотдыхе, в ином каком-то мире, где радиомузыка претворялась в лабиринт звучных красок, в трепетно скользящий лабиринт, ведущий (о, какими прекрасно-неизбежными извивами!) к яркому средоточию полного, уверенного счастья; где танцующие телевизорные образы становились актерами в неописуемо дивном суперпоющем ощущальном фильме; где аромат каплющих духов разрастался в солнце, в миллион сексофонов, в Попе, обнимающего, любящего, — но неизмеримо сладостней, сильней и нескончаемо.

— Нет, возвращать молодость мы не умеем. Но я крайне рад этой возможности понаблюдать одряхление на человеке. Сердечное спасибо, что пригласили меня. — И доктор Шоу горячо пожал Бернарду руку.

Итак, видеть жаждали Джона. А поскольку доступ к Джону был единственно через его официального опекуна и гида Бернарда, то к Бернарду впервые в жизни стали относиться по-человече-

ски, даже более того — словно к очень важной особе. Теперь и речи не было про спирт, якобы подлитый в его кровезаменитель; не было насмешек над его наружностью. Генри Фостер весь излучал радушие; Бенито Гувер подарил шесть пачек секс-гормональной жевательной резинки; пришел помощник Предопределителя и чуть ли не подобострастно стал напрашиваться в гости — на какой-либо из званых вечеров, устраиваемых Бернардом. Что же до женщин, то Бернарду стоило лишь поманить их приглашением на такой вечер, и доступной делалась любая.

— Бернард пригласил меня на будущую среду — познакомит с Дикарем, — объявила торжествующе Фанни.

— Рада за тебя, — сказала Линайна. — А теперь признайся, что ты неверно судила о Бернарде. Ведь правда же, он мил?

Фанни кивнула.

— И не скрою, — сказала Фанни, — что я весьма приятно удивлена.

Начальник Укупорки, Главный предопределитель, трое заместителей помощника Главного оплодотворителя, профессор ощущального искусства из Института технологии чувств, Настоятель Вестминстерского храма песнословия, Главный

бокановскизатор — бесконечен был перечень светил и знатных лиц, бывавших на приемах у Бернарда.

— А девушек я на прошлой неделе имел шесть штук, — похвалялся Бернард перед Гельмгольцем. — Одну в понедельник, двух во вторник, двух в пятницу и одну в субботу. И еще по крайней мере дюжина набивалась, да не было времени и желания…

Гельмгольц слушал молча, с таким мрачным неодобрением, что Бернард обиделся.

— Тебе завидно, — сказал Бернард.

— Нет, попросту грустновато, — ответил он. Бернард ушел рассерженный. Никогда больше, дал он себе зарок, никогда больше не заговорит он с Гельмгольцем.

Шли дни. Успех кружил Бернарду голову, как шипучий пьянящий напиток, и (подобно всякому хорошему опьяняющему средству) полностью примирил его с порядком вещей, прежде таким несправедливым. Теперь этот мир был хорош, поскольку признал Бернардову значимость. Но, умиротворенный, довольный своим успехом, Бернард, однако, не желал отречься от привилегии критиковать порядок вещей. Ибо критика усиливала в Бернарде чувство значимости, соб-

ственной весомости. К тому же критиковать есть что — в этом он убежден был искренне. (Столь же искренне ему хотелось и нравилось иметь успех, иметь девушек по желанию.) Перед теми, кто теперь любезничал с ним ради доступа к Дикарю, Бернард щеголял язвительным инакомыслием. Его слушали учтиво. Но за спиной у него покачивали головами и пророчили: «Этот молодой человек плохо кончит». Пророчили тем увереннее, что сами намерены были в должное время позаботиться о плохом конце. «И не выйдет он вторично сухим из воды — не вечно ему козырять дикарями», — прибавляли они. Пока же этот козырь у Бернарда был, и с Бернардом держались любезно. И Бернард чувствовал себя монументальной личностью, колоссом — и в то же время ног под собой не чуял, был легче воздуха, парил в поднебесье.

— Он легче воздуха, — сказал Бернард, показывая вверх.

Высоко-высоко там висел привязной аэростат службы погоды и розово отсвечивал на солнце, как небесная жемчужина.

«…упомянутому Дикарю, — гласила инструкция, данная Бернарду, — надлежит наглядно показать цивилизованную жизнь во всех ее ас-

пектах…»

Сейчас Дикарю показывали ее с высоты птичьего полета — со взлетно-посадочного диска Черинг-Тийской башни. Экскурсоводами служили начальник этого аэропорта и штатный метеоролог. Но говорил главным образом Бернард. Опьяненный своей ролью, он вел себя так, словно был по меньшей мере Главноуправителем. Он парил в поднебесье.

Оттуда, из этих небес, упала на диск «Бомбейская Зеленая Ракета». Пассажиры сошли. Из восьми иллюминаторов салона выглянули восемь одетых в хаки бортпроводников — восьмерка тождественных близнецов-дравидов.

— Тысяча двести пятьдесят километров в час, — внушительно сказал начальник аэропорта. — Скорость приличная, не правда ли, мистер Дикарь?

— Да, — сказал Дикарь. — Однако Ариэль способен был в сорок минут всю землю опоясать.

«Дикарь, — писал Бернард Мустафе Монду в своем отчете, — выказывает поразительно мало удивления или страха перед изобретениями цивилизации. Частично это объясняется, без сомнения, тем, что ему давно рассказывала о них Линда, его м…»

(Мустафа Монд нахмурился. «Неужели этот дурак думает, что шокирует меня, если напишет слово полностью?»)

«Частично же тем, что интерес его сосредоточен на фикции, которую он именует душой и упорно считает существующей реально и помимо вещественной среды; я же убеждаю его в том, что…»

Главноуправитель пропустил, не читая, Бернардовы рассуждения и хотел уже перевернуть страницу в поисках чего-либо конкретней, интересней, как вдруг наткнулся взглядом на весьма странные фразы. «…Хотя должен признаться, — прочел он, — что здесь я согласен с Дикарем и тоже нахожу нашу цивилизованную безмятежность чувств слишком легко нам достающейся, слишком, как выражается Дикарь, дешевой; и, пользуясь случаем, я хотел бы привлечь внимание Вашего фордейшества к…»

Мустафа не знал, гневаться ему или смеяться. Этот нуль суется читать лекции о жизнеустройстве ему, Мустафе Монду! Такое уж ни в какие ворота не лезет. Да он с ума сошел! «Человечку необходим урок», — решил Главноуправитель, но тут же густо рассмеялся, закинув голову. И мысль об уроке отодвинулась куда-то вдаль.

Посетили небольшой завод осветительных

устройств для вертопланов, входящий в Корпорацию электрооборудования. Уже на крыше были встречены и главным технологом, и администратором по кадрам (ибо рекомендательное письмо-циркуляр Главноуправителя обладало силой магической). Спустились в производственные помещения.

— Каждый процесс, — объяснял администратор, — выполняется по возможности одной группой Бокановского.

И действительно, холодную штамповку выполняли восемьдесят три чернявых, круглоголовых и почти безносых дельтовика. Полсотни четырехшпиндельных токарно-револьверных автоматов обслуживались полусотней горбоносых рыжих гамм. Персонал литейной составляли сто семь сенегальцев-эпсилонов, с бутыли привычных к жаре. Резьбу нарезали тридцать три желто-русые, длинноголовые, узкобедрые дельтовички ростом все как одна — в метр шестьдесят девять сантиметров (с допуском плюс-минус 20 мм). В сборочном цехе два выводка гамма-плюсовиков карликового размера стояли на сборке генераторов. Ползла конвейерная лента с грузом частей; по обе стороны ее тянулись низенькие рабочие столы; и друг против друга стояли со-

рок семь темноволосых карликов и сорок семь светловолосых. Сорок семь носов крючком — и сорок семь курносых; сорок семь подбородков, выдающихся вперед, — и сорок семь срезанных. Проверку собранных генераторов производили восемнадцать схожих как две капли, курчавых шатенок в зеленой гамма-форме; упаковкой занимались тридцать четыре коротконогих левши из разряда дельта-минус, а погрузкой в ожидающие тут же грузовики и фургоны — шестьдесят три голубоглазых, льнянокудрых и веснушчатых эпсилон-полукретина.

«О дивный новый мир…» Память злорадно подсказала Дикарю слова Миранды: «О дивный новый мир, где обитают такие люди».

— И могу вас заверить, — подытожил администратор на выходе из завода, — с нашими рабочими почти что никаких хлопот. У нас всегда…

Но Дикарь уже убежал от своих спутников за лавровые деревца, и там его вырвало так, будто не на твердой земле он находился, а в вертоплане, попавшем в болтанку.

«Дикарь, — докладывал письменно Бернард, — отказывается принимать сому, и,

по-видимому, его очень удручает то, что Линда, его м..., пребывает в постоянном сомотдыхе. Стоит отметить, что, несмотря на одряхление и крайне отталкивающий вид его м..., Дикарь зачастую ее навещает и весьма привязан к ней — любопытный пример того, как ранняя обработка психики способна смягчить и даже подавить естественные побуждения (в данном случае — побуждение избежать контакта с неприятным объектом)».

В Итоне они приземлились на крыше Школы. Напротив, за прямоугольным двором, ярко белела на солнце пятидесятидвухэтажная Лаптонова Башня. Слева — Колледж, а справа — Итонский храм песнословия возносили свои веками освященные громады из железобетона и вита-гласа. В центре прямоугольника, ограниченного этими четырьмя зданиями, стояло причудливо-старинное изваяние Господа нашего Форда из хромистой стали.

Вышедших из кабины Дикаря и Бернарда встретили доктор Гэфни, ректор и мисс Кийт, директриса.

— А близнецов у вас здесь много? — тревожно

спросил Дикарь, когда приступили к обходу.

— О нет, — ответил ректор. — Итон предназначен исключительно для мальчиков и девочек из высших каст. Одна яйцеклетка — один взрослый организм. Это, разумеется, затрудняет обучение. Но поскольку нашим питомцам предстоит брать на плечи ответственность, принимать решения в непредвиденных и чрезвычайных обстоятельствах, бокановскизация для них не годится. — Ректор вздохнул.

Бернарду между тем весьма пришлась по вкусу мисс Кийт.

— Если вы свободны вечером в любой понедельник, среду или пятницу, милости прошу, — говорил он ей. — Субъект, знаете ли, занятный, — прибавил он, кивнув на Дикаря. — Оригинал.

Мисс Кийт улыбнулась (и Бернард счел улыбку очаровательной), промолвила: «Благодарю вас», сказала, что с удовольствием принимает приглашение. Ректор открыл дверь в аудиторию, где шли занятия с плюс-плюс-альфами.

Послушав минут пять, Джон озадаченно повернулся к Бернарду.

— А что это такое — элементарная теория относительности? — шепотом спросил он. Бернард начал было объяснять, затем предложил пойти

лучше послушать, как обучают другим предметам.

В коридоре, ведущем в географический зал для минус-бет, они услышали за одной из дверей звонкое сопрано:

— Раз, два, три, четыре, — и тут же новую, устало-раздраженную команду: — Отставить.

— Мальтузианские приемы, — объяснила директриса. — Наши девочки, конечно, в большинстве своем неплоды. Как и я сама, — улыбнулась она Бернарду. — Но есть у нас учениц восемьсот нестерилизованных, и они нуждаются в постоянной тренировке.

В географическом зале Джон услышал, что «дикая резервация — это местность, где, вследствие неблагоприятных климатических или геологических условий, не окупились бы расходы на цивилизацию». Щелкнули ставни; свет в зале погас; и внезапно на экране, над головой у преподавателя, возникли penitentes[1], павшие ниц пред богоматерью Акомской (знакомое Джону зрелище); стеная, каялись они в грехах перед распятым Иисусом, перед Пуконгом в образе орла. А юные итонцы в зале надрывали животики от

---

[1] Примечания: 1

Кающиеся (*исп.*). — *Здесь и далее примеч. пер.*

смеха. Penitentes поднялись, причитая, на ноги, сорвали с себя верхнюю одежду и узластыми бичами принялись себя хлестать. Смех в зале до того разросся, что заглушил даже стоны бичующихся, усиленные звукоаппаратурой.

— Но почему они смеются? — спросил Дикарь с недоумением и болью в голосе.

— Почему? — Ректор обернулся к нему, улыбаясь во весь рот. — Да потому что смешно до невозможности.

В кинематографической полумгле Бернард отважился на то, на что в прошлом вряд ли решился бы даже в полной темноте. Окрыленный своей новой значимостью, он обнял директрису за талию. Талия гибко ему покорилась. Он хотел уже сорвать поцелуйчик-другой или нежно щипнуть — но тут снова щелкнули, открылись ставни.

— Пожалуй, продолжим осмотр, — сказала мисс Кийт вставая.

— Вот здесь у нас, — указал ректор, пройдя немного по коридору, — гипнопедическая аппаратная.

Вдоль трех стен помещения стояли стеллажи с сотнями проигрывателей — для каждой спальной комнаты свой проигрыватель; четвертую стену всю занимали полки-ячейки с бумажными

роликами, содержащими разнообразные гипнопедические уроки.

— Ролик вкладываем сюда, — сказал Бернард, перебивая ректора, — нажимаем эту кнопку…

— Нет, вон ту, — поправил досадливо ректор.

— Да, вон ту. Ролик разматывается, печатная запись считывается, световые импульсы преобразуются селеновыми фотоэлементами в звуковые волны и…

— И происходит обучение во сне, — закончил доктор Гэфни.

— А Шекспира они читают? — спросил Дикарь, когда, направляясь в биохимические лаборатории, они проходили мимо школьной библиотеки.

— Ну, разумеется, нет, — сказала директриса зардевшись.

— Библиотека наша, — сказал доктор Гэфни, — содержит только справочную литературу. Развлекаться наша молодежь может в ощущальных кинозалах. Мы не поощряем развлечений, связанных с уединением.

По остеклованной дороге прокатили мимо пять автобусов, заполненных мальчиками и девочками; одни пели, другие сидели в обнимку молча.

— Возвращаются из Слау, из крематория, —

пояснил ректор (Бернард в это время шепотом уговаривался с директрисой о свидании сегодня же вечером). — Смертовоспитание начинается с полутора лет. Каждый малыш дважды в неделю проводит утро в Умиральнице. Там его ожидают самые интересные игрушки и шоколадные пирожные. Ребенок приучается воспринимать умирание, смерть как нечто само собой разумеющееся.

— Как любой другой физиологический процесс, — вставила авторитетно директриса.

Итак, с нею договорено. В восемь часов вечера, в «Савое».

На обратном пути в Лондон они сделали краткую остановку на крыше Брентфордской фабрики телеоборудования.

— Подожди, пожалуйста, минутку, я схожу позвоню, — сказал Бернард.

Ожидая, Дикарь глядел вокруг. Главная дневная смена как раз кончилась. Рабочие низших каст толпились, выстраивались в очередь у моновокзала — сотен семь или восемь гамм, дельт и эпсилонов обоего пола, то есть не более дюжины одноликих и одноростых выводков. Длинной гусеницей ползла очередь к окошку. Вместе с билетом кассир совал каждому картонную ко-

робочку.

— Что в этих… этих малых ларчиках? — вспомнив слово из «Венецианского купца», спросил Дикарь возвратившегося Бернарда.

— Дневная порция сомы, — ответил Бернард слегка невнятно; он подкреплял энергию — жевал Гуверову секс-гормональную резинку. — Кончил смену — получай сому. Четыре полуграммовые таблетки. А по субботам — шесть.

Он взял Джона дружески под руку и направился с ним к вертоплану.

Линайна вошла в раздевальню напевая.

— У тебя такой довольный вид, — сказала Фанни.

— Да, у меня радость, — отвечала Линайна. (Жжик! — расстегнула она молнию.) — Полчаса назад позвонил Бернард. (Жжик, жжик! — сняла она шорты.) У него непредвиденная встреча. (Жжик!) Попросил сводить Дикаря вечером в ощущалку. Надо скорей лететь. — И она побежала в ванную кабинку.

«Везет же девушке», — подумала Фанни, глядя вслед Линайне. Подумала без зависти; добродушная Фанни просто констатировала факт. Действительно, Линайне повезло. Не на одного лишь Бернарда, но в щедрой мере и на нее

падали лучи славы Дикаря (самая модная, самая громкая сенсация момента!) и озаряли ее малозначительную личность. Ведь сама руководительница Фордианского союза женской молодежи попросила ее прочесть лекцию о Дикаре! Ведь Линайну пригласили на ежегодный званый обед клуба «Афродитеум»! Ведь ее уже показывали в «Ощущальных новостях» — зримо, слышимо и осязаемо явили сотням миллионов жителей планеты!

Едва ли менее лестной для Линайны была благосклонность видных лиц. Второй секретарь Главноуправителя пригласил ее на ужин-завтрак. Один из своих уик-эндов Линайна провела с Верховным судьей, другой — с архипеснословом Кентерберийским. Ей то и дело звонил глава Корпорации секреторных продуктов, а с заместителем Управляющего Европейским банком она слетала в Довиль.

— Чудесно, что и говорить. Но, — призналась Линайна подруге, — у меня какое-то такое чувство, точно я получаю все это обманом. Потому что первым делом, конечно, все они допытываются, какой из Дикаря любовник. И приходится отвечать, что не знаю. — Она поникла головой. — Конечно, почти никто не верит мне. Но

это правда. И жаль, что правда, — прибавила она грустно и вздохнула. — Он же страшно красивый — верно?

— А разве ты ему не нравишься? — спросила Фанни.

— Иногда мне кажется, нравлюсь, а иногда — нет. Он избегает меня все время; стоит мне войти в комнату, как он уходит; не коснется рукой никогда; глядит в сторону. Но бывает, обернусь неожиданно и ловлю его взгляд на себе; и тогда — ну, сама знаешь, какой у мужчин взгляд, когда им нравишься.

Фанни кивнула.

— Так что не пойму я, — дернула Линайна плечом. Она недоумевала, она была сбита с толку и удручена. — Потому что, понимаешь, Фанни, он-то мне нравится.

Нравится все больше, все сильней. И вот теперь свидание, думала она, прыскаясь духами после ванны. Здесь, и здесь, и здесь чуточку… Наконец-то свидание. Она весело запела:

Крепче жми меня, мой кролик,
Целуй до истомы.
Ах, любовь острее колик
И волшебней сомы.

Запаховый орга́н исполнил восхитительно бодрящее «Травяное каприччио» — журчащие арпеджио тимьяна и лаванды, розмарина, мирта, эстрагона; ряд смелых модуляций по всей гамме пряностей, кончая амброй; и медленный возврат через сандал, камфару, кедр и свежескошенное сено (с легкими порою диссонансами — запашком ливера, слабеньким душком свиного навоза) — возврат к цветочным ароматам, с которых началось каприччио. Повеяло на прощание тимьяном; раздались аплодисменты; свет вспыхнул ярко. В аппарате синтетической музыки завертелся ролик звукозаписи, разматываясь. Трио для экстраскрипки, супервиолончели и гипергобоя наполнило воздух своей мелодической негой. Тактов тридцать или сорок — а затем на этом инструментальном фоне запел совершенно сверхчеловеческий голос; то грудной, то головной, то чистых, как флейта, тонов, то насыщенный томящими обертонами, голос этот без усилия переходил от рекордно басовых нот к почти ультразвуковым переливчатым верхам, далеко превосходящим высочайшее «до», которое, к удивлению Моцарта, пронзительно взяла однажды Лукреция Аюгари — единственный в истории музыки раз — в 1770 году, в герцогской

опере города Пармы.

Глубоко уйдя в свои пневматические кресла, Линайна и Дикарь обоняли и слушали. А затем пришла пора глазам и коже включиться в восприятие.

Свет погас; из мрака встали жирные огненные буквы: ТРИ НЕДЕЛИ В ВЕРТОПЛАНЕ. СУПЕРПОЮЩИЙ, СИНТЕТИКОРЕЧЕВОЙ, ЦВЕТНОЙ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ ОЩУЩАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ С СИНХРОННЫМ ОРГАНО-ЗАПАХОВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ.

— Возьмитесь за шишечки на подлокотниках кресла, — шепнула Линайна. — Иначе не дойдут ощущальные эффекты.

Дикарь взялся пальцами за обе шишечки.

Тем временем огнистые буквы погасли; секунд десять длилась полная темнота, затем вдруг ослепительно великолепные в своей вещественности — куда живей живого, реальней реального — возникли стереоскопические образы великана негра и златовласой юной круглоголовой бета-плюсовички. Негр и бета сжимали друг друга в объятиях.

Дикарь вздрогнул. Как зачесались губы! Он поднял руку ко рту; щекочущее ощущение пропало; опустил руку на металлическую шишечку

— губы опять защекотало. А орган между тем источал волны мускуса. Из репродукторов шло замирающее суперворкование: «Оооо»; и сверхафриканский густейший басище (с частотой всего тридцать два колебания в секунду) мычал в ответ воркующей золотой горлице: «Мм-мм!» Опять слились стереоскопические губы — «Оомм! Оо-ммм!» — и снова у шести тысяч зрителей, сидящих в «Альгамбре», зазудели эрогенные зоны лица почти невыносимо приятным гальваническим зудом. «Ооо…»

Сюжет фильма был чрезвычайно прост. Через несколько минут после первых воркований и мычаний (когда любовники спели дуэт, пообнимались на знаменитой медвежьей шкуре, каждый волосок которой — совершенно прав помощник Предопределителя! — был четко и раздельно осязаем) негр попал в воздушную аварию, ударился об землю головой. Бум! Какая боль прошила лбы у зрителей! Раздался хор охов и ахов.

От сотрясения полетело кувырком все формированье-воспитанье негра. Он воспылал маниакально-ревнивой страстью к златовласой бете. Она протестовала. Он не унимался. Погони, борьба, нападение на соперника; наконец, захватывающее дух похищение. Бета унесена ввысь,

вертоплан три недели висит в небе, и три недели длится этот дико антиобщественный тет-а-тет блондинки с черным маньяком. В конце концов после целого ряда приключений и всяческой воздушной акробатики трем юным красавцам альфовикам удается спасти девушку. Негра отправляют в Центр переформовки взрослых, и фильм завершается счастливо и благопристойно — девушка дарит своей любовью всех троих спасителей. На минуту они прерывают это занятие, чтобы спеть синтетический квартет под мощный суперoркестровый аккомпанемент, в органном аромате гардений. Затем еще раз напоследок медвежья шкура — и под звуки сексофонов экран меркнет на финальном стереоскопическом поцелуе, и на губах у зрителей гаснет электрозуд, как умирающий мотылек, что вздрагивает, вздрагивает крылышками все слабей и бессильней — и вот уж замер, замер окончательно.

Но для Линайны мотылек не оттрепетал еще. Зажегся уже свет, и они с Джоном медленно подвигались в зрительской толпе к лифтам, а призрак мотылька все щекотал ей губы, чертил на коже сладостно-тревожные ознобные дорожки. Щеки Линайны горели, глаза влажно сияли, грудь вздымалась. Она взяла Дикаря под руку,

прижала его локоть к себе. Джон покосился на нее, бледный, — страдая, вожделея и стыдясь своего желания. Он недостоин, недос… Глаза их встретились на миг. Какое обещание в ее взгляде! Какие царские сокровища любви! Джон поспешно отвел глаза, высвободил руку. Он бессознательно страшился, как бы Линайна не сделалась такой, какой он уже не будет недостоин.

— По-моему, это вам вредно, — проговорил он, торопясь снять с нее и перенести на окружающее вину за всякие прошлые или будущие отступления Линайны от совершенства.

— Что вредно, Джон?

— Смотреть такие мерзкие фильмы.

— Мерзкие? — искренне удивилась Линайна. — А мне фильм показался прелестным.

— Гнусный фильм, — сказал Джон негодующе. — Позорный.

— Не понимаю вас, — покачала она головой. Почему Джон такой чудак? Почему он так упорно хочет все испортить?

В вертакси он избегал на нее смотреть. Связанный нерушимыми обетами, никогда не произнесенными, покорный законам, давно уже утратившим силу, он сидел отвернувшись и молча. Иногда — будто чья-то рука дергала тугую,

готовую лопнуть струну — по телу его пробегала внезапная нервная дрожь.

Вертакси приземлилось на крыше дома, где жила Линайна. Наконец-то, ликующе подумала она, выходя из кабины. Наконец-то — хоть он и вел себя сейчас так непонятно. Остановившись под фонарем, она погляделась в свое зеркальце. Наконец-то. Да, нос чуть-чуть лоснится. Она отряхнула пуховку. Пока Джон расплачивается с таксистом, можно привести лицо в порядок. Она заботливо прошлась пуховкой, говоря себе: «Он ужасно красив. Ему-то незачем робеть, как Бернарду. А он робеет… Любой другой давно бы уже. Но теперь наконец-то». Из круглого зеркальца ей улыбнулись нос и полщеки, уместившиеся там.

— Спокойной ночи, — произнес за спиной у нее сдавленный голос. Линайна круто обернулась. Джон стоял в дверях кабины, глядя на Линайну неподвижным взглядом; должно быть, он стоял так и глядел все время, пока она пудрилась, и ждал — но чего? — колебался, раздумывал, думал — но о чем? Что за чудак, уму непостижимый… — Спокойной ночи, Линайна, — повторил он, страдальчески морща лицо в попытке улыбнуться.

— Но, Джон… Я думала, вы… То есть разве вы

не?…

Дикарь, не отвечая, закрыл дверцу, наклонился к пилоту, что-то сказал ему. Вертоплан взлетел.

Сквозь окошко в полу Дикарь увидел лицо Линайны, бледное в голубоватом свете фонарей. Рот ее открыт, она зовет его. Укороченная в ракурсе фигурка Линайны понеслась вниз; уменьшаясь, стал падать во тьму квадрат крыши.

Через пять минут Джон вошел к себе в комнату. Из ящика в столе он вынул обгрызенный мышами том и, полистав с благоговейной осторожностью мятые, захватанные страницы, стал читать «Отелло». Он помнил, что, подобно герою «Трех недель в вертоплане», Отелло — чернокожий.

Линайна отерла слезы, направилась к лифту. Спускаясь с крыши на свой двадцать восьмой этаж, она вынула флакончик с сомой. Грамма, решила она, будет мало; печаль ее не из однограммовых. «Но если принять два грамма, то, чего доброго, проспишь, опоздаешь завтра на работу. Приму полтора». — И она вытряхнула на ладонь три таблетки.

Глава двенадцатая

Бернарду пришлось кричать сквозь запертую дверь; Дикарь упорно не открывал.

— Но все уже собрались и ждут тебя.

— Пускай ждут на здоровье, — глухо донеслось из-за двери.

— Но, Джон, ты ведь отлично знаешь (как, однако, трудно придавать голосу убедительность, когда кричишь), что я их пригласил именно на встречу с тобой.

— Прежде надо было меня спросить, хочу ли я с ними встретиться.

— Ты ведь никогда раньше не отказывался.

— А вот теперь отказываюсь. Хватит.

— Но ты ж не подведешь друга, — льстиво проорал Бернард. — Ну сделай одолжение, Джон.

— Нет.

— Ты это серьезно?

— Да.

— Но мне что же прикажешь делать? — простонал в отчаянии Бернард.

— Убирайся к черту! — рявкнуло раздраженно за дверью.

— Но у нас сегодня сам архипеснослов Кентер-

берийский, — чуть не плача, крикнул Бернард.

— Аи яа таква! — Единственно лишь на языке зуньи способен был Дикарь с достаточной силой выразить свое отношение к архипеснослову. — Хани! — послал он новое ругательство и добавил со свирепой насмешкой: — Сонс эсо це-на. — И плюнул на пол, как плюнул бы Попе.

Так и пришлось сникшему Бернарду вернуться ни с чем и сообщить нетерпеливо ожидающим гостям, что Дикарь сегодня не появится. Весть эта была встречена негодованием. Мужчины гневались, поскольку впустую потратили свои любезности на замухрышку Бернарда с его дурной репутацией и еретическими взглядами. Чем выше их положение в общественной иерархии, тем сильней была их досада.

— Сыграть такую шуточку со мной! — восклицал архипеснослов. — Со мной!

Дам же бесило то, что ими под ложным предлогом попользовался жалкий субъект, хлебнувший спирта во младенчестве, — человечек с тельцем гамма-минусовика. Это просто безобразие — и они возмущались все громче и громче. Особенно язвительна была итонская директриса.

Только Линайна молчала. Она сидела в углу бледная, синие глаза ее туманились непривыч-

ной грустью, и эта грусть отгородила, обособила ее от окружающих. А шла она сюда, исполненная странным чувством буйной и тревожной радости. «Еще несколько минут, — говорила она себе, входя, — и я увижу его, заговорю с ним, скажу (она уже решилась ему открыться), что он мне нравится — больше всех, кого я знала в жизни. И тогда, быть может, он мне скажет…»

Скажет — что? Ее бросало в жар и краску.

«Почему он так непонятно вел себя после фильма? Так по-чудному. И все же я уверена, что на самом деле ему нравлюсь. Абсолютно уверена…»

И в этот-то момент вернулся Бернард со своей вестью: Дикарь не выйдет к гостям.

Линайна испытала внезапно все то, что обычно испытывают сразу после приема препарата ЗБС (заменитель бурной страсти), — чувство ужасной пустоты, теснящую дыхание тоску тошноту. Сердце словно перестало биться.

«Возможно, оттого не хочет выйти, что не нравлюсь я ему», — подумала она. И тотчас же возможность эта сделалась в ее сознании неопровержимым фактом: не нравится она ему. Не нравится…

— Это уж он форд знает что себе позволяет, — говорила между тем директриса Заведующему

крематориями и утилизацией фосфора. — И подумать, что я даже…

— Да, да, — слышался голос Фанни Краун, — насчет спирта все чистейшая правда. Знакомая моей знакомой как раз работала тогда в Эмбрионарии. Знакомая сама слышала от этой знакомой…

— Скверная шуточка, скверная, — поддакнул архипеснослову Генри Фостер. — Вам небезынтересно будет узнать, что бывший наш директор, если бы не ушел, то перевел бы его в Исландию.

Пронзаемый каждым новым словом, тугой воздушный шар Бернардова самодовольства съеживался на глазах, соча газ из тысячи проколов. Смятенный, потерянный, бледный и жалкий, Бернард метался среди гостей, бормотал бессвязные извинения, заверял, что в следующий раз Дикарь непременно будет, усаживал и упрашивал угоститься каротинным сандвичем, отведать пирога с витамином А, выпить искусственного шампанского. Гости ели — но Бернарда уже знать не хотели; пили — и либо ему грубили, либо же переговаривались о нем громко и оскорбительно, точно его не было с ними рядом.

— А теперь, друзья мои, — плотно подзакусив, промолвил архипеснослов Кентерберийский

этим своим великолепным медным голосом, что вершит и правит празднованиями Дня Форда, — теперь, друзья мои, пора уже, я думаю… — Он встал с кресла, поставил бокал, стряхнул с пурпурного вискозного жилета крошки и направил стопы свои к выходу.

Бернард ринулся наперехват:

— Неужели?… Ведь так еще рано… Я питал надежду, что Ваше…

Да, каких только надежд он не питал, после того как Линайна сообщила ему по секрету, что архипеснослов примет приглашение, если таковое будет послано. «А знаешь, он очень милый». И показала Бернарду золотую Т-образную застежечку, которую архипеснослов подарил ей в память уик-энда, проведенного Линайной в его резиденции. «Званый вечер с участием архипеснослова Кентерберийского и м-ра Дикаря» — эти триумфальные слова красовались на всех пригласительных билетах. Но именно этот-то вечер избрал Дикарь, чтобы запереться у себя и отвечать на уговоры ругательствами «Хани!» и даже «Сонс эсо це-на!» (счастье Бернарда, что он не знает языка зуньи). То, что должно было стать вершинным мигом всей жизни Бернарда, стало мигом его глубочайшего унижения.

— Я так надеялся… — лепетал он, глядя на верховного фордослужителя молящими и горестными глазами.

— Молодой мой друг, — изрек архипеснослов торжественно-сурово; все кругом смолкло. — Позвольте преподать вам совет. Добрый совет. — Он погрозил Бернарду пальцем: — Исправьтесь, пока еще не поздно. — В голосе его зазвучали гробовые ноты: — Прямыми сделайте стези ваши, молодой мой друг. — Он осенил Бернарда знаком Т и отворотился от него. — Линайна, радость моя, — произнес он, меняя тон. — Прошу со мной.

Послушно, однако без улыбки и без восторга — совершенно не сознавая, какая оказана ей честь, — Линайна пошла следом. Переждав минуту из почтения к архипеснослову, двинулись к выходу и остальные гости. Последний хлопнул, уходя, дверью. Бернард остался один. Совершенно убитый, он опустился на стул, закрыл лицо руками и заплакал. Поплакав несколько минут, он прибегнул затем к средству действеннее слез — принял четыре таблетки сомы.

Наверху, в комнате у себя, Дикарь был занят чтением «Ромео и Джульетты».

* * *

Вертоплан доставил архипеснослова и Линайну на крышу Собора песнословия.

— Поторопитесь, молодой мой… то есть Линайна, — позвал нетерпеливо архипеснослов, стоя у дверей лифта. Линайна, замешкавшаяся на минуту, глядевшая на луну, опустила глаза и поспешила к лифту.

«Новая биологическая теория» — так называлась научная работа, которую кончил в эту минуту читать Мустафа Монд. Он посидел, глубокомысленно хмурясь, затем взял перо и поперек заглавного листа начертал: «Предлагаемая автором математическая трактовка концепции жизненазначения является новой и весьма остроумной, но еретической и по отношению к общественному порядку опасной и потенциально разрушительной. Публикации не подлежит (эту фразу он подчеркнул). Автора держать под надзором. Потребуется, возможно, перевод его на морскую биостанцию на острове Св. Елены». А жаль, подумал он, ставя свою подпись. Работа сделана мастерски. Но только позволить им начать рассуждать о назначении жизни — и форд

знает до чего дорассуждаются. Подобными идеями легко сбить с толку тех высшекастовиков, чьи умы менее устойчивы, — разрушить их веру в счастье как Высшее Благо и убедить в том, что жизненная цель находится где-то дальше, где-то вне нынешней сферы людской деятельности; что назначение жизни состоит не в поддержании благоденствия, а в углублении, облагорожении человеческого сознания, в обогащении человеческого знания. И вполне возможно, подумал Главноуправитель, что такова и есть цель жизни. Но в нынешних условиях это не может быть допущено. Он снова взял перо и вторично подчеркнул слова «Публикации не подлежит» — еще гуще и чернее; затем вздохнул. «Как бы интересно стало жить на свете, — подумал он, — если бы можно было отбросить заботу о счастье».

Закрыв глаза, с восторженно-сияющим лицом, Дикарь тихо декламировал в пространство:

Краса бесценная и неземная,
Все факелы собою затмевая,
Она горит у ночи на щеке,
Как бриллиант в серьге у эфиопки…

Золотой Т-образный язычок блестел у Линайны

на груди. Архипеснослов игриво взялся за эту застежечку, игриво дернул, потянул.

— Я, наверно… — прервала долгое свое молчание Линайна. — Я, пожалуй, приму грамма два сомы.

Бернард к этому времени уже крепко спал и улыбался своим райским снам. Улыбался, радостно улыбался. Но неумолимо, каждые тридцать секунд, минутная стрелка электрочасов над его постелью совершала прыжочек вперед, чуть слышно щелкнув. Щелк, щелк, щелк, щелк… И настало утро. Бернард вернулся в пространство и время — к своим горестям. В полном унынии отправился он на службу, в Воспитательный Центр. Недели опьянения кончились; Бернард очутился в прежней житейской оболочке; и, упавшему на землю с поднебесной высоты, ему как никогда тяжело было влачить эту постылую оболочку.

К Бернарду подавленному, протрезвевшему Дикарь неожиданно отнесся с сочувствием.

— Теперь ты снова похож на того, каким был в Мальпаисе, — сказал он, когда Бернард поведал ему о печальном финале вечера. — Помнишь наш первый разговор? На пустыре у нас. Ты теперь опять такой.

— Да, потому что я опять несчастен.

— По мне, лучше уж несчастье, чем твое фальшивое, лживое счастье прошлых недель.

— Ты б уж молчал, — горько сказал Бернард. — Ведь сам же меня подкосил. Отказался сойти к гостям и всех их превратил в моих врагов.

Бернард сознавал, что слова его несправедливы до абсурда; он признавал в душе — и даже признал вслух — правоту Дикаря, возражавшего, что грош цена приятелям, которые чуть что превращаются во врагов и гонителей. Но, сознавая и признавая все это, и дорожа поддержкой, сочувствием друга, и оставаясь искренне к нему привязанным, Бернард упрямо все же затаил на Дикаря обиду и обдумывал, как бы отквитать ему по мелочам. На архипеснослова питать обиду бесполезно; отомстить Главному укупорщику или помощнику Предопределителя у Бернарда не было возможности. Дикарь же в качестве жертвы обладал тем огромным преимуществом, что был в пределах досягаемости. Одно из главных назначений друга — подвергаться (в смягченной и символической форме) тем карам, что мы хотели бы, да не можем обрушить на врагов.

Второй жертвой-другом у Бернарда был Гельмгольц. Когда, потерпев крушение, он пришел к Гельмгольцу, чтобы возобновить дружбу,

которую во дни успеха решил разорвать, то Гельмгольц встретил его радушно, без слова упрека, словно не было у них никакой ссоры. Бернард был тронут и в то же время унижен этим великодушием — этой сердечной щедростью, тем более необычайной (и оттого вдвойне унизительной), что объяснялась она отнюдь не воздействием сомы. Простил и забыл Гельмгольц трезвый и будничный, а не Гельмгольц, одурманенный таблеткой. Бернард, разумеется, был благодарен (дружба с Гельмгольцем теперь — утешение огромное) и, разумеется, досадовал (а приятно будет как-нибудь наказать друга за его великодушие и благородство).

В их первую же встречу Бернард излил перед другом свои печали и услышал слова ободрения. Лишь спустя несколько дней он узнал, к своему удивлению — и стыду тоже, — что не один теперь в беде. Гельмгольц сам оказался в конфликте с Властью.

— Из-за своего стишка, — объяснил Гельмгольц. — Я читаю третьекурсникам спецкурс по технологии чувств. Двенадцать лекций, из них седьмая — о стихах. Точнее, «О применении стихов в нравственной пропаганде и рекламе». Я всегда обильно ее иллюстрирую конкретны-

ми примерами. В этот раз пришла мне мысль попотчевать студентов стишком, только что сочиненным. Мысль сумасшедшая, конечно, но уж очень захотелось. — Гельмгольц засмеялся. — К тому же, — прибавил он более серьезным тоном, — хотелось проверить себя как специалиста: смогу ли я внушить то чувство, какое испытывал сам, когда писал. Господи Форде! — засмеялся он опять. — Какой поднялся шум! Шеф вызвал меня к себе и пригрозил немедленно уволить. Отныне я взят на заметку.

— А о чем твой стишок? — спросил Бернард.

— О ночной уединенности.

Бернард поднял брови.

— Если хочешь, прочту. — И Гельмгольц начал:

Кончено заседание.
В Сити — полночный час.
Палочки барабанные
Немы. Оркестр угас.
Сор уснул на панели.
Спешка прекращена.
Там, где толпы кишели,
Радуется тишина,

Радуется и плачет,
Шепотом или навзрыд.
Что она хочет и значит?
Голосом чьим говорит?
Вместо одной из многих
Сюзанн, Марианн, Услад
(У каждой плечи и ноги
И аппетитный зад)
Со мной разговор затевает,
Все громче свое запевает
Химера? абсурд? пустота? —
И ею ночь городская
Гуще, плотней занята,
Чем всеми теми многими,
С кем спариваемся мы.
И кажемся мы убогими
Жителями тьмы.

Я привел им это в качестве примера, а они донесли шефу.

— Что ж удивляться, — сказал Бернард. — Стишок этот идет вразрез со всем, что они с детства усвоили во сне. Вспомни — им по крайней мере четверть миллиона раз повторили в той или

иной форме, что уединение вредно.

— Знаю. Но мне хотелось проверить действие стиха на слушателях.

— Ну вот и проверил.

В ответ Гельмгольц только рассмеялся.

— У меня такое ощущение, — сказал он, — словно брезжит передо мной что-то, о чем стоит писать. Словно начинает уже находить применение бездействовавшая во мне сила — та скрытая, особенная сила. Что-то во мне пробуждается.

«Попал в беду, а рад и светел», — подумал Бернард.

Гельмгольц с Дикарем сдружились сразу же. Такая тесная завязалась у них дружба, что Бернарда даже кольнула в сердце ревность. За все эти недели ему не удалось так сблизиться с Дикарем, как Гельмгольцу с первого же дня. Глядя на них, слушая их разговоры, Бернард иногда жалел сердито, что свел их вместе. Этого чувства он стыдился и пытался его подавить то сомой, то усилием воли. Но волевые усилия мало помогали, а сому непрерывно ведь не будешь глотать. И гнусная зависть-ревность мучила снова и снова.

В третье свое посещение Дикаря Гельмгольц прочел ему злополучный стишок.

— Ну, как впечатление? — спросил он, кончив.

Дикарь покрутил головой.

— Вот послушай-ка лучше, — сказал он и, отомкнув ящик, вынув заветную замызганную книгу, раскрыл ее и стал читать:

Птица звучного запева,
Звонкий заревой трубач!
Вострубi, воспой, восплачь
С веток Фениксова древа…

Гельмгольц слушал с растущим волнением. Уже с первых строк он встрепенулся; улыбнулся от удовольствия, услышав «Ухающая сова»; от строки «Хищнокрылые созданья» щекам вдруг стало жарко, а при словах «Скорбной музыкою смерти» он побледнел, вдоль спины дернуло не испытанным еще ознобом. Дикарь читал дальше:

Стало Самости тревожно,
Что смешались «я» и «ты»;
Разделяющей черты
След увидеть невозможно.
Разум приведен в тупик
Этим розного слияньем…

— Слиться нас Господь зовет, — перебил Бер-

нард, хохотнув ехидно. — Хоть пой эту абракадабру на сходках единения. — Он мстил обоим — Дикарю и Гельмгольцу.

В течение последующих двух-трех встреч он часто повторял свои издевочки. Месть несложная и чрезвычайно действенная — ибо и Гельмгольца и Дикаря ранило до глубины это осквернение, растаптывание хрусталя поэзии. Наконец Гельмгольц пригрозил вышвырнуть Бернарда из комнаты, если тот перебьет Дикаря снова. Но как ни странно, а прервал в следующий раз чтение сам Гельмгольц, и еще более грубым образом.

Дикарь читал «Ромео и Джульетту» — с дрожью, с пылом страсти, ибо в Ромео видел самого себя, а в Джульетте — Линайну. Сцену их первой встречи Гельмгольц прослушал с недоуменным интересом. Сцена в саду восхитила его своей поэзией; однако чувства влюбленных вызвали улыбку. Так взвинтить себя из-за взаимопользования — смешновато как-то. Но если взвесить каждую словесную деталь, что за превосходный образец инженерии чувств!

— Перед стариканом Шекспиром, — признал Гельмгольц, — лучшие наши специалисты — ничто.

Дикарь торжествующе улыбнулся и продолжил

чтение. Все шло гладко до той концевой сцены третьего акта, где супруги Капулетти понуждают дочь выйти замуж за Париса. На протяжении всей сцены Гельмгольц поерзывал; когда же, прочувственно передавая мольбу Джульетты, Дикарь прочел:

Все мое горе видят небеса.
Ужели нету жалости у неба?
О, не гони меня, родная мать!
Отсрочку дай на месяц, на неделю;
А если нет, то брачную постель
Стелите мне в могильном мраке склепа,
Где погребен Тибальт…

тут уж Гельмгольц безудержно расхохотался.

Отец и мать (непотребщина в квадрате!) тащат, толкают дочку к взаимопользованию с неприятным ей мужчиной! А дочь, идиотка этакая, утаивает, что взаимопользуется с другим, кого (в данный момент, во всяком случае) предпочитает! Дурацки непристойная ситуация эта в высшей степени комична. До сих пор Гельмгольцу еще удавалось героическим усилием подавлять разбиравший его смех; но «родная мать» (стра-

дальчески, трепетно произнес это Дикарь) и упоминание о мертвом Тибальте, лежащем во мраке склепа, — очевидно, без кремации, так что весь фосфор пропадает зря, — мать с Тибальтом доконали Гельмгольца. Он хохотал и хохотал, уже и слезы текли по лицу, и все не мог остановиться; а Дикарь глядел на него поверх страницы, бледнея оскорбленно, и наконец с возмущением захлопнул книгу, встал и запер ее в стол — спрятал бисер от свиней.

— И однако, — сказал Гельмгольц, отдышавшись, извинясь и несколько смягчив Дикаря, — я вполне сознаю, что подобные нелепые, безумные коллизии необходимы драматургу; ни о чем другом нельзя написать по-настоящему захватывающе. Ведь почему этот старикан был таким замечательным технологом чувств? Потому что писал о множестве вещей мучительных, бредовых, которые волновали его. А так и надо — быть до боли взволнованным, задетым за живое; иначе не изобретешь действительно хороших, всепроникающих фраз. Но «отец»! Но «мать»! — Он покачал головой. — Уж тут, извини, сдержать смех немыслимо. Да и кого из нас взволнует то, попользуется парень девушкой или нет? (Дикаря покоробило, но Гельмгольц, потупившийся в раз-

думье, ничего не заметил.) Нет, — подытожил он со вздохом, — сейчас такое не годится. Требуется иной род безумия и насилия. Но какой именно? Что именно? Где его искать? — Он помолчал; затем, мотнув головой: — Не знаю, — сказал наконец. — Не знаю.

Глава тринадцатая

В красном сумраке Эмбрионария замаячил Генри Фостер.

— В ощущалку вечером махнем?

Линайна молча покачала головой.

— А с кем ты сегодня? — Ему интересно было знать, кто из его знакомых с кем взаимопользуется. — С Бенито?

Она опять качнула головой.

Генри заметил усталость в этих багряных глазах, бледность под ало-волчаночной глазурью, грусть в уголках неулыбающегося малинового рта.

— Нездоровится тебе, что ли? — спросил он слегка обеспокоенно: а вдруг у нее одна из немногих еще оставшихся заразных болезней?

Но снова Линайна покачала головой.

— Все-таки зайди к врачу, — сказал Генри. — «Прихворну хотя бы чуть, сразу к доктору лечу», — бодро процитировал он гипнопедическую поговорку, для вящей убедительности хлопнув Линайну по плечу. — Возможно, тебе требуется псевдобеременность. Или усиленная доза ЗБС. Иногда, знаешь, обычной бывает недоста…

— Ох, замолчи ты ради Форда, — вырвалось у Линайны. И она повернулась к бутылям на конвейерной ленте, от которых отвлек ее Генри.

Вот именно, ЗБС ей нужен, заменитель бурной страсти! Она рассмеялась бы Генри в лицо, да только боялась расплакаться. Как будто мало у нее своей БС! С тяжелым вздохом набрала она в шприц раствора.

— Джон, — шепнула она тоскующе, — Джон…

«Господи Форде, — спохватилась она. — Сделала я уже этому зародышу укол или не сделала? Совершенно не помню. Еще вторично впрысну, чего доброго». Решив не рисковать этим, она занялась следующей бутылью.

Через двадцать два года восемь месяцев и четыре дня молодой подающий надежды альфа-минусовик, управленческий работник в Мванза-Мванза, умрет от сонной болезни — это будет первый случай за полстолетия с лишним. Вздыхая, Линайна продолжала действовать иглой.

— Но это абсурд — так себя изводить, — возмущалась Фанни в раздевальне час спустя. — Просто абсурд, — повторила она. — И притом из-за чего? Из-за мужчины — одного какого-то мужчины.

— Но я именно его хочу.

— Как будто не существуют на свете миллионы других.

— Но их я не хочу.

— А ты прежде попробуй, потом говори.

— Я пробовала.

— Ну скольких ты перепробовала? — Фанни пожала насмешливо плечиком. — Одного, двух?

— Несколько десятков. Но эффекта никакого.

— Пробуй не покладая рук, — назидательно сказала Фанни. Но было видно, что в ней уже поколебалась вера в этот рецепт. — Без усердия ничего нельзя достичь.

— Усердие усердием, но я…

— Выбрось его из мыслей.

— Не могу.

— А ты сому принимай.

— Принимаю.

— Ну и продолжай принимать.

— Но в промежутках он не перестает мне нравиться. И не перестанет никогда.

— Что ж, если так, — сказала Фанни решительно, — тогда просто-напросто пойди и возьми его. Все равно, хочет он или не хочет.

— Но если бы ты знала, какой он ужасающий чудак!

— Тем более необходима с ним твердость.

— Легко тебе говорить.

— Знать ничего не знай. Действуй. — Голос у Фанни звучал теперь фанфарно, словно у лекторши из ФСЖМ, проводящей вечернюю беседу с двенадцатилетними бета-минусовичками. — Да, действуй, и безотлагательно. Сейчас.

— Боязно мне, — сказала Линайна.

— Прими сперва таблетку сомы — и все дела. Ну, я пошла мыться. — Подхватив мохнатую простыню, Фанни зашагала к кабинкам.

В дверь позвонили, и Дикарь вскочил и бросился открывать — он решил наконец сказать Гельмгольцу, что любит Линайну, и теперь ему уж не терпелось.

— Я предчувствовал, что ты придешь, — воскликнул он, распахивая дверь.

На пороге — в белом, ацетатного шелка, матросском костюме и в круглой белой шапочке, кокетливо сдвинутой на левое ухо, — стояла Линайна.

Дикарь так и ахнул, точно его ударили с размаха.

Полграмма сомы оказалось Линайне достаточно, чтобы позабыть колебания и страхи.

— Здравствуй, Джон, — сказала она с улыбкой и прошла в комнату. Машинально закрыл он

дверь и пошел следом. Линайна села. Наступило длинное молчание.

— Ты вроде бы не рад мне, — сказала наконец Линайна.

— Не рад? — В глазах Джона выразился упрек; он вдруг упал перед ней на колени, благоговейно поцеловал ей руку. — Не рад? О, если бы вы только знали, — прошептал он и, набравшись духу, взглянул ей в лицо. — О восхитительнейшая Линайна, достойная самого дорогого, что в мире есть. (Она улыбнулась, обдав его нежностью.) О, вы так совершенны (приоткрыв губы, она стала наклоняться к нему), так совершенны и так несравненны (ближе, ближе); чтобы создать вас, у земных созданий взято все лучшее. — (Еще ближе…) Дикарь внезапно поднялся с колен. — Вот почему, — сказал он, отворачивая лицо, — я хотел сперва совершить что-нибудь… Показать то есть, что достоин вас. То есть я всегда останусь недостоин. Но хоть показать, что не совсем уж… Свершить что-нибудь.

— А зачем это необходимо… — начала и не кончила Линайна. В голосе ее прозвучала раздраженная нотка. Когда наклоняешься, тянешься губами ближе, ближе, и вдруг дуралей-партнер вскакивает и ты как бы проваливаешься в пу-

стоту, то поневоле возьмет досада, хотя в крови твоей и циркулирует полграмма сомы.

— В Мальпаисе, — путано бормотал Дикарь, — надо принести шкуру горного льва, кугуара. Когда сватаешься то есть. Или волчью.

— В Англии нет львов, — сказала Линайна почти резко.

— Да если бы и были, — неожиданно проговорил Дикарь с брезгливым возмущением, — то их бы с вертопланов, наверно, стреляли, газом бы травили. Не так бы я сражался со львом, Линайна. — Расправив плечи, расхрабрившись, он повернулся к Линайне — и увидел на лице у нее досаду и непонимание. — Я что угодно совершу, — продолжал он в замешательстве, все больше путаясь. — Только прикажите. Среди забав бывают и такие, где нужен тяжкий труд. Но оттого они лишь слаще. Вот и я бы. Прикажи вы только, я полы бы мел.

— Но на это существуют пылесосы, — сказала недоуменно Линайна. — Мести полы нет необходимости.

— Необходимости-то нет. Но низменная служба бывает благородно исполнима. Вот и я хотел бы исполнить благородно.

— Но раз у нас есть пылесосы…

— Не в том же дело.

— …и есть эпсилон-полукретины, чтобы пылесосить, — продолжала Линайна, — то зачем это тебе, ну зачем?

— Зачем? Но для вас, Линайна. Чтобы показать вам, что я…

— И какое отношение имеют пылесосы ко львам?…

— Показать, как сильно…

— Или львы к нашей встрече?… — Она раздражалась все больше.

— …как вы мне дороги, Линайна, — выговорил он с мукой в голосе. Волна радости затопила Линайну — волна румянца залила ей щеки.

— Ты признаешься мне в любви, Джон?

— Но мне еще не полагалось признаваться, — вскричал Джон, чуть ли не ломая себе руки. — Прежде следовало… Слушайте, Линайна, в Мальпаисе влюбленные вступают в брак.

— Вот что вступают? — Линайна опять уже начинала сердиться. Что это он мелет?

— Навсегда. Дают клятву жить вместе навек.

— Что за бредовая мысль! — Линайна не шутя была шокирована.

— Пускай увянет внешняя краса, но обновлять в уме любимый облик быстрей, чем он ветшает.

— Что такое?

— И Шекспир ведь учит: «Не развяжи девичьего узла до совершения святых обрядов во всей торжественной их полноте…»

— Ради Форда, Джон, говори по-человечески. Я не понимаю ни слова. Сперва пылесосы, теперь узлы. Ты с ума меня хочешь свести. — Она рывком встала и — словно опасаясь, что и сам Джон ускользнет от нее, как ускользает смысл его слов, — схватила Джона за руку. — Отвечай мне прямо: нравлюсь я тебе или не нравлюсь?

Пауза; чуть слышно он произнес:

— Я люблю вас сильней всего на свете.

— Тогда почему же молчал, не говорил? — воскликнула она, и так выведена была Линайна из себя, что острые ноготки ее вонзились Джону в кожу. — Городишь чепуху об узлах и пылесосах и львах. Лишаешь меня радости все эти недели.

Она выпустила его руку, отбросила ее сердито от себя.

— Если бы ты мне так не нравился, — проговорила она, — я бы страшно на тебя разозлилась.

И вдруг обвила ему шею, прижалась нежными губами к губам. Настолько сладостен, горяч, электризующ был этот поцелуй, что Джону не могли не вспомниться стереоскопически зримые

и осязаемые объятия в «Трех неделях на вертоплане». Воркование блондинки и мычание негра. Ужас, мерзость… он попытался высвободиться, но Линайна обняла еще тесней.

— Почему ты молчал? — прошептала она, откинув голову и взглядывая. В глазах ее был ласковый укор.

«Ни злобный гений, пламенящий кровь, ни злачный луг, ни темная пещера, — загремел голос поэзии и совести, — ничто не соблазнит меня на блуд и не расплавит моей чести в похоть». Ни за что, ни за что, решил Джон мысленно.

— Глупенький, — шептала Линайна. — Я так тебя хотела. А раз и ты хотел меня, то почему же?…

— Но, Линайна, — начал он; она тут же разомкнула руки, отшагнула от него, и он подумал на минуту, что Линайна поняла его без слов. Но она расстегнула белый лакированный пояс с кармашками, аккуратно повесила на спинку стула.

— Линайна, — повторил он, предчувствуя недоброе.

Она подняла руку к горлу, дернула молнию, распахнув сверху донизу свою белую матроску; тут уж предчувствие сгустилось в непреложность.

— Линайна, что вы делаете!

Жжик, жжик! — прозвучало в ответ. Она

сбросила брючки клеш и осталась в перламутрово-розовом комби. На груди блестела золотая Т-образная застежка, подарок архипеснослова.

«Ибо эти соски, что из решетчатых окошек разят глаза мужчин…» Вдвойне опасной, вдвойне обольстительной становилась она в ореоле певучих, гремучих, волшебных слов. Нежна, мягка, но как разяща! Вонзается в мозг, пробивает, буравит решимость. «Огонь в крови сжирает, как солому, крепчайшие обеты. Будь воздержней, не то…»

Жжик! Округлая розовость комби распалась пополам, как яблоко, разрезанное надвое. Сбрасывающее движение рук, затем ног — правой, левой, — и комби легло безжизненно и смято на пол. В носочках, туфельках и в белой круглой шапочке набекрень Линайна пошла к Джону.

— Милый! Милый мой! Почему же ты раньше молчал! — Она распахнула руки.

Но вместо того чтобы ответить: «Милая!» и принять ее в объятия, Дикарь в ужасе попятился, замахав на нее, точно отгоняя опасного и напирающего зверя. Четыре попятных шага — и он уперся в стену.

— Любимый! — сказала Линайна и, положив Джону руки на плечи, прижалась к нему. — Обними же меня, — приказала она. — Крепче жми

меня, мой кролик. — У нее в распоряжении тоже была поэзия, слова, которые поют, колдуют, бьют в барабаны. — Целуй, — она закрыла глаза, обратила голос в дремотный шепот, — целуй до истомы. Ах, любовь острее…

Дикарь схватил ее за руки, оторвал от своих плеч, грубо отстранил, не разжимая хватки.

— Ай, мне больно, мне… ой! — Она вдруг замолчала. Страх заставил забыть о боли — открыв глаза, она увидела его лицо; нет, чье-то чужое, бледное, свирепое лицо, перекошенное, дергающееся в необъяснимом, сумасшедшем бешенстве. Оторопело она прошептала: — Но что с тобой, Джон?

Он не отвечал, упирая в нее свой исступленный взгляд. Руки, сжимающие ей запястья, дрожали. Он дышал тяжело и неровно. Слабый, чуть различимый, но жуткий, послышался скрежет его зубов.

— Да что с тобой? — вскричала она.

И, словно очнувшись от этого вскрика, он схватил ее за плечи и затряс:

— Блудница! Шлюха! Наглая блудница!

— Ой, не на-а-адо! — Джон тряс ее, и голос прерывался блеюще.

— Шлюха!

— Прошу-у те-бя-а-а.

— Шлюха мерзкая!

— Лучше полгра-а-амма, чем…

Дикарь с такой силой оттолкнул ее, что она не удержалась на ногах, упала.

— Беги, — крикнул он, грозно высясь над нею. — Прочь с глаз моих, не то убью. — Он сжал кулаки.

Линайна заслонилась рукой:

— Умоляю тебя, Джон…

— Беги. Скорее!

Загораживаясь рукой, устрашенно следя за каждым его движением, она вскочила на ноги и — пригибаясь, прикрывая голову — бросилась в ванную.

Дикарь дал ей, убегающей, шлепок, сильный и звонкий, как выстрел.

— Ай! — сделала скачок Линайна.

Запершись в ванной от безумца, отдышавшись, она повернулась к зеркалу спиной, взглянула через левое плечо. На жемчужной коже отчетливо алел отпечаток пятерни. Она осторожно потерла алый след.

А за стенкой Дикарь мерял шагами комнату под стучащие в ушах барабаны, в такт колдовским словам. «Пичугой малой, золоченой мушкой — и

теми откровенно правит похоть, — сумасводяще гремели слова. — Разнузданней хоря во время течки и кобылиц раскормленных ярей. Вот что такое женщины-кентавры, и богова лишь верхняя их часть, а ниже пояса — все дьяволово. Там ад и мрак, там серная геенна смердит, и жжет, и губит. Тьфу, тьфу, тьфу! Дай-ка, друг аптекарь, унцию цибета — очистить воображение».

— Джон! — донесся робеюще-вкрадчивый голосок из ванной. — Джон!

«О сорная трава, как ты прекрасна, и ароматна так, что млеет сердце. На то ль предназначали эту книгу, чтобы великолепные листы носили на себе клеймо «блудница»? Смрад затыкает ноздри небесам…»

Но в ноздрях у Джона еще благоухали духи Линайны, белела пудра на его куртке, там, где касалось ее бархатистое тело. «Блудница наглая, блудница наглая, — неумолимо стучало в сознании. — Блудница…»

— Джон, мне бы одежду мою.

Он поднял с пола брючки клеш, комби, матроску.

— Открой! — сказал он, толкая ногой дверь.

— Нет уж, — испуганно и строптиво ответил голосок.

— А как же передать?

— В отдушину над дверью.

Он протолкнул туда одежки — и снова зашагал смятенно взад-вперед по комнате. «Блудница наглая, блудница наглая. Как зудит в них жирнозадый бес любострастия…»

— Джон.

Он не ответил. «Жирнозадый бес».

— Джон.

— Что нужно? — угрюмо спросил он.

— Мне бы еще мой мальтузианский пояс.

Сидя в ванной, Линайна слушала, как он вышагивает за стеной. Сколько еще будет длиться это шаганье? Вот так и ждать, пока ему заблагорассудится уйти? Или, повременив, дав его безумию утихнуть, решиться на бросок из ванной к выходу?

Эти ее тревожные раздумья прервал телефонный звонок, раздавшийся в комнате. Шаги прекратились. Голос Джона повел диалог с тишиной:

— Алло.

…

— Да.

…

— Да, если не присвоил сам себя.

…

— Говорю же вам — да. Мистер Дикарь вас слушает.

…

— Что? Кто заболел? Конечно, интересует.

…

— Больна серьезно? В тяжелом? Сейчас же буду у нее…

…

— Не дома у себя? А где же она теперь?

…

— О Боже! Дайте адрес!

…

— Парк-лейн, дом три? Три? Спасибо.

Стукнула трубка. Торопливые шаги. Хлопнула дверь. Тишина. В самом деле ушел?

С бесконечными предосторожностями приоткрыла она дверь на полсантиметра; глянула в щелочку — там пусто; осмелев, открыла дверь пошире и выставила голову; вышла наконец на цыпочках из ванной; с колотящимся сердцем постояла несколько секунд, прислушиваясь; бросилась к наружной двери, открыла, выскользнула, затворила, кинулась бегом. Только в лифте, уносящем ее вниз, почувствовала она себя в безопасности.

Глава четырнадцатая

Умиральница на Парк-лейн представляла собой дом-башню, облицованный лимонного цвета плиткой. Когда Дикарь выходил из вертакси, с крыши взлетела вереница ярко раскрашенных воздушных катафалков и понеслась над парком на запад, к Слаускому крематорию. Восседающая у входа в лифт вахтерша дала ему нужные сведения, и он спустился на восемнадцатый этаж, где лежала Линда в палате 81 (одной из палат скоротечного угасания, как пояснила вахтерша).

В большой этой палате, яркой от солнца и от желтой краски, стояло двадцать кроватей, все занятые. Линда умирала отнюдь не в одиночестве и со всеми современными удобствами. В воздухе не умолкая звучали веселые синтетические мелодии. У каждой скоротечницы в ногах постели помещался телевизор, непрерывно, с утра до ночи, включенный. Каждые четверть часа аромат, преобладавший в запаховой гамме, автоматически сменялся новым.

— Мы стремимся, — любезно стала объяснять медсестра, которая встретила Дикаря на пороге палаты, — мы стремимся создать здесь

вполне приятную атмосферу — нечто среднее, так сказать, между первоклассным отелем и ощущальным кинодворцом.

— Где она? — перебил Дикарь, не слушая.

— Вы, я вижу, торопитесь, — обиженно заметила сестра.

— Неужели нет надежды? — спросил он.

— Вы хотите сказать — надежды на выздоровление? (Он кивнул.) Разумеется, нет ни малейшей. Когда уж направляют к нам, то… — На бледном лице Дикаря выразилось такое горе, что она остановилась, изумленная. — Но что с вами? — спросила сестра.

Она не привыкла к подобным эмоциям у посетителей. (Да и посетителей такого рода бывало здесь немного; да и зачем бы им сюда являться?) Вам что, нездоровится?

Он мотнул головой.

— Она моя мать, — произнес он чуть слышно.

Сестра вздрогнула, глянула на него с ужасом и тут же потупилась. Лицо ее и шея запылали.

— Проведите меня к ней, — попросил Дикарь, усиливаясь говорить спокойно.

Вся еще красная от стыда, она пошла с ним вдоль длинного ряда кроватей. К Дикарю поворачивались лица — свежие, без морщин (умирание

шло так быстро, что не успевало коснуться щек — гасило лишь мозг и сердце). Дикаря провожали тупые, безразличные глаза впавших в младенчество людей. Его от этих взглядов пробирала дрожь.

Кровать Линды была крайняя в ряду, стояла у стены. Лежа высоко на подушках, Линда смотрела полуфинал южноамериканского чемпионата по теннису на римановых поверхностях. Фигурки игроков беззвучно метались по освещенному квадрату телеэкрана, как рыбы за стеклом аквариума, — немые, но мятущиеся обитатели другого мира.

Линда глядела с зыбкой, бессмысленной улыбкой. На ее тусклом, оплывшем лице было выражение идиотического счастья. Веки то и дело смыкались, она слегка задремывала. Затем, чуть вздрогнув, просыпалась — опять в глазах ее мелькали, рыбками носились теннисные чемпионы; в ушах пело «Крепче жми меня, мой кролик», исполняемое электронным синтезатором «Супер-Вокс-Вурлицериана»; из вентилятора над головой шел теплый аромат вербены — и все эти образы, звуки и запахи, радужно преображенные сомой, сплетались в один чудный сон, и Линда снова улыбалась своей щербатой, блеклой, мла-

денчески-счастливой улыбкой.

— Я вас покину, — сказала сестра. — Сейчас придет моя группа детей. И надо следить за пациенткой номер три. — Она кивнула на кровать ближе к дверям. — С минуты на минуту может кончиться. А вы садитесь, будьте как дома. — И ушла бодрой походкой.

Дикарь сел у постели.

— Линда, — прошептал он, взяв ее за руку.

Она повернулась на звук своего имени.

Мутный взгляд ее просветлел узнающе. Она улыбнулась, пошевелила губами; затем вдруг уронила голову на грудь. Уснула. Он вглядывался, проницая взором усталую дряблую оболочку — видя мысленно молодое, светлое лицо, склонявшееся над его детством; закрыв глаза, вспоминал ее голос, ее движения, всю их жизнь в Мальпаисе. «Баю-баю, тили-тили, скоро детке из бутыли…» Как она красиво ему пела! Как волшебно-странны и таинственны были они, детские эти стишки!

А, бэ, цэ, витамин Д —
Жир в тресковой печени, а треска в воде.

В памяти оживал поющий голос Линды, и к глазам подступали горячие слезы. А уроки чте-

ния: «Кот не спит. Мне тут рай»; а «Практическое руководство для бета-лаборантов Эмбрионария». А ее рассказы в долгие вечера у очага или, в летнюю пору, на кровле домишка — о Заоградном мире, о дивном, прекрасном Том мире, память о котором, словно память о небесном рае добра и красоты, до сих пор жива в нем невредимо, не оскверненная и встречей с реальным Лондоном, с этими реальными цивилизованными людьми.

За спиной у него внезапно раздались звонкие голоса, и он открыл глаза, поспешно смахнул слезы, оглянулся. В палату лился, казалось, нескончаемый поток, состоящий из восьмилетних близнецов мужского пола. Близнец за близнецом, близнец за близнецом, близнец за близнецом — как в кошмарном сне. Их личики (вернее, бесконечно повторяющееся лицо, одно на всех) таращились белесыми выпуклыми глазками, ноздрястые носишки были как у курносых мопсов. На всех форма цвета хаки. Рты у всех раскрыты. Перекрикиваясь, тараторя, ворвались они в палату — и закишели повсюду. Они копошились в проходах, карабкались через кровати, пролезали под кроватями, засматривали в телевизоры, строили рожи пациенткам.

Линда их удивила и встревожила. Кучка их

собралась у ее постели, пялясь с испуганным и тупым любопытством зверят, столкнувшихся нос к носу с неведомым.

— Глянь-ка, глянь! — переговаривались они тихо. — Что с ней такое? Почему она жирнющая такая?

Им не приходилось видеть ничего подобного — у всех и всегда ведь лицо молодое, кожа тугая, тело стройное, спина прямая. У всех лежащих здесь шестидесятилетних скоротечниц внешность девочек. Сравнительно с ними Линда в свои сорок четыре года — обрюзглое, дряхлое чудище.

— Какая страховидная, — шептались дети. — Ты на ее зубы глянь!

Неожиданно из-под кровати, между стулом Джона и стеной, вынырнул курносый карапуз и уставился на спящее лицо Линды.

— Ну и… — начал он, но завизжал, не кончив. Ибо Дикарь поднял его за шиворот, пронес над стулом и отогнал подзатыльником. На визг прибежала старшая медсестра.

— Как вы смеете трогать ребенка! — накинулась она на Дикаря. — Я не позволю вам бить детей.

— А вы зачем пускаете их к кровати? — Голос Дикаря дрожал от возмущения. — И вообще зачем

тут эти чертенята? Это просто безобразие!

— Как безобразие? Вы что? Им же здесь прививают смертонавыки. Имейте в виду, — сказала она зло, — если вы и дальше будете мешать их смертовоспитанию, я пошлю за санитарами и вас выставят отсюда.

Дикарь встал и шагнул к старшей сестре. Надвигался он и глядел так грозно, что та отшатнулась в испуге. С превеликим усилием он сдержал себя, молча повернулся, сел опять у постели.

Несколько ободрясь, но еще нервозно, неуверенно сестра сказала:

— Я вас предупредила. Так что имейте в виду.

Но все же она увела чересчур любознательных близнецов в дальний конец палаты — там другая медсестра организовала уже круговую сидячую игру в «поймай молнию».

— Беги, милая, подкрепись чашечкой кофеинораствора, — велела ей старшая сестра. Велела — и от этого вернулись к старшей уверенность и бодрый настрой. — Ну-ка, детки! — повела она игру.

А Линда, пошевелившись неспокойно, открыла глаза, огляделась зыбким взглядом — и опять забылась сном. Сидя рядом, Дикарь старался снова умилить душу воспоминаниями. «А, бэ, цэ, витамин Д», — повторял он про себя, точно магическое

заклинание. Но волшба не помогала. Милые воспоминания отказывались оживать; воскресало в памяти лишь ненавистное, мерзкое, горестное. Попе с пораненным и кровоточащим плечом; Линда в безобразнопьяном сне, и мухи жужжат над мескалем, расплесканным на полу у постели; мальчишки, орущие ей вслед позорные слова… Ох, нет, нет! Он зажмурился, замотал головой, гоня от себя эти образы. «А, бэ, цэ, витамин Д…» Он силился представить, как, посадив на колени к себе, обняв, она поет ему, баюкает, укачивает: «А, бэ, цэ, витамин Д, витамин Д, витамин Д…»

Волна суперэлектронной музыки поднялась к томящему крещендо; и в системе запахоснабжения вербена разом сменилась густой струей пачулей. Линда заворочалась, проснулась, уставилась непонимающе на полуфиналистов в телевизоре, затем, подняв голову, вдохнула обновленный аромат и — улыбнулась ребячески-блаженно.

— Попе! — пробормотала она и закрыла глаза. — О, как мне хорошо, как… — Со вздохом она опустилась на подушку.

— Но, Линда! — произнес Джон. — Неужели ты не узнаешь меня? — Так мучительно он гонит от себя былую мерзость; почему же у Линды опять Попе на уме и на языке? Чуть не до боли

сжал Дикарь ее вялую руку, как бы желая силой пробудить Линду от этих постыдных утех, от низменных и ненавистных образов прошлого — вернуть Линду в настоящее, в действительность; в страшную действительность, в ужасную — но возвышенную, значимую, донельзя важную именно из-за неотвратимости и близости того, что наполняет эту действительность ужасом. — Неужели не узнаешь меня, Линда?

Он ощутил слабое ответное пожатие руки. Глаза его наполнились слезами. Он наклонился, поцеловал Линду.

Губы ее шевельнулись.

— Попе! — прошептала она, и точно ведром помоев окатили Джона.

Гнев вскипел в нем. Яростное горе, которому вот уже дважды помешали излиться слезами, обратилось в горестную ярость.

— Но я же Джон! Я Джон! — И в страдании, в неистовстве своем он схватил ее за плечо и потряс.

Веки Линды дрогнули и раскрылись; она увидела его, узнала — «Джон!» — но перенесла это лицо, эти реальные, больно трясущие руки в воображаемый, внутренний свой мир дивно претворенной супермузыки и пачулей, расцвеченных воспоми-

наний, причудливо смещенных восприятий. Это Джон, ее сын, но ей вообразилось, что он вторгся в райский Мальпаис, где она наслаждалась сомотдыхом с Попе. Джон сердится, потому что она любит Попе; Джон трясет ее, потому что Попе с ней рядом в постели — и разве в этом что-то нехорошее, разве не все цивилизованные люди так любятся?

— Каждый принадлежит вс…

Голос ее вдруг перешел в еле слышное, задыхающееся хрипение; рот раскрылся, отчаянно хватая воздух, — но легкие словно разучились дышать. Она тужилась крикнуть — и не могла издать ни звука; лишь выпученные глаза вопили о лютой муке. Она подняла руки к горлу, скрюченными пальцами ловя воздух — воздух, который не могла уже поймать, которым кончила уже дышать.

Дикарь вскочил, нагнулся ближе.

— Что с тобой, Линда? Что с тобой? — В голосе его была мольба; он словно хотел, чтобы его разуверили, успокоили.

Во взгляде Линды он прочел невыразимый ужас — и, как показалось ему, упрек. Она приподнялась, упала опять в подушки. Лицо все искажено, губы — синие.

Дикарь кинулся за помощью.

— Скорей, скорей! — кричал он. — Скорее же!

Стоявшая в центре игрового круга старшая сестра обернулась к Дикарю. На лице ее мелькнуло удивление и тут же уступило место осуждению.

— Не кричите! Подумайте о детях, — сказала она хмурясь. — Вы можете расстроить… Да что это вы делаете? (Он ворвался в круг.) Осторожней! (Задетый им ребенок запищал.)

— Скорее, скорее! — Дикарь схватил ее за рукав, потащил за собой. — Скорей! Произошло несчастье. Я убил ее.

К тому времени, как он вернулся к материной постели, Линда была уже мертва.

Дикарь застыл в оцепенелом молчании, затем упал у изголовья на колени и, закрыв лицо руками, разрыдался.

В нерешимости сестра стояла, глядя то на коленопреклоненного (постыднейшая невоспитанность!), то на близнецов (бедняжки дети!), которые, прекратив игру, пялились с того конца палаты — таращились и глазами и ноздрями на скандальное зрелище. Заговорить ей с ним? Попытаться его урезонить? Чтобы он вспомнил, где находится, осознал, какой роковой вред наносит бедным малюткам, как расстраивает все

их здоровые смертонавыки этим своим отвратительным взрывом эмоций… Как будто смерть — что-то ужасное, как будто из-за какой-то одной человеческой особи нужно рыдать! У детей могут возникнуть самые пагубные представления о смерти, могут укорениться совершенно неверные, крайне антиобщественные рефлексы и реакции.

Подойдя вплотную к Дикарю, она тронула его за плечо.

— Нельзя ли вести себя прилично? — негромко, но сердито сказала она. Но тут, оглянувшись, увидела, что игровой круг распадается, что полдесятка близнецов уже поднялось на ноги и направляется к Дикарю. Еще минута, и… Нет, этим рисковать нельзя: смертовоспитание всей группы может быть отброшено назад на шесть-семь месяцев. Она поспешила к своим питомцам, оказавшимся под такой угрозой.

— А кому дать шоколадное пирожное? — спросила она громко и задорно.

— Мне! — хором заорала вся группа Бокановского. И тут же кровать № 20 была позабыта.

«О Боже, Боже, Боже…» — твердил мысленно Дикарь. В сумятице горя и раскаяния, наполнявшей его мозг, одно лишь четкое осталось это слово.

— Боже! — прошептал он. — Боже…

— Что это он бормочет? — звонко раздался рядом голосок среди трелей супермузыки.

Сильно вздрогнув, Дикарь отнял руки от лица, обернулся. Пятеро одетых в хаки близнецов — в правой руке у всех недоеденное пирожное, и одинаковые лица по-разному измазаны шоколадным кремом — стояли рядком и таращились на него, как мопсы.

Он повернулся к ним — они дружно и весело оскалили зубки. Один ткнул на Линду остатком пирожного.

— Умерла уже? — спросил он.

Дикарь молча поглядел на них. Молча встал, молча и медленно пошел к дверям.

— Умерла уже? — повторил любознательный близнец, семеня у Дикаря под локтем.

Дикарь покосился на него и по-прежнему молча оттолкнул прочь. Близнец упал на пол и моментально заревел. Дикарь даже не оглянулся.

Глава пятнадцатая

Низший обслуживающий персонал Парклейнской умиральницы состоял из двух групп Бокановского, а именно из восьмидесяти четырех светло-рыжих дельтовичек и семидесяти восьми чернявых длинноголовых дельтовиков. В шесть часов, когда заканчивался их рабочий день, обе эти близнецовые группы собирались в вестибюле Умиральницы, и помощник подказначея выдавал им дневную порцию сомы.

Выйдя из лифта, Дикарь очутился в их гуще. Но мыслями его по-прежнему владели смерть, скорбь, раскаяние; рассеянно и машинально он стал проталкиваться сквозь толпу.

— Чего толкается? Куда он прется?

Из множества ртов (с двух уровней — повыше и пониже) звучали всего лишь два голоса — тоненький и грубый. Бесконечно повторяясь, точно в коридоре зеркал, два лица — гладкощекий, веснушчатый лунный лик в оранжевом облачке волос и узкая, клювастая, со вчера не бритая физиономия — сердито поворачивались к нему со всех сторон. Ворчание, писк, острые локти дельт, толкающие под ребра, заставили его очнуться.

Он огляделся и с тошнотным чувством ужаса и отвращения увидел, что снова его окружает неотвязный бред, круглосуточный кошмар роящейся, неразличимой одинаковости. Близнецы, близнецы… Червячками кишели они в палате Линды, оскверняя таинство ее смерти. И здесь опять кишат, но уже взрослыми червями — ползают по его горю и страданию. Он остановился, испуганными глазами окинул эту одетую в хаки толпу, над которой возвышался на целую голову. «Сколько вижу я красивых созданий! — всплыли в памяти, дразня и насмехаясь, поющие слова. — Как прекрасен род людской! О дивный новый мир…»

— Начинаем раздачу сомы! — объявил громкий голос. — Прошу в порядке очереди. Без задержек.

В боковую дверь уже внесли столик и стул. Объявивший о раздаче бойкий молодой альфовик принес с собой черный железный сейфик. Толпа встретила раздатчика негромким и довольным гулом. О Дикаре уже забыли. Внимание сосредоточилось на черном ящике, поставленном на стол. Альфовик отпер его. Поднял крышку.

— О-о! — выдохнули разом все сто шестьдесят две дельты, точно перед ними вспыхнул фейерверк.

Раздатчик вынул горсть коробочек.

— Ну-ка, — сказал он повелительно, — прошу подходить. По одному, без толкотни.

По одному и без толкотни близнецы стали подходить. Двое чернявых, рыжая, еще чернявый, за ним три рыжие, за ними…

Дикарь все глядел. «О дивный мир! О дивный новый мир…» Поющие слова зазвучали уже поиному. Уже не насмешкой над ним, горюющим и кающимся, не злорадной и наглой издевкой. Не дьявольским смехом, усугубляющим гнусное убожество, тошное уродство кошмара. Теперь они вдруг зазвучали трубным призывом к обновлению, к борьбе. «О дивный новый мир!» Миранда возвещает, что мир красоты возможен, что даже этот кошмар можно преобразить в нечто прекрасное и высокое. «О дивный новый мир!» Это призыв, приказ.

— Кончайте толкотню! — гаркнул альфовик. Захлопнул крышку ящика. — Я прекращу раздачу, если не восстановится порядок.

Дельты поворчали, потолкались и успокоились. Угроза подействовала. Остаться без сомы — какой ужас!

— Вот так-то, — сказал альфовик и опять открыл ящик.

Линда жила и умерла рабыней; остальные

должны жить свободными, мир нужно сделать прекрасным. В этом его долг, его покаяние. И внезапно Дикаря озарило, что именно надо сделать, — точно ставни распахнулись, занавес отдернулся.

— Следующий, — сказал раздатчик.

Очередная дельтовичка подошла к столу.

— Остановитесь! — воскликнул Дикарь громогласно. — Остановитесь!

Он протиснулся к столу; дельты глядели на него удивленно.

— Господи Форде! — пробормотал раздатчик. — Это Дикарь. — Раздатчику стало страшновато.

— Внемлите мне, прошу вас, — произнес горячо Дикарь. — Приклоните слух… — Ему никогда прежде не случалось говорить публично, и очень трудно было с непривычки найти нужные слова. — Не троньте эту мерзость. Это яд, это отрава.

— Послушайте, мистер Дикарь, — сказал раздатчик, улыбаясь льстиво и успокоительно. — Вы мне позволите…

— Отрава и для тела, и для души.

— Да, но позвольте мне, пожалуйста, продолжить мою работу. Будьте умницей. — Осторожным, мягким движением человека, имеющего дело с заведомо злобным зверем, он погладил

Дикаря по руке. — Позвольте мне только…

— Ни за что! — крикнул Дикарь.

— Но поймите, дружище…

— Не раздавайте, а выкиньте вон всю эту мерзкую отраву.

Слова «выкиньте вон» пробили толщу непонимания, дошли до мозга дельт. Толпа сердито загудела.

— Я пришел дать вам свободу, — воскликнул Дикарь, поворачиваясь опять к дельтам. — Я пришел…

Дальше раздатчик уже не слушал; выскользнув из вестибюля в боковую комнату, он спешно залистал там телефонную книгу.

— Итак, дома его нет. И у меня его нет, и у тебя нет, — недоумевал Бернард. — И в «Афродите-уме», и в Центре, и в институте его нет. Куда ж он мог деваться?

Гельмгольц пожал плечами. Они ожидали, придя с работы, застать Дикаря в одном из обычных мест встречи, но тот как в воду канул. Досадно — они ведь собрались слетать сейчас в Биарриц на четырехместном спортолете Гельмгольца. Так и к обеду можно опоздать.

— Подождем еще пять минут, — сказал Гельмгольц. — И если не явится, то…

Зазвонил телефон. Гельмгольц взял трубку.

— Алло. Я вас слушаю. — Длинная пауза и затем: — Форд побери! — выругался Гельмгольц. — Буду сейчас же.

— Что там такое? — спросил Бернард.

— Это знакомый — из Парк-лейнской умиральницы. Там у них Дикарь буйствует. Видимо, помешался. Времени терять нельзя. Летишь со мной?

И они побежали к лифту.

— Неужели вам любо быть рабами? — услышали они голос Дикаря, войдя в вестибюль Умиральницы. Дикарь раскраснелся, глаза горели страстью и негодованием. — Любо быть младенцами? Вы — сосунки, могущие лишь вякать и мараться, — бросил он дельтам в лицо, выведенный из себя животной тупостью тех, кого пришел освободить. Но оскорбления отскакивали от толстого панциря; в непонимающих взглядах была лишь тупая и хмурая неприязнь.

— Да, сосунки! — еще громче крикнул он. Скорбь и раскаяние, сострадание и долг! — теперь все было позабыто, все поглотила густая волна ненависти к этим недочеловекам. — Неужели не хотите быть свободными, быть людьми? Или вы даже не понимаете, что такое свобо-

да и что значит быть людьми? — Гнев придал ему красноречия; слова лились легко. — Не понимаете? — повторил он и опять не получил ответа. — Что ж, хорошо, — произнес он сурово. — Я научу вас; освобожу вас наперекор вам самим. — И, растворив толчком окно, выходящее во внутренний двор, он стал горстями швырять туда коробочки с таблетками сомы.

При виде такого святотатства одетая в хаки толпа окаменела от изумления и ужаса.

— Он сошел с ума, — прошептал Бернард, широко раскрыв глаза. — Они убьют его. Они…

Толпа взревела, грозно качнулась, двинулась на Дикаря.

— Спаси его Форд, — сказал Бернард, отворачиваясь.

— На Форда надейся, а сам не плошай! — И со смехом (да! с ликующим смехом) Гельмгольц кинулся на подмогу сквозь толпу.

— Свобода, свобода! — восклицал Дикарь, правой рукой вышвыривая сому, а левой, сжатой в кулак, нанося удары по лицам, не отличимым одно от другого. — Свобода! (И внезапно рядом с ним оказался Гельмгольц.) Молодчина Гельмгольц! (И тоже стал отбивать атакующих.) Теперь вы люди наконец! (И тоже стал швырять горстями отраву

в распахнутое окно.) Да, люди, люди! — И вот уже выкинута вся сома. Дикарь схватил ящик, показал дельтам черную его пустоту. — Вы свободны!

С ревом, с удвоенной яростью толпа хлынула опять на обидчиков.

— Они пропали, — вырвалось у Бернарда, в замешательстве стоявшего в стороне от схватки. И, охваченный внезапным порывом, он бросился было на помощь друзьям; остановился, колеблясь, устыженно шагнул вперед, снова замялся и так стоял в муке стыда и боязни — без него ведь их убьют, а если присоединится, самого его убить могут, — но тут (благодарение Форду!) в вестибюль вбежали полицейские в очкастых свинорылых противогазных масках.

Бернард метнулся им навстречу. Замахал руками — теперь и он участвовал, делал что-то! Закричал:

— Спасите! Спасите! — все громче и громче, точно этим криком и сам спасал. — Спасите! Спасите!

Оттолкнув его, чтоб не мешал, полицейские принялись за дело. Трое, действуя заплечными распылителями, заполнили весь воздух клубами парообразной сомы. Двое завозились у переносного устройства синтетической музыки.

Еще четверо — с водяными пистолетами в руках, заряженными мощным анестезирующим средством, — врезались в толпу и методически стали валить с ног самых ярых бойцов одного за другим.

— Быстрей, быстрей! — вопил Бернард. — Быстрей, а то их убьют. Упп… — Раздраженный его криками, один из полицейских пальнул в него из водяного пистолета. Секунду-две Бернард покачался на ногах, ставших ватными, желеобразными, жидкими, как вода, и мешком свалился на пол.

Из музыкального устройства раздался Голос. Голос Разума, Голос Добросердия. Зазвучал синтетический «Призыв к порядку» № 2 (средней интенсивности).

— Друзья мои, друзья мои! — воззвал Голос из самой глубины своего несуществующего сердца с таким бесконечно ласковым укором, что даже глаза полицейских за стеклами масок на миг замутились слезами. — Зачем вся эта сумятица? Зачем? Соединимся в счастье и добре. В счастье и добре, — повторил Голос. — В мире и покое. — Голос дрогнул, сникая до шепота, истаивая. — О, как хочу я, чтоб вы были счастливы, — зазвучал он опять с тоскующей сердечностью. — Как хочу

я, чтоб вы были добры! Прошу вас, прошу вас, отдайтесь добру и…

В две минуты Голос при содействии паров сомы сделал свое дело. Дельты целовались в слезах и обнимались по пять-шесть близнецов сразу. Даже Гельмгольц и Дикарь чуть не плакали. Из хозяйственной части принесли упаковки сомы; спешно организовали новую раздачу, и под задушевные, сочно-баритональные напутствия Голоса дельты разошлись восвояси, растроганно рыдая.

— До свидания, милые-милые мои, храни вас Форд! До свидания, милые-милые мои, храни вас Форд! До свидания, милые-милые…

Когда ушли последние дельты, полицейский выключил устройство. Ангельский Голос умолк.

— Пойдете по-хорошему? — спросил сержант. — Или придется вас анестезировать? — Он с угрозой мотнул своим водяным пистолетом.

— Пойдем по-хорошему, — ответил Дикарь, утирая кровь с рассеченной губы, с исцарапанной шеи, с укушенной левой руки. Прижимая к разбитому носу платок, Гельмгольц кивнул подтверждающе.

Очнувшись, почувствовав под собой ноги, Бернард понезаметней направился в этот момент

к выходу.

— Эй, вы там! — окликнул его сержант, и свинорылый полисмен пустился следом, положил руку Бернарду на плечо.

Бернард обернулся с невинно-обиженным видом. Что вы! У него и в мыслях не было убегать.

— Хотя для чего я вам нужен, — сказал он сержанту, — понятия не имею.

— Вы ведь приятель задержанных?

— Видите ли… — начал Бернард и замялся. Нет, отрицать невозможно. — А что в этом такого? — спросил он.

— Пройдемте, — сказал сержант и повел их к ожидающей у входа полицейской машине.

Глава шестнадцатая

Всех троих пригласили войти в кабинет Главноуправителя.

— Его фордейшество спустится через минуту. — И дворецкий в гамма-ливрее удалился.

— Нас будто не на суд привели, а на кофеинопитие, — сказал со смехом Гельмгольц, погружаясь в самое роскошное из пневматических кресел. — Не вешай носа, Бернард, — прибавил он, взглянув на друга, зеленоватобледного от тревоги. Но Бернард не поднял головы; не отвечая, даже не глядя на Гельмгольца, он присел на самом жестком стуле — в смутной надежде как-то отвратить этим гнев Власти.

А Дикарь неприкаянно бродил вдоль стен кабинета, скользя рассеянным взглядом по корешкам книг на полках, по нумерованным ячейкам с роликами звукозаписи и бобинами для читальных машин. На столе под окном лежал массивный том, переплетенный в мягкую черную искусственную кожу, на которой были вытиснены большие золотые знаки Т. Дикарь взял том в руки, раскрыл. «Моя жизнь и работа», писание Господа нашего Форда. Издано в Детройте Обще-

ством фордианских знаний. Полистав страницы, прочтя тут фразу, там абзац, он сделал вывод, что книга неинтересная, — и в это время отворилась дверь, и энергичным шагом вошел Постоянный Главноуправитель Западной Европы.

Пожав руки всем троим, Мустафа Монд обратился к Дикарю:

— Итак, вам не очень-то нравится цивилизация, мистер Дикарь.

Дикарь взглянул на Главноуправителя. Он приготовился лгать, шуметь, молчать угрюмо; но лицо Монда светилось беззлобным умом, и ободренный Дикарь решил говорить правду напрямик.

— Да, не нравится.

Бернард вздрогнул, на лице его выразился страх. Что подумает Главноуправитель? Числиться в друзьях человека, который говорит, что ему не нравится цивилизация, говорит открыто, и кому? Самому Главноуправителю! Это ужасно.

— Ну что ты, Джон… — начал Бернард. Взгляд Мустафы заставил его съежиться и замолчать.

— Конечно, — продолжал Дикарь, — есть у вас хорошее. Например, музыка, которой полон воздух…

— «Порой тысячеструнное бренчанье кругом, и

голоса порой звучат!»

Дикарь вспыхнул от удовольствия:

— Значит, и вы его читали? Я уж думал, тут, в Англии, никто Шекспира не знает.

— Почти никто. Я один из очень немногих, с ним знакомых. Шекспир, видите ли, запрещен. Но поскольку законы устанавливаю я, то я могу и нарушать их. Причем безнаказанно, — прибавил он, поворачиваясь к Бернарду. — Чего, увы, о вас не скажешь.

Бернард еще безнадежней и унылей поник головой.

— А почему запрещен? — спросил Дикарь. Он так обрадовался человеку, читавшему Шекспира, что на время забыл обо всем прочем.

Главноуправитель пожал плечами.

— Потому что он — старье; вот главная причина. Старье нам не нужно.

— Но старое ведь бывает прекрасно.

— Тем более. Красота притягательна, и мы не хотим, чтобы людей притягивало старье. Надо, чтобы им нравилось новое.

— Но ваше новое так глупо, так противно. Эти фильмы, где все только летают вертопланы и ощущаешь, как целуются. — Он сморщился брезгливо. — Мартышки и козлы! — Лишь словами

Отелло мог он с достаточной силой выразить свое презрение и отвращение.

— А ведь звери это славные, нехищные, — как бы в скобках, вполголоса заметил Главноуправитель.

— Почему вы не покажете людям «Отелло» вместо этой гадости?

— Я уже сказал — старья мы не даем им. К тому же они бы не поняли «Отелло».

Да, это верно. Дикарь вспомнил, как насмешила Гельмгольца Джульетта.

— Что ж, — сказал он после паузы, — тогда дайте им что-нибудь новое в духе «Отелло», понятное для них.

— Вот именно такое нам хотелось бы писать, — вступил наконец Гельмгольц в разговор.

— И такого вам написать не дано, — возразил Монд. — Поскольку если оно и впрямь будет в духе «Отелло», то никто его не поймет, в какие новые одежды ни рядите. А если будет ново, то уж никак не сможет быть в духе «Отелло».

— Но почему не сможет?

— Да, почему? — подхватил Гельмгольц. Он тоже отвлекся на время от неприятной действительности. Не забыл о ней лишь Бернард, совсем позеленевший от злых предчувствий; но на него

не обращали внимания. — Почему?

— Потому что мир наш — уже не мир «Отелло». Как для «фордов» необходима сталь, так для трагедий необходима социальная нестабильность. Теперь же мир стабилен, устойчив. Люди счастливы; они получают все то, чего хотят, и не способны хотеть того, чего получить не могут. Они живут в достатке, в безопасности; не знают болезней; не боятся смерти; блаженно не ведают страсти и старости; им не отравляют жизнь отцы с матерями; нет у них ни жен, ни детей, ни любовей — и, стало быть, нет треволнений; они так сформованы, что практически не могут выйти из рамок положенного. Если же и случаются сбои, то к нашим услугам сома. А вы ее выкидываете в окошко, мистер Дикарь, во имя свободы. Свободы! — Мустафа рассмеялся. — Вы думали, дельты понимают, что такое свобода! А теперь надеетесь, что они поймут «Отелло»! Милый вы мой мальчик!

Дикарь замолчал. Затем сказал упрямо:

— Все равно «Отелло» — хорошая вещь, «Отелло» лучше ощущальных фильмов.

— Разумеется, лучше, — согласился Главноуправитель. — Но эту цену нам приходится платить за стабильность. Пришлось выбирать

между счастьем и тем, что называли когда-то высоким искусством. Мы пожертвовали высоким искусством. Взамен него у нас ощущалка и запаховый ортн.

— Но в них нет и тени смысла.

— Зато в них масса приятных ощущений для публики.

— Но ведь это… «это бредовой рассказ кретина».

— Вы обижаете вашего друга, мистера Уотсона, — засмеявшись, сказал Мустафа. — Одного из самых выдающихся специалистов по инженерии чувств…

— Однако он прав, — сказал Гельмгольц хмуро. — Действительно, кретинизм. Пишем, а сказать-то нечего…

— Согласен, нечего. Но это требует колоссальной изобретательности. Вы делаете вещь из минимальнейшего количества стали — создаете художественные произведения почти что из одних голых ощущений.

Дикарь покачал головой:

— Мне все это кажется просто гадким.

— Ну разумеется. В натуральном виде счастье всегда выглядит убого рядом с цветистыми прикрасами несчастья. И разумеется, стабильность

куда менее колоритна, чем нестабильность. А удовлетворенность совершенно лишена романтики сражений со злым роком, нет здесь красочной борьбы с соблазном, нет ореола гибельных сомнений и страстей. Счастье лишено грандиозных эффектов.

— Пусть так, — сказал Дикарь, помолчав. — Но неужели нельзя без этого ужаса — без близнецов? — Он провел рукой по глазам, как бы желая стереть из памяти эти ряды одинаковых карликов у сборочного конвейера, эти близнецовые толпы, растянувшиеся очередью у входа в Брентфордский моновокзал, эти человечьи личинки, кишащие у смертного одра Линды, эту атакующую его одноликую орду. Он взглянул на свою забинтованную руку и поежился. — Жуть какая!

— Зато польза какая! Вам, я вижу, не по вкусу наши группы Бокановского; но, уверяю вас, они — фундамент, на котором строится все остальное. Они — стабилизирующий гироскоп, который позволяет ракетоплану государства стремить свой полет, не сбиваясь с курса. — Главноуправительский бас волнительно вибрировал; жесты рук изображали ширь пространства и неудержимый лет ракетоплана; ораторское мастерство Мустафы Монда достигало почти уровня синте-

тических стандартов.

— А разве нельзя обойтись вовсе без них? — упорствовал Дикарь. — Ведь вы можете получать что угодно в ваших бутылях. Раз уж на то пошло, почему бы не выращивать всех плюс-плюс-альфами?

— Ну нет, нам еще жить не надоело, — отвечал Монд со смехом. — Наш девиз — счастье и стабильность. Общество же, целиком состоящее из альф, обязательно будет нестабильно и несчастливо. Вообразите вы себе завод, укомплектованный альфами, то есть индивидуумами разными и розными, обладающими хорошей наследственностью и по формовке своей способными — в определенных пределах — к свободному выбору и ответственным решениям. Вы только вообразите.

Дикарь попробовал вообразить, но без особого успеха.

— Это же абсурд. Человек, сформованный, воспитанный как альфа, сойдет с ума, если его поставить на работу эпсилон-полукретина, сойдет с ума или примется крушить и рушить все вокруг. Альфы могут быть вполне добротными членами общества, но при том лишь условии, что будут выполнять работу альф. Только от

эпсилона можно требовать жертв, связанных с работой эпсилона, — по той простой причине, что для него это не жертвы, а линия наименьшего сопротивления, привычная жизненная колея, по которой он движется. По которой двигаться обречен всем своим формированием и воспитанием. Даже после раскупорки он продолжает жить в бутыли — в невидимой бутыли рефлексов, привитых эмбриону и ребенку. Конечно, и каждый из нас, — продолжал задумчиво Главноуправитель, — проводит жизнь свою в бутыли. Но если нам выпало быть альфами, то бутыли наши огромного размера сравнительно с бутылями низших каст. В бутылях поменьше объемом мы страдали бы мучительно. Нельзя разливать альфа-винозаменитель в эпсилон-мехи. Это ясно уже теоретически. Да и практикой доказано. Кипрский эксперимент дал убедительные результаты.

— А что это был за эксперимент? — спросил Дикарь.

— Можете назвать его экспериментом по виноразливу, — улыбнулся Мустафа Монд. — Начат он был в 473 году Эры Форда. По распоряжению Главноуправителей Мира остров Кипр был очищен от всех его тогдашних обитателей и заново

заселен специально выращенной партией альф численностью в двадцать две тысячи. Им дана была вся необходимая сельскохозяйственная и промышленная техника и предоставлено самим вершить свои дела. Результат в точности совпал с теоретическими предсказаниями. Землю не обрабатывали как положено; на всех заводах бастовали; законы в грош не ставили, приказам не повиновались; все альфы, назначенные на определенный срок выполнять черные работы, интриговали и ловчили как могли, чтобы перевестись на должность почище, а все, кто сидел на чистой работе, вели встречные интриги, чтобы любым способом удержать ее за собой. Не прошло и шести лет, как разгорелась самая настоящая гражданская война. Когда из двадцати двух тысяч девятнадцать оказались перебиты, уцелевшие альфы обратились к Главноуправителям с единодушной просьбой снова взять в свои руки правление. Просьба была удовлетворена. Так пришел конец единственному в мировой истории обществу альф.

Дикарь тяжко вздохнул.

— Оптимальный состав народонаселения, — говорил далее Мустафа, — смоделирован нами с айсберга, у которого восемь девятых массы под

водой, одна девятая над водой.

— А счастливы ли те, что под водой?

— Счастливее тех, что над водой. Счастливее, к примеру, ваших друзей, — кивнул Монд на Гельмгольца и Бернарда.

— Несмотря на свой отвратный труд?

— Отвратный? Им он вовсе не кажется таковым. Напротив, он приятен им. Он не тяжел, детски прост. Не перегружает ни головы, ни мышц. Семь с половиной часов умеренного, неизнурительного труда, а затем сома в таблетках, игры, беззапретное совокупление и ощущалки. Чего еще желать им? — вопросил Мустафа. — Ну правда, они могли бы желать сокращения рабочих часов. И разумеется, можно бы и сократить. В техническом аспекте проще простого было бы свести рабочий день для низших каст к трем-четырем часам. Но от этого стали бы они хоть сколько-нибудь счастливей? Отнюдь нет. Эксперимент с рабочими часами был проведен еще полтора с лишним века назад. Во всей Ирландии ввели четырехчасовой рабочий день. И что ж это дало в итоге? Непорядки и сильно возросшее потребление сомы — и больше ничего. Три с половиной лишних часа досуга не только не стали источником счастья, но даже пришлось людям

глушить эту праздность сомой. Наше Бюро изобретений забито предложениями по экономии труда. Тысячами предложений! — Монд широко взмахнул рукой. — Почему же мы не проводим их в жизнь? Да для блага самих же рабочих; было бы попросту жестоко обрушивать на них добавочный досуг. То же и в сельском хозяйстве. Вообще можно было бы индустриально синтезировать все пищевые продукты до последнего кусочка, пожелай мы только. Но мы не желаем. Мы предпочитаем держать треть населения занятой в сельском хозяйстве. Ради их же блага — именно потому, что сельскохозяйственный процесс получения продуктов берет больше времени, чем индустриальный. Кроме того, нам надо заботиться о стабильности. Мы не хотим перемен. Всякая перемена — угроза для стабильности. И это вторая причина, по которой мы так скупо вводим в жизнь новые изобретения. Всякое чисто научное открытие является потенциально разрушительным; даже и науку приходится иногда рассматривать как возможного врага. Да, и науку тоже.

Науку?... Дикарь сдвинул брови. Слово это он знает. Но не знает его точного значения. Старики индейцы о науке не упоминали, Шекспир о ней

молчит, а из рассказов Линды возникало лишь самое смутное понятие: наука позволяет строить вертопланы, наука поднимает на смех индейские пляски, наука оберегает от морщин и сохраняет зубы. Напрягая мозг, Дикарь старался вникнуть в слова Главноуправителя.

— Да, — продолжал Мустафа Монд. — И это также входит в плату за стабильность. Не одно лишь искусство несовместимо со счастьем, но и наука. Опасная вещь наука; приходится держать ее на крепкой цепи и в наморднике.

— Как так? — удивился Гельмгольц. — Но ведь мы же вечно трубим: «Наука превыше всего». Это же избитая гипнопедическая истина.

— Внедряемая трижды в неделю, с тринадцати до семнадцати лет, — вставил Бернард.

— А вспомнить всю нашу институтскую пропаганду науки…

— Да, но какой науки? — возразил Мустафа насмешливо. — Вас не готовили в естествоиспытатели, и судить вы не можете. А я был неплохим физиком в свое время. Слишком даже неплохим; я сумел осознать, что вся наша наука — нечто вроде поваренной книги, причем правоверную теорию варки никому не позволено брать под сомнение, и к перечню кулинарных рецептов

нельзя ничего добавлять иначе как по особому разрешению главного повара. Теперь я сам — главный повар. Но когда-то я был пытливым поваренком. Пытался варить по-своему. По неправоверному, недозволенному рецепту. Иначе говоря, попытался заниматься подлинной наукой. — Он замолчал.

— И чем же кончилось? — не удержался Гельмгольц от вопроса.

— Чуть ли не тем же, чем кончается у вас, молодые люди, — со вздохом ответил Главноуправитель. — Меня чуть было не сослали на остров.

Слова эти побудили Бернарда к действиям бурным и малопристойным.

— Меня сошлют на остров? — Он вскочил и подбежал к Главноуправителю, отчаянно жестикулируя. — Но за что же? Я ничего не сделал. Это все они. Клянусь, это они. — Он обвиняюще указал на Гельмгольца и Дикаря. — О, прошу вас, не отправляйте меня в Исландию. Я обещаю, что исправлюсь. Дайте мне только возможность. Прошу вас, дайте мне исправиться. — Из глаз его потекли слезы. — Ей-форду, это их вина, — зарыдал он. — О, только не в Исландию. О, пожалуйста, ваше фордейшество, пожалуйста… — И в при-

падке малодушия он бросился перед Мондом на колени. Тот пробовал поднять его, но Бернард продолжал валяться в ногах; молящие слова лились потоком. В конце концов Главноуправителю пришлось нажатием кнопки вызвать четвертого своего секретаря.

— Позовите трех служителей, — приказал Мустафа, — отведите его в спальную комнату. Дайте ему вдосталь подышать парами сомы, уложите в постель, и пусть проспится.

Четвертый секретарь вышел и вернулся с тремя близнецами-лакеями в зеленых ливреях. Кричащего, рыдающего Бернарда унесли.

— Можно подумать, его убивают, — сказал Главноуправитель, когда дверь за Бернардом закрылась. — Имей он хоть крупицу смысла, он бы понял, что наказание его является по существу наградой. Его ссылают на остров. То есть посылают туда, где он окажется в среде самых интересных мужчин и женщин на свете. Это все те, в ком почему-либо развилось самосознание до такой степени, что они стали непригодны к жизни в нашем обществе. Все те, кого не удовлетворяет правоверность, у кого есть свои, самостоятельные взгляды. Словом, все те, кто собой что-то представляет. Я почти завидую вам,

мистер Уотсон.

Гельмгольц Уотсон рассмеялся.

— Тогда почему же вы сами не на острове? — спросил он.

— Потому что все-таки предпочел другое, — ответил Главноуправитель. — Мне предложили выбор — либо ссылка на остров, где я смог бы продолжать свои занятия чистой наукой, либо же служба при Совете Главноуправителей с перспективой занять впоследствии пост Главноуправителя. Я выбрал второе и простился с наукой. Временами я жалею об этом, — продолжал он, помолчав. — Счастье — хозяин суровый. Служить счастью, особенно счастью других, гораздо труднее, чем служить истине, — если ты не сформован так, чтобы служить слепо. — Он вздохнул, опять помолчал, затем заговорил уже бодрее: — Но долг есть долг. Он важней, чем собственные склонности. Меня влечет истина. Я люблю науку. Но истина грозна; наука опасна для общества. Столь же опасна, сколь была благотворна. Наука дала нам самое устойчивое равновесие во всей истории человечества. Китай по сравнению с нами был безнадежно неустойчив; даже первобытные матриархии были не стабильней нас. И это, повторяю, благодаря науке. Но мы не можем

позволить, чтобы наука погубила свое же благое дело. Вот почему мы так строго ограничиваем размах научных исследований — вот почему я чуть не оказался на острове. Мы даем науке заниматься лишь самыми насущными, сиюминутными проблемами. Всем другим изысканиям неукоснительнейше ставятся препоны. А занятно бывает читать, — продолжал Мустафа после короткой паузы, — что писали во времена Господа нашего Форда о научном прогрессе. Тогда, видимо, воображали, что науке можно позволить развиваться бесконечно и невзирая ни на что. Знание считалось верховным благом, истина — высшей ценностью; все остальное — второстепенным, подчиненным. Правда, и в те времена взгляды начинали уже меняться. Сам Господь наш Форд сделал многое, чтобы перенести упор с истины и красоты на счастье и удобство. Такого сдвига требовали интересы массового производства. Всеобщее счастье способно безостановочно двигать машины; истина же и красота — не способны. Так что, разумеется, когда властью завладевали массы, верховной ценностью становилось всегда счастье, а не истина с красотой. Но несмотря на все это, научные исследования по-прежнему еще не ограничивались. Об истине

и красоте продолжали толковать так, точно они оставались высшим благом. Это длилось вплоть до Девятилетней войны. Война-то заставила запеть по-другому. Какой смысл в истине, красоте или познании, когда кругом лопаются сибиреязвенные бомбы? После той войны и была впервые взята под контроль наука. Люди тогда готовы были даже свою жажду удовольствий обуздать. Все отдавали за тихую жизнь. С тех пор мы науку держим в шорах. Конечно, истина от этого страдает. Но счастье процветает. А даром ничто не дается. За счастье приходится платить. Вот вы и платите, мистер Уотсон, потому что слишком заинтересовались красотой. Я же слишком увлекся истиной и тоже поплатился.

— Но вы ведь не отправились на остров, — произнес молчаливо слушавший Дикарь.

Гмавноуправитель улыбнулся.

— В том и заключалась моя плата. В том, что я остался служить счастью. И не своему, а счастью других. Хорошо еще, — прибавил он после паузы, — что в мире столько островов. Не знаю, как бы мы обходились без них. Пришлось бы, вероятно, всех еретиков отправлять в умертвительную камеру. Кстати, мистер Уотсон, подойдет ли вам тропический климат? Например, Маркизские

острова или Самоа? Или же дать вам атмосферу пожестче?

— Дайте мне климат крутой и скверный, — ответил Гельмгольц, вставая с кресла. — Я думаю, в суровом климате лучше будет писаться. Когда кругом ветра и штормы…

Монд одобрительно кивнул.

— Ваш подход мне нравится, мистер Уотсон. Весьма и весьма нравится — в такой же мере, в какой по долгу службы я обязан вас порицать. — Он снова улыбнулся. — Фолклендские острова вас устроят?

— Да, устроят, пожалуй, — ответил Гельмгольц. — А теперь, если позволите, я пойду к бедняге Бернарду, погляжу, как он там.

Глава семнадцатая

— Искусством пожертвовали, наукой — немалую вы цену заплатили за ваше счастье, — сказал Дикарь, когда они с Главноуправителем остались одни. — А может, еще чем пожертвовали?

— Ну, разумеется, религией, — ответил Мустафа. — Было некое понятие, именуемое Богом, — до Девятилетней войны. Но это понятие, я думаю, вам очень знакомо.

— Да… — начал Дикарь и замялся. Ему хотелось бы сказать про одиночество, про ночь, про плато месы в бледном лунном свете, про обрыв и прыжок в черную тень, про смерть. Хотелось, но слов не было. Даже у Шекспира слов таких нет.

Главноуправитель тем временем отошел в глубину кабинета, отпер большой сейф, встроенный в стену между стеллажами. Тяжелая дверца открылась.

— Тема эта всегда занимала меня чрезвычайно, — сказал Главноуправитель, роясь в темной внутренности сейфа. Вынул оттуда толстый черный том. — Ну вот, скажем, книга, которой вы не читали.

Дикарь взял протянутый том.

— «Библия, или Книги священного писания Ветхого и Нового Завета», — прочел он на титульном листе.

— И этой не читали. — Монд протянул потрепанную, без переплета книжицу.

— «Подражание Христу».

— И этой, — вынул Монд третью книгу.

— Уильям Джемс. «Многообразие религиозного опыта».

— У меня еще много таких, — продолжал Мустафа Монд, снова садясь. — Целая коллекция порнографических старинных книг. В сейфе Бог, а на полках Форд, — указал он с усмешкой на стеллажи с книгами, роликами, бобинами.

— Но если вы о Боге знаете, то почему же не говорите им? — горячо сказал Дикарь. — Почему не даете им этих книг?

— По той самой причине, по которой не даем «Отелло», — книги эти старые; они — о Боге, каким он представлялся столетия назад. Не о Боге нынешнем.

— Но ведь Бог не меняется.

— Зато люди меняются.

— А какая от этого разница?

— Громаднейшая, — сказал Мустафа Монд. Он встал, подошел опять к сейфу. — Жил когда-то че-

ловек — кардинал Ньюмен. Кардинал, — пояснил Монд в скобках, — это нечто вроде теперешнего архипеснослова.

— «Я, Пандульф, прекрасного Милана кардинал». Шекспир о кардиналах упоминает.

— Да, конечно. Так, значит, жил когда-то кардинал Ньюмен. Ага, вот и книга его. — Монд извлек ее из сейфа. — А кстати, выну и другую. Написанную человеком по имени Мен де Биран. Он был философ. Что такое философ, знаете?

— Мудрец, которому и не снилось, сколько всякого есть в небесах и на земле, — без промедления ответил Дикарь.

— Именно. Через минуту я вам прочту отрывок из того, что ему, однако, снилось. Но прежде послушаем старого архипеснослова. — И, раскрыв книгу на листе, заложенном бумажкой, он стал читать: — «Мы не принадлежим себе, равно как не принадлежит нам то, что мы имеем. Мы себя не сотворили, мы главенствовать над собою не можем. Мы не хозяева себе. Бог нам хозяин. И разве такой взгляд на вещи не составляет счастье наше? Разве есть хоть кроха счастья или успокоения в том, чтобы полагать, будто мы принадлежим себе? Полагать так могут люди молодые и благополучные. Они могут думать,

что очень это ценно и важно: делать все, как им кажется, по-своему — ни от кого не зависеть, — быть свободными от всякой мысли о незримо сущем, от вечной и докучной подчиненности, вечной молитвы, от вечного соотнесения своих поступков с чьей-то волей. Но с возрастом и они в свой черед обнаружат, что независимость не для человека, что она для людей неестественна и годится разве лишь ненадолго, а всю жизнь с нею не прожить…» — Мустафа Монд замолчал, положил томик и стал листать страницы второй книги. — Ну вот, например, из Бирана, — сказал он и снова забасил: — «Человек стареет; он ощущает в себе то всепроникающее чувство слабости, вялости, недомогания, которое приходит с годами; и, ощутив это, воображает, что всего-навсего прихворнул; он усыпляет свои страхи тем, что, дескать, его бедственное состояние вызвано какой-то частной причиной, и надеется причину устранить, от хвори исцелиться. Тщетные надежды! Хворь эта — старость; и грозный она недуг. Говорят, будто обращаться к религии в пожилом возрасте заставляет людей страх перед смертью и тем, что будет после смерти. Но мой собственный опыт убеждает меня в том, что религиозность склонна с годами развиваться в человеке совер-

шенно помимо всяких таких страхов и фантазий; ибо, по мере того как страсти утихают, а воображение и чувства реже возбуждаются и становятся менее возбудимы, разум наш начинает работать спокойней, меньше мутят его образы, желания, забавы, которыми он был ранее занят; и тут-то является Бог, как из-за облака; душа наша воспринимает, видит, обращается к источнику всякого света, обращается естественно и неизбежно; ибо теперь, когда все, дававшее чувственному миру жизнь и прелесть, уже стало от нас утекать, когда чувственное бытие более не укрепляется впечатлениями изнутри или извне, — теперь мы испытываем потребность опереться на нечто прочное, неколебимое и безобманное — на реальность, на правду бессмертную и абсолютную. Да, мы неизбежно обращаемся к Богу; ибо это религиозное чувство по природе своей так чисто, так сладостно душе, его испытывающей, что оно возмещает нам все наши утраты». — Мустафа Монд закрыл книгу, откинулся в кресле. — Среди множества прочих вещей, сокрытых в небесах и на земле, этим философам не снилось и все теперешнее (он сделал рукой охватывающий жест) — мы, современный мир. «От Бога можно не зависеть, лишь пока ты молод и благополучен;

всю жизнь ты независимым не проживешь». А у нас теперь молодости и благополучия хватает на всю жизнь. Что же отсюда следует? Да то, что мы можем не зависеть от Бога. «Религиозное чувство возместит нам все наши утраты». Но мы ничего не утрачиваем, и возмещать нечего; религиозность становится излишней. И для чего нам искать замену юношеским страстям, если страсти эти в нас не иссякают никогда? Замену молодым забавам, когда мы до последнего дня жизни резвимся и дурачимся по-прежнему? Зачем нам отдохновение, когда наш ум и тело всю жизнь находят радость в действии? Зачем успокоение, когда у нас есть сома? Зачем неколебимая опора, когда есть прочный общественный порядок?

— Так, по-вашему, Бога нет?

— Вполне вероятно, что он есть.

— Тогда почему?…

Мустафа не дал ему кончить вопроса.

— Но проявляет он себя по-разному в разные эпохи. До Эры Форда он проявлял себя, как описано в этих книгах. Теперь же…

— Да, теперь-то как? — спросил нетерпеливо Дикарь.

— Теперь проявляет себя своим отсутствием; его как бы и нет вовсе.

— Сами виноваты.

— Скажите лучше, виновата цивилизация. Бог несовместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем. Приходится выбирать. Наша цивилизация выбрала машины, медицину, счастье. Вот почему я прячу эти книжки в сейфе. Они непристойны. Они вызвали бы возмущение у чита…

— Но разве не естественно чувствовать, что Бог есть? — не вытерпел Дикарь.

— С таким же правом можете спросить: «Разве не естественно застегивать брюки молнией»? — сказал Главноуправитель саркастически. — Вы напоминаете мне одного из этих пресловутых мудрецов — напоминаете Брэдли. Он определял философию как отыскивание сомнительных причин в обоснование того, во что веришь инстинктивно. Как будто можно верить инстинктивно! Веришь потому, что тебя так сформировали, воспитали. Обоснование сомнительными причинами того, во что веришь по другим сомнительным причинам, — вот как надо определить философию. Люди верят в Бога потому, что их так воспитали.

— А все равно, — не унимался Дикарь, — в Бога верить естественно, когда ты одинок — совсем

один в ночи — и думаешь о смерти…

— Но у нас одиночества нет, — сказал Мустафа. — Мы внедряем в людей нелюбовь к уединению и так строим их жизнь, что оно почти невозможно.

Дикарь хмуро кивнул. В Мальпаисе он страдал от того, что был исключен из общинной жизни, а теперь, в цивилизованном Лондоне, от того, что нельзя никуда уйти от этой общественной жизни, нельзя побыть в тихом уединении.

— Помните в «Короле Лире»? — произнес он, подумав. — «Боги справедливы, и обращаются в орудья кары пороки, услаждающие нас; тебя зачал он в темном закоулке — и был покаран темной слепотой». И Эдмунд в ответ говорит — а Эдмунд ранен, умирает: «Да, это правда. Колесо судьбы свершило полный круг, и я сражен». Что вы на это скажете? Есть, стало быть, Бог, который управляет всем, наказывает, награждает?

— Есть ли? — в свою очередь спросил Монд. — Ведь можете услаждаться с девушкой-неплодой сколько вам угодно, не рискуя тем, что любовница вашего сына впоследствии вырвет у вас глаза. «Колесо судьбы свершило полный круг, и я сражен». Но сражен ли современный Эдмунд? Он сидит себе в пневматическом кресле, в обнимку

с девушкой, жует секс-гормональную резинку и смотрит ощущальный фильм. Боги справедливы. Не спорю. Но Божий свод законов диктуется в конечном счете людьми, организующими общество. Провидение действует с подсказки человека.

— Вы уверены? — возразил Дикарь. — Вы так уж уверены, что ваш Эдмунд в пневматическом кресле не понес кару столь же тяжкую, как Эдмунд, смертельно раненный, истекающий кровью? Боги справедливы. Разве не обратили они пороки, услаждающие современного Эдмунда, в орудия его унижения?

— Унижения? Соотносительно с чем? Как счастливый, работящий, товаропотребляющий гражданин, Эдмунд стоит высочайше. Конечно, если взять иной, отличный от нашего, критерий оценки, то не исключено, что можно будет говорить об унижении. Но надо ведь держаться одного набора правил. Нельзя играть в электромагнитный гольф по правилам эскалаторного хэндбола.

— «Но ценность независима от воли, — процитировал Дикарь из «Троила и Крессиды». — Достойное само уж по себе достойно, не только по оценке чьей-нибудь».

— Ну, ну, ну, — сказал Мустафа. — Утверждение весьма спорное, не так ли?

— Если бы вы допустили к себе мысль о Боге, то не унижались бы до услаждения пороками. Был бы тогда у вас резон, чтобы стойко переносить страдания, совершать мужественные поступки. Я видел это у индейцев.

— Не сомневаюсь, — сказал Мустафа Монд. — Но мы-то не индейцы. Цивилизованному человеку нет нужды переносить страдания. А что до совершения мужественных поступков, то сохрани Форд от подобных помыслов. Если люди начнут действовать на свой риск, весь общественный порядок полетит в тартарары.

— Ну, а самоотречение, самопожертвование? Будь у вас Бог, был бы тогда резон для самоотречения.

— Но индустриальная цивилизация возможна лишь тогда, когда люди не отрекаются от своих желаний, а, напротив, потворствуют им в самой высшей степени, какую только допускают гигиена и экономика. В самой высшей, иначе остановятся машины.

— Был бы тогда резон для целомудрия! — проговорил Дикарь, слегка покраснев.

— Но целомудрие рождает страсть, рождает

неврастению. А страсть с неврастенией порождают нестабильность. А нестабильность означает конец цивилизации. Прочная цивилизация немыслима без множества услаждающих пороков.

— Но в Боге заключается резон для всего благородного, высокого, героического. Будь у вас…

— Милый мой юноша, — сказал Мустафа Монд. — Цивилизация абсолютно не нуждается в благородстве или героизме. Благородство, героизм — это симптомы политической неумелости. В правильно, как у нас, организованном обществе никому не доводится проявлять эти качества. Для их проявления нужна обстановка полнейшей нестабильности. Там, где войны, где конфликт между долгом и верностью, где противление соблазнам, где защита тех, кого любишь, или борьба за них — там, очевидно, есть некий смысл в благородстве и героизме. Но теперь нет войн. Мы неусыпнейше предотвращаем всякую чрезмерную любовь. Конфликтов долга не возникает; люди так сформованы, что попросту не могут иначе поступать, чем от них требуется. И то, что от них требуется, в общем и целом так приятно, стольким естественным импульсам дается теперь простор, что, по сути, не приходится про-

тивиться соблазнам. А если все же приключится в кои веки неприятность, так ведь у вас всегда есть сома, чтобы отдохнуть от реальности. И та же сома остудит ваш гнев, примирит с врагами, даст вам терпение и кротость. В прошлом, чтобы достичь этого, вам требовались огромные усилия, годы суровой нравственной выучки. Теперь же вы глотаете две-три таблетки — и готово дело. Ныне каждый может быть добродетелен. По меньшей мере половину вашей нравственности вы можете носить с собою во флакончике. Христианство без слез — вот что такое сома.

— Но слезы ведь необходимы. Вспомните, что сказал Отелло: «Если каждый шторм кончается такой небесной тишью, пусть сатанеют ветры, будя смерть». Старик индеец нам сказывал о Девушке из Мацаки. Парень, захотевший на ней жениться, должен был взять мотыгу и проработать утро в ее огороде. Работа вроде бы легкая; но там летали мухи и комары; не простые, а волшебные. Женихи не могли снести их укусов и жал. Но один стерпел — и в награду получил ту девушку.

— Прелестно! — сказал Главноуправитель. — Но в цивилизованных странах девушек можно получать и не мотыжа огороды; и нет у нас жалящих комаров и мух. Мы всех их устранили

столетия тому назад.

— Вот-вот, устранили, — кивнул насупленно Дикарь. — Это в вашем духе. Все неприятное вы устраняете — вместо того чтобы научиться стойко его переносить. «Благородней ли терпеть судьбы свирепой стрелы и каменья или, схватив оружие, сразиться с безбрежным морем бедствий…» А вы и не терпите, и не сражаетесь. Вы просто устраняете стрелы и каменья. Слишком это легкий выход.

Он замолчал — вспомнил о матери. О том, как в комнате на тридцать восьмом этаже Линда дремотно плыла в море поющих огней и ароматных ласк — уплывала из времени и пространства, из тюрьмы своего прошлого, своих привычек, своего одрябшего, дряхлеющего тела. Да и ее милый Томасик, бывший Директор Инкубатория и Воспитательного Центра, до сих пор ведь на сомотдыхе — заглушил сомой унижение и боль и пребывает в мире, где не слышно ни тех ужасных слов, ни издевательского хохота, где нет перед ним мерзкого лица, липнущих к шее дряблых влажных рук. Директор отдыхает в прекрасном мире…

— Вам бы именно слезами сдобрить вашу жизнь, — продолжал Дикарь. — А то здесь слиш-

ком дешево все стоит.

(«Двенадцать с половиной миллионов долларов, — возразил Генри Фостер, услышав ранее от Дикаря этот упрек. — Двенадцать с половиной миллиончиков, и ни долларом меньше. Вот сколько стоит новый наш Воспитательный Центр».)

— «Смертного и хрупкого себя подставить гибели, грозе, судьбине за лоскуток земли». Разве не заманчиво? — спросил Дикарь, подняв глаза на Мустафу. — Если даже оставить Бога в стороне — хотя, конечно, за Бога подставлять себя грозе был бы особый резон. Разве нет смысла и радости в жизненных грозах?

— Смысл есть, и немалый, — ответил Главноуправитель. — Время от времени необходимо стимулировать у людей работу надпочечников.

— Работу чего? — переспросил непонимающе Дикарь.

— Надпочечных желез. В этом одно из условий крепкого здоровья и мужчин и женщин. Потому мы и ввели обязательный прием ЗБС.

— Зебеэс?

— Заменителя бурной страсти. Регулярно, раз в месяц. Насыщаем организм адреналином. Даем людям полный физиологический эквивалент

страха и ярости — ярости Отелло, убивающего Дездемону, и страха убиваемой Дездемоны. Даем весь тонизирующий эффект этого убийства — без всяких сопутствующих неудобств.

— Но мне любы неудобства.

— А нам — нет, — сказал Главноуправитель. — Мы предпочитаем жизнь с удобствами.

— Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзию, настоящую опасность, хочу свободу, и добро, и грех.

— Иначе говоря, вы требуете права быть несчастным, — сказал Мустафа.

— Пусть так, — с вызовом ответил Дикарь. — Да, я требую.

— Прибавьте уж к этому — право на старость, уродство, бессилие; право на сифилис и рак; право на недоедание; право на вшивость и тиф; право жить в вечном страхе перед завтрашним днем; право мучиться всевозможными лютыми болями.

Длинная пауза.

— Да, это всё мои права, и я их требую.

— Что ж, пожалуйста, осуществляйте эти ваши права, — сказал Мустафа Монд, пожимая плечами.

Глава восемнадцатая

Дверь незаперта, приоткрыта; они вошли.

— Джон!

Из ванной донесся неприятный характерный звук.

— Тебе что, нехорошо? — громко спросил Гельмгольц.

Ответа не последовало. Звук повторился, затем снова; наступила тишина. Щелкнуло, дверь ванной отворилась, и вышел Дикарь, очень бледный.

— У тебя, Джон, вид совсем больной! — сказал Гельмгольц участливо.

— Съел чего-нибудь неподходящего? — спросил Бернард.

Дикарь кивнул:

— Я вкусил цивилизации.

— ???

— И отравился ею; душу загрязнил. И еще, — прибавил он, понизив голос, — я вкусил своей собственной скверны.

— Да, но что ты съел конкретно?... Тебя ведь сейчас...

— А сейчас я очистился, — сказал Дикарь. — Я

выпил теплой воды с горчицей.

Друзья поглядели на него удивленно.

— То есть ты намеренно вызвал рвоту? — спросил Бернард.

— Так индейцы всегда очищаются. — Джон сел, вздохнул, провел рукой по лбу. — Передохну. Устал.

— Немудрено, — сказал Гельмгольц.

Сели и они с Бернардом.

— А мы пришли проститься, — сказал Гельмгольц. — Завтра утром улетаем.

— Да, завтра улетаем, — сказал Бернард; Дикарь еще не видел у него такого выражения — решительного, успокоенного. — И кстати, Джон, — продолжал Бернард, подавшись к Дикарю и рукой коснувшись его колена, — прости меня, пожалуйста, за все вчерашнее. — Он покраснел. — Мне так стыдно, — голос его задрожал, — так…

Дикарь не дал ему договорить, взял руку его, ласково пожал.

— Гельмгольц — молодчина. Ободрил меня, — произнес Бернард. — Без него я бы…

— Да ну уж, — сказал Гельмгольц.

Помолчали. Грустно было расставаться, потому что они привязались друг к другу, — но и хорошо было всем троим чувствовать свою сердечную

приязнь и грусть.

— Я утром был у Главноуправителя, — нарушил наконец молчание Дикарь.

— Зачем?

— Просился к вам на острова.

— И разрешил он? — живо спросил Гельмгольц.

Джон покачал головой:

— Нет, не разрешил.

— А почему?

— Сказал, что хочет продолжить эксперимент. Но будь я проклят, — взорвался бешено Дикарь, — будь я проклят, если дам экспериментировать над собой и дальше. Хоть проси меня все Главноуправители мира. Завтра я тоже уберусь отсюда.

— А куда? — спросили Гельмгольц с Бернардом.

Дикарь пожал плечами:

— Мне все равно куда. Куда-нибудь, где смогу быть один.

От Гилфорда авиатрасса Лондон — Портсмут идет вдоль Уэйской долины к Годалмингу, а оттуда над Милфордом и Уитли к Хейзлмиру — и дальше, через Питерсфилд, на Портсмут. Почти параллельно этой воздушной линии легла трасса возвратная — через Уорплесдон, Тонгем, Патте-

нем, Элстед и Грейшот. Между Хогсбэкской грядой и Хайндхедом были места, где эти трассы раньше проходили всего в шести-семи километрах друг от друга. Близость, опасная для беззаботных летунов — в особенности ночью или когда принял полграмма лишних. Случались аварии. Даже катастрофы. Решено было отодвинуть трассу Портсмут — Лондон на несколько километров к западу. И вехами старой трассы между Грейшотом и Тонгемом остались четыре покинутых авиамаяка. Небо над ними тихо и пустынно. Зато над Селборном, Борденом и Фарнемом теперь не умолкает гул и рокот вертопланов.

Дикарь избрал своим прибежищем старый авиамаяк, стоящий на гребне песчаного холма между Паттенемом и Элстедом. Маяк построен из железобетона и отлично сохранился; слишком даже здесь уютно будет, подумал Дикарь, оглядев помещение, слишком по-цивилизованному. Он успокоил свою совесть, решив тем строже держать себя в струне и очищение совершать тем полнее и тщательнее. Первую ночь здесь он провел без сна всю напролет. Простоял на коленях, молясь то Небесам (у которых некогда молил прощения преступный Клавдий), то Авонавилоне по-зунийски, то Иисусу и Пуконгу, то своему

заветному хранителю — орлу. Временами Джон раскидывал руки, точно распятый, и подолгу держал их так, и боль постепенно разрасталась в жгучую муку; не опуская дрожащих рук, он повторял сквозь стиснутые зубы (а пот ручьями тек по лицу): «О, прости меня! О, сделай меня чистым! О, помоги мне стать хорошим!» — повторял снова и снова, почти уже теряя сознание от боли.

Когда наступило утро, он почувствовал, что имеет теперь право жить на маяке; да, имеет — даром что в окнах почти все стекла уцелели, даром что вид с верхней площадки открывается великолепный. Потому Дикарь и выбрал этот маяк, и потому чуть было сразу же и не ушел отсюда. Вид сверху так чудесен — глазам как бы предстает воплощение божества. Но кто Дикарь такой, чтоб нежить глаз беспрерывным зрелищем красоты? Кто он такой, чтобы жить в зримом присутствии Бога? Ему бы, по его заслугам, обитать в свином хлеву, в слепой норе… Тело Дикаря одеревенело, плечи ныли после долгой ночной муки, но этим-то и был он внутренне ободрен, — и, поднявшись на верх своей башни, он окинул взглядом яркий рассветный мир, в котором обрел право жить. На северном горизонте тянулась Хогсбэкская меловая гряда, за ее восточной оконечностью

вставали семь узких небоскребов, составляющих Гилфорд. При виде их Дикарь поморщился; но он вскоре с ними примирится — ибо по ночам они сверкают огнями, как веселые и симметричные созвездия, или же, в сплошной прожекторной подсветке, высятся наподобие светозарных перстов, указующих вверх, в непроницаемые тайны неба (хоть жеста этого никто в Англии теперь не понимает, кроме Дикаря).

В долине, отделяющей Хогсбэкскую гряду от холма с маяком, виден Паттенем — скромный девятиэтажный поселочек с силосными башнями, птицефермой и фабричкой, производящей витамин Д. А на юг от маяка пологие вересковые склоны спускаются к прудам.

За цепочкою прудов, над лесом встает четырнадцатиэтажной башней Элстед. Подернутые смутной английской дымкой, Хайндхед и Селборн манят глаз в голубую романтическую даль. Но не только дали манят; приманчива и близь. Леса, открытые пространства, поросшие вереском и желтым от цветов утесником, группы сосен, поблескивающие пруды с прибрежными березами, с кувшинками и зарослями камыша — все это красиво и поражает глаз, привыкший к бесплодию американской пустыни. А уединенность

какая! Целыми днями не увидишь человеческой фигурки. От маяка всего лишь четверть часа лететь до Черинг-Тийской лондонской башни; но даже и холмы Мальпаиса не пустыннее этих суррейских вересковых пустошей. Толпы, ежедневно вылетающие из Лондона, летят играть в электромагнитный гольф или в теннис. В Паттенеме игровых полей нет; ближайшие римановы поверхности находятся в Гилфорде. А здесь — только цветы да пейзажи. Так что лететь сюда незачем. Первые дни Дикарь прожил, никем не тревожимый.

Бóльшую часть денег, что по прибытии в Англию Джон получил на личные расходы, он потратил теперь, покидая Лондон. Купил четыре одеяла из вискозной шерсти, нужный инструмент, гвоздей, веревок и бечевок, клею, спичек (с намерением, однако, смастерить потом дрель для добывания огня), купил простейшую кухонную утварь, пакетов двадцать семян и десять килограммов пшеничной муки. «Нет, не нужен мне мучной суррогат из синтетического крахмала и пакли, — твердо заявил он продавцу. — Пусть суррогат питательней, не надо». Но полигормональное печенье и витаминизированную эрзац-говядину ему все-таки всучили. Глядя те-

перь на эти банки, он горько жалел, что поддался уговорам. Тьфу, цивилизованная гадость! «С голоду помру, а не притронусь. Я им покажу!» — давал он мысленно свирепый зарок. И себе покажет тоже, слабаку!

Он пересчитал деньги. Осталось мало, но все же хватит, наверное, чтобы перебиться до весны. А там огород даст ему независимость от внешнего мира. И можно пока что охотиться. Тут кругом водятся кролики, и на прудах есть дикая птица. Он принялся, не мешкая, делать лук и стрелы.

Поблизости от маяка росли ясени, а для стрел была целая заросль молодого, прямого орешника. Он начал с того, что срубил ясенек, снял со ствола, свободного от сучьев, кору и стал осторожно и тонко, как учил старый Митсима, обстругивать — и выстругал шестифутовое, в собственный рост, древко с довольно толстой средней частью и суженными, гибкими, упругими концами. Работалось сладко и радостно. После всех этих бездельных недель в Лондоне, где только кнопки нажимай да выключателями щелкай, он изголодался по труду, требующему сноровки и терпения.

Он почти уже кончил строгать, как вдруг поймал себя на том, что напевает — поет! Он

виновато покраснел, точно разоблачил себя внезапно, застиг на месте преступления. Ведь не петь и веселиться он сюда приехал, а спасаться от цивилизованной скверны, заразы, чтобы стать здесь чистым и хорошим, чтобы покаянным трудом загладить свою вину. Смятенно он спохватился, что, углубясь в работу, забыл то, о чем клялся постоянно помнить, — бедную Линду забыл, и свою убийственную к ней жестокость, и этих мерзких близнецов, кишевших, точно вши, у ее одра — оскорбительно, кощунственно кишевших. Он поклялся помнить и неустанно заглаживать вину. А теперь вот сидит, строгает весело и поет, да-да, поет…

Он пошел, открыл пачку горчицы, поставил чайник на огонь. Получасом позже проезжали мимо, направляясь в Элстед, трое паттенемских сельхозрабочих-близнецов, минус-дельтовиков, и на холме увидели такое зрелище: стоит у маяка парень, обнажен до пояса и хлещет себя веревочным бичом. Спина у парня вся в багровых поперечных полосах, и струйками сочится кровь. Остановив свой грузовик на обочине, они стали глядеть издали с разинутыми ртами и считать удары. Один, два, три… После восьмого удара парень прервал бичевание, отбежал к опушке,

и там его стошнило. Затем он схватил бич и захлестал себя снова. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать…

— Форд! — прошептал водитель. Братья его были ошарашены не меньше.

— Фордики-моталки! — вырвалось у них.

Через три дня, как стервятники на падаль, налетели репортеры.

Древко было уже закалено, высушено над слабым, из сырых веток, огнем — лук был готов. Дикарь занялся стрелами. Он огладил ножом и высушил тридцать ореховых прутьев, снабдил их острыми гвоздями-наконечниками, а на другом конце каждой стрелы аккуратно сделал выемку для тетивы. Совершив ночной набег на паттенемскую птицеферму, он запасся перьями в количестве, достаточном для целого арсенала арбалетов и луков. За оперением стрел и застал Дикаря репортер, прилетевший первым. Он подошел сзади бесшумно на своих пневматических подошвах.

— Здравствуйте, мистер Дикарь, — произнес он. — Я из «Ежечасных радиовестей».

Дикарь вскинулся, как от змеиного укуса, вскочил, рассыпая стрелы, перья, опрокинув клей, уронив кисти для клея.

— Прошу извинить, — искренне и сокрушенно сказал репортер. — Я вовсе не хотел… — Он коснулся своей шляпы — алюминиевого цилиндра, в котором был смонтирован приемопередатчик. — Простите, что не снимаю шляпы. Слегка тяжеловата. Как я уже сказал, я представляю «Ежечасные…».

— Что надо? — спросил Дикарь, грозно хмурясь. Репортер ответил самой своей обворожительной улыбкой.

— Ну разумеется, наши читатели с огромным интересом… — Он склонил голову набок, улыбка его сделалась почти кокетливой. — Всего лишь несколько слов, мистер Дикарь.

Последовал ряд быстрых ритуальных жестов: мигом размотаны два проводка от поясной портативной батареи и воткнуты сразу с обоих боков алюминиевой шляпы-цилиндра; нажата пружинка на тулье цилиндра — и тараканьими усами выросли антенны; нажата другая, спереди на полях, — и, как чертик из коробочки, выскочил микрофон, закачался у репортера перед носом; опущены радионаушники; нажат включатель слева на тулье — и в цилиндре раздалось слабое осиное жужжание; повернута ручка справа — и к жужжанию присоединились легочные хрипы,

писк, икота, присвист.

— Алло, — сказал репортер в микрофон, — алло, алло… — В цилиндре вдруг раздался звон. — Это ты, Эдзел? Говорит Примо Меллон. Да, дело в шляпе. Сейчас мистер Дикарь возьмет микрофон, скажет несколько слов. Пожалуйста, мистер Дикарь. — Он взглянул на Дикаря, подарил его еще одной своей победительной улыбкой. — Объясните в двух словах нашим читателям, зачем вы поселились здесь. Почему так внезапно покинули Лондон. (Не уходи с приема, Эдзел!) И конечно же, зачем бичуетесь. (Дикарь вздрогнул: откуда им про бич известно?) Все мы безумно жаждем знать разгадку бича. А потом — что-нибудь о цивилизации. «Мое мнение о цивилизованной девушке» — в этом духе. Пять-шесть слов всего, не больше…

Дикарь исполнил просьбу с огорошивающей пунктуальностью. Пять слов он произнес, и не больше, — те самые пять индейских слов, которые услышал от него Бернард в ответ на просьбу выйти к важному гостю — архипеснослову Кентерберийскому.

— Хани! Сонс эсо це-на! — И, схватив репортера за плечи, повернул его задом к себе (зад оказался заманчиво выпуклым), примерился и дал пинка

со всей силой и точностью чемпиона-футболиста.

Восемь минут спустя на улицах Лондона уже продавали новейший выпуск «Ежечасных радиовестей». Через первую полосу было пущено жирно: «Загадочный ДИКАРЬ ФУТБОЛИТ нашего корреспондента. СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ».

«Что верно, то верно — сногсшибательная», — подумал репортер, когда по возвращении в Лондон прочел заголовок. Осторожненько, морщась от боли, он сел обедать.

Не устрашенные этим предостерегающим ударом по копчику коллеги, еще четверо репортеров — из нью-йоркской «Таймс», франкфуртского «Четырехмерного континуума», бостонской «Фордианской науки», а также из «Дельта миррор» — явились в этот день на маяк, и Дикарь встречал их со все возрастающей свирепостью.

— Закоснелый глупец! — с безопасного расстояния кричал ему корреспондент «Фордианской науки», потирая свои ягодицы. — Прими сому!

— Убирайся! — Дикарь погрозил кулаком.

Ученый репортер отошел еще дальше и снова закричал:

— Прими два грамма, и зло обратится в нере-

альность.

— Кохатва ияттокяй! — послал ему в ответ Дикарь зловеще и язвительно.

— Боль — всего лишь обман чувств.

— Ах, всего лишь? — И Дикарь, схватив палку, шагнул к репортеру. Тот шарахнулся к своему вертоплану.

После этого Дикаря на время оставили в покое. Прилетали, правда, вертопланы, кружили любознательно над башней. Дикарь послал стрелу в самый ближний и назойливый. Стрела пробила алюминиевый пол кабины; раздался вопль, и машина газанула ввысь со всей прытью, на какую была способна. С тех пор вертопланы держались на почтительной дистанции от маяка. Не обращая внимания на их зудливый рокот — сравнивая себя мысленно со стойким индейским женихом, не поддающимся кровожадному гнусу, — Дикарь вскапывал свой огород. Позудев над головой и, видимо, соскучась, вертопланное комарье улетало; небеса на целые часы пустели, затихали — только жаворонок пел.

Было безветренно и душно, пахло грозой. Все утро он копал и теперь прилег отдохнуть на полу. И внезапно им овладел образ Линайны — реальной, в туфельках, нагой, осязаемой, благоуханной.

«Милый! Обними же меня!» — зазвучало в ушах. Блудница наглая! Ох, но обвившиеся руки, приподнявшиеся груди, приникшие губы! Вечность была у нас в глазах и на устах. Линайна… Нет, нет, нет! Он вскочил на ноги и, как был, полуголый, выбежал во двор. На краю пустоши кучно росли сизые можжевеловые кусты. Он грудью кинулся на можжевельник, хватая в объятия не бархатное желанное тело, а охапку жестких игл. Тысяча острых уколов его обожгла. Он попытался вернуться мыслью к бедной Линде, задыхающейся немо, к скрюченным ее пальцам, к диким от ужаса глазам Линды. Линды, о которой он поклялся помнить. Но по-прежнему владел им образ Линайны, которую он поклялся забыть. Даже колющие, жалящие иголки можжевельника не могли погасить этот образ, живой, неотступный. «Милый, милый… А раз и ты хотел меня, то почему же…»

Бич висел на гвозде за дверью — на случай нового вторжения репортеров. Вне себя Дикарь бросился к бичу, схватил, взмахнул. Узластая веревка впилась в тело.

— Шлюха! Шлюха! — восклицал он при каждом ударе, точно под бичом была Линайна (и как он яростно и сам того не сознавая желал, чтобы она

явилась!), белая, горячая, душистая, бесстыжая. — Распутница! — И взывал в отчаянии: — О Линда, прости меня! Прости меня, Боже! Я скверный. Я мерзкий. Я… Нет же, нет, шлюха ты, шлюха!

Из своего укрытия, хитро устроенного в лесу, метрах в трехстах от маяка, Дарвин Бонапарт — самый искусный из репортеров-киноохотников за крупной дичью — видел все происходящее. Его умение и терпение были наконец-то вознаграждены. Три дня просидел он внутри своего скрадка, имеющего вид высокого дубового пня, три ночи проползал на животе среди утесника и вереска, пряча микрофоны в кусточках, присыпая провода серым мелким песком. Трое суток жесточайших неудобств. Зато теперь настал звездный миг — миг самой крупной удачи (успел подумать Дарвин Бонапарт, приводя в действие аппаратуру), самой крупной с тех пор, как удалось снять тот знаменитый стереовоющий фильм о свадьбе горилл. «Прелестно! — мысленно воскликнул Бонапарт, когда Дикарь начал свой поразительный спектакль. — Прелестно!» Он тщательно навел телескопические камеры, прильнул к визиру, следуя за движениями Дикаря; надел насадку, чтобы крупным планом снять перекошенное бешено лицо (превосход-

но!); на полминуты включил ускоренную съемку (замедленность движений даст изумительный комический эффект!); послушал удары, стоны, дикие бредовые слова, записываемые на звуковую дорожку, попробовал слегка их усилить (да, так будет, безусловно, лучше); восхитился контрастом, услыхав и записав в промежутке затишья звонкое пение жаворонка; подумал — вот если бы Дикарь повернулся, дал заснять крупным планом кровь на спине, — и почти тотчас (везет же сегодня!) Дикарь услужливо повернулся как надо и подарил великолепный кадр.

«Грандиозно! — поздравил себя Дарвин, кончив съемку. — Просто грандиозно!» Он вытер потное лицо. Присоединят на студии ощущальные эффекты, и замечательный получится фильм. Почти не хуже «Любовной жизни кашалота», а этим что-нибудь да сказано!

Через двенадцать дней «Неистовый Дикарь» был выпущен Ощущальной корпорацией на экраны всех перворазрядных кинодворцов Западной Европы — смотрите, слушайте, ощущайте!

Фильм подействовал незамедлительно и мощно. На следующий же день после премьеры, под вечер, уединение Джона было нарушено целой ордой вертопланов.

Джон копал гряды — и в то же время вскапывал усердно свой духовный огород, ворошил, ворочал мысли. Смерть — и он вонзил лопату в землю. «И каждый день прошедший освещал глупцам дорогу в смерть и прах могилы!» Вон и в небе дальний гром рокочет подтверждающе. Джон вывернул лопатой ком земли. Почему Линда умерла? Почему ей дали постепенно превратиться в животное, а затем… Он поежился. В целуемую солнцем падаль. Яростно нажав ступней, он вогнал лопату в плотную почву. «Мы для богов, что мухи для мальчишек; себе в забаву давят нас они». И рокот в небе — подтверждением этих слов, которые правдивей самой правды. Однако тот же Глостер назвал богов вечноблагими. И притом, «сон лучший отдых твой, ты то и дело впадаешь в сон — и все же трусишь смерти, которая не более чем сон». Не более. Уснуть. И видеть сны, быть может. Лезвие уперлось в камень; нагнувшись, он отбросил камень прочь. Ибо в том смертном сне какие сны приснятся?… Рокот над головой обратился в рев; и Джона вдруг покрыла тень, заслонившая солнце. Он поднял глаза, пробуждаясь от мыслей, отрываясь от копки; взглянул недоуменно, все еще блуждая разумом и памятью в мире слов, что правдивей правды, — среди необъятностей

божества и смерти; взглянул — и увидел близко над собой нависшие густо вертопланы. Саранчовой тучей они надвигались, висели, опускались повсюду на вереск. Из брюха каждого севшего саранчука выходила парочка — мужчина в белой вискозной фланели и женщина в «пижамке» из ацетатной чесучи (по случаю жары) или в плиссовых шортах и майке. Через несколько минут уже десятки зрителей стояли, образовав у маяка широкий полукруг, глазея, смеясь, щелкая камерами, кидая Джону — точно обезьяне — орехи, жвачку, полигормональные пряники. И с каждой минутой, благодаря авиасаранче, летящей беспрерывно из-за Хогсбэкской гряды, число их росло. Они множились, будто в страшном сне, — десятки становились сотнями.

Дикарь отступил к маяку и, как окруженный собаками зверь, прижался спиной к стене, в немом ужасе переводя взгляд с лица на лицо, словно лишаясь рассудка.

Метко брошенная пачка секс-гормональной резинки ударила Дикаря в щеку. Внезапная боль вывела его из оцепенения — он очнулся; гнев охватил его.

— Уходите! — крикнул он.

Обезьяна заговорила! Раздались аплодисмен-

ты, смех.

— Молодец, Дикарь! Ура! Ура!

И сквозь разноголосицу донеслось:

— Бичевание покажи нам, бичевание!

Показать? Он сдернул бич с гвоздя и потряс им, грозя своим мучителям.

Жест этот был встречен насмешливо-одобрительным возгласом толпы.

Дикарь угрожающе двинулся вперед. Вскрикнула испуганно женщина. Кольцо зрителей дрогнуло, качнулось перед Дикарем — и опять застыло. Ощущение своей подавляющей численности и силы придало этим зевакам храбрости, которой Дикарь от них не ожидал. Не зная, что делать, он остановился, огляделся.

— Почему вы мне покоя не даете? — В гневном этом вопросе прозвучала почти жалобная нотка.

— На́, вот миндаль с солями магния! — сказал стоящий прямо перед Дикарем мужчина, протягивая пакетик. — Ей-форду, очень вкусный, — прибавил он с неуверенной, умиротворительной улыбкой. — А соли магния сохраняют молодость.

Дикарь не взял пакетика.

— Что вы от меня хотите? — спросил он, обводя взглядом ухмыляющиеся лица. — Что вы от меня хотите?

— Бича хотим, — ответила нестройно сотня голосов. — Бичевание покажи нам. Хотим бичевания.

— Хо-тим би-ча, — дружно начала группа поодаль, неторопливо и твердо скандируя. — Хо-тим би-ча.

Другие тут же подхватили как попугаи, раскатывая фразу все громче, и вскоре уже все кольцо ее твердило:

— Хо-тим би-ча.

Кричали все как один; и, опьяненные криком, шумом, чувством ритмического единения, они могли, казалось, скандировать так бесконечно. Но на двадцать примерно пятом повторении случилась заминка. Из-за Хогсбэкской гряды прилетел очередной вертоплан и, повисев над толпой, приземлился в нескольких метрах от Дикаря — между зрителями и маяком. Рев воздушных винтов на минуту заглушил скандирование; но, когда моторы стихли, снова зазвучало: «Хо-тим бича, хо-тим би-ча», — с той же громкостью, настойчивостью и монотонностью.

Дверца вертоплана открылась, и вышел белокурый и румяный молодой человек, а за ним — девушка в зеленых шортах, белой блузке и жокейском картузике.

При виде ее Дикарь вздрогнул, подался назад, побледнел.

Девушка стояла, улыбаясь ему — улыбаясь робко, умоляюще, почти униженно. Вот губы ее задвигались, она что-то говорит; но слов не слышно за скандирующим хором.

— Хо-тим би-ча! Хо-тим би-ча!

Девушка прижала обе руки к груди, слева, и на кукольно красивом, нежно-персиковом ее лице выразилась горестная тоска, странно не вяжущаяся с этим личиком. Синие глаза ее словно бы стали больше, ярче; и внезапно две слезы скатились по щекам. Она опять проговорила что-то; затем быстро и пылко протянула руки к Дикарю, шагнула.

— Хо-тим би-ча! Хо-тим би…

И неожиданно зрители получили желаемое.

— Распутница! — Дикарь кинулся к ней, точно полоумный. — Хорек блудливый! — И точно полоумный, ударил ее бичом.

Перепуганная, она бросилась было бежать, споткнулась, упала в вереск.

— Генри, Генри! — закричала она. Но ее румяный спутник пулей метнулся за вертоплан — подальше от опасности.

Кольцо зрителей смялось, с радостным кли-

чем бросились они все разом к магнетическому центру притяжения. Боль ужасает людей — и притягивает.

— Жги, похоть, жги! — Дикарь исступленно хлестнул бичом. Алчно сгрудились зеваки вокруг, толкаясь и толчась, как свиньи у корыта.

— Умертвить эту плоть! — Дикарь скрипнул зубами, ожег бичом собственные плечи. — Убить, убить!

Властно притянутые жутью зрелища, приученные к стадности, толкаемые жаждой единения, неискоренимо в них внедренной, зрители невольно заразились неистовством движений Дикаря и стали ударять друг друга — в подражание ему.

— Бей, бей, бей… — кричал Дикарь, хлеща то свою мятежную плоть, то корчащееся в траве гладкотелое воплощение распутства.

Тут кто-то затянул:

— Бей-гу-ляй-гу…

И вмиг все подхватили — запели и заплясали.

— Бей-гу-ляй-гу, — пошли они хороводом, хлопая друг друга в такт, — ве-се-лись…

Было за полночь, когда улетел последний вертоплан. Изнуренный затянувшейся оргией чувственности, одурманенный сомой, Дикарь лежал среди вереска, спал. Проснулся — солнце уже

высоко. Полежал, щурясь, моргая по-совиному, не понимая; затем внезапно вспомнил — все.

— О Боже, Боже мой! — Он закрыл лицо руками.

Под вечер из-за гряды показались вертопланы, летящие темной тучей десятикилометровой длины. (Во всех газетах была описана вчерашняя оргия единения.)

— Дикарь! — позвали лондонец и лондонка, приземлившиеся первыми. — Мистер Дикарь!

Ответа нет.

Дверь маяка приоткрыта. Они толкнули ее, вошли в сумрак башни. В глубине комнаты — сводчатый выход на лестницу, ведущую в верхние этажи. Высоко там, за аркой, виднеются две покачивающиеся ступни.

— Мистер Дикарь!

Медленно-медленно, подобно двум неторопливым стрелкам компаса, ступни поворачиваются вправо — с севера на северо-восток, восток, юго-восток, юг; остановились, повисели и так же неспешно начали обратный поворот. Юг, юго-восток, восток…

Слепец в Газе

Слепец в Газе, на мельнице среди рабов.
Дж. Мильтон. «Самсон-борец»

Глава 1

30 августа 1933 г.

Снимки стали такими же тусклыми, как и воспоминания. Самое начало нового века. В саду стоит молодая женщина, похожая на призрак, который вот-вот исчезнет с первым криком петуха. «Моя мать», — подумал Энтони Бивис. Год или два, а может быть, месяц или два до того, как она умерла. «Но какова прическа», — думал он, вглядываясь в бурый призрачный туман фотографического отпечатка, она похожа на фигурно подстриженные кусты. Эти кривые, словно лебединая шея, бедра! Эти поникшие, опущенные вниз продолговатые груди, глядя на которые было совершенно невозможно представить их на обнаженном теле! А эти волосы! Прическа напоминала узорчатый куст, придававший черепу нелепую, прямо-таки уродливую форму! Каким до странности отвратительным и отталкивающим казалось все это теперь, в тридцать третьем году. И все же, все же, стоило ему закрыть глаза (он просто не мог этого не сделать), как перед его внутренним взором возникал образ матери: вот

она с видом томной красавицы сидит в своем любимом шезлонге; вот, проявляя необыкновенную живость, играет в теннис или скользит на коньках по льду давней-давней зимой.

То же самое можно было сказать и о фотографиях Мери Эмберли, сделанных десять лет спустя. Та же длинная юбка, узкий клеш которой скрывал нижние конечности — казалось, что безногая женщина скользит по траве на роликах. Правда, надо признать, что груди были немного приподняты, а мощный зад сильно обтянут, однако общая форма тела была до странности нелепой. Краб, оплетенный китовым усом. А этот писк моды одиннадцатого года — огромная шляпа с перьями — ну ни дать ни взять сцена французских похорон первого разряда! Неужели мог найтись мужчина в здравом рассудке, способный увлечься этим антиподом Афродиты? И все же снимки врут — Энтони хорошо помнил Мери — она была живым воплощением страстно желанной женственности. Даже теперь при одном взгляде на этого украшенного перьями краба на колесиках у Энтони сильно забилось сердце и перехватило дыхание.

Прошло двадцать, затем тридцать лет после того события, и снимки вынесли на поверх-

ность лишь далекое и неведомое. Но неведомое (печальная закономерность!) всегда граничит с нелепостью. Напротив, все, что ему удалось вспомнить, было чувством, испытанным в то время, когда неизвестное казалось известным, когда бред, воспринимаемый как должное, не кажется такой нелепицей. Трагические воспоминания всегда похожи на Гамлета в современном наряде.

Как прекрасна была его мать — прекрасна, невзирая на нелепые завитки волос, выступающий зад и отвислую грудь. А Мери! Да она же способна свести с ума в своем черепашьем панцире и траурных перьях! Да вот и он собственной персоной: в светло-бежевом коверкотовом пальто и ярко-красном шотландском берете, или в зеленой бархатной куртке с манжетами; или в школьной форме — бриджах с кожаными крагами; или в котелке и накрахмаленной манишке (это воскресный наряд), в будни на голове маленького Энтони красовалась черная школьная фуражка с красным околышем — даже он сам, вспоминая себя в те годы, видел этого мальчика только в современной одежде, но никак не в уродливых одеяниях, изображенных на фотографиях. И все же внутреннее чувство подсказывало, что

и в тех нарядах он тогда выглядел не хуже, чем мальчики тридцатых годов в своих вязаных свитерах и шортах. Это доказательство, отчужденно подумал Энтони, разглядывая итонскую фотографию, на которой он был изображен со спины в цилиндре и фраке, доказательство того, что прогресс можно лишь выразить словами, но нельзя прочувствовать. Он достал записную книжку, открыл ее и записал: «Прогресс, вероятно, ощущается историками, но его никогда не чувствуют те, кто его в действительности переживает. Для молодых прогресс — естественная среда обитания, а старики через несколько месяцев или лет начинают воспринимать новшества как нечто само собой разумеющееся — они тоже перестают ощущать новшества в качестве таковых. Никто не испытывает по их поводу признательности, только раздражение, если по тем или иным причинам прогресс дает сбой. Люди не благодарят Бога за автомобиль; они лишь ругаются, когда отказывает карбюратор».

Он закрыл записную книжку и вновь принялся созерцать старомодный цилиндр.

Послышался звук шагов, и Энтони поднял глаза. Элен Ледвидж решительной подпрыгивающей походкой шла по террасе к дому. Ярко-красный

пляжный костюм отбрасывал огненный отсвет на прикрытое широкими полями шляпы лицо женщины, придавая ему нечто инфернальное, словно Элен находилась в аду. Немного поразмыслив, Энтони решил, что это действительно так. Сознание — вот истинное место преисподней, и, следовательно, Элен постоянно носит с собой свой ад — ад нелепого замужества и, возможно, не его одного. Но Энтони всегда воздерживался от того, чтобы слишком пристально вникать в природу этого ада, притворяясь, что ничего не замечает даже тогда, когда Элен сама предлагала себя на роль Вергилия своего чистилища. Такое дознание приведет лишь к всплеску эмоций и осознанию ответственности, а у него нет ни времени, ни сил на эмоции и ответственность. Работа прежде всего. Подавляя любопытство, он упрямо продолжал играть роль, которую давно для себя выбрал — роль Диогена, отстраненного философа, фанатика от науки, который не видит вещей, очевидных для каждого нормального человека. Он вел себя так, словно в лице Элен не было ничего, кроме внешней красоты и отличной кожи. Однако, конечно, нельзя отрицать, что плоть не бывает совершенно непроницаемой; душа всегда прорывается сквозь стены своего

обиталища. Эти ясные серые глаза, этот рот со слегка вздернутой верхней губой бывали жесткими и временами почти безобразными, когда выражали печаль и обиду.

Отблеск дьявольского пламени погас, как только Элен вошла с яркого солнечного света в тень дома, но внезапно ставшее бледным лицо все равно несло на себе явный отпечаток горькой меланхолии. Энтони взглянул на нее, но не поднялся с места и даже не счел нужным поздороваться. Между ними существовал уговор — никаких внешних проявлений чувств, никакой сентиментальности. Никакой, даже той, которая нужна для того, чтобы просто сказать: «С добрым утром». Когда Элен вошла в кабинет через открытую стеклянную дверь, Энтони вновь погрузился в рассматривание фотографий.

— Вот и я, — произнесла она без улыбки. Она сняла шляпу и красивым нетерпеливым движением головы отбросила назад рыжеватые локоны. — Отвратительная жара! — Она швырнула шляпу на диван и подошла к письменному столу, за которым сидел Энтони.

— Не работается? — спросила она с удивлением. Энтони редко можно было увидеть не зарывшимся в книги и бумаги.

Он покачал головой.

— Давай сегодня обойдемся без социологии.

— Что ты так внимательно разглядываешь? — Подойдя сзади к его креслу, она склонилась над разбросанными по столу фотографиями.

— Свой собственный труп. — Он протянул ей фотографию призрака давно не существующего итонца.

Несколько мгновений Элен молча рассматривала снимок.

— Ты был в то время очень мил, — заметила она.

— Mersi, mon vieux! — С преувеличенной фамильярностью он похлопал ее по заду. — В Итоне у меня было прозвище Вениамин, сын Рахили[2]. — Кончиками пальцев Энтони чувствовал округлость упругой плоти, хотя сухой, скользкий и невероятно гладкий шелк платья придавал этому ощущению неприятный оттенок. — Вениамин был вечно голоден. Я выглядел как сущее дитя.

— Ты был очень мил, — произнесла она, не обратив внимания на то, что он перебил се. — На самом деле мил и очень трогателен.

— Я таким и остался, — улыбнулся Энтони.

---

[2] Примечания: 2

Вениамин, сын Рахили — один из двенадцати сыновей Иакова, родоначальник одного из «колен Израилевых». *(Прим. перев. М. Ловина)*

Она молча посмотрела на него. Обрамленный темными густыми волосами лоб был гладок и безмятежен, как у задумавшегося ребенка. Детским, и это было немного комично, был и короткий вздернутый нос. В глазах, прикрытых сощуренными веками, плясали искорки смеха, уголки рта приподняты в едва заметной улыбке — в легкой иронической усмешке, противоречившей тем чувствам, для выражения которых были созданы губы Элен. У нее были полные, чувственные, изящно очерченные губы; соблазнительные и в то же время мрачные, печальные и почти трепетно чувствительные; эти губы казались совершенно беспомощными и покинутыми на произвол судьбы маленьким, безвольным подбородком.

— Худшее заключается в том, — произнесла наконец Элен, — что ты прав. Ты действительно мил, ты действительно трогателен. Самое ужасное, что ты не должен вызывать таких чувств. Это сплошной обман, когда ты пускаешь людям пыль в глаза и заставляешь их любить себя совершенно ни за что.

— Ну, знаешь ли!.. — воспротивился он.

— Ты даешь им повод давать тебе что-то в обмен на дутый пузырь.

— По крайней мере я не притворяюсь. Нет толку в том, чтобы изображать великую страсть. — Он распевно протянул «е» и скартавил на «эр». — Нет, даже то, что называется *Wahlverwandschaft*, — добавил он, перейдя на немецкий, из-за чего вся романтика родственных душ и вакхических страстей зазвучала смешно. — Можно просто чуть-чуть повеселиться.

— Чуть-чуть повеселиться, — отозвалась Элен, задумавшись о том времени, когда началось их знакомство и когда она, еще совсем юная, стояла на пороге дома, что называется Любовью, никак не решаясь войти. Но как уверенно, без лишних слов и с подчеркнутой галантностью, как безнадежно и окончательно захлопнул он перед ней дверь! Он не пожелал быть любимым. В течение секунды она была на грани духовного опустошения; затем же, с горьким и саркастичным отвращением, без которого ей уже невозможно было смотреть на его лицо, она согласилась на все условия. Они были приемлемы, поскольку ничего другого в будущем не предвиделось, да и хотя бы по причине того, что он был знаменитостью и она в конце концов сильно привязалась к нему; может быть, еще и потому, что он по крайней мере знал, как доставлять ей физическое

удовольствие. — Чуть-чуть повеселиться, — повторила она и презрительно усмехнулась.

Энтони смерил ее удивленным взглядом, чувствуя неудобство оттого, что она едва не нарушила молчаливое согласие между ними и коснулась запретной темы. Однако его опасения оказались напрасными.

— Приму к сведению, — вымолвила она после небольшой паузы. — Ты, как всегда, честен, но это не меняет того, что тебе достается все в обмен на мыльный пузырь. Считай, что это непреднамеренный обман. Твое лицо твое главное достояние. Внешность есть внешность. — Она снова согнулась, рассматривая фотографии. — Кто это?

Он секунду помедлил с ответом, затем, улыбаясь, но чувствуя в то же время некоторое неудобство, произнес:

— Одно из несерьезных увлечений. Ее звали Глэдис.

— Весьма возможно. — Элен презрительно поморщила нос. — Почему ты расстался с ней?

— Она ушла сама. Предпочла кого-то другого. Да я не особенно и возражал.

Он хотел сказать что-то еще, но она перебила его:

— Может, ее любовник часто беседовал с ней

в постели.

Энтони покраснел.

— Это ты к чему?

— Довольно странно, но некоторые женщины любят разговоры перед сном. А когда она поняла, что ты не собираешься с ней разговаривать… Ты же никогда этого не делаешь. — Она, отложив в сторону Глэдис, взяла в руки фотографию женщины, одетой по моде начала века. — Это твоя мать?

Энтони кивнул.

— А вот твоя, — произнес он, указывая на снимок Мери Эмберли в «похоронной» шляпе. Потом с едва заметным отвращением добавил: — Человек постоянно обречен тянуть за собой груз прошлого. Существует все же какой-то способ избавиться от ненужных воспоминаний. Терпеть не могу этого Пруста . Просто не выношу. — И с неподдельно клоунским видом он принялся рисовать портрет чахоточного искателя утраченного времени, скукоженного, мертвенно-бледного, с дряблыми мышцами и грудью почти что женской, поросшей длинной черной растительностью, обреченного вечно барахтаться в помоях своего незабываемого прошлого. Высохшие мыльные хлопья от бесчисленных ванн,

принятых за всю жизнь, клубились вокруг него, и многолетняя грязь облепила коркой стены лохани и оседала мутной взвесью на дне. Он сидел там, бледнотелый, уродливый старик, загребая горстями мыльную мякоть и размазывая ее по лицу, черпая блеклую пену и раскатывая грязный песок вокруг губ, засасывая его ртом и носом, как пандит[3] в потоках Ганга.

— Ты описываешь его как заклятого врага, — заметила Элен. Энтони не нашел ничего лучшего, как рассмеяться.

Последовало молчание, и Элен подняла с пола упавшую фотокарточку своей матери, принявшись внимательно разглядывать ее, будто та представляла собой некую тайнопись, которая, будучи расшифрованной, могла бы стать ключом к разгадке важного секрета.

Энтони какое-то время наблюдал за ней; затем, сделав над собой усилие, загреб ворох фотографий и вынул из него дядюшку Джеймса в теннисном костюме тысяча девятьсот шестого года. Он умер давно — от рака, бедный старик, нашедший утешение в католической религии. Он бросил этот снимок и взял в руки другой, групповой портрет

---

[3] Примечания: 3

Пандит — в Индии почетное звание ученого-брахмана. *(Прим. перев. М. Ловина)*

на фоне туманных альпийских гор: отец, мачеха и две сводных сестры. «Гриндельвальд, 1912» — стояла надпись на обороте, сделанная четким почерком мистера Бивиса. Энтони заметил, что у всех четверых в руках были альпенштоки.

— Я бы тоже хотел, — произнес он вслух, кладя на стол фотографию, — я бы хотел, чтобы мои дни отделялись друг от друга периодами противоестественного неверия.

Элен взглянула на него, оторвав глаза от таинственной криптограммы.

— Зачем ты тратишь время, перебирая старые карточки?

— Я делал уборку в шкафу, — объяснил он. — И они вылезли на свет Божий. Как мумия Тутанхамона . Я не мог противиться искушению, чтобы не взглянуть на них. Кроме того, сегодня мой день рождения.

— То есть как день рождения?

— Сорок два года. — Энтони покачал головой. — Слишком удручает. И поскольку человеку всегда свойственно драматизировать события… — Он поднял со стола еще одну пачку фотографий и разжал пальцы. — Мертвые воскреснут по гласу трубному. В этом виден перст Судьбы. Все во власти его величества Случая, если хочешь знать.

— Ты, наверное, крепко любил ее? — спросила Элен после очередной паузы, держа перед ним призрачное изображение своей матери.

Он кивнул и, чтобы перевести разговор на другую тему, внезапно заявил:

— Она пробудила во мне интерес к культуре. Я был наполовину дикарем, когда попал к ней в руки. — Ему не хотелось разглашать свои чувства к Мери Эмберли, особенно (хоть это и был, без сомнения, глупейший пережиток варварства), когда дело касалось Элен. — Бремя белой женщины [4], — добавил он с усмешкой. Затем, снова взяв в руки фото с альпенштоком, произнес: — Вот откуда она меня вытащила. Темные ущелья Швейцарии. Никогда не перестану благодарить ее.

— Жаль, что она не сумела родить саму себя, — проговорила Элен, когда вдоволь нагляделась на альпенштоки.

— Кстати, как она теперь?

Элен пожала плечами.

— Чувствовала себя лучше, когда вышла из санатория этой весной. Потом, естественно, все

---

[4] Примечания: 4

«Бремя белой женщины...» — В этих словах Энтони содержится реминисценция на стихотворение Киплинга «Бремя белых». (*Прим. перев. М. Ловина*)

началось сызнова. Старая история. Морфий, а в перерывах алкоголь. Я видела ее в Париже по пути домой. Это было невыносимо. — Она содрогнулась.

Насмешливо-ласковая, его рука все еще гладила ее по бедру, что неожиданно показалось совершенно неуместным. Он опустил руку.

— Не знаю, что и хуже, — заметила Элен после паузы. — Грязь, ты даже не представляешь, в каких условиях она живет. Либо хамит, либо не говорит ни слова правды. — Она глубоко вздохнула.

Движением руки, в котором не было ничего насмешливого, Энтони сжал ее запястье.

— Бедняжка Элен!

Отвернувшись, она постояла несколько секунд молча, без движений, затем тряхнула головой, словно отгоняя какое-то наваждение, и Энтони почувствовал, как ее безвольная ладонь внезапно сильно сжала его руку. Она обернулась к нему, ее лицо оживилось, став наигранно веселым.

— Нет, это Энтони бедняга. — Из ее горла вырвался странный и неожиданный звук от сдавленного смеха. — Фальшивое притворство!

Он пытался уверить ее, что сейчас он и не думал притворяться, но она наклонилась и, словно

злобный насильник, прижалась своими губами к его губам.

Глава 2

4 апреля 1934 г.

Из дневника Энтони Бивиса

Жизнь любого человека увенчивают пять слов: *video meliora proboque; deteriora sequor*[5]. Как и все живые существа, я знаю, что я должен делать, но почему-то продолжаю делать то, что не должен. Сегодня днем, например, я вышел проведать несчастного Беппо, который лежит с осложнением после гриппа. Я знал, что нужно было посидеть с ним и дать ему излить все жалобы на неблагодарность и жестокость со стороны молодых, развеять страх перед приближающейся старостью и одиночеством, жуткую мнительность по поводу того, что окружающие считают его занудой и ne pas à la page[6]. Князья Болинские устраивают вечеринку и не приглашают его, Хэгворм не звал его на воскресный бал

---

[5] Примечания: 5

Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему (*лат.*). — Овидий «Метаморфозы».

[6] Примечания: 6

Отставший от жизни (*фр.*).

с ноября месяца… Я чуял нутром, что должен был с сочувствием ему внимать и давать хорошие советы, умолять его не убивать себя по поводу и без повода. Советы он, разумеется, все равно бы не принял, следуя своему принципу, и все-таки — кто знает? — никогда не следует пренебрегать тем, чтобы давать их. Вместо этого я скрепя сердце купил ему фунт дорогого винограда и тотчас же поспешил скрыться под предлогом того, что нужно было бежать на важную встречу. Истина состояла в том, что я был просто не в состоянии выслушивать, как он снова станет рассказывать о своих несчастьях. Я оправдал свое поведение тратой в пять шиллингов и благочестивыми мыслями — в пятьдесят лет мужчина должен быть достаточно разумным, чтобы бросить любовные интрижки, званые обеды и встречи с нужными людьми. Как его угораздило оказаться таким ослом? Может быть, поэтому (как безупречна логика!) мне не следовало делать того, что, я знал, нужно сделать. Но я поспешил откланяться четверть часа спустя, оставив больного друга в одиночестве, мучимого самоуничижением. Хотелось бы все же зайти к нему завтра по крайней мере часа на два.

«Греховная природа» — можно ли теперь

употреблять это выражение? Нет, разумеется. Оно рождает столько негодных побочных ассоциаций: жертва агнца, страшно впасть в руки Бога живаго, геенна огненная, сексуальная озабоченность, хамство, благочестие вместо благотворительности. (Этот старик Беппо, если его вывернуть наизнанку, — Комсток или апостол Павел[7]). «Греховная природа» означала также ту бесконечную занятость собой, что губит живую душу. Почитайте, если хотите, дневник принца Альберта, ревностного евангелиста, у которого тем не менее хватило смелости основать Дом Любви «под духоводством», как говорят бухманиты [8], поскольку его долго угнетало вожделение, и он совокуплялся с кем попало, оно в дальнейшем абсолютно открыто стало повелением Святого Духа, храмом которого он в конце концов провозгласил себя, ставшего «единой плотью с Богом». И он продолжал «соединяться» прилюдно, ни от кого не скрываясь, на диване в гостиной.

---

[7] Примечания: 7

Павел (еврейское имя Савл) — не знавший Иисуса Христа во время его земной жизни и не входивший в число двенадцати апостолов Павел почитается как первопрестольный апостол в силу его миссионерски-богословских заслуг. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[8] Примечания: 8

Бухманиты — одна из религиозных сект, действовавших в Англии в начале XX в. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Нельзя употреблять эту фразу, как нельзя общаться с помощью клише и мыслить в виде ощущений. Это не значит, конечно же, что постоянных искушений не существует или вообще не следует соваться в эти дела и пытаться что-либо изменить. Я помню, как старик Миллер заметил однажды, когда мы ехали на лошадях к одному из больных индусов в Гималаях: «На самом деле человек по природе — единство, но ты умышленно превратил его в триединство. Один умный и два идиота — вот что у тебя получилось. Блистательный жонглер идеями, управляемый тем, кто по глубине самопознания и чувств чистый недоумок, а двое остальных имеют лишь косвенное отношение к телу, наполовину лишенному разума. К телу, которое никоим образом не осознает, что оно делает и что значат его ощущения, так как лишено черт, присущих индивидуальности, и не знает, где найти себе применение. Два полоумных и один интеллигент. Человек — воплощение демократии там, где правит большинство. Остается только с умом распорядиться этим большинством». Эти записи — лишь первая ступень. Самопознание — вот что всегда предшествует развитию личности. (Сначала чистая наука, и лишь потом прикладная.) У меня одно

чувство — безразличие. Меня не могут беспокоить другие люди. Лучше сказать: не будут. Именно поэтому я тщательно избегаю любого случая, когда меня могут побеспокоить. Неотъемлемая составляющая лечения — собрать в памяти все ситуации, которые не дают спокойно жить, и сойти с пути их создания. Безразличие есть форма безделья. Можно работать не покладая рук, что я всегда и делал, и при этом быть совершенным лентяем, уйти с головой в работу и проявлять потрясающую лень во всем, что не имеет к ней отношения. Потому что в конце концов работа — это удовольствие, в то время как то, что лежит вне ее, и есть личная жизнь, которая у меня скучна и утомительна. Все более и более скучна по мере того, как привычка избегать ее становится все сильнее со временем. Безразличие есть форма лености, а леность, в свою очередь, есть отсутствие любви. Человек не бывает ленив по отношению к любимому существу. Вся сложность заключается в том, как любить. (Жаль, что мы опошлили это слово; оно уже черно оттого, что его долго мусолили поколения Стиггинсов.) Для слов тоже существует своя стирка и химчистка. Любовь, чистота, благородство, душа — куча грязного белья, ожидающего прачку. Как можно любить, если

само слово «любовь» стало истертым, как носовой платок, как при этом чувствовать стойкий и неувядаемый интерес к людям? Как антропологически подходить к ним, как сказал бы старина Миллер? Не так-то легко ответить.

5 апреля

Работал все утро. Было бы глупо не придать формы всему тому, что сделано. Я имею в виду, конечно, новую форму. Мой первоначальный замысел был сочинить некий труд, основанный на исторических фактах. То была бы картина тщетности познания, объективная и в высшей степени научная, но созданная, как я прекрасно понимаю, только для того, чтобы оправдать мой образ жизни. Если бы люди всегда вели себя как гориллы или олигофрены, если бы они не могли вести себя иначе, то я мог бы со спокойной совестью сидеть в партере и наблюдать за ними через театральный бинокль. Но что, если можно что-то сделать, что, если такое поведение можно изменить… Тогда описание человеческого поведения и поиск путей его изменения может представить какую-то ценность, хотя и не такую значительную, чтобы оправдать уклонение от любых других видов деятельности.

На вечере у Миллера я познакомился со священником, который очень серьезно относится к христианству и приступил к созданию пацифистской организации. Зовут его Перчез. Это рослый мускулистый мужчина средних лет, воспитанный в христианском духе. (Трудно признать, что человек может использовать в своей речи штампы и оставаться при этом интеллигентным!) Но он очень достойный человек. Более чем достойный. Производит сильное впечатление.

Моя цель — использовать и расширить организацию Перчеза. Сейчас это объединение представляет собой маленькую группу, наподобие раннехристианской агапе[9] или коммунистической ячейки. (Интересно, что все движения, одержавшие верх, начинались с кружков по восемь человек, как в гребле, или по одиннадцать, как в футболе.) Объединение Перчеза послужит началом для братства всех христиан. Опыт показал, что религиозные узы повышают дееспособность и укрепляют дух сотворчества и самопожертвования. Но братство в терминах христианской религии будет по большей части неуместным. Миллер полагает возможной

[9] Примечания: 9

Агапе — христианская любовь, любовь к ближнему. (*Прим. перев. М. Ловина*)

нетеологическую практику медитации, которую он, конечно, хочет сочетать с тренировками, стихами Ф. М. Александера, использованием возможностей собственной личности, каковое использование начинается с физического самоконтроля, а это, в свою очередь (поскольку тело и дух суть одно), к достижению контроля над импульсами и чувствами. Однако на практике это невозможно осуществить, поскольку нет квалифицированных учителей. «Мы должны удовольствоваться тем, что можем сделать в плане духовном. Физическое потянет нас вниз, это ясно. Плоть слаба в гораздо большей степени, чем мы можем предполагать».

Я согласился вложить в это дело деньги, подготовить нужную литературу и провести в группах беседы. Последнее было самым трудным, поскольку я всегда воздерживался от публичных выступлений. Когда Перчез ушел, я спросил Миллера, не стоит ли мне взять несколько уроков ораторского искусства.

Он ответил: «Если вы начнете брать уроки до того, как будете иметь хорошую координацию движений, вы будете просто усваивать неправильные принципы самоиспользования. Работайте над своим телом, добейтесь коор-

динации, ведите себя как следует. Трудности, связанные со сценическим страхом, постановкой голоса, исчезнут сами собой».

Затем Миллер дал мне первый урок «самоиспользования». Учил, как сидеть на стуле, как вставать, облокачиваться и наклоняться вперед. Он предостерег меня от того, что на первый взгляд могло показаться бессмысленным, и убедил в том, что интерес и понимание придут впоследствии с успехом. Сказал, что мне нужно найти решение проблемы *video meliora proboque*; deteriora sequor: метод, позволяющий переводить благие намерения в благие деяния, чтобы быть полностью уверенным в том, что делаешь то, что должен.

Провел вечер с Беппо. Выслушав длинный перечень несчастий, высказал мнение, что лекарства быть не может, только предупреждение и профилактика. Следует избегать причины. Реакцией была вспышка гнева: он сказал, что я пытался лишить смысла его жизнь и подстрекал к самоубийству. В ответ я намекнул, что смысл можно и изменить. Он же заявил, что скорее умрет, чем изменит своему смыслу; потом в его настроении случился перепад, и он взмолился Богу о том, чтобы быть в состоянии отказаться от своих ценностей. Но ради чего? Я предложил

ему стать пацифистом, но он уже им был, причем всю жизнь. Конечно же, я знал об этом, но его пацифизм был бездейственным, со знаком минус. Выступления против войны, сказал я, бывают искренними и показными. Он выслушал, ответив, что подумает. Возможно, это будет неплохой выход, сказал он на прощание.

Глава 3

30 августа 1933 г.

С плоской крыши дома открывался живописный вид на запад, где полоса между городом и пляжем была усажена сосновой рощей; голубую средиземноморскую бухту окаймляли бледные скалы цвета слоновой кости, между которыми виднелись высокие холмы, поросшие вьюнами на склонах и серые от оливковых зарослей, затем черные от сосен, глинисто-красные, скалисто-белые и бурые от роз и выгоревшего вереска.

Через пустошь между близлежащими холмами металлически четко пролегла длинная гряда Сен-Бом, голубая на горизонте. К северу и к югу сад обрамляли сосны, а с восточной стороны виноградники и оливковые сады поднимались к террасам с суглинистой почвой, образуя гребень. Деревья, росшие ближе всего к морю, были то мрачными и задумчивыми, то дрожали, отливая серебром на небесном фоне.

На крыше валялись матрасы для солнечных ванн, и на одном из них Энтони и Элен лежали головой по направлению к узкой тени южной

перегородки. День шел к полудню; солнечный свет струился с неба без единого облачка, и легкий ветерок налетал, ослабевал и затем снова усиливался. Охваченная судорожным жаром кожа, казалось, стала более чувствительной, почти обретя высшую силу воспарения. Она словно впитывала нектар жизни, посылаемый солнцем. И эта странная, мятежная, пламенеющая жизнь открытого пространства, видимо, проникала через поры, пронизывая и прожигая плоть, пока все тело не превращалось в угли, а душа будто сама вылетала из своей оболочки и становилась пятым элементом, чем-то иным, какой-то внеземной субстанцией.

Существует не так-то много мимических жестов, можно сказать, что их вообще очень мало по сравнению с богатством мыслей, чувств и ощущений — непостижимая нищета лицевых рефлексов — даже если гримасничать сознательно и целенаправленно! Все еще пребывая в состоянии самоотчуждения, Энтони наблюдал картину одра смерти, к которой был причастен и как убийца, и как сопереживающая жертва. Элен без устали ворочала головой из стороны в сторону, словно пытаясь, меняя положение хотя бы отчасти, хотя бы чуть-чуть, на одно-един-

ственное мгновение избавиться от невыносимых мучений. Иногда, как будто подражая тому, кто в минуту отчаяния взмолился, чтобы миновала его чаша сия, она молитвенно складывала руки и, поднеся их ко рту, впивалась зубами в костяшки пальцев или прижимала кисть к губам, словно желая заглушить готовый сорваться с уст крик боли. Искаженное лицо представляло собой маску нестерпимого горя. Энтони склонился к ее губам и внезапно понял, что сейчас эта женщина похожа на Деву Марию у подножия креста на картине Рогира ван дер Вейдена [10].

А затем на несколько секунд воцарилась тишина. Жертва больше не поворачивала голову на подушке; умоляющие руки стали как ватные. Выражение предсмертной боли уступило место нечеловеческому, почти экзальтированному спокойствию. На губах запечатлелась серьезность, как у святого, а закрытым глазам, наверное, открылось какое-то чарующее своей красотой видение.

Так они лежали довольно долго в золотой солнечной отрешенности, пресытившись всем. Первым очнулся Энтони. Тронутый немым, бла-

[10] Примечания: 10

Вейден, Рогир ван дер (ок. 1400–1464) — нидерландский живописец. Наиболее известна его картина «Снятие с креста». (*Прим. перев. М. Ловина*)

годарным безмыслием и нежностью довольного тела, он протянул ласкающую руку. Ее кожа была горячей на ощупь. Он подпер голову рукой и открыл глаза.

— Ты как будто сошла с полотна Гогена, — сказал он секунду спустя. Как у гогеновских персонажей, ее фигура стала коричневой и плоской, загар уничтожил игру перламутровых, карминовых, синеватых и зеленоватых оттенков незагорелой кожи, которые придавали белому женскому телу особенную пышность и рельефность.

Его голос пугающе вторгся в восхитительное, разморенное забытье Элен. Почему он никак не оставит ее в покое? Она чувствовала себя такой счастливой в ином мире своего преображенного тела, а теперь он звал ее назад в земную жизнь, в обыденную, словно адскую, пустоту, к зною и тревогам. Она не ответила на его слова и, закрыв глаза еще плотнее под угрозой возвращения в реальность, попыталась заставить себя очутиться вновь в том раю, из которого ее вытащили.

Загорелая, как на полотне Гогена, и такая же плоская… Но его первое знакомство с Гогеном (тогда он притворился, что творения француза понравились ему гораздо больше, чем в действительности) произошло во время путешествия в

Париж с Мери Эмберли — какое это было волнующее, необыкновенное и — особенно для двадцатилетнего мальчика, каким он тогда был — апокалиптическое время.

Он нахмурился: его прошлое стало чересчур навязчивым. Но когда, чтобы уйти от него, он нагнулся и поцеловал плечо Элен, он обнаружил, что в воздухе царил слабый, едва ощутимый соляной и дымный запах, запах, преследовавший его ежеминутно до мелового карьера у Чилтерн-Хиллз , где он проводил невыразимо приятные часы в обществе Брайана Фокса, ударяя друг о друга два кремня и восторженно пыхтя, когда искра оставляла характерный запах загоревшегося моря.

— К-как д-дым на м-морском д-дне, — заикаясь произносил Брайан, когда Энтони давал ему понюхать кремень.

Даже, казалось бы, самые крупные осколки нынешней реальности раздроблены противоречиями. Что может быть ближе к настоящему, чем женское тело, лежащее под солнцем? И все же оно изменило ему. Ее твердая реакция на его чувства и его почти животную нежность погрузила его в совершенно иное пространство и время, вся Вселенная грозила распадом на атомы. Даже от ее тела веяло разлагающимися водорослями. Живое

тело, настоящее тело, еще существовавшее спустя двадцать лет после смерти Брайана.

Меловой карьер, картинная галерея, смуглая фигура на солнце, тело, от которого теперь шел запах соли и дыма с примесью, как в свое время у Мери, резкого мускуса. Где-то на периферии сознания безумец перебирал пачку фотоснимков, вынимал один наугад, опять смешивал их как попало, раскладывал в произвольном порядке, вновь бессмысленно тасуя. В раскладе не было никакой хронологии — идиот не мог удержать в памяти, что было раньше, а что позже. Карьер был таким же реальным и отчетливым, как и галерея. Истекшие десять лет отделили кремни от полотен Гогена, и не вызывало сомнения, что цепкая память могла спутать одно с другим. Тридцать пять лет его сознательной жизни теперь внезапно предстали перед ним как хаос — пачка фотографий в руках сумасшедшего. И кому решать, какие снимки нужно было хранить, а какие выбросить? Запуганному, движимому инстинктом животному, как пишут фрейдисты. Но последователи Фрейда стали жертвой случайной ошибки, ведь безупречные рационалисты всегда найдут достаточно доводов и объяснят что угодно. Страх и похоть — самые понятные моти-

вы из всех. Поэтому… Но психология не имела большего права посягать на человека и даже на животное, чем любая другая наука. Помимо тела и разума человек обладал еще набором составляющих, которыми распоряжается случай. Одни считались полезными как органические вещества или потому, что относились к высшему типу психики, прочие же, будучи унаследованными от животных, запечатлевались или вычеркивались из памяти из-за того, что обладали чувством. Но для чего было нужно то, что не имело чувства, не обладало красотой, не служило разуму? Память в таких случаях казалась просто делом везения. Когда это произошло, некоторые человеческие качества оказались в благоприятном положении. Фотоаппарат щелкал, и фрагмент реальности навсегда сохранялся на пленке. По-иному и быть не могло. Если бы только ему в голову не пришла мучительная мысль, если бы причина не открывалась после самого события, а не до него, если бы она не таилась в будущем. Что, если бы картинную галерею можно было зафиксировать и хранить в закоулках памяти, чтобы потом, то есть теперь, она была бы извлечена из подсознания? Извлечена сегодня, когда он, сорокадвухлетний, чувствовал себя твердо и непоколебимо стоящим

на ногах, воскресла вместе с беспокойными годами его молодости, вместе с женщиной, многому научившей его и бывшей первой его любовью, той, что теперь едва сохранила человеческий облик, живя в одиночестве в грязной дыре. И что, если в этой бессмысленной детской игре с кремнями был глубокий, сокровенный смысл, который можно было просто воссоздать вот здесь, на раскаленной крыше, теперь, когда его губы касались изомлевшего под солнцем тела Элен? В случае, если его заставят во время этого порыва бесстрастной и безответственной чувственности думать о Брайане и о том, ради чего он жил и ради чего умер — да, умер… Внезапно другое видение снизошло на Энтони; он вспомнил, как мальчиком у подножия такой же скалы, как та, внизу, он играл в меловом карьере. Да, даже самоубийство Брайана, которое он с ужасом восстанавливал в памяти, даже пожелтевшее тело на скалах таинственно сквозили в этой горячей коже.

«Раз, два, три, четыре», — считая каждое движение своей руки, он принялся ласкать ее. Магический жест любви, если его часто повторять, вернет его, пронзая прошлое и будущее, истину и ложь, в осколочно-бессвязное, хаотичное настоящее. Обрывки мыслей, желаний и

чувств струились как поток, проходя через мрак времени, сталкиваясь и расходясь. Игорный дом, больница, зоосад, дальше в углу библиотека и задумавшийся незнакомец. Безымянный, полностью зависящий от милости крупье, дураков и полускотов, и все же не сломленный и неутомимый. Еще два или три года, и курс социологии для начинающих будет закончен. Несмотря ни на что, мысль его, хрипя, уносилась ввысь и пульсировала счетом: тридцать два, тридцать три, четыре, пять…

Глава 4

6 ноября 1902 г.

Он увидел рога с копной огненно-рыжей шерсти посредине — розовая морда с любопытством тянулась к чашечке с блюдцем. В глазах выражалось больше, чем простое человеческое изумление. БЫК В ЧАЙНОЙ ЧАШКЕ, гласила шестидюймовая надпись, служившая рекламой говяжьих кубиков. Бык в чайной чашке. Слова, звучавшие смехотворно, портили родной округ, как экзема на коже. Одна из тех жутких и постыдных болезней. Поезд, увозивший Энтони Бивиса в Суррей , оставлял за собой огромные километры, покрытые коростой пошлости. Таблетки, мыло, микстура от кашля и, что казалось более гнусным и никуда не годным, чем все остальное, — говяжье мясо, бык и его чашка.

«Тридцать один, тридцать два», — шептал про себя мальчик, жалея, что не начал считать быков с самого начала. Между Ватерлоо и Клэпхемским узлом их, должно быть, сотни. Или тысячи. В углу напротив, запрокинув голову, сидел отец Энтони, заслонив лицо от солнца рукой. Его верхняя губа

судорожно подергивалась, а над ней виднелись желтые от табака усы.

— Приди ко мне, — напевал Джон Бивис, что относилось к особе, которая, закрыв глаза, казалась то живой, то уже окостенелой и неподвижной, как строчки, внезапно пришедшие ему в голову:

Приди ко мне — я буду ждать тебя
В юдоли мрака, веря и любя.

Нет жизни после смерти. После Дарвина , после сестер Фокс, тем более после деда — отца Джона Бивиса — хирурга… За той юдолью мрака есть лишь небытие. И все же, и все же… эта песня бессмертна: приди ко мне, ко мне, мне-мне, мне-мне…

«Тридцать три».

Энтони отвернулся от окна, мимо которого проплывали деревья и поля, и содрогнулся при виде руки, закрывшей глаза. Его навязчивое желание пересчитать быков теперь вдруг вызвало стыд, показавшись предательством. И дядя Джеймс на другом конце сиденья, читающий «Таймс», и его лицо в этот момент, меняющее выражение каждые несколько секунд из-за нервного тика. Он мог бы по крайней мере иметь совесть не читать теперь — теперь, когда они были на

пути к… Энтони не смог произнести эти слова, сделавшие бы все ясным, словно капля воды, он хотел избежать этой ясности. Чтение «Таймс», может, было постыдным, но это не так ужасно, как сама невыносимость преследовавшей его мысли и невозможность отделаться от нее. Энтони снова, уже сквозь слезы, посмотрел в окно. Окрасившаяся в золотые краски зелень бабьего лета плыла в мерцающих сумерках. И внезапно колеса поезда застучали по шпалам. «Мертва-мертва-мер…» — кричали они. Мертва навеки. Слезы хлынули потоком, на мгновение согрев его щеки, затем обожгли холодом. Он вынул платок и вытер их, убрав пелену, нависшую перед глазами. Лучившийся под солнцем мир лежал перед ним как огромный причудливый бриллиант. Листья вязов пожухли, приобретя цвет бледной охры. Неподвижные великаны, возвышающиеся над полями, они, казалось, задумались о чем-то в хрустальном утреннем свете, что-то усиленно вспоминая, извлекая из-за грани невидимости и возвращая призракам форму, вглядываясь при последнем дыхании в глубину прошлого, стремясь раствориться в моментальных вспышках осеннего цвета, бесконечного летнего торжества.

«Мертва-мертва-мер… — в бешеной гонке по-

вторяли колеса, когда состав переезжал мост. — Мертва-мертва».

Энтони попытался не слушать, но все напрасно, затем его воображение стремилось заставить колеса твердить другую фразу — к примеру, почему бы им не говорить: «При опасности нажми стоп-кран»? Именно это они обычно произносили. С огромным усилием он заставил их сменить рефрен.

«При опасности нажми стоп-кран-мертва-мер-кран». Мертвый кран. Ничего не получалось. Мистер Бивис на секунду открыл глаза и выглянул в окно. Осенние деревья блестели ярким светом. Переливались, казалось, жестокими бликами, убийственно, если не считать какого-то обреченного безмолвия, по-стеклянному хрупкого, которое пророчески возвещало о наступлении тьмы. Черные ветви мучительно колебал ветер, и они заслоняли звезды, а воющий буран ранил снежинками, как стрелами.

Дядя Джеймс перевернул страницу «Таймс». «Ритуалисты и кенсититы опять борются, каждый за свои права, — с удовольствием заметил он. — Пускай перегрызутся. «Мистер Чемберлен в школе при университетском колледже». Что еще понадобилось старому черту? Церемония

открытия мемориальной доски погибшим в англо-бурской войне. Свыше ста парней отправили на фронт, и двадцать из них пали смертью храбрых, отстаивая честь империи в Южной Африке. (Аплодисменты!) Обманутые дураки», — подумал дядя Джеймс, который всегда страстно защищал буров.

Чучела посреди настоящих коров на пастбище, огромные рога, парусовидные, сбившиеся космы палено-рыжего цвета, любопытные, чашка из-под чая. Энтони закрыл глаза, дав волю фантазии. Нет, твердил он со всей решимостью, надеясь побороть в себе грохот колес. Он заградил дорогу ужасу, наотрез отказываясь узнавать быка. Но была ли от отказа какая-либо польза? Колеса все еще грохотали. А как ему было стереть из памяти то, что этот бык справа тридцать четвертый у стрелки рядом с Клэпхемом? Число всегда оставалось числом, даже по дороге к… Но считать казалось позорным, таким же пошлым, как газета дяди Джеймса. Счет был сродни трусости, предательству. И все же то, о чем им оставалось думать, было еще страшнее. Может быть, более противоестественно.

«Что бы мы ни думали или продолжали думать о причинах, о необходимости и оправданности

войны, ныне благополучно завершившейся, я думаю, у нас есть право чувствовать глубокое удовлетворение от того, что в час, когда страна призвала своих сыновей к оружию, лучшая часть нации откликнулась на ее зов…» С лицом, пышущим негодованием, дядя Джеймс отложил газету и взглянул на часы.

— Опаздываем на две с половиной минуты, — сердито сказал он.

«Будь это на сто лет позже, — подумал мистер Бивис. — Или на десять лет раньше, нет, лучше на двенадцать-тринадцать. На первом году их свадьбы».

Джеймс снова посмотрел в окно.

— Еще по крайней мере миля до Лоллингдона , — закончил он.

Его пальцы потянулись к хронометру в кармане жилета, словно к ране или больному зубу. Время ради себя самого. Время, всегда диктующее, повелевающее, существующее для того, чтобы смотреть и узнавать, который час.

Колеса стучали все медленнее и медленнее, пока их однообразный грохот не стал почти невнятным. Послышался визг тормозов.

— Лоллингдон! Лоллингдон! — затянул кондуктор. Но дядя Джеймс уже спрыгнул на перрон.

— Быстрее, — кричал он, скача вперед на своих журавлиных ногах по платформе, вдоль которой еще двигался поезд. Его рука снова потянулась к той таинственной язве, продолжавшей грызть его совесть. — Быстрей!

Внезапное негодование прожгло мозг его брата. «Зачем он торопит меня?» Как будто ему угрожала опасность потерять что-то, какое-то приятное переживание, головокружительное, но мимолетное развлечение. Энтони вылез из вагона вслед за отцом. Они прошли под арку мимо стены, покрытой надписями: НА БЕДНОСТЬ И С БОГОМ ВСЕМ ЖИВУЩИМ ПИКВИК И ФИЛИН СРЕДСТВО ПРОТИВ МОЛИ ЖУКОВ ПАУКОВ КЛИН КЛИНОМ КОФЕ КОМПАНИИ БРЭНСОН БЫК В… И внезапно встали перед глазами те самые рога, выпученные глаза, чашка — тридцать пятая по счету… Нет, я не хочу этого, мне это противно — но все пошло сызнова — тридцать пятый бык справа от стрелки рядом с Клэпхемом.

В коляске пахло соломой и кожей. Соломой, кожей и восемьдесят восьмым годом — ведь тогда это случилось? Да, как раз под Рождество, когда они поехали на бал к Чамперноунам — он, она и ее мать — на холоде, в овчинном тулупе вокруг колен. И он как будто случайно обхватил ее руку

своею. Ее мать говорила о том, как трудно нанять слуг, и что когда их наймешь, увидишь, что те ничего не умеют, что они не радеют обо всем. Она не убрала руку! Значило ли это, что она не возражала? Он пошел на риск, стиснув ладонь. Они постоянно дерзят, говорила мать, они… Он почувствовал, как ее пальцы сжали в ответ его, и, взглянув ей в лицо, догадался по его смутным очертаниям, что она улыбалась ему.

— В самом деле, — говорила она, — я не знаю, чем все это теперь кончится.

Он заметил, как зубы Мейзи блестят недобрым блеском. Легкое сжатие руки стало слегка таинственным, интригующим, неприличным.

Старая лошадь медленно везла их по тропинкам прямо в самую глубину огромного осеннего самоцвета, блещущего золотом и хрусталем, пока они наконец не остановились в самой его сердцевине. При свете солнца церковная башня отливала черным янтарем. Часы на ней, как с недовольством заметил Джеймс Бивис, шли с опозданием. Они проследовали сквозь крытый проход на кладбище. Впереди них, испуганно вытягивая грязные головы, тащились четверо чернокожих. Две представительные дамы (Энтони они показались великаншами) выросли среди

могильных плит темно-синими манекенами.

Впереди них шествовали двое огромных мужчин, которых изящные цилиндры делали еще выше.

— Чамперноуны, — сказал Джеймс Бивис, и знакомое имя прозвучало как кинжал, который еще больнее язвил душу его брата — Чамперноуны и… — как зовут парня, за которого вышла их дочь? Энсти? Эннерли? — Он вопросительно взглянул на Джона, но тот неподвижно смотрел прямо перед собой, не говоря ни слова.

— Эммерсхем? Этертон? — Джеймс Бивис раздраженно нахмурился. Педант по натуре, он придавал огромное значение именам, датам и числам. Он гордился тем, что может правильно называть их. Отрывочное воспоминание привело его в бешенство. — Этертон? Эндерсон? — И убийственней всего было то, что этот молодой человек был весьма хорош собой и обходителен, вел себя не так, как негнущиеся, твердолобые солдафоны вроде его тестя-генерала, а свободно, с изяществом… — Не знаю, как его зовут, — заключил он, и его правая щека вновь задергалась, как будто какая-то мошка случайно оказалась у него на лице и отчаянно пыталась спастись.

Они шли дальше. Энтони казалось, что душа

его ушла в пятки — провалилась через колени вниз. Он чувствовал себя довольно плохо, и все же кто-то словно подгонял его.

Черные великаны приостановились, обернулись назад и бросились им навстречу. Полетели шляпы, друзья обменялись рукопожатиями.

— Ах ты милый Энтони! — воскликнула леди Чамперноун, когда до него наконец дошла очередь. Она порывисто бросилась к нему с поцелуями.

Эта женщина страдала полнотой. Ее губы оставили отвратительное влажное пятно у него на щеке. Энтони не выносил ее.

«Наверное, мне тоже стоит его поцеловать», — думала Мери Эмберли, наблюдая за своей матерью. Таких странностей можно было ожидать во время свадьбы. Полгода назад, когда она была еще выпускницей колледжа Мери Чамперноун, такое считалось немыслимым. Но теперь — кто бы мог подумать? В конце концов она все-таки решила, что не будет целовать мальчика, поскольку эта формальность казалась ей смешной. Она молча пожала ему руку, улыбнулась, но лишь от распиравшего ее ощущения тайного счастья. Она была на пятом месяце и последние две-три недели пребывала в состоянии какой-то блаженной

дремоты, невыразимо сладостной. Блаженство в мире, ставшем прекрасным, многоликим и несметно богатым несмотря ни на какие опасности. Деревня, которую они проезжали тем утром в едва покачивающемся ландо, напоминала райский сад — тот маленький зеленый уголок между золочеными кронами и башней стал Эдемом. Бедная миссис Бивис умерла, ушла безвозвратно такой прекрасной и юной. Печаль омрачила сад, но, к удивлению, не тронула ее тайного блаженства и была тоскующе-тихой, словно грусть какого-то тихого обитателя далекой планеты.

Энтони на мгновение взглянул на улыбающееся лицо, такое яркое в траурном обрамлении и, казалось, излучавшее покой и мир, потом застеснялся и опустил глаза.

Между тем Роджер Эмберли как зачарованный наблюдал за своим тестем и удивлялся, как можно иметь такой ровный характер. Мог ли человек командовать армией и в то же время выглядеть в точности так, как генерал из оперетты? Даже на похоронах, даже произнося заранее написанную речь, обращенную к безутешному супругу. Скрытые тонкими тараканьими усиками, его губы постоянно дергались.

«Похоже, он сильно расстроен», — думал гене-

рал, разговаривая с Джоном Бивисом и чувствуя сострадание к бедняге даже в те минуты, когда тот вызывал у него открытую неприязнь. Тот был действительно порядочным занудой и ханжой, чересчур заумным и вместе с тем круглым идиотом. Хуже всего то, что он был немужественным. Его испортило женское общество — сперва он находился под опекой матери, затем тетки, затем жены. Несколько лет в армии сослужили бы ему величайшую службу. Его оправдывало лишь глубокое осознание своей вины и связанная с ним невыразимая печаль. А Мейзи, писаная красавица, была слишком хороша для него.

Они остановились на секунду, затем снова медленно двинулись к церкви. Энтони шел посредине, лилипут среди великанов. Темнота обступила его, заслонила небо, поглотив янтарную башню и деревья. Он шагал будто по дну зыбкого колодца, и черные его стены трещали, готовясь задавить его. Энтони расплакался.

Он не хотел *знать* и изо всех сил старался понимать происшедшее лишь поверхностно, как, например, человек понимает, что после тридцати четырех следует тридцать пять; но черная яма была бездонной, заключая в себе весь ужас смерти. Выхода не было. Рыдания стали душить его.

Мери Эмберли, унесенная далеко в радужных мечтаниях о золотой листве на фоне бледного неба, мимолетно взглянула на это несчастное создание, плачущее на другой планете, и тотчас же отвернулась.

— Бедное дитя! — произнес про себя его отец и затем, очнувшись, добавил: — Бедный сиротка! — Он был доволен тем, что, желая изображать страдание, говорил с огромной болью в голосе. Он посмотрел сверху вниз на сына, увидел убитое горем лицо, полные, чувственные губы доведенного до отчаяния ребенка, красивый высокий лоб над тем, что пощадили горькие слезы, и, когда почувствовал близость чистого, безутешного создания, сердце его скрутил очередной приступ боли.

— Сынок! — сказал он громко, будучи уверенным, что горе еще теснее сблизит их. Ему было трудно вести себя достаточно непринужденно с ребенком, чтобы расположить его к себе. Но эта боль, несомненно, вызывала общие воспоминания. Он крепко сжал ручонку сына в своей.

Они стояли у церковной паперти. Колодец растворился.

«Можно представить, что мы на Тибете, — подумал дядя Джеймс и снял шляпу. — Почему здесь

не положено разуваться?»

В церкви царила поистине египетская тьма, откуда исходил столетний запах деревенской набожности. Энтони дважды вдохнул сладкий от ладана и свечей воздух и почувствовал, как в груди все переворачивается от отвращения. Жалкий, унижающий страх уже заставил его почувствовать себя насекомым, и теперь этот тлетворный дух, лезший в ноздри, свидетельствовал о том, что храм был полон заразы.

«Да здесь рассадник микробов!» — Он услышал ее голос, который вечно казался неузнаваемым, стоило ей заговорить о бактериях. Обычно, когда она не была рассержена, он звучал мягко и даже лениво, с призвуком иронии или усталости. Микробы вселили в него какое-то остервенение и вместе с тем испуганность. «Всякий раз сплюнь, когда вокруг микробы, — бывало, говорила она ему. — В воздухе могут быть тифозные бациллы». При этой мысли рот его наполнился слюной. Но как можно плевать здесь, в церкви. Больше не оставалось ничего, кроме как проглотить слюну. Он содрогнулся, охваченный страхом и чувством отвратительной тошноты. А если ему и вправду станет худо в этой душегубке? От подобной мысли у него чуть не подкосились ноги. Что еще

можно делать во время службы? Это были первые похороны в его жизни.

Джеймс Бивис взглянул на часы. Через три минуты должно было начаться самое интересное. Почему Джон не настоял на гражданской панихиде без отпевания? Все было бы проще, если бы бедняжка Мейзи не вбила себе это в голову. Маленькая глупышка, она никогда не была по-настоящему религиозной. Ее глупость была обычной мирской, вдобавок граничившей с чисто женским легкомыслием. Глупость, с которой читают романы на диване, чередовалась с глупостью званых вечеров, пикников и балов. Невероятно было то, что Джону удалось смириться с этим дурачеством — оно, казалось, даже нравилось ему. Женщины, кудахтающие за обеденным столом! Джеймс Бивис презрительно нахмурился. Он был женоненавистником — слабый пол выводил его из себя. Все эти мягкие округлости их телес. Безобразно. И вдобавок их безмозглость, доходящая до идиотизма. И все-таки бедняжка Мейзи никогда не была завсегдатаем церкви. Все это в целом характерно для ее родни. В семье имелись настоятели и настоятельницы, и Джон не хотел ущемлять их чувства. Было бы до обидного глупо. Оскорблять других можно лишь с

определенной целью.

Зазвучал орган, и в открытую дверь вступили друг за другом священники. Внесли нечто напоминающее огромный ворох цветов. Грянула «Вечная память», затем все стихло. Потом пугающе высоким голосом псаломщик запел «Христос воскресе», и песнопение подымалось к сводам храма, глася о Боге, смерти, зверях Эфесских[11], теле Христовом. Но Энтони почти не слушал, будучи в силах думать только об этих микробах, все витавших в воздухе, несмотря на запах цветов и слюну, которую приходилось глотать со всем ее тифозным чадом, угрозой заражения гриппом, и вызываемое ею невыносимое ощущение в желудке. Поскорей бы все это кончилось!

«Как козел, а?» — сказал сам себе Джеймс Бивис, слушая ропот у аналоя. Он снова взглянул на зятя Чамперноуна. Эндертон, Эбди? Какой острый классический профиль!

Джон сидел, наклонив голову и закрыв лицо рукой, думая о прахе, лежащем в гробу среди цветов, о том, что некогда было ее телом.

Наконец отпевание кончилось. Слава Тебе, Господи! Энтони тайком сплюнул в носовой платок,

---

[11] Примечания: 11

Звери Эфесские — имеется в виду наказание, которому был подвергнут апостол Павел в Эфесе. (*Прим. перев. М. Ловина*)

сложил его и спрятал бациллы в карман. Тошнота прошла. Он последовал за отцом к выходу и, миновав сумрачный притвор, с упоением вдохнул свежий воздух. Солнце еще стояло над горизонтом. Он огляделся вокруг, затем поднял голову, смотря на белесое небо. В вышине, на церковном шпиле резкие крики галок напоминали звуки, производимые камнем, внезапно упавшим на замерзший пруд и с треском взломавшим ледяную корку.

«Энтони, нельзя бросать камни в пруд, — говорила ему раньше мать. — Они вмерзнут в лед, и потом конькобежцы…»

Он вспомнил, как однажды она бежала ему навстречу, спотыкаясь, хромая и размахивая руками. Как чайка, подумал тогда он, — вся в белом. Прекрасна! А теперь…

Но почему она заставила его встать на коньки?

«Не хочу», — говорил он, и, когда она спрашивала почему, было невозможно объяснить. Конечно же, он боялся, что над ним будут смеяться. Но как он мог высказать это вслух? В конце концов он разрыдался на виду у всех. Хуже не могло быть ничего. В то утро он почувствовал лютую ненависть к ней. И вот теперь она ушла, и там, на башне, галки сбрасывали камни на последний

лед зимы.

Они шли по кладбищенской аллее, и мистер Бивис еще раз сжал руку своего сына, пытаясь смягчить потрясение, которое окажут на него эти последние, самые тяжелые минуты.

— Крепись, — прошептал он. Это относилось как к мальчику, так и к нему самому.

Подавшись вперед, Энтони заглянул в могилу. Она казалась неестественно глубокой. Он вздрогнул, закрыв глаза, и тотчас же она предстала перед его взором, так же маша руками, как крыльями, белая, словно чайка, и снова белая, в атласном вечернем платье, когда она приходила к нему в комнату пожелать спокойной ночи перед тем, как ехать на званый вечер, вся пышущая ароматом, который он чувствовал, стоило ей нагнуться над его кроваткой, и завораживающая белизной обнаженных рук. «Ты похож на котенка, — говорила она, когда он ластился щекой о ее руку. — Почему ты не мурлычешь при этом?»

Как бы то ни было, думал дядя Джеймс с удовлетворением, он до последнего настаивал на кремации. Христианство совершенно свихнулось — говорить о воскресении плоти в лето Господне тысяча девятьсот второе!

Когда подойдет его время, думал Джон Бивис,

его следует похоронить в этой же могиле. Чтобы его тело покоилось рядом с нею. Его прах станет одним с прахом ее.

Голос священника был по-прежнему неестественно высок.

— Тебе ведомы, Боже, сердца наши…

Энтони открыл глаза. Два дюжих могильщика опускали в яму терракотовый гроб, размером едва превосходящий коробку из-под печенья. Гроб коснулся дна, тросы вытянули наверх.

— Персть во персть, — гомонил козлиный голосок. — Прах ко праху.

«Мой прах к ее праху, — подумал Джон Бивис. — Да будут двое едины».

Внезапно ему вспомнилось путешествие в Рим через год после свадьбы, те июньские ночи и мошки, летящие на костер под деревьями в саду Дориа, словно звезды, что лишились рассудка.

— …Который одухотворит наше тленное тело так, что оно будет подобно Его славному Телу…

Тленное… тленное? Его душа воспротивилась.

Земля падала лопата за лопатой. Гроб был почти невидим, такой маленький, ужасно и неестественно крошечный… Видение быка, чайной чашки заслонило от него то, что происходило в реальности. Пошлое до невозможности, оно

становилось все навязчивее. Галки опять заклокотали на башне. Белая и прекрасная, как чайка, она снова ринулась к нему. Но бык был все еще здесь, в своей чашке, гадкий и отвратительный, и он чувствовал, как становится все более гнусным и невыносимым.

Джон Бивис выпустил руку и обнял ребенка за плечи, прижав его хрупкое тельце к себе — все плотнее и плотнее, пока не почувствовал своим нутром рыдания и скорбь, сотрясавшие его.

— Бедное дитя! Бедный сиротка!

Глава 5

8 декабря 1926 г.

— Ты не посмеешь, — сказала Джойс.

— Я сделаю это.

— Нет, не сделаешь.

— Я тебе ясно говорю, что сделаю. — Элен Эмберли была неумолима.

— Тебя посадили бы в тюрьму, если б поймали, — не унималась старшая сестра. — Нет, не в тюрьму, — поправилась она. — Ты слишком юная. Тебя бы отправили в колонию для несовершеннолетних.

Кровь хлынула в лицо Элен.

— Ты со своими колониями! — закричала она, пытаясь быть презрительной, но голос получился слабым из-за трудно сдерживаемого гнева. Колония для несовершеннолетних воспринималась как личное оскорбление. Тюрьма внушала такой ужас, что в ней было даже что-то занятное. Она была в Шильоне, пересекала мост Вздохов. Но колония — нет! Это было слишком неблагородно. Колония была таким же местом, как общественный туалет или полустанок окружной железной

дороги. — Колонии! — повторила она. Джойс постоянно думала о них. Она всегда втаптывала в грязь самое привлекательное и приятное. И что было хуже всего, она была, в общем, права: грязью были доказательства, грязью был здравый смысл. — Ты думаешь, я не отважусь на это, потому что ты не осмелишься? — продолжала Элен. — А я способна и на такое. Я это сделаю для того, чтобы тебя проучить. Я буду красть что-нибудь из каждого магазина, куда мы пойдем. Из каждого. Вот так!

Джойс не на шутку встревожилась. Она испытующе взглянула на свою сестру: бледный профиль, лицо, искаженное мимикой, вызывающе поднятый подбородок — вот и все, что Элен представляла собой в тот момент.

— Послушай меня… — грозно начала она.

— Вот еще, — отозвалась Элен, обращаясь к пустому пространству.

— Не будь дурой!

Ответа не последовало. Профиль напоминал молодую королеву Викторию на монете. Они свернули на Глостер-роуд и пошли мимо лавок.

Но, допустим, несчастная девочка действительно имела это в виду. Джойс изменила тактику.

— Конечно, я знала, что ты на это способна, —

сказала она миролюбиво. Ответа не последовало. — Ни на секунду в этом не сомневаюсь. — Она снова посмотрела на Элен, но ее профиль все еще высился гордо, а глаза неподвижно смотрели в сторону. Бакалейная лавка была на следующем углу, не дальше чем в двадцати ярдах. Времени больше не оставалось. Джойс проглотила остаток гордыни. — Ну взгляни сюда, Элен, — прошептала она умоляющим голосом, взывавшим к благородству сестры. — Еще раз тебя прошу.

Ее воображению уже рисовалась омерзительная сцена. Элен поймана с поличным, разгневанный продавец, кричащий все громче и громче; ее собственные попытки объясниться и извиниться безрезультатны из-за невыносимого поведения сестры.

Конечно, Элен будет молча стоять рядом и не скажет ни слова, чтобы как-то оправдать себя или раскаяться, спокойно или презрительно улыбаясь, как будто она сверхчеловек, а все остальные грязь. Бакалейщик рассвирепеет еще больше. Затем он наконец пошлет за полицией, а потом… Но что подумает Колин, когда узнает об этом? Его будущая свояченица арестована за кражу. Он может расстроить помолвку. — «Ну пожалуйста, не делай этого, — беспомощно взмолилась

она. — Я прошу тебя!» — Но с тем же успехом она могла упрашивать профиль короля Георга на полукроне, чтобы тот повернул голову и подмигнул ей. Элен держала в кармане серебряную монету с изображением бледной и решительной молодой королевы. — «Пожалуйста! — повторяла Джойс со слезами в голосе. Мысль о том, что она может потерять Колина, была мучительной. — Умоляю!» — Но запах бакалеи уже щекотал ей ноздри; они стояли на самом пороге. Она схватила сестру за рукав, но Элен стряхнула ее руку и шагнула вовнутрь. У Джойс заколотилось сердце, и она пошла следом навстречу своей гибели. Молодой человек за стойкой, заваленной сыром и беконом, приветливо улыбнулся двум девушкам. Сделав над собой усилие, чтобы не вызвать подозрение и заранее усмирить негодование, Джойс послала ответную улыбку, полную искусственного дружелюбия. Нет, это было уже преувеличением. Она изменила тактику. Спокойна, непринужденна, в общем, идеальная леди, да к тому же еще и обходительна; обходительна и (прекрасное слово) грациозна — как королева Александра [12]. Грациозно она проследовала в магазин за

[12] Примечания: 12
Королева Александра — жена Георга V. (Прим. перев. М. Ловина)

своей сестрой. Но почему, думала она, почему она обошла тему преступления? Почему, зная Элен, она настолько потеряла рассудок, что стала оспаривать то, что воспитанный человек просто не сможет пойти на преступление? Реакция Элен была очевидной. Она сама напросилась на это.

Мать дала список покупок младшей дочери. «Потому что память у нее такая же девичья, как и у меня», — объяснила она свое решение с чувством самодовольства, которое так раздражало Джойс. Никто не имел права хвастаться своими недостатками, «Уж я сделаю из нее хорошую хозяйку. Да поможет ей Бог!» — добавляла мать с саркастическим смешком.

Стоя у прилавка, Элен развернула список, прочла его и затем надменным тоном и без всякой улыбки, словно отдавая приказания рабу, изрекла:

— Дайте сперва кофе. Два фунта, два шиллинга и четыре пенса. — Сказанное относилось к продавщице, которую, видимо, оскорбил развязный тон и повелительная манера Элен. Джойс сочла своей обязанностью наградить ее лучистой улыбкой.

— Веди себя цивильно, — прошипела Джойс, когда девушка отправилась за кофе.

Элен продолжала хранить презрительное молчание, хотя все в ней кипело от негодования. Спокойствие давалось с неимоверным трудом. Цивильно! Подумать только. Да кто она такая, эта маленькая кривляка, замарашка, которая не моет свои подмышки? О, как она ненавидит это уродство, это безобразие, эту нечистоту! Как они ненавистны и отвратительны…

— Ради всего святого, — продолжала Джойс, — не делай глупостей. Я тебе категорически запрещаю…

Она не успела закончить свою тираду, когда Элен, не позаботившись о скрытности и ни от кого не таясь, протянула руку и взяла с прилавка одну из шоколадок, сложенных красивой витой колонной. Сделав это, она медленным движением положила плитку в корзинку.

Не дожидаясь завершения преступления, Джойс повернулась и отошла в сторону.

«Я скажу, что вижу ее первый раз», — подумала она, понимая при этом, что ей никто не поверит. Вся округа знала, что они с Элен сестры. Джойс едва не расплакалась. «О, Колин, Колин!»

Прямо перед ней высилась пирамида банок с консервированными лобстерами. Джойс остановилась.

«Спокойно, — приказала она себе. — Я должна сохранять спокойствие».

Сердце ее бешено колотилось от страха, красно-фиолетовые лобстеры на этикетках, казалось, шевелили клешнями. Девушка боялась оглянуться. В ушах, пульсируя, шумела кровь, и каждую секунду Джойс ожидала грозного окрика.

— Я и не знал, что вы интересуетесь лобстерами, мисс. — Чей-то услужливый голос почти прошептал эти слова на ухо Джойс.

Она вздрогнула от неожиданности, но сумела сохранить самообладание и даже улыбнуться, отрицательно покачав головой.

— Я очень рекомендую вам этот сорт, мисс. Уверен, что если вы попробуете одну баночку…

— Так, — громко произнесла в это время Элен своим прежним тоном феодального суверена, — а теперь я хочу купить десять фунтов сахара. Но его вы доставите нам домой.

Они вышли из магазина. Молодой человек за прилавком с сыром и беконом проводил их приветливой улыбкой. Они были очаровательные девушки и постоянные покупатели. Усилием воли Джойс еще раз заставила себя быть дружелюбной и спокойной. Но как только сестры вышли за порог, лицо Джойс исказилось от зло-

сти.

— Элен! — с яростью в голосе произнесла она. — Элен!

Но Элен продолжала хранить надменное молчание, словно профиль юной королевы на серебряном флорине.

— Элен! — Потеряв самообладание, Джойс изо всех сил ущипнула Элен за руку между рукавом и перчаткой.

Младшая сестра отдернула руку и, не поворачивая головы и не меняясь в лице, произнесла ледяным тоном:

— Если ты еще раз станешь действовать мне на нервы, я просто столкну тебя в канаву.

Джойс открыла рот, но смолчала и плотно сжала губы. Какой абсурд! Она поняла, что если скажет сейчас хотя бы слово, то Элен действительно столкнет ее в канаву. Джойс удовольствовалась тем, что негодующе передернула плечиками.

В лавке зеленщика было многолюдно. Воспользовавшись скоплением людей, Элен, дожидаясь своей очереди, без труда стянула два апельсина.

— Хочешь, дам один? — ехидно спросила она у Джойс, когда они вышли из магазина.

На этот раз Джойс сыграла роль профиля на монете.

В магазине канцелярских принадлежностей они, на беду Элен, оказались единственными покупателями, но начинающая преступница нашла выход, рассыпав, якобы случайно, мелочь. Пока продавцы собирали с пола пенни и фартинги, Элен украла ластик и три отличных карандаша.

Неприятности начались в мясной лавке. Обычно Элен вообще не заходила в этот магазин. Ей внушали отвращение вид и тошнотворный запах бледных, обескровленных туш. Однако на этот раз она решительным шагом вошла внутрь. Невзирая на отвращение, вопреки всему — то было дело чести. Она сказала: «Каждый магазин», — и она сделает это, чтобы Джойс не смогла обвинить ее в мошенничестве. Первые тридцать секунд, пока ее легкие были полны чистого воздуха, который она вдохнула на улице, все было в полном порядке. Но вот она выдохнула и… о Боже! — вдохнула. В следующую секунду Элен судорожным движением поднесла к носу платок. Острый, грубый трупный запах бесцеремонно проник сквозь барьер духов. Сначала аромат Quelques Fleurs, потом отвратительный смрад мертвой овцы и свернувшейся вонючей крови, смешанные с божественным запахом жасмина и амбры.

Стоящий впереди отошел от стойки, и мясник обернулся к ней. Он был уже пожилым рослым мужчиной с большим квадратным лицом, излучающим отеческую заботу. «Похож на мистера Болдуина», — сказала она про себя и затем, не убирая платка, невнятно проговорила вслух:

— Полтора фунта огузочной части, пожалуйста.

Через минуту мясник вернулся с куском окровавленной туши.

— Это восхитительное мясо, мисс! — Он загреб влажную, жилистую плоть своей пятерней, затем тронул легкое. — В самом деле восхитительное. — Он представлял собой точную копию мистера Болдуина, мнущего пальцами страницы Вергилия или Вебба[13] с загнутыми углами листов.

«Никогда в жизни не буду есть мяса, — поклялась она, когда новый Болдуин отвернулся, чтобы разрубить тушу надвое. — Но что же мне взять?» — Она огляделась.

— Что бы тут… А, вот!.. — Вдоль одной из стен тянулась мраморная полка высотой в стол. На ней на подносах валялись багрово-серые говяжьи

---

[13] Примечания: 13

Вебб, Сидней (1859–1947) — английский экономист, идеолог тред-юнионизма и один из основателей «Фабианского общества». (*Прим. перев. М. Ловина*)

внутренности. Между ними на стальном крюке в форме буквы S, забрызганном кровью, висело обезглавленное баранье тело. Она посмотрела по сторонам. Момент был подходящий — мясник взвешивал ее кусок, его помощник о чем-то разговаривал с отвратительной старухой, похожей на бульдога, кассирша с головой ушла в счета. Стоя в одиночестве в дверях, Джойс реалистично исполняла роль зеваки, смотрящего на небо и размышляющего, превратятся ли капли в дождь. Элен сделала три быстрых шага, подхватила крюк и только собиралась уложить то, что на нем висело, в свою корзину, как услышала голос мясника:

— Осторожно, мисс, вы испачкаетесь, если прикоснетесь к нему.

Волна удивления была подобна крутому спуску на русских горках. Элен почувствовала приступ тошноты. Кровь хлынула к ее щекам, затем ко лбу и глазам, как у провинившейся кошки. Она попыталась засмеяться.

— Я просто хотела посмотреть. — Крюк упал, ударившись об мрамор.

— Я не хотел бы, чтоб вы портили платье, мисс. — Его улыбка была искренней и какой-то родной. Даже добрее, чем у мистера Болдуина.

Охваченная нервным шоком, парализовавшим

ее с ног до головы, Элен истерически расхохоталась, что вынудило ее еще раз глубоко вдохнуть запах туш. Б-брр!.. Она вновь упрятала нос в платок с *Quelques Fleurs*.

— Фунт и одиннадцать унций, мисс.

Она кивнула в знак согласия. Но что бы еще прихватить? Выхода не было.

— Прикажете что-нибудь еще?

Да, единственное, что оставалось, это купить что-то еще. Это позволило бы ей выиграть время, чтобы подумать и сыграть еще раз.

— Есть ли у вас… — она слегка замялась, — «сладкое мясо»?

Несомненно, у мистера Болдуина имелось «сладкое мясо», лежавшее на полке вместе с остальными внутренностями. Как раз рядом с крюком.

— Ну, не знаю сколько, — вымолвила она, когда он спросил ее о количестве. — Не очень много.

Она вновь осмотрелась, на этот раз в отчаянии, пока он занялся «сладким мясом». В этой дрянной лавчонке нет ничего — ничего, кроме крюка, что можно было бы унести. Но теперь, когда он поймал ее, крюк отпадал. Больше ничего. Если только… Ее пронзила мелкая дрожь, но она, мрачная, как туча, стиснула зубы. Она настроилась

пройти испытание до конца.

— Ну а теперь, — она возвысила свой голос, когда он завернул и перевязал бечевкой «сладкое мясо», — мне нужно немного вот этого! — И она указала на упаковки бледных сосисок, сваленных грудой на полке в другом конце магазина.

«Возьму, когда он отвернется», — думала она. Но кассирша, сверив счета, теперь оглядывала лавку. Черт бы, дьявол бы ее подрал! Элен готова была реветь от гнева, но затем — о, слава Богу! — девушка отвернулась. Элен протянула руку, но взгляд настиг ее. Пропади она пропадом! Рука безжизненно опустилась. Теперь было поздно — мистер Болдуин достал сосиски, повернулся лицом и пошел по направлению к ней.

— Все, мисс?

Элен неуверенно повела бровями, желая выиграть время.

— Не могу отделаться от мысли, что нужно что-то еще… Что-то такое… — Прошло несколько секунд, пауза становилась угрожающей; она выставила себя круглой дурой, но решила не сдаваться. Элен не желала признавать поражение.

— Сегодня утром мы получили бесподобную валлийскую баранину, — сказал мясник голосом настолько артистическим, что можно было поду-

мать, будто он говорит о «Георгиках»[14].

Элен покачала головой. Покупать баранину теперь было бы чистым безумием.

Внезапно кассирша опять начала писать. Момент наступил.

— Нет, — уверенно сказала она. — Я возьму еще фунт сосисок.

— Всего один? — с удивлением вымолвил псевдо-Болдуин. «Рано удивляешься, — подумала Элен. — Удивление наступит после».

— Да, всего лишь один, — сказала она и подкупающе улыбнулась, как будто хотела выпросить скидку. Он снова отправился к полке. Кассирша не отрывала глаз от бумаг, старуха-бульдог о чем-то тарахтела с помощником. Молниеносно, ибо нельзя было терять ни секунды, Элен рванулась к мраморной полке недалеко от нее. На виду лежал уже облюбованный ею кусок печенки.

Пальцы ее врылись в склизкую, каракатицевидную мякоть. Гнусная тварь! В конце концов ей пришлось взять ее в ладонь. «Слава Всевышнему, что Он надоумил меня надеть перчатки». Бросив мясо в корзину, она вдруг поймала себя на мысли, что была какая-то причина, которая могла при-

---

[14] Примечания: 14

«Георгики» — поэма Вергилия (30 до н. э.). (Прим. перев. М. Ловина)

нудить ее взять этот омерзительный сгусток в рот таким, как он есть, сырым, прожевать, лелея между языком и нёбом, и проглотить. Она вновь содрогнулась от отвращения, которое на этот раз так сильно скрутило горло, что казалось, было готово разодрать ей нутро.

Устав от изображения метеоролога, Джойс стояла, укрывшись зонтом, и смотрела на хризантемы в витрине цветочного магазина в соседнем доме. Она заранее заготовила оскорбительные слова, которые скажет сестре, когда та выйдет наружу, но, увидев ее понурое лицо, забыла даже упрекнуть ее за задержку.

— Элен, что случилось?

Вместо ответа Элен истерически разрыдалась.

— Скажи же, что?

Она замотала головой и, отвернувшись, принялась стирать с лица слезы.

— Расскажи…

— О-о-о… — заголосила Элен так, будто ее ужалила оса. Лицо приобрело выражение смертного отвращения, полностью изуродовавшего ее. — Как гнусно, как все это мерзко, — повторяла она, глядя на свои пальцы. Затем, поставив корзину на тротуар, она сняла с руки перчатку и резким, отчаянным жестом остервенело швырнула ее

в канаву.

Глава 6

6 ноября 1902 г.

Послышался свист вожатого, и поезд покорно двинулся в путь; вот проехали Китинг, еле-еле шевелясь, вот Брэнсон, вот Пиквик, Оул и Веверли, миновали на высокой скорости Бичем, Оубридж, Картер, Пиэрс, пронеслись мимо сталезавода в Хампфри, Лоллингдона, въехали в Хоуэт, затем промчались мимо Эно на скорости почти двадцать миль в час, потом Пирс, Пирс, Пирс, и внезапно перрон, и его ограждения замелькали и растворились в зелени сел. Энтони сидел в уголке и беззаботно дремал, запрокинув голову. Шум в мозгу наконец прекратился. Он выкарабкался из того черного колодца, в который они столкнули его, и вновь чувствовал себя свободным. Колеса радостно пели у него в ушах: «Спаси состав, сорви стоп-кран, а без причин пять фунтов штраф». Но как невыносимо отвратителен был поминальный обед у бабушки.

— Работай, — говорил Джеймс Бивис. — В наше время остается только это.

Брат кивнул.

— Только это, — согласился он. Затем, секунду помедлив, с ощущением до предела громко говорящей совести добавил на своем странном жаргоне, бывшем, по его мнению, разговорным языком: — Жизнь сбила в нокаут. — Понятие, которое Джон Бивис имел о простонародном английском, было почти целиком сформировано на основе книг. Боксом он не интересовался. — К счастью, — продолжал он, — работы сейчас хоть отбавляй. — Он думал о своих лекциях, о вкладе в составление оксфордского словаря, о горах прочитанных книг, типографских гранках, огромной составленной им картотеке, о письмах от коллег-филологов и об изнурительной статье о французском сленге периода якобинской диктатуры.

— Нет, мне не хочется сачковать, — говорил он, вставляя разговорное словечко, выделяя его характерной интонацией. Джеймс не должен думать, что можно забыть горе, уйдя целиком в работу. Он подыскивал нужную фразу. — Это… божественная музыка, с которой ты сливаешься.

Джеймс продолжал слегка кивать головой, как будто заранее знал все, что способен сказать его брат. Его лицо исказилось от непроизвольных мышечных подергиваний. Он был весь снедаем

нетерпением, словно огнем, прожигавшим его до костей.

— Абсолютно верно, — говорил он. — Абсолютно правильно. — Он еще раз кивнул. Повисла долгая пауза.

«Завтра, — думал Энтони, — будет алгебра у старого Джимбага. — Ожидание не из приятных — он не был силен в математике даже в лучшие дни, когда мистер Джеймсон шутил, он все равно оставался для Энтони грозным учителем. — Если Джимбаг опять насадит меня на крючок, как в прошлый раз…»

Вспоминая эту сцену, Энтони нахмурился, кровь бросилась ему в лицо. В тот день Джимбаг саркастически издевался над ним и держал его за волосы. Энтони разревелся, да и кто на его месте не заревел бы? На уравнение, которое он пытался решить, капнула слеза, оставив на бумаге огромную круглую кляксу. Сволочь Стейтс потом дразнил его за это. К счастью, Фокс пришел ему на помощь. Над Фоксом смеялись, потому что он заикался, но по натуре он был человеком на редкость порядочным.

В Ватерлоо Энтони с отцом сели в двухколесный экипаж. Дядя Джеймс предпочел пройтись пешком.

— Я дохожу до клуба за одиннадцать минут, — объявил он. Его рука потянулась к карману жилета, он вытащил часы, затем повернулся и, не говоря ни слова, зашагал широким шагом к вершине холма.

— Юстон! — крикнул Джеймс Бивис кебмену.

Осторожно ступая по гладкому скату, лошадь двигалась вперед, экипаж покачивался, словно корабль. Едва слышно Энтони мурлыкал какую-то песенку. Поездка в экипаже всегда приводила его в состояние неописуемого восторга. Перед самым склоном кучер хлестнул лошадь, и та перешла на рысь. Проносясь мимо, они улавливали запахи пива, жареной рыбы, затем проехали «Гудбай, Долли Грей» на углу и на полном ходу поскакали по Ватерлоо-роуд. За окнами экипажа ревело и скрежетало уличное движение. Если бы не отец, Энтони запел бы вслух.

Над крышами домов висело яркое, подернутое дымным маревом послеполуденное небо, и внезапно взору его предстала ослепительная река с черными баржами и буксиром, а над горизонтом вдруг поднялся в небо, словно гигантский воздушный шар, громадный купол собора Святого Павла, а вот и Стрелковая башня.

На мосту какой-то прохожий бросал хлеб

чайкам. Бледные, почти невидимые, они со свистом рассекали воздух, кружились, размахивая серыми крыльями, и, замедляя лет, внезапно взмывали к свету, струящемуся сверху, как белоснежные сполохи на чернеющем небе, затем снова спешили во тьму, словно испугавшись яркого солнца.

Увидев их, Энтони перестал мурлыкать. Конькобежец, прорезающий корку льда, устремится к тебе точно так же, скользя на острых полозьях. И вдруг, словно лишенный покоя, он как будто постиг таинственную значимость этих легковесных птиц.

— Мальчик мой, — начал мистер Бивис, нарушив долгое молчание. Он сжал плечо Энтони. — Мальчик дорогой!

С замершим сердцем Энтони ждал, что он скажет дальше.

— Теперь мы должны держаться друг друга, — сказал мистер Бивис.

Мальчик невнятно выразил свое согласие.

— Не расставаться. Потому что мы оба… — Он запнулся. — Оба любили ее. — И вновь повисла тишина. «Если бы он только остановился на этом», — внутренне взмолился Энтони. Но отец продолжал. — Мы навсегда останемся ей вер-

ны, — проговорил он. — Никогда не предадим ее, правда?

Энтони кивнул.

— Никогда, — с жаром повторил Джон Бивис. — Никогда! — И он продекламировал строчки, вертевшиеся у него в голове все эти дни:

Когда болезнь или тоска случит
Меня с тем телом, что в могиле спит,
Ты поселись в моей душе пустой,
Давным-давно покинутой тобой.
Останься там.

Затем громко, почти вызывающе продолжил:

— Она никогда не будет мертва для нас! Она будет вечно жить у нас в сердцах, ведь так? — Пауза. — Она приказала нам долго жить, — не унимался отец, — и мы будем жить вместо нее. Жить честно, благородно, так, как она хотела, чтоб мы жили. — Он чуть было не перешел на жаргон — такого рода жаргон, который понятен школьникам. — Будем жить… ну, как два пацана, — неестественно растягивая слова, произнес он. — А пацаны, — продолжал он сбивчиво, словно импровизируя, — пацаны они всегда пацаны. Настоящие однокашники. Мы с тобой будем закадычными, правда, Энтони?

Энтони снова кивнул. Он испытывал смешанное чувство стыда и недоумения. Слово «однокашники» было взято из школьной летописи. Читать это без смеха было невозможно — обычно чтение сопровождалось злобным улюлюканьем. Однокашники! И это он и его отец! Он почувствовал, как краснеет. Высунув голову из бокового окна, чтобы скрыть волнение, он увидел, как одна из серых птиц слетела с неба и приближалась к мосту все ближе и ближе. Затем она изменила курс, взяв влево, сверкнула, преобразилась и тотчас же исчезла.

В школе все было ужасающе «как нужно». Казалось, уж слишком натянуто. Одноклассники вежливо соблюдали его неприкосновенность, не оскорбляя его бурным проявлением собственного хорошего настроения, и, продемонстрировав ему несколько раз свою фальшивую и неестественную дружбу, оставили его в покое. Это, как Энтони скоро обнаружил, было равносильно полному бойкоту. Отношение к нему в классе было хуже, чем к вору и доносчику. Никогда с самых первых дней пребывания в школе он не чувствовал себя таким покинутым, как в этот вечер.

— Жаль, что ты сегодня не был на футбольном матче, — сказал Томпсон, когда все сели ужинать.

Он говорил будто с приехавшим навестить его родным дядей.

— Хорошо сыграли? — спросил Энтони с той же наигранной вежливостью.

— О, великолепно! Правда, мы проиграли. Два-три. — Разговор почти выдохся. Чувствуя неудобство, Томпсон судорожно думал, что сказать теперь. Прочитать ему лимерик о леди из Илинга, сочиненный Батервортом? Нет, сегодня он не станет говорить этого вслух, когда мать Бивиса… Тогда что? Громкий смех на конце стола снял напряжение. Теперь у него была уважительная причина, чтобы отвернуться. — Что там такое? — закричал он с деланым интересом, и скоро они уже болтали и смеялись вместе. Словно надевший шапку-невидимку, Энтони смотрел и слушал.

— Агнесса! — кто-то позвал служанку. — Агнесса!

— Агнесса прекрасная принцесса! — сказал Марк Стейтс приглушенным голосом, чтобы она не слышала. Любое оскорбление слуг считалось в Балстроуде тягчайшим преступлением, и именно потому фраза была встречена с огромным

энтузиазмом, даже несмотря на sotto voce[15]. «Прекрасная принцесса» вызвала взрыв хохота, хоть сам Стейтс остался невозмутимым. Отсутствие реакции на смех, причиной которого был он сам, придало ему несравненное ощущение превосходства и силы. Кроме того, в традициях его семьи было не улыбаться. Не было случая, когда бы Стейтс разделил овацию, вызванную своей шуткой, эпиграммой или остроумным ответом.

Оглядев стол, Марк Стейтс увидел, что Вениамин Бивис, этот несчастный с лицом ребенка, не смеялся, как остальные, и на мгновение почувствовал страстное негодование к тому, кто осмелился не выказать удовольствия от его шутки. Оскорбление усилилось еще более оттого, что Вениамин не представлял собой ничего особенного. Не умел играть в футбол, еле-еле держал в руках крикетную биту. Единственное, в чем он был хорош, так это в работе. Работа! И этот оборвыш посмел сидеть с постным лицом, когда он… Но внезапно он вспомнил, что у бедняги умерла мать, и, немного оттаяв сердцем, наградил его, находившегося на почтительном расстоянии, улыбкой с тенью признания и сочувствия. Эн-

[15] Примечания: 15
Приглушенный голос (*um.*).

тони улыбнулся в ответ и сразу же отвел взгляд, покраснев от едва заметного смущения, будто его поймали на чем-то недозволенном. Сознание собственного великодушия по отношению к растерявшемуся Вениамину восстановило Стейтса в хорошем расположении духа.

— Агнесса! — крикнул он. — Агнесса!

Огромная, вечно сердитая служанка наконец появилась.

— Еще джема, пожалте.

— Джема еще, — пропищал Томпсон. Все снова засмеялись, не потому, что шутка оказалась удачной, а просто из-за того, что хотелось посмеяться.

— И хлэфа.

— Н-да, еще хлэфа.

— Агнесса, пожалте еще хлэфа.

— Да уж, тебе хлэфа, — с негодованием выговорила служанка, поднимая со стола пустое блюдо из-под бутербродов. — Почему ты не можешь сказать нормально?

Взрыв смеха прозвучал с удвоенной громкостью. Нет, они никак не могли сказать нормально, совершенно не могли, ибо в соответствии с традицией, которая существовала в Балстроуде, хлеб именовался хлэфом в знак спайки всех учеников, и это давало им превосходство над всем окружа-

ющим непосвященным миром.

— Еще, еще пепина хлэфа, — орал Стейтс.

— Хлэфовина-пепин, хлэфовина-пепин!

Смех дошел до стадии истерики. Все вспомнили случай, произошедший в прошлом семестре, когда они проходили Пепина ле Брефа [16] по истории Европы.

— Пепин ле Хлэф! Пепин ле Хлэф!

Первым взорвался Батерворт, затем Пембрук-Джонс, вслед за ними Томпсон и, наконец, все второе отделение, возглавляемое Стейтсом. Старик Джимбаг попался на самую страшную наживку, что, однако, выглядело еще смешнее.

— Шайка маленьких идиотов, — отрезала Агнесса и, увидев, что они все еще смеются, ушла на кухню и принесла оттуда еще один поднос хлеба. — Просто дети! — повторила она с явным намерением оскорбить их. Это тем не менее нисколько не покоробило ораву, вызвав нулевую реакцию. Дети не обращали на нее внимания, закатываясь как помешанные от беспричинного смеха.

Энтони посмеялся бы вместе с ними, но губы его были способны всего лишь на робкую улыб-

---

[16] Примечания: 16

Бреф, Пепин ле — французский политический деятель. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ку, отчужденно вежливую, какой улыбается не владеющий языком иностранец, который не сумел уловить смысл шутки, но хочет выразить свое одобрение тем, кто желает повеселиться. Минуту спустя, почувствовав голод, он внезапно обнаружил, что его тарелка пуста. Просить еще хлеба, хотя бы ломтик, святому изгнаннику было бы бесчестным и наглым — бесчестным, потому что человеку, которого смерть матери сделала почти мучеником, определенно не подобало издеваться и говорить на жаргоне, а наглым, потому что чужак не имел права пользоваться языком, которым говорила элита. Он колебался в нерешительности и наконец вымолвил:

— Передайте мне, пожалуйста, хлеба.

Слова прозвучали крайне глупо и неестественно, и Энтони охватил огонь, прожегший его до корней волос.

Вплотную прильнув к соседу с другой стороны, Томпсон восторженно шептал ему на ухо лимерик.

— …По всему потолку! — закончил он, и все заверещали от хохота.

Слава Богу, Томпсон не расслышал. Энтони испытал глубокое облегчение. Несмотря на чувство голода, он не стал просить во второй раз.

У главного стола началась толкотня. Старый Джимбаг поднялся на ноги. Невыносимый, оглушающий грохот стульев, двигаемых по деревянной поверхности, наполнил помещение, затем растворился в гробовой тишине.

— За все, что мы получили… — Речь оборвалась, и ученики затопали к двери.

И коридоре Энтони почувствовал чью-то руку на плече.

— Привет, В-вениамин!

— Привет, Фокс! — Он не назвал его Лошадиной Мордой из-за того, что произошло этим утром. «Лошадиная Морда» прозвучало бы так же неблагозвучно и неуместно при данных обстоятельствах, как только что Вениамин.

— Я х-хочу к-кое-что т-тебе показать, — сказал Брайан Фокс, и его угрюмое, совсем некрасивое лицо, казалось, внезапно просияло, когда он улыбнулся Энтони. Над Фоксом смеялись, потому что он заикался и был похож на лошадь, но почти все его любили. Даже несмотря на то, что он слишком много зубрил и не был хорошим игроком. Он был примерным учеником, не любил грубых шуток и ни разу ни в чем не провинился перед учителями. Но даже при всем этом он был всеобщим любимцем из-за своей чистоты и порядочно-

сти. Был, может быть, слишком порядочным, поскольку держаться с Нью Багзом так, как это делал он, — совсем на равных — было, очевидно, неправильно. Смело со стороны девятилетних считать себя ровней тем, кому одиннадцать или двенадцать. Нет, Фокс определенно заблуждался насчет Нью Багза, в этом не было сомнения.

— Что у тебя там? — спросил Энтони, чувствуя огромную благодарность к Лошадиной Морде за то, что тот обращался с ним нормальным, естественным образом, и за то, что говорил слегка грубовато, боясь, как бы Энтони не догадался, что таится у него в душе.

«Пошли, покажу, — хотел сказать Брайан, но у него вышло всего лишь: — п-п-п...» Долгое шлепанье губами затянулось. В другой раз Энтони мог бы засмеяться и крикнуть: «Смотрите, Лошадиная Морда изображает морскую болезнь!» Но сегодня он не сказал ничего, только подумал, как несчастен, должно быть, был этот бедный парень. В конце концов Брайан Фокс отказался от попытки произнести «Пошли, покажу» и вместо этого выдавил из себя: «В моей к-коробке для игрушек».

— З-здесь, — сказал Брайан, приподнимая крышку своего ящика.

Энтони взглянул внутрь и при виде изящного маленького корабля с тремя мачтами, квадратным рангоутом и бумажными парусами воскликнул:

— Слушай! Во здорово! И ты сделал это сам?

Брайан кивнул. К его услугам была целая столярная мастерская — все инструменты, которые могли пригодиться. Вот почему судно было так похоже на настоящее. Он хотел уже рассказать, что представляет собой каждая частица корабля, и разделить восторг от достигнутого с Энтони, но боялся своего заикания. Этот восторг исчез бы немедленно, как только он начал тщательно все описывать. Кроме того, «рангоут» было ужасным словом.

— М-мы ис-с-спытаем его сегодня ночью, — с удовлетворением выговорил он. Улыбка, сопровождавшая слова, несомненно служила извинением за всю нечеткость, с которой они были произнесены. Энтони улыбнулся в ответ. Они понимали друг друга.

Бережно, любовно Брайан открепил три мачты и опустил их вместе с парусами во внутренний карман жилета. Корпус поместился в кармане бридж. Зазвенел звонок, возвещавший об отходе ко сну. Брайан покорно закрыл ящик с игруш-

ками, и им снова пришлось карабкаться по ступенькам.

— С-сегодня я в-выиграл п-пять л-лишних игр с м-моим с-старым л-л… к-крейсером, — поправился он, сочтя слово «линкор» слишком тяжелым.

— Пять! — выкрикнул Энтони. — Вот молодец, старина Лошадиная Морда!

Забыв о том, что он был парией, святым изгнанником, Энтони во весь голос расхохотался, почувствовав радость и легкость. Такое с ним случилось всего один раз — в спальне, где он раздевался, — из-за зубного порошка.

«Два раза в день, — чудилось ему. Он вспоминал, как опускал смоченную щетку в розовую пыль, пахнувшую карболкой. — И если у тебя есть время, после обеда тоже. Из-за микробов».

«Но, мама, не могу же я в самом деле чистить их три раза в день!»

Удар по его самолюбию (она что, сомневалась в чистоте его зубов?) вынудил его на грубость. Он придумал отговорку, вспомнив, что в школе было не принято уходить в спальню в течение дня.

С другой стороны деревянной стенки, отделявшей его комнату от комнаты Энтони, Брайан Фокс тщился влезть в пижаму. Сперва левая штанина, затем правая. Но, только начав натягивать их, он

вдруг чуть не закричал от внезапно пришедшей ему в голову мысли: а что, если и его мама вдруг умрет? Она действительно могла умереть. Если это случилось с матерью Бивиса, может случиться и с его. И тотчас же он увидел ее лежащей в домашней постели ужасно бледной. И предсмертный хрип, тот самый предсмертный хрип, о котором так часто приходилось читать, — он отчетливо услышал его. Он был похож на шум, издаваемый одной из деревянных погремушек, которыми пугают ворон. Громкий и непрерывный, как будто исходивший от машины. Человек, пожалуй, такого бы издать не смог. И тем не менее он исходил из ее рта. Хрип был предсмертным. Она умирала.

Брайан стоял подле в брюках, закатанных по колено, в безмолвии уставившись глазами, полными слез, на покрытую коричневым лаком перегородку. Горе было непоправимым. Гроб, затем опустелый дом, и, когда он будет ложиться спать, никто не придет пожелать ему спокойной ночи.

Внезапно выведя себя из состояния неподвижности, он натянул пижамные брюки и порывистым движением завязал тесемки.

«Но она не умерла, — сказал он себе. — Не

умерла».

Через две перегородки, в спальне Томпсона, вдруг раздался взрыв от привязанной к ручке хлопушки, когда кто-то резко открыл дверь. Послышались крики, затем взрывы смеха. Засмеялся даже Брайан, который обычно не находил ничего смешного в том, что человека с ног до головы обсыпало конфетти. Но в этот момент он почувствовал громадное облегчение, и любой повод для смеха был кстати. Она была все еще жива. И словно ей понравилось бы то, что он смеется над вещью достаточно искусной, он просто выплеснул наружу свою благодарность ей. Он захохотал, затем внезапно осекся, подумав о Бивисе. Его мать была по-настоящему мертва. О чем должен думать он? Брайан почувствовал стыд, оттого что посмел смеяться над этим.

Потом, когда везде потушили свет, он взобрался на решетку в изголовье своей постели и, заглянув поверх перегородки в комнату Энтони, прошептал:

— Слышь… п-пойдем п-посмотрим, как плавает н-новый к-к… новое судно?

Энтони вылез из постели и надел халат и туфли, поскольку ночь выдалась холодная. Затем он бесшумно встал на стул и оттуда, отдернув длинную

байковую занавеску, на оконный эркер. Занавеска качнулась за его спиной, оставив его перед стеклом, соединяющим края толстой стены.

Окно было узким и высоким и делилось на две части. Нижняя, большая часть состояла из двух рам; маленькая фрамуга сверху крепилась с помощью шпингалетов и открывалась наружу. Когда рамы были закрыты, нижняя из них образовывала узкий выступ, стоя на котором мальчик мог без труда просунуть голову и плечи сквозь небольшое квадратное отверстие сверху. Высунувшись из него, можно было видеть черепичный скат, и прямо перед окном шел длинный желобок для дождевой воды.

Желобок! Брайан был первым, кто открыл его возможности. Кусок торфа, украдкой пронесенный в спальню в оттопыренном кармане, несколько камней — вот и все, что требовалось для сооружения дамбы. Когда она была построена, нужно было собрать все кружки для умывания, наполнить их водой и вылить все их содержимое в желобок. На следующее утро умывание отменяется, ну и что? Длинное, узкое море потянулось по крыше в темноту. Утлое суденышко плыло по нему, и эти пятьдесят футов безбрежного океана будили воображение. Единственной опасностью

являлся дождь. Если он был сильным, то кто-то должен был во что бы то ни стало сломать дамбу. Иначе желобок бы переполнился, что повлекло невольное расследование и малоприятное наказание.

Устроившись высоко между холодным стеклом и ворсистой байковой занавеской, Брайан и Энтони высунулись каждый из своего окна в темноту. Кирпичная стенка была единственным, что разделяло их, и они говорили шепотом.

— Ну, а теперь, Лошадиная Морда, — скомандовал Энтони, — дуй!

И, как мифологический Зефир на картинке, Лошадиная Морда дунул. Под грузом бумажного паруса лодка медленно скользила по узкому водоходу.

— Здорово! — в упоении произнес Энтони и, перегнувшись через раму так, что его щека почти соприкасалась с водой, стал следить полузакрытым, специально невооруженным глазом, как игрушка приближается, превращаясь, словно в сказке, в огромный трехмачтовый, зыбкий фантом, появляющийся издалека, безмолвно прорезающий тьму и двигающийся прямо на него. Огромный линкор в сто десять орудий под тучевидным парусом, надуваемым норд-остом,

несется со скоростью в десять узлов, и восемь колоколов бьют с… Он резко вздрогнул, как только передняя мачта пришла в соприкосновение с его носом. Мечта вновь стала реальностью.

— Как самый настоящий корабль, — сказал он Брайану, повернув маленькую лодочку в другую сторону. — Нагни голову и скоси взгляд. Я буду дуть.

Медленный, величественный трехмачтовый поплыл обратно.

— П-похож на «Борющегося Т-т…». Ты знаешь эту картину.

Энтони кивнул. Он никогда не любил выдавать свое незнание.

— Т-темерера, — наконец выговорил тот.

— Да, да, точно, — с явным нетерпением произнес Энтони, как будто знал это всю жизнь. Он снова согнул голову, чтобы еще раз взглянуть на огромный линкор в сто десять орудий, гонимый норд-остом; маленькое суденышко не хотело уступать ветру. И все же это был прекрасный корабль.

— Прекрасный! — сказал он вслух.

— Т-только с-слегка п-перекошен, — отвечал Брайан, критикуя свою работу.

— Мне очень нравится, — похвалил Энто-

ни. — Он словно кренится под штормовым ветром. Кренится. — Ему доставило огромное удовольствие произнесение этого слова — он никогда не употреблял его, только видел в книгах. Восхитительное слово! И, не отказывая себе в удовольствии повторить его еще раз, произнес: — Гляди, как он кренится, когда дует ураган.

Он дунул, и маленький кораблик чуть не опрокинулся. Ураган, говорил он про себя, сбил его вправо, разорвав передние брам-стеньги[17] и спинакеры [18], сделал пробоину в нашем единственном корабле, накренил его так, что планшир коснулся воды… Но дуть не переставая долгое время было утомительно. Энтони посмотрел наверх, взгляд его бродил по небосклону, и он напряженно вслушивался в тишину. Воздух был на удивление безмолвным, ночь почти безоблачной. А какие звезды! Вон Орион, у которого ноги запутались в ветвях старого дуба. Вон Сириус и еще тысячи, миллионы, чьих названий он не знал.

---

[17] Примечания: 17

Брам-стеньга — продолжение стеньги, верхней части мачты. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[18] Примечания: 18

Спинакер — треугольный парус из легкой парусины, который ставится при попутном ветре. (*Прим. перев. М. Ловина*)

— О боже! — прошептал он наконец.

— К-как ты д-думаешь, д-для чего их с-столько? — спросил Брайан после долгого молчания.

— Кого, звезд?

Брайан кивнул.

Вспомнив слова дяди Джеймса о том, что они совершенно бесполезны, Энтони дал соответствующий ответ.

— Но должно же б-быть у них какое-то п-предназначение, — возразил Брайан.

— Почему?

— П-потому что все д-для чего-то с-создано.

— Я не верю в это.

— Н-ну, допустим, п-пчелы, — с усилием произнес Брайан.

Энтони был потрясен. Они изучали ботанику у старого Бамфейса, рисовали всякие пестики и тычинки. Пчелы — конечно же, они для чего-то существовали. Как жаль, что он не помнил дословно, что говорил дядя Джеймс. Железные что-то природы. Но что железное?

— И г-горы, — старательно артикулировал Брайан. — Если б-бы их н-не было, н-не шел бы д-дождь.

— Ну и для чего, ты думаешь, они существуют? — поинтересовался Энтони, указывая на

звезды движением подбородка.

— М-может быть, т-там живут л-люди.

— Разве только на Марсе, — сказал Энтони с непоколебимостью ортодокса.

Наступила тишина. Затем уверенно, будто наконец решившись высказаться чего бы то ни стоило, Брайан произнес:

— Ин-ногда мне к-кажется, что з-звезды н-наделены ж-живой д-душой. — Он с опаской взглянул на своего собеседника: не собирается ли Вениамин смеяться. Но Энтони, смотрящий на небо, не показывал ни малейшей тени издевки, лишь кивал с серьезным видом в знак согласия. Стыдливая, беззащитная тайна Брайана была в безопасности, не получив оскорбительного удара. Он чувствовал глубокую благодарность, но внезапно какая-то огромная волна поднялась в его душе, словно буран. Его почти душил странный прилив братской любви и (о боже! Если бы это была моя мать!) всепоглощающего сочувствия к бедному Вениамину. В горле застыл комок, на глаза навернулись слезы. Ему захотелось сжать руку Вениамина, но он, вовремя поборов порыв, сдержался.

Тем временем Энтони все еще рассматривал Сириус. «Жива, — повторил он про себя. — Жива».

Сириус был похож на сердечко на небе, пульсирующее светом. Тотчас же Энтони припомнился птенец, которого он нашел на прошлых пасхальных каникулах. Он лежал на земле и не мог летать. Мать посмеялась над Энтони, потому что он не захотел поднять птичку. Больших зверей он любил, но по какой-то причине ему становилось страшно, когда нужно было прикоснуться к чему-то маленькому. В конце концов, сделав над собой усилие, Энтони взял птенца в руки, и это маленькое создание теперь показалось сердечком в оперенье, удары которого он ощущал ладонью и пальцами. Там, в вышине, над кронами деревьев, Сириус был другим сердцем. Живым. Но дядя Джеймс, несомненно, стал бы смеяться.

Уязвленный этим несуществующим презрением и стыдясь оттого, что его неприкрытая детскость вышла наружу, он негодующе выговорил, отворачиваясь от звезд:

— Они не могут быть живыми.

Брайан поморщился. «Почему он рассердился?» — удивился он. Затем промолвил вслух:

— Ну если Б-бог жив…

— Мой отец не ходит в церковь, — возразил Энтони.

— Н-нет, п-просто… — Как не хотелось ему всту-

пать в спор прямо сейчас.

Энтони не мог больше ждать.

— Он не верит во всю эту чушь.

— Н-но дело в Б-боге, не в ц-церкви. — О, если бы ему не мешало это чудовищное заикание! Он бы выразил свои мысли так ясно, он бы в точности повторил все, что говорила его мать. Но неведомо почему даже ее слова казались в эту минуту неуместными. Дело не в том, что говорить, а в том, чтобы заботиться о людях, заботиться и не причинять им боли.

— Мой дядя, — сказал Энтони, — совсем не верит в Бога. И я тоже, — добавил он исподтишка.

Но Брайан не принял вызов.

— П-послушай, — резко выпалил он. — П-послушай, В-в-в… — Напряжение, которое он испытывал теперь, вынудило его заикаться еще сильнее. — В-вениамин, — наконец произнес он. Было невыносимо осознавать, как любовь, закипевшая в нем, так грубо обманута. Сдерживаемый причудливо бессмысленным заграждением, бурный поток ширился и наполнялся, набирая силу, пока наконец не достиг такой духовной мощи, что, забыв о странности подобного поступка, Брайан положил руку на плечо Энтони. Пальцы опустились по рукаву, пока не коснулись

обнаженного запястья, но заикание всякий раз стояло между его чувством и тем, к кому оно было направлено. Он сжал руку мальчика отчаянно, словно скованный внезапным пароксизмом.

— Я ч-чрезвычайно с-сочувствую т-твоему г-горю, — продолжал Брайан. — Я н-не хотел г-говорить эт-того р-раньше. П-по крайней м-мере н-не перед вс-семи. З-знаешь, я д-д-д… — Он еще крепче сжал руку Энтони, словно пытаясь восполнить свое косноязычие красноречивым жестом, пытаясь доказать ему, насколько мощен был поток в его душе, насколько он был неудержим; даже несмотря на многочисленные пороги в его русле. Он начал мысль сначала, набрав достаточно сил, чтобы перешагнуть этот барьер. — Я д-думал сейчас, — сказал он, — что это м-могла быть моя мать. О, Б-бивис, это, д-должно быть, ужасно!

Энтони смотрел на него сперва удивленно, с явно заметным подозрением, почти страхом, отобразившимся на лице. Но когда Брайан продолжил свою сбивчивую речь, первое чувство сострадания, сковавшее его, рассеялось, и, не чувствуя стыда, он заплакал.

Опасно балансируя на высоком выступе окон, они долго стояли, не проронив ни слова. У обоих

щеки покрылись холодными слезами, но утешающая рука, схватившая запястье Энтони, была упрямо цепкой, как рука утопающего.

Внезапно из мрака налетел гулкий порыв ветра, взвив в воздух опавшие листья. Маленькое трехмачтовое судно пустилось, словно разбуженное после обморочного сна, бесшумно, с какой-то намеренной спешкой, кормой вперед по желобку.

Слуги легли спать, и в доме все стихло. Медленно, словно кошка в кромешной тьме, Джон Бивис вышел из своего кабинета и взобрался, миновав площадку мезонина, по отвесной лестнице, ведущей к гостиной, на третий этаж. Снаружи по пустынной мостовой зацокали копыта и тотчас смолкли во мраке ночи. Снова воцарилась тишина — тишина его одиночества, тишина (он содрогнулся) ее могилы.

Несколько секунд он стоял не двигаясь, вслушиваясь в удары своего сердца, затем уверенным шагом поднялся еще на две ступеньки, пересек темную площадку и, открыв дверь, включил свет. Его взору предстало собственное отражение в зеркале над туалетным столиком — он поразился бледности своего лица. Серебряные кисти были на месте, миниатюрные подносы, подушечки для игл, ряд хрустальных бутылей — все нетронуто.

Он осмотрелся. Угол широкого розового одеяла загнут, он заметил две подушки, лежащие вплотную друг к другу, а над ними, на стене, висела фотогравюра «Сикстинской Мадонны», которую они купили вместе в магазине рядом с Британским музеем. Обернувшись, он снова увидел себя в зеркале гардероба в полный рост, в траурном сюртуке. Гардероб… Он шагнул в середину комнаты и повернул ключ в замке. Тяжелая стеклянная дверь распахнулась, издав характерный скрип, и внезапно он ощутил до боли знакомый запах ее присутствия, едва уловимое благоухание фиалкового корня, к которому примешивался, как и раньше, аромат каких-то более острых, тонких духов. Серое, белое, зеленое, розовое, цвета раковины, черное — он пересчитал ее платья.

Казалось, будто она умирала десять раз и десять раз висела здесь, обмякшая, пугающе обезглавленная и все же, будто в насмешку, с ореолом вокруг головы, прекрасно-таинственным, одухотворенным символом ее жизни. Он протянул руку и дотронулся до гладкого шелка, кисеи, бархата… Потревоженные прикосновением складки пахнули ароматом еще сильнее. Он закрыл глаза и вдохнул запах, воображая, будто она здесь. Но все, что осталось от нее, было предано огню, а пе-

пел покоился на дне той ямы на Лоллингдонском кладбище.

— Останься там! — отчетливо прошептали губы Джона Бивиса.

Комок еще сильнее подступил к горлу, слезы стояли в глазах. Захлопнув дверь гардероба, он отвернулся и принялся разоблачаться.

Внезапно он почувствовал все усиливающуюся дурноту. Ему стоило невероятных усилий умыться. Забравшись в постель, он тотчас же заснул.

В часы перед восходом солнца, когда свет нового дня едва забрезжил и уличный шум начал проникать сквозь темную завесу, окутавшую его мозг, Джону Бивису приснилось, будто он идет по коридору, ведущему в его лекционный зал в Королевском колледже. Даже не идет, а бежит. Коридор вдруг оказался бесконечным, и какой-то неведомый голос требовал быстро добраться до конца и не опоздать. Не опоздать куда? Он не знал, но, убыстряя и убыстряя шаг, он чувствовал, что тошнота все усиливалась, как и раньше, мутящее отвращение нарастало и становилось все невыносимее с каждой минутой. Когда он наконец открыл дверь лекционного зала, вдруг оказалось, что это не лекционный зал, а спальня в их доме, и Мейзи лежала там на кровати,

задыхаясь от приступа астмы; лицо ее было багрового цвета, ожидая страшного приближения неподвижности, а губы, похожие на два рубца, синели мертвенной бледностью. Сновидение было настолько ужасным, что он проснулся в холодном поту. Утренний свет слабо пробивался сквозь занавески, стеганое одеяло раздражало глаза малиновым цветом, зеркало в гардеробном шкафу блестело ослепительным блеском. Снаружи завывал молочник, обходя дворы: «Молоко-о-о!.. Молоко-о-о!..» Все было по-домашнему обычно, каждая вещь лежала на своем месте. Это был всего лишь кошмарный сон. Затем, повернув голову, Джон Бивис увидел, что место рядом на широкой постели пусто.

Колокольчик звенел все ближе и ближе, пробиваясь сквозь томную негу после глубокого сна, пока наконец его навязчивое дребезжание не приблизилось вплотную к вискам, беззастенчиво терзая обнаженный до нейросетчатки мозг. Энтони открыл глаза. Какой отвратительный шум! Тепло нагретой постели было божественным. Затем — это испортило все — он вспомнил, что первым уроком была алгебра с Джимбагом. Он содрогнулся. Эти жуткие квадратные уравнения! Джимбаг мог снова начать кричать на него. Это

было нечестно, и он бы разревелся. Но потом ему пришло в голову, что Джимбаг не посмеет и пальцем тронуть его, памятуя о том, что произошло вчера. «Лошадиная Морда вел себя до неприличия положительно вчера вечером», — подумал он вновь.

Наступило время подъема. Раз, два, три — о, как холодно! Он только собирался натянуть сорочку, как кто-то осторожно постучал в дверь его спальни. Последнее движение, и его голова вышла на свет Божий. Он открыл. На пороге стоял Стейтс — ухмыляясь, но полный дружелюбия, хотя… Энтони растерялся. Недоверчиво, с неискренне приветливой улыбкой, он начал:

— Что случилось?

Стейтс приложил палец к губам.

— Сходи и посмотри, — прошептал он. — Выглядит бесподобно.

Энтони польстило приглашение со стороны того, кто, будучи капитаном футбольной команды, имел право (и пользовался им) быть грубым с ним. Он боялся Стейтса и ненавидел его, и именно потому его особенно удивило то, что тот не постеснялся прийти к нему в комнату по своему собственному желанию.

Комната Стейтса уже была полна ребят. За-

говорщицкое молчание таило в себе бурное и поэтому плохо скрываемое волнение. Томпсону пришлось запихать себе в рот носовой платок, чтобы удержаться от смеха, а Пембрук-Джонс корчился в беззвучных припадках хохота. Партридж, вклинившийся в узкое пространство между ножками кровати и умывальником, стоял, прижавшись щекой к перегородке. Стейтс коснулся его плеча. Партридж обернулся и вышел на середину комнаты; его веснушчатое лицо исказилось от ликования, он дергался и переминался с ноги на ногу, словно у него рвался мочевой пузырь. Стейтс указал на освободившееся место, и Энтони, потеснив остальных, занял его. В заградительной стенке была проделана дырка, и сквозь нее было видно все, что происходило в соседней комнате. На кровати в одной шерстяной фуфайке и бандаже лежал Гогглер Ледвидж. Его глаза за толстыми стеклами очков были закрыты, рот приоткрыт. У него был блаженный и кроткий вид, как у покойника во время отпевания.

— Он все еще здесь? — прошипел Стейтс.

Энтони повернулся с ухмыляющимся лицом и кивнул, затем вплотную прижался к глазку. Его особенно рассмешило то, что это Гогглер, школьный клоун, козел отпущения, которого слабость

и робость заранее обрекли на гонения. Теперь появилась новая приманка.

— Давайте устроим ему темную, — предложил Стейтс, забравшись на перила в изголовье кровати.

Партридж, бывший центральным нападающим в лучшей из двух футбольных команд школы, сделал движение, чтобы последовать за ним. Но Стейтс повернулся, на этот раз к Энтони.

— Давай, Бивис, — прошептал он. — Давай вместе. — Он хотел вести себя полегче с беднягой из-за случившегося с ним. Кроме того, ему польстило то, что он сумел осадить этого оболтуса Партриджа.

Энтони принял лестное предложение почти с охотой и вплотную подошел к Гогглеру. Остальные толпились у изголовья. По сигналу Стейтса все выровнялись и, высунув головы из-за перегородки, загудели презрительно.

Гогглер снял напряжение сдавленным смехом; его зрачки расширились, полные ужаса, лицо на секунду сделалось белесым, затем вспыхнуло. Двумя руками он напялил на себя сорочку, но та была слишком коротка, чтобы прикрыть его наготу или хотя бы грыжу. До нелепости коротка, как детская фуфайка. «Попробуем сделать так,

чтобы она прослужила еще один сезон, — говаривала его мать. — Эти шерстяные вещи ужасно дороги». Она пошла на огромные жертвы, чтобы отправить его в Балстроуд.

— Ну тяни же, тяни! — кричал Стейтс, полный сарказма и смелости от своих потуг.

— Почему Генрих Восьмой не позволял Анне Болейн заходить в свой курятник?[19] — спрашивал Томпсон.

Конечно же, все знали ответ, и раздался взрыв смеха.

Стейтс поднял одну ногу с перекладины, стянул с ноги туфлю на кожаной подошве, прицелился и выстрелил. Она ударила Гогглера по лицу. Тот издал крик боли, выпрыгнул из постели, оставшись стоять с опущенными плечами, и тонкая, словно искалеченная рука поднялась, чтобы защитить голову. Он смотрел на ухмыляющиеся лица сквозь пальцы, закрыв появившиеся слезы.

— Сейчас достанется и вам, — прикрикнул Стейтс на остальных. Затем, оглядывая только

---

[19] Примечания: 19

Генрих VIII (1491–1547) — английский король с 1509 г., имевший шесть жен. *Анна Болейн* (1507–1536) — вторая жена Генриха VIII, вышедшая за него вопреки воле Папы после развода Генриха VIII с Екатериной Арагонской, что послужило поводом к Реформации в Англии. Двадцатидевятилетняя Анна Болейн была обезглавлена по ложному обвинению в супружеской неверности. Здесь имеется в виду известный анекдот XVI в. (*Прим. перев. М. Ловина*)

что пришедших, что стояли на пороге, буркнул, сбросив вторую туфлю:

— Привет, Лошадиная Морда. Подойди и пульни в него. — Стейс поднял руку, но Лошадиная Морда запрыгнул на постель и схватил его за запястье.

— Нет уж, стой! — сказал он. — Остановись.

Энтони взял за руку Томпсона и, опершись на плечо Стейтса, размахнулся так сильно, как только мог. Гогглер юркнул под кровать. Туфля ударилась о деревянное заграждение за его спиной.

— Б-бивис! — крикнул Лошадиная Морда с таким укором, что Энтони испытал внезапный приступ стыда.

— Ему это не повредило, а? — проговорил он, словно извиняясь, и по какой-то странной причине обнаружил, что думает о той страшной могиле на Лоллингдонском кладбище.

Стейтс вновь обрел язык.

— Мне непонятно, чем ты занимаешься, Морда Лошадиная, — разгневанно взревел он и вырвал ботинок из рук Брайана. — Почему не думаешь о своем деле?

— Это н-не ч-честно, — ответил Брайан.

— Именно честно.

— Пятеро на одного.

— Но ты не знаешь, что он сделал…

— Мне вс… не важно.

— Тебе было бы важно, если б было понятно, — отрубил Стейтс и принялся изображать преступления Гогглера во всех красках.

Брайан опустил глаза, щеки его внезапно покраснели. Когда приходилось слушать, как других обливают грязью, ему казалось, что обливают грязью его.

— Посмотри, как краснеет Лошадиная Морда! — крикнул Партридж, и все заверещали от смеха, не столь, однако, издевательского, как у Энтони. У Энтони тем не менее было время испугаться своего позора, время отказаться от мысли о том откосе на Лоллингдонском кладбище и время для того, чтобы вдруг почувствовать непримиримую вражду к Лошадиной Морде. За то, что тот был слишком необычным, ведь у него было мужество иметь свое мнение, только он не умел возвыситься до того, чтобы высказать его. Это произошло именно потому, что он любил Лошадиную Морду, одновременно чувствуя отвращение к нему. Или, скорее, потому, что было гораздо больше причин, по которым ему нужно было быть снисходительным к нему — так же

мало причин, с другой стороны, почему Лошадиная Морда одарен всеми теми качествами, которые отсутствовали у Энтони полностью или частично. Этот внезапный истерический взрыв смеха был выражением какого-то завистливого негодования против гордыни, которую он любил и которой восхищался. На самом деле любовь и очарование подчас оборачивались протестом и завистью, но оставались, как правило, в глубине подсознания из-за тайной неопределенности, откуда внезапный кризис, подобный нынешнему, мог извлечь их.

— Видел бы ты его, — заключил Стейтс. Почувствовав себя в более благоприятном расположении духа, он рассмеялся — позволил себе рассмеяться.

— С его повязкой, — добавил Энтони тоном, полным тошнотворного презрения. Грыжа Гогглера представила Фокса еще большим преступником.

— Угу, с его дурацкой повязкой! — одобрительно подтвердил Стейтс.

— Он безобразен, — упорствовал Энтони, теперь несколько смягчившись и изображая праведный гнев.

В первый раз после того, как Стейтс начал свой рассказ о похождениях Гогглера, Брайан посмот-

рел ему в глаза.

— Н-но п-почему он б-безобразнее всех? — забитым голосом вопросил он. — В к-конце к-кон-цов, — заговорил он громче, и кровь снова хлынула ему в лицо, — он н-не единственный.

Повисла двусмысленная пауза. Конечно же, таких, как Гогглер, было много. Беда была в том, что на него одного валились все шишки, и лишь из-за того, что он носил очки, грыжевой бандаж и футболку не по размеру, на единственного, кто не скрывал своих недостатков и подставлял себя под удар. В этом была вся разница.

Стейтс повел наступление с другого фланга.

— Проповедь святейшей Лошадиной Морды! — издевательски забубнил он и в одно мгновение завладел вниманием остальных. — Черт! — Его интонация резко изменилась. — Поздно уже. Отваливать пора.

Глава 7

8 апреля 1934 г.

Из дневника Э. Б.

Условный рефлекс. Какое безмерное удовольствие я получил от Павлова [20], когда впервые прочел его. Последний крест на всех самообманах человека. Все мы были нелюди да жители пещерные. Собака гавкает — вот обнюхала фонарный столб, подняла заднюю лапу, закопала кость в землю. Кончился весь этот бред насчет свободы воли, прописные истины и вся подобная шелуха. В каждую эпоху живут те, которые будоражат умы. Ламетри [21], Юм , Кондильяк [22], за ними

---

[20] Примечания: 20

Павлов, Иван Петрович (1849–1936) — русский физиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине (1904). (*Прим. перев. М. Ловина*)

[21] Примечания: 21

Ламетри, Жюльен Офре де (1709–1751) — французский философ и врач, сторонник идей механистического материализма и сенсуализма, изложенных в трактате «Человек-машина» (1747). (*Прим. перев. М. Ловина*)

[22] Примечания: 22

Кондильяк, Этьенн Бонно де (1715–1780) — французский философ-просветитель, один из соавторов «Энциклопедии». Свои сенсуалистические взгляды изложил в «Трактате об ощущениях» (1754). (*Прим. перев. М. Ловина*)

всеми маркиз де Сад, последний и наиболее сокрушительный из всех революционеров мысли восемнадцатого столетия. Мало кто, однако, нашел в себе смелость последовать за скандальными доводами де Сада. Тем временем наука не стояла на месте. Просветительские взрывы и без де Сада потерпели крах. Девятнадцатому веку пришлось начинять все сызнова — и Гегелю, и Марксу, и дарвинистам. Маркс и до сих пор сильно осаждает наши мозги. Начало двадцатого столетия породило новое племя разрушителей — Фрейда и его продолжателей, и, когда они начали распространять свои законы замещения и вытеснения, появились Павлов и бихевиористы[23]. Открытие условного рефлекса, насколько я помню, как раз и положило конец всему. Хотя на самом деле он всего-навсего по-новому сформулировал учение о свободе воли. Если можно сформировать один условный рефлекс, то можно вместо него сформировать следующий. Научиться пользоваться собой правильно после того, как всю жизнь делал это шиворот-навыворот, что это,

[23] Примечания: 23

Бихевиоризм (от англ. behaviour — «поведение») — направление в американской психологии XX в., в основе которого лежала теория об изучении индивида с помощью схемы «стимул — реакция». (*Прим. перев. М. Ловина*)

как не выработка нового условного рефлекса?

Обедал с отцом. Он гораздо бодрее, чем тогда, когда я видел его в последний раз, только сильно постарел и, кажется, рад этому. Гордится тем, что с трудом выбирается из сидячего положения и медленно, с остановками шаркает по лестнице. Может быть, это поднимает его в его собственных глазах. Видимо, он только и ждет сочувствия, приказывая, чтоб оно последовало по первому его желанию. Ребенок кричит так, что мать спускается и не находит себе места возле него. Такие вещи у особого рода людей происходят с пеленок до гробовой доски. Миллер говорит, что старость — это скорее дурная привычка. Привычка ставить всем условия. Расхаживай, словно страдающий ревматизмом, и действительно обречешь свое бренное тело на большие муки, чем раньше. Веди себя как старик, и твое тело постепенно одряхлеет, — ты и будешь чувствовать себя, как старик. Тощий Панталоне в домашних туфлях — вот самый подходящий для этого образ. Если откажешься и научишься мотивировать свой отказ, не превратишься в Панталоне. Я считаю, что это по большей части верно. Как бы то ни было, мой отец сейчас с удовольствием играет свою роль. Одно из великих преимуществ пожилого возрас-

та то, что при условии сравнительно неплохой материальной обеспеченности и не подводящем здоровье можно позволить себе ханжеское добродушие. Переселение в мир иной не за горами, жизненные неурядицы не воспринимаются так близко к сердцу, как в юные лета, и вполне можно взирать на все с высоты Олимпа. Мой отец, к примеру, с поразительным спокойствием рассуждал о мире. Да, люди совершенно дичают, и Европу абсолютно точно ожидает новая война, около 1940 года, по его мнению. Будет, конечно, гораздо хуже, чем во время войны четырнадцатого года, и может статься, вся западная цивилизация окажется грудой пепла. Но так ли уж это важно? Цивилизация вновь станет развиваться на других континентах и заново поднимется на опустошенных пространствах. Юлианское летоисчисление давно пошло вкось. Нам нужно мыслить себя живущими не в тридцатые годы двадцатого столетия, а между двумя ледяными веками. В конце он процитировал Гете: «Alles Vergangliche ist nur ein Gleichniss»[24]. И то, что не вызывает сомнений, может считаться правдой. Но не обладает всей полнотой истины. Дилемма

[24] Примечания: 24

«Все преходящее есть только символ» (*нем.*). Эти слова произносятся мистическим хором в финале «Фауста».

в том, как примирить убеждение, что мир большей частью — иллюзия, с тем, что не становится менее необходимым совершенствовать эту иллюзию? Как быть одновременно бесстрастным, но не безразличным, кротким и добродушным, как старец, и неуемным, как юноша?

Глава 8

30 августа 1933 г.

— Куда бы деться от этих слепней! — Элен растирала покрасневшую руку. Энтони воздержался от замечаний. Она взглянула на него мельком, не говоря ни слова. — Как ты отощал за последнее время! — наконец произнесла она.

— Маниакальное самоизнурение, — ответил он, не опуская руки, которой закрывал лицо от яркого света. — Вот из-за чего я здесь. Предназначен самой природой.

— Предназначен для чего?

— Для социологии, а в перерывах вот для этого. — Он поднял руку, сделал ею круговое движение, после чего рука вновь упала на матрас.

— Что значит «это»? — не отступала она.

— Это?… — повторил Энтони. — Ну… — Он замялся. Ему не хотелось говорить о принципиальном разрыве между разумом и страстями, отвлеченных чувствах, рафинированных идеях. — Ну, скажем, ты, — наконец проговорил он.

— Я?

— Ну, полагаю, это мог быть кто-нибудь дру-

гой, — сказал он, непритворно любуясь собственным цинизмом.

Элен тоже рассмеялась, но с горьким удивлением.

— Я — кто-нибудь еще?

— Это что значит? — грозно спросил он, посмотрев на нее из-под ладони.

— Значит то, что я говорю. Ты считаешь, что я должна быть здесь — истинная Я.

— Истинная Я! — издевательски повторил он. — Да ты рассуждаешь, как теософ.

— А ты рассуждаешь как круглый идиот. Специально. Хотя уж ты-то не глуп.

Последовало долгое молчание.

Истинное Я? Но где, как и по какой цене? Да, прежде всего — по какой цене? Всякие Кейвелы и Флоренс Найтингейл[25]. Но такое казалось абсурдным и вдобавок смешным. Она нахмурилась, потом покачала головой и, открыв глаза, подернутые пеленой, поискала ими какой-нибудь предмет в пространстве вокруг, который отвлек бы ее от бесполезных и навязчивых мыслей. Прямо перед ней сидел Энтони. Она секунду смотрела

---

[25] Примечания: 25

Найтингейл, Флоренс (1820–1910) — английская медсестра, основавшая во время Крымской войны (1853–1856) госпиталь для раненых солдат. (*Прим. перев. М. Ловина*)

на него, затем с удивлением и неохотой подалась вперед, словно он был каким-то странным и невыносимо противным животным, и коснулась сморщенной розовой кожи, образованной шрамом, пересекавшим его бедро в дюйме или двух выше колена.

— Все еще болит? — спросила она.

— При быстрой ходьбе. И иногда в сырую погоду. — Он приподнял руку с матраса и, согнув правую ногу в колене, рассмотрел шрам. — След ренессанса, — задумчиво произнес он. — В виде гранатного осколка.

Элен вздрогнула.

— По всей видимости, это было ужасно. — Затем, с непонятно откуда взявшейся страстью, выкрикнула: — Как я ненавижу боль! — В ее голосе слышалось яростное, глубоко личное негодование. — Ненавижу! — повторила она, чтобы все на свете Кейвелы и Найтингейл слышали ее.

Она снова заставила его думать о прошлом. О том осеннем дне в Тидворте восемнадцать лет назад. О правилах поведения во время бомбежки. О сумасшедшем новобранце, который не добросил гранату. Об истерике и панике в самом начале войны, первоначальном ужасе. Теперь это казалось поразительно далеким и несовременным,

как некая звезда, разглядываемая не с того конца телескопа. И даже боль, не прекращавшаяся месяцами, теперь почти ушла в небытие. Физически это было самое худшее, и память его, как память безумца, уже почти избавилась от этих образов.

— Нельзя помнить боль, — произнес он вслух.

— Я могу.

— И ты не можешь. Можно помнить сам факт и то, что ему сопутствовало.

Тот случай произошел в родильной палате на Том-Иссуар, а сопутствовали ему нищета и унижение. Ее лицо исказилось при этих словах.

— То, как все было, ты никогда не будешь помнить, — продолжил он. — Ты даже не будешь помнить чувство наслаждения. Сегодня, например, ты не помнишь, что было полгода назад. И это к счастью. — Он улыбнулся. — Подумай, что было бы, если бы ты помнила запахи всех духов и все поцелуи. Какой унылой была бы жизнь. И есть ли на свете женщина, которую Создатель наделил бы как памятью, так и хотя бы двумя детьми?

Элен охватило волнение.

— Я не представляю, как все это вообще возможно, — тихо сказала она.

— Именно так, — утверждал Энтони. — Муки

и наслаждения новы всякий раз, когда мы их испытываем. Свежи, как весенняя листва. Каждая гортензия, аромат которой ты вдыхаешь, есть первая гортензия в твоей жизни. И первое заключение под арест…

— Ты снова говоришь, как идиот. — Элен сердито прервала его. — Запутался окончательно.

— Мне казалось, тебе становится яснее, — возразил он. — И все-таки чего ты от меня хотела?

— Я хотела, чтоб ты объяснил мне меня, себя, нашу жизнь, счастье. А ты разглагольствуешь, как философ. Глупый, как бревно.

— А ты сама? Совершила ты хоть один умный поступок? Специалист по счастью!

В этот момент в воображении обоих возник образ робкого человека в очках, из-за которых не было видно глаз.

Тот брак! Что в самом деле могло склонить ее? Старина Хью, конечно, был полон романтической любви, но достаточно ли этого? И в конце концов наступило разочарование. Прежде всего из-за разницы в возрасте. Он всегда горько усмехался, когда ему вспоминались их отношения с Хью. Уголки губ Энтони слегка подернулись. Для Элен, однако, последствия шутки могли оказаться роковыми. Он бы дорого дал, чтобы узнать все

подробности, но через кого-нибудь еще, чтоб не принимать на себя роль хранителя ее тайн. Тайны были опасны, тайны опутывали ее с ног до головы, как паутина. Да, совсем как паутина.

Элен вздохнула, затем, расправив плечи, резко произнесла:

— Из двух петухов не сделаешь одного орла. Кроме того, это мое личное дело.

«Которое обернулось как нельзя лучше», — подумал он. Повисла тишина.

— Как долго ты провалялся в больнице после ранения? — Ее тон внезапно изменился.

— Почти десять месяцев. Было жуткое нагноение. Пришлось десять раз оперировать.

— Кошмар!

Энтони пожал плечами. По крайней мере это уберегло его от военных окопов. Но по милости Божией…

— Странно, — произнес он, — в каком убогом обличье нас подчас посещает Господь! Блаженный идиот с ручной гранатой. Если бы не он, я бы в корабельном трюме отправился во Францию и подох бы там — почти наверняка. Я обязан ему жизнью. — Затем после паузы: — И свободой в начале войны. Где гарантия, что я пережил бы отравление газами, такое, как в Ипре? — «Сошла

на землю правда, Царь Царей». Ты, мне кажется, слишком молода даже для того, чтобы слышать о бедном Руперте[26]. Тогда, в четырнадцатом году, это имя значило больше. «…Сошла на землю правда». Но он, однако, забыл упомянуть, что глупость сошла тоже. В больнице у меня было много времени, чтобы подумать о расширении империи на всю планету. Глупость сошла на землю, но не как царь, а как император, богоподобный Вождь Всей Арийской Расы. Мысль об этом отрезвила меня. Я почувствовал себя более здоровым и более свободным, чем был. И всем я обязан этому недоумку. Он был одним из верноподданных фюрера.

Опять помолчали. Голос Энтони зазвучал еще глуше.

— Иногда я нервничаю, как Поликрат[27], потому что в жизни мне слишком часто выпадало счастье. Все будто специально складывалось в

---

[26] Примечания: 26

Руперт, Брук (1887–1915) — английский поэт-неоромантик, символ «потерянного поколения». Энтони видоизменяет строчку из его стихотворения «Песенка»: «Любовь, говорили, — Царь Царей». (*Прим. перев. М. Ловина*)

[27] Примечания: 27

Поликрат (ум. 522 до н. э.) — древнегреческий торговец из Самоса, впоследствии ставший тираном. Случай с перстнем изложен Геродотом; на этот же сюжет написана баллада Шиллера «Поликратов перстень» (1797), известная в переводе В. А. Жуковского. (*Прим. перев. М. Ловина*)

мою пользу. Даже это. — Он дотронулся до шрама. — Может быть, мне стоит что-то сделать, чтобы успокоить зависть богов, — бросить перстень в море во время следующего купания. — Он слегка усмехнулся. — Беда в том, что у меня нет перстня.

Глава 9

2 апреля 1903 г.

Придя на Паддингтонский вокзал, мистер Бивис и Энтони заняли места в купе третьего класса и принялись ждать отправления поезда. Для Энтони железнодорожное путешествие до сих пор оставалось очень важным событием, почти священнодействием. Незрелый мужчина в душе всегда остается человеком naturaliter ferrovialis[28]. Взять, к примеру, этого зеленого монстра, который медленно и важно подползал сейчас к первой платформе, — если бы не Уатт и Стефенсон[29], то это чудо технической мысли не выглядело бы так величественно под стеклянными сводами своего паровозного храма. Сама глубина восторга, который испытывал Энтони, вдыхая запах угля и горячего машинного масла, то непроизвольное желание, с которым его губы подражали звуку «чах-пах, чах-пах, чах-пах»,

---

[28] Примечания: 28

Зд.: естественное движение (*лат.*).

[29] Примечания: 29

Уатт, Джеймс (1736–1819) и *Стефенсон, Джордж* (1781–1848) — изобретатели парового двигателя. (*Прим. перев. М. Ловина*)

говорили о том, что приход «Пыхтящего Билли» и «Ракеты» был чудесным образом предвосхищен неким прообразом локомотива, который существовал в душах мальчишек еще во времена палеолита. Чах-пах, чах-пах. Пауза, а потом душераздирающий свисток при выходе отработанного пара. Чудесно, здорово!

Две тучные невысокие пожилые леди в капорах и черных платьях, удивительно похожие на королеву Викторию, медленно проходили мимо, занятые поиском купе, где бы им не перерезали горло и не заставили слушать непристойности. Мистер Бивис, по их мнению, выглядел, видимо, безупречно. Они остановились, советуясь между собой, но Энтони, высунувшись из окна, скорчил такую рожу, что они поспешили скрыться. Он победно улыбался. Занять хорошее купе было одним из непременных атрибутов священнодействия, именуемого путешествием. Если сравнивать путешествие с игрой в безик [30], то отделаться от случайного попутчика соответствовало марьяжу короля и дамы. Обед в вагоне-ресторане стоил столько же, сколько туз и король — двадцать шиллингов. А двойной безик (хоть это Энтони

[30] Примечания: 30

Безик — карточная игра для двух или четырех игроков с использованием колоды в шестьдесят четыре карты. (*Прим. перев. М. Ловина*)

никогда не подсчитывал) равнялся отцепному вагону.

Раздался свисток помощника машиниста, и состав тронулся.

— Урра-а! — закричал Энтони.

Игра началась успешно: в первом же раскладе оказался марьяж. Но через несколько минут Энтони уже жалел, что спугнул пожилых дам. Выйдя из отрешенной задумчивости, мистер Бивис наклонился вперед и, коснувшись колена сына, спросил его тихим, но невыразимо проникновенным голосом:

— Ты помнишь, какое сегодня число?

Энтони с сомнением взглянул на отца, затем попытался изобразить на лице тяжелую работу мысли, многозначительно нахмурившись. В отце появилось что-то такое, что делало эту игру неизбежной.

— Сейчас посмотрим, — неестественным тоном произнес Энтони, — нас отпустили тридцать первого, или нет, это было тридцатое? Тогда была суббота, а сегодня понедельник…

— Сегодня второе, — проговорил отец тем же самым проникновенным голосом.

Энтони был озадачен. Если отец знает дату, то зачем спрашивает?

— Сегодня ровно пять месяцев, — пояснил мистер Бивис.

Пять месяцев! Энтони стало нехорошо на душе. Он понял, о чем говорит отец. Второе ноября, второе апреля. Пять месяцев с тех пор, как она умерла.

— Второе число каждого месяца для нас святой день.

Энтони кивнул и отвел глаза, чувствуя неловкость и вину.

— Эта святая скорбь сплотила нас воедино, — продолжил мистер Бивис.

Господи, о чем он говорит? И зачем? Зачем он считает, что обязан говорить такие вещи? Это так ужасно, так неприлично; да, неприлично, не знаешь, куда спрятать глаза. Так бывало, когда после обеда у бабушки начинало громко урчать в животе.

Глядя на сына, отвернувшегося к окну, мистер Бивис ощутил его сопротивление и был уязвлен и опечален тем, что мальчик не испытывает той боли, какую испытывал он сам. Собственно говоря, он был даже возмущен. Конечно, мальчик еще слишком мал, чтобы полностью оценить свою потерю, но все же, но все же…

К невыразимому облегчению Энтони, поезд

замедлил ход, останавливаясь на первой станции. Предместья Слау все медленнее и медленнее проплывали мимо окна. Вопреки всем правилам священной игры мальчику вдруг страстно захотелось, чтобы в их купе кто-нибудь сел. Бог услышал молитвы Энтони — этот кто-нибудь нашелся. В купе вошел багроволицый толстяк, которого Энтони в других обстоятельствах возненавидел бы от всей души, но теперь был готов полюбить от всего сердца.

Прикрыв рукой глаза, мистер Бивис снова погрузился в свое скорбное молчание.

Когда поезд отъезжал от Туайфорда, отец подсыпал соли на раны Энтони.

— Ты должен вести себя наилучшим образом, — высокопарно произнес он.

— Конечно, — коротко ответил Энтони.

— И всегда будь пунктуальным, — продолжал мистер Бивис. — За столом не жадничай. — Он помедлил, улыбнувшись в предвкушении того, что собирается сказать, и перешел на жаргон: — Каким бы вкусным ни был харч. — Последовала секундная пауза. — И будь вежлив с Абигайлами, — добавил он.

Поезд свернул с магистрали на ветку дороги, петлявшей между высокими кустами рододенд-

рона. Вскоре показалась лужайка с островками деревьев, на дальнем краю которой стоял особняк с белыми оштукатуренными стенами. Дом был не слишком велик, но солиден, комфортабелен и элегантен. Такой дом мог принадлежать человеку, способному без подготовки цитировать при случае Горация на латинском языке. Видимо, отец Рейчел Фокс, кораблестроитель, был человеком достаточно состоятельным, чтобы оставить дочери порядочное наследство. Должно быть, старику удалось каким-то изобретением заинтересовать лордов Адмиралтейства. (Как очаровательны эти желтые нарциссы в тени деревьев!) Сам Фокс тоже не бедствовал, занимая высокое положение в угольной промышленности. Однако этот угрюмый, молчаливый и начисто лишенный чувства юмора человек, как вспомнилось мистеру Бивису, был не способен решить простейшую филологическую задачку со словом «карандаш». Хотя если бы Джон знал, что у бедняги язва двенадцатиперстной кишки, он не стал бы рисковать, задавая такие вопросы.

Миссис Фокс и Брайан встретили гостей у вагона. Мальчики сразу принялись за свои игры, а мистер Бивис последовал за хозяйкой в гостиную. Она оказалась высокой, стройной и чрезвычайно

прямолинейной женщиной, в каждом движении которой сквозило что-то величественное, черты лица и все его выражение были полны благородной суровости, и мистер Бивис чувствовал себя слегка испуганным и потерянным в ее присутствии.

— Вы были очень добры, что пригласили нас, — сказал Джон. — Я не могу выразить словами, сколь много это значит… — Он поколебался секунду, но потом, вспомнив, что сегодня второе число, продолжил, понизив голос и покачав головой: — Для моего маленького паренька, так рано лишившегося матери, провести каникулы здесь, с вами.

Пока он говорил, ее ясные карие глаза потемнели от сострадания. Всегда твердые, всегда серьезные, неприступно сомкнутые, почти скульптурно очерченные губы выражали больше, чем обыкновенную серьезность.

— Что вы говорите, я сама очень рада, что Энтони приехал к нам, — произнесла она теплым мелодичным и слегка дрожащим от избытка чувств голосом. — Эгоистично рада — из-за Брайана. — Она улыбнулась, и Джон заметил, что, даже когда эта женщина улыбалась, ее губы каким-то непостижимым образом ухитрялись сохранять

поразительную способность к выражению страдания, радости, серьезности и непорочности, которые были столь присущи миссис Фокс даже в те минуты, когда она не следила за своей мимикой. — Да, да, эгоистично, ибо когда счастлив он, счастлива и я.

Мистер Бивис кивнул, затем со вздохом добавил:

— Невольно чувствуешь благодарность, когда тебе достается так много — быть свидетелем чужого счастья. — Он щедро предоставил Энтони право не мучиться, хотя, конечно, если бы ребенок был чуть постарше, он смог бы в полной мере осознать…

Миссис Фокс не продолжила эту тему. В его словах и манере было что-то, что показалось ей крайне неприятным, что-то, что посягало на ее понятие о чести, и она не замедлила избавиться от этих ненужных мыслей. В конце концов, самым важным, самым первостепенным было то, что бедняга страдал до сих пор. Фальшивая нота, если в данном случае вообще можно говорить о фальши, заключалась в самой попытке выразить скорбь.

Она предложила прогуляться перед чаем, и они вышли в сад, откуда направились на заросший

травой и деревьями участок, примыкавший к дому. На небольшой просеке, что лежала у северной границы владения, три ребенка-инвалида собирали первоцветы. С мрачным проворством они передвигались на костылях от купы к купе бледно-золотых цветов, громкими криками выражая свой неподдельный восторг.

Дети жили, как объяснила миссис Фокс, в одном из ее особняков.

— Трое моих калек, — назвала она их.

Услышав голос миссис Фокс, дети оглянулись и заковыляли через полянку по направлению к ней.

— Посмотрите, мисс, посмотрите, что я нашел!

— Мисс, посмотрите, что мы видели.

— Мисс, а как это называется?

Она отвечала на их вопросы, спрашивая их в свою очередь, и пообещала навестить их вечером. Чувствуя, что он должен сделать что-то для инвалидов, мистер Бивис начал рассказывать им о лингвистической путанице, происшедшей в среднеанглийский период со словом «первоцвет». Дети смотрели на него, в недоумении хлопая ресницами.

Наступила тяжелая пауза. Миссис Фокс поспешила сменить тему.

— Бедные малыши, — произнесла она, когда они наконец отпустили ее. — Они так счастливы, что действительно хочется плакать. А затем, спустя неделю, их снова придется отправить в трущобы. Это довольно жестоко. Но что можно сделать? Их слишком много. Нельзя держать все время одних в ущерб другим.

Несколько минут они шли молча, и миссис Фокс невольно поймала себя на мысли, что бывают также и моральные калеки. Люди с такими убогими и непостоянными чувствами, что не знают, как вообще нужно чувствовать, люди настолько ущербные, что не могут выразить себя. Может быть, Джон Бивис один из таких. Но как бесчестно она вела себя! И как самонадеянно! Не судите, да не судимы будете. И все же даже если это и так, то это просто еще одна причина чувствовать по отношению к нему сострадание.

— Думаю, пора пить чай, — громко произнесла она и, чтобы избавить себя от искушения снова предаться суждениям, начала говорить с ним о тех школах для инвалидов, которые она помогла основать в Ноттингдейле и в Сент-Панкрасе. Она описала жизнь малолетних инвалидов дома: родители ушли на работу и ни одной живой души с утра до вечера, плохая пища, отсутствие игрушек,

книг, никаких развлечений — остается только лежать смирно и ждать. Чего? Затем она рассказала ему об автобусе, отвозившем детей в школу, о специальных партах, занятиях, распоряжениях об обеспечении нормального питания.

— А наша награда, — сказала она, открывая дверь в дом, — то самое чувство счастья, которое задевает душу. Не могу отделаться от того, что к нему примешивается некий упрек, обвинение. Каждый раз, когда я вижу их, спрашиваю себя: какое право я имею занимать такое положение, которое позволяет мне с легкостью, потратив лишь немного своих денег и приятно проведя в небольших хлопотах немного времени, давать им это так называемое счастье? — Ее теплый, ясный голос дрогнул, когда она задавала этот вопрос. Она беспомощно воздела вверх руки, уронила их и вошла в гостиную.

Мистер Бивис молча последовал за ней. От ее последних слов на душе у него стало так же тепло, как после первого прочтения «Меры за меру»[31]

[31] Примечания: 31

«Мера за меру» — трагикомедия Шекспира, написанная в 1604 г. на сюжет итальянской новеллы XVI в. (*Прим. перев. М. Ловина*)

или прослушивания игры Иоахима[32] в концерте Бетховена.

Мистер Бивис смог задержаться в доме миссис Фокс лишь на пару дней. На носу было заседание филологического общества, ну и, конечно, не могла ждать работа над «Словарем».

— Что вы хотите от старого книжного червя, — объяснил он хозяйке свой столь поспешный отъезд тоном, в котором сквозила жалость к себе, но не было ничего убедительного. Истина же заключалась в том, что мистер Бивис не мыслил себя без своей работы, наслаждался ею, а без нее чувствовал бы себя совершенно потерянным и никчемным.

— Но вы точно уверены в том, — с беспокойством добавил он, — что Энтони не будет вам тяжкой обузой?

— Обузой? Да вы только посмотрите. — Она указала на газон за окном, где мальчики играли в велополо. — И дело не только в том, что я сильно привязалась к Энтони за последние два дня. В нем есть что-то бесконечно трогательное. Иногда он кажется очень ранимым. И это несмотря на весь его ум, понятливость и целеустремленность. В его

---

[32] Примечания: 32

Йожеф, Иоахим (1831–1907) — венгерский скрипач, композитор и педагог, работавший в Германии. *(Прим. перев. М. Ловина)*

существе есть какая-то часть, которая целиком и полностью зависит от милости окружающего мира. — Да, именно так, подумала она, от милости мира. При этом миссис Фокс представила себе ясный чистый лоб, невероятно трепетные чувствительные губы и мягкий, неагрессивный подбородок. Его очень легко обидеть и сбить с истинного пути. Каждый раз, встречаясь с его взглядом, она чувствовала перед ним ответственность и не вполне понятное ей самой ощущение вины.

— И все же, — сказал мистер Бивис, — бывают моменты, когда он до странности безразличен. — Воспоминание о том эпизоде в поезде не переставало терзать его. Хотя, конечно, он хотел, чтобы сын был счастлив, решив, что его собственное счастье заключалось в созерцании радости его ребенка. Но старое негодование было все еще живо — мистер Бивис расстраивался из-за того, что Энтони не выстрадал больше, старался противиться страданиям и избегать их, когда они начинали грозить ему. — Непонятно почему безразличен, — повторил он.

Миссис Фокс кивнула.

— Да, — согласилась она, — он носит на себе очень своеобразные доспехи. Ими он прикрыл

свои самые чувствительные места, а все остальные открыты для поражения. Мелкие уколы отвлекают его от главных переживаний, служа неким противовесом. Это элементарная самозащита. Но тем не менее, — голос ее дрогнул, — тем не менее я считаю, что в жизни он будет здоровее духовно и будет счастливее, если научится поступать наоборот, закрывшись от мелких уколов и мелких радостей, открыв свои чувствительные и уязвимые места ударам судьбы.

— Абсолютно верно! — воскликнул мистер Бивис, понявший, что ее слова относились также и к нему.

Наступила тишина. Затем, вспомнив, о чем был задан вопрос, миссис Фокс уверенно возразила:

— Если бы я относилась к нему как к нахлебнику, я бы вряд ли была так очарована его присутствием здесь. Не только благодаря тому, что он из себя представляет, но и тому, кем он является для Брайана и кем Брайан является для него самого. На них так приятно смотреть. Мне бы хотелось, чтобы они были вместе каждые каникулы. — Миссис Фокс на секунду замялась, затем продолжила: — Действительно, если у вас нет никаких планов на лето, почему бы не осуществить этот? Мы сняли на август небольшой

домик в Тенби. Почему бы вам с Энтони не обосноваться там?

Мистер Бивис счел мысль блестящей, и мальчики, когда им сообщили об этом, были в восторге.

— Значит, до встречи в августе, — сказала миссис Фокс, провожая его. — Хотя, конечно, — добавила она с кротостью, которая казалась еще большей из-за того, что причиной ее было напускное дружелюбие, — конечно, мы встретимся раньше.

Паровоз с грохотом тронулся, постепенно набирая скорость, Энтони бежал за поездом добрую сотню ярдов, изо всех сил махая платком и крича «До свидания» так громко и искренне, что мистер Бивис принял это проявление чувств за сожаления сына по поводу его отъезда. В действительности, конечно, это было проявлением переполнявших Энтони энергии и душевного подъема. Это возбуждение от сознания своего счастливого бытия переполняло мальчика потребностью в действии, что и выразилось в столь эмоциональном прощании. Мистер Бивис был тронут до глубины души. Но если б только, с грустью думал он, если б только нашлась возможность направить эту любовь в нужное русло (кстати, и его любовь тоже), чтобы очистить их

повседневные отношения от сухой натянутости! Женщины разбираются в таких вещах гораздо лучше. Было умилительно смотреть, как бедное дитя отвечает на заботу миссис Фокс. И, может быть, продолжал размышлять он, может быть, все складывалось так лишь потому, что не нашлось до сих пор женщины, которая занялась бы воспитанием его чувств, и из-за этого Энтони пока казался таким черствым. Возможно, ребенок не смог искренне оплакать свою мать по той причине, что у него, собственно говоря, никогда ее не было. Получался порочный круг. Влияние миссис Фокс сослужило бы хорошую службу, и не только в этом деле, но и в тысяче других. Мистер Бивис вздохнул. Если бы только мужчина и женщина могли соединиться — не ради брака, а ради общей цели — ради детей, у которых нет отца или матери. Хорошая женщина, восхитительная, даже выдающаяся. Но, несмотря на это (почти благодаря этому), союз могла скрепить одна лишь общая цель. Брак не нужен. Что ни говори, но на небесах его ждет Мейзи — он не подведет ее, ведь в союзе ради детей не было бы никакого предательства.

Энтони вернулся в дом, насвистывая «Жи-

молость и пчелу»[33]. Он был очень привязан к своему отцу — поистине привязан, силой привычки, как привязываются люди к родным местам, к традиционной кухне, — но это было именно чувство привязанности. Это чувство ни в коей мере не уменьшало неловкости, которую Энтони испытывал в присутствии отца.

— Брайан! — крикнул Энтони, приближаясь к дому, крикнул, ощутив легкие угрызения совести, поскольку назвал друга Брайаном вместо Фокса или Лошадиной Морды. Звучало это не по-мужски, даже слегка дискредитирующе.

Из классной комнаты донесся ответный свист Брайана.

— Предлагаю совершить велосипедную прогулку! — воскликнул Энтони.

В школе над стариной Лошадиной Мордой посмеивались из-за его любви к птицам.

— Послушайте, ребята, — говаривал Стейтс, беря Лошадиную Морду под руку. — Отгадайте, что я сегодня видел! Два куска бремотины и игреца на жалейке. — И гигантский взрыв хохота поднимался к потолку — хохота, к которому присоединялся и Энтони. Но теперь, когда никто

---

[33] Примечания: 33

«Жимолость и пчела» — английская народная песенка. (Прим. перев. М. Ловина)

не мог устыдить его за то, что он интересовался весенними перебежчиками, грачевниками и цапельными гнездами, он стал неутомимо наблюдать за птицами. Входя в дом, мокрый и грязный после дообеденной прогулки, он победоносно спрашивал, не давая Брайану вымолвить ни слова:

— Миссис Фокс, вы знаете, что мы слышали? Первого вальдшнепа (или первого королька-ивняка)!

И Рейчел Фокс говорила: «Как великолепно!» таким тоном, что Энтони весь наполнялся гордостью и счастьем. Казалось, что «игрецов на жалейке» никогда не существовало в природе.

После чая, когда занавески были задвинуты, а лампы внесены в дом, миссис Фокс читала им вслух. Энтони, которого Вальтер Скотт всегда мучил до смерти, неожиданно для себя был очарован «Судьбами Найгеля», чтения которых он ждал с большим нетерпением.

Наступила Страстная неделя, и на некоторое время Найгеля отложили до лучшей поры. Вместо него миссис Фокс читала детям Новый Завет.

— Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, мо-

лился и говорил: Отче мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты»[34].

Лампа отбрасывала на стол яркий, четко очерченный в темноте круг света, к которому тянулись красноватые волны от языков пламени в камине. Энтони лежал на полу, и из-за спинки высокого итальянского кресла, стоявшего в круге света, до его слуха доносились знакомые слова, произнесенные мелодичным теплым голосом миссис Фокс. Слова эти преображались ее тоном и наполнялись неведомым ранее смыслом.

— И был час третий, и они распяли Его.

В десяти ударах пульса, которые Энтони отсчитал в наступившей тишине, были слышны удары молота по гвоздям. Бом, бом, бом… Он потер ладонь пальцами другой руки; тело его окостенело от ужаса, и по сжавшимся мышцам прошла сильная судорога.

— От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого [35]. — Миссис Фокс опустила книгу. — Вот одно из тех дополнений, о которых я говорила, — сказала она. — Узор, которым рас-

---

[34] Примечания: 34
Евангелие от Матфея, 26:38–39. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[35] Примечания: 35
Там же: 27:45. (Прим. перев. М. Ловина)

цвечена эта история. Нужно задуматься о веке, в который жили авторы Евангелий. Они верили, что все это может произойти в действительности при каких-то важных обстоятельствах. Они хотели воздать честь Иисусу, хотели, чтобы рассказ звучал еще более удивительно. Но из-за этого легенда кажется нам, людям двадцатого столетия, менее правдоподобной, и мы не чувствуем в ней никакой чести для Иисуса. Для нас удивительное в том, — продолжала она, и в ее голосе зазвучало глубокое волнение, — что Иисус был простым человеком, не более способным творить чудеса и принимать их от других, чем любой из нас. Просто человек, и все же он мог делать то, что делал, мог быть тем, кем был. Вот и все чудо.

Наступило молчание. Лишь часы тикали, и шелковистое пламя билось о решетку. Энтони лежал на спине, уставившись в потолок. Все внезапно прояснилось. Дядя Джеймс был прав, но другие тоже не лгали. Миссис Фокс показала, как могут сосуществовать две правды. Просто человек, и все же… О, он тоже сможет делать и быть!

Миссис Фокс снова подняла книгу. Тонкие страницы шелестели, когда она переворачивала их.

— По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина и

другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем [36].

Камень… Но там, в Лоллингдоне, была земля и один пепел в маленькой коробочке, не больше жестянки. Энтони закрыл глаза в надежде избавиться от навязчивого видения, но в багровой тьме рога, треугольная пакля рыжеватой шерсти преследовали его как наваждение. Он приложил руку ко рту и, чтобы наказать себя, начал кусать указательный палец — все сильнее, сильнее, пока боль не стала почти невыносимой.

В тот вечер, придя пожелать ему спокойной ночи, миссис Фокс села на край постели Энтони и взяла его за руку.

— Ты знаешь, Энтони, — произнесла она после недолгого молчания, — никогда не бойся думать о ней.

— Не бояться думать, — пробормотал он, словно не поняв, что она имела в виду. Однако он все осознал, осознал, может быть, больше того, что было сказано ею. Кровь бросилась ему в лицо. Он почувствовал ужас, как будто кто-то поймал его

---

[36] Примечания: 36
Там же: 28:1–2(Прим. перев. М. Ловина)

в ловушку, выгнал из надежного убежища. Страх возбудил в нем негодование.

— Не бойся страданий, — продолжала она. — Мысль о ней заставляет тебя скорбеть, это неизбежно, и это правильно. Скорбь иногда необходима, как операция, без нее не выздоровеешь. Если будешь думать о ней, Энтони, то это причинит тебе боль. Но если ты не будешь о ней думать, то обречешь мать на повторную смерть. Дух умершего пребывает в Боге, но он также живет в памяти живущих, помогая им, делая их выше и крепче. У мертвых может быть только этот вид бессмертия, если живые готовы дать его им. Ты воздашь ей этим, Энтони?

Безмолвно, в слезах он кивнул ей в знак согласия. Не столько благодаря самим словам, сколько благодаря тому, что они принадлежали ей, он почувствовал уверенность. Ее голос, звучавший повелевающе, успокоил всю боль, и мнительное негодование улеглось. С ней он чувствовал себя спокойным, и это спокойствие позволило ему рыдать, не опасаясь наказания.

— Бедный маленький Энтони! — Она погладила его по волосам. — Бедняга Энтони! Этому уже не поможешь, душа будет болеть всегда. И никогда ты не сможешь отделаться от боли при

мысли о ней. Даже время не унесет всех страданий, Энтони.

Она погрузилась в молчание и в течение минуты сидела, думая о своих отце и муже. Тучный величественный старик, похожий на пророка, сидевший в инвалидной коляске, парализованный и странно сморщенный, запрокинувший голову набок… Отец был тогда едва способен говорить, и по его седой бороде постоянно стекала струйка слюны… И человек, за которого она вышла замуж из восхищения его силой и уважения к его прямоте; она вышла замуж, но потом поняла, что не любила его, не могла, была не в состоянии полюбить; ибо его сила оказалась холодной и лишенной великодушия; его прямота оказалась грубой и жестокой. Боль смертельной болезни, которой он страдал, еще больше обострила эти черты. Он так и умер, не примирившись, до конца отвергая ее нежность.

— Да, всегда будут боль и печаль, — вновь заговорила она. — И в конце концов, — продолжила она с ноткой теплой гордости, почти вызова, — можно ли желать другого? Ты ведь не хочешь забывать свою мать, ведь так, Энтони? Или ты не хочешь больше волноваться по этому поводу? Всего лишь для того, чтобы избежать излишних

страданий. Ты не хочешь этого?

Шмыгая носом, он покачал головой. Все сказанное было вполне справедливо. В этот момент он и не думал уклоняться. От испытанного страдания он ощущал какое-то непонятное облегчение, и он любил в этот момент миссис Фокс за то, что она сумела научить его страдать.

Миссис Фокс нагнулась и поцеловала его.

— Бедный маленький Энтони! — не уставала повторять она. — Бедный маленький Энтони!

На Страстную пятницу шел дождь, но в субботу погода переменилась, и пасхальный день выдался, как по заказу, ясным и каким-то золотистым, что подчеркивало величие этого дня. Воскресение Христа и возрождение природы — две стороны одной великой мистерии. Солнце, облака, похожие на осколки мраморной скульптуры в бледном синем небе, каким-то непостижимым способом подтверждали все сказанное миссис Фокс.

Они не пошли в церковь, и, сидя на газоне, она читала вслух сперва чин пасхальной литургии, а затем отрывки из «Жизни Иисуса» Ренана [37]. У Энтони на глаза навернулись слезы, и он чувствовал несказанное стремление к совер-

---

[37] Примечания: 37

Ренан, Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский писатель богослов. (*Прим. перев. М. Ловина*)

шенству, к достижению целей возвышенных и благородных.

В понедельник привезли ватагу трущобных детей, чтобы они могли провести день в саду или в подлеске. В Балстроуде их назвали бы попрошайками и игнорировали их существование. Ничтожные зверьки, что рвут из рук подачку, а вырастая, обычно превращаются в громил и разбойников. Здесь, пожалуй, все обстояло по-иному. Миссис Фокс превратила попрошаек в несчастных детей, которые, весьма вероятно, больше никогда не увидят дикой природы.

— Обездоленные дети, — сказал ей Энтони, когда они прибыли. Но несмотря на сострадание, которое он старался сохранять сообразно уровню своего развития, несмотря на неизменную гуманность, он втайне боялся этих чахлых, но до ужаса зрелых детей, с которыми он согласился играть и которых боялся и вследствие этого ненавидел. Они казались совершенно чуждыми. Их залатанная, грязная одежда, бесформенные ботинки напоминали шкуру пятнистого леопарда; их кокни был понятен Энтони едва ли больше китайского. Даже их внешность заставляла чувствовать за собой вину. И вдобавок они смотрели на него как-то по-особенному, то с издевкой, то

с ненавистью, завидуя его новому костюму или аристократическим манерам, а самые смелые из них перешептывались и смеялись между собой. Когда Брайан становился объектом их насмешек из-за заикания, он смеялся вместе с ними, и немного спустя смех прекращался или же становился дружелюбным или даже сочувственным. Энтони, наоборот, притворялся, что не замечает их издевки. Истинный джентльмен, как его учили прямо или намеками, на примере старших, не будет обращать внимания на такие вещи. Это ниже его достоинства. Он вел себя так, будто они вовсе не смеялись, то есть он игнорировал их присутствие, и они продолжали смеяться еще сильнее.

Он ненавидел это утро с прятками и английской лаптой. Но еще хуже оказалось обеденное время. Он предложил помочь накрывать стол. Работа сама по себе не вызвала возражений. Но запах бедности, когда двадцать детей собрались в столовой, был отвратителен, как запах Лоллингдонской церкви, только гораздо хуже, и ему пришлось два или три раза выбегать в ванную. «Пропахло микробами. — Ему слышалось, будто мать сердито и испуганно ворчит: — Пропахло микробами». Когда миссис Фокс спрашивала его

о чем-нибудь, он всего лишь кивал и издавал невнятный звук с закрытым ртом; если он говорил, ему приходилось глотать! Глотать что? Даже мысль об этом казалась ему омерзительной.

— Бедные дети, — повторил он еще раз, стоя на пороге с миссис Фокс и Брайаном и глядя, как они уезжают. — Несчастные дети! — И чувствовал еще больший стыд за собственное лицемерие, когда миссис Фокс благодарила его за помощь в их развлечении.

Когда Энтони поднялся в кабинет, она говорила, повернувшись к Брайану:

— Спасибо и тебе также, мой дорогой. Ты был великолепен.

Зардевшись от похвалы, Брайан покачал головой.

— Это все т-ты, — протянул он и неожиданно, из-за сильной любви к ней, из-за ее доброты и чудесной искренности, расплакался.

Вместе они вышли в сад. Ее рука лежала у него на плече. От миссис Фокс слабо пахло одеколоном, и внезапно (это, казалось, добавило ей очарования) из-за туч вышло солнце.

— Посмотри, какие прекрасные нарциссы! — воскликнула она. Ее голос делал все, что она говорила Брайану, более истинным, чем сама

истина. — И сердце пляшет и поет… Помнишь, Брайан?

Глаза его просияли, и он кивнул.

— Войдя в… Войдя в нарциссов хоровод [38].

Обняв сына, она прижала Брайана к себе, чем вызвала его совершеннейшее ликование. Они шли, не говоря ни слова. Ее юбки шелестели при каждом шаге. Как море, подумал Брайан. Море в Вентноре, то время в прошлом году, когда он не мог спать по ночам из-за волн, бьющихся о берег. Лежа там в темноте, слушая дыхание моря в отдалении, он чувствовал страх и вместе с ним печаль, ужасную печаль. Но связанные с матерью воспоминания о том страхе, бездонной и беспричинной скорби стали прекрасными; в то же время тусклые и расплывчатые, они, казалось, придавали матери новую красоту, из-за чего она становилась еще более очаровательной в его глазах. Расхаживая по солнечной лужайке, она заключала в себе какую-то мистическую значимость, поглотившую ветер, тьму и зловещий шум прибоя.

---

[38] Примечания: 38

«И сердце пляшет и поет, / Войдя в нарциссов хоровод». — Брайан и миссис Фокс цитируют финальные строки стихотворения «Нарциссы» Уильяма Вордсворта (1770–1850) — английского поэта, главы и основоположника озерной школы романтизма. (*Прим. перев. М. Ловина*)

— Бедняга Энтони! — сказала миссис Фокс, нарушив затянувшееся молчание. — Тяжело, невыносимо тяжело.

Тяжело было и бедной Мейзи, подумала Рейчел Фокс. Это милейшее создание и ее вечная апатия, ее молчание, ее мечтания и внезапные приступы лихорадочного веселья — что общего могло быть у нее со смертью? Или с рождением? Мейзи, воспитывающая ребенка, — это едва ли не большая бессмыслица, чем мертвая Мейзи…

— Д-должно быть, это уж… — Но «ужасно» ему было не выговорить. — Ж-жутко, — выдавил Брайан, он давно научился обходить препятствие, когда мысль наталкивалась на непроизносимое для него слово, — не иметь матери.

Миссис Фокс мягко усмехнулась и, склонившись, прижалась щекой к его волосам.

— Ужасно также не иметь сына, — сказала она, осознав, что ее слова несли в себе больше правды, чем она предполагала, что они были истинны и на другом, более широком витке спирали, на более совершенном духовном уровне, чем тот, на котором она сейчас находилась. Она жила настоящим, но если было ужасно не иметь любимого сына теперь, как несравнимо более ужасно было бы не иметь его тогда, когда с ее отцом случился

инсульт, и во время болезни ее мужа. В то время, когда властвовали боль и полное духовное опустошение, единственное, что у нее оставалось, была любовь к Брайану. Да, как ужасно все-таки не иметь сына!

Глава 10

16 июня 1912 г.

Книги. Стол в комнате Энтони был завален ими. Пять фолиантов Бейля [39] в английском издании 1738 года. Перевод Рикэби «Суммы против язычников»[40]. «Проблемы стиля» де Гурмона [41]. «Путь к совершенству», «Записки из подполья» Достоевского. Три тома писем Байрона. Произведения Хуаны Инес де ла Крус [42] на испанском. Пьесы Уичерли [43]. «История монашеского безбрачия» Ли.

Если бы только, думал Энтони, возвращаясь с прогулки, если бы у него было две пары

---

[39] Примечания: 39

Бейль, Пьер (1647–1706) — французский публицист и философ, ранний представитель Просвещения. Основным его произведением является упоминаемый Хаксли «Исторический и критический словарь» (1695–1697). (*Прим. перев. М. Ловина*)

[40] Примечания: 40

«Сумма против язычников» — средневековый богословский трактат на латыни, посвященный распространению христианства в Англии. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[41] Примечания: 41

Гурмон, Реми де (1858–1915) — французский писатель и критик. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[42] Примечания: 42

Крус, Инес де ла Хуана — испанский средневековый мистик XIV в. (Прим. перев. М. Ловина)

[43] Примечания: 43

Уичерли, Уильям (1640–1716) — английский драматург, представитель «комедии Реставрации». (*Прим. перев. М. Ловина*)

глаз! Двуликий Янус мог бы читать «Кандида» и «Подражание»[44] одновременно. Жизнь слишком коротка, а книг невероятно много. Он сладострастно склонился над столом, открывая наугад то один том, то другой. «Сначала он не хотел ложиться, — прочел Энтони, — потом выяснилось, что у него слишком толстая шея для узкой прорези, и священнику приходилось почти выкрикивать свои увещевания, чтобы заглушить яростные вопли осужденного. Голова была отсечена от тела в мгновение ока; однако в последний момент он попытался втянуть ее в плечи, несмотря на то, что голову тянули за волосы, голова оказалась отсечена на уровне ушей; остальные две головы были отрублены более чисто. После первой казни я почувствовал жар и сильную жажду; меня трясло так, что я едва не выронил бинокль...» «Счастье есть особенное благо разумной натуры и должно подходить ей теми своими качествами, какие ей свойственны. Желание, однако, не является составляющей исключительно разумной натуры, но, напротив, обнаруживается во всех, хотя и совершенно раз-

[44] Примечания: 44

«Кандид, или Оптимизм» — философская повесть Вольтера (1694–1778). *«Подражание»* — имеется в виду книга святого Фомы Кемпийского «О подражании Христу», написанная ок. 1420 г. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ных существах. Воля, как и желание, не является принадлежностью исключительно разумной натуры, если только она в данном отношении находится в зависимости от разума, но разум сам по себе присущ лишь разумной натуре. Поэтому счастье состоит в титанической работе мысли гораздо в большей степени, чем в работе воли…» «Даже в самом глубоком тайнике души я не мог мыслить о любви иначе, как о борьбе, которая начинается с ненависти, а заканчивается нравственным подчинением…» «Я не стану рогоносцем, говорю я, слишком уж это опасно: сделать меня рогоносцем». «Оправился ли ты от последнего удара?»… — *«La primera noche o purgación amarga y terrible para el sentido, como ahora diremos. La segunda non tiene comparación, porque es horrenda y espantable para el espiritu»*[45]. «Кажется, я читал где-то, что любовь к краткости зашла так далеко, что дамы не говорят больше: *«J'ai mange des confitures»,* а *«des fitures»*[46]… При таком резвом темпе скоро придется исключить

[45] Примечания: 45

«Первая ночь очищения горька и мучительна для чувства, как мы и говорим. Ночь вторая не выдерживает сравнения [с первой], ибо ужасна и губительна для духа» (*ucn.*).

[46] Примечания: 46

«Я съела конфитюр» (*фр.*). *Des fitures* — сокращение слова «confiture».

из словаря Французской академии добрую половину слов…»

В конце концов Энтони сел за «Путь очищения» святой Терезы. Когда спустя час вошел Брайан, он добрался до Молитвы Успокоения.

— Занят? — спросил Брайан.

Энтони отрицательно покачал головой.

Брайан сел рядом.

— Я п-пришел, ч-чтобы па-аосоветоваться, не надо ли что-нибудь еще приготовить на завтра. — На следующий день в Оксфорд собирались приехать миссис Фокс и Джоан Терсли, и мистер и миссис Бивис. Брайан и Энтони решили занимать их совместно.

Рейнвейн или сотернское? Омаровый майонез или холодный лосось? И что лучше всего делать во второй половине дня, если пойдет дождь?

— Ты идешь сегодня к фабианцам [47]? — спросил Брайан, когда друзья обсудили планы на следующий день.

— Конечно, — ответил Энтони. В тот вечер должны были состояться выборы президента на

---

[47] Примечания: 47

В Итоне, согласно сюжету романа, существует общество по типу «Фабианского общества», созданного в 1884 г. Оно пропагандировало реформистские идеи постепенного преобразования капиталистического общества в социалистическое путем реформ. (*Прим. перев. М. Ловина*)

следующий семестр. — Будет открытый бой между тобой и Марком Стейтсом. Вам понадобятся все голоса, которые вы…

Брайан перебил его:

— Я уступаю.

— Уступаешь? Почему?

— По разным причинам.

Энтони взглянул на него и покачал головой.

— Не могу сказать, чтобы когда-нибудь мечтал об избрании на руководящую должность, — сказал он. — Не могу вообразить ничего более утомительного, чем председательствовать в какой-нибудь организации.

Даже в принадлежности к какой-либо организации нет ровным счетом ничего хорошего. Почему кого-то нужно заставлять делать выбор, если он этого не хочет, зачем связывать себя принципами, если суть человека заключается в его свободе, зачем вступать в тесную общность с другими людьми, когда почти всякий предпочтет действовать в одиночку; зачем связывать себя обещаниями быть в определенное время в определенном месте? Брайан с огромным трудом убедил его вступить в «Фабианское общество»; до всех остальных Энтони вообще не было дела.

— Это невыносимо скучно, — настаивал он на

своем, — но если уж ввязался в это дело, то зачем уступать?

— Из Марка п-получится л-лучший президент, чем из меня.

— Более грубый, если я правильно понял, что ты имеешь в виду.

— К-кроме т-того, ему очень х-хочется быть избранным, — начал было Брайан, но осекся, почувствовал угрызения совести. Энтони может подумать, что он осуждает Марка Стейтса, присваивает себе право покровительствовать ему. — Д-дело в том, ч-что он з-знает, что сп-правится с р-работой в-великолепно, — быстро заговорил Фокс. — А в-вот я… В общем, я н-не вижу п-почему…

— В действительности ты просто хочешь ублажить его.

— Н-нет-и-нет! — в полном замешательстве воскликнул Брайан. — Только не это.

— Петух на навозной куче, — продолжал Энтони, не обращая внимания на протест Брайана. — Петухом ему и быть — даже если это наимельчайшая фабианская навозная куча. — Он расхохотался: — Бедняга Марк! В какое отчаяние он придет, если не сможет занять свою навозную кучу! К счастью, я предпочитаю книги. — Он с

чувством хлопнул ладонью по святой Терезе. — И все же я не хочу, чтобы ты сдавался. Я бы умер со смеха, если б увидел, как Марк притворяется, что ему не придет в голову протестовать, если ты его побьешь. Кстати, — продолжал он, — ты читаешь газеты после голосования?

Почувствовав облегчение от перемены темы, Брайан кивнул.

— О син…

— О чем, о чем?

— О синд-дикализме[48].

Оба рассмеялись.

— Испытываешь странное чувство, — сказал Энтони, отсмеявшись, — если начинаешь думать о том, что простой разговор с социалистами о грехе должен казаться… ну… опасным, что ли. Грех… социализм. — Он покачал головой. — Это все равно что пытаться случать утку с зеброй.

— О грехе м-можно говорить, если начать с-с другого конца.

— С какого конца?

— С общественного. Обустроить все общество т-так, ч-чтобы невозможно было г-грешить.

— Ты действительно честно думаешь, что мож-

---

[48] Примечания: 48

В оригинале игра слов: «sin» — грех и «syndicalism» — синдикализм. (*Прим. перев. М. Ловина*)

но построить такое общество?

— В-возможно, — с сомнением сказал Брайан, подумав, что социальные перемены вряд ли освободят даже его самого от порочных желаний. Эти перемены вряд ли способны и как-то ограничить эти желания, если не считать каких-то узких, строго оговоренных рамок. Он покачал головой. — Н-нет, н-не знаю.

— Не думаю, что тебя хватит на большее, чем просто переводить человеческие грехи из одной области в другую. Мы, кстати говоря, уже сделали это. Возьми, например, зависть и целеустремленность. Раньше они выражались посредством физической силы. Теперь мы реорганизовали общество так, что людям приходится выражать эти качества в рамках экономической конкуренции.

— К-которую м-мы с-собираемся уничтожить.

— И таким образом вновь ввести в моду физическое насилие, так?

— Т-ты на эт-то оч-чень надеешься? — спросил Брайан, смеясь. — Т-ты п-просто уж-жасен.

Наступило молчание. С отсутствующим видом Брайан взял в руки «Путь к совершенству» и, переворачивая страницы, прочитывал, выхватывая из текста, то строчки, то целые абзацы. Потом он со вздохом захлопнул книгу, положил ее на место

и, покачав головой, сказал:

— Я н-не п-понимаю, п-почему ты ч-читаешь эту ч-чушь. Эт-то ж-же очевид-дно, что ты сам в н-нее н-не в-веришь.

— Нет, я верю, — стоял на своем Энтони. — Не в ортодоксальном смысле, конечно. Это, безусловно, было бы полной бессмыслицей. Нет, я верю в факты и в фундаментальную метафизическую теорию мистицизма.

— Х-хочешь с-сказать, что, вступив в непосредственный союз с такой теорией, можно докопаться до истины?

Энтони кивнул головой.

— Самой ценной и значимой истины можно достичь только на таком пути.

Брайан несколько минут молча сидел, спрятав лицо в ладонях, уперев локти в колени и уставившись в пол. Потом он, не поднимая глаз, заговорил:

— М-мне к-кажется, что ты пытаешься с-служить и в-вашим… и… н-н…

— И нашим, — подсказал Энтони.

Брайан кивнул.

— Т-ты используешь доводы скептицизма против религии, против идеализма в л-любом его проявлении, — добавил он, вспомнив о той язви-

тельности, с которой Энтони воспринимал любое проявление восторга, которое считал избыточным. — А вот эт-то, — Брайан указал рукой на «Путь к совершенству», — ты используешь п-против научных аргументов, если это соответствует твоей к-к… — он не справился со словом «книга» и произнес: — к-казуистике.

Прежде чем ответить, Энтони раскурил погасшую трубку.

— Ну почему же не взять лучшее у обоих миров? — поинтересовался он, бросив спичку в камин. — У всех миров. Почему нет?

— Н-ну х-хорошо, а п-постоянство, ц-целеустремленность?…

— Я не ценю целеустремленность в людях. Мне больше нравятся сложные, но интегральные натуры. Я думаю, необходимо развивать все свои способности — все до единой, а не цепляться, как осел, за одну. Целеустремленность, — повторил он. — Устрицы целеустремленны. Муравьи в муравейнике целеустремленны.

— К-как и святые.

— Именно поэтому я и не желаю быть святым.

— Н-но к-как можно з-заниматься чем-либо, н-не имея определенной ц-цели? Это ж-же п-первая с-ступенька к успеху.

— Кто сказал тебе, что я собираюсь достичь успеха? — спросил Энтони. — Меня это совершенно не прельщает. Я хочу жить полнокровной жизнью. И я жажду познания. Если оно того требует, я весьма целеустремленно принимаю все условия его достижения. — Он указал чубуком трубки на гору книг на столе.

— Т-ты н-не примешь всех условий т-такого п-познания, — отозвался Брайан, вновь беря в руки «Путь к совершенству». — М-молитва, п-пост и т-тому подобное.

— Да, потому что это не знание, это некая разновидность опыта. Единственное существенное различие, которое имеет место в мире, — это различие между знанием и опытом. Между изучением алгебры и ночью с женщиной.

Брайан оставался серьезным. Не отрывая глаз от пола, он произнес:

— Н-не считаешь ли т-ты, что м-мистический опыт заставляет с-соприкоснуться с истиной?

— Как и ночные похождения.

— Неужели? — Брайану стоил некоторого усилия этот вопрос. Ему откровенно не нравился весь разговор, не нравился потому что он был влюблен в Джоан, влюблен и все же (он ненавидел себя за это) желал ее, желал низко, по-плотски.

— Если это та женщина, — ответил Энтони с беззаботным видом знатока, словно у него был опыт со всеми типами женщин. Тем не менее, хоть Энтони и стыдился признать это вслух, он был девственником.

— П-поэтому можешь н-не беспокоиться н-насчет поста, — заметил Брайан с внезапным сарказмом.

Энтони ухмыльнулся.

— Я вполне доволен тем, что просто познал путь к совершенству.

— Д-думаю, что мне хотелось бы испытать этот опыт на собственной шкуре, — сказал Брайан после небольшой паузы.

Энтони покачал головой:

— Игра не стоит свеч. Это трагедия всякой целеустремленной деятельности. Она будет стоить тебе свободы. Ты скоро почувствуешь, что загнан в угол. Ты станешь просто каторжником.

— Н-но чтобы п-получить с-свободу, н-необходимо отмучиться на к-каторге. Это з-залог свободы. П-подлинной свободы.

— Подлинной свободы! — Энтони повторил это гнусавым голосом священника. — Мне всегда нравится такого рода спор. Другая сторона медали не есть скрытая оборотная — в этом я тебя уверяю.

Это сама медаль, ее подлинная сторона. Спроси любого мракобеса, что такое консерватизм, и он скажет тебе, что это истинный социализм. А подпольные газеты — они полны статей о необходимости Истинного Воздержания. Обыкновенное воздержание — это всего лишь полный сухой закон, а истинное воздержание есть нечто более изысканное. Истинное воздержание — это бутылка кларета за каждым приемом пищи и три двойных порции виски за ужином. Лично я за истинное воздержание, потому что я терпеть не могу никакого воздержания. Я люблю свободу. Поэтому «истинная свобода» далека от меня.

— Ч-что не мешает ей б-быть истинной, — упрямо стоял на своем Брайан.

— Называй, как хочешь, — не унимался Энтони. — Как угодно, если название звучит. «Свобода» звучит великолепно. Вот почему ты так озабочен тем, какую пользу из нее извлечь. Ты думаешь, что, если называешь тюремное заключение «истинной свободой», люди будут наперебой просить, чтобы их посадили за решетку. Самое худшее во всем этом то, что ты прав. Название говорит гораздо громче, чем то, что за ним скрывается. Толпа последует за тем, кто будет больше считаться с нею, чем с пользой дела.

Она последует за тем, кто будет ей громогласным трибуном. И конечно, «истинная свобода» звучит более громогласно, чем «свобода *tout court*?»[49]. Истина — одно из чудодейственных слов. Добавь к ней «таинство свободы», и результат будет ошеломляющим. Любопытно, — продолжил он после секундной тишины, внезапно сменив тему и тон, — что люди не говорят об истинной правде. Мне думается, разговоры о ней довольно странны. Истинная правда, истинная правда, — в растерянности повторял он. — Нет, так ни в коем случае нельзя. Это похоже на авитаминоз или Вагу-вагу. Детский лепет, который нельзя воспринимать всерьез. Если хочешь сделать изнанку правды приемлемой, то лучше называй ее духовной истиной, или внутренней истиной, или высшей истиной, или даже…

— Н-но минуту н-назад ты говорил, что есть н-некая высшая истина. Иногда т-ты относишься к ней как к т-тайне. Т-ты п-противоречишь себе.

Энтони расхохотался.

— Это и есть одно из достоинств свободы. Кроме того, — прибавил он уже серьезно, — есть разница, как мы выяснили, между логикой и

---

[49] Примечания: 49
Полная свобода (*фр.*).

эмпирикой. Всем известная истина есть то, что познано посредством практики. Необходимы два разных термина.

— Т-тебе уд-дается в-выкрутиться из чего угодно.

— Не из чего угодно, — настаивал Энтони. — Вот это будет всегда. — И он указал на книги. — Вечное познание. Тернистый путь познания, потому что постижение несомненно заводит в тюрьму. Но я хочу вечно оставаться в этой тюрьме.

— В-вечно? — вопросил Брайан.

— А почему нет?

— С-слишком большая р-роскошь.

— Ни в коем случае. Это значит забыть об удовольствиях и пахать как вол.

— Ч-что само п-по себе приятно.

— Несомненно. Но кто сказал, что нельзя получать удовольствие от работы?

Брайан тряхнул головой.

— Н-не совсем то, — проговорил он. — Нельзя злоупотреблять своими привилегиями.

— Моя привилегия не слишком велика, — произнес Энтони. — Около шести фунтов в неделю, — добавил он, имея в виду наследство, полученное от матери.

— П-плюс в-все остальное.

— Что остальное?

— Удач-ча, что тебе нравится все это. — Он протянул руку и коснулся тома Бейля. — Кроме т-того, у тебя есть все твои дар-рования.

— Не могу же я нарочно поглупеть, — возразил Энтони. — И ты не можешь.

— Н-нет, но мы должны использовать то, что у н-нас есть для чего-то другого.

— И для чего мы совершенно не пригодны, — саркастически заметил Энтони.

Не обратив внимания на насмешку, Брайан продолжал со все возрастающей, от сердца идущей страстностью.

— Мы должны использовать с-свой дар для чего-т-то иного хотя бы в виде благодарности, — горячо проговорил Брайан, сохраняя искреннюю серьезность.

— Благодарности за что?

— З-за т-то, ч-что нам отпущено свыше. Д-для н-начала з-за д-деньги. За знания, за вкус, за способность т-т-т… — Не сумев выговорить слово «творить», Брайан заменил его более удобным «делать дело». — Б-быть ученым или художником — эт-то значит добиваться личного спасения. Н-но в-ведь этот талант принадлежит и Царству Божию. Н-надо ж-ждать, ч-чтоб-бы б-быть п-по-

нятым.

— Фабианцами? — спросил Энтони с нарочитым простодушием.

— И им-ми-и тоже. — Молодые люди замолчали, пауза затянулась на полминуты. «Должен ли я это высказать? — подумал Брайан. — Должен ли я сказать это ему?» Вдруг все дамбы, сдерживавшие страстность и искренность Брайана, рухнули.

— Я решил, — заговорил он, и пафос его слов был так силен, что Брайан, сам того не сознавая, вскочил на ноги и начал мерить энергичными шагами комнату Энтони. — Я решил, что б-буду заниматься ф-философией, л-литературой и историей до тридцати, а потом п-перейду к делам более прям-мым.

— Прямым? — переспросил Энтони. — В каком смысле?

— В смысле обращения непосредственно к л-людям. В смысле п-постижения Царства Б-божия… — Сила страсти Брайана была так велика, что он лишился дара речи.

Слушая Брайана, глядя в его строгое и пылкое лицо, Энтони почувствовал, что тронут до глубины души, и по этой причине ощутил непреодолимое желание как-то защититься от непрошеного чувства. Средство было только одно

— насмешка.

— Например, ты будешь омывать ноги нищим, — сказал он. — И вытирать их своими волосами. Представляешь, какой выйдет конфуз, если ты преждевременно облысеешь.

Только потом, когда Брайан ушел, Энтони устыдился своей низости — хуже того, он сам был унижен своим рефлектирующим автоматизмом. Повел себя, как обезглавленная лягушка, которая отдергивает лапку, если на нее капнуть кислотой.

— К черту! — громко произнес он и взял со стола книгу.

Он углубился в чтение «Пути к совершенству», когда раздался глухой стук в дверь и голос, преувеличенно хриплый, как голос сержанта, орущего на новобранцев, проревел его имя.

— Что за дурацкая лестница у тебя в доме! — загремел Джерри Уотчет, войдя в дверь. — Какого черта ты живешь в этой поганой берлоге?

Джерри Уотчет отличался светлой кожей, мелкими невыразительными чертами лица и волнистыми золотисто-каштановыми волосами. Приятный во всех отношениях молодой человек, именно приятный, ибо, несмотря на свой высокий рост и мощное телосложение, Джерри

обладал смазливостью молоденькой девочки. Для поверхностного наблюдателя этот великан представлял собой типичный образчик аркадского пастушка, однако при более внимательном взгляде становилось ясно, что эта идиллическая внешность странным образом уживалась с жестокой наглостью его голубых глаз, едва заметной презрительной улыбкой, которая то и дело кривила его губы, и с пугающей грубостью толстых пальцев с коротко остриженными ногтями.

Энтони указал ему на стул, но Джерри отрицательно мотнул головой.

— У меня мало времени. Я просто зашел сказать, что тебя приглашают на ужин сегодня вечером.

— Я не смогу.

Джерри нахмурился.

— Почему?

— Я иду на заседание фабианцев.

— И ты считаешь это достаточно уважительной причиной, чтобы не пойти в гости ко мне?

— Прости, но я пообещал, и…

— В общем, жду тебя в восемь.

— Но, собственно…

— Не будь дураком. Какая разница? Детская вечеринка.

— Но какую отговорку я придумаю?

— Говори им, что хочешь. Скажи, что у тебя только что родилась двойня.

— Ну ладно, уговорил, — сдался Энтони. — Я приду.

— Премного благодарен, — сказал Джерри с вежливостью, граничившей с издевкой. — Я бы сломал тебе шею, если б ты не пришел. Ну бывай. — Он помедлил перед тем, как выйти. — У меня будут Бимбо Эбинджер, Тед, Вилли Монмаут и Скруп. Я хотел позвать и старину Горчакова, но этот дубина простудился и слег в последний момент. Поэтому мне пришлось прийти к тебе, — добавил он будничным голосом, что было самым оскорбительным в его поведении. Лучше бы он с пафосом подчеркнул, как повезло Энтони, что заболел этот бонвиван Горчаков. Джерри повернулся и стремительно вышел.

— Т-тебе он н-нравится? — однажды спросил Брайан, когда речь зашла о Джерри. Вопрос отозвался в душе Энтони очень болезненным эхом, и он резко ответил, что ему, несомненно, очень приятен Джерри Уотчет.

— Почему еще, ты думаешь, я вожу с ним дружбу? — процедил он, глядя на Брайана с явным раздражением. Фокс не ответил, и вопрос, словно бумеранг, вернулся к Энтони. Да, в самом деле,

что связывает его с Джерри? Конечно же, ему не нравился этот человек; Джерри оскорблял и унижал Энтони, и у него не было ни малейшего сомнения, что Уотчет, не задумываясь, снова и снова будет оскорблять и унижать его по любому, самому пустяковому поводу или просто без повода — всего-навсего чтобы подшутить, ведь ему всегда доставляло удовольствие обливать других грязью, у Джерри был природный талант причинять людям боль. Так почему же, почему?

Энтони был вынужден признать, что причиной этих странных отношений был обыкновенный, ничем не разбавленный снобизм. Это была тайна, но тайна постыдная. Это абсурдно и смешно; но факт оставался фактом — ему приятно в обществе Джерри и его друзей. Быть в близких отношениях с этими аристократами и плутократами и в то же время сознавать, что превосходишь их умом, вкусом, суждениями, то есть всем тем, что действительно важно. Это сознание удовлетворяло тщеславие юного Энтони Бивиса.

Признавая его интеллектуальное превосходство, эти юные варвары ожидали, что он станет добровольно развлекать их в награду за восхищение. Он был с ними близок, но близок так же, как был близок Вольтер к Фридриху Великому, а

Дидро к императрице Екатерине. Что поделаешь, придворного философа не всегда легко отличить от королевского шута.

С подлинным одобрением и в то же время покровительственно и с некоторым уничижением Джерри повторял после своего очередного выпада: «Слава профессору!» или: «Налить еще господину профессору!» — как будто Энтони был итальянским шарманщиком, за гроши вертящим свой немудреный инструмент.

Унижение, о котором вспоминал Энтони, уязвило его, как жало скорпиона. С внезапным остервенением он встал со стула и, нахмурясь, зашагал по комнате.

Сноб из среднего класса, которого терпят лишь потому, что он может забавлять публику. Сама мысль об этом была отвратительна, болезненна. «Почему я должен это терпеть? — не унимался он. — Почему я такой Богом проклятый дурак? Я пошлю Джерри записку, в которой напишу, что не смогу прийти». Но время шло, а записка оставалась ненаписанной. Ведь, в конце концов, думал он, в этом положении есть и некоторые преимущества, и удовлетворение. Вечер, проведенный с Джерри и его знакомыми, был забавным и поучительным. Забавным и поучительным не потому,

что у них можно действительно поучиться чему-то полезному, нет, все они тупицы и безгранично невежественные люди. Нет, дело было в том, какими они представали перед ним, какими их сделали обстоятельства; в том, что благодаря своим деньгам и своему положению они могли пользоваться такой свободой, о которой Энтони приходилось лишь читать в книгах; в том, что многие обстоятельства, которые сильно стесняли его, практически не существовали для этих людей. Они, как бы между прочим, позволяли себе такие вещи, которые он мог воспринимать лишь теоретически, будучи не в состоянии соотнести их с источниками тщательно извращенной метафизики и искусно состряпанной мистической теологии. Только в силу социальных и экономических обстоятельств эти дикари находили естественным такое поведение, о каком Энтони не осмеливался думать даже после прочтения всего того, что Ницше говорил о сверхчеловеке или Казанова о женщинах. Им не приходилось

читать Патанджали [50] и Якоба Бёме[51], чтобы оправдать свои пьяные оргии и распутство; они просто пили и баловались с девочками, словно резвились в Эдемском саду. Они смотрели на жизнь без смущения и страха, как Энтони, не скорбно, словно из-за невидимых, но прочных решеток. Они вели себя с простодушной надменностью тех, кто искренне считает, что Бог создал их для наслаждения, а сами они всегда будут окружены обожающими их друзьями.

Правда, у них были также убеждения, сковывающие их; иногда они, подобно бедняге Брайану, были готовы наложить на себя оковы самых строгих обетов. Но эти обеты, как и предубеждения, принадлежали их элитарному обществу, и поэтому, насколько Энтони это понимал, не требовали от юных аристократов никаких видимых усилий. Их пример освободил его от тех пут, которые наложило на него воспитание, но был бессилен связать его другими путами, в которых они проводили свою жизнь. Необходимость

---

[50] Примечания: 50

Патанджали (предположительно II в. до н. э. — II в. н. э.) — древнеиндийский философ, основатель системы йога. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[51] Примечания: 51

Бёме, Якоб (1575–1624) — немецкий философ, представитель мистического пантеизма. (*Прим. перев. М. Ловина*)

быть учтивым, парализующий страх перед общественным мнением, заученные фразы жеманных буржуа претили ему в их обществе, но когда Бимбо Эбинджер в негодовании не хотел и слушать предложение продать старый особняк жуткого вида, который съедал три четверти его дохода, когда Скруп грозился дойти до парламента, потому что в его семье старшие сыновья заседали в палате общин перед тем, как вступить в чин, Энтони чувствовал всего-навсего странное изумление первооткрывателя, рассматривающего предметы культа негритянского племени. Разумный человек не позволит обратить себя в религию мумбо-юмбо, но побыть немного туземцем он не откажется. Культ мумбо-юмбо состоит в соблюдении табу; становление туземцем означает свободу. Истинную свободу! Энтони усмехнулся про себя, и его добродушие и беспристрастность снова вернулись к нему. Сноб, да вдобавок плебейского рода. Это не вызывает сомнений. Но его снобизму было оправдание. И если эти молодые, но тупые щеголи решили смотреть на него как на своего первосортного шута, то с этим приходилось мириться, ибо такова была цена свободы. Общение с фабианцами не требовало платы; но как мало они сами могли ему дать! Социа-

листические доктрины могли до определенной степени обеспечить свободу разуму, но и то лишь в теории, а пример молодых варваров показывал образцы освобождения практического.

«Мне ужасно жаль, — писал он в письме Брайану, — но я внезапно вспомнил, что иду сегодня на званый ужин. («Званый» было одним из слов, особенно любимых его отцом, слово, которое сам Энтони ненавидел из-за его аффектации. Он лгал в письме, и это слово не случайно соскочило с его пера.) Увы (это тоже был излюбленный оборот отца), но я не смогу послушать твои высказывания о грехе! С удовольствием бы отделался от этого скучного вечера, но не знаю, как это сделать. Твой Э.».

Когда на стол подали фрукты, все были уже порядком подшофе. Джерри Уотчет рассказывал Скрупу о немецкой баронессе, которую он соблазнил на пароходе, когда путешествовал в Египет. У Эбинджера не оказалось слушателей, и он для себя одного декламировал лимерики: про юную леди из Вика, старика из Девиза, юнца Маккилана — целая энциклопедия знаменитостей страны. Тед и Вилли заспорили о том, как лучше всего подстрелить куропатку. Не имея собеседника, Энтони молчал. Разговор нарушил

бы то состояние хрупкого счастья, в котором он пребывал. Последний стакан шампанского погрузил его в иное измерение, необычайно прекрасное, бесценное и неделимое. Яблоки и апельсины на серебряном подносе напоминали огромные рубины и хризолиты. В каждом из стоявших под свечами стаканов искрилось не вино, а огромные берилловые камни, желтые, твердые и прозрачные. Розы казались словно вытканными из глянцевого атласа, который обладал яркой и твердой выточенностью формы, характерной для стекла и металла. Даже звуки казались замершими и хрустальными. Юная леди Кью была для него равнозначна грандиозной нефритовой статуе, а яростная, но бесполезная дискуссия насчет куропатки походила на водопад зимой. «*Le transparent glasier des vols qui n'ont pas fui*»[52], — подумал он с нарастающим чувством радости. Все было чрезвычайно ярким и кристальным, но в то же время каким-то дальним, необычайно потусторонним. Яркие из-за сумерек, вползающих в комнату с улицы, лица собравшихся виделись как нечто, что могло находиться по ту сторону стекла, в освещенном аквариуме. Энтони

[52] Примечания: 52

Зд.: «Прозрачный ледник, летящий и не могущий остановиться» (*фр.*).

ощущал себя не только снаружи, но, что было сродни мистике, внутри. Смотря сквозь стекло на эти морские цветы и подводные самоцветы, он чувствовал себя рыбой, но рыбой гениальной, рыбой божественной крови. ICHTHUS — *Jesos Christos theou hurios soter*[53]. Его божественная рыбья душа витала там, в какой-то неизведанной стихии, и не переставая таращила стекловидные глаза, пронизающие все, но бессильные участвовать в том, что происходило. Даже руки его, лежавшие там, на столе перед ним, перестали в самом реальном из всех смыслов принадлежать ему. Из своей водяной твердыни он наблюдал за ними с тем же отчужденным и блаженным восхищением, которое чувствовал при виде фруктов и цветов, преобразившихся осколков застывшей жизни или лиц его друзей. Прелестные руки, созданные — о чудо! — для всевозможных дел: прицеливаться из двустволки в пролетающих птиц, ласкать бедро немецкой баронессы, одетой в трико, играть в воображаемые весы на настольном сукне и прочих. Очарованный, он следил за движением своих пальцев, плавно скользивших по гладкой поверхности ее кожи. Роскошные

[53] Примечания: 53
Спасение, посланное от Бога (*др. — греч.*).

руки! Но не более чем часть его рыбьей души, заключенной в этом безвременном аквариуме, чем руки Эбинджера, чистящего банан, или руки Скрупа, подносящего зажженную спичку к сигарете. Я не есть мое тело, не есть мои ощущения, я не есть даже мой разум — я есть то, что я есть. Я есмь то, что есмь.

Священное слово «есмь» относится к Самому. Бог не ограничен временем. Ибо Единосущий живе вкупе со всем и превыше вещей тварна.

— Привет, профессор! — Кусок апельсиновой корки больно ударил его по щеке. Он встал и огляделся. — Черт возьми, о чем ты задумался? — Голос Джерри Уотчета звучал намеренно хрипло, что забавляло его, заставляя носить отвратительную маску. Аквариумная вода, по которой на мгновение пошла рябь, уже пришла в спокойное состояние. Снова став рыбой, божественной и космически блаженной, Энтони улыбнулся ему улыбкой, полной кротости и снисхождения.

— Я думал о Плотине[54], — сказал он.

— Почему о Плотине?

— Почему о Плотине? Ну, дорогой мой сэр, не ясно ли это как день? Наука есть разум, а разум

---

[54] Примечания: 54

Плотин (204–270) — греческий философ, основатель неопатеизма. (*Прим. перев. М. Ловина*)

есть множественность. — Рыба обрела язык, красноречие хлынуло из аквариума беспрепятственным потоком. — Но если случится так, что человек почувствует себя немногочисленным, — о чем же еще думать, как не о Плотине? Если, конечно, ты не предпочитаешь Лже-Дионисия, Экхарта или святую Терезу. Полет одиночества к Одиночеству. Даже Фома Аквинский был вынужден признать, что ни один разум не может видеть Божественную сущность, если он не лишен пяти земных чувств в результате смерти или экстаза. Экстаза — заметь это хорошенько! Экстаз, однако, есть всего лишь экстаз, какая причина бы его ни вызвала — шампанское ли, косоглазие, или распятие, или занятие любовью — предпочтительно на пароходе, Джерри. Я первый, кто принял это — предпочтительно на пароходе. О чем говорят суровые волны? О восторге! Об экстазе! Громко выкрикивают это! Пока (заметь!), пока дыхание этого телесного остова или даже движение крови в жилах почти прекращено, душа наша погружается в сон и становится живой по мере того, как успокаивается глаз…

— Жил да был один парень из Бирмы, — внезапно задекламировал Эбинджер.

— Успокаивается, — повторил Энтони, на этот

раз громче, — силой гармонии…

— Чья невеста работала в фирме…

— И глубокой силой счастья, — заорал Энтони, — мы проникаем…

— Он на брачной пирушке кушал шпанские мушки…

— Проникаем в сущность вещей. Сущность вещей, говорю я вам. Сущность вещей, и к черту всех фабианцев!

Энтони вернулся на квартиру примерно без четверти двенадцать ночи и был неприятно удивлен тем, что, войдя в гостиную, увидел человека, который при его появлении вскочил с кресла, словно чертик из табакерки.

— Боже, как ты меня напугал…

— Ну наконец-то! — сказал Марк Стейтс. На его резко очерченном лице было написано гневное нетерпение. — Жду битый час. — Затем презрительно буркнул: — Да ты, кажется, пьян?

— Как будто ты сам никогда не бывал пьян, — отозвался Энтони. — Помню, как…

— Был, был, — молвил Марк Стейтс, перебив его, — но это было на первом курсе. — На первом курсе, когда он почувствовал необходимость доказать, что он мужчина — самый мужественный, самый шумный и самый пьющий. — Сейчас у

меня есть дела поважнее.

— Это ты так думаешь, — отозвался Энтони.

Марк посмотрел на часы.

— У меня не больше семи минут, — сказал он. — Ты достаточно трезв, чтобы слушать?

Энтони сел на стул с молчаливым достоинством. Приземистый, широкоплечий и крепкий, Марк навис над ним почти угрожающе.

— Разговор пойдет о Брайане.

— О Брайане? — Затем с понимающей улыбкой Энтони проговорил: — Это значит, что я должен поздравить тебя с вступлением на пост нашего президента?

— Идиот, — рассерженно выдавил Марк. — Думаешь, я принимаю такие подачки? Как только он снял свою кандидатуру, я тотчас снял свою.

— И тогда этот гнусный малявка Мамби вступит в должность?

— Какое мне дело до Мамби?

— Какое нам вообще дело друг до друга? — картинно провозгласил Энтони. — Совершенно никакого, и слава Богу. Абсолютно ника…

— Чего он добивался, оскорбляя меня так?

— Кто? Мамби?

— Да нет. Брайан, конечно же.

— Он считает, что всегда любезен с тобой.

— На фига мне сдалась его паршивая любезность? Почему он не может вести себя нормально?

— Его забавляет то, что он ведет себя как христианин.

— Вот ради Христа и скажи ему, чтобы он пробовал это на ком-нибудь другом. Я не любитель христианских шуток. В действительности нужен петух, с которым можно было бы подраться.

— Это как понять?

— Иначе ты не получишь должного удовольствия, забравшись на вершину навозной кучи. А Брайан хочет, чтобы мы сошлись, как два каплуна. И уж если речь зашла о навозных кучах, я полностью поддерживаю Брайана. Когда мы заговорим о курицах, я начну колебаться. — Марк снова взглянул на часы. — Мне пора идти. — У двери он обернулся. — Не забудь передать ему то, что я сказал тебе. Мне нравится Брайан, и я не хочу вступать с ним в спор. Но если он снова будет корчить из себя христианина и милосердную душу…

— Бедный мальчик навеки потеряет твое уважение, — заключил Энтони.

— Шут! — крикнул Стейтс и, захлопнув с грохотом дверь, побежал вниз по лестнице.

Предоставленный самому себе, Энтони взял пятый том «Исторического словаря» и принялся читать статью Бейля о Спинозе.

Глава 11

8 декабря 1926 г.

«*Condar intra MEUM latus!* [55] Вот единственное наше убежище». Энтони извлек лист бумаги из пишущей машинки, положил его в стопку других листов, скрепил их и стал перечитывать написанное. Глава одиннадцатая его «Основ социологии» была посвящена индивидуальности и его концепции личности. Он провел целый день, делая предварительные, еще не окончательно созревшие наброски. «Cogito, ergo sum[56], — прочел он. — А почему бы не сказать «*Caco, ergo sum*[57]. Или «*Eructo, ergo sum*»[58]. Или, уж если без солип-

---

[55] Примечания: 55

Ширится пропасть вокруг меня! (*лат.*)

[56] Примечания: 56

«Я мыслю, следовательно, я существую» (*лат.*). Один из основополагающих принципов философии Рене Декарта (1596–1650) — французского философа, физика и математика.

[57] Примечания: 57

«Испражняюсь, следовательно, существую» (*лат.*).

[58] Примечания: 58

«Блюю, следовательно, существую» (*лат.*).

сизма, почему не «*Futuo, ergo sumus*»?[59] Пошлые вопросы. И все же что такое личность?»

«Мак-Таггарт[60] знает свою личность непосредственно, остальные знают ее по описаниям. Юм и Брэдли [61] вообще не имели понятия о ней и не верили в ее существование. Все это обыкновенное расщепление, воображаемые волосы лысого мужчины. Какое значение имеет то обстоятельство, что «личность» — это не более чем расхожее слово с общепринятым смыслом?

Люди обсуждают мою «личность». О чем они при этом говорят? Не о *homo cacans* и не о *homo eructans*, и даже (пусть поверхностно) не о *homo futuens*. Нет, они беседуют о *homo sentiens*[62] (невозможная латынь) и о *homo cogitans*. И когда я публично говорю о «себе», мне приходится иметь

---

[59] Примечания: 59

«Совокупляемся, следовательно, существуем» (*лат.*).

[60] Примечания: 60

Мак-Таггарт, Джон Эллис (1866–1925) — английский философ-идеалист, создавший на основе теории диалектики Гегеля и учения Лейбница о монадах теорию об основе мира — «духовном сообществе» личностей. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[61] Примечания: 61

Брэдли, Фрэнсис Герберт (1846–1924) — английский философ-идеалист, один из ведущих представителей неогегельянства. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[62] Примечания: 62

Человек чувствующий (*искаж. лат.*).

в виду именно этих двух *homines*[63]. Моя «личность» согласно молчаливому договору суть мои мысли и чувства, точнее, то, что я доверяю своим мыслям и чувствам. *Caco, eructo, futuo* — я никогда не признаюсь, что первое лицо единственное число этих глаголов — это в действительности я. Только тогда, когда по той или иной причине они ощутимо задевают мои чувства и мысли, процессы, которые они представляют, начинают происходить в рамках моей «личности». (Эта цензура превратила в полную бессмыслицу всю литературу. Пьесы и романы просто не соответствуют истине.)

Таким образом, «личное» всегда заслуживает доверия или потенциального доверия; но такого отношения никогда не заслуживают вещи морально недифференцированные.

Личностные процессы требуют определенного времени. Слишком краткий опыт менее личностен, нежели опыт недостойный либо просто растительный. Такие опыты становятся личностными лишь тогда, когда они сопровождаются чувствами и мыслями или когда будят значимые воспоминания.

---

[63] Примечания: 63
Людей (*лат.*).

Материя, как показывает аналитический опыт, состоит из пустого пространства и электрических зарядов. Возьмем для примера женщину и умывальник. Эти тела различны по своей природе. Но составляющие их электрические заряды практически тождественны друг другу. Однако сложенные вместе электрические заряды, составляющие женщину, и заряды, составляющие умывальник, начинают проявлять совершенно различные свойства. Изменения количества, если они достаточно велики, вызывают изменения качественные. Теперь допустим, что человеческий опыт подобен материи. Подвергнем его анализу, и мы убедимся в существовании психологических атомов. Множество этих атомов составляют тотальный опыт, а выборки атомов из нормального опыта составляют то, что мы называем личностью. Каждый индивидуальный атом нисколько не напоминает нормальный опыт и еще менее напоминает личность. И, обратно, каждый индивидуальный атом напоминает соответствующий атом другого человека. Если рассматривать тело женщины в микроскоп, то его будет невозможно отличить от умывальника, а опыт Наполеона станет тождественным опыту

Веллингтона [64]. Собственно говоря, почему мы воображаем, что существует твердая материя? Только по причине грубости наших органов чувств. Почему мы воображаем, что имеем связный опыт и некую цельную личность? Из-за того, что наш мозг работает чрезвычайно медленно и имеет весьма ограниченные способности к анализу. Наш мир и мы, кто в нем живет, суть порождения глупости и плохого зрения.

Впрочем, совсем недавно наступило некоторое улучшение способности мыслить и видеть. Мы получили в свое распоряжение правила, согласно которым можно расщепить материю на весьма малые частицы, и математический аппарат, позволяющий размышлять о свойствах еще более мелких частиц.

Психологи не располагают новыми инструментами, но лишь новой техникой мышления. Все их изобретения — чисто ментальны — техника анализа и наблюдений, рабочие гипотезы. Благодаря романистам и профессиональным психологам мы теперь можем рассматривать наш опыт как

---

[64] Примечания: 64

Веллингтон, Артур Уэлсли (1769–1852) — английский полководец и политический деятель, премьер-министр 1828–1830 гг., наиболее известный благодаря победе над Наполеоном в битве при Ватерлоо. (*Прим. перев. М. Ловина*)

в понятиях атомов и мгновений, так и в понятиях звездных скоплений и часов. В прошлом сносным психологом мог быть только человек, отмеченный печатью гения. Сравните психологию Чосера с психологией Гауэра[65], не говоря уже о Боккаччо. Поставьте рядом Шекспира и Бена Джонсона [66]. Различие не только в качестве, но и в количестве. Гении эпох знали больше, чем их просто интеллигентные современники.

К настоящему времени накопился большой и громоздкий багаж знаний, методов и рабочих гипотез. Эрудиция простого современного интеллигента огромна — гораздо больше, чем у необразованного гения, полагающегося только на интуицию.

Мешало ли Гауэру или Джонсону их невежество? Нисколько. Их невежество соответствовало среднему уровню образованности того времени. Немногие монстры интуиции могли знать больше, чем они, но большинство знало гораздо

---

[65] Примечания: 65

Гауэр, Джон (1330–1408) — английский поэт. Поэмы «Зерцало размышляющего» (1376–1379), «Глас вопиющего» (ок. 1382). (*Прим. перев. М. Ловина*)

[66] Примечания: 66

Джонсон, Бенджамин (1573–1637) — английский драматург, автор пьес «Вольпоне, или Лиса» (1605), «Алхимик» (1610). (*Прим. перев. М. Ловина*)

меньше. Отступление здесь, как говорят социологи, более важно, чем сама тема. Приходят и уходят моды на разные типы личности. Моды, варьирующие со временем, как моды на кринолины или юбки-бочонки. Моды меняются в зависимости от местности — носят же набедренные повязки на Золотом Берегу и фраки на Ломбард-стрит[67]. В первобытном обществе каждый носил ту личину, которую хотел. Тем не менее каждое общество имеет свой духовный облик. Идеалом личности у краснокожих индейцев на северо-западном тихоокеанском побережье был слегка сумасшедший вояка, сражающийся со своими конкурентами за племенное имущество и власть. У индейцев долин идеальным считался эгоист, борющийся с другими из-за жажды свершения воинского подвига. У латиноамериканских пуэбло [68] идеалом был не вояка-эгоист и не явный разрушитель или сорвиголова, а сильный лидер с поистине неукротимой энергией, стоящей ему невероятных усилий, и знаток всех ритуалов, оккультных

[67] Примечания: 67

Ломбард-стрит — улица в Лондоне, где находятся банки и крупнейшие финансовые корпорации. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[68] Примечания: 68

Пуэбло — общее название группы индейских племен в некоторых штатах США и в Северной Мексике. (*Прим. перев. М. Ловина*)

жестов и правил, внешне выглядящий как любой другой член племени.

Европейские общества крупны и разнородны расово, экономически и профессионально, поэтому трудно насадить определенную систему взглядов всем, и в них успешно сосуществуют несколько личностных идеалов. (Заметьте, что фашисты и коммунисты пытаются утвердить один канонический идеал. Другими словами, они пытаются заставить высокоиндустриализированных европейцев вести себя как нивхи или эскимосы. Попытка в конечном итоге обречена на провал, но пока и те и другие с огромным удовольствием расправляются с инакомыслящими!)

Какой же моде принадлежит главенство в нашем мире? Есть, конечно, обычные клерикальные и коммерческие моды, созданные, словно на заказ, уличными портняжками. Но есть и *la haute couture*[69]. *Ravissante personnalité d'intérier de chez proust. Maison Nietzsche at Kipling: personnalité de sport. Personalité de nuit, creation de Lawrence.*

[69] Примечания: 69
Высокая мода (*фр.*).

Personnalité de bain, par Joyce[70]. Возьмите на заметку интересный факт, что физически сильная личность — единственное из этого перечня, что может считаться личностью в привычном смысле этого слова. Остальные в большой или малой степени обезличены, поскольку являются раздробленными. Это вновь возвращает нас к Шекспиру и Бену Джонсону. Прагматик с уверенностью скажет, что психология Джонсона вернее, чем психология Шекспира. Большинство из его современников воспринимали себя и воспринимались как Нравы. Шекспиру понадобилось многое, чтобы определить черты каждого Нрава, скрытые маской условностей. Шекспир остался в одиноком меньшинстве, если не считать Монтеня . «Нравы» Джонсона работали, а сложная, многообразная система Шекспира нет.

В сказке про голого короля невидимую наготу обнаруживает ребенок. С приходом Шекспира все стало наоборот. Его современники считали, что он лишь обнажил Нравы; он увидел, что они располагали целым гардеробом маскарадных костюмов.

---

[70] Примечания: 70

Внутреннее пространство Пруста. Приход Ницше и Киплинга — спортивная личность. Порождение ночи — создание Лоренса. Выходец из ванны — герой Джойса (*фр.*).

К примеру, Гамлет. Он жил в мире, главным психологом которого был Полоний. Если бы он знал столь же мало, сколько Полоний, он был бы счастлив. Но он знал слишком много, и в этом его трагедия. Прочтите еще раз ту притчу о флейтах. Полоний и ему подобные сочли аксиоматичным то, что этот человек был не более чем грошовая дудочка с шестью-семью отверстиями. Гамлет же знал, что по крайней мере по силе своего духа он был целым симфоническим оркестром.

Безумная Офелия проговорилась: «Мы знаем, кто мы есть и кем мы можем стать». Полоний прекрасно осознает, что представляет собой он и все другие, но лишь в рамках общепринятых норм. Гамлет знает и это, и то, кем такие могут стать — за пределами масок и характеров.

Быть единственным в своем поколении: кто знает, кем могут быть люди и кем они в действительности являются! У Шекспира в жизни должно было быть много неприятных эпизодов.

Блейку было уготовано подвести рациональную основу под психологический атомизм и сделать его философской системой. Человек, согласно ему (и впоследствии согласно Прусту и Лоренсу), — простое чередование различных состояний. Добро и зло присущи состояниям

человеческой души, а не самим душам, которые в действительности не существуют, кроме как там, где можно говорить о состоянии. Это представляет собой смерть человека как личности в самом древнем смысле этого слова. Кстати говоря, не есть ли это (что лежит, пожалуй, за пределами социологии) рождение нового типа личности? Цельной личности, не выхолощенной и не подверженной селекции, не подчиненного догмам человека, не живущего, если перефразировать известное изречение, в канализационной трубе *Weltanschauung*[71], словом, человека, являющегося тем, кем он может на самом деле быть. Такой человек есть противоположность любому из образов идеального христианина нашей истории. И все же в определенном смысле он представляет собой воплощение той идеальной личности, пример которой есть евангельский Иисус. Воплощенное духовное совершенство, цельный, неприукрашенный, не моралистического склада *homo* характеризуется, во-первых, тем, что делает то, что говорит, не подвержен общему стереотипу и неподкупен, не тешит себя гордыней и не пыжится, чтобы казаться лучше

[71] Примечания: 71
Мировосприятие (*нем.*).

других, во-вторых, скромен и не имеет чрезмерного самомнения благодаря своему нежеланию возноситься превыше человеческой природы, в-третьих, беден духовно, не выпячивает свое Я и не желает ничего ни от кого, довольствуясь тем, что есть; если это человек пожилого возраста, то ему скорее свойственна незамысловатость умственного склада, и, в-четвертых, он должен обладать детской непредвзятостью, полагаться на первичность опыта, а не познания, ради самого опыта никогда не откладывает мысль на завтра и готов предоставлять мертвым самим погребать своих мертвецов; в-пятых, не лицемер и не лжец, поскольку нет точной модели, указывающей, кем должна притворяться личность.

Встает вопрос: существовал ли когда-либо такой человек? В году *m* человек чувствовал x в условиях *z*. В году n он испытывает то же самое чувство *x* в условиях *p. X* — главное чувство, жизненно важное для личности, но оно испытывается тогда, когда происходят изменения в моде. «Лучше смерть, чем бесчестье». Но честь подобна женской юбке — ее носят короткой, длинной, свободной, узкой, приталенной или со складками, носят в виде сарафана или без нижнего белья. До 1750 года считалось, что че-

ловек способен чувствовать, и он чувствовал себя смертельно оскорбленным, если видел, как незнакомец обольстительно щиплет его сестру. Настолько сильным было наше возмущение, что хотелось взять и придушить его. Сегодня честь наша не имеет ничего общего с женской плотью и имеет все везде. И так продолжается, несмотря ни на что.

Так что же представляет собой личность? Или она ничего собой не представляет?

Она не есть весь наш опыт. Не есть и психологическая монада или момент. Не сводится она к сенсорной активности или растительной жизни. Она есть опыт, созданный пространством и временем. Она есть чувство и мысль. Кто же делает этот выбор из целого опыта и на каком основании? Иногда это делаем мы — кто бы мы ни были. Но подчас он делается за нас стихийной волей народа или общественного класса. В серьезной степени личность не есть даже наша личная собственность.

Туманно, но этот факт еще требует осознания. В то же время все возрастающее и возрастающее количество народа извлекает пользу из современных средств, чтобы увидеть себя и других в определенном квадрате четырехмерной среды.

Более того, имея рабочую гипотезу бессознательного, все растущее количество интеллектуалов знакомится с тайными поведенческими мотивами и осознает, насколько большую роль в их жизни играют постыдные биологические стороны опыта. С какими результатами? Старое понятие о личности уже мало куда годится. И не только понятие, но и сам факт. «Сильные личности», даже «яркие личности» встречаются все реже и реже. Фашисты нашли выход из положения и производят их намеренно путем образования. Образования, обедняющего человека, превращающего его в эскимоса, что влечет за собой подавление психологической науки и создание всех условий для невежества в данной области. Одиозная политика, но, я подозреваю, неизбежная и, используя термин социологии, корректная. Ибо наше психологическое чутье очень может принести вред обществу. Людям нужны простые джонсоновские нравы, а не бесформенный набор самосознающих состояний. Вот еще один пример пагубности глубокого знания и излишне бурного развития технической науки.

Кроме того, Гамлет все еще является светочем разума. Полоний в гораздо большей степени живой человек, чем он. В самом деле, личность

Гамлета настолько таинственна, что критики извели тонны бумаги и литры чернил, чтобы выяснить, кем он был. Конечно же, Гамлет не был живым человеком, он не существовал вовсе, поскольку знал слишком много для смертного. Он догадывался о том, что обладает глобальным опытом, который накапливался с каждой секундой капля за каплей, не признавая никаких правил, которые бы определили его выбор в пользу одного набора узорчатых атомов, а не другого. Для себя и для окружающих он был просто серией последовательно сменяющих друг друга разнообразных состояний. Отсюда то смятение в Эльсиноре и в стане шекспировских критиков за минувшие три столетия. Честь, Религия, Предосторожность, Любовь, все обычные атрибуты, присущие нормальной личности, здесь были изглоданы рефлексией. Гамлет оказался своим собственным термитом — бесконечным самогрызением он превратил себя, отделенного от мира недосягаемой гордыней, в кучу опилок. Только одно помешало Полонию и всем остальным немедленно прояснить ситуацию: независимо от состояния психики физически Гамлет оставался здоровым, не разложившимся на атомы, предельно безвредным для чувств окружающих. И может

быть, это в конце концов и стало настоящей причиной нашей веры в личность — физическая сила и высокая приспособляемость тел. И может быть, насколько актуальным ни было бы понятие о целостности личности, она есть всего лишь продукт физической выносливости. Какие волосы, какая стройная фигура! Я думаю, у мистера Джоунза прекрасный к-характер! Когда я такое услышал в автобусе, идущем по Пятой авеню, я расхохотался. В то время как мне, наверное, надлежало слушать так, как если бы передо мной сидел Спиноза. Ибо что есть самое личное в человеке? Не его разум — его тело! Какой-нибудь Херст или Ротермер [72] могут выпестовать мои чувства, заставить меня мыслить так, а не иначе. Но никакое количество информации, которую они на меня обрушат, не сделают мое пищеварение или обмен веществ в точности таким же, как у них. Я мыслю, следовательно, я существую. Но: caco, ergo sum.

Здесь, подозреваю я, кроется причина того настойчиво внимательного отношения к телу, проявившегося за последние годы. От бойскаутов до причудливых развратников и от Элизабет Арден до Д. Г. Лоренса, одного из самых сильных

---

[72] Примечания: 72

Херст и Ротермер — представители крупнейших в 1920-е гг. издательских компаний. (*Прим. перев. М. Ловина*)

сокрушителей личности. В его книгах нет «характеров». Только одно тело, всегда и везде. Теперь тело обладает колоссальной ценностью. В то время как душа или ум, может быть, разорваны на куски — измолоты в опилки, как у Гамлета. Только самые глупые и бесчувственные в наши дни обладают самой сильной и утонченной душой. Только варвары среди нас «знают, что они есть». Люди культурные понимают, кем они могут стать, и не в состоянии в силу практических социальных причин постичь, кто они теперь. Они забыли, как можно стать человеком, исходя из своего общего монадного опыта. В трясине и хаосе этой неопределенности тело остается твердым, как верстовой столб.

Jesu, pro me perforates,
Condar intra tuum latus[73].

Даже вера жаждет теплого убежища для истерзанной плоти. Насколько более дики и спешны запросы скептиков, которые перестали верить даже в себя. Condar intra MEUM latus! Единственное убежище, оставленное нам.

Энтони сложил рукопись и, прогнувшись, стал

---

[73] Примечания: 73
Иисус, заступись за меня. Ширится пропасть вокруг тебя (*лат.*).

раскачиваться с риском для себя на задних ножках стула. Недурно, думал он. Но, очевидно, здесь были упущения, непростительные обобщения. Он писал о мире в целом, как будто мир был подобен ему самому, исходя из идеала, каким он должен быть. Ведь как просто было бы, если б на самом деле так и оказалось. Как приятно! Каждый человек — набор состояний, заключенных в плоти по эту сторону рая. А если бы понадобился какой-нибудь приятный и увлекательный интеллектуальный интерес, как, например, социология, чтобы утолить вожделеющее тело. *Condar intra meum laborem*[74]. Но вместо этого… Он вздохнул. Несмотря на Гамлета, несмотря на пророческие книги, несмотря на «По направлению к Свану»[75] и «Влюбленных женщин»[76], мир все еще был полон джонсоновских нравов. Полный мелодраматических негодяев, столь же отвратительных киногероев, полный Пуанкаре,

---

[74] Примечания: 74

Ширится пропасть вокруг моей работы (*лат.*).

[75] Примечания: 75

«По направлению к Свану» — первая часть эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени». (*Прим. перев. М. Ловина*)

[76] Примечания: 76

«Влюбленные женщины» — роман Д. Г. Лоренса. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Муссолини, Нортклифов [77], полный амбициозных и алчных негодяев всех мастей.

Ему в голову пришла мысль. Он привел накренившийся стул в нормальное положение и взял в руки самописку.

«Последняя немощь благородного ума — это первый и, может быть, единственный источник греха. Благородный ум = злой ум. Дерево познается по плоду. Каковы плоды стяжания славы, гордости, желания превзойти? Между прочими, война, национализм, экономическая конкуренция, снобизм, классовая ненависть, расовые предрассудки. Комус правильно делал, что проповедовал сенсуализм, и как глупо поступил Сатана, искушая Мессию во время его медитаций славой, господством над миром и гордыней. По сравнению со стремлением к известности обыкновенная чувственность совершенно безвредна. Если бы Фрейд был прав и секс доминировал в человеческой жизни, мы бы жили почти в Эдемском саду. К сожалению, он не прав. У Адлера тоже полуправда. Hinc illae lac[78]».

---

[77] Примечания: 77

Нортклиф, лорд (1865–1922) — ирландский журналист, основавший вместе с братьями три лондонские газеты. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[78] Примечания: 78

Вот откуда эти слезы (*лат.*). В широком смысле: вот в чем подоплека.

Энтони посмотрел на часы. Двадцать минут восьмого — а ему нужно быть в Кенсингтоне к восьми. В ванной он задумался, как может пройти вечер. Минуло двенадцать лет со времени последнего скандала с Мери Эмберли. Двенадцать лет, в течение которых он видел ее только на расстоянии — в картинной галерее раз или два и в гостиной общего друга. «Я даже не желаю с тобой больше разговаривать», — написал он в последнем письме к ней. И тем не менее, когда он обнаружил как-то утром вместе с остальными письмами на обеденном столе ее приглашение в знак примирения, он принял его немедленно — принял с теми же мыслями, с какими оно было написано — невзначай, обыденно, не вспоминая более о прошлом, кроме как фразой «Как давно я не обедал в номере семнадцатом! Почему бы не пойти туда?». Какой смысл в том, чтобы принимать окончательные и необратимые решения? Какое право имеет человек четырнадцатого года учить жить человека двадцать шестого? В четырнадцатом году в душах людей царили гнев, стыд, отчаяние и страх перед действием. Сегодня они радостны, кротки и наделены, как, например, Мери Эмберли, огромным любопытством. Какова она сейчас, в сорок четыре года? Все так же

забавна, какой он помнил ее? Превратилась ли его лебедь в гусыню или так и осталась лебедью? Или она все еще лебедь, но (бедная Мери!) сильно постарела? Будучи не в состоянии справиться со своим любопытством, он опрометью сбежал по лестнице и поспешно вышел на улицу.

Глава 12

30 августа 1933 г.

В бахрому их полузабытья вплелся какой-то едва слышный звук. Постепенно нарастая, он превратился в рокот, похожий на шум, который слышен из поднесенной к уху морской раковины. Через секунду рокот перешел в грохочущий рев. Энтони лениво приоткрыл глаза, увидел прямо над собой аэроплан и снова зажмурился от яркой синевы неба.

— Черт бы побрал эти машины! — в сердцах выругался он. Потом, усмехнувшись, добавил: — Должно быть, им очень хорошо нас видно.

Элен не ответила, но улыбнулась, не открывая глаз, представив себе, как у пилота выкатываются из орбит глаза при виде столь неприличного зрелища! В самом появлении этого небесного гостя было что-то невероятно комичное.

— Давид и Вирсавия [79], — продолжил Энтони. — Жаль беднягу, при скорости сто миль в

[79] Примечания: 79

Давид и Вирсавия — согласно Ветхому Завету, царь израильско-иудейский Давид, увидев купающуюся Вирсавию, влюбился в нее и взял ее в жены. (*Прим. перев. М. Ловина*)

час…

Раздался собачий лай. Энтони открыл глаза как раз в тот момент, когда от самолета отделился какой-то темный предмет и стремительно понесся прямо на них с Элен. Вскрикнув, Энтони непроизвольно закрыл лицо руками. Раздался страшный, но приглушенный удар. Было такое впечатление, что в паре ярдов от того места, где они лежали, на плоскую крышу с огромной высоты рухнул ком грязи. Кожу оросила струя теплой жидкости, которая быстро остыла, вызвав чувство неприятного холода. Наступило секундное молчание.

— Боже, — наконец прошептал Энтони. Они оба с ног до головы были забрызганы кровью. В большой алой луже у их ног лежал обезображенный до неузнаваемости труп фокстерьера. Рев аэроплана, снова превратившись в легкий шум, внезапно стих. В наступившей тишине снова раздалось пронзительное стрекотание цикад.

Энтони глубоко вздохнул; затем, сделав над собой усилие, рассмеялся. Смех, впрочем, вышел довольно натянутым.

— Вот и еще одна причина не любить собак. — Он поднялся, взглянул себе под ноги, и лицо его исказилось от отвращения — Энтони увидел свое обрызганное кровью тело. — Может быть, нам

стоит принять ванну? — спросил он, обернувшись к Элен.

Она сидела совершенно неподвижно, уставясь широко открытыми глазами на труп собаки. На бледном как полотно лице яркой линией выделялась полоса крови, протянувшаяся от подбородка до угла левого глаза.

— Ты похожа на леди Макбет, — упорно продолжал фиглярничать Энтони. — *Attons*![80] — Он коснулся ее плеча. — «Прочь, проклятое пятно!»[81] Эта пакость на коже уже начинает сворачиваться. Как сок цикуты.

Вместо ответа Элен закрыла лицо руками и разрыдалась.

На мгновение Энтони застыл на месте, глядя на скорчившуюся в рыданиях женщину. Во всем ее облике проступала полная безнадежность, настолько полная, что Элен, казалось, забыла о своем залитом кровью обнаженном теле. Слушать ее рыдания было нестерпимо. «Как цикута» — его собственные слова немилосердным эхом отдавались в ушах Энтони. В его душе

---

[80] Примечания: 80
Пошли! (*фр.*)

[81] Примечания: 81
«Прочь, проклятое пятно!» — реминисценция из шекспировского «Макбета» (акт V, сц. 1). (*Прим. перев. М. Ловина*)

всколыхнулась жалость и безумная любовь к этой уязвленной и страдающей женщине, к этой личности, да, личности, которую он сознательно игнорировал, словно она не существовала или существовала только для телесных наслаждений. Теперь, когда она, стоя на коленях, рыдала у его ног, вся нежность, которую он испытывал к ее телу, вся сила, скрытая в их чувственности, казалось, прорвали плотину и хлынули наружу, осветив, словно молнией, все то, что он испытывал по отношению к этой личности, к этому воплощенному духу, который, ощущая полное свое одиночество, горько рыдал, закрыв лицо руками.

Он опустился на колени рядом с Элен и сделал движение, которое должно было выразить то, что он теперь чувствовал по отношению к ней, — Энтони обнял ее за плечи.

Но стоило Энтони коснуться Элен, как она вздрогнула от отвращения и в каком-то остервенении неистово затрясла головой.

— Но, Элен, — запротестовал он в тупом убеждении, что происходит какое-то недоразумение, что она не может в этот момент не чувствовать и не переживать того, что чувствует и переживает он. Надо только заставить ее понять, какой пере-

ворот только что произошел в его душе. Он снова попытался положить руку на ее плечо.

— Но я… Ты вовсе мне не безразлична, я очень глубоко за тебя переживаю… — Даже сейчас он упрямо не желал произнести слово «люблю».

— Не прикасайся ко мне! — закричала она, с трудом разжав губы и отшатнувшись от него, как от чумного.

Он убрал руку, но не сдвинулся с места, склонившись над ней в смущенном и жалком молчании. Он вспомнил время, когда она очень хотела, чтобы он позволил любить себя, и как он избегал ее, отказываясь видеть в ней человека и не давая ей большего, нежели минутное и непостоянное телесное влечение. В конце концов она сдалась и приняла его условия — приняла полностью, и вот…

— Элен, — снова заговорил он. Она обязательно должна, просто обязана его понять. Он заставит ее это сделать.

Элен снова тряхнула головой.

— Оставь меня в покое, — сказала она, и, поскольку он не двинулся с места, Элен отняла руки от вымазанного кровью лица и посмотрела на него. — Ты что, не можешь уйти? — спросила она, с видимым усилием стараясь придать своему

лицу холодное и бесстрастное выражение. Внезапно по ее щекам вновь потекли слезы. — Ну, пожалуйста, прошу тебя, уйди! — выкрикнула она, как заклинание. Голос ее пресекся, и Элен, отвернувшись, снова закрыла лицо руками.

Энтони минуту колебался; затем, поняв, что будет еще хуже, если он останется, поднялся и направился в дом. «Ей надо дать время, — сказал он себе. — Дать ей время».

Он принял ванну, оделся и спустился в гостиную. Фотографии были разбросаны на столе и том виде, в каком он их оставил. Он сел и методично начал сортировать их по темам, складывая в маленькие стопки. Мери в шляпе с пером, Мери в вуали садится в довоенный «Рено», Мери на пляже в Дьепе, одетая в лиф с рукавами до локтей и панталоны, прикрытые юбочкой до колен. Его мать кормит голубей в сквере на площади Святого Марка ; а вот ее могила на Лоллингдонском церковном кладбище. Его отец с альпенштоком, привязанный к страховке, тянущейся вверх по заснеженному горному склону, вот он с Полин и двумя детьми. Дядя Джеймс в соломенной шляпе в крапинку; вот он в гребной лодке; вот он же разговаривает десять лет спустя с выздоравливающими солдатами в больничном саду. Брайан.

Брайан с Энтони в Балстроуде; Брайан в лодке с Джоан и миссис Фокс; Брайан в шотландском озерном крае. Это девушка, с которой Энтони переспал в Нью-Йорке в двадцать седьмом году, это она?... Его бабушка. Его тетки. Полдюжины снимков Глэдис...

Полчаса спустя он услышал шаги Элен, осторожно спускающейся по крутой лестнице, потом ее же стремительную походку по коридору. Из ванной послышался плеск воды.

Время, ей обязательно надо дать время прийти в себя. Он решил вести себя так, словно ничего не случилось. Поэтому, когда она вошла, он приветствовал ее почти весело.

— Ну? — бодро спросил он, подняв глаза от фотографий. Но стоило Энтони посмотреть на это бледное, собранное, ставшее каменным лицо, как сердце его наполнилось мрачными предчувствиями.

— Я ухожу, — сказала она.

— Прямо сейчас, не пообедав?

Она кивнула.

— Но почему?

— Я так хочу, — коротко ответила Элен.

Энтони в недоумении замолчал, думая, стоит ли возражать, настаивать, говорить ей те слова,

которые он собирался сказать ей на крыше. Однако ее каменное лицо ясно говорило, что все попытки окажутся тщетными. Позже, когда она оправится от первого потрясения, когда пройдет время…

— Ну ладно, — согласился он. — Я отвезу тебя в гостиницу.

Элен отрицательно покачала головой.

— Я пойду пешком.

— В такую жару?

— Я пойду пешком, — повторила она тоном, не терпящим возражений.

— Ну что ж, если ты предпочитаешь жариться на солнце… — Он безуспешно попытался улыбнуться.

Через стеклянную дверь она вышла на террасу, и ее каменное бледное лицо вновь вспыхнуло в солнечных лучах, отраженных от красной пижамы. Идя рядом с Элен, Энтони подумал: «Она снова возвращается в свой ад».

— Зачем ты вышел? — спросила она.

— Я провожу тебя до ворот.

— В этом нет никакой нужды.

— Я так хочу.

Она не вернула ему улыбку и продолжала идти, храня молчание.

По обе стороны лестницы, ведущей с террасы, росли два высоких развесистых родохитона. В жарком воздухе аромат, источаемый цветами (казалось, заключавший в себе квинтэссенцию зноя), был невероятно силен и сладок.

— Восхитительно, — вслух произнес Энтони, когда они с Элен вступили в ауру цветущих деревьев. — Слишком восхитительно. Да ты посмотри! — произнес он изменившимся голосом и схватил ее за рукав. — Посмотри, прошу тебя!

На одно из розовато-лиловых соцветий уселась яркая, как новенькая игрушка, бабочка-махаон. Светло-желтые крылья с черными точками и похожими на глаза синевато-пунцовыми пятнами были вытянуты навстречу солнцу. Передние края крыльев, изогнутые наподобие сабельного клинка, плавно переходили в красивый изгиб, заканчивающийся двумя вытянутыми хвостиками нижней пары крыльев. Бабочка казалась символом, таинственным иероглифом, обозначающим радость и стремительный полет. Расправленные крылья подрагивали от избытка жизни и рвущейся наружу энергии. Быстрыми, жадными, но невероятно точными целенаправленными движениями маленькое создание погружало хоботок в узкие чашечки цветков. Молниеносное

движение — и хоботок в цветке, вот он уже снаружи и снова погружается, но уже в другой цветок. В считаные секунды насекомое обследовало все цветы и переместилось к соседним соцветиям. Скорее. Скорее погрузить хоботок в ждущий этого прикосновения цветок, испить из скрытого в нем источника жаркой пьянящей сладости! Какое неустанное вожделение, какая сильная страсть целеустремленной и отточенной до совершенства ненасытности!

Долгую минуту они молча созерцали эту картину. Потом Элен вдруг протянула руку и качнула соцветие, на котором сидела бабочка. Но прежде чем пальцы женщины успели коснуться цветка, яркое легкое создание стремительно взлетело. Быстрый взмах крыльев, потом красивый планирующий полет, еще один взмах, и бабочка исчезла за домом.

— Зачем ты это сделала? — спросил он.

Сделав вид, что не расслышала вопроса, Элен сбежала по ступенькам на посыпанную гравием дорожку. У ворот она остановилась и обернулась.

— Прощай, Энтони.

— Когда ты теперь придешь? — спросил он.

Несколько секунд Элен молча смотрела на Эн-

тони, потом покачала головой.

— Я не приду.

— Не придешь? — спросил Энтони. — Что ты хочешь этим сказать?

Но она уже захлопнула за собой калитку и быстрым танцующим шагом направилась по пыльной дороге под соснами.

Энтони смотрел ей вслед, понимая, что не стоит даже пытаться что-то предпринимать, по крайней мере сейчас. Этим он только усугубит положение. Возможно, позже с ней надо будет поговорить, может быть, даже сегодня вечером, если она найдет для этого время… Однако, возвращаясь в дом и проходя мимо никому теперь не нужных родохитонов, Энтони с беспокойством подумал, что и позже никакие его попытки к примирению ни к чему не приведут. Элен была очень упряма. Да и какие права имеет он на Элен после всех тех месяцев, что он не давал ей сблизиться с собой?

— Ну и дурак же я, — произнес Энтони, открывая кухонную дверь. — Я просто сумасшедший.

Он сделал усилие обрести здравость рассудка путем приуменьшения и вытеснения из памяти всего случившегося. Естественно, было неприятно. Но не менее ли неприятно было оправдать

Элен после того, как она вела себя как героиня ибсеновского[82] «Кукольного дома»? Здесь не было дома и не было куклы, она действительно не имела возможности пожаловаться на то, что старина Хью держал ее под замком, или на то, что он сам лелеял какие-то планы относительно ее независимости. Напротив, он настоял на том, чтобы она оставалась свободной. Его свобода была равносильна ее; если бы она полностью подчинилась ему, он, несомненно, пал бы к ее ногам.

То, что касалось его собственных чувств там, на крыше, этого порыва нежности, то жажда познания и любви к страдающему, к внезапно возбудившему желание, притягательному, несмотря ни на что, телу — это было бы подлинным, несомненным, то есть подтверждалось бы реальным опытом. Но в конце концов их грех можно было объяснить, оправдать, назвать простым преувеличением, сказать, что он был содеян под воздействием внезапно вспыхнувшей страсти, его сочувствия и ее отчаяния. Главное было за временем. Она бы еще раз послушала то, что он хотел сказать, и не стала бы еще раз

[82] Примечания: 82

Ибсен, Генрик (1828–1906) — норвежский драматург. (*Прим. перев. М. Ловина*)

повторять то, от чего у него вяли уши.

Он открыл холодильник и обнаружил, что мадемуазель Кайоль приготовила холодную телятину и салат из огурцов и помидоров. Мадемуазель Кайоль испытывала слабость к холодной телятине и постоянно кормила его ею. Энтони почему-то особенно не любил ее, но предпочел съесть, чем обсуждать счет с экономкой. Целые недели проходили подчас, а у него не возникало необходимости сказать больше, чем *Bonjour*[83] или *A demain, M-me Cayole*[84] или *Il fait beau aujourd'hui*[85] или *Quel vent*![86], в зависимости от случая. Каждое утро она приходила на два часа, делала уборку, готовила еду, накрывала на стол и снова уходила. Он получал услуги, но совершенно не обращал внимания на ту, которая прислуживала. Все его обустройство, считал он, было самим лучшим, насколько могло быть. Холодная телятина — слишком маленькая цена

---

[83] Примечания: 83
Здравствуйте (*фр*.).

[84] Примечания: 84
До завтра, мадемуазель Кайоль (*фр*.).

[85] Примечания: 85
Завтра будет хорошая погода (*фр*.).

[86] Примечания: 86
Какой ветер! (*фр*.)

за такую службу.

Энтони уверенно сел за стол на террасе в тени большого фигового дерева и за едой переворачивал страницы последней записной книжки. Нет в жизни ничего лучше работы, уверял он, ничего, что так помогает отделаться от какого-то сокровенного чувства, ничто не действует так успокаивающе, ничто не бывает так уместно и удачно, как хорошее обобщение. Ему в глаза бросилось слово «свобода», и, вспомнив удовлетворение, которое он чувствовал несколько месяцев назад, когда впервые увидел эти мысли на бумаге, начал читать.

«Эктон хотел написать историю Человека как историю идеи о Свободе, не желая в то же время писать историю рабства.

Сущность рабства. Или рабств, ибо в результате продолжительных попыток понять сущность Свободы человек постоянно меняет одну форму рабства на другую.

Первичное рабство не есть рабство на пустой желудок и на черный день. Одним словом, это есть природное рабство. Уход от природы через социальную организацию и технический прогресс. В современном городе можно забыть, что существует такая вещь, как природа, в особен-

ности природа в ее негуманных и враждебных проявлениях, то есть стихия. Половина населения Европы живет во вселенной, сконструированной полностью в лабораторных условиях.

Когда преодолено естественное рабство, неизменно встает другая форма зависимости — это зависимость от институтов. В связи с этим точно так же развивается история зависимости от институтов.

Природа бессмысленна. Институты, являющиеся плодом людского труда, имеют смысл и цель. Обстоятельства меняются быстрее, чем общество. Что однажды было бы актуально, теперь никуда не годится. Отживший институт подобен человеку, который пытается применить логическое мышление в мифической ситуации, созданной навязчивой идеей или галлюцинацией. Подобное положение дел возникает, когда институты обращаются к букве закона в каждом индивидуальном случае. Институт будет поступать разумно, если обстоятельства, изображаемые им, существуют в действительности. Но в действительности они никогда не существуют. Рабство у института подобно зависимости от параноика, страдающего от самообмана, но имеющего некоторые интеллектуальные способности. При-

родное рабство подобно зависимости от идиота, у которого даже нет ума, чтобы страдать от самообмана.

Восстание против институтов со временем приводит к анархии. Но анархия — раба природы, а для цивилизованного человека природное рабство еще более невыносимо, чем рабство от учреждений. Путь к покорению анархии лежит через создание новых институтов. Иногда анархию удается победить без всякого временного порабощения — люди просто переходят от одних институтов к другим.

Институты меняются в попытке реализовать идею Свободы. Чтобы оценить факт нового рабства, требуется какое-то время. Так получается, что во всех поползновениях против институтов есть нечто праздничное, что напоминает медовый месяц, когда люди верят, что свобода наконец достигнута. «Блажен был тот, кто выжил в эту ночь». И не только в ночь Французской революции. Какое неизъяснимое счастье, например, лежит в рассвете францисканского движения, в возникновении христианства и ислама! Медовый месяц может длиться двадцать или тридцать лет. Затем новое рабство насаждается на человеческое сознание, и становится ясно, что идея

Свободы не реализуется последней переменой, что новые институты способны порабощать так же, как и старые. Что же делать? Сменить новые институты на еще более новые? А когда медовый месяц кончится? Снова сменить? И так далее — вечная революция, длящаяся незнамо сколько.

В любом конкретном обществе свобода существует только для немногочисленных избранных. Благоприятные экономические обстоятельства — вот условие по крайней мере частичной свободы. Но если свобода более или менее полная, то должны быть также благоприятные интеллектуальные, психологические, биографические обстоятельства. Личности, которые сумеют рационально использовать эти обстоятельства, не рабы учреждений. Для них учреждения существуют в виде твердых брусьев, на которых они могут выделывать какие угодно акробатические упражнения. Малоподвижность общества в целом делает возможным для этого элитного меньшинства блуждание в обычных интеллектуально-нравственных потемках без большого риска как для себя, так и для общества. Все чего-либо стоящие свободы, если они имеют практическое приложение, приводят к положительному результату только при условии некоей

формы всеобщего рабства».

Энтони закрыл свою книжку, чувствуя, что не может более прочесть ни строчки. Нет, его слова не казались менее правдивыми из-за того, что он сделал тогда, когда писал их. В особом смысле и на особом уровне они были правильны. Почему же тогда все представлялось ему напрочь фальшивым и ненатуральным? Не желая обсуждать этот вопрос с самим собой, он возвратился домой и сел за «Историю механических изобретений» Ашера.

Полчетвертого он внезапно вспомнил о мертвой собаке. Прошло уже несколько часов, и в такую жару… Он поспешил обратно в мастерскую. Почва в неухоженном саду была выжжена солнцем так, что выглядела как кирпич; к тому времени как он вырыл могилу, он покрылся испариной. Затем с лопатой в руках поднялся на крышу, где лежала собака. Пятна крови на шкуре, на парапете, на матрасах приобрели цвет ржавчины. После нескольких неудачных попыток он продолжил месить тушу лопатой и заталкивать ее, полную мух, не реагировавших на взмахи железа, на парапет. Затем он спустился вниз и вышел в сад, упрямо отмахиваясь от отвратительной яйценосной своры, вновь поддел

тело на лопату и снова потащил его, с ужасом волоча по рыхлой земле в могилу. Вернувшись домой, он почувствовал себя таким больным, что был вынужден хлебнуть бренди. После этого он спустился к морю и долго плавал в пенистой синеве.

В шесть часов, снова одевшись, он сел в машину и поехал в отель, чтобы поговорить с Элен. К этому времени, подсчитал он, она уже оправилась от первого шока и была готова к разговору с ним. Забыв все о «Кукольном доме» и святости, которую было условлено соблюдать, он преисполнился невероятного воодушевления. Через несколько минут он вновь увидит ее. Будет рассказывать ей об открытиях, которые внезапно сделал сегодня утром: то, что он был дураком и даже хуже, чем дураком… Было бы тяжело, почти невозможно говорить такие вещи о себе, но он думал, что скажет сейчас их, и это наполняло его ликованием.

Он подъехал к двери отеля и поспешил в холл.

— *Madame Ledwidge est-elle dans sa chambre, mademoiselle*?

— *Mais non, monsieur, Madame vient de partir*.

— *Elle vient de partir*?…

— *Madame est allée prendre le rapide à Toulon*[87].

Энтони взглянул на часы. Поезд уже отправился. В маленькой ломаной машине нужно добраться до Марселя перед тем, как можно снова отправиться в Париж.

— *Merci, mademoiselle, merci*[88], — сказал он, в силу привычки вновь опускаясь до чрезмерной вежливости, с помощью которой спасался от надоедливого мира низших классов.

— *Mais' de rien, monsieur*[89].

Он вновь поехал домой, уныло раздумывая, нужно ли было благодарить служащую отеля за любезность. В его отсутствие звонил почтальон. Пришло письмо от посредника с предложением продать по крайней мере часть акций золотых приисков, полученных в наследство от дяди Джеймса. По всей видимости, они не принесут больше дохода, и ввиду этого наиболее разумным было бы извлечь все, что можно, из настоящих

---

[87] Примечания: 87

— Мадемуазель, мадам Ледвидж у себя в комнате?
— Нет, месье, мадам собирается уезжать.
— Собирается уезжать?
— У мадам билет на скорый поезд в Тулон (*фр.*).

[88] Примечания: 88

— Спасибо, мадемуазель, спасибо (*фр.*).

[89] Примечания: 89

— Не за что, месье (*фр.*).

цен и вложить заново в такие макрокомпании, как… Он отбросил письмо в сторону. Море случайностей, как всегда, грозило затопить его, злобно выплескивая роковое предложение. Теперь, в депрессии, он был состоятельнее, чем когда бы то ни было. Состоятельнее, в то время как дела других шли гораздо хуже. Свободнее, пока они находились в бездонной яме. «Поликратов перстень»… Он выглядел, словно боги уже начали свою месть.

Энтони лег спать рано и в два часа проснулся от кошмарного сна, тревожившего его с детства и мучившего в последнее время. Содержание его оставалось неизменным. Вокруг не было видно ничего, но он знал, что кругом были люди, казавшиеся призраками. Он взял что-то со стола и съел, и тотчас же от обилия слюны пища превратилась в жидкую кашицу, став клейкой и в то же время вязкой, как кляп, измазанный жевательной резинкой, засохшей на зубах, на языке и на нёбе. Невыразимо отвратительная, все уплотняющаяся и затвердевающая масса затрудняла дыхание. Он пытался сглотнуть, пытался вызвать рвоту, несмотря на призрачное, но ошеломляющее присутствие незнакомцев, но безуспешно. В конце концов он засунул два пальца в рот и тщился

освободиться от рвотной массы. Но все напрасно. Комок продолжал расширяться, пленка затвердевала и уплотнялась. Наконец он погрузился в обморочный сон. В эту ночь в комке было полно собачьей шерсти. Он проснулся с содроганием и теперь уже не мог заснуть. Огромная череда вытесненных в подсознание воспоминаний встала перед ним вновь как наваждение. Эти снимки. Его мать и Мери Эмберли. Брайан в меловом карьере, разбуженный соленым запахом разморенной солнцем плоти, затем мертвый у подножия скалы, весь в мухах, как та собака.

Глава 13

20 мая 1934 г.

Вчера вечером готовил свою вторую речь. И не очень сильно нервничал. Это достаточно просто, если ты твердо сказал себе, что не важно, выглядишь ты дураком или нет. Но тем не менее это подавляет. Подавляет ощущение, что те пятьсот человек, которые сидят в зале, отнюдь не представляют собой монолит. Выступающий обращается к собирательному понятию, к абстракции, но не к собранию индивидов. Понять вас хотят только те, кто и так убежден в вашей правоте. Все остальные поражены несокрушимым невежеством. В частной беседе можно быть уверенным, что твой собеседник хотя и с неохотой, но попытается понять вас правильно. Ничего не понимающий человек сидит среди других людей в аудитории, и само ее наличие укрепляет его в его неведении. Все становится еще хуже, если этот невежда имеет возможность после доклада задавать вопросы. Причина совершенно очевидна. Приятен уже сам факт, что ты встал и на тебя все смотрят — это щекочет самолюбие. Во мно-

гих случаях это удовольствие бывает настолько сильным, что причиняет сладострастную боль. Мучительный оргазм самоутверждения. Удовольствие возрастает стократ, если вопрос пронизан враждебностью к выступающему. Враждебность есть декларация независимости личности. Спрашивающий всем своим видом дает понять, что сам не выступает только по чистой случайности — случайность это или нет, неизвестно, хотя иногда такой смельчак является жертвой негодяев, которые хотят его дискредитировать. Естественно, как правило, выкрики с места и вопросы не имеют ни малейшего отношения к теме. Критиканы (каковыми являемся все мы) живут в своем замкнутом мире и не делают никаких попыток проникнуть в мир других людей. Большинство выдвигаемых публикой аргументов противоречат друг другу или, фигурально выражаясь, высказываются на не понятном никому языке, и это при полном отсутствии переводчиков.

Марк был на митинге, а потом, сидя в моей комнате, развлекался тем, что пытался вогнать меня в еще большую подавленность.

— С тем же успехом ты мог бы проповедовать это стаду коров в поле, — язвительно говорил Марк, и меня снедало искушение согласиться с

ним. К такому согласию меня подталкивали старые укоренившиеся понятия о том, как следует думать, жить и чувствовать. Какое удовлетворение приносит мысль о том, что мир лишен смысла и с этим ничего нельзя поделать! Можно с чистой совестью удалиться в кабинет и спокойно писать научный трактат по социологии — науке о человеческой безмозглости. Разговаривая с Марком вчера вечером, я поймал себя на том, что мне доставляют невыразимое удовольствие издевки по поводу недогадливости моей аудитории, да и вообще всего человеческого рода. Поймал и задумался. Я подумал, что семена посеяны и если хотя бы одно из них взойдет, то стоило проводить этот злосчастный митинг. Стоило, даже если не взойдет и одно из них, стоило ради меня самого. Это было упражнение, тренировка — залог того, что в следующий раз у меня все получится гораздо лучше.

Я не стал говорить этого вслух, просто замолчал и, как мне кажется, изменился в лице. Марк, от которого невозможно что-либо скрыть, рассмеялся. Предсказал мне, что скоро я буду обращаться с эпитетом «дорогой» ко всякому собеседнику. «Дорогие коммунисты». «Дорогие производители оружия». «Дорогой генерал Геринг».

Я не смог сдержать смех — Марк был довольно комичен в своей свирепости. В конце концов, если в тебе достаточно любви и доброты, то можешь быть уверен, что хотя бы в некоторой степени твой собеседник ответит тебе любовью и добротой — не важно, кем он при этом является. В таком случае практически каждый действительно может стать для тебя «дорогим». Многие люди сейчас кажутся охваченными ненавистью недоумками, но если задумаешься, то поймешь, что вина за это лежит не только на них, но и на тебе.

24 мая 1934 г.

Сегодня утром потратил четыре часа на просмотр своих заметок. Невыразимое наслаждение! Как легко скатиться в чистую схоластику и привычку жонглировать идеями! В так называемую возвышенную жизнь, которая по сути своей является не чем иным, как смертью без оплакивания. Покой, отсутствие всяческой ответственности — все прелести смерти здесь и сейчас. Раньше для того, чтобы обрести эти прелести, людям приходилось уходить в монастырь. Платить за радости смерти покорностью, бедностью и целомудрием. Теперь их можно получать даром в нашем обыденном мире. Смерть, абсолютно не

нуждающаяся в оплакивании. Смерть с улыбкой, смерть с удовольствиями от женщин и выпивки, частная смерть, в которой никто не волен ни к чему тебя принудить. Схоласты, философы, люди науки — все словно сговорились считать их непрактичными. Но есть ли еще один такой слой общества, который ухитрился бы убедить мир принять себя таким, какой он есть, и (что еще более удивительно) заставить людей оценивать себя по меркам этого слоя. Короли утратили свое божественное право, плутократы, похоже, скоро лишатся накопленных ими богатств, а люди, ведущие возвышенный образ жизни, продолжают считаться превосходящими всех других смертных. Таков сладкий плод их настойчивости. Упорно награждая себя самих изысканными комплиментами, упорно принижая других людей. И так год за годом в течение последних шестидесяти столетий. Мы — высшие, вы — низшие. Мы — дух, вы — мир. Снова и снова, не переставая ни на одну минуту, ни на один миг, продолжалось и продолжается это самовосхваление. Сейчас такое положение не требует обоснования и воспринимается как аксиома. Но в действительности возвышенная жизнь — это просто то лучшее, что можно предложить взамен смерти. Это са-

мый лучший способ избежать ответственности жизни, гораздо лучше, чем алкоголь, наркотики, секс и накопительство. Алкоголь и наркотики разрушают здоровье, секс рано или поздно ставит его поклонников перед ответственностью, приверженные к собственности люди никогда не будут довольны количеством редких марок, китайского фарфора, домов и сортов лилий и всегда будут безнадежно желать большего. Такой уход от ответственности подобен мукам Тантала[90]. В противоположность этому приверженцы возвышенной жизни уходят в мир, который не представляет ни малейшей угрозы здоровью, не обрекает на тяжкую ответственность и не причиняет ни моральных, ни физических мук. В такой мир, который, по традиции, считается более высоким, чем мир обыденной ответственности. Возвышенный лентяй может спокойно тешиться своей чистой совестью, ибо в жизни ученых и исследователей очень легко отыскать эквиваленты всех мыслимых моральных добродетелей! Некоторые из этих добродетелей, конечно, не эквивалентны, но, по видимости, несомненно,

[90] Примечания: 90

Тантал — герой греческой мифологии, обреченный богами на вечные муки, не имея возможности утолить голод и жажду. (*Прим. перев. М. Ловина*)

идентичны: упорство, терпение, самоотверженность и все подобное. Хорошие средства пускаются на неблагородную цель. Можно работать не покладая рук, отдавать все сердце чему угодно — от атомной физики до мошенничества и белого рабства. Все остальное есть не что иное, как этические добродетели, рассматриваемые в ментальном ключе. Аскетизм художественной или математической формы. Чистота научного поиска. Дерзновенность мысли. Смелые гипотезы. Логическая целостность. Терпимость к чужим взглядам. Смирение рассудка перед фактами. Все основные добродетели в шутовском наряде.

«Блаженны нищие духом». У людей, ведущих возвышенную жизнь, есть даже эквиваленты нищеты духа. Как человек науки, такой «бедняк» старается не подпадать под влияние своих интересов и кичится своей независимостью от предрассудков. Но и это еще не все. В этическом смысле духовная нищета освобождает от мысли о завтрашнем дне, предоставляя мертвым погребать своих мертвецов; жизнью жертвуют, чтобы снова ее обрести. Возвышенный тип, таким образом, превращает самоотречение в пародию. Я могу со всей ответственностью утверждать это, поскольку и сам отличался тем же, правда, охот-

но извиняя себя за это. Вы живете перспективой и отвечаете лишь за тот, возвышенный мир. В нем вы порываете с прошлым, но также и отказываетесь предоставлять себя будущему, у вас нет убеждений, вы живете сиюминутными интересами, жертвуете своей индивидуальностью; точнее, той ее частью, которая не касается вашей возвышенности; вы просто переходите из одного состояния в другое. Это больше, чем нищета Франциска Ассизского , но ее можно совместить с наполеоновским восхищением империализмом. Раньше я думал, что у меня нет ницшеанской воли к власти. Теперь понимаю, что я просто с большей охотой отыгрывался на мыслях, чем на чувствах, завоевывая неизвестные области познания. Проникая в глубь проблемы, форсируя идеи для соединения или разложения, укрощая строптивые слова, чтобы придать им определенный узор. Какое это наслаждение — стать диктатором, но без всякой ответственности и риска.

Глава 14

8 декабря 1926 г.

К обеду это была уже История — последнее добавление к репертуару Мери Эмберли. Это было, на вкус Энтони, очень удачное добавление, — так последнее приобретение часто венчает изысканную коллекцию старых картин. В первый раз с момента получения приглашения он понял, что его любопытство, заставившее принять приглашение Мери, было возбуждено мстительной надеждой на то, что она изменилась в худшую сторону — либо относительно, поскольку изменился его взгляд на женщину, либо абсолютно — как-никак прошли долгие двенадцать лет; она была просто обязана подурнеть по сравнению с той, какой она была раньше, по сравнению с той, какой она казалась Энтони и какой он сохранил ее в памяти. Ему было стыдно признаться в этом, но факт остается фактом — он был разочарован, когда увидел, что нынешняя Мери едва ли очень сильно отличалась от той, которую он знал двенадцать лет назад. Теперь ей было сорок три. Но тело ее сохранило былую стройность, а

движения по-прежнему отличались быстротой и живостью. Однако в ее поведении появилось и что-то новое; Энтони заметил, что живость ее была теперь целенаправленной. Мери играла роль женщины, по-девичьи порывистой, стремительной и легкой; играла неплохо — но в таких обстоятельствах, в которых — будь он естественным — этот порыв не бросался бы в глаза. Перед обедом она позвала его наверх, в спальню, чтобы показать обнаженные натуры Пуссена, только что приобретенные ею. Первую половину лестничного пролета она прошла в обычном темпе, затем, словно припомнив, что медлительность передвижения есть знак надвигающейся старости, она внезапно перешла на бег, нет, не на бег, а на галоп. Да, это слово будет здесь намного уместнее, подумал Энтони. Когда же они вернулись в гостиную, ни одна шестнадцатилетняя девушка не бросилась бы с такой бесшабашностью на диван и не поджала бы под себя ноги таким кошачьим движением. Мери 1914 года не была такой резвой, как Мери 1926-го. И не смогла бы быть, даже если б захотела, подумал Энтони, во всех своих верхних и нижних юбках. Но теперь, в шотландке… все это было нелепым, но по зрелом размышлении он решил, что эта

нелепость не причиняет ему боли. Да, собственно говоря, что здесь нелепого? Мери имела полное право играть роль молодой женщины. Смеющаяся жизнерадостность прорывалась необычайно привлекательным сиянием сквозь легкую завесу усталости, которой было прикрыто почти не увядшее лицо. А что касается ее удач — то что же, последняя импровизация — а это точно была импровизация, поскольку все произошло только сегодня утром, — на тему украденного Элен куска печенки была настоящим маленьким шедевром.

— Я набальзамирую эту штуку, — сказала она в заключение с деланой серьезностью, готовая разразиться веселым смехом. — Набальзамирую и…

Шипя и булькая, словно имбирное пиво, рвущееся из неудачно открытой бутылки, в эту тираду встрял Беппо Боулз.

— Хотите я дам вам адресок одной конторы, где ее набальзамируют по высшему разряду. — Он улыбался, моргал и невыносимо гримасничал; казалось, он говорит всеми частями своего большого жирного тела. — Цитата из журнала похоронных ритуалов, — провозгласил он. — Бальзамировщики! Неужели все, к чему вы прикасаетесь, имеет такой жалкий вид? Если так, то…

Миссис Эмберли рассмеялась, правда, несколько принужденно — она терпеть не могла, когда ее перебивали в середине рассказа. Конечно, Беппо очень похож на молоденького мальчика, несмотря на внушительное брюшко и лысину. (Правда, если уж на то пошло, то его скорее можно было сравнить с девочкой.) Но все же и ему следовало бы знать меру приличия… Она оборвала его словами:

— Это слишком выспренно. — Потом обратилась к остальным гостям, сидящим за столом: — Ну так вот, я велю ее набальзамировать и положу под стеклянный колпак, ну, вы знаете — под такими колпаками…

— Это будет очень жизненно, — не удержавшись, булькнул Беппо, однако никто не обратил внимания на его остроту, и Беппо пришлось хихикать в одиночестве.

— Эти колпаки, — повторила миссис Эмберли, не удостоив невежу взглядом, — выставляются в любом доходном доме. А под ними птичьи чучела. Птю-юцы, набитые опилками. — Мери произнесла гласную в слове «птицы», как немцы произносят свой умлаут. Эти птицы, превратившись в тевтонских птю-юц, по непонятной причине вызвали взрыв всеобщего смеха.

Ее голос стал лучше, чем раньше, подумал Энтони. Появившаяся хрипотца была как пушок на персике, пушок, под которым видна нежная кожица плода, как легкий туман, за пеленой которого в летние дни с моста Ватерлоо виден необыкновенный силуэт собора Святого Павла. Легкая полупрозрачная вуаль лишь подчеркивала красоту звукового ландшафта ее голоса. Прислушиваясь внимательнее, чем обычно, к каденциям ее речи, Энтони пытался зафиксировать их в памяти, чтобы потом проанализировать и разложить на составляющие. В задуманных им «Основах социологии» должна была быть глава о массовом внушении и пропаганде. Один из разделов будет посвящен проблеме чарующих звуков. Чарующий, волнительный звук голосов Савонаролы [91] или Ллойд Джорджа. Чарующе умиротворяющий звук увещеваний священника; чарующая жизнерадостность голосов Роуби и малютки Тича; чарующе обольстительные звуки, которые издают актеры, актрисы, певцы и доморощенные сирены и донжуаны. Талант Мери, считал Энтони, заключался в умении говорить

[91] Примечания: 91

Савонарола, Джироламо (1452–1498) — настоятель доминиканского монастыря во Флоренции, выступавший против папской власти. (*Прим. перев. М. Ловина*)

голосом одновременно обольстительным и смешным. Она умела издавать звуки, которые задевали струны смеха и желания, но никогда — струны печали, сожаления или негодования. В моменты эмоциональных срывов (он хорошо помнил ужасные сцены, которые она устраивала) она полностью теряла власть над своим голосом — он становился визгливым и хриплым. Ее жалобы, упреки и печаль вызывали у собеседника лишь ощущение физического дискомфорта. В противоположность этому сам звук голоса миссис Фокс располагал к уступчивости и вызывал симпатию. Она обладала тем таинственным даром, который привел Робеспьера[92] к власти, который позволял Уайтфилду простым повторением одного и того же благочестивого восклицания исторгать слезы из глаз самых закоренелых скептиков. Есть такие чарующие звуки — звуки, способные убедить слушателя в существовании Господа Бога. Эти птю-юцы! Над шуткой рассмеялись все — даже Колин Эджертон и Хью Ледвидж. Хью смеялся, несмотря на то что с того момента, как в гостиную вошел человек по имени Бивис, Хью

[92] Примечания: 92

Робеспьер, Максимильен (1758–1794) — деятель Великой французской революции, лидер партии якобинцев, казненный термидорианцами. (*Прим. перев. М. Ловина*)

просто потерял покой. Этот Бивис, встреч с которым он так старательно избегал… Почему Мери его не предупредила? На какое-то мгновение он вообразил, что это заговор. Мери пригласила Бивиса, чтобы опозорить его, Хью, — поскольку знала, что Бивис был свидетелем его унижений в Балстроуде. Их было двое: Стейтс (Ледвидж знал, что он приглашен, и его ждали после обеда) и Бивис. Хью привык встречаться со Стейтсом в этом доме и, в общем, не возражал против них. Стейтс, в этом не было никаких сомнений, все забыл. Но Бивис… при встречах с этим человеком Хью каждый раз казалось, что Энтони смотрит на него каким-то странным взглядом. Мери пригласила его намеренно, чтобы он обо всем напомнил Стейтсу и эти двое смогли бы устроить этакий вечер воспоминаний. А вспомнить им было что: как Хью боялся играть в футбол, как он плакал, когда на пожарных учениях его заставляли спускаться со стены по веревке; как он наябедничал Джимбагу и за это был прогнан сквозь строй товарищей, вооруженных вместо шпицрутенов мокрыми скрученными полотенцами; или как они подсматривали за ним через перегородку… От этих мыслей Хью стало не по себе. Естественно, по зрелом размышлении стало ясно, что это

не заговор. Это просто невозможно. Об этом даже думать нечего. Но как бы то ни было, Ледвидж с облегчением вздохнул, когда гостей пригласили к столу и он оказался на порядочном расстоянии от Бивиса. Напротив сидела Элен, и в присутствии Энтони ему было бы трудно с ней поговорить. А уж после обеда он постарается держаться подальше от старого «приятеля»...

Что же до Колина, то он весь обед просидел в нарастающем оцепенении, смешанном с недовольством и отчаянием. Ощутив полную безнадежность, он наконец мысленно произнес ту фразу, которую собирался сказать Джойс при первой же возможности: «Может быть, я глуп и все такое...» Внутренний голос произнес эти слова с таким презрением, словно Колин признавался в силе, а не слабости. «Может быть, я глуп, но я знаю, что находится в рамках приличий, а что — нет». Он скажет все это Джойс, скажет, будьте покойны, и даже больше того; а она (Колин взглянул на Джойс, когда Беппо с увлечением рассказывал одну из своих самых душераздирающих историй, и поймал ее взгляд — несчастный, затравленный, умоляющий о прощении) согласится с каждым его словом. Да и как иначе, ведь бедное дитя похоже на подкидыша, которого

опекунский совет графства по неисповедимой ошибке отдал в руки немыслимо сумасбродной матери, которая заставляет несчастную девочку, насилуя ее истинную природу, общаться с этими… этими… (Колин не смог найти подходящего эпитета для выражения своего отношения к Беппо). И именно ему, Колину Эджертону, выпадет честь и счастье стать святым Георгом [93], который спасет ее. Тот факт, что она — как и всякая чистая невинная девушка, попавшая в лапы сутенеров, — нуждалась в спасении, был одной из причин ее привлекательности для Колина. Он любил ее и поэтому так страстно ненавидел этого жуткого дегенерата (вот подходящее слово) Беппо Боулза и его одобрение всего того, что делала и что представляла из себя Джойс, было пропорционально неодобрению (смешанному со страхом) матери Джойс. И все же, несмотря на неприязнь, несмотря на страх перед острым языком миссис Эмберли, ее проницательный иронический взгляд, Колин не смог удержаться от смеха. Птю-юцы под стеклянными колпаками

[93] Примечания: 93

Святой Георг (IV в. н. э) — национальный английский святой, бывший солдатом римской армии и замученный насмерть в Малой Азии. День святого Георга празднуется в Англии 23 апреля. (*Прим. перев. М. Ловина*)

оказались неотразимыми.

Смех миссис Эмберли походил на согревающее и развязывающее язык шампанское.

— На основании колпака, — продолжала миссис Эмберли, стараясь перекричать шум за столом, — я велю выгравировать слона. «Эту печенку, рискуя своей драгоценной жизнью, собственноручно украла Элен Эмберли и…

— Ну, мамочка, ну, перестань! — Элен покраснела от удовольствия и раздражения. — Пожалуйста! — Ей, несомненно, было приятно стать главной героиней рассказа, которому все внимали. Правда, эта героиня отличалась ослиным упрямством, и то, что мать так откровенно эксплуатирует тему ее глупости, несколько злило Элен.

— …И это несмотря на бесконечное и подсознательное отвращение к мясным лавкам», — продолжала миссис Эмберли. — Бедняжка! — добавила она с другой интонацией. — Запахи всегда были ее слабым местом. Мясники, рыботорговцы… И я никогда не забуду того дня, когда я в первый и в последний раз взяла ее в церковь!

«Первый и последний, — подумал Колин. — Неудивительно, что эта особа выкидывает подобные штучки!»

— О, я готова признать во всеуслышание, — кричала между тем миссис Эмберли, — что эти деревенские прихожане, собравшиеся в церкви в дождливое воскресное утро, изрядно воняют. Это просто оглушительная вонь! Но однако…

— Аромат святости, — вставил свое слово Энтони Бивис и повернулся к Элен: — Я и сам страдал этой болезнью. Интересно, ваша мать заставляла вас сплевывать, когда вокруг скверно пахло? Моя заставляла. Хотя сделать это в церкви довольно трудно, не правда ли?

— Она не плевала, — вместо дочери ответила миссис Эмберли, — ее просто вырвало. На каракулевую шубку леди Ворплсдон. После этого я не могла показаться в приличном обществе. Благодарение Богу! — добавила она.

Беппо прошипел что-то нечленораздельное, протестуя против таких тяжких обвинений. Тема украденной печенки была исчерпана, и разговор потек по иному руслу.

Элен, на которую перестали обращать внимание, сидела за столом, не говоря ни слова. Лицо ее внезапно помрачнело; совсем недавно она поклялась себе, что больше никогда в жизни не возьмет в рот мяса, и вот, пожалуйте, она сидит за столом и преспокойно отправляет в рот насажен-

ный на вилку отвратительный красный кусок говядины с кровью. «Я просто ужасна, — подумала она. Pas sérieuse[94], как говаривала старая мадам Делеклюз. И хотя от профессионального палача девичьего племени вряд ли можно было ожидать чего-то другого, по сути своей это была правда. — Я несерьезна. Я не…»

Внезапно до нее дошло, что какой-то невнятный далекий звук, раздававшийся справа от нее, был мужским голосом и голос этот настойчиво обращался к ней.

— …Пруст, — только сейчас Элен поняла, что голос повторяет это короткое слово уже в третий раз. Она с виноватым видом оглянулась и, покраснев от смущения, увидела обращенное к ней, охваченное трепетом и нерешительностью лицо Хью Ледвиджа. Он глупо улыбнулся, его очки блеснули, и он отвернулся. Она почувствовала себя вдвойне смущенной и пристыженной.

— Боюсь, что я не совсем поняла, — невнятно пробормотала она.

— О, что вы, это не имеет никакого значения, — так же невнятно пробубнил он в ответ. — Нет, нет, это и в самом деле не важно.

---

[94] Примечания: 94
Весьма серьезно (*фр.*).

Конечно, не важно, но ведь ему потребовалось добрых пять минут, чтобы придумать этот гамбит с Прустом. «Я должен ей что-нибудь сказать, — решил он, увидев, что Бивис занят оживленной беседой с Мери Эмберли и Беппо. — Что-нибудь…» Но что? Что обычно говорят восемнадцатилетним девушкам? Надо бы сказать ей что-то личное, может быть, даже галантное. Например, насчет ее платья. («Какое очаровательное!») Нет, это туманно и не высвечивает деталей. «Как это идет к вашему цвету лица, вашим глазам!» (Кстати, какого они цвета?) Или можно спросить ее насчет вечеринок. Часто она ходила на них? (Весьма лукаво.) С молодыми людьми? Нет, это для него слишком сложно. К тому же ему не очень-то нравилось думать о том, что у нее могут быть какие-то молодые люди, — он бы предпочел, чтобы она была девственницей: *Du bist wie eine Blume*[95]… Или серьезно, но с улыбкой: «Ответьте мне… — мог он сказать, — ответьте мне, Элен, что теперь в массе своей любит молодежь? Как она мыслит, как ощущает мир?» — и Элен, водрузив локти на стол, повернулась бы к нему лицом и рассказала о том потустороннем мире,

[95] Примечания: 95
Подобна ты весеннему цветку (*нем.*).

где люди танцуют, ходят по банкетам и ведут кипучую личную жизнь, рассказала бы ему «все до последнего факта или, что более вероятно, не рассказала бы ничего, и он почувствовал бы себя невероятным идиотом. Нет, нет, так не пойдет, это не выход из положения. Это просто фантазия; он принимает желаемое за действительное. Вот тут-то и пришла ему в голову спасительная мысль о Прусте. Каково ее мнение о нем? Это был совершенно безличный вопрос, задавая который он не чувствовал бы себя неловко и неестественно. Но именно эта безличность при некотором усилии могла стать поводом к бесконечной дискуссии — совершенно абстрактной, можно сказать, выращенной в пробирке, но при этом дающей возможность проникнуть в самые отдаленные и потайные уголки души и даже (но нет, это, конечно… хотя почему нет?) затронуть физиологические стороны. Говоря о Прусте, можно высказать все — все, но не выходя при этом за рамки строгой литературной критики. Блестяще! Он повернулся к Элен.

— Я полагаю, вы, так же, как и все, высоко цените Пруста. — Он сделал паузу, ожидая ответа. Ответа не последовало. С противоположного конца стола долетали обрывки разговора миссис

Эмберли с Беппо и Бивисом — они перемывали косточки общим знакомым. Колин Эджертон был погружен в свои мысли — наверное, раздумывал об охоте на тигров в Центральных провинциях. Хью кашлянул и сделал вторую попытку. — Вы поклонница Пруста, не так ли? Я тоже, увы, как и все.

Унылый профиль девушки оставался мрачным и безжизненным. Чувствуя, что попал в дурацкое положение, Хью Ледвидж мужественно попробовал еще раз.

— Мне хотелось бы, чтобы вы мне поведали, — сказал он громче и спокойным голосом, прозвучавшим, как ему показалось, особенно неестественно, — что вы думаете о Прусте.

Элен не отрываясь продолжала смотреть в свою тарелку. *Pas sérieuse*. Она неотвязно думала о всех своих легкомысленных поступках, которые совершила в жизни, обо всех глупых, злых и ужасных вещах. Хью Ледвиджа охватила паника. Он был смущен и растерян. Было такое чувство, словно с него в центре Лондона среди бела дня свалились брюки. Любой другой на его месте просто взял бы ее за руку и сказал: «Пенни за ваши тайные мысли, Элен!» Как это было бы просто и понятно. Можно было бы обратить

в шутку весь инцидент, причем за ее счет! Таким нехитрым маневром он сразу занял бы в поединке господствующее положение, она бы хихикала и краснела по его команде, в ответ на его приказания. Как опытный матадор, он одним взмахом красной ткани заставлял бы ее демонстрировать самые уязвимые места, и вот тогда он смог бы извлечь из ножен шпагу и, взмахнув ею… Однако каким бы простым, разумным и выигрышным ни казался этот ход, Хью Ледвидж был не способен сделать первый шаг. Вот прямо перед ним ее по-детски тонкая рука — надо просто взять и коснуться ее, но непостижимым образом Хью не мог заставить себя сделать этот совершенно естественный жест. И никогда он не смог бы сделать то шутливое предложение пенни — да его голосовые связки просто отказались бы ему повиноваться. Прошло тридцать секунд — секунд неуверенности и смятения. Вдруг Элен, словно пробудившись ото сна, встрепенулась и посмотрела на Хью. Что он сказал? Но повторить прежний вопрос было решительно невозможно.

— О, что вы, это не имеет никакого значения. Нет, нет, это и в самом деле не важно. — Он отвернулся. Но почему, Господи, ну почему он такой ни черта не соображающий идиот в свои тридцать

пять лет? *Nel mezzo del cammin*[96]. Вообразите Данте в таких обстоятельствах! Данте с его стальным профилем, наклонившего голову в предвкушении новой духовной битвы. Интересно, что бы он сказал вместо потерявшей всякое значение ремарки о Прусте? Силы небесные, что?…

Вдруг она сама коснулась его руки.

— Я виновата перед вами, — сказала Элен с искренним чувством вины и изо всех сил пытаясь скрыть свою отвратительную сущность и то легкомыслие, с которым она только что ела на совесть отбитое мясо, приобретенное у мистера Болдуина. К тому же ей нравился этот старина Хью, он был очень мил и добр — этот прекрасный человек не пожалел времени и взял на себя труд показать ей ацтекские древности в Британском музее. «У меня деловая встреча с мистером Ледвиджем», — сказала она, придя в тот раз в музей, и служащие проявили по отношению к ней совершеннейшее почтение. Ее проводили в кабинет помощника директора департамента, демонстрируя при этом такую вежливость, словно она была весьма важной особой. Выдающийся археолог нанес визит другому выдающемуся археологу. Это

---

[96] Примечания: 96

На полдороге странствия земного (*ит.*). — «Ад» Данте, пер. В. Брюсова.

и в самом деле было необыкновенно интересно. Но, правда, — и в этом стыдно признаться, хотя это было еще одним доказательством ее крайней несерьезности, — она забыла почти все, о чем он ей тогда рассказывал. — Ради Бога, простите меня, — совершенно искренне проговорила Элен, прекрасно понимая, как чувствует себя сейчас Хью Ледвидж. — У меня глухая бабушка, и я хорошо знаю, что такое повторять дважды одно и то же. Чувствуешь себя полнейшей идиоткой. Как Тристрам Шенди с часами [97], если я понятно выразилась. Простите меня. — Она призывно сжала его руку, потом, опершись на локти, повернулась к нему лицом и заговорила преувеличенно доверительным тоном, чтобы он почувствовал ее особое к нему отношение: — Послушайте, Хью, вы ведь серьезный человек, не правда ли? — сказала она. — Ну вы понимаете, *serieux*.

— Ну, думаю, что да, — промямлил он. Только сейчас он с некоторым опозданием понял, что она имела в виду, упомянув мистера Шенди, и это открытие потрясло его до глубины души.

---

[97] Примечания: 97

Шенди, Тристрам — герой романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» английского писателя-сентименталиста Лоренса Стерна (1713–1768). Элен имеет в виду эпизод, где мать Тристрама спрашивает сына, не забыл ли он завести часы. (*Прим. перев. М. Ловина*)

— Мне думается, — продолжала она, — что вы вряд ли работали в музее, если бы не были серьезным человеком.

— Пожалуй, да, — признал он. — Я бы там не работал. — «В конце концов, — думал он, все еще размышляя о мистере Шенди, — есть такая вещь, как теоретическое знание. (Кому, как не ему, знать об этом?) Теоретическое знание, которое не имеет под собой истинного опыта, знание, которое не пережито, не пропущено через себя. О Господи!» — мысленно простонал он.

— Ну вот, а я очень несерьезна, — продолжала Элен. Ей вдруг страшно захотелось облегчить душу, попросить о помощи. Были моменты, наступавшие довольно часто, когда по той или иной причине она сомневалась в себе, моменты, когда все вокруг нее казалось невыносимо смутным и ненадежным. Все — точнее, практически все сводилось к ненадежности ее матери. Элен очень любила мать, но отчетливо сознавала, что та для нее совершенно бесполезна. «Наша мамочка похожа на скверную избитую шутку, — сказала она как-то в разговоре с Джойс. — Только подумаешь, что садишься на стул, как его выдергивают из-под тебя и ты со всего размаха грохаешься задницей об пол». Но что ответила на это Джойс? «Элен,

как ты можешь употреблять такие слова?» Дура набитая! Хотя следует признать, что сама Джойс была стулом, на котором можно сидеть, правда, в не слишком сложных обстоятельствах, а что толку в таком стуле? Джойс слишком молода; впрочем, даже когда она станет старше, она вряд ли научится правильно понимать и оценивать происходящее. А теперь, после помолвки с Колином, она вообще перестала что-либо понимать. Господи, какой же дурак этот Колин! Но все же это, если хотите, какой-никакой, но стул. Правда, существуют такие стулья, на которых не очень-то удобно сидеть, но если Джойс не возражает против такого дискомфорта, то, как говорится, вольному воля. У нее самой не было стула в этом страшно утомительном мире, и она почти завидовала Джойс. Опустив плечи, она тяжело облокотилась на стол.

— Самое плохое во мне то, — заговорила она, — что я безнадежно легкомысленна.

— Я не могу всерьез этому поверить, — произнес Хью, совершенно не понимая, почему он это сказал. Очевидно, он должен был воодушевить ее на исповедь, а не уверять в непогрешимости. Дело выглядело так, будто он в глубине души боялся именно того, чего желал больше всего на

свете. — Я не считаю, что вы…

Но, к счастью, никакие его слова уже не были способны свернуть ее с избранного пути. Элен твердо решила использовать его в качестве стула.

— Нет, нет, это истинно так, — уверяла она его. — Вы и представить себе не можете, насколько я легкомысленна. Я расскажу вам, как…

Через полчаса в задней гостиной он составлял список книг, которые она должна была прочесть. «Ранние греческие философы» Бернета, Федр[98], Тимей [99], «Апология», «Пир» в переводе Джоуэта, «Никомахова этика», Малая антология греческих моралистов Корнфорда, Марк Аврелий», Лукреций в любом хорошем переводе, «Плотин» Инджа [100]. Его манера говорить была непринужденной, внушающей доверие; речь была отточена до совершенства. Он был подобен зверю, внезапно оказавшемуся в своей стихии.

---

[98] Примечания: 98

Федр — греческий философ I в. до н. э., глава эпикурейской школы в Афинах, оказавший влияние на Цицерона. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[99] Примечания: 99

Тимей (356?-260? до н. э.) — греческий историк из Тавромения на Сицилии, проживший большую часть своей жизни в Афинах и написавший труды по истории Сицилии и Южной Италии. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[100] Примечания: 100

Инджа, Уильям Ральф (1860–1954) — английский писатель, проповедник, декан собора Св. Павла. (*Прим. перев. М. Ловина*)

— Это даст вам некоторое представление о том, как мыслили древние.

Она кивнула головой. При взгляде на исписанную карандашом страницу ее лицо стало серьезным и решительным. Она будет носить очки и велит перенести стол в спальню, чтобы оградить себя от излишних беспокойств, когда перед ней стопами будут громоздиться фолианты, а рядом с ними будет стоять письменный прибор. Тетради для записей, а еще лучше картотека. Она начала бы новую жизнь, жизнь осмысленную, имевшую конкретную цель. В гостиной кто-то завел граммофон. Помимо воли ее ноги начали отбивать ритм. Раз, два, три, раз, два, три — это был вальс. Господи, о чем она думает? Элен нахмурилась и усилием воли приказала себе остановиться.

— Что касается мыслителей нового времени, — говорил между тем Хью, — то два столпа, мимо которых нельзя пройти, то есть те, с которых начинается любая из современных культур, это, — и его карандаш заскользил по бумаге, — Монтень с его «Опытами» и «Мысли» Паскаля . Это несомненно. — Он подчеркнул фамилии. — Затем

возьмите «Рассуждение о методе»[101].

— О каком? — спросила Элен. Но Хью не расслышал вопроса. — И посмотрите «Левиафана» Гоббса , если будет время, — продолжал он со все нарастающей уверенностью и гордостью. — Затем Ньютона. Это совсем обязательно. Потому что если не знаешь философии Ньютона, ты не поймешь, почему наука развивалась так, а не иначе. Все, что потребуется, вы найдете в «Метафизических основах современной науки» Берта.

Пока он писал, стояло недолгое молчание. Приехали Том, Эйлин и Сивилла. Элен слышала, как они разговаривают в соседней комнате, но не оторвала глаз от бумаги.

— Затем прочтите Юма, — продолжал он. — Лучше начните с «Эссе». Они великолепны. Такая глубина, такая невероятная проницательность!

— Проницательность! — повторила Элен и самодовольно улыбнулась. Да, это как раз то слово, которое она подыскивала — как раз такой она хотела быть: проницательной, как слон, как старая овчарка, как Юм, если вам это больше нравится. Но в то же время она хотела остаться такой, какой была — юной, но проницательной,

---

[101] Примечания: 101

«Рассуждение о методе» — сочинение Рене Декарта (1596–1650) — французского философа, математика, физика. (*Прим. перев. М. Ловина*)

живой и привлекательной, но проницательной, порывистой и…

— Канта я вас читать не заставляю, — снисходительно произнес Хью. — Но думаю, — он снова начал писать, — думаю, что стоит почитать одного-двух неокантианцев. «Философию как если бы» Файхингера [102] и «Теоретическую биологию» Уэкскюля. Дело в том, что Кант оказал воздействие на всю науку нашего столетия. Так же, как Ньютон на науку восемнадцатого и девятнадцатого веков.

— Элен! — внезапно раздался чей-то голос.

Они прервали беседу и взглянули на дверь, откуда появилось улыбающееся, надменно красивое лицо Джерри Уотчета. Голубые глаза, блестящие на фоне загорелой кожи, смотрели то на нее, то на него с некоторой издевкой, сделав шаг вперед, он фамильярно привлек к себе Элен.

— Чем развлекаетесь? Кроссвордами или журнальными ребусами? — Он пару раз покровительственно похлопал ее по плечу.

Словно она лошадь, мысленно вознегодовал Хью. Этот молодец и в самом деле походил на

---

[102] Примечания: 102

Файхингер, Ханс (1852–1933) — немецкий философ-идеалист, создатель концепции фикционализма, учения о мире как совокупности иллюзий. (*Прим. перев. М. Ловина*)

конюха. Курчавые золотисто-каштановые волосы, лицо с плоскими чертами, одновременно ребячливое и тупое. Этот парень словно только что явился из Эпсомских конюшен.

Элен улыбнулась той улыбкой, которая должна была быть презрительно-надменной, улыбкой образованной женщины.

— Ты бы в любом случае подумал, что это кроссворд, — произнесла она. Затем вдруг добавила, сменив тон: — Кстати, вы знакомы? — И она перевела свой пристальный взгляд с Джерри на Хью.

— Так точно, — ответил Джерри, не убирая правой руки с плеча Элен, а левую приложил к виску, пародируя армейское приветствие. — Добрый вечер, полковник.

Покорно, как овца, Хью приложил ладонь к виску. Вся его сила, весь его авторитет рассеялись, когда ему поневоле пришлось покинуть мир книг и вернуться к сложным обстоятельствам личной жизни. Он почувствовал себя как раненый буревестник, упавший на сухой песчаный берег, беспомощным неудачником, робким и безобразным. И как легко, однако, было напустить на себя этакую всепроницающую улыбчивость и многозначительно сказать: «Да, я знаю мистера Уотчета весьма хорошо. Знаю его», — и тон подразумевал

бы всю сущность человека, о котором шла речь: джентльмен-бонвиван, профессиональный игрок и профессиональный любовник. В настоящее время он был в фаворе у Мери Эмберли, как полагали все. «Весьма близко знаком с мистером Уотчетом» — вот что надо было сказать. Но он не сказал этого, а лишь улыбнулся и глупо прижал руку к виску в военном салюте.

Тем временем Джерри устроился на подлокотнике дивана и сквозь дым сигареты принялся рассматривать Элен со спокойной и непринужденной наглостью, оценивая ее по частям: бедра, талия, грудь.

— Знаешь, Элен, — наконец сказал он, — ты с каждым днем становишься все привлекательнее и привлекательнее.

Вспыхнув, Элен запрокинула назад голову и расхохоталась; но внезапно ее лицо окаменело. Она разозлилась — разозлилась на Джерри за его невыносимую наглость, разозлилась больше всего на себя за то, что ей польстила эта наглость, за то, что с унизительным автоматизмом отреагировала на его вызывающую лесть. Покраснела и захихикала как школьница! А «Философия как если бы», очки в роговой оправе, новая жизнь и картотека?… Стоило только мужчине сказать о ее

привлекательности, как вся эта наука перестала казаться слишком важной. Она повернулась к Хью, ища защиты и поддержки. Но он поспешно отвел взгляд и отвернулся. Его лицо стало задумчиво-рассеянным — было видно, что он думал о чем-то постороннем. «Он рассердился на нее?» — подумала она. Был оскорблен тем, с каким удовольствием она приняла комплимент Джерри? Но ведь это все равно что мигнуть от грохота револьверного выстрела — человек не властен над такими действиями. Должен же Хью понять, что она искренне хочет начать новую жизнь и стать благоразумной. Вместо этого он отошел в сторону, показав, что не желает больше иметь с ней дело. О, как это нечестно!

За холодной личиной отчужденности Хью более чем когда-либо чувствовал себя как бодлеровский альбатрос.

> *Ce voyageur ailé, comme ilt est gauche el veule!*
>
> *Lui, naguère si beau, gu'il est comique et*

laid?[103]

Ах, эти захватывающие дух лазурные неокантианские выверты. Из соседней комнаты ревел граммофон: «Да, сэр, она моя девчонка». Джерри просвистел пару тактов, затем повернулся к Элен:

— Как насчет фокстрота? Если, конечно, ты закончила с полковником. — Он бросил язвительный взгляд на отвернувшегося Хью. — Я не хотел бы прерывать…

Теперь подошла очередь Элен взглянуть на Хью.

— Понимаете… — нерешительно произнесла она.

Не поднимая глаз, Хью поспешил сказать:

— Нет-нет, не возражаю. — И сам удивился своему поступку. Какой бес ударил его в ребро, заставив признать свое поражение до самой битвы? Уступить ее конюху. Размазня и трус! «И все же, — цинично сказал он себе, — она, пожалуй, предпочтет конюха. Наверное». Он поднялся,

---

[103] Примечания: 103

Крылатый путник тот — как свет он к нам летит!
Недавно был красив, и вот смешон и мертв! (фр.).

— Из стихотворения французского поэта-декадента Шарля Бодлера (1821–1867).

пробормотал что-то насчет важного разговора с кем-то, кто должен был вот-вот подойти, и двинулся к двери, ведущей на лестницу.

«Ну что ж, если он не хочет, чтобы я была с ним, — в негодовании думала Элен, — если я ему не нужна». — Она была обижена и уязвлена.

— Полковник вышел в отставку, — заметил Джерри. Затем, вновь возвращаясь к той же теме: — Ну так как насчет того, чтобы чуть-чуть потанцевать?

Он поднялся с подлокотника и подал ей руку. Элен сжала ее ладонью и встала с низкого стула.

— «Нет, сэр, не говорите: «Может быть», — пропел он, обняв ее за талию. Вихрь танца увлек их, и они, извиваясь в такт музыке, двинулись в соседнюю комнату.

Глава 15

Июнь 1903 — январь 1904 г.

Это был ритуал, священнодействие (именно так назвал его сам Джон Бивис) — священнодействие единения. Сначала он открывал дверцы шкафа, перебирал ее платья. Закрыв глаза, вдыхал аромат духов, который они источали; сквозь пропасть разделявшего их теперь времени он ощущал слабый, едва уловимый запах ее тела. Потом наступал черед ящиков. Вот в этих трех, что слева, хранится ее белье. Вот мешочки с лавандой, аккуратно перевязанные голубыми ленточками. Он развернул кружева на ночной рубашке, которых касалась… Даже мысленно Джон старался не произнести слов «ее грудь», хотя живо припоминал ее округлую, слегка поникшую плоть, высвечивавшуюся сквозь ажурную полупрозрачную ткань. В памяти всплыли незабываемые римские ночи, воспоминания о которых сменили мысли о Лоллингдоне, юдоли печали и могильном мраке. Он сворачивал ночную рубашку и переходил к следующему ящику. Перчатки, облегавшие ее руки, пояса, заключав-

шие ее талию. Джон задумчиво оборачивал эти невесомые пояса вокруг запястья или висков. Обряд заканчивался чтением ее писем, писем, которые она писала ему после помолвки. Это венчало его муки — ритуал заканчивался, и Джон отправлялся спать с еще одной раной в сердце.

За последнее время, однако, боль от этих ран несколько притупилась; казалось, ее смерть, до сих пор мучительно живая, сама начала умирать. Ритуал, очевидно, уже терял свое колдовское действие, сладкие муки становились все недоступнее и недостижимее, а когда все-таки наступали, то были менее болезненными и поэтому перестали удовлетворять Бивиса, ибо только боль оправдывала его существование все последние месяцы, боль невосполнимой утраты. Его желание и нежность внезапно лишились своего предмета. Но теперь причинявший страдания, пораженный гангреной член был отсечен. Теперь боль — а это все, что осталось ему в наследство от жены, — эти драгоценные для него муки ускользали от Джона, умирали, как умерла сама Мейзи.

Сегодня боль, видимо, исчезла полностью. Он зарылся лицом в ароматные складки ее платьев, трогал кружева и батист, касавшиеся ее нежной кожи, надул одну из ее перчаток, некогда

облегавших ее руки, и тупо смотрел, как воздух постепенно выходил из пальцев перчатки и тонкая кожа безвольно обвисла, не пытаясь больше представляться живой. Ритуал оказался бесполезным и не достиг цели — ничто больше не трогало сердце Джона. Умом он понимал, что она мертва и что эта разлука ужасна. Но она больше не трогала его душу — он не чувствовал ничего, кроме пыльной пустоты.

Он лег спать неудовлетворенным, даже в какой-то степени униженным. Магические ритуалы оправдывают себя, только если достигают цели. Если же эмоциональный результат не достигнут, то исполнитель ритуала чувствует, что его предали и одурачили.

Чувствуя себя высохшей мумией, лежащей в пыльной и душной пустоте своей гробницы, Джон долго не мог заснуть. Двенадцать, час, два, и потом, когда его охватило отчаяние, пришел сон, и ему привиделось, что она была здесь, рядом с ним, и это была та Мейзи, которую он знал на первом году их совместной жизни, с теми круглыми холмами и долиной под кружевами, с разомкнутыми губами (о Боже!), дававшими невинное согласие. Он сжал ее в объятиях.

Это был первый раз со дня ее кончины, когда он

увидел ее во сне не омраченной флером смерти.

Джон проснулся от чувства стыда, и, когда позже он увидел мисс Гэннет, ждавшую его, как обычно, в коридоре перед аудиторией, он сделал вид, что не заметил ее, и поспешил мимо, потупив глаза, хмурясь, словно был озадачен какой-то таинственной, неразрешимой проблемой высшей филологии.

Однако на следующий день он нанес свой еженедельный визит престарелой тетушке Эдит. И конечно же — хотя он не преминул высказать свое глубочайшее удивление — мисс Гэннет тоже была там, и он точно знал, что она придет, поскольку никогда не пропускала четвергов тетушки Эдит.

— Вчера вы ужасно торопились, — вымолвила она, дав улечься его наигранному удивлению.

— Я, когда? — Он притворился, что не уловил смысла ее слов.

— В колледже, после лекции.

— А вы были на лекции? Признаться, я вас не видел.

— Теперь он думает, что я прогуляла его лекцию, — пожаловалась она несуществующему третьему собеседнику. С тех пор как они впервые встретились в салоне тетушки Эдит два месяца

назад, мисс Гэннет исправно посещала все его публичные лекции. «Чтобы совершенствовать мое образование, — всегда объясняла она. — Ведь оно так в этом нуждается», — добавляла она с усмешкой и одновременно с печалью.

Мистер Бивис воспротивился:

— Я никогда не говорил вам ничего подобного.

— Я покажу вам свои конспекты.

— Нет, пожалуйста, не нужно этого делать. — Теперь играть начал он. — Если б вы знали, как я устал от собственных лекций.

— Но вы же чуть не перешагнули через меня в коридоре после лекции.

— Ах, тогда!

— Я никогда не видела, чтобы человек так спешил.

Он кивнул.

— Да, я очень спешил, это правда. У меня было заседание. Чрезвычайно важное, — внушительно добавил он.

Она широко открыла глаза, и тон ее голоса, как и выражение лица, сменилось от шутливого к серьезному.

— Должно быть, иногда бывает очень скучно, — сказала она, — ощущать себя значительной персоной, не правда ли?

Мистер Бивис снисходительно улыбнулся, глядя на взрослое дитя, объятое благоговением перед ним, на невинное создание, которое было розовощекой и по-детски красивой молодой женщиной лет двадцати семи, улыбнулся, почувствовав удовлетворение, и погладил усы.

— Ну, не такой уж важный, как вы думаете, — возразил он. — Не настолько. — Он на минуту замялся, рот его искривился, глаза блеснули. — Не сливки общества, как вы, видимо, думали.

Он в очередной раз воспользовался если не жаргоном, то по крайней мере простонародным языком.

В то утро пришло только одно письмо. «От Энтони», — заметил мистер Бивис, вскрывая конверт.

«Балсроуд, 26 июня.

Дорогой мой отец, спасибо тебе за письмо. Я думал, мы на каникулы поедем в Тенби. Не договорились ли вы об этом с миссис Фокс? Брайан говорит, что она ждет нас и, может быть, нам, вместо того чтобы ехать в Швейцарию, стоит погостить у них. Мы сыграли вчера два матча, один с первой командой «Солнечного берега» и другой с Мамбриджем. Мы вы-

играли оба раза, и это было здорово. Я играл во второй сборной и сделал много успешных подач. По французскому начали читать новую книгу под названием «Письма с моей мельницы»[104]. По мне, это бред. Больше новостей нет, а потому остаюсь твой любящий сын

Энтони.

P. S. Не забудь написать миссис Фокс, потому что Брайан говорит, она думает, что мы приедем в Тенби».

Мистер Бивис насупился, читая письмо, и, когда обед закончился, спустился в кабинет писать ответ.

«Эрлскот-сквер, 27 июня 1903 г.

Дорогой Энтони! Меня постигло разочарование, поскольку ты воспринял то, что я считал волнующей новостью, с меньшим энтузиазмом, чем я надеялся. В твоем возрасте я, несомненно, использовал бы возможность съездить за границу, особенно в Швейцарию, с безмерным

[104] Примечания: 104

«Письма с моей мельницы» — роман французского писателя Альфонса Доде (1840–1897). (*Прим. перев. М. Ловина*)

восторгом. Договоренности с миссис Фокс были весьма неопределенными. Не стоит, однако, даже и говорить о том, чтобы я написал ей, как только подвернулась блестящая возможность исследовать Альпы в близкой по духу компании; это случилось всего лишь несколько дней назад и заставило меня отложить реализацию наших смутных планов насчет Тенби. Если хочешь увидеть точно, куда мы поедем, возьми свою карту Швейцарии, найди Интерлакен [105] и Боденское озеро, продвинься на восток от конца озера до Мейрингена и затем в южном направлении к Гриндельвальду. Мы сделаем остановки у перевала Шайдек, у Розенлои, почти под сенью таких звездных мест, как Юнгфрау, Вайсхорн и прочих. Я не знаю, где точно находится это место, но по свидетельству тех, кто там был, оно просто — рай на земле.

Я рад слышать, что ты хорошо проявил себя во время футбольного матча. Ты должен продолжать, дорогой мальчик, делая

[105] Примечания: 105

Интерлакен — горно-климатический курорт в Швейцарии, к юго-востоку от Берна. (*Прим. перев. М. Ловина*)

усилие за усилием. На следующий год, я надеюсь, ты будешь одним из лучших игроков в первой сборной школы.

Не могу согласиться с тобой в том, что Доде — это, по твоему выражению, бред. Подозреваю, что его скучность происходит из-за сложности, которую он представляет для начинающих. Когда ты блестяще овладеешь языком, ты оценишь тонкость его стиля и остроту его ума.

Надеюсь также, что ты упорно занимаешься и математикой. Должен сознаться, что сам я никогда не блистал математическими способностями и потому могу посочувствовать твоим неуспехам. Но упорный труд способен творить чудеса, и я уверен, что если ты и в самом деле зароешься в алгебру и геометрию, то легко сможешь за год стать ученым математиком.

С добрыми пожеланиями твой отец

Джон Бивис».

— Какая пакость! — сказал Энтони, закончив чтение письма. На глаза навернулись слезы — он был полон чувства нестерпимого горя.

— Ч-что он пишет? — спросил Фокс.

— Все устроено. Он написал письмо твоей матери, что мы поедем в какой-то медвежий угол в Швейцарии вместо Тенби. Нет, меня действительно сейчас вывернет. — Он скомкал письмо и со злостью бросил его на пол, затем отвернулся и попытался сорвать злость, пнув ящик с игрушками. — Меня тошнит от этого письма, тошнит, — не уставал повторять он.

Брайану тоже было не по себе. Они собирались так чудесно провести время в Тенби, все это ослепительно рисовалось в воображении, роскошно планировалось до мельчайших деталей, а теперь — хрясть! — и счастливое будущее разлетелось на куски.

— И в-все же, — наконец вымолвил он после долгой паузы, — н-надеюсь, т-тебе понравится в Ш-швейцарии. — Охваченный внезапным порывом, которому трудно было найти объяснение, он подхватил письмо мистера Бивиса, разгладил смятые страницы и протянул его Энтони. — В-вот т-твое письмо, — запинаясь, проговорил он.

Энтони целую минуту разглядывал письмо, потом открыл рот, словно собираясь что-то сказать, затем закрыл рот, взял письмо и убрал его в карман.

Когда они приехали в Розенлои, выяснилось, что близкая по духу компания, в которой они собрались бродить по Альпам, состоит из мисс Гэннет и ее школьной подруги мисс Луи Пайпер. Мистер Бивис постоянно называл их «девочками» или, применяя свою излюбленную издевательски филологическую манеру шутить, называл их «дамзелями» — *dominicellae*[106], что было двойным уменьшительно-ласкательным от слова *domina*[107]. Крошечные леди!

Он улыбался сам себе всякий раз, когда произносил это слово. Энтони «девочки» казались парой скучных особ женского пола, к тому же не первой молодости. Пайпер, более худощавая из них, была похожа на гувернантку. Ему больше нравилась перезревшая толстушка Гэннет, несмотря на ту ужасную не то коровью, не то мышиную манеру смеяться и на то, как она пыхтела, взбираясь в гору. Гэннет по крайней мере говорила то, что думала, и была весьма благодушна. К счастью, в отеле оказались еще двое английских мальчишек. Они приехали из Манчестера и говорили довольно смешно, но ребята они были

---

[106] Примечания: 106
Девушки, девчушки (*ит.*).

[107] Примечания: 107
Женщина (*ит.*).

что надо и знали немереное количество сальных анекдотов. Кроме того, ими была обнаружена пещера в лесу позади отеля, в которой они прятали сигареты. Когда Энтони, гордясь тем, что видел, вернулся обратно в Балстроуд, он хвастался, что курил почти каждый день во время каникул.

Во второй половине дня в одну из суббот ноября в Балстроуд приехал мистер Бивис. Они с Энтони немного посмотрели, как играют в футбол, затем совершили унылую прогулку, закончившуюся у Королевских ворот. Джон заказал сдобные лепешки и «яичницу на сливочном масле для юного крепыша», заговорщицки подмигнув официантке, как будто она, так же, как и он, знала, что это означает «подающего большие надежды» — и вишневый джем на второе! («Ведь вишневый твой любимый?»)

Энтони кивнул в знак согласия. Вишню он действительно любил больше всего, но такие церемонии вокруг еды насторожили сто. Для чего все это делается? Собирается ли он что-нибудь рассказывать о своей работе? Будет ли у него, у Энтони, стипендия со следующей осени? А как насчет?… Он покраснел. В конце концов, отец мог просто ничего не знать об этом. Нет, это совершенно невозможно. В конце концов Энтони

сдался, не в силах представить себе, что собирается сообщить ему отец.

Но когда после необычно длинной паузы отец нагнулся вперед и сказал: «У меня для тебя интересная новость», — Энтони озарило — он понял, какая новость его ожидает.

«Он собирается жениться на этой тетке Гэннет», — подумал он.

Так оно и оказалось. Свадьба намечалась на середину декабря.

— Она будет тебе славным товарищем, — сказал мистер Бивис. — Так молода, полна такой свежей и неутолимой энергии! Товарищем и второй матерью.

Энтони опять кивнул. Но что он имел в виду, говоря о товарище? Он вспомнил эту старую толстуху Гэннет, вспомнил, как она, источая запах пота, карабкалась по склонам в Розенлои, вспомнил ее покрасневшее от напряжения лицо… Внезапно в его ушах зазвучал голос матери.

— Полин хочет, чтобы ты называл ее по имени, — продолжал мистер Бивис. — Это будет… ну, проще, я полагаю?

Энтони сказал «да», потому что ему, очевидно, было нечего больше сказать, и положил себе еще порцию вишневого джема.

— Третье лицо единственное число аориста [108] от *τίθημι*[109]? — спросил Энтони. Лошадиная Морда дал неверный ответ. Стейтс ответил правильно. — Второе лицо множественное число плюсквамперфект от *ἔρχομαι*?[110]

Замешательство Брайана было вызвано более серьезной причиной, чем заикание.

— Тебе сегодня кол, Лошадиная Морда, — сказал Энтони и, указав пальцем на Стейтса, давшего верный ответ, выдал: — Молодец! — И он повторил с характерной грохочущей манерой остроту Джимбага: — Место осадка — на дне, Лошадиная Морда.

— Бедный Лошадиная Морда, — произнес Стейтс, хлопнув его по спине. Теперь, доказав Брайану свое превосходство в знании греческой грамматики, он почти любил его.

Было около одиннадцати — уже давно потушили свет, и троица собралась в туалете. Энтони, исполняющий роль экзаменатора, величественно

---

[108] Примечания: 108

Аорист — форма глагола в некоторых языках, обозначающая мгновенное или предельное действие. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[109] Примечания: 109

Кладу, полагаю (*др. — греч.*).

[110] Примечания: 110

Опустошаю (*др. — греч.*).

восседал на унитазе, а двое других примостились на корточках у его ног. Майская ночь была теплой и тихой. Меньше чем через полтора месяца они будут сдавать летние стипендиальные экзамены — Брайан и Энтони в Итоне, Марк Стейтс в Регби . Прошел год со времени предыдущих рождественских каникул, когда Стейтс вернулся в Балстроуд с заявлением о том, что он идет на стипендию. Новость была ошеломляющей, повергшей в трепет его льстецов и подпевал. Тяжкий труд считался идиотским занятием, и те, кто учился изо всех сил, были презираемы всеми, поэтому получение стипендии считалось событием из ряда вон выходящим. Вот появились еще два зубрилы — Вениамин Бивис и Лошадиная Морда, да вдобавок этот нервный Гогглер Ледвидж. Все это показалось однокашникам предательством самых святых идеалов.

Уверенность в зубрил вселил сам Стейтс — сначала своими словами, а потом и поступками. Мысль о стипендии принадлежала его отцу. Заманчивость ее заключалась не в сумме — для отца Стейтса она мало что значила. Стейтс говорил всем, что все делалось ради чести и славы, потому что это стало доброй традицией его семьи. Его отец, его дяди, его братья, все они получали

стипендии. Не к лицу было бы подводить Достославное Семейство. Это не меняло, однако, того, что сама зубрежка считалась отвратительным занудством и что все зубрилы, которые зубрили потому, что им это нравилось, как, например, Лошадиная Морда и Бивис, или ради денег, как несчастный Гогглер, были жалкими червями. И в доказательство тому он поддразнивал Лошадиную Морду за заикание и своеобразную манеру говорить, травил Гогглера за то, что тот не играет в футбол, и колол Бивиса в зад перьями, когда тот готовился к урокам; Стейтс сам занимался очень усердно, но именно по этой причине был вынужден еще более достоверно играть свою роль лентяя, уверяя всех и каждого, что зубрежка — самое последнее дело и что лично у него нет никаких шансов получить стипендию.

Когда лицо было в какой-то степени сохранено, он изменил тактику по отношению к Бивису и Лошадиной Морде и, выражая им некоторое время свои дружеские намерения, закончил тем, что предложил создать общество взаимопомощи по подготовке к стипендиальным экзаменам. В самом начале осеннего семестра именно он выступил с идеей устраивать ночные сборища в уборной. Брайан хотел включить Гогглера в

полуночную команду, но двое других были против, к тому же туалет был слишком мал, чтобы вместить четвертого. Ему пришлось довольствоваться случайной помощью Гогглеру, которому он иногда выделял по полчаса в дневное время. Ночь и уборная оставались для триумвирата.

Для оправдания своего незнания греческих глаголов сегодня вечером Брайан робко произнес:

— Я оч-чень ус-с-с… — Но фраза оказалась слишком трудной, и ему пришлось прибегнуть к высокопарной метафоре. — Очень утомлен сегодня, — закончил он.

Он говорил истинную правду, о чем свидетельствовали синяки под глазами и бледность; но для Стейтса это была всего лишь оговорка, с помощью которой Лошадиная Морда пытался приуменьшить горечь своего поражения в присутствии того, кто зубрил, в отличие от него самого, не в течение многих лет, а всего нескольких месяцев. Таким образом Брайан признал его, Марка, преимущество. Теперь можно было позволить себе быть великодушным.

— Эта удача дорого мне достанется! — произнес Марк с оттенком мольбы в голосе. — Давайте немного отдохнем.

Из кармана пижамы Энтони вытащил три

имбирных пряника, размякших от долгого хранения, но тем не менее желанных.

В тысячный раз с тех пор, как было решено, что он пойдет на стипендию, Стейтс заявил:

— Как мне жаль, что у меня нет ни малейшего шанса!

— У т-тебя ог-громный шанс!

— Нет у меня никакого шанса. Это просто сумасшедшая идея моего Pater'a. Сумасшедшая! — повторил он, тряхнув головой. Но на самом деле он испытал острое, греющее душу чувство гордости, восхищения и вспомнил, как говорил отец: «Мы, Стейтсы… Когда один из Стейтсов… У тебя такие же способности, как и у всей нашей семьи, и такое же упорство…» Он с усилием выдавил из себя вздох и упрямо произнес: — У меня нет даже призрака шанса.

— В с-самом деле т-ты б-больше способен, ч-чем я.

— Чушь! — Стейтс отказался признать даже возможность успеха. Затем, если бы он провалился, он мог бы сказать: «Ну, я же говорил тебе», — а если бы выдержал экзамен, на что он втайне надеялся, его слава была бы еще больше. Кроме того, чем больше было упорство, с которым он отрицал свою вероятность победить, тем чаще приятели

повторяли сладостные заверения в том, что успех его был возможен, ощутим. Успех, и, что значило больше, успех по их меркам, несмотря на то что он всегда представлялся яростным противником зубрежки.

Следующее заверение сделал Вениамин:

— Джимбаг считает, что у тебя все шансы. Я слышал, как он вчера разговаривал со старым Джеко.

— Откуда старому кретину Джимбагу знать об этом. — Стейтс презрительно скривился. — А что касается Джеко…

Внезапный скрежет дверной ручки заставил всех троих насторожиться.

— Эй, ребята, — послышался умоляющий шепот сквозь замочную скважину, — вылезайте. У меня жутко болит живот.

Брайан поспешно поднялся с пола.

— Нужно впустить его, — начал он.

Стейтс осадил его.

— Не валяй дурака, — произнес он сценическим шепотом и повернулся к двери: — Иди в малый этажом ниже. Мы заняты.

— Боюсь, что не успею.

— Тогда чем быстрее побежишь, тем лучше.

— Свинья! — послышался шепот. Затем: — О Бо-

же! — И они услышали стремительное шлепанье обутых в тапочки ног, удалявшееся к лестнице. Стейтс ухмыльнулся.

— Это будет ему уроком. Как насчет того, чтобы вернуться к греческой грамматике?

Заранее разгневанный, Джеймс Бивис чувствовал, что негодование все растет и растет с каждой минутой, проведенной под крышей брата. Дом буквально дышал готовящейся свадьбой. Запах брачного торжества душил его, как угарный газ. А в центре всего располагался Джон, невинно гревшийся в невидимых лучах таинственного женского тепла, вдыхавший дрожащим носом чад и все же чувствовавший глубочайшее удовлетворение и переворачивающее душу счастье. «Как сурок, — внезапно пришло на ум Джеймсу, — сурок со своей самкой, прижавшейся к нему вплотную в подземной норе». Да, дом походил на нору, где Джон был тощим байбаком во главе стола, с другой стороны которого сидела пышная, раздобревшая байбачка Гэннет. Между ними, занимавший один всю сторону стола, расположился маленький и несчастный Энтони, как птенец, которого поймали в лесу или в поле, затащили в душный дом и посадили в клетку. Негодование породило столь же сильную жалость

и сострадание к несчастному ребенку и одновременно пробудило уже давно забытое чувство скорби о бедной Мейзи. Пока она была жива, он считал ее безнадежной идиоткой и ни на что не годной легкомысленной особой. Эта женитьба Джона и то уютное облачко, которое окутывало счастливую парочку, заставили Джеймса изменить свои суждения о покойной (по крайней мере она не была такой толстой). И надо же, после ее смерти муж принес Мейзи в жертву ради этой разжиревшей сурчихи. Ужасно! Джеймс был не на шутку рассержен.

Тем временем Полин изо всех сил отказывалась от шоколадного суфле.

— Но, дорогая, ты должна! — настаивал Джон.

Полин попыталась притвориться, что уже сыта.

— Я не могу.

— И даже любимый чоколатл? — Мистер Бивис всегда обозначал шоколад его исконным ацтекским названием.

Полин игриво посмотрела на поднос.

— Я не должна, — произнесла она, подразумевая, что может съесть еще.

— Нет, должна, — уговаривал он.

— Посмотрите, он хочет, чтобы я растолсте-

ла! — притворно заголосила она. — Он вводит меня в искушение.

— Вот и не упирайся.

На этот раз Полин вздохнула как ученица.

— Ну ладно, будь по-твоему, — покорно сказала она. Кухарка, в нетерпении ждавшая разрешения противоречия, поставила перед ней новый поднос. Полин принялась есть.

— Вот умница, — произнес Джон, придав своему голосу интонацию наигранной отеческой заботливости. — Ну, а теперь, Джеймс, я думаю, ты последуешь хорошему примеру. — Отвращение и гнев Джеймса были так сильны, что он не мог заставить себя говорить из-за страха сказать грубость. Он ограничился тем, что отрицательно покачал головой.

— Не хочешь ли чоколатла? — обратился мистер Бивис к Энтони. — Но я уверен, что ты не побрезгуешь и пудингом! — И когда Энтони взял кусок, он умиленно воскликнул: — Вот молодец! Вот как нужно… — Он замялся на долю секунды. — Вот так нужно есть — чтоб за ушами трещало!

Глава 16

17 июня 1912 г.

Красноречие Энтони, которое он проявил, пока они шли к вокзалу, было признаком охватившего его глубокого чувства вины. Своим многословием, подчеркнуто внимательным отношением Энтони пытался сгладить тягостное впечатление от того, как он поступил с Брайаном предыдущим вечером. И дело было не в том, что Брайан в чем-то его упрекал, — нет, напротив, он ни единым словом не намекнул на вчерашнее оскорбление. Его молчание служило Энтони извинением за промедление с разговором о том, что делать с Марком Стейтсом. Когда-нибудь он непременно заведет речь об этом неприятном инциденте (как же они занудны со своей постоянной грызней!). Но пока, уверял он себя, надо переждать, пусть Брайан сам напомнит об этом. Тем временем нечистая совесть заставляла его относиться к Брайану с подчеркнутым дружелюбием, и он приложил особое усилие к тому, чтобы быть интересным и показать свой интерес. Интерес к поэзии Эдварда Томаса, пока они шли вдоль

по Бомонт-стрит, к Бергсону[111] по пути мимо Вустера, к национализации угольных шахт при пересечении моста Хайт, к Джоан Терсли, пока они шли под виадуком и поднимались на эстакаду, ведущую к платформе.

— Н-невероятно, — сказал Брайан, нарушив с явно показным усилием неестественно затянувшуюся паузу, — что ты н-никогда н-не встречал се.

— *Dis aliter visum*[112], — ответил Энтони излюбленным классическим стилем отца. Хотя, конечно, если бы он принял приглашение миссис Фокс остаться в Туайфорде, боги, думал он, изменили бы свое мнение.

— Х-хочу, чтобы вы п-понравились д-друг другу, — говорил Брайан.

— Конечно, понравимся.

— Она н-не б-блистает у-у-у… — Он терпеливо начал фразу сначала: — б-блистает у-умом. Так, во всяком случае, кажется на первый взгляд. Можно даже подумать, ч-что ее н-ничего н-не интересует, к-кроме с-с-с… — Словосочетание

---

[111] Примечания: 111

Бергсон, Анри (1859–1941) — французский философ, представитель интуитивизма. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[112] Примечания: 112

Боги судили иначе (*лат.*). — Цитата из «Энеиды» Вергилия.

«сельская жизнь» не давалось Брайану, пришлось прибегнуть к другому обороту речи. — Деревенских д-дел, — произнес он наконец. — С-собаки, п-птицы и в-все т-такое.

Энтони кивнул и, внезапно вспомнив птичек и зверушек Брайана времен Балстроуда, неприметно улыбнулся.

— К-когда т-ты уз-знаешь ее л-лучше, — старательно выговаривал Брайан, — т-ты обнаружишь в ней г-гораздо б-больше. У нее п-потрясающее ч-чувство к п-п… к стихам. В-вордсворт и М-мередит, например. Я всегда уд-дивляюсь, как т-точны ее с-суждения.

Энтони саркастически усмехался про себя. Да, уж тут-то будет Мередит.

Его маленький спутник молчал, думая, как ему объясниться и стоит ли объясняться вообще. Все было против него — его физические недостатки, сложность самовыражения, усугублявшаяся еще и тем, что Энтони даже не хотел понимать того, что он говорит, мог надеть маску циника и не принимать участия в разговоре.

Брайан вспомнил их первую встречу. Его невероятно смутило появление в гостиной двух незнакомых женщин, когда он вошел туда к чаю. Волосы его были мокры от дождя, лицо вспыхну-

ло. Мать произнесла имя: «Миссис Терсли». Жена нового викария, догадался он, пожимая руку высокой сухопарой модно одетой женщине. Она вела себя настолько заискивающе, что шепелявила при разговоре; улыбка была неестественно приветливой.

— А это Джоан.

Девушка протянула руку, и, когда он пожимал ее, Джоан отшатнулась от него стыдливым и одновременно грациозным движением, похожим на движение молодого деревца, склонившегося под порывом ветра. Этот жест был красив и необычайно трогателен.

— Мы слышали, вы любите птиц, — нарушила молчание миссис Терсли с нарочитой вежливостью, которая ко всему прочему сопровождалась дружелюбной и проникновенной, типично христианской улыбкой. — Джоан тоже. Настоящий орнитолог.

Покраснев, девушка пробормотала что-то в знак протеста.

— Она будет рада, если кто-нибудь поговорит с ней о ее драгоценных птичках. Правда, Джоан?

Смущение Джоан было настолько велико, что она потеряла дар речи.

Девушка вспыхнула до корней волос и отвер-

нулась. От этого Брайан ощутил нежность и сострадание. Сердце его учащенно забилось. Со смешанным чувством страха и блаженства он осознал, что случилось что-то чрезвычайно важное и необратимое.

А затем, продолжал вспоминать он, каких-нибудь четыре или пять месяцев спустя они вместе гостили в доме ее дяди в Восточном Суссексе. В отсутствие родителей она преобразилась — нет, она не стала другим человеком, она стала самой собой — раскованной экспансивной девушкой, какой она не могла быть дома. Дома она жила как в клетке. Постоянное ворчание и спорадические всплески желчи ее отца повергали ее в ужас. И, даже любя свою мать, она чувствовала себя пленницей ее заботы, смутно ощущая, что привязанность сковывает ее свободу. В конце концов, ей была тягостна холодная, немая атмосфера их жизни, та смиренная нищета, та неослабевающая борьба за то, чтобы выглядеть «не хуже других», чтобы сохранить положение в обществе. Дома Джоан не могла распоряжаться собой, а здесь, в просторном доме в Айдене, среди спокойных, непринужденных обитателей она получила свободу счастливого преображения. Ошеломленный Брайан влюбился в нее без памяти.

Вспомнил он и тот день, когда они бродили по болотам в Уинчелси. Боярышник был в цвету, на просторном ровном лугу паслись овцы, а ягнята были похожи на белые созвездия; над головой по небу неспешно плыли облака. Несказанно прекрасно! Ему вдруг показалось, что они идут сквозь образ своей любви. Мир был их любовью, а любовь — миром; мир велик, он несет в себе непостижимую таинственную, мистическую глубину. Доказательство благости Божией витало в этих облаках, сквозило в пасущемся стаде, светилось из каждого куста, горящего белоснежно-белым цветом, и жило в них самих — в нем и в Джоан, идущих, взявшись за руки, по лугу, оно проступало в их ненарушимом блаженстве. Его любовь, как казалось ему в тот апокалиптический момент, была больше, чем только его, по какой-то таинственной причине она была равноценна ветру и солнечному свету, млечным струям света, орошающим зелень и синеву весны. Его чувство к Джоан было разлито по всей Вселенной и приобрело божественно-космическое значение. Он любил ее безмерно и по этой причине был способен любить все в мире так же, как и ее.

Память об этом была дорога ему, тем более сейчас, когда в самих чувствах произошло изме-

нение. Прозрачная и, казалось бы, чистая, как весенняя вода, его бесконечная любовь выкристаллизовалась в отчетливое желание.

Et son bras sa jambe, et sa cuisse et ses reins,

Polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne,

Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins,

Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne[113].

Когда Энтони впервые заставил себя прочитать стихотворение, эти строки захватили его воображение, сперва не вызвав никаких ассоциаций, но позже прочно связались в его сознании с образом Джоан. Гладки, как масло, волнисты, как оперение лебедя. Он запомнил четверостишие почти сразу и навсегда — оно сохранилось у него в мозгу, как угрызения совести, как воспоминание о преступлении.

---

[113] Примечания: 113

Ее руки, и ноги, и бедра, и чресла
Гладки, как масло, волнисты, как оперение лебедя.
Идет перед моими очами, ясновидящими, но спокойными;
И живот и грудь ее суть гроздья моей лозы (фр.).

Они вошли в здание вокзала и обнаружили, что ждать осталось почти пять минут. Молодые люди принялись неспешно расхаживать по платформе.

С усилием избавившись от видения женской груди, маслянисто гладкого живота, Брайан наконец вымолвил:

— М-моя м-мама очень любит ее.

— Это очень хорошо, — произнес Энтони, чувствуя, что хватил через край в своей неискренности. Если он влюбится, то определенно не станет показывать свою девушку отцу и Полин. Для их одобрения! Если уж на то пошло, то это не их ума дело — одобрять или не одобрять. Подумав, Энтони решил, что в такое дело не стоит впутывать даже миссис Фокс, и даже больше, нежели кого бы то ни было другого, — ее вмешательство принесло бы еще больший вред из-за ее морального превосходства. Ее мнение нельзя будет так легко игнорировать, как мнение Полин, например. Он очень любил миссис Фокс, уважал ее и восхищался ею, но именно поэтому чувствовал, что она станет потенциальной угрозой его свободе. Потому что она могла (если бы она знала об этом, то непременно бы воспользовалась своей возможностью) оспаривать его взгляды на

положение вещей. И хотя ее критика опиралась бы на принципы свободного христианства, которые она исповедовала, и хотя, конечно, такой модернизм крайне нелеп, так же как и ее претензии на научность, которая не выдерживала никакой критики со стороны здравого смысла, являясь самым экстравагантным фетишизмом, — несмотря на это, ее слова имели бы вес только потому, что она сама произнесла бы их. Вот почему он делал все возможное, чтобы не ставить себя в отношениях с миссис Фокс в положение слушателя. Прошло уже более года с того дня, когда он принял ее приглашение погостить в ее загородном доме. *Dis aliter visum*. Вот и сейчас он с беспокойством ожидал неминуемой встречи.

Поезд с грохотом остановился, и через минуту все они появились на перроне — мистер Бивис в сером костюме, Полин рядом с ним, кажущаяся огромной в розовато-лиловом платье; лицо ее выглядело апоплексически красным под зонтиком такого же цвета. За ними стояла миссис Фокс с прямой королевской осанкой и высокая девушка в широкополой шляпе с обвисшими полями и пестром платье.

Мистер Бивис поздоровался в своей насмешливой псевдогероической манере, которая больше

всего на свете раздражала Энтони.

— Шесть драгоценных душ, — процитировал Джон, похлопав сына по плечу, — или, скорее, четыре драгоценные души, но все готовы прорваться через огонь и воду. И какой пламенный прорыв! Какой пламенно-огненный прорыв! — исправил он себя с горящими глазами.

— Милый Энтони! — Голос миссис Фокс был особенно мелодичен от охвативших ее чувств. — Я не видела тебя целую вечность!

— Да, целую вечность. — Он смущенно засмеялся, пытаясь при этом вспомнить все шикарные отговорки, данные им в отказ от ее приглашений. Во что бы то ни стало он не должен противоречить сам себе. Когда это было — на Пасху или на Рождество, когда он не смог принять ее приглашение, потому что должен был якобы работать в Британском музее? Он почувствовал, как кто-то коснулся его плеча и, благодаря судьбу за повод прервать неприятный разговор, быстро отвернулся.

— Джоан, — сказал Брайан девушке в пестром, — это Энтони.

— Ужасно рад, — пробормотал он. — Много наслышан о вас от… — «Прекрасные волосы, — пронеслось в его голове, — и светло-карие глаза

излучают яркий, желанный блеск. Но профиль слишком резок, и, хотя губы очерчены тонко, рот слишком велик. Чуть похожа на молочницу, заключил он. Да и одежда домашнего покроя». Сам он предпочитал что-либо более городское.

— Веди меня, Макдуф [114], — произнес мистер Бивис.

Они сошли с перрона и медленно двинулись к центру города по тенистой стороне улицы. Мистер Бивис разглагольствовал, словно (и это особенно раздражало Энтони) их сегодняшняя встреча была первой за последние двадцать лет, и при этом, то ли в шутку, то ли всерьез, постоянно вставлял в свою речь жаргонные словечки времен его оксфордского студенчества. Миссис Фокс улыбалась там, где это было нужно, и задавала уместные вопросы. Полин время от времени жаловалась на жару. Ее лицо лоснилось от пота, и, идя рядом с ней в унылом молчании, Энтони брезгливо ощущал смрадный запах ее тела. Сзади доносились обрывки разговора между Брайаном и Джоан.

— …Огромный ястреб, — говорила она. Речь ее была быстрой и взволнованной. — Наверное, это

[114] Примечания: 114

«Веди меня, Макдуф» — видоизмененная цитата из трагедии Шекспира «Макбет». (*Прим. перев. М. Ловина*)

был самец.

— А б-были у него п-полосы на х-хвосте?

— Ну да. Темные полосы на светло-сером фоне.

— Т-тогда это б-была с-самка. У с-самок на х-хвосте п-полосы.

Энтони саркастически усмехнулся про себя.

Они проходили мимо Ашмолейского музея, когда какая-то женщина, медленно и скорбно спускавшаяся по ступеням, вдруг энергично замахала рукой, выкрикнула сначала имя мистера Бивиса, потом имя миссис Фокс и бегом бросилась вниз по лестнице.

— Это же Мери Чамперноун, — сказала миссис Фокс. — То есть, должна сказать, Мери Эмберли. — «А может, и не должна, — подумала миссис Фокс, — ведь Эмберли разведен».

Имя и знакомое лицо вызвали в памяти мистера Бивиса всего лишь приятное ощущение радости узнавания. Приподняв шляпу, словно сознательно пародируя старосветского щеголя, он объявил вновь прибывшей:

— Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая леди.

Мери Эмберли взяла миссис Фокс за руку.

— Какая приятная неожиданность! — воскликнула она, едва переводя дыхание. Миссис Фокс была немало удивлена такой сердечностью. Мать

Мери была ее подругой, но сама Мери всегда держалась отчужденно. Когда же она вышла замуж, то попала в круг людей, незнакомых миссис Фокс и, кроме того, вызывавших у нее неприязнь. — Какая счастливая неожиданность! — повторила миссис Эмберли, повернувшись к мистеру Бивису.

— Да, такое везение случается не часто, — учтиво сказал он. — Вы знаете мою жену, не так ли? А юного крепыша? — Его глаза блеснули, а утолки губ, скрываемые усами, иронически дернулись. Он положил руку на плечо Энтони. — Молодой и подающий надежды.

Она улыбнулась Энтони. «Странная улыбка», — подумал он. Змеиная кривизна закрытого рта, который, казалось, скрывает в себе какую-то тайну.

— Сколько лет я тебя не видела! — произнесла она наконец. — Со времени… — Со времени похорон первой миссис Бивис, если уж на то пошло. Но так вряд ли можно было говорить. — За это время ты изрядно вырос! — И она подняла руку в перчатке до уровня его глаз, отмерив большим и указательным пальцами расстояние приблизительно в дюйм.

Энтони от неожиданности нервно усмехнулся,

испугавшись, несмотря на восхищение, ее красоты, свободы и раскованности.

Миссис Эмберли пожала руки Джоан и Брайану, затем, вновь повернувшись к миссис Фокс, произнесла, словно оправдываясь за чрезмерную любезность:

— Я чувствовала себя, как Робинзон Крузо, — выброшенной на необитаемый остров. — Она с особым усилием налегла на последнее слово, будто выточив его, что прозвучало смешно. — В совершенном одиночестве и полная владычица того, что у меня есть. — И пока они медленно переходили через улицу Святого Гилеуса, она принялась рассказывать длинную историю о пребывании на Котсволдских холмах , о договоренности встретиться с друзьями восемнадцатого в Оксфорде по дороге домой, о ее путешествии из Чиппинг-Кемпдена, о ее пунктуальном прибытии к месту встречи, об ожидании, растущем нетерпении, гневе и наконец о том, как она обнаружила, что приехала на день раньше.

— На календаре было семнадцатое, но с меня станется и не такое.

Все расхохотались оттого, что рассказ был полон неожиданных версий случившегося и необычайных происшествий, реально имевших

место. События излагались с интонацией, варьировавшейся с невероятной гибкостью, она знала, где тараторить не переводя дыхание, а где растягивать гласные, где притихнуть до пределов слышимости, а где наполнить повествование полунамеками.

Даже миссис Фокс, которая не испытывала особенного удовольствия оттого, кто ее развлекал (причиной тому был развод Мери), оказалась неспособной сопротивляться обаянию миссис Эмберли.

Их смех пьянил Мери Эмберли, как молодое бургундское. Он ударил ей в голову и разлил чувство тонкого блаженства по всему телу. Конечно же, они были зануды, они были филистеры. Но успех у зануд и филистеров все равно оставался успехом, который наполнял ее восторгом. Глаза ее горели, щеки пылали.

— С меня станется и не такое, — завывала она, лишь только смех утихал, но напускное отчаяние и самобичевание выглядели карикатурно. Она и в самом деле гордилась своей рассеянностью, считая ее частью своего женского очарования. — Ну все равно я… — закончила она, — я потерпела кораблекрушение. Одна-одинешенька на необитаемом острове.

Несколько секунд они шли молча. Мысль о том, что ее придется пригласить к обеду, занимала всех — мысль, которую миссис Фокс восприняла с раздражением, а Энтони со смущенной заинтересованностью. Обед будет проходить в его комнате, и, как хозяин, именно он обязан ее пригласить. И он хотел пригласить ее — очень хотел. Но что скажут остальные? Не нужно ли сперва как-нибудь обговорить это с ними? Мистер Бивис разрешил проблему, выдвинув предложение по своему усмотрению.

— Я думаю, — замялся он, но затем, ухватившись за нужную мысль, продолжил: — Думаю, что наше праздничное пиршество будет еще заманчивей благодаря присутствию новой гостьи, не так ли, Энтони?

— Но не могу же я навязываться, — запротестовала Мери, переведя взгляд с отца на сына. Он выглядит славным парнем, подумала она, чуткий и неплохо воспитанный. На вид очень даже…

— Я уверяю вас… — Энтони искренне, но сбивчиво повторил: — От всей души уверяю вас…

— Ну, если это не повлечет за собой… — Она вознаградила его тайной, откровенной улыбкой, свидетельствующей чуть ли не об умысле, словно между ними были какие-либо узы, словно из всех

присутствующих только они понимали смысл происходящего.

После обеда Джоан с Брайаном ушли осматривать Оксфорд, у мистера Бивиса была встреча с коллегой-филологом на Вудсток-роуд, а Полин надеялась тихо скоротать время до пятичасового чая. Энтони остался развлекать Мери Эмберли, выполняя приятную, но опасную задачу.

В двухколесном экипаже, везущем их к мосту Марии Магдалины, Мери Эмберли внимательно посмотрела на Энтони, и на лице ее появилось озорное выражение.

— Наконец-то свободны, — сказала она.

Энтони кивнул в знак согласия и понимающе улыбнулся в ответ.

— Они были довольно утомительны. Я должен извиниться.

— Я часто думала о том, чтобы основать союз борьбы за отмену семей, — продолжила она. — Родителей нельзя подпускать к детям на расстояние пушечного выстрела.

— Платон тоже думал так, — несколько педантично заметил Энтони.

— Да, но он хотел, чтобы детей вместо отцов и матерей тиранило государства. А я хочу, чтоб их не тиранил никто.

Он отважился задать личный вопрос:

— Вас кто-нибудь тиранил?

Мери Эмберли кивнула.

— Ужасно. Немногих детей любили так, как меня. Меня просто изуродовали опекой и привязанностью. Сделали меня психически неполноценной. Мне потребовались годы, чтобы избавиться от уродства. — Наступило молчание. Затем, смерив его смущенно-оценивающим взглядом, как будто он был товаром, выставленным на продажу, она заявила: — Ты знаешь, в последний раз я видела тебя на похоронах твоей матери.

Неявная связь между этими двумя замечаниями и тем, что произошло раньше, заставила Энтони виновато покраснеть, словно от неуместной шутки в пестром обществе.

— Да, я помню, — пробормотал он, будучи рассерженным на себя за чувство неудобного смущения и одновременно за то, что оставил этот столь тонкий намек насчет матери без всякого ответа; впрочем, он не очень-то и хотел протестовать.

— Тогда у тебя был жуткий и совершенно несчастный вид, — продолжала она, по-прежнему окидывая его оценивающим взглядом. — Как невыносимы маленькие мальчики! Невероятно,

но со временем они превращаются в интересных мужчин. Конечно же, многие из них не превращаются ни в кого, — добавила она. — Печально, ты не находишь? Как грустно то, что большинство людей мерзки, занудны и полностью безнадежно глупы!

Сделав нечеловеческое усилие воли, Энтони наконец вырвался из окутавшей его пелены дурмана.

— Надеюсь, я не принадлежу к большинству? — сказал он, все так же напряженно глядя в ее глаза.

Миссис Эмберли покачала головой и серьезным будничным тоном отрезала:

— Нет. Я думаю, — гулко произнесла она, — что тебе сильно повезло: ты справился с детской уродливостью.

Он снова покраснел, на этот раз от удовольствия.

— Сколько тебе лет сейчас? — спросила она.

— Двадцать. Почти двадцать один.

— А мне этой зимой исполнится тридцать. Странно, — добавила она, — как все изменилось. Когда я видела тебя в прошлый раз, эти девять лет казались огромным разрывом между нами, практически непреодолимым. Мы принадлежали к

разным биологическим видам. А теперь сидим вот так и разговариваем, словно это совершенно естественно. Но ведь это и правда естественно. — Она повернула голову и, не разжимая губ, улыбнулась ему таинственной и многозначительной улыбкой. Ее темные глаза заблестели. — А вот Магдалина, — внезапно сказала она, не оставив ему, не знавшему, как реагировать из-за смущенного волнения, паузы для замечания к ее словам, что принесло ему облегчение. — Какой унылой может быть эта поздняя готика! Какая пошлость! Неудивительно, что Гиббон [115] особенно не задумывался о Средневековье! — Она ни с того ни с сего замолчала, вспомнив тот случай, когда ее муж отпустил неудачную ремарку в адрес Гиббона. Всего лишь через месяц или два после их свадьбы. Она была удивлена, даже шокирована его разгромными суждениями о том, что она с детства привыкла боготворить без обсуждения любое чужое мнение, — шокирована, но все же это волновало ее кровь и даже доставляло некоторое удовольствие. Забавно видеть, как обливают грязью былые святыни! А в те дни она все еще

[115] Примечания: 115

Гиббон, Эдуард (1737–1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). (*Прим. перев. М. Ловина*)

преклонялась перед Роджером. Она испустила вздох и затем с едва заметным раздражением сбросила с себя сентиментальную манеру и вновь принялась рассуждать об ужасных зданиях, мимо которых они проезжали.

Экипаж подъехал к мосту; они вышли и пешком спустились к лодочной станции. Лежа на подушках на дне лодки, Мери Эмберли не произносила ни слова. Энтони неторопливо правил шестом против течения. Перед полузакрытыми глазами Мери проплывали деревья, росшие на берегу. Зеленая сень деревьев, нависших над водой, оливковые тени и оранжевые блики водной поверхности; сквозь длинные сумрачные щели в зеленом своде проглядывали золотисто-зеленые луга, на которых то там, то сям виднелись одинокие вязы. В воздухе стоял слабый запах речной тины. Ласковый теплый ветерок ласкал щеки, и терялась грань между собой и окружающим миром. Граница стала зыбкой и едва ощутимой, словно расплавленной жаркими лучами солнца.

Стоя на корме, Энтони наблюдал за ней сверху вниз, словно с командной точки. Вот она лежит у его ног, расслабленная и покинутая. Держа в руке длинный шест и управляя им с легкостью, которой гордился, Энтони смотрел на женщину с

ощущением непомерной силы и превосходства. Теперь между ними больше не было пропасти — она была женщиной, он — мужчиной. Он поднял шест и грациозно послал его вперед, опустил в воду, уперся концом в илистое дно, напрягая мышцы, оттолкнулся, оторвал шест от речного дна, протащил его некоторое время по воде и снова выбросил вперед его конец. Внезапно Мери разомкнула веки и взглянула на него беспристрастным оценивающим взглядом, который так сильно смущал его в экипаже. Мужественная уверенность в себе моментально испарилась.

— Мой бедный Энтони, — наконец произнесла она, ее лицо осветилось теплой интимной улыбкой. — Меня бросает в жар от одного взгляда на тебя.

Лодка ткнулась носом в берег, и Энтони, шагнув вперед, сел рядом с Мери на подушку, на то место, с которого она убрала подол своей юбки.

— Мне кажется, что отец не слишком сильно тебя тиранит, — сказала она, возвращаясь к теме разговора, начатого в экипаже.

Он утвердительно кивнул.

— И полагаю, он не шантажирует тебя своей привязанностью.

Энтони вдруг почувствовал, что должен защи-

тить отца.

— Он всегда относился ко мне с искренней и ненавязчивой любовью.

— О да, несомненно! — нетерпеливо воскликнула миссис Эмберли. — Я же не говорю, что он тебя бьет.

Энтони не смог удержаться от смеха, представив себе, как отец гоняется за ним с дубиной. Затем более серьезно он добавил:

— Он никогда не приближался ко мне настолько, чтобы можно было ударить, — между нами всегда была дистанция.

— Да, чувствуется, что у него есть талант держать людей на дистанции. И все-таки твоя мачеха, кажется, очень ладит с ним. Как и раньше твоя мать, я думаю. — Она тряхнула головой. — Но вообще брак — вещь чрезвычайно странная и непредсказуемая. Самые, казалось бы, несовместимые пары прекрасно уживаются, а самые подходящие на вид друг другу люди не могут этого сделать. Занудных, невыносимых людей обожают, а остроумных и привлекательных терпеть не могут. Почему? Бог знает. Полагаю, это как раз то, что Мильтон назвал «сладостным

брачным ложем»[116]. — Она замялась на первом слоге слова «брачный», сопроводив его сдавленным смешком, но Энтони внимательно следил за тем, чтобы не показаться испуганным случайным употреблением того, что всегда считалось непроизносимым в обществе леди. Он не засмеялся, поскольку смех можно было истолковать как непроизвольную реакцию школьника на непристойность — даже не улыбнулся, серьезно кивнув, словно услышал не пошлость, а формулировку геометрической теоремы, и изрек спокойным, рассудительным тоном:

— Да, так обычно и бывает.

— Бедная миссис Фокс, — продолжала Мери Эмберли. — В ее случае, я могу представить, брачные узы были не слишком сладостны.

— Вы знали ее мужа? — спросил он.

— Только когда я была еще ребенком. Тогда все взрослые кажутся одинаково скучными. Но моя мать часто беседовала со мной о нем. Перемывала его тощие кости. Он был закоренелым мерзавцем. И законченным праведником. Упаси меня Господь от праведного мерзавца! Люди, погрязшие в пороках, достаточно неприятны,

---

[116] Примечания: 116

Цитата из эпической поэмы «Потерянный рай» английского поэта Джона Мильтона (1608–1674). (*Прим. перев. М. Ловина*)

но, по крайней мере, они никогда не возводят свою порочность в принцип. Они противоречат сами себе: иногда они по ошибке бывают милы. В то время как праведники никогда ничего не забывают, они мерзки по своей природе. Бедная женщина! Боюсь, что у нее была собачья жизнь. Но она, кажется, все выместила на своем сыне.

— Нет, она обожает Брайана, — воспротивился Энтони. — И Брайан привязан к ней.

— Именно об этом я и говорю. Ту любовь, которую она никогда не получала от мужа, ту любовь, которую она не дарила ему, — вся эта любовь вылилась на голову ее несчастного сына.

— Он не несчастный.

— Может быть, он и сам об этом не знает. Пока, но дай срок! — Помолчав, она снова заговорила: — Тебе повезло, Энтони, повезло гораздо больше, чем ты сейчас способен понять.

Глава 17

26 мая 1934 г.

Литература для мира — но какого рода литература? Можно сосредоточиться на экономике, торговых барьерах, валютном хаосе, препонах на пути к миграции, личных интересах с уклоном в извлечение прибыли во что бы то ни стало и так далее. Можно сосредоточиться на политике, на опасности существования суверенного государства или на том, что интересы совершенно бесчестного правителя не соответствуют нуждам других независимых государств. Можно предложить исцеление посредством политики и экономики — торговых соглашений, межнационального суда, всеобщей безопасности. Разумные предписания, следующие за нормальным диагнозом. Но не слишком ли далеко зашла болезнь, и станет ли пациент следовать врачебным рекомендациям?

Этот вопрос возник в ходе сегодняшней дискуссии с Миллером. Его ответ был отрицательным. Пациент ж может следовать назначенному лечению по элементарной причине: отсутствие

пациента. Нации и государства не существуют как таковые. Есть только люди. Группы людей, живущих в определенных местах и имеющих определенное гражданство. Национальная политика не станет меняться до тех пор, пока люди не перестроят систему межличностных отношений. Все режимы, будь то Гитлера, Сталина или Муссолини, — являются по своей природе представительными. В современных условиях поведение страны есть увеличенная во много раз проекция индивидуального поведения. Или, если выражаться более точно и более тонко, проекция их тайных желаний и намерений граждан. Все мы хотим совершать поступки гораздо более худшие, чем позволяет нам наша совесть и уважение к общественному мнению. Одна из самых главных притягательных черт патриотизма состоит в том, что он потворствует самым темным нашим желаниям. Формируя все вместе наше государство, мы косвенно вынуждены прибегать к мошенничеству и угрозам. Обманывать и запугивать с глубокой уверенностью в том, что мы крайне благочестивы. Считается прекрасным и приличным убивать, лгать, прибегать к пыткам на благо отечества. Хорошая внешняя политика суть отражение благих намерений

и добрых пожеланий отдельных личностей, и она должна строиться на той же основе, что и взаимоотношения между людьми. Антивоенную пропаганду нужно осуществлять в отношении народа так же, как и в отношении правительства, она должна начаться одновременно на периферии и в центре.

Эмпирические факты:

Первое. Все мы способны любить людей.

Второе. Мы налагаем ограничения на эту любовь.

Третье. Мы можем переступать через эти ограничения — если захотим.

(Интересно отметить, что любой, кто станет соблюдать эти правила, с легкостью будет справляться со своей личной неприязнью, классовыми различиями, национальной враждой, предрассудками, касающимися цвета кожи. Это непросто, но осуществимо, если мы обладаем волей и знаем, как воплотить наши добрые намерения.)

Четвертое. Любовь, выражающаяся в хорошем обращении, порождает любовь. Ненависть, выражающаяся в плохом обращении, порождает ненависть.

В свете всего сказанного становится ясно, что межличностная, межклассовая и межнациональ-

ная политика должна быть перестроена. Но опять же резец стачивает тонкую кромку льда. Мы все знаем, но не умеем действовать. Почти все не умеем действовать. Как всегда, главная проблема заключается в умении воплотить идею в жизнь. Наряду со всем прочим пропаганда мира должна стать сводом преобразующих правил.

…Се я постиг

Умерших и забытых; муки их

Теперь мои. Я крест еще тяжеле взял себе.

Ад есть неспособность отделить себя от того существа, которое по воле рока поступает так же, как и ты.

Возвращаясь домой от Миллера, я зашел в общественный туалет возле Марбл-Арч и там наткнулся на Беппо Боулза, увлеченного разговором с одним из тех, кто носит хлопчатобумажные брюки и постоянно ходит без шляпы. Собеседник имел вид недоучившегося студента и был, как я предположил, младшим клерком или продавцом. Лицо Беппо выражало что-то среднее между восхищением и беспокойством. Счастливый, опьяненный грядущим восторгом и вместе с тем жутко подавленный и загнанный. Ему могли не

отказать — это таило в себе страшный риск! Сдавленное желание в случае неуспеха нанесло бы жестокий удар его самолюбию и ранило бы его до глубины души. А в случае успеха ему грозила бы, несмотря на торжество победы, опасность шантажа и судебного разбирательства. Бедняге бы не поздоровилось. Он выглядел ужасно смущенным, когда увидел меня. Я всего-навсего кивнул и поспешил прочь. Ад Боулза — подземный туалет с галереей писсуаров, уходящей в бесконечность, и у каждого стоит мальчик. Тяжел крест Боулза.

Глава 18

8 декабря 1926 г.

Гости все прибывали и прибывали, большей частью молодежь, друзья Джойс и Элен. Выполняя тягостную формальность, они пересекали гостиную, проходили в дальний угол, где между Энтони и Беппо Боулзом сидела миссис Эмберли, говорили «добрый вечер» и затем спешили танцевать.

— Они прекрасно понимают, что это место для пожилых, — сказал Энтони, но миссис Эмберли либо проигнорировала его замечание, либо была неподдельно увлечена разговором с Беппо, который, громко пришепетывая от восторга, распространялся о своем путешествии в Берлин.

— Самое забавное место теперешней Европы! Где еще вы найдете специальных женщин для мазохистов? Эти женщины носят сапоги, да-да, самые настоящие сапоги! А музей сексологии с фотографиями и восковыми моделями — почти слишком *trompe-l'oeil*[117], поразительными

---

[117] Примечания: 117
Неправдоподобно (*фр.*).

предметами из Японии, необычные, затейливые одежды для эксгибиционистов. И эти очаровательные бары для лесбиянок, кабаре, где мальчики носят женскую одежду.

— Вот и Марк Стейтс, — перебила его миссис Эмберли, указав на приземистого широкоплечего мужчину, только что вошедшего в гостиную. — Не помню, — произнесла она, обернувшись к Энтони, — знаешь ты его или нет?

— Последние тридцать лет да, — ответил он, вновь отыскав какое-то злобное наслаждение в том, чтобы защитить, даже путем преувеличений, свою ушедшую молодость. Если он перестал быть молодым, то Мери распрощалась с молодостью целых десять лет назад. — Правда, с большими промежутками, — уточнил он. — Во время войны и после нее он некоторое время был в Мексике, да и с тех пор, как он оттуда приехал, я видел его всего пару или тройку раз. Очень рад, что представилась такая возможность.

— Скользкий он тип, — сказала Мери Эмберли, вспоминая то время, когда он полтора года назад, сразу же по возвращении из Мехико, пришел к ней в дом. Его внешность, манеры, как у полудикого отшельника, сошедшего с ума от одиночества, безумно ей понравились. Она ис-

пытала на нем все свое искусство обольщения, но тщетно. Он настолько не обращал на них внимания, что она даже не разозлилась, решив, что скорее всего это было внешним проявлением либо импотенции, либо (кто может знать такие вещи?) гомосексуализма. — Скользкий тип, — повторила она и решила, что в следующий раз не преминет спросить Беппо о гомосексуальности. Он определенно что-нибудь ответит. Все они чего-нибудь да знают друг о друге. Затем, снова махнув рукой, она крикнула, заглушая гнусавое пение граммофона: — Марк, иди посиди с нами!

Стейтс прошел через всю комнату, подвинул для себя стул и сел. Волосы, прежде ниспадавшие на лоб, теперь были зачесаны назад, а виски уже начала красить седина. Смуглое, как у настоящего отшельника, лицо, которое Мери Эмберли находила неизъяснимо привлекательным, прорезали глубокие морщины, а ровный слой жира, прежде покрывавший его кости, исчез. Каждый мускул его лица, каждое движение скул, казалось, выделялись остро и точно, как на меловых статуях, которыми пользовались в анатомических театрах во времена Возрождения. Когда он улыбался — а всякий раз, когда это случалось, возникало невольное впечатление, что он оживает, выра-

жая при этом непомерное страдание, — можно было проследить весь механизм вымученной гримасы: движение вверх и вбок большой верхнечелюстной мышцы, боковая тяга мышцы смеха и сокращение круговой мышцы глазницы.

— Я вам не помешал? — спросил он, переводя острый пронзительный взгляд с одного собеседника на другого.

— Беппо рассказывал нам о Берлине, — ответила миссис Эмберли.

— Мне пришлось уехать оттуда, пока не началась всеобщая забастовка, — объяснил Беппо.

— Ну конечно, — сказал Стейтс, мучительно изобразив на лице вопросительное и презрительное выражение.

— Восхитительное место! — Беппо был неуязвим.

— Должно быть, вы чувствуете себя там как дома, словно лорд Холдейн? Берлин — ваша духовная родина?

— Плотская, — внес поправку Энтони.

Будучи в слишком сильном восторге, чтобы признать себя виновным, Беппо захихикал.

— Ох уж эти мальчики-девочки! — затараторил он с еще большим восторгом, брызгая слюной.

— Я был недалеко оттуда этой зимой, — сказал

Стейтс. — По работе. Конечно, надо отдать должное и удовольствиям… Эта ночная жизнь…

— Вам она не показалась забавной?

— Да еще какой!

— Вот видите. — Беппо торжествовал.

— Одно из созданий село за мой столик, — продолжал Стейтс. — Я танцевал с ним. Выглядел он совсем как женщина.

— Просто невозможно отличить их от женщин! — восторженно закричал Беппо, словно это касалось его личного опыта.

— Когда мы закончили танец, создание чуть-чуть подкрасило лицо, и мы взяли по маленькому пиву. Затем оно показало мне несколько неприличных фотографий — физиологически отталкивающего типа. Наклюкались. Может быть, поэтому наш разговор так быстро выдохся. Были и до этого неудобные паузы. Ни я, ни это создание не знали, что сказать дальше. У нас все было тихо. — Он выбросил вперед худые узловатые кулаки, словно расчищая перед собой идеально гладкую поверхность. — Совершенно тихо. Пока существо наконец не выкинуло одну замечательную вещь. Без сомнения, это один из их излюбленных ходов, но я никогда не испытывал подобного на себе. Я был поражен.

«Хочешь кое-что увидеть?» — спросило оно. Я ответил «да», и тотчас же оно начало дергать и тянуть что-то, что было у него под блузкой. «Ну смотри же», — наконец произнесло существо. Я взглянул. Оно триумфально улыбалось, как игрок, пошедший с козырного туза или даже с двух тузов под конец партии. На стол упала, громко стукнув, пара роскошных искусственных грудей, сделанных из розовой резиновой губки…

— Но как это революционно! — кричала миссис Эмберли, пока Энтони покатывался со смеху, а круглое лицо Беппо приобрело болезненно-кислое выражение. — Как дерзко! — повторила она.

— Да, но как восхитительно! — не унимался Стейтс, и уродливое, словно предсмертное искажение его лица плавно перешло в улыбку. — Хорошо, если все происходит так, как должно происходить — символично и артистично. Две резиновые груди меж пивных кружек — вот чем должен быть порок. И когда он превратился и то, кем с самого начала был, возникло какое-то ощущение, что все встало на свое место, и это прекрасно. Да, прекрасно! — повторил он. — Дерзновенно и прекрасно.

— Все равно, — настаивал Беппо, — вы должны признать, что такое могло случиться только в

этом прекрасном городе. При людях, — веско добавил он. — Обращаю на это внимание. Немецкое правительство — самое терпимое в мире. С этим нельзя не согласиться.

— Да, это верно, — произнес Стейтс. — Потворствует оно всем. Не только девочкам в крахмальных рубашечках и мальчикам с резиновой грудью, но также монархистам, фашистам, юнкерам, круппам и коммунистам, за что я ему премного благодарен. Оно терпит всех своих врагов любой масти.

— Думаю, это неплохо, — сказала миссис Эмберли.

— Восхитительно, пока эта шваль не поднялась и не разнесла само правительство в клочья. Единственная надежда на то, что коммунисты будут первыми.

— Но, видя, что их терпят, зачем враги правительства будут пытаться уничтожить его?

— А почему нет? Они не верят в терпимость. И это вполне оправданно, — добавил он.

— Вы варвар, — запротестовал Беппо.

— Им приходится быть, если живешь в век дикарей. Вы — последние могикане старого века. — Он вновь оглядел всех по очереди, улыбаясь улыбкой истлевшего трупа, и покачал головой. —

Вы все еще мусолите первый том Гиббона, а мы уже давно перешли к третьему.

— Ты хочешь сказать?... Боже мой! — не докончила фразы миссис Эмберли. — Вот и Джерри.

При этих ее словах, сопроводивших появление Джеральда Уотчета, вошедшего в гостиную лисьей походкой вместе с Элен, Энтони вынул свою чековую книжку и быстро изучил ее содержимое.

— Слава Богу! — вымолвил он. — Всего два фунта. — Месяц назад при Джерри у него было десять, и с помощью фантастически умопомрачительной истории этому типу удалось взять взаймы все. Следовало бы усомниться в истинности рассказа и отказать. Десять фунтов превышали сумму, которую он мог позволить дать в долг. Он говорил так, но у него не хватало смелости упорствовать в своем отказе. Тогда ему потребовались две недели строжайшей экономии, чтобы вернуть утраченные деньги. Экономить на всем было неприятно, но сказать «нет» и продолжать упрекать Джерри в назойливости было еще менее приятно. Он всегда был готов пожертвовать своими правами, чтобы не создавать лишних сложностей. Его считали равнодушным, и ему безумно нравилось, когда так оценивали его ха-

рактер. Но его понимание настоящего положения дел и чувств не могло не выходить наружу. Когда это случалось, его самопознание воспринималось со смехом. Вот и теперь он смеялся. — Всего два, — повторил он. — К счастью, это я могу себе позволить…

Он запнулся. За спиной Мери Эмберли Беппо похлопывал его по плечу, делая выразительные знаки лицом. Энтони повернулся и увидел, что она все так же хмуро и неотрывно смотрит на вновь прибывшего.

— Он сказал мне, что сегодня вечером он не придет, — произнесла она почти про себя. Затем сквозь музыку крикнула: — Джерри! — И голос ее прозвучал резко и совсем не обворожительно, вызвав в памяти Энтони те сцены, которые она имела обыкновение устраивать. «Так вот оно что», — подумал он, от души пожалев бедняжку Мери.

Джерри Уотчет обернулся, и, словно вспомнив блестящую шутку, сам едва заметно улыбнулся, слегка подмигнул и снова опустил глаза, чтобы вернуться к разговору со своей собеседницей.

Миссис Эмберли зарделась от внезапного гнева. Он ухмыльнулся ей в лицо. Это было невыносимо. Невыносимо и крайне неоригинально было

появляться вот так, из небесной лазури, без предупреждения, танцевать случайный танец с другой женщиной, как будто это абсолютно в порядке вещей. На этот раз, правда, другой женщиной была Элен, но только потому, что ему не попалась больше никакая субретка, виртуоз канкана. «Скотина», — думала она, провожая его взглядом в комнату. Затем, сделав над собой усилие, она отвела глаза и заставила себя сосредоточиться на том, что происходило вокруг нее.

— …В такой стране, как эта, — слышался голос Марка Стейтса, — в стране, как эта, где четверть населения буржуа и еще одна четверть тех, кто страстно желает ими быть.

— Ты преувеличиваешь, — спорил Энтони.

— Нисколько. Сколько набрала лейбористская партия на минувших выборах? Треть голосов. Я готов великодушно допустить, что на следующих она соберет половину, но… Все остальные — собственники разного пошиба. Некоторые по природе, благодаря желанию обогатиться и страху потерять приобретенное, а другие притворно, путем лицемерия и лжи. Наивно думать, что можно что-нибудь получить конституционными методами.

— А неконституционными?

— Есть хотя бы шанс.

— Он не слишком велик, — заметил Энтони. — Во всяком случае, при современном оружии.

— Да, это я знаю, — согласился Марк Стейтс. — Если власть воспользуется своей силой, средний класс абсолютно точно победит. Он мог бы победить и без танков и самолетов, просто потому, что из него выйдут лучшие солдаты, чем из пролетариата.

— Лучшие солдаты? — вмешался Беппо, подумав о своих друзьях-охранниках.

— В силу своей образованности. Буржуа кое-что извлечет из десяти или шестнадцати лет обучения, да вдобавок в школе-пансионе или, точнее выражаясь, в казарме. В то время как сын рабочего живет дома и редко оканчивает больше чем шесть-семь классов дневной школы. Шестнадцать лет повиновения и заботы об *esprit de corps*[118]. Неудивительно, что на учебном фронте в Итоне была выиграна битва при Ватерлоо. Если они пустят в ход всего лишь половину своих сил и используют их безжалостно, игра будет сделана.

— Ты допускаешь, что они могут не воспользоваться своим резервом?

---

[118] Примечания: 118
Честь мундира (*фр.*).

Марк пожал плечами.

— Конечно, немецкие республиканцы не проявляют готовности пускать в ход свой арсенал. И подумай о том, что случилось здесь во время забастовки. Большинство промышленников были готовы пойти на компромисс.

— Существует простая причина, — вставил Энтони, — из-за которой из тебя не получится промышленник. Ты никогда не шел на компромисс. Дело не движется одной верой, дело движется торговлей.

— Тем не менее, — продолжал Марк, — факт остается фактом, что не были применены имевшиеся в наличии ресурсы. Вот что оставляет надеяться на то, что революция может победить. При условии, что все будет проведено очень быстро. Поскольку, конечно, в один прекрасный день они поймут, что им угрожает серьезная опасность, и забудут свою порядочность. Но они могут колебаться достаточно долго и, я думаю, сделают революцию возможной. Даже нескольких часов угрызений совести было бы достаточно. Да, несмотря на танки, есть шанс на успех. Но ты должен быть готов не упустить этот шанс, не так, как полудурки из конгресса профсоюзов. Или всей их тредюнионистской лестницы, если на то

пошло. Там все пухнут от избытка порядочности, как и капиталисты. Это английское похмелье после евангельского пира на весь мир. Ты даже не представляешь себе, сколько проповедей и песнопений раздалось во время всеобщей забастовки. Я был ошеломлен. Но нужно сказать о самом худшем. Может быть, молодое поколение… — Он покачал головой. — Не уверен, однако, что даже на них можно положиться. Может быть, методизм и загнивает, но взгляни на молитвенные дома спиритуалистов, которые теперь растут в промышленных районах, как поганки.

Когда в следующий раз Джерри проходил мимо, он окликнул Мери Эмберли, но она и не подумала ответить на приветствие. Хладнокровно отвернувшись, она притворилась, что ее интересует только то, что говорил Энтони. «Ослица, а не женщина!» — подумал Джерри, но вслух сказал другое:

— Вы не возражаете, если мы снова поставим эту пластинку?

Элен с восторгом закивала головой.

Музыка сфер [119], блаженные видения… Но

[119] Примечания: 119

Музыка сфер (гармония сфер) — античное эстетико-космологическое учение. Космос — ряд небесных сфер, каждая из которых при вращении издает свой музыкальный звук. (*Прим. перев. М. Ловина*)

почему надо считать небо исключительной монополией зрения и слуха? Мышцы в своем движении тоже вправе рассчитывать на свою долю рая. Небо — это не только свет и гармония, это танец.

— Секундочку! — сказал Джерри, когда они оказались рядом с граммофоном.

Пока он крутил ручку граммофона, Элен стояла, безвольно опустив руки вдоль тела. Глаза ее были закрыты — она отгородилась от мира, сделав призрачным само свое существование. В этом пустынном промежутке между двумя мирами движения само существование теряло смысл.

Музыка на секунду прекратилась, затем снова началась, хлынув из середины бара. За завесой сомкнутых век всем своим женским существом она чувствовала, что Джерри приблизился к ней и теперь стоял очень близко. И вот наконец его рука взяла ее за талию.

— Вперед, солдаты Христа! — провозгласил он, и они вновь закружились в пучине могучего океана, в небесной гармонии движущихся мышц.

Наступило молчание. Решив не обращать внимания на этого мерзавца, миссис Эмберли повернулась к Стейтсу.

— Как поживают ваши духи? — спросила она с

неподдельным интересом.

— Процветают, — ответил он. — Мне пришлось заказать три новых дистиллятора, с которыми пришлось изрядно повозиться.

Миссис Эмберли улыбнулась ему и в недоумении покачала головой.

— Именно вы из всех! — сказала она. — Это кажется особенно смешным, что именно вам было суждено стать производителем духов.

— Но что здесь особенного?

— Самый серьезный из всех мужчин, — продолжала она, — ну чисто лишенный какой бы то ни было галантности, закоренелый женоненавистник! — «Импотент или гомосексуалист — в этом нет никакого сомнения; а уж если принять во внимание ту историю о Берлине, о которой он рассказал, он почти наверняка импотент», — подумала она.

Вымучив из себя ироническую усмешку, Стейтс заговорил:

— Вам не приходила в голову мысль, что у меня могли найтись основательные причины стать производителем духов?

— Причины?

— Для меня это способ компенсировать недостаток галантности. — Правда, надо признать,

что в это дело он попал по чистой случайности. Листая «Таймс», он наткнулся на объявление, извещавшее, что по дешевке продается маленькая парфюмерная фабрика… Так что это было делом случая. Однако сейчас, чтобы выглядеть значительно, он придумал историю о том, что обдуманно выбрал свое дело — выбрал его для того, чтобы выразить свое презрение к женщинам, для которых изготовляются духи. Ложь, которую он теперь и сам воспринимал как правду, ставила его выше всех женщин вообще, и миссис Эмберли в частности. Подавшись вперед, он взял Мери за руку и поднес ее к лицу. Словно собираясь поцеловать, но вместо этого обнюхал ее кисть, после чего отпустил руку. — К примеру, — сказал он, — в том, чем вы надушились, содержится цибет[120].

— Ну и что из этого следует?

— О, из этого ничего не следует, — сказал Стейтс, — абсолютно ничего, если вам нравится запах испражнений хорька.

Миссис Эмберли с отвращением содрогнулась.

— В Абиссинии, — продолжал он, — виверру

---

[120] Примечания: 120

Цибет (также цивет) — сильно пахнущее мускусом вещество, похожее на желтую или светло-коричневую мазь. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[121] выращивают на фермах. Дважды в неделю вы берете палку и идете бить по зверькам, пока они не доходят до сильного испуга или злобы. В таком состоянии они выделяют особое вещество. Как дети, которые от страха пачкают пеленки. Затем вы ловите их специальным зажимом, чтобы они не могли вас укусить, и забираете содержимое маленького мешочка, располагающегося у половых органов. Вы делаете это чайной ложкой — масса имеет вид желтого жира. В неразбавленном виде эта дрянь жутко воняет. В Лондоне мы пакуем это в бычьи рога. Огромные рога, полные вонючей массы. Цена — сто семнадцать шиллингов за унцию, а может быть, и дороже. Вот одна из причин, по которой ваши духи так дорого вам обходятся. Те, кто беден, не могут позволить себе мазать тело кошачьим дерьмом. Им приходится довольствоваться обыкновенными и химическими заменителями.

Колин и Джойс закончили танцевать и теперь сидели совершенно одни у двери, ведущей в гостиную. Колину наконец представилась возможность дать выход праведному гневу, ко-

[121] Примечания: 121

Виверра (от лат. слова, означающего «африканский хорек») — хищное млекопитающее, имеющее особые железы, вырабатывающие секрет с мускусным запахом. (*Прим. перев. М. Ловина*)

пившемуся в его душе с самого обеда.

— Я должен сказать, Джойс, — начал он, — что некоторые из гостей твоей матери…

Джойс взглянула на него, в ее глазах выразилось беспокойство, смешанное с восхищением.

— Да, я знаю, — словно извиняясь, произнесла она. — Знаю. — Она униженно поспешила согласиться с ним, что Беппо — дегенерат, а Энтони Бивис — циник. Затем, увидев, что его негодование доставляет ему удовольствие и что она сама испытывала скорее удовлетворение, чем неудобство, Джойс открыла для себя, что человек, приехавший последним и теперь беседующий с ее матерью, был большевиком. Да, Марк Стейтс — большевик.

Мысль, преследовавшая Колина весь вечер, наконец облеклась в слова.

— Может быть, я глуп и так далее, — произнес он с добровольным самоуничижением, скрывавшим безмерную гордыню — единственное незаурядное качество его заурядной натуры, — может быть, я невежествен и плохо воспитан, но по крайней мере… — Здесь его тон переменился, он самодовольно подчеркнул свое сознание того, что был уникальной посредственностью. — По крайней мере я знаю, что я делаю. Если я вправе

считать себя джентльменом. — Он выделил эти слова, и они прозвучали слегка комично, что доказало наличие у него чувства юмора. Говорить серьезно о том, что серьезно воспринималось, а об этом особенно — до такого он никогда не поднимался. Шутливый тон был более уместен, чем повышение голоса, в любой его вибрации сквозило чувство, и он в самом деле воспринимал все это серьезно, как и подобает воспринимать уникально среднему джентльмену. И конечно же, Джойс поняла, что он делал. Она посмотрела на него, словно он был божеством, и, как Офелия, сжала его руку.

Танцы, танцы… «Если бы только, — думала Элен, — можно было танцевать вечно. Если бы не надо было тратить время ни на что другое! На глупые, пустые, постыдные поступки, о которых жалеешь после того, как они сделаны». Танцуя, она жертвовала своей жизнью, чтобы обрести ее, теряла свое лицо и становилась чем-то большим, чем она была до этого, освобождалась от запутанности и ненависти к себе в минуты яркой и кажущейся незыблемой гармонии, преодолевала свой дурной характер и творила себя заново — совершенной, освобожденной от своего постыдного прошлого и неизбежного будущего, обретала

бесконечное настоящее, в котором было разлито законченное блаженство. Не умея ни рисовать, ни писать, ни даже правильно подпевать, она становилась художником танца или, скорее, превращалась в божество, способное сотворить новое небо и новую землю, в создателя, радующегося своему творению и находящего, что оно весьма неплохо.

— «Да, сэр, это моя девчонка. Нет, сэр…» — Джерри перестал мурлыкать мелодию. — Вчера вечером я выиграл шестьдесят фунтов в покер, — сказал он. — Неплохо, правда?

Она подняла подбородок и улыбнулась ему, кивнув с молчаливым восторгом. Хорошо, хорошо, все было на удивление хорошо.

— Могу вам признаться, — говорил Стейтс, — что я с превеликим удовольствием сочиняю рекламные объявления. — Его мимические мышцы работали так, что у собеседников возникла иллюзия присутствия в анатомическом театре. — Особенно те, что касаются нечистого дыхания или запаха пота.

— Отвратительно! — содрогнулась миссис Эмберли. — Мерзко. Существует лишь один викторианский запрет, который я соблюдаю, — это запрет упоминать все эти вещи.

— Именно поэтому так занятно говорить о них, — заявил Стейтс, направив на Мери пронзительный взор прищуренных глаз. — Заставлять людей осознать их физическую мерзость. В этом вся прелесть подобных объявлений. Вместе с осознанием приходит потрясение.

— И приносит неплохой доход, — вмешался Энтони. — Ты забыл упомянуть о прибылях.

Стейтс пожал плечами.

— Они случаются нерегулярно, — отреагировал он, и Энтони стало ясно, что он говорил правду. Для Стейтса прибыли не имели никакого значения, он считал их случайными и преходящими. — Разрушать защищающую вас условность, — продолжал он дальше, снова обращаясь к Мери, — весьма и весьма занятно. Оставить вас беззащитными перед осознанием того факта, что вы не можете обойтись без себе подобных, но стоит вам попасть в их общество, как вас начинает тошнить.

Глава 19

7 июля 1912 г.

Миссис Фокс просматривала книжку, куда заносила намеченные дела. Серия заседаний комитета, визитов по району, дней, которые надо будет провести в игровой комнате калек, заполняли страницы. В промежутках между этим предстояли телефонные звонки, ужины у викария, обеды в Лондоне. И все же (она знала это заранее) наступившее лето не принесет ничего, кроме душевной пустоты. Какой бы насыщенной ни была ее деятельность, время в отсутствие Брайана казалось таким, словно из него выкачали воздух. В былые времена каждое лето было заполненным. Но в этот июль, пробыв неделю или две дома, Брайан собирался поехать в Германию, чтобы изучать там язык. Без этого ему было не обойтись. Она знала, что его отъезд необходим, и непритворно радовалась за него, но боль, зародившаяся в ее душе, выплеснулась наружу в момент расставания. Она даже пожалела о том, что не эгоистка и не может насильно удержать его дома.

— Завтра в это время, — произнесла она, когда Брайан зашел в комнату, — ты будешь проезжать по Лондону в направлении Ливерпуль-стрит.

Он кивнул и, не говоря ни слова, положил руку на плечо матери, нагнулся и поцеловал ее.

Миссис Фокс подняла глаза и улыбнулась. Затем, забыв на секунду о том, что дала себе слово ничего не говорить ему о своих чувствах, произнесла:

— Боюсь, что остаток лета будет пустым и печальным. — Сказала и тотчас принялась мысленно ругать себя за то, что ее подавленное настроение столь явно отразилось на ее лице; но, даже укоряя себя, она частью своего существа радовалась его сыновней любви и бережному отношению Брайана к ее чувствам. — Если, конечно, ты не скрасишь его своими письмами, — добавила она, стараясь этим уточнением сгладить свою оплошность. — Ты ведь будешь писать, правда?

— К-к-к… Естественно. Я н-напишу.

Миссис Фокс предложила прогуляться; или, может быть, лучше покататься в двухколесном экипаже? Брайан в смущении посмотрел на часы.

— Н-но у м-меня обед с Терсли, — в некоторой

растерянности ответил он. — Н-на поездку н-не хв-в-в-в… м-мало в-в-времени. — Как он ненавидел эти вынужденные иносказания.

— Как же глупо с моей стороны! — воскликнула миссис Фокс. — Я совсем забыла про твой обед. — Она действительно забыла, и эта внезапная, только что возникшая мысль о том, что эти долгие часы последнего дня, когда они еще будут вместе, ей придется провести без него, очень больно ранила миссис Фокс. Ей стоило немалых усилий не показать сыну свою нестерпимую боль ни мимикой, ни голосом. — Но мы успеем хотя бы прогуляться в саду, да, Брайан?

Они спустились в зеленую аллею, обсаженную травой. День был пасмурный, но теплый, почти знойный. Под серым небом цветы выглядели неестественно ярко. В молчании мать и сын дошли до конца аллеи и повернули обратно к дому.

— Я рада, что это Джоан, — сказала миссис Фокс, — и я рада, что ты внимателен к ней. Хотя, конечно, жаль, что ты повстречал ее именно в тот момент. Меня волнует то, что пройдет еще немало времени, пока ты сможешь жениться.

Брайан подтвердил сказанное ею кивком головы.

— Любовь должна быть испытана временем, — продолжала она. — Тяжело, но, как правило, это приносит счастье. И тем не менее, — здесь ее голос взволнованно задрожал, — я рада, что так случилось… Рада, — повторила она. — Потому что я верю в любовь. — Она верила в нее, как бедняки верят в вечную жизнь после смерти, в вечную славу и покой, потому что никогда не знала, что это такое. Она уважала своего мужа, восхищалась им за все им достигнутое, любила его за то, что она могла любить в нем, и по-матерински жалела его за некоторые слабости. Но между ними не было преображающей страсти, и его чисто плотское понимание любви всегда было для нее не более чем гневом злого человека, который едва ли можно было вынести. Она никогда не испытывала к нему того, что называют Любовью. Именно поэтому вера в ее существование была настолько сильна. Любовь должна была существовать для того, чтобы болезненное равновесие ее личного опыта не могло быть нечаянно нарушено. Кроме того, любовь прославляли поэты, она существовала и была восхитительной, святой, она была откровением. — Это какая-то особая благодать, — продолжала она, — которую ниспосылает Господь в помощь нам, чтобы сде-

лать нас лучше и сильнее, чтобы избавить нас от лукавого. Говорить «нет» худшему легко, когда уже сказано «да» лучшему.

Легко, думал Брайан во время наступившей паузы, даже когда не сказал «да» лучшему. Женщине, которая подсела к их столику в «Кафе-консер», когда они с Энтони изучали французский в Гренобле два года назад — такому искушению было нетрудно сопротивляться.

— *Tu as l'air bien vicieux*[122], — говорила она ему во время первой паузы. И затем Энтони: — *Il doit être terrible avec les femmes, hein*?[123] Вскоре после этого она предложила им проводить ее до дому. — *Tous les deux, j' ai une petite amie. Nous nous amuserons bien gentiment. On vous fera voir des choses drôles. Toi qui es si vicieux — ça t'amuserca*[124].

Да нет, этому, конечно, не было трудно противиться, хотя тогда он еще и в глаза не видел Джоан и не знал о ее существовании. Настоящим искушением стало как раз не худшее, а лучшее.

---

[122] Примечания: 122
Ты весьма порочного нрава (*фр.*).

[123] Примечания: 123
Должно быть, ужасно с женщинами? (*фр.*)

[124] Примечания: 124
Вы вдвоем. У меня есть маленькая подружка. Мы славно позабавимся. Вы увидите много занятных вещей. Ты, который порочного нрава, повеселишься (*фр.*).

В Гренобле таким искушением стала литература. *Et son ventre, et ses seins, ces grappes de ma vigne… Elle se coula à mon côtè, m'appela des noms les plus tendres et des noms les plus effroyablement grossiers, qui glissaient sur ses lèvres en suaves murmures. Puis elle se tût et commença à me donner ces baisers qu'elle savai…*[125]

Творения лучших стилистов оказались намного привлекательнее и, следовательно, опаснее, и им было гораздо труднее противиться, чем убогой реальности «Кафе-консер». А теперь, когда он сказал «да» самой лучшей из реальностей, тяга к худшему стала еще меньше, чем была, низкие искушения перестали даже отдаленно напоминать искушение. Искушение, подобное тому, которое явилось следствием самого лучшего. Для него было невозможно желать низкое, вульгарное, скотское создание «Кафе-консер». Но Джоан была прекрасной, Джоан была утонченной, Джоан разделяла его увлечения и именно поэтому была для него желанной. Просто потому, что она была лучшей из всех (и это было для него парадоксом,

---

[125] Примечания: 125

Она ложится рядом со мной и называет меня именами нежными и именами ужасно грубыми, которые сладостно скользят по ее губам. Затем она целует меня самыми жаркими поцелуями, на которые только способна… (*фр.*)

причем болезненным и неразрешимым), он желал ее неправедно, чувствуя плотскую страсть.

— Ты помнишь те строчки Мередита? — спросила миссис Фокс, нарушив молчание. Мередит был одним из ее любимых авторов. — Из «Леса», — уточнила она, любовно сократив название стихотворения почти до условного обозначения. Она начала читать на память:

> *Любовь, вулкан огромный, изрыгает*
> *Языки пламени из бездны к небесам*[126].

— Любовь подобна философскому камню, — продолжала она. — Она не только овладевает нами, но и преображает нас. Переплавляет шлак в золото. Прах в эфир.

Брайан кивнул в знак согласия. «И все же, — думал он, — эти соблазнительные и безликие тела, созданные стилистами, приобрели черты Джоан. Вопреки любви, а может быть, как раз благодаря ей, суккубы теперь обросли плотью и стали называться реальными именами».

Часы на конюшне пробили двенадцать, и при первом же ударе из голубятни на фоне темной

---

[126] Примечания: 126

Миссис Фокс приводит строки из стихотворения Д. Мередита «Вестермейнские леса». (*Прим. перев. М. Ловина*)

купы вязов бесшумно, словно снежные хлопья, выпорхнула стая голубей.

— Как красиво! — произнесла миссис Фокс негромко, но с громадным внутренним напряжением.

Но что, если, вдруг пришло на ум Брайану, у той женщины закончились деньги и она осталась без средств к существованию? Что было бы с Джоан, если бы она была так же безнадежно бедна, как та несчастная француженка?

Последний удар часов стих, и голуби один за другим вернулись в башенку голубятни, поставленную прямо над часами.

— Пожалуй, — сказала миссис Фокс, — тебе уже пора собираться, если хочешь попасть к обеду вовремя.

Брайан понимал, как не хотелось матери отпускать его, и это нарочитое самоотречение вызвало в нем чувство вины и вместе с тем (поскольку он не хотел быть виноватым) некоторое негодование.

— Н-но мне н-не потребуется ч-час, ч-чтобы проехать на в-велосипеде три мили.

Секунду спустя он уже чувствовал стыд за ноту раздражения в голосе, и остаток времени, проведенного с ней, он держал себя как нельзя

любезнее.

В половине первого он сел на велосипед и поехал к Терсли. Горничная открыла парадную готическую дверь девятнадцатого века. Войдя в дом, Брайан ощутил слабый запах парового пудинга с капустой. Как обычно. В домах священников всегда пахнет пудингом и капустой. Он давно открыл для себя, что это запах бедности, и ощутил угрызения совести, словно совершил дурной поступок.

Горничная провела его в гостиную. Миссис Терсли встала из-за письменного стола и, словно Брайан был пожилой титулованной дамой, направилась к нему с протянутой для пожатия рукой.

— Ах, дорогой Брайан! — воскликнула она. Ее заученная христианская улыбка искрилась жемчугом вставных зубов. — Как это мило, что ты пришел! — Наконец она протянула ему руку. — А твоя дорогая мама — как она поживает? Грустит, потому что ты уезжаешь в Германию, так ведь, конечно? Все мы грустим, уж если начистоту. У тебя прирожденный дар заставлять людей скучать по тебе, — продолжала она с таким же полным восхищения надрывом, пока Брайан краснел и вертелся от жгучего стыда. Говорить

елейности человеку в лицо, особенно если перед тобой тот, кто богат, влиятелен и, несомненно, полезен, — такова была черта характера миссис Терсли. Христианское человеколюбие — так бы она окрестила это, если бы у нее потребовали объяснений. Любовь к ближнему, поиск в каждом из людей добра, создание атмосферы доверия и сочувствия. Но почти безотчетно и бессознательно она чувствовала, что большинство людей были настолько падки на самую грубую лесть, что готовы так или иначе платить за нее.

— А вот и Джоан! — воскликнула она и прибавила с плохо скрываемым восторгом: — Он ведь не станет больше разговаривать с ее докучливой старой матерью, правда, Джоан?

Молодые люди, смутившись, молча взглянули друг на друга.

Дверь внезапно распахнулась, и в гостиную буквально ворвался мистер Терсли.

— Нет, вы только посмотрите! — закричал он голосом, дрожащим от ярости, и, подняв руку, показал всем стеклянную чернильницу. — Как вы думаете, могу ли я нормально заниматься своей работой, когда на дне осадок чуть ли не в дюйм? Капает, капает, капает — целое утро. Не могу написать больше двух слов подряд…

— Папа, приехал Брайан, — сказала Джоан, надеясь, хотя, как она сама понимала, совершенно напрасно, что присутствие чужого человека может заставить его замолчать.

Уставив свой все еще бледный от ярости нос и горящий взор в Брайана, мистер Терсли пожал молодому человеку руку и, отвернувшись, тотчас же продолжил свои гневные жалобы:

— В этом доме всегда все так. Как можно вообще делать здесь какую-то серьезную работу?

«О Боже, — мысленно взмолилась Джоан, — сделай так, чтобы он перестал, пусть он замолчит».

«Он что, сам не может налить себе чернил? — подумал Брайан. — Почему она прямо ему об этом не скажет?»

Но для миссис Терсли было невозможно сказать или даже подумать что-либо в этом роде. Он читал проповеди, писал статьи для «Гардиан», изучал неоплатонизм. И как можно было при всем этом ожидать от него, что он сам будет наливать себе чернила? Для нее, так же как и для него, было очевидно, что после двадцати пяти лет добровольного, низкого и неосознанно воспринимаемого рабства он не может делать никаких мелочей. Кроме того, если бы ей каким угодно способом случилось намекнуть на то,

что он не во всем прав, его гнев был бы гораздо более сильным. Только небу известно, что он мог сделать или сказать в присутствии Брайана. Это было ужасно. И она принялась извиняться за пустую чернильницу. Нужно извиняться за себя, за Джоан, за слуг. Ее голос был одновременно уничижительным и утешающим; она говорила, словно обращаясь к некоему существу, похожему то на Иегову, то на свирепую собаку, могущую укусить в любой момент.

Гонг (а у Терсли имелся гонг, звон которого был слышен во всех уголках герцогского особняка) загремел с такой силой, что замолчал даже разгневанный викарий. Но лишь только гонг стих, как все началось сначала.

— Я и так прошу не слишком-то многого, — продолжил он.

Он успокоится, когда поест, подумала миссис Терсли и повела мужа в столовую. Следом за ней шла Джоан. Брайану очень хотелось, чтобы викарий шел впереди него, но святой отец даже в праведном гневе не забыл о хороших манерах. Положив руку на плечо Брайану, он подтолкнул его к двери, продолжая бомбардировать жену упреками.

— Хотя бы немного тишины, хотя бы простей-

шие материальные условия для работы. Самый жалкий минимум. Но у меня нет даже этого. В доме шум, как на железнодорожном вокзале, а моя чернильница в таком состоянии, что мне приходится писать какой-то черной грязью.

Осыпаемая градом упреков, миссис Терсли шла сжавшись и склонив голову, а Джоан, как заметил Брайан, напряглась и передвигалась как манекен.

Два мальчика, младшие братья Джоан, уже стояли в столовой за спинками своих стульев в ожидании обеда. При виде их мистер Терсли перешел от чернильницы к шуму в доме.

— Как на вокзале, — повторил он, и праведный гнев вспыхнул в нем с новой силой. — Джордж и Артур все утро возятся на лестнице и истоптали все уголки сада. Почему ты не можешь призвать их к порядку?

Теперь они были на своих местах — миссис Терсли у одного конца стола, ее муж у другого, два мальчика слева, Джоан и Брайан справа. Они стояли так, ожидая, когда викарий произнесет благословение.

— Как хулиганы, — сказал мистер Терсли, и пламя ярости прожгло его насквозь. Затем его охватила колкая теплота, до отвращения прият-

ная. — Дикари.

Сделав усилие, он склонил свой вытянутый, с ямочкой, подбородок к груди и умолк. Его нос был все еще бледным от гнева, как морское животное в аквариуме, ноздри его периодически раздувались, в правой руке он все еще судорожно сжимал чернильницу.

— *Benedictus benedicat per Jesum Christum Dominum nostrum*[127], — нараспев произнес он глубоким, берущим за душу голосом, полным трансцендентного значения.

Викарий сделал едва заметное сдержанное движение, и все расселись по своим местам.

— Воют и верещат, — сказал мистер Терсли, сменив благочестивый тон на природную хриплую грубость. — Как вы прикажете мне работать? — Охваченный негодованием, мистер Терсли изо всей силы стукнул чернильницей по столу и развернул салфетку.

На другом конце стола миссис Терсли с поразительной быстротой резала зажаренную целиком утку.

— Передай отцу, — сказала она мальчику, сидящему рядом с ней. Нужно было как можно скорее

---

[127] Примечания: 127

Благословенный, благослови во имя Господа нашего Иисуса Христа (*лат.*).

накормить его.

Секунду или две спустя горничная принесла мистеру Терсли овощи. Ее передник и чепец были жестко накрахмалены, а сама она была вымуштрована, как гвардеец. Блюда, на которых подавали овощи, были безвкусны, но дороги, ложки из полновесного викторианского серебра. С их помощью викарий отправил себе в рот сначала вареный картофель, потом рубленную в форме зеленых кирпичиков капусту.

Все еще наслаждаясь роскошью гнева, мистер Терсли продолжал:

— Женщины просто не понимают, что значит серьезная работа. — И снова принялся за еду.

Разделив утку, миссис Терсли отважилась вставить слово.

— Брайан завтра уезжает в Германию, — произнесла она.

Мистер Терсли поднял изумленные глаза, быстро дожевывая свою порцию резцами, как кролик.

— Куда в Германию? — спросил он, бросая резкий инквизиторский взгляд на Брайана. Его нос снова приобрел нормальный цвет.

— В М-марбург.

— В тамошний университет?

Брайан кивнул.

Мистер Терсли расхохотался грохочущим смехом — было такое впечатление, что в воронку насыпают кокс.

— Не вздумай пить пиво наперегонки с тамошними студентами, — сказал он.

Буря миновала, и отчасти из благодарности, отчасти от желания дать мужу почувствовать, что считает его шутку неотразимой, миссис Терсли засмеялась в унисон.

— О да, — воскликнула она, — что угодно, но только не это!

Брайан улыбнулся и покачал головой.

— Воду или содовую? — Горничная предупредительно склонилась над Брайаном, шурша накрахмаленными юбками.

— В-воды, п-пожалуйста.

После обеда, когда викарий вернулся в свой кабинет, миссис Терсли приветливо и удручающе многозначительно предложила молодым людям прогуляться. Когда за ними захлопнулась стрельчатая дверь, Джоан перевела дух, как узник, выпущенный на свободу.

Небо было все еще затянуто тучами, и под его низким серым сводом воздух был мягок, насыщен влагой и как-то утомленно перемещался,

словно задыхаясь под тяжким грузом лета. В лесу, куда они свернули с шоссе, стояла давящая тишина, похожая на намеренное молчание существ, способных чувствовать и таящих в себе неизреченные мысли и сокровенные пласты души. Послышалось пение невидимого обитателя деревьев, но оно было похоже на звук, раздающийся из иного мира и другого времени. Они шли рядом, взявшись за руки, и между ними царила тишина леса и в то же время более глубокая, более опасная неизреченность их собственных чувств. В молчании слышалась мольба, которую она была не в силах открыть, и жалость, которая, как он интуитивно догадывался, оскорбила бы его, будь она облечена в слова; ее поиск покоя в его объятиях вызывал у него желания, которые он стремился в себе подавить.

Тропинка привела их к двум обширным зарослям рододендронов, и внезапно они оказались в узкой расселине, сжатые двумя высокими, почти глухими стенами темно-зеленой листвы. Это было безлюдье в безлюдье, квинтэссенция пустыни; призрак их собственного молчания был поглощен великим молчанием леса.

— П-почти с-страшно, — прошептал он, когда они стояли, вслушиваясь (поскольку более ниче-

го нельзя было услышать) в дыхание друг друга, биение сердец и все непроизнесенные ими слова, ждавшие своего часа в глубине их душ.

Джоан не выдержала первая.

— Когда я думаю о том, что будет так же, как дома… — Жалоба вырвалась против ее воли. — Брайан, я не хочу, чтобы ты уезжал!..

Брайан посмотрел ей в глаза и, увидев, как у нее дрожат губы и блестят глаза от слез, почувствовал, что разрывается между нежностью и жалостью. Заикаясь, он произнес ее имя и обнял за талию. Несколько секунд Джоан стояла неподвижно, склонив голову и положив подбородок ему на плечо.

Прикосновение ее волос к его губам было подобно электричеству, и он с упоением вдыхал аромат ее духов. Внезапно, словно очнувшись от дремы, она пришла в движение и, слегка отшатнувшись от него, взглянула в его блестящие глаза. Это был отчаянный, почти нечеловечески пристальный взгляд.

— Любимая, — прошептал он.

В ответ Джоан лишь покачала головой.

Но почему? Какому порыву его души говорила она свое «нет»?

— Поч-чему, Джоан?… — В его голосе послыша-

лось беспокойство.

Она не ответила, всего лишь взглянула на него и еще раз медленно покачала головой. Много отказов выразилось в одном этом движении. Отказ жаловаться на судьбу, добровольный отказ от счастья, печальное признание того, что вся ее любовь и все его чувства не могли противопоставить ничего против боли разлуки, твердое решение не злоупотреблять его жалостью, не посягать, как бы сильно она ни желала, на другое, еще более страстное признание…

Внезапно он сжал ее виски ладонями и, секунду помедлив, поцеловал ее в губы.

Но именно она противилась именно этому проявлению его чувства, потому что этот поцелуй мог принести ей одно лишь неотвратимое несчастье. Секунду или две ее тело было сжато от сопротивления, она пыталась освободить голову от его рук и вообще осадить его. Затем, покоренная желанием более сильным, чем могла допустить ее воля, она растворилась в его объятиях, сомкнутые, стыдящиеся губы открылись и мягко отвечали на его поцелуи, страстные глаза ее закрылись и в мире не оставалось ничего, кроме его губ и сильного худого тела, прижавшегося к ней.

Его руки ласкали ей волосы чуть выше затылка, мягко скользили к горлу и обратно, затем опустились и легли ей на грудь. Джоан потеряла всю силу и волю к сопротивлению, она чувствовала, что все глубже и глубже погружается в тот таинственный потусторонний мир, открывающийся за ее затуманенным взором.

Затем, без предупреждения, словно покорно повинуясь неслышному приказу, он отпустил ее. Буквально секунду она думала, что упадет, но сила вновь, как раз вовремя, вернулась в ее колени. Она шатко зашагала, затем обрела равновесие, и внезапно родившийся гнев охватил ее. Она целиком положилась на него душой и телом, а он, внезапно отстранившись, покинул ее на произвол судьбы, оставил ее голой и беззащитной. Она открыла глаза и укоризненно, с обидой посмотрела на Брайана и вдруг увидела, что он стоит с каким-то странным, отчужденным и немного напуганным видом, с побледневшим лицом и отворачивается, стараясь не смотреть на нее. Злость уступила место беспокойству.

— Что с тобой, Брайан?

Он взглянул на нее и снова отвернулся.

— Нам лучше в-вернуться в дом, — произнес он тихим глухим голосом.

Был конец сентября. Под бледно-голубым небом просторы были траурно широки, и в воздухе висела изысканно-нежная, но блеклая дымка. Весь мир казался отчужденным и нереальным, как воспоминание или идеал.

Поезд замедлил ход и остановился. Вылезая из вагона с самым тяжелым из своих чемоданов, Брайан помахал рукой одиноко стоявшему на перроне носильщику. Напрягая мышцы, Брайан облегчал муки совести, которые становились тем тяжелее, чем старше он становился, — муки богача, который за деньги может купить услугу бедняка.

Носильщик, подбежав к нему, почти вырвал чемодан из рук Брайана. У этого человека были свои понятия о совести.

— Оставьте это мне, сэр. — В голосе носильщика прозвучало плохо скрытое возмущение.

— Еще д-два в к-к-к… в-внутри. — Брайан не успел закончить фразу, а носильщик был уже в непроизносимом купе и выносил оттуда два оставшихся чемодана. — В-вам п-помочь? — спросил он. Человек был стар, седовлас, лицо его было покрыто морщинами. «Ему лет на сорок больше, чем мне, — прикинул Брайан, — но он называет меня сэр, носит мои вещи и будет благодарен за

лишний шиллинг». — Д-давайте.

Старый носильщик, не удостоив Брайана ответом, несуетливым грациозным движением вынес на перрон два оставшихся чемодана, не без гордости демонстрируя свое умение и сноровку.

Брайан почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он обернулся — перед ним стояла Джоан.

— Именем короля! — воскликнула она, но ее смех звучал вымученно, в глазах отражались лишь беспокойство и тревога, накопившиеся за недели напряженных раздумий. Все эти странные, неудачные письма, которые он писал из Германии, оставляли в ней болезненную неуверенность, что думать и как чувствовать, что ожидать от него по возвращении. В его письмах он и в самом деле укорял только себя — с силой, которую был неспособен оправдать. Но когда речь зашла о случившемся в лесу, в чем она была отчасти сама виновата (а что, собственно, такое представлял собой тот поцелуй?), она почувствовала, что эти упреки она с тем же успехом могла бы отнести к себе. А если он начал относиться к ней с укором, мог ли он по-прежнему любить ее? Каковы были его истинные чувства по отношению к ней, к себе, что он думал об их отношениях? Она не могла ждать ответа ни одной лишней

минуты и поэтому тайком пришла встретить его на вокзале.

Брайан стоял, не говоря ни слова; он не ожидал увидеть ее так скоро и был почти в унынии, когда она появилась, застав его врасплох. Он машинально протянул руку. Джоан взяла ее и сжимала в своей, все сильнее и сильнее, как будто желая увеличить реальность его любви к ней, но, даже делая так, она колебалась в своем восприятии человека, внезапно ставшего для нее незнакомцем, между боязливым смущением и нежеланием расставаться с ним.

Грациозность этого стыдливого, мучительного движения задела его так же болезненно, как и при первой встрече. И все же это была грациозность, несмотря на общую скованность, выражавшуюся в ее движениях. Она была похожа на молодую ольху, колеблемую ветром. Именно этот странный образ пришел ему в голову тогда. Теперь же все повторяется сначала; и прелесть жеста опять была откровением, но более жгучим, чем в первый раз, в нем был намек на его отчужденность, он стал чужим и само пожатие руки изо всех сил протестовало против этой отчужденности.

Ее лицо, когда она пристально взглянула ему в глаза, казалось, было охвачено трепетом, но

внезапно наигранное дружелюбие растворилось в глубоком понимании.

— Ты не рад видеть меня, Брайан?

Ее слова развеяли чары, и он уже снова мог улыбаться и разговаривать.

— Не р-рад? — повторил он и вместо ответа целовал ей руку. — Я н-не д-думал, что ты окажешься з-здесь. Ты уж-жасно исп-пугала меня.

Выражение его лица вселило в нее уверенность. В первые секунды тишины его тихое, словно каменное, лицо казалось лицом врага. Теперь, после этой улыбки, оно преобразилось, и он вновь стал тем прежним Брайаном, которого она любила, — таким мягким, понимающим и добрым и таким прекрасным в своей доброте, несмотря на продолговатое, дикое лицо, долговязую фигуру и длинные, нескладно двигающиеся руки и ноги.

Состав с грохотом тронулся, набрал скорость и исчез. Старый носильщик отошел к пакгаузу, чтобы приволочь тележку. Они стояли одни на краю длинной платформы.

— Я думала, ты меня не любишь, — произнесла она после долгой паузы.

— Н-нет, Джоан! — взмолился он, и они улыбнулись друг другу. Затем мгновение спустя он отвел взгляд. «Не любить ее?» — думал он. Но беда была

в том, что он слишком сильно ее любил, любил не так, как нужно, даже несмотря на то, что считал ее лучшей из женщин.

— Я думала, ты сердишься на меня.

— Н-но за что? — Он все еще боялся смотреть ей в глаза.

— Ты знаешь, за что.

— Я н-не был с-сердит на тебя.

— В этом была моя вина.

Брайан покачал головой.

— Т-ты не виновата.

— Я знаю, что это так, — мучительно настаивала она.

Вспомнив свои ощущения тогда, когда он привел ее туда, в темную впадину между двумя смыкающимися с двух сторон зарослями рододендронов, Брайан покачал головой во второй раз, с большей силой.

Старик вернулся с тележкой и разговорами о погоде, обрывками новостей и сплетнями. Они последовали за ним, играя свои роли специально для него, словно были артистами местной драмы.

Когда они почти вплотную подошли к воротам вокзала, Джоан взяла его за плечи.

— С тобой все хорошо, да? — Их глаза встрети-

лись. — Я могу быть счастливой?

Он улыбнулся, не говоря ни слова, и кивнул.

В экипаже, по дороге домой, он неотвязно вспоминал о том, как просветлело ее лицо после этого безмолвного жеста. И все, что он мог предложить взамен за такую пылкую любовь, было… Он опять подумал о рододендроновой чаще, и стыд внезапно охватил его.

Узнав от Брайана о том, что Джоан была на станции, миссис Фокс испытала внезапный приступ негодования. По какому праву? До его матери?… И вдобавок это вероломство!.. Ведь Джоан была приглашена к обеду на следующий день после приезда Брайана. Это означало, что она молчаливо смирилась с исключительным правом на него миссис Фокс в день приезда. Но теперь, когда она незаконно пробралась на станцию, чтобы перехватить его прямо у поезда… Это было почти бесчестно.

Припадок неистовой ревности миссис Фокс продолжался всего несколько секунд — сама его интенсивность помогла ей осознать его низость и бессмысленность. Ни единое движение лица не выдало ее чувств: она слушала бессвязно-сбивчивый рассказ Брайана об их встрече со снисходительно-ироничной улыбкой. Затем,

собрав всю свою волю, она не только не выдала своих чувств, но и изгнала их из своего сознания. Все это казалось соблюдением норм приличия и оправдывало ее спокойную совесть, оставив лишь неодобрительное сожаление для Джоан, — но как ей было назвать это? И все-таки девушка, укравшая ее первенство встречи с сыном, была не совсем права.

Нет, все не так, хотя и достаточно объяснимо, продолжала размышлять она. Ее поступок вполне простителен. Она влюблена… К тому же у Джоан импульсивный, эмоциональный характер, и в этом есть положительные стороны, думала миссис Фокс. Ее порывы, как в сторону правого, так и неправого дела, были слишком сильны. Если бы можно было направить в нужное русло глубокий и мощный поток внутренней жизни Джоан, если б можно было осторожно подойти и выявить самое лучшее, что было в ней, если б можно было поддержать ее в прекрасных и щедрых начинаниях, она была бы удивительным человеком. Удивительным, убеждала себя миссис Фокс.

— Ну, — сказала она на следующий день, когда Джоан пришла к Фоксам на обед, — я слышала, ты ухватила нашего скитальца за крыло еще до того, как он успел долететь до гнезда. — Тон был

игривый, и на лице миссис Фокс сияла чарующая улыбка. Джоан виновато покраснела.

— Вы ведь не против? — спросила она.

— Против? — повторила миссис Фокс. — Ну, моя дорогуша, с какой это стати? Мне, правда, казалось, что мы договорились о встрече на сегодня. Но уж коль ты не могла ждать ни минуты…

— Извините, — сказала Джоан, но в душе ее шевельнулось что-то очень похожее на ненависть.

Миссис Фокс сочувственно положила руку на плечо девушке.

— Пойдем в сад, — предложила она, — и посмотрим, нет ли там Брайана.

Глава 20

8 декабря 1926 г.

Выйдя на цыпочках из задней гостиной, Хью Ледвидж надеялся немного насладиться одиночеством, но на лестничной площадке его заметили Колин и Джойс. Колин, как выяснилось, был без ума от туземцев и всегда был готов побеседовать с профессиональным этнологом о своей жизни с дикарками. Он бессвязно болтал об Индии и Уганде, а Хью мучила немыслимая усталость. Единственным его желанием было сбежать поскорее из этого дома, этого попугайника, к сладостной тишине и чтению.

Слава Богу, они наконец оставили его в покое, и, глубоко вздохнув, он приготовился к церемонии прощания. Слово «прощай», произносимое в конце каждого вечера, было тем, что Хью просто не выносил. Выворачивать душу наизнанку и постоянно откровенничать с людьми, быть вынуждаемым к этому, когда ты устал и жаждешь одиночества, вновь ухмыляться, трещать без умолку и лицемерить изо всех сил — что может быть отвратительнее? Особенно с Мери Эмберли.

Были вечера, когда женщина просто не позволила бы сказать «до свидания», но вместо этого отчаянно повисла бы у тебя на шее, как утопающая. Допросы, признания, скабрезные обсуждения чужих любовных дел — все, что угодно, лишь бы задержать тебя на минуту дольше. Казалось, она воспринимала отъезд каждого последующего гостя как смерть частицы собственной души. У него екало сердце, когда он шел из противоположной части комнаты навстречу ей. «Проклятая женщина!» — думал он, искренне ненавидя ее. Для ненависти были все причины, поскольку Элен все еще танцевала с этим конюхом, а теперь еще добавилась новая порция злости, потому что, как он внезапно разглядел сквозь дымку тусклого воздуха, рядом с ней сидели Стейтс и этот Бивис. Все бредовые мысли насчет заговора внезапно хлынули ему в голову. Они разговаривали о нем, о его бегстве от пожара, о его страхе перед футболом, о том, как они швырнули в него туфлю через перегородку дортуара. В этот момент у него было единственное желание: поскорее выскользнуть из дома, не говоря ни слова. Но они увидели, что он приближается, и, догадываясь об истинной причине его бегства, начали смеяться еще громче. Здравый смысл вернулся к нему, и

он понял, что все это чушь, что никакого заговора не было. Какой, простите, заговор? Да и если бы Бивис помнил, с какой стати он стал бы говорить? Но это все равно, все равно… Расправив узкие плечи, Хью Ледвидж уверенно двинулся к месту предполагаемой засады.

К его крайнему облегчению, Мери Эмберли отпустила его почти без возражений. «Тебе уже нужно уходить, Хью? Так скоро?» Этим все и закончилось. Казалось, что ее мысли витали где-то далеко.

Беппо дружелюбно присвистнул, Стейтс просто кивнул, и теперь наступила очередь Бивиса. Являлась ли его улыбка на самом деле тем, чем казалась, — туманной и искусственно дружеской? Или же в ней таилось нечто более значительное — насмешливое напоминание о его постоянном позоре? Хью повернулся и заспешил прочь. С какой стати, внутренне не унимался он, нужно приходить на эти идиотские вечеринки? Ходить снова и снова до тех пор, пока не убедишься, что это совершенно бессмысленно и утомительно…

Марк Стейтс повернулся к Энтони.

— Ты понял, кто это был? — спросил он.

— Кто? Ледвидж? Он что-то собой представляет?

Стейтс объяснил.

— Гогглер! — расхохотался Энтони. — Ну конечно же! Бедняга Гогглер! Как же грубо мы с ним обходились!

— Вот поэтому я все время притворялся, что не знаю его, — сказал Стейтс, улыбнувшись своей анатомической улыбкой с жалостью и презрением. — Думаю, было бы милосердно, если бы ты сделал то же самое. — Защита Хью Ледвиджа доставляла ему истинное удовольствие.

«Совершенно бессмысленно и утомительно, да и унизительно, — думал Хью, — и унизительно тоже. В этом всегда присутствует толика унижения. Какой-то Бивис издевательски улыбается, а этот Джерри Уотчет ведет себя, как грубый извозчик…»

За его спиной на лестнице послышались шаги.

— Хью! Хью!

Он виновато вздрогнул и обернулся.

— Почему вы вдруг решили улизнуть, не попрощавшись со мной?

— Мне показалось, что вы очень заняты, — начал он, пробуя шутливый тон, когда, сощурившись, разглядел Элен сквозь очки. Затем он умолк, внезапно изумившись, с почти благоговейным страхом.

Она стояла на три ступеньки выше, чем он, одной рукой держась за перила, а распластанные пальцы другой касались стены напротив. Ее поза была такой, что она вот-вот готова была полететь вниз. Что же, какое чудо вдруг произошло с ней? Вспыхнувшее лицо, представшее перед ним, казалось, сияло внутренним светом. Это была не Элен, а какое-то сверхъестественное существо. В присутствии такой неземной красавицы он и сам запылал, вместо того чтобы пошутить и напустить на себя всезнающую мину.

— Занята? — откликнулась она. — Да я всего лишь танцевала. — И это прозвучало так, как если бы пророк Моисей сказал изумленным израильтянам: «Я всего-навсего беседовал с Иеговой». — Это неуважительный ответ, — продолжила она. Затем быстро, как будто новая и любопытная мысль внезапно пришла ей в голову, проговорила: — Или ты рассердился на меня за что-то? — добавила она с другой интонацией.

Он начал с того, что покачал головой, но, слегка поразмыслив, почувствовал за собой необходимость легко улыбнуться.

— Нет, я не рассержен, — пытался объясниться он, — просто я не очень общителен.

Сияние, исходящее от ее лица, казалось, пре-

вратилось в дрожание ослепительного пламени. Необщителен! Это и в самом деле было на удивление забавно! Танец сделал ее тело гибким, преобразив плоть в дух. При мысли о том, что кто-либо мог быть (нелепое слово!) необщительным, что можно было испытывать иное чувство, кроме всепоглощающей любви, она от души засмеялась.

— Какой ты смешной, Хью!

— Я рад, если ты действительно так думаешь. — В голосе его слышались оскорбленные нотки.

Шелк ее платья резко зашуршал; от ее щек повеяло прохладным ароматом духов — и вот она стоит всего на одну ступеньку выше, чем он, в опасной близости.

— Ты не обиделся на то, что я сказала, будто ты смешной? — спросила она.

Он снова поднял глаза так, что ее лицо оказалось на одном уровне с ним. Успокоенный тем, что оно выражало искреннее участие, он покачал головой.

— Я не имела в виду, что ты глуп, — пояснила она. — Я хотела сказать… в общем, ты понимаешь… мил и забавен. Забавен, и я тебя очень люблю.

При обстоятельствах лично прискорбных хоро-

шо организованное дурачество всегда действует как надежная защита. Улыбаясь, Хью приложил правую руку к сердцу. Он хотел сказать ей: «*Je suis pénétré de reconnaissance*»[128] — в ответ на объяснение в любви. Элегантная, но злая шутка, псевдогероический жест были бы немедленной и автоматической реакцией на ее слова. «*Je suis pénétré*...»

Элен не дала ему времени закончить очередной розыгрыш. В ответ на его слова она положила обе руки ему на плечи и поцеловала его в губы.

В течение секунды он был полон непомерного удивления, смятения и какого-то удушающего, бессвязного восторга.

Элен слегка подалась назад и взглянула на него. Он сильно побледнел и выглядел, словно увидел привидение. Она улыбалась, потому что он был в этот момент чрезвычайно смешным, потом нагнулась и снова чмокнула его.

Первый ее поцелуй явился следствием ощущения полноты жизни, кипевшего в ней, потому что она была сотворена совершенной в совершенном мире. Но его испуганное лицо имело такой нелепый и смешной вид, что он превращал полноту

---

[128] Примечания: 128
«Тронут был нашей встречей» (*фр.*).

жизни в какую-то обреченную шаловливость. Второй поцелуй, ради смеха и в то же время ради любопытства, стал экспериментом, сделанным в духе восторженного научного исследования. Она была вивисектором, вооруженным харизмой. Кроме того, у Хью оказались удивительно приятные губы. Ей никогда раньше не приходилось целовать такие полные, мягкие губы. И вряд ли она хотела научно пронаблюдать, что это нелепое создание сделает в ответ, — она хотела еще раз ощутить упругость его рта, почувствовать неизведанное, щекочущее блаженство, что кололо губы и растекалось, быстрое и почти невыносимое, будто крылышки мотыльков по всему ее телу.

— У тебя было со мной столько хлопот, — сказала она для того, чтобы оправдать второй поцелуй. Мотылек снова покрыл ее приятной щекоткой и остановился, колебля ее груди своими крылышками. — Хлопот о моем образовании.

— Элен! — только и мог прошептать он и, не успев подумать, объял ее шею руками и поцеловал.

Его рот в третий раз словно быстрый мотылек щекотал кожу… О, как быстро он двигался! Хью повторил еще раз:

— Элен!

Они посмотрели друг на друга, и теперь, когда у него было время на размышления, Хью ни с того ни с сего вдруг почувствовал себя крайне смущенным и отдернул руки. Он не знал, что сказать ей, или, скорее, знал, но не мог решиться на то, чтобы произнести это вслух. Его сердце билось с болезненной силой.

«Я люблю тебя! Я хочу тебя!» — почти навзрыд кричало его сознание, не в силах прорваться наружу с этим неистовым криком. Он довольно глупо улыбался ей и опускал глаза — глаза, как он предполагал, выглядевшие сквозь толстые стекла очков противными, словно у рыбы.

«Как он смешон!» — думала Элен. Но ее смех скоро утих. Его застенчивость была заразительна. Чтобы сгладить неудобную ситуацию, она сказала:

— Я прочту все эти книги. И еще — мне помнится, ты обещал дать мне список.

Благодарный ей за то, что она подсказала ему тему для разговора, Хью снова взглянул на нее — всего лишь на секунду из-за его выпученных рыбьих глаз.

— Я заполню пробелы и вышлю тебе, — ответил он. Затем, спустя секунду или две, он вдруг

понял, что из-за своей непредусмотрительности он исчерпал такую благодатную тему, как книги, в одном предложении. Тишина убийственно резала уши, и, наконец, в отчаянии, потому что уже нечего было сказать, он решил попрощаться. Пытаясь придать своему голосу интонацию нежной любви, он произнес: — До свиданья, Элен. — Но поймет ли она всю глубину смысла, заложенного в этих словах? Он нагнулся вперед и снова поцеловал ее, быстро и очень легко, поцелуем, выражающим нежную и уважительную преданность.

Но он недооценивал Элен. Смущение, окутывавшее ее игривые, привлекательные черты, исчезло при прикосновении его губ, и она снова стала смеющимся вивисектором.

— Поцелуй меня еще раз, Хью, — сказала она. И когда он подчинился, она не хотела отпускать его; не отрывая его губ от своих, секунду за секундой…

Шум голосов и музыка внезапно стали громче; кто-то открыл дверь гостиной.

— Спокойной ночи, Хью, — прошептала она ему прямо в губы, затем выпустила его из объятий и побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки.

Глядя ей вслед, когда она выбежала из комнаты, чтобы попрощаться со стариной Ледвиджем, Джерри самодовольно улыбался про себя. Розовое личико, блестящие глаза. Как будто она выпила бутылку шампанского. Совершенно спятила от танцулек. Смешно, когда они так теряют головы — теряют их так оптимистически, так залихватски, так окончательно, не оставляя никаких резервов, вышвыривая их в окно без сожалений, если можно так выразиться. Почти все девочки дьявольски плотоядны и расчетливы. Они теряют голову только наполовину — вторая остается холодной и готовит игру в девственность, которой они размахивают, как страшным оружием. Мелкие сучки! Но у Элен машина пошла вразнос. Она нажала на газ и не собирается убирать ногу с педали. Она любила такие вещи, и не только потому, что надеялась извлечь выгоду из потерянной головы, но также и бескорыстно, потому что не могла не восхищаться теми, кто позволял себе уходить и не думал ни одной извилиной о последствиях. В таких людях было что-то прекрасное и великодушно-вдохновенное. Сейчас он был похож на того себя, на того человека, каким он когда-то был, и мог себе это позволить. «Смелость — вот что у нее было. И сила темпе-

рамента», — удовлетворенно думал он про себя, когда прикосновение ее руки внезапно заставило его вздрогнуть. Его удивление почти моментально перешло в гнев. Ничто не выводило его из себя так, как попадание впросак, когда он не был настороже. Он резко повернулся и, видя, что прикоснулась к нему Мери Эмберли, попытался изменить выражение лица. Но тщетно — в глазах остались злость и обида.

Но Мери и сама была слишком рассержена, чтобы уловить знаки недовольства у него на лице.

— Я хочу поговорить с тобой, Джерри, — сказала она низким голосом, стараясь держаться с ним на равных, избегая эмоций, но тем не менее содрогаясь, несмотря на все усилия.

«Господи! — подумал он. — Что за сцена!» — И почувствовал себя еще более сердитым на докучливую женщину.

— Ну говори, — произнес он громко и с видом некоторого отчуждения вытащил из кармана портсигар.

— Не здесь, — возразила она.

Джерри сделал вид, что не понял ее слов.

— Прости, я не думал, что ты против того, чтобы здесь курили.

— Дурак! — Ее гнев выплеснулся наружу с вне-

запной силой. Затем, схватив его за рукав, она скомандовала: — Пошли! — И почти потащила его к двери.

Пробегая наверх, Элен успела увидеть, как ее мать и Джерри поднимаются с площадки возле гостиной на верхние этажи высокого здания. «Мне придется найти кого-нибудь, с кем бы потанцевать», — только и подумала она и секунду спустя ухватила маленького Питера Куинна и снова окунулась в рай.

— Разговор о ценных бумагах! — воскликнул Энтони, когда хозяйка покинула комнату вместе с Джерри Уотчетом. — Я и подумать не мог, что Джерри в фаворитах…

Беппо кивнул.

— Бедная Мери, — заметил он.

— Наоборот, — возразил Стейтс, — Мери богатая! Бедной она станет потом.

— И ничего нельзя с этим поделать? — спросил Энтони.

— Она бы возненавидела тебя, если б ты попытался.

Энтони покачал головой.

— Эти мрачные принуждения! Как кукушки в августе. Как олени в октябре.

— Сначала она хотела принудить меня, — со-

общил Стейтс. — Сразу же после того, как мы впервые повстречались. Но я ее быстро вылечил. А затем подвернулся этот негодяй Уотчет…

— Удивительно, как ведут себя эти аристократы! — Тон Энтони был полон спортивного интереса.

Мускулистое, словно лишенное кожи, лицо Стейтса исказилось и изобразило презрительную гримасу.

— Грубый, вульгарный бандит, — сказал он. — Как ты только мог ладить с ним в Оксфорде, я просто не могу вообразить. — На самом деле, конечно, он прекрасно представлял себе, что Энтони ладил с этим животным из обычного раболепия.

— Простое чванство, — сказал Энтони, отобрав тем самым у Стейтса половину удовольствия от признания. — Но тем не менее я настаиваю, что такие люди, как Джерри, всегда присутствуют в любой либеральной системе образования. Когда он был богат, в нем действительно было что-то восхитительное. Некая отстраненная, незаинтересованная безалаберность. Теперь… — Он поднял руку вверх и затем дал ей снова упасть. — Обыкновенный бандит — ты прав. Но удивительно, с какой легкостью аристократы

превращаются в бандитов. Очень закономерно, если задуматься. Вот человек, которого довели до того, что он возомнил, будто обладает божественным правом на все самое лучшее. И пока он владеет своими правами, у него *noblesse oblige*[129], честь, достоинство и все с этим связанное. И это, конечно же, намертво сковано наглостью, причем крайне искренней. Теперь, когда у него нет постоянного дохода, могут произойти самые странные вещи. Провидение позаботилось о том, чтобы вы имели все самое лучшее, следовательно, позаботилось о том, чтобы у вас были средства, и, следовательно, когда эти средства не попадают к вам законным путем, вы с совершенно спокойной совестью добываете их незаконно. В прошлом наш дорогой Джерри мог оказаться за решеткой за махинации или симонию [130]. Он стал бы потрясающим кондотьером или почти великолепным кардиналом. Но сейчас Церковь и армия слишком респектабельны, слишком профессиональны. В них нет места дилетантам. Разорившемуся аристократу только и остается,

[129] Примечания: 129
Положение обязывает (*фр.*).

[130] Примечания: 130
Симония — продажа и покупка церковных должностей или духовного сана. (*Прим. перев. М. Ловина*)

что заняться предпринимательством. Продавать автомобили. Перепродавать акции и ценные бумаги. Делать реноме сомнительным компаниям. В дополнение, конечно, разумно торговать своим телом. Если ему посчастливилось родиться с хорошо подвешенным языком, он может жить с помощью мягких форм шантажа и низкопоклонства — как газетный борзописец. *Noblesse oblige*, а бедность тем более. И когда они вдвоем обязывают одновременно, нам — читай: среднему классу — лучше всего начать считать серебро. Вместо которого… — Он пожал плечами. — Бедная Мери!..

Наверху, в спальной, град упреков и обвинений Мери Эмберли падал не переставая. Джерри, однако, даже не смотрел на нее. С отвращенным взором, он казался поглощенным разглядыванием полотна Пуссена, висящего над камином. На картине были изображены две обнаженные женщины, лежащие на постели, параллельной линии перспективы.

— Мне нравится эта картина, — сказал он с намеренной отвлеченностью, когда Мери Эмберли остановилась, чтобы перевести дух. — Так и воображаешь, как автор ее занимается любовью с этими девочками. С обеими. Одновременно, — добавил он. Мери Эмберли сильно побледнела; ее

губы дрожали, а ноздри трепетали, словно жили самостоятельной жизнью, неподконтрольной телу.

— Ты даже не слушал меня, — закричала она. — Ты невыносим, ты чудовищен! — Поток снова загремел с еще большей силой, чем раньше.

Все еще стоя спиной к ней, Джерри продолжал смотреть на обнаженные натуры Пуссена; затем, наконец, выдув последнее облако табачного дыма, швырнул сигаретный окурок в камин и обернулся.

— Если ты вполне созрела, — произнес он усталым голосом, — мы можем с тем же успехом лечь в постель. — И после небольшой паузы, пока она, лишившаяся дара речи, разгневанно глядела ему в лицо, с ироничной улыбкой добавил: — Я вижу, что ты именно этого и хочешь. — И стал наступать через всю комнату прямо на нее. Оказавшись в непосредственной близости, он остановился и маняще протянул руки. Его руки были гигантскими, безукоризненно ухоженными, но грубыми, бесчувственными, животными. Отвратительные руки, думала она, глядя на них. Омерзительные руки! Тем более омерзительны они сейчас, потому что при всем их уродстве и грубости она сперва, к стыду своему, была увле-

чена им, несмотря на все имевшиеся причины ненавидеть его. — Ну, так ты идешь? — спросил он таким же утомленно-насмешливым тоном.

Вместо ответа она попыталась дать ему пощечину. Но он находился слишком близко от нее и перехватил ее руку на весу, а когда она попыталась прибегнуть ко второй, ухватил и ее. Она была беззащитна перед его хваткой.

Все еще высокомерно улыбаясь ей и не говоря ни слова, он отпихивал ее шаг за шагом назад, прямо к постели.

— Скотина! — не уставала повторять она. — Скотина! — И она боролась, но напрасно, пока наконец ей удалось найти смутное удовольствие в своей беспомощности. Он неумолимо теснил ее к дивану у стены, пока она, наконец, не потеряла равновесие и не упала на спину на пододеяльник, а он, опершись о диван коленом, наклонился над ней, по-прежнему улыбаясь издевательской улыбкой. — Сволочь, паскуда! — Но на самом деле, как она втайне отметила про себя, причем осознание этого отравляло ее своей постыдностью, она хотела, чтобы он обращался с ней именно так — как со шлюхой, как с животным, в ее собственном доме и вдобавок когда ее ждали гости, дверь была открыта и ее собственные доче-

ри недоумевали, где она, и, может быть, прямо в эту минуту поднимались по лестнице в поисках ее. Да, она действительно хотела этого. Все еще борясь, она предоставила себя во власть знания, элементарного подкожного предчувствия того, что это невыносимое растление было утолением ее старого желания, откровением столь же восхитительным, как и чудовищным, апокалипсисом со всей его грандиозностью, ангелами и зверьми, чумой, агнцем и блудницей в едином, божественном, обворожительном, захватывающем испытании.

— Цивилизация и сексуальность, — говорил Энтони. — Есть между ними определенная связь. Чем выше первое, тем интенсивнее второе.

— Вот и я говорю, — воскликнул Беппо, шипя от восторга, — что мы должны быть цивилизованными!

— Цивилизация означает отсутствие голода и расцвет культуры повсеместно. Бифштексы и художественные журналы для всех. Первосортные белки для тела, третьесортные любовные романы для души. И все это в безопасном урбанистическом мире, где нет никакого риска и физической утомленности. В городке наподобие этого, например, можно прожить годы, не подо-

зревая о том, что есть такая среда, как природная. Все вокруг сделано человеком, пунктуально и удобно. Но люди могут ощутить переизбыток удобств: им нужны острые ощущения, опасности и приключения. К чему они прибегают, чтобы их найти при таком положении вещей? К деланию денег, к политике, случайным войнам, спорту и, наконец, к половой любви. Большинство людей не могут стать финансистами или активными политиками, а война, когда она длится долго, — это уже чересчур. Самые изысканные и опасные виды спорта существуют только для богатых. Следовательно, секс — это единственное, что остается. При повышении уровня выработки материальных благ многообразие и значимость сексуальности повышаются. Должны неизменно повышаться. И поскольку пища и литература удовлетворили имевшийся спрос… — Он пожал плечами. — Ну, вы видите.

Беппо был зачарован.

— Ты пролил свет на все! — воскликнул он. — *Tout comprendre c'est tout pardonner*[131]. — Он с восторгом почувствовал, что аргументы Энтони давали не только прощение, но полное

[131] Примечания: 131
Понять — значит простить (*фр.*).

отпущение грехов каждому, поскольку Беппо не был эгоистом и хотел счастья для всех, начиная от бармена в тулонской гостинице и кончая продажными девками в высоких сапогах на Курфюрстендамм [132].

Стейтс ничего не ответил. «Если общественный прогресс, — думал он, — всего лишь означал еще большее свинство для большего числа людей, зачем он тогда, зачем?»

— Ты помнишь то замечание доктора Джонсона?[133] — начал Энтони с возвышенной нотой в голосе. Он внезапно вспомнил об этом, как будто его память принесла неожиданный дар логическому рассказу. В голосе выразилось победоносное настроение, которое было у него в этот момент. — Как оно там звучит? «У человека не может быть более невинного занятия, чем зарабатывание на жизнь». Что-то вроде этого. Восхитительно! — Он от души расхохотался. — Невинность тех, которые сидят на горбу у бедняков, но воздерживаются от того, чтобы

---

[132] Примечания: 132

Курфюрстендамм — улица в Берлине. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[133] Примечания: 133

Джонсон, Сэмюэл (1709–1784) — английский писатель и лексикограф, весьма известная фигура в лондонском обществе XVIII в. (*Прим. перев. М. Ловина*)

приударять за их женами! Невинность Форда и невинность Рокфеллера. Девятнадцатый век был Веком Невинности — невинности подобного сорта. С таким результатом мы теперь вполне можем сказать, что у человека не может быть более невинного занятия, чем занятие любовью.

Наступило молчание. Стейтс посмотрел на часы.

— Пора убираться отсюда, — сказал он. — Единственная проблема, — добавил он, поворачиваясь в кресле и оглядывая комнату, — в хозяйке.

Они встали, и пока Беппо спешил поприветствовать двух молодых знакомых в другой части комнаты, Стейтс и Энтони прошли к двери.

— Проблема, — твердил Стейтс. — Проблема…

На лестничной площадке, однако, им повстречались Мери Эмберли и Джерри, идущие вниз по лестнице.

— Мы вас искали, — сказал Энтони. — Чтобы пожелать спокойной ночи.

— Так быстро? — воскликнула Мери с внезапно подступившим беспокойством.

Но те были непреклонны, и через пару минут все трое, Стейтс, Уотчет и Энтони, шли вместе по улице.

Джерри был первым, кто нарушил молчание.

— Эти старые ведьмы, — задумчиво произнес он и покачал головой. Затем более оживленно: — Как насчет партии в покер?

Но Энтони не умел, а Стейтс не испытывал ни малейшего желания играть в покер, и Уотчету пришлось направиться на поиски более подходящей компании.

— Скатертью дорога, — сказал Марк. — А теперь как насчет того, чтобы пойти ко мне и поговорить часок-другой?

Это было самое важное, думал Хью Ледвидж, самое важное, самое необычное и самое невероятное из того, что случалось с ним. Так привлекательна, так молода. «Такой нежной формы». (Если бы только она бросилась в Темзу, он бы спас ее! Элен! Мое бедное дитя! И она бы с благодарностью бормотала: «Хью… Хью…») Но даже без самоубийства это было достаточно удивительно. Ее рот, прижавшийся к его. Боже, почему он не проявил большей смелости, большего присутствия духа? Все, что он мог бы сказать ей, жесты, которыми мог наградить ее. И все-таки в определенном смысле было лучше, если он вел себя так, как он вел — глупо, застенчиво, неуместно. Лучше, потому что на поверку оказалось, что она хорошо к нему относится, он ей не безразличен,

потому что это придало большую ценность ее действиям, ей самой: такая юная, такая чистая — и все же немедленно, без всякого давления с его стороны, почти без сопротивления она шагнула на ступеньку вниз, положила руки ему на плечи и поцеловала его. «Поцеловала несмотря ни на что, — повторял он про себя с каким-то нежданно-изумленным триумфом, к которому примешивалось странное чувство стыда, несмотря на его собственное признание слабости и ненужности. — *Non più andrai*[134], — напевал он, прогуливаясь, и затем, как будто пронизывающе сырая лондонская ночь была весенним утром на холмах, зарядил полногласную арию:

Delle belle turbandoie riposo,
Narcissetto, Adoncino d'amor»[135].

Придя домой, он тотчас сел за письменный стол и начал писать ей.

---

[134] Примечания: 134
Больше не приходи (*ит.*).

[135] Примечания: 135

Не пора ли оставить свой отдых,
Вместо фата мужчиною быть (ит.).

— Цитата из либретто Лоренцо да Понте оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».

«Элен, Элен… Если я повторяю эти слоги слишком часто, они теряют свой смысл, становятся обыкновенным буквосочетанием и превращаются в шум в моем безмолвном жилище — ужасающими в своей бессмысленности. Но если я произношу имя два или три раза, очень нежно, оно становится невыразимо прекрасным и полным таинственного значения! Оно вызывает столько отголосков и ассоциаций. Может быть, не так много, как древнему греку говорило имя Елены Троянской . Я не могу поверить в то, что она была всего-навсего зрелой женщиной и не была знаменита ничем, кроме того, что вышла замуж за Менелая и сбежала с Парисом. Не была так молода, как ты, — точь-в-точь как экзотический цветок. Нет, героиня Эдгара По предстает перед моим взором чаще, когда я произношу твое имя. Красавица, которая заставляет путника вернуться к своему родному берегу, призывает его назад. Не в то обычное, мирское пристанище страстей, нет — в далекое, редкое, прекрасное жилище, которое за ним и выше, чем оно. Выше и

за ним и все же подразумевающее, включающее в себя и даже превосходящее все страсти...»

Письмо было длинным, но он успел отправить его с полуночной почтой. Чувство победы, с которым он возвратился во второй раз, было почти полным. Он моментально забыл свой испуг, унизительную трусость, он помнил только сознание парящей силы, наполнявшей его, когда он писал это письмо.

Вознесшийся превыше себя самого, он забыл, раздеваясь, убрать в шкаф бандаж, чтобы миссис Бринтон не увидела его утром, когда пришла с ранним чаем. Он долго лежал в постели, полный нежных, отеческих, лиричных размышлений и вместе с тем преисполненный желания, но желания томительно кроткого, когда сладострастие приобрело некую форму молитвы; он думал об изысканной молодости Элен, об изяществе ее форм и ее невинности, нежной грациозности и тех неожиданных, необычайных поцелуях.

Глава 21

31 августа 1933 г.

Элен нажала кнопку звонка и прислушалась. За закрытой дверью не было слышно ни шороха. Она прибыла прямо с вокзала после ночи, проведенной в поезде, — еще не было десяти часов, и ее мать, видимо, спала. Она позвонила снова и после паузы еще раз. Крепко спит — если, конечно, она не бодрствовала всю ночь. Где она? И с кем? Вспомнив о том ужасном русском, которого она застала в квартире матери во время последнего пребывания в Париже, Элен нахмурилась. Она позвонила в четвертый раз, потом в пятый. Внезапно из глубины квартиры послышался звук шагов. Элен вздохнула, отчасти потому, что понимала, чем чреваты последующие минуты и часы. Дверь наконец распахнулась, и из полутьмы на Элен пахнуло кошками, эфиром и несвежей едой. В дверном проеме в грязной розовой пижаме, с растрепанными, лоснящимися, крашенными в рыжий цвет волосами появилась мать Элен, жмурясь и потирая заспанные глаза. В течение секунды лицо ее походило на маску, мешки под

глазами старили ее и придавали ей глупое выражение; затем, словно освещенное вспышкой, лицо вернулось к жизни, почти помолодело, озарившись радостной улыбкой.

— Какая радость! — закричала миссис Эмберли. — Дорогая, я так рада.

Если бы Элен на своем горьком опыте не знала, что этот радостный порыв неизменно уступит место злобному унынию или, еще хуже, припадку безумного и слепого гнева, она была бы тронута теплотой, с которой мать приветствовала ее. Как всегда, она покорно дала себя поцеловать и с неподвижно-каменным лицом шагнула через порог в жутко знакомый кошмар жизни миссис Эмберли.

На этот раз в кошмаре оказалось и нечто комичное.

— Все из-за этой проклятой экономки, — оправдывалась мять, когда они вместе с дочерью стояли в маленькой затхлой прихожей. — Она воровала мои чулки. Тогда мне пришлось запирать дверь спальной всякий раз, когда я выходила. И однажды я потеряла ключ. Ты знаешь мою рассеянность, — добавила она, вспомнив, что всю жизнь гордилась этим сомнительным достоинством. — Боюсь, это безнадежно. — Она покачала

головой и улыбнулась характерной кривой улыбкой, словно чего-то не договаривая. — Когда я вернулась домой, мне пришлось выломать половину филенки. — Она указала на продолговатое отверстие в нижней части двери. — Видела бы ты меня, когда я долбила эту дверь. — Ее голос красиво вибрировал и переходил в смех. — К счастью, дверь была словно картонная. Сварганена тяп-ляп. Как и все в этом гиблом месте.

— И ты проползла вовнутрь? — спросила Элен.

— Да, вот так. — И, встав на четвереньки, миссис Эмберли просунула голову через дыру, повернулась боком, чтобы могли пролезть руки и плечи, затем с удивительной ловкостью протиснулась сквозь отверстие, помогая себе свободной рукой и ногами, пока в прихожей не остались только ноги. Миссис Эмберли подтянула колени одно за другим и мгновение спустя из дыры, словно из собачьей будки, появилось ее слегка раскрасневшееся лицо.

— Вот видишь, — сказала она. — Раз плюнуть. Вся прелесть в том, что старая мадам Роже страшная толстуха. Никаких шансов, что она пролезет. Больше я могу не беспокоиться за свои чулки.

— Она что, никогда не бывает у тебя в спальне?

Миссис Эмберли покачала головой.

— Нет, с тех пор, как я потеряла ключ. А это случилось по крайней мере три недели назад. — Ее тон был победоносным.

— А кто же заправляет постель и делает уборку?

— Ну… — Мать на секунду замялась. — Я, конечно же, — ответила она с едва заметным раздражением.

— Ты?

— А почему бы и нет? — Миссис Эмберли почти с вызовом посмотрела снизу вверх в лицо своей дочери, стоявшей с другой стороны двери. Наступила длинная пауза, затем одновременно обе расхохотались. Все еще улыбаясь, Элен сказала:

— Ну-ка, посмотрим.

Она тоже опустилась на четвереньки, каменное выражение ее лица смягчилось, на душе потеплело. Ее мать казалась настолько нелепой, когда высовывала голову, словно из конуры, такой по-детски смешной, что Элен внезапно почувствовала в себе способность снова любить ее. Любить просто потому, что могла теперь открыто смеяться над ней.

Миссис Эмберли убрала голову.

— Конечно, здесь не очень чисто, — призналась

она озабоченно, когда Элен с трудом протискивалась сквозь дыру. Не подымаясь с колен, мать затолкала грязное белье и остатки вчерашнего обеда под кровать.

Снова встав на ноги, будучи уже в спальне, Элен огляделась. Все было отвратительнее, чем она ожидала, — гораздо отвратительнее. Она сделала над собой усилие и попыталась сохранить улыбку, но мышцы лица отказались повиноваться ей.

Тремя днями позже Элен была уже на пути в Лондон. Открыв английскую газету, она с равным отсутствием интереса прочла о депрессии, отборочном матче, нацистах, новом курсе. Вздохнув, перевернула страницу. Заголовок крупными буквами гласил: «Лучший роман года». Внизу шло объяснение более мелким шрифтом: «Невидимый любовник». Автор — Хью Ледвидж. Предисловие — Кэтеби Раджа». Элен сложила газету поудобнее и с интересом углубилась в чтение.

«Просто книга, подумал я, как и все другие. И уже захотелось было отложить ее в сторону, но, к счастью, что-то, какое-то таинственное чутье заставило меня изменить намерение. Я открыл книгу, проглядел страницы, выхватывая по предложению с каждой. То, что я увидел, было

блестящим — ювелирно отточенные бриллианты. Я решил прочесть роман. Было девять часов вечера. В полночь я все еще читал, будучи не в состоянии оторваться. Незадолго до двух я лег в постель, и мое воображение было все еще под воздействием шедевра, с которым я соприкоснулся.

Как можно охарактеризовать это произведение? На первый взгляд это фантастическая история. Если читать дальше, это определение подтверждается. «Невидимый любовник» — это фантастический роман. Но фантастика эта острая и в то же время завораживающая, глубокая и одновременно интригующая и легкая, полная слез и улыбок, с тонким юмором и возвышенным благородством, достойным Галахада [136]. Юмор в книге словно исходит от разбитого сердца, а смех пронизан горечью. Сквозь весь роман проходит струя наивной и детской чистоты, бесконечно свежей на фоне прочего чтива фрейдистского толка. История о невидимом, но всегда присутствующем, бдительном, вечно обворожительном любовнике и девочке, в которую он влюблен, обладает поистине ангельской невинностью.

[136] Примечания: 136

Галахад — персонаж книги «Смерть Артура» Томаса Мэлори (ок.1417–1471), рыцарь, добывающий чашу Святого Грааля. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Если бы было нужно охарактеризовать книгу одной фразой, я бы сказал, что это история о Данте и Беатриче, рассказанная Гансом Христианом Андерсеном…»

Предаваясь воспоминаниям о том, как Хью несколько раз безуспешно пытался заняться с ней любовью, Элен почувствовала, что газетная статья произвела в ее мозгу какой-то химический взрыв. Она в голос расхохоталась; а поскольку смешная фраза продолжала звучать в ее сознании и воспоминания о гротескных, отвратительных ночах пополнялись все более неприятными деталями, она продолжала безостановочно смеяться. История Данте и Беатриче, рассказанная Андерсеном! Слезы истерического веселья катились по ее щекам: она едва не задохнулась от смеха, горло сжал спазм; она действительно не могла остановиться. К счастью, Элен была в купе одна, иначе ее непременно сочли бы сумасшедшей.

В кебе, везшем ее на квартиру Хью (это была и ее квартира, увы, невзирая на Данте, Беатриче и великого сказочника), она думала о том, лег ли он уже спать и будет ли расстроен ее приездом. Она не предупредила его об этом, и он мог быть не готов принять ее, мог быть сражен ударом ее до грубости реального появления. «Бедняга

Хью! — думала она с уничижительной жалостью. — Наслаждаться тайным и невидимым смехом, как Данте со своим призраком Вергилием, а затем пережить сокрушительное вторжение синьоры Алигьери!» Но сегодня, вдруг пришло ей в голову, когда она уже стояла перед дверью, шаря в сумочке в поисках ключа, его незримое одиночество было уже, видимо, нарушено. Кто-то играл на фортепиано, слышался смех и голоса. У Хью, должно быть, вечеринка. Тотчас же Элен вообразила, что ее появление может походить на явление призрака Банко[137], и предвкушение этого доставило ей удовольствие. Чтение статьи, моментально повергшее все ее существо в веселое настроение, стало огромной, не вмещающейся ни в какие рамки дикой шуткой — или если еще не стало, то в скором времени приобрело бы такой оттенок.

Когда она открыла дверь и безмолвно прокралась в прихожую, ее охватило озорное и азартное чувство неизведанной опасности. На крючках висели причудливые шляпы, еще более странные лежали на стульях — две или три были очень дорогими и, как она заметила, нового фасона

[137] Примечания: 137

Призрак *Банко*, убитого по приказу Макбета, является своему убийце в трагедии Шекспира «Макбет». (*Прим. перев. М. Ловина*)

и моды; все остальные были мятые и старые, очевидно, принадлежали небогатым интеллектуалам. На мраморном столике были сложены письма; она в силу привычки нагнулась, чтобы взглянуть на них, и обнаружила, что одно из них предназначалось ей. Отправителем был Энтони, и, видимо, это тоже была шутка. Неужели он всерьез думает, что она будет читать его послания? Необыкновенный осел! Она сунула нераспечатанное письмо в сумочку, затем на цыпочках прошла в свою комнату. Как там было чисто! Как в мертвецкой! Это напоминало фамильный склеп. Она сняла шляпу и плащ, умылась, причесала волосы, наложила косметику, затем, все так же тихо, прокралась в прихожую и остановилась перед дверью в гостиную, пытаясь по голосам определить гостей. Беппо Боулз точно, потому что его взвизгивание и хихиканье невозможно спутать ни с чем. Марк Стейтс. И вдобавок голос, в принадлежности которого она не была уверена, да еще один, очень мягкий и искренний, какой мог быть только у старины Кройланда. А кто был тот нелепый иностранец, что говорил медленно и тяжело, все на одной ноте? Она простояла несколько минут перед дверью, затем очень мягко нажала на ручку, неторопливо приоткрыла

дверь и без единого звука вступила в комнату. Никто не заметил ее. Марк Стейтс восседал за фортепиано вместе с Беппо, который еще больше раздобрел, облысел и стал более нервным, и — наконец — старина Кройланд стоял вполоборота к ним, облокотившись об инструмент и глядя на него сверху вниз во время разговора. Хью располагался на диване у камина рядом с тем, чьего голоса она не распознала, впоследствии оказавшимся Колдуэллом, издателем «Невидимого любовника», как подсказала ей память, и она с трудом сдержала приступ веселья. С ними был молодой человек с очень светлыми льняными волосами и румяным открытым лицом, на котором в тот момент запечатлелось выражение почти детской серьезности. Он говорил с ярко выраженным акцентом, похожим на немецкий. Вот теперь момент наступил.

— Добрый вечер! — объявила она, шагнув вперед.

Произошел небольшой переполох, а бедный Хью даже вскочил, будто кто-то выстрелил из пушки у него над ухом. И после первого припадка ужаса какая-то невыразимая жалобность застыла у него на лице! Как у циркового клоуна!

— Не бойся, Хью, — произнесла она.

Он смотрел в ее смеющиеся глаза, словно проглотив язык. Со времени первых похвальных отзывов о его книге он чувствовал себя непоколебимо сильным и пребывал в блаженной уверенности. А теперь появилась Элен — пришла, чтобы уничтожить его с помощью позорных свидетельств.

— Я не ожидал, — наконец удалось пробормотать ему. — То есть почему ты…

Но Колдуэлл, считавшийся мастером послебанкетных (читай: неофициальных) речей, в продолжение разговора перебил его. Подняв бокал, который был у него в руке, он провозгласил:

— За Музу!

Пауза.

— За Музу и за… Я не считаю преувеличением сказать — за героиню нашего шедевра. — Очарованный собственной формулировкой, он просиял, глядя на Элен, затем, обернувшись к Хью с жестом отеческого покровительства, похлопал его по плечу: — Выпей с нами, старик. На этот раз это комплимент не в твой адрес. — И он заржал, словно конь. Хью исполнил повеление и, скрыв глаза, сделал большой глоток виски с содовой.

— Благодарю, благодарю! — кричала Элен. Смех бурлил у нее в груди, как кипяток в чайнике.

Она протянула одну руку Колдуэллу, а другую Хью. — Не могу выразить, как я была очарована и восхищена, и, — продолжала она, — Данте и Беатриче в изложении Андерсена — это звучит слишком сладостно.

Покраснев, Хью пытался возразить.

— Та ужасная статья…

Элен перебила его.

— Почему ты все время молчал?

Действительно, почему? Хью задумался. В самом деле, казалось безумием опубликовать книгу без предварительного показа ее Элен. Он все время хотел сделать это, но каждый раз в последний момент обнаруживал, что задача слишком непосильная, слишком отталкивающая. Желание печататься между тем жило в нем, становясь все сильнее, пока наконец, не отдавая себе отчета в происходящем, он не передал рукопись Колдуэллу и, после того как тот принял се, условился о том, что она должна выйти, пока Элен за границей. Как будто она впоследствии не узнала бы обо всем! Безумие, безумие! И доказательством его безумия было ее присутствие здесь сейчас с этой жуткой и странной улыбкой на лице и блестящими глазами. Постоянная взбалмошность была одной из очаровательных детских черт ее

характера, которая подкупала всех; она была божественным *enfant terrible*[138]. Но в обычной, земной Элен взбалмошность казалась почти дьявольской. От нее можно было ожидать буквально всего.

— Почему ты это сделал? — стояла на своем Элен.

Он издал невнятный извиняющийся лепет.

— Ты не имел права не сказать мне, что был этим Данте-Андерсеном. Я постаралась бы ужиться с тобой, сотворила бы из тебя жизненный идеал. Беатриче и Дюймовочка, соединенные вместе. Добрый вечер, Беппо! Здравствуй, Марк.

Они вышли из-за фортепиано, чтобы поприветствовать ее.

— А как вы поживаете, мистер Кройланд?

Мистер Кройланд представлял собой блестящий образ пожилого джентльмена, приветствующего прелестную юную леди — доброжелательно, но слегка игриво, с едва заметной долей рыцарства.

— Какой прекрасный сюрприз, — продышал он мягким, намеренно страстным голосом, который обычно служил для описания полотен раннего

---

[138] Примечания: 138
Ужасный ребенок (*фр.*).

Ренессанса или для обращения к знаменитостям и крупным богачам. Затем, с жестом, который прекрасно выражал резкий приступ любви, мистер Кройланд трепетно погладил ее руку с обеих сторон. Его нежные кисти были очень бледны, почти уродливо маленькие, словно ювелирные. Элен показалось, что по сравнению с его руками ее были похожи на руки крестьянки. Серебристая, похожая на магометанскую борода мистера Кройланда делилась во время улыбки на две части, что должно было быть тонким подтверждением его слов и жестов, которые, однако, будучи несовместимыми с его объемностью и внезапным ужасом, наводимом большими желтеющими зубами, наоборот, казалось, опровергали всю утонченность манер пожилого джентльмена. Эта улыбка принадлежала тому самому мистеру Кройланду, который так успешно торговал полотнами старых мастеров; маленькие белые ручонки и их притягательные движения, тонкий надрывный голос и исходящие от сердца слова были свойственны другому Кройланду, которого интересовало одно лишь искусство.

Элен высвободила руку.

— Вы видели те фарфоровые кружки, мистер Кройланд? — спросила она. — Вы, который так

хорошо знаете Италию. Те самые, для минеральной воды, которые продаются в Монтекатини? Белые с золотой надписью: *Io son Beatrice che ti faccio andare*[139].

— Возмутительно, — воскликнул мистер Кройланд, в ужасе защищаясь руками.

— Такие шутки мне как раз нравятся. Особенно теперь, когда я стала Беатриче. — Заметив, что молодой человек с льняными волосами стоит в ярде от нее и изо всех сил старается привлечь ее внимание, Элен осеклась и повернулась к нему, протягивая руку.

Молодой человек взял ее, поклонился, переломившись в поясе, и, представившись Гизебрехтом, крепко пожал.

Со смехом (это была очередная шутка) Элен ответила: «Ледвидж, — затем, в продолжение сказанного: — *geboren*[140] Эмберли».

Пораженный подобным неожиданным гамбитом, молодой человек снова поклонился, на этот раз молча.

Вмешался Стейтс, объяснив, что Экки Гизебрехт был его находкой.

---

[139] Примечания: 139
Я, Беатриче, что гонит тебя (*ит.*).

[140] Примечания: 140
Урожденная (*нем.*).

— Беженец из Германии. Не из-за своего носа, — добавил он, сжалившись над бедным Хью и выведя его из группы скопившихся вокруг дивана, — не из-за своего носа, а из-за политической ситуации. Ариец, но коммунист. Ортодокс, да вдобавок еще и страстный. Он верит, что, как только будут уравнены доходы, люди перестанут быть жестокими. И также вся власть сосредоточится в руках лучших. Он абсолютно убежден, что никто из власть имущих не станет даже желать злоупотребить полномочиями. — Стейтс покачал головой. — Неясно, нужно ли восхищаться и завидовать или благодарить Бога за то, что он не сотворил тебя подобным ослом. Что касается более подробных деталей, то тут он совершенный осел. Осел с моральным обликом святого. Вот почему он такой восхитительный агитатор. Святость почти так же хороша, как и сексуальная привлекательность. — Он придвинул кресло Элен и сел рядом с ней у фортепиано, наигрывая первые такты «К Элизе» Бетховена, затем, сбившись, он снова повернулся к ней. — Беда в том, — продолжал он, — что ничто не действует. Ни вера, ни образованность, ни святость, ни даже разбой — ничего. Вера устроена всего-навсего как целенаправленная глупость. Она может сдвинуть

гору или две с помощью воли или обыкновенного упрямства, но на нее надеты шоры, и она не видит, как вы переставляете горы, потому что вы не уничтожаете их, а просто меняете местами. Необходим ум, чтобы видеть это, но ум частенько служит плохую службу, поскольку люди не слишком им восторгаются, и все остается на милость первого попавшегося Гитлера или Муссолини — любого, кому удастся вызвать энтузиазм по любому поводу, каким бы идиотским или уголовным он ни был.

Элен бросила взгляд в другую часть комнаты.

— Наверное, это естественный цвет его волос, — сказала она более себе, чем своему собеседнику. Затем, вновь обращаясь к Стейтсу, спросила: — А как насчет святости?

— Давай обратимся к истории, — ответил он.

— Не знаю никаких примеров.

— Естественно. Но, наверное, ты слышала о человеке по имени Иисус. И скорее всего, ты читаешь газеты. Сравни страницу святого Евангелия с газетной страницей и сделай собственные выводы.

Элен кивнула.

— Я уже сделала их.

— Если бы святости было достаточно для того,

чтобы спасти мир, — продолжал он, — то мир бы, несомненно, уже давно был спасен. Десятки раз. Но святость может существовать без образованности. И, несмотря на все это, святость не более привлекательна, чем все остальное — нормальное питание, удобства, интим, угрозы, чувство превосходства.

Смеясь, поскольку это было смешно, Элен произнесла:

— Как будто нечего больше делать, кроме как бросить к чертям все и превратиться в невидимого любовника. — Она угостилась бутербродом и бокалом белого вина, стоявшего на подносе.

Люди, находившиеся в другой части комнаты, разошлись, и Беппо с мистером Кройландом вновь «оседлали» фортепиано. Стейтс улыбался, глядя на них, и, вновь ухватив нить разговора, прерванного появлением Элен, произнес:

— Иначе можно превратиться в закоренелого эстета.

— Ты употребляешь это слово как ругательное, — воспротивился Беппо с чванливым пафосом, который усилился в нем с годами. Жизнь сурово обошлась с ним — лысина на голове, как и живот, увеличилась в размере, и молодые люди были все менее и менее расположены считать его

своим современником, что делало успех почти недостижимым. Молодой немец, друг Стейтса, тот вообще грубил Беппо на каждом шагу. — Почему нужно стыдиться того, что живешь ради красоты?

От мысли о том, что такой, как Беппо, — с оттопыренным жилетом и клетчатыми брюками, на которых чуть не расходятся швы, да с лысиной, обрамленной, как венком, локонами флорентийского пажа, — жил для красоты, Элен едва не поперхнулась вином.

Мистер Кройланд промурлыкал из своего кресла:

— Да славен Бог, создавший пестроту! Я недавно перечитал его преподобие отца Хопкинса[141]. Как остро! Острее кинжала. «И облака атласные плывут». — Он вздохнул и покачал головой. — Его слова ранят своей красотой — ранят и все же заставляют жить, делают жизнь прекрасной.

Наступила благоговейная, как в храме, тишина.

Затем, сделав усилие, чтобы изгнать из голоса

---

[141] Примечания: 141

Хопкинс, Джерард Мэнли (1844–1889) — английский поэт, священник-иезуит. Хопкинс является создателем «скачущего ритма», нового для английской поэзии. *«Да славен Бог, создавший пестроту!»* — первая строчка стихотворения Хопкинса «Пестрая красота» (1877). (*Прим. перев. М. Ловина*)

смех, Элен сказала:

— Будь ангелом, Беппо. И дай мне еще немного рейнвейна.

Мистер Кройланд, полуприкрыв глаза, витал в эмпиреях.

Когда звяканье стаканов прекратилось, он процитировал:

— «Зрелость есть все. Надежность трезвая всходящего блаженства». Всходящего! — повторил он. — Пронзает до глубины души. И, конечно, картины — Ватто в Дрездене, «Преображение» Беллини и портреты Рафаэля. Заграждения для защиты души. И некоторые философы тоже. Зороастр[142] и Платон. — Он помахал своей маленькой ручкой. — Без них пропадешь — просто пропадешь.

— А с ними, если я правильно понимаю, вы спасены? — спросил Марк Стейтс, не отрываясь от фортепиано, и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Если б было так. Но от этого, видимо, мало пользы. Даже от того малого, что по сути своей важно. Обильное размышление всегда принималось за скудоумие. А что касается искусства,

---

[142] Примечания: 142

Зороастр (также Заратустра) (между X и 1-й пол. VI в. до н. э.) — древнеиранский пророк, основоположник зороастризма. (*Прим. перев. М. Ловина*)

литературы, — возьмите, к примеру, музеи или библиотеки. Взгляните, что в них! Девяносто девять процентов хлама и бессмыслицы.

— А греки? — не сдавался мистер Кройланд. — А флорентийская школа? А китайская скульптура? — Он сделал рукой очаровательный жест в воздухе, как будто ласкал суньскую амфору или чашеобразный пуп водяной нимфы эпохи высокого Ренессанса. Он мягко улыбнулся, и его большие желтые зубы, проглядывающие сквозь усы, ощерились злобой и ненасытностью. Даже когда он говорил о фресках Скифанойи [143] или шептал, словно разглашая пророческую тайну, имя Вермера Делфтского .

— Ерунда, — уверял Стейтс, — почти определенно ерунда и мусор. И большинство из того, что не является ерундой и мусором, всего-навсего хорошо, но не представляет собой ничего сверхъестественного. — Как то, что мы могли бы назвать небольшой практикой, — объяснил он. — А если ты познал себя, свое несчастье, беспомощное Я, которое еще может усовершенствовать эти творения — то нельзя же, в самом деле, принимать свои деяния настолько серьезно.

---

[143] Примечания: 143

Скифанойя — скифское государство в Северном Причерноморье, уничтоженное готами в III в. н. э. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Мистер Кройланд, как явствовало из его нахмуренного вида, не думал о себе в подобном духе.

— Конечно, можно получать удовольствие и от таких, совершенно ничего не значащих вещей, — признал Стейтс. — Есть чистое мастерство, например мастерство техники или интерпретации. Например, жесткая последовательность нот в басовом ключе, исполняемая правой рукой, в то время, как левая свободно импровизирует. Это вызывает несравненный восторг! Но то же самое можно сказать и о плотницком деле. Все это кустарщина, которая перестает в конце концов быть интересной независимо от уровня совершенства и таланта. В конечном итоге во всем этом не обнаруживается никакой ценности — гений отличается от посредственности лишь количественно. Например, Брамс — его сочинения отличаются от сочинений Мейербера [144] лишь степенью вложенного в композицию интеллекта и труда. Но лучшие вещи Бетховена так же нельзя сравнивать с лучшими вещами Брамса, как сочинения последнего с худшими сочинениями Мейербера. Принципиальная раз-

[144] Примечания: 144

Мейербер, Джакомо (1791–1864) — французский композитор, автор героико-романтических опер «Роберт-Дьявол» (1830), «Гугеноты» (1835) и др. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ница. Совершенно иной мир.

— Иной мир, — эхом повторил мистер Кройланд, шепча, будто речь шла о загробном царстве. — Именно в этом я пытаюсь вас убедить. С самым высоким искусством человек вступает в высший мир.

Беппо зашипел, целиком и полностью поддерживая это высказывание.

— Мир, — настаивал мистер Кройланд, — богов и ангелов.

— Не забудьте о невидимых любовниках, — вставила Элен, потягивая из стакана белое вино и чувствуя, что разговор становится все более и более забавным.

Мистер Кройланд не придал ее высказыванию никакого значения.

— Следующий за этим мир, — продолжал он. — Великие художники проводят вас прямо на небеса.

— Но никогда не позволят вам оставаться там, — возразил Марк Стейтс. — Они дадут вам почувствовать вкус того мира, а затем вы снова свалитесь обратно в грязь. Божественно, но всего лишь на мгновение. Время быстротечно. И даже когда меня уже заманили на небо, я ловлю себя на том, что спрашиваю: и это все? Будет ли еще

что-нибудь, какое-то продолжение? Иной мир недостаточно иной? Даже «Макбет», даже «Месса ре мажор»[145], даже «Успение» Эль Греко . — Он качнул головой. — Когда-то это доставляло мне удовольствие. Было успокоением и поддержкой. Но теперь… теперь я чувствую, что хочу чего-то большего, чего-то более небесного, менее человеческого. Да, менее человеческого, — повторил он. Его лицо искривила жутковатая улыбка. — Живопись, музыка, литература, философия — всего этого недостаточно.

— Чего же тогда достаточно? — спросил Беппо. — Политики? Науки? Делания денег?

Стейтс качал головой, отрицая каждое из предложенного.

— Что еще остается?

— Ничего. Совершенно ничего.

— Вы говорите за себя, — сказал Кройланд. — Мне этого достаточно. — Он снова смежил очи и предался духовному посту.

Глядя на него, Стейтс почувствовал гневное желание проткнуть тщеславие старого черта, как воздушный шарик, — проделать дыру в этом огромном вместилище культурного газа, с по-

---

[145] Примечания: 145

«Месса ре мажор» — произведение Иоганна Себастьяна Баха*(Прим. перев. М. Ловина)*

мощью которого мистер Кройланд умудряется подниматься в поднебесье, в разреженный воздух чистого эстетизма.

— А как же смерть? Вы думаете, что это панацея и от нее? — настаивал он на своем тоном, который внезапно сделался грубым, как у палача. Стейтс помедлил, и в течение секунды старик пребывал в ужасном, многозначительном молчании — молчании тех, кто в присутствии жертвы или неизлечимого больного нарочно оттягивает надвигающуюся неизбежность. — Панацеей от самой жизни, если на то пошло, — продолжал Марк, смягчаясь. — От жизни в любом из ее неприятных или опасных проявлений.

— Например, от собак, которых выбрасывают из аэроплана. — Элен истерически рассмеялась.

— О чем ты говоришь? — вскричал Беппо на одном дыхании.

— Отец Хопкинс не стал бы убивать собак, — закончила она. — С тобой я согласна, Марк. Хороший зонтик на всякий случай…

Мистер Кройланд поднялся на ноги.

— Я пошел спать, — сказал он. — И вам тоже пора, дорогуша. — Маленькая белая рука, лежавшая у нее на плече, была доброжелательной, почти как у апостола. — Вы утомились с дороги.

— Хотите сказать, что я пьяна, — отозвалась Элен, вытирая глаза. — Да, может быть, вы и правы. Боже! — добавила она. — Как хорошо посмеяться для разнообразия!

Когда мистер Кройланд ушел и когда Беппо отправился вслед за ним, Стейтс повернулся к ней.

— Ты странно выглядишь, Элен.

— Мне забавно, — объяснила она.

— Отчего?

— От всего. Во-первых, из-за Данте — Данте и Ханса Андерсена. Если б ты был женой Хью, ты бы знал, почему именно это так смешно. Представь себе Европу[146], если бы бык внезапно обернулся Нарциссом!

— Я думаю, тебе следовало бы говорить потише, — сказал Стейтс, оглядывая комнату, где с выражением безнадежного отчаяния на лице Хью пытался вслушаться в оживленную дискуссию между Колдуэллом и молодым немцем.

Элен тоже на секунду оглянулась, затем повернулась назад, беззаботно пожав плечами.

— Если он говорит, что он невидим, почему бы мне не быть неслышимой? — Ее глаза снова оживленно засветились. — Я напишу книгу под

---

[146] Примечания: 146

Европа — в греческой мифологии дочь финикийского царя, похищенная Зевсом, обратившимся в быка. *(Прим. перев. М. Ловина)*

названием «Неслышимая куртизанка». О женщине, которая прямо говорит своим любовникам все, что о них думает, во время занятий любовью. Но они ее не слышат. Ни единого слова. — Она осушила бокал и снова наполнила его.

— А что она говорит о них?

— Правду, конечно. Ничего, кроме правды. Тот романтический Дон Жуан всего-навсего проходимец. Единственное, чего я боюсь, это того, что в реальности она не выяснит всей правды сразу до конца. Хотя можно, например, внести литературную вольность — сделать так, чтобы esprit d'escalier[147] был достигнут одновременно с любовными забавами. Лунный свет, «моя дорогая» и «я тебя обожаю» да невероятные ощущения — и в тот же самый момент «ты всего-навсего квартирный воришка, обыкновенный подлый мошенник». А затем появится одухотворенный любовник — какой-нибудь Ханс Данте. — Она махнула головой. — Или лучше Крафт Эббинг.

— Ну и что она скажет ему?

— А действительно, что? — Элен сделала глоток вина. — К счастью, ее никто не слышит. Лучше пропустить эту главу и перейти сразу к эпикурей-

---

[147] Примечания: 147
Коллективный дух (*фр.*).

скому мудрецу. С этим мудрецом ей не придется быть настолько скрытной. «Ты полагаешь, что являешься мужчиной только потому, что ты не импотент? — Вот что она говорит ему. — Но на самом деле ты не мужчина. Ты недочеловек. Несмотря на всю твою мудрость — даже на нее. Хуже, чем проходимец, в некотором роде». А затем — бум! — как небесное знамение, сверху сваливается собака.

— Какая собака?…

— Та самая, от которой не спасет отец Хопкинс. Такая собака, которая взрывается подобно бомбе, когда ее сбрасывают с аэроплана. Бумс! — Восхищение и смех кипели и бурлили внутри ее, искали выражения и выхода, и единственным возможным успокоением был гнев, публичное насилие ее чувств и чувств ее близких. — Она прямо свалилась на Энтони и на меня, — продолжала она, находя странную отдушину в том, чтобы говорить так открыто и восторженно о том, о чем говорить было не принято. — На крышу дома. А мы были совсем нагие. Как в Эдемском саду. А затем из небесной голубизны вылетела эта собака — и взорвалась. Буквально взорвалась. — Элен с силой выбросила вперед руки. — В собачьей крови с головы до ног. Мы промокли — просто

промокли! И несмотря на это, наш недоумок идет и пишет мне письмо. — Она открыла сумочку и извлекла письмо. — Воображая, что я его прочту. Как будто ничего не случилось, как будто мы все еще находимся в Эдемском саду. Я всегда говорила ему, что он дурак. Вот! — И она протянула письмо Стейтсу. — Открой его и увидишь, что хочет сказать дурак. Что-то остроумное, без сомнения; что-то изящное и легкое; иронично осведомляясь, почему это я вбила в свою маленькую глупенькую головку, что мне надо уйти. — Затем, видя, что Марк все еще держит письмо нераскрытым, она спросила: — А почему ты его не читаешь?

— Ты действительно хочешь, чтобы я это сделал?

— Конечно. Прочти его вслух. Прочти с выражением. — Она насмешливо и раскатисто подчеркнула «р».

— Ну хорошо. — Он разорвал конверт и развернул тонкие листы. — «Я поехал к тебе в гостиницу, — медленно прочел он, щурясь над мелким, в спешке написанным текстом. — Ты ушла, и это было для меня подобно смерти».

— Осел, — прокомментировала Элен.

— «Может быть, уже слишком поздно, может быть, бесполезно; но я чувствую, что должен по-

пытаться сказать тебе в этом письме кое-что, что хотел сказать вчера вечером, — письменно. С одной стороны, это легче — ведь я не очень хорош, когда дело касается установления чисто личного контакта с другим человеком. Но с другой стороны, это намного сложнее, ведь эти записанные слова всего-навсего остаются словами и больше ничем. Они дойдут до тебя, проплывут сквозь пустоту, ничем не поддерживаемые, без моего физического присутствия».

Элен презрительно рассмеялась.

— Он, как всегда, говорит рекомендациями. — Она выпила вина.

— «Еще я хочу сказать тебе, — продолжал читать Стейтс, — что внезапно (это было как обращение в истинную веру, как вдохновение), пока ты вчера стояла на коленях на крыше после того, как произошло то жуткое падение…»

— Он имеет в виду собаку, — произнесла Элен. — Почему он так прямо не скажет?

— «…Внезапно я понял, что…» — Марк Стейтс прервал чтение. — Смотри, — сказал он, — тут я действительно не могу продолжать.

— Почему? Я настаиваю на том, чтобы ты читал, — возбужденно крикнула она.

Он покачал головой.

— Я не имею права!

— Я предоставила тебе право.

— Это я знаю. Но он — нет.

— Какое он имеет отношение к этому? Теперь, когда я получила письмо…

— Но это любовное письмо.

— Любовное письмо? — эхом откликнулась Элен, словно не веря, затем ее разобрал смех. — Это слишком хорошо сказано! — воскликнула она. — Совершенно восхитительно. Дайка его мне. — Она выхватила у него из рук письмо. — Где мы остановились? Ах, вот здесь. «…Стояла на коленях на крыше после того, как произошло то жуткое падение, я внезапно понял, что допустил по отношению к тебе колоссальную ложь. — Она продекламировала эти слова, как ритор, сопроводив их театральными жестами. — Я осознал это, несмотря на весьма изысканное стремление сделать все это неким отстраненным развлечением, не влекущим никакой ответственности. Я действительно люблю тебя». Он действительно любит меня, — протяжно повторила она, так что сам глагол прозвучал карикатурой на себя. — Ну не удивительно ли? Он действительно любит меня. — Затем, повернувшись в кресле, она через всю комнату позвала Хью.

— Элен, не шуми!

Но желание и потребность выплеснуть гнев были необоримыми.

Она стряхнула навязчивую руку, которую Стейтс положил ей на плечо, снова выкликнула имя Хью и, когда все обратили на нее внимание, произнесла, помахивая письмом:

— Я просто хотела сказать, что он и в самом деле люби-ит меня!

— Элен, ради Бога, замолчи!

— Естественно, я не замолчу, — отозвалась она, вновь оборачиваясь к Марку. — Почему бы мне не сообщить Хью добрую весть? Он будет рад услышать ее, сознавая, как он сам лююбит меня. А, Хью? — Она снова откинулась назад, и ее лицо вспыхнуло и засветилось от волнения. — Не хочешь?

Хью не ответил; бледный, он просто сидел и, не говоря ни слова, глядел в пол.

— Конечно же, ты хочешь, — ответила она за него. — Несмотря на то что твой вид говорит об обратном. Или даже… — она исправилась, слегка хохотнув, — несмотря на плохой вид — ведь она всегда невидима, эта твоя любовь. Да, да, мой дражайший Хью, конечно же, невидима! И все же, несмотря на весь твой вид, ты в самом деле

лю-юбишь меня, не так ли? Не так ли? — Она подчеркнула свой вопрос, вынуждая его к ответу. — Любишь?

Хью поднялся на ноги и, не говоря ни слова, почти выбежал из комнаты.

— Хью! — прокричал ему в спину Колдуэлл. — Хью!

Ответа не последовало. Колдуэлл обернулся и посмотрел на всех.

— Я думаю, нужно пойти посмотреть, все ли с ним в порядке, — сказал он с покровительственным участием издателя, который видит, как первоклассное литературное произведение вот-вот покончит с собой. — Кто знает, что он задумал. — Вскочив с кресла, он поспешил вслед за Хью. Дверь захлопнулась.

Наступило молчание. Затем Элен разразилась истерическим смехом.

— Не волнуйтесь, херр Гизебрехт, — сказала она, поворачиваясь к молодому немцу. — Это всего лишь небольшой фрагмент английской семейной жизни. *Die Familie im Wohnzimmer*[148], как мы учили в школе. *Was tut die Mutter? Die Mutter spielt Klavier. Und was tut der Vater? Der Vater*

---

[148] Примечания: 148
Семья в гостиной (*нем.*).

sitzt in einem Lehnstuhl und raucht seine Pfeife[149]. Только и всего, херр Гизебрехт, и больше ничего. Типичная буржуазная семья.

— Буржуазная? — повторил молодой человек и согласно закивал головой. — Вы сами не знаете, что вы говорите, но вы говорите правильно.

— Правда?

— Вы шертва, — медленно продолжил он, разделяя слова. — Шертва капиталистического общества. Оно полно пороков…

Элен откинула назад голову и снова расхохоталась, еще громче, чем раньше; затем, сделав усилие, чтобы сдержать себя, выдохнула:

— Не думайте, что я издеваюсь над вами. Мне кажется, вы отнеслись ко мне с любовью — чрезвычайно порядочно. И может быть, вы абсолютно нравы — насчет капиталистического общества. Только, не знаю, именно в данный момент это прозвучало достаточно…

— Простите, нам пора идти, — сказал Марк и поднялся с кресла. Молодой немец тоже встал и прошел через всю комнату по направлению к ним. — Спокойной ночи, Элен.

— Спокойной ночи, Марк. Спокойной ночи, гос-

---

[149] Примечания: 149

Что делает мать? Мать играет на пианино. А что делает отец? Отец сидит в кресле и курит сигару (*нем.*).

подин Гизебрехт. Приходите снова, непременно приходите. В следующий раз я буду вести себя лучше.

Гизебрехт улыбнулся в ответ и поклонился.

— Я приду, когда вы пожелаете, — сказал он.

Глава 22

12 декабря 1926 г.

Марк жил в неказистом доме на углу Фулхэмроуд. Темно-красный кирпич с терракотовой отделкой, а внутри линолеум с орнаментом; лоскутья красного аксминстерского ковра, обои охрового цвета, усеянные связками подсолнуха и багровыми розочками; закопченные дубовые кресла и столы, репсовые занавески и бамбуковые стояки, подпирающие синие глазированные горшки. Убогость, подумал Энтони, была настолько законченной, насколько совершенно неизбывной, что могла быть создана только специально. Видимо, Марк намеренно выбрал самый лачужный район, который только был. Чтобы наказать себя, несомненно — но почему, за какой проступок?

— Хочешь пива?

Энтони кивнул.

Марк откупорил бутылку и наполнил один стакан — сам он пить не стал.

— Ты, я вижу, все еще играешь, — сказал Энтони, указывая на открытое фортепиано.

— Немного, — пришлось сознаться Марку. — Это утешает.

Тот факт, что «Страсти по Матфею» или, например, Сонату для фортепиано с ударными написали люди, действительно внушал надежду. Можно было представить, что человечество в какое-то прекрасное время будет больше соответствовать мечтам Иоганна Себастьяна. Если бы не существовало «Хорошо темперированного клавира»[150], зачем бы вообще понадобилось устраивать революции?

— Превратить один тип обыкновенных людей в обыкновенных людей другого типа — вот и все, что может революция, и игра не стоит свеч.

Энтони воспротивился. Для социолога это была самая любопытная из всех игр.

— Чтобы посмотреть или чтобы поиграть?

— Конечно — посмотреть.

Зрелище бесконечно смешное и гротескное, никогда не повторяющееся. Но, если вглядеться, можно обнаружить однообразие во всем разнообразии, общие правила при неповторимости индивидуальных черт.

---

[150] Примечания: 150

«Страсти по Матфею» (оратория), «Хорошо темперированный клавир» — наиболее известные произведения И. С. Баха. (*Прим. перев. М. Ловина*)

— Революция для того, чтобы превратить одну человеческую общность в человеческую общность другого типа. Ты находишь это ужасным. Но это всего лишь то, ради созерцания чего я бы хотел жить долго. Теория получает проверку на практике. Выявить после катастрофической реорганизации всего те же старые правила, работающие теперь слегка по-другому, — не могу вообразить чего-либо более восхитительного. Так же, как логически вычисляется новая планета, а затем она же обнаруживается с помощью телескопа. А что касается произведения на свет новых Себастьянов. — Он пожал плечами. — Можно с тем же успехом предположить, что революция приведет к увеличению числа сиамских близнецов.

Это было основным различием между литературой и жизнью. В книгах соотношение между исключительными и обычными людьми высоко, в реальности — очень низко.

— Книги — это опиум, — сказал Марк.

— Абсолютно точно. Вот почему подвергается сомнению существование пролетарской литературы. Даже пролетарские книги рассказывают о жизни исключительных пролетариев. А исключительные пролетарии — не более пролетарии,

чем исключительные буржуа — буржуа. Жизнь настолько обыденна, что литературе приходится иметь дело с исключениями. Непомерным талантом, силой, необыкновенным общественным положением, состоянием. Поэтому божествами в книгах являются вожаки, графы и миллионеры. Люди, чья жизнь целиком подвластна обстоятельствам, — их можно искренне пожалеть, но нельзя сказать, что их жизнь слишком драматична. Драма начинается тогда, когда есть свобода выбора. А свобода выбора начинается при исключительных общественных и психологических условиях. Вот почему все, кто населяет воображаемый мир литературы, почти всегда приходят со страниц издания «Кто есть кто».

— Не думаешь ли ты в самом деле, что люди, у которых есть деньги или власть, свободны?

— По крайней мере свободнее, чем бедняки. Меньше зависят от нужды и воли других людей.

Марк покачал головой.

— Ты не знаешь моего отца, — сказал он. — Или моих отвратительных братьев.

В Балстроуде, вспомнил Энтони, от Стейтса постоянно слышалось: «Мой отец говорит…» или «Мой брат в Кембридже…»

— Целый выводок гнусных Стейтсов, — про-

должал Марк.

Он описал того Стейтса, который теперь был Командующим Рыцарем церквей Святого Михаила и Святого Георга и постоянным заместителем министра. Довольный, как Панч [151] со всем арсеналом, и кротко сознающий свои сверхзаслуги, тот поражал всех своим величием.

— Как будто существует реальная угроза потерять то, что он имеет. — Лицо Марка сделалось болезненным. — Он полагает, что он вундеркинд.

И действительно, все, даже младшие Стейтсы, мнили себя вундеркиндами. В Дели жил один представитель семейства, показывавший свое геройство на запугивании индийцев, не способных постоять за себя. Был также еще один на фондовой бирже — этот преуспевал. Преуспевал — но как? Как хитрый эксплуататор невежд, игроков и сквалыжников. А на вершине всего стоял человек и гордился своим любвеобилием, тем, что он профессиональный Дон Жуан.

(Но с какой стати он не должен позволять себе немного посмеяться? Энтони даже с помощью пива не мог себе представить такого.)

---

[151] Примечания: 151

Панч — персонаж английского народного театра кукол. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Один из мальчиков. Одна из собак. Пес среди псин — какое великолепие!

— И ты называешь их свободными? — заключил Марк. — Но как тот, кто всю жизнь карабкался, может иметь свободу? Он привязан к своей лестнице.

— Эти служебные лестницы, — возразил Энтони, — расширяются всякий раз, когда осваивается новая ступень. У подножия можно всего лишь поставить ногу на первую перекладину. На вершине ступеньки в двадцать ярдов шириной.

— Ну, может быть, это более широкая ниша, чем та, которую занимает банковский клерк, — предположил Марк. — Но для меня и этого недостаточно. Кроме того, там слишком грязно.

В каком все были гневе, когда его призвали в армию рядовым! Считали, что он подвел семью. Эти люди были не способны понять, что если и существовал выбор, то было куда порядочнее стать простым солдатом, чем кадровым лейтенантом.

— Прогнило насквозь, — сказал Марк. — У всех у них одна труха в голове. И вдобавок они не в состоянии думать о каждом индивидуально. Грязь апеллирует к дряни, и когда ответ дает не грязь, то это воспринимается как болезненный удар, как утрата.

Когда война окончилась, его отец с великим трудом выискал ему место в Сити, и не у кого-нибудь, а у Лазаря и Койта — работа ждала его к моменту демобилизации. Работа с почти немереными перспективами для молодого человека с головой на плечах и энергией — словом, это была находка как раз для Стейтса. Состояние в виде пятизначной суммы к полувековому юбилею, не скупился на посулы отец, словно декламируя, и был искренне опечален, разгневан и смертельно оскорблен, когда узнал, что Марк отказывается принять это.

— Бедный старикан возмущался: почему, почему? И он не мог понять того, что место было слишком хорошим для меня. Непорядочно хорошим! Неблагородно хорошим. У него просто не укладывалось это в голове. В соответствии с его идеями я должен был броситься туда очертя голову, подобно тому, как все гадаренские свиньи дружно бросились в пропасть. Вместо этого я вернул ему его коровью лепешку и отправился в Мексику присматривать за кофейными плантациями фирмы «Финка».

— И что ты знал тогда о кофе?

— Естественно, ничего. У этой работы была одна положительная сторона. — Марк улыбнулся. —

Когда я уже что-то понимал в деле, я вернулся, чтобы прозондировать, как все обстоит здесь.

— И как все обстояло?

Стейтс пожал плечами.

— Только Бог знал об этом. Один вступил в партию, другой распространял запретную литературу, третий финансировал пресс-группы от доходов с продажи искусственных гвоздик, четвертый выступал с публичными речами и писал статьи. И, видимо, от всех моих друзей не было никакой пользы. А может быть, наоборот, в один прекрасный день пришел бы успех…

— И что потом? — спросил Энтони.

— Вот это уже другой вопрос. Сначала все хорошо. Революция прекрасна на начальных стадиях. Тогда, когда главной задачей является нейтрализация тех, кто наверху. Но впоследствии, когда это увенчалось успехом, что дальше? Больше беспроволочной связи, шоколада, роскошных будуаров и девочек с более надежными презервативами. — Он покачал головой. — В тот момент, когда мы даем людям возможность превратиться в свиней, они становятся ими и благодарят нас. Та свобода, о которой ты только что говорил, свобода на самом верху общественной лестницы, есть всего лишь право на свиноподобие или же

на снобоподобие, становление самодовольным фарисеем, как мой отец. Или и тем, и другим одновременно, как мой дражайший братец. Свинья и сноб одновременно. В России людям не дают шанса превращаться в свиней. Обстоятельства вынудили их быть аскетами. Но представь, что их экономика превзойдет все ожидаемые результаты, представь, что со временем они придут к процветанию — что спасет их от сытости и мещанства? Миллионы, десятки миллионов обыкновенных свинообразных мещан, управляемых привилегированным меньшинством целеустремленных Стейтсов.

Энтони улыбнулся:

— Новая фаза игры, идущей по старым, неизменным правилам.

— Я ужасно боюсь, что ты прав, — сказал Стейтс. — Конечно же, это правоверный марксизм. Поведение и стереотип мышления определяются факторами экономики. Усвой образ жизни мещанина Бэббита [152], и тебе непременно захочется усвоить его манеры и привычки. Господи! — Он поднялся, подошел к фортепиа-

[152] Примечания: 152

Бэббит — герой одноименного романа американского писателя Синклера Льюиса (1885–1951), символизирующий мещанина. (*Прим. перев. М. Ловина*)

но, придвинул табурет и сел на него. — Давай попытаемся исторгнуть тот вкус изо рта. — Он положил крупные костлявые пальцы на клавиатуру, замер на мгновение и заиграл токкату и фугу ре мажор Баха. Они оказались в совершенно ином пространстве, в мире, где не было ни Бэббитов, ни Стейтсов.

Марк играл всего лишь минуту или две, когда дверь отворилась и в комнату вошла пожилая женщина, худощавая, с лошадиным лицом, в коричневом шелковом платье и таком же коричневом боа вокруг шеи. Она прошла на цыпочках, играя изящную пантомиму, само олицетворение молчания, хотя в это же время слышался невообразимо громкий и разнообразный набор шумов, мешавший отдаться музыке — скрипели боты, шебуршал шелк, звенели стеклянные ожерелья, серебряные украшения, подвешенные на тонких цепочках вокруг талии. Марк продолжал играть, не поворачивая головы. В смущении Энтони встал на ноги и поклонился. Похожая на лошадь женщина сделала ему жест, чтобы он сел, и осторожно, протяжно фыркнув носом, плюхнулась на диван.

— Бесподобно! — воскликнула она, когда был исполнен финальный аккорд. — Сыграй что-ни-

будь еще, Марк.

Но Марк поднялся, качая головой.

— Я хотел бы представить тебя мисс Пендл, — сказал он, обращаясь к Энтони и в то же время к пожилой даме. — Энтони Бивис учился вместе со мной в Балстроуде, — объяснил он.

Энтони пожал протянутую руку. Она улыбнулась в ответ. Зубы, среди которых были искусственные и плохо сидящие, сияли невероятно ярким и белым блеском.

— Так вы были его соучеником в Балстроуде? — воскликнула она. — Необыкновенно!

— Необыкновенно то, что мы до сих пор еще общаемся? — спросил Марк.

— Нет, нет, — ответила мисс Пендл и с игривостью, которую Энтони счел определенно мерзкой, легко шлепнула его по плечу. — Ты точно знаешь, что я имею в виду. Он всегда был таким, мистер Бивис, даже будучи ребенком, помнишь?

Энтони всего-навсего кивнул в знак согласия.

— Таким язвительным и саркастичным! Даже до того, как вы познакомились с ним в Балстроуде. Кошмар-рно! — Она сверкнула своими искусственными зубами в сторону Марка с каким-то любовно-издевательским неприятием. — Он был моим первым учеником, знаете ли, — продолжа-

ла она, пускаясь на откровенности. — А я была первой его учительницей.

Энтони вежливо поднялся, услышав это.

— Дайте же я поздравлю Марка, — сказал он, — и выражу вам мои соболезнования.

Мисс Пендл взглянула на Марка.

— Вы думаете, я нуждаюсь в ваших соболезнованиях? — спросила она почти лукаво, как молоденькая девушка, кокетливо напрашиваясь на комплимент.

Марк не ответил, только улыбнулся и пожал плечами.

— Я пойду сделаю чай, — сказал он. — Вы ведь будете чай, Пенни?

Мисс Пендл кивнула, и он поднялся и вышел из комнаты.

Энтони в стесненной задумчивости решал, что ему следует сказать этой чересчур человечной старой метле, когда мисс Пендл повернулась к нему лицом.

— Он ведь восхитителен, Марк Стейтс, просто восхитителен. — Фальшивые зубы блеснули, слова были произнесены несдержанно, с внезапной нелошадиной страстностью. Энтони почувствовал, что корчится от отупения и горечи во рту. — Никто не знает, насколько он

добр, — продолжала она. — Он не любит, когда об этом говорят, но я не возражаю — я хочу, чтобы люди знали. — Она кивнула с такой страстностью, что бусины ее ожерелья затрещали. — Я слегла больной в прошлом году, — продолжала она. Ее сбережения исчерпались, и она не могла найти другую работу. В отчаянии она написала нескольким старым работодателям, в том числе сэру Марку Стейтсу. — Сэр Марк выслал мне пять фунтов, — сказала она. — Это смогло поддержать меня на какое-то время. Затем мне пришлось снова писать. Он сказал, что больше не в силах сделать ничего. Но он упомянул об этом деле при Марке. И что бы вы думали сделал Марк? — Она в молчании посмотрела на Энтони, лошадь преобразилась, лицо мисс Пендл выразило нежность и триумф, а в ее карих глазах с покрасневшими веками стояли слезы.

— Что он сделал?

— Он пришел ко мне туда, где я остановилась, — у меня была комната в Кэмберуэлле — пришел и забрал меня с собой. Я прямо моментально упаковала вещи и приехала сюда. С тех пор я служу у него экономкой. Что вы об этом думаете, мистер Бивис? — спросила она.

Энтони не знал, что он должен об этом думать,

но мимоходом не преминул заметить, что это был превосходный поступок.

— Превосходный, — одобрительно повторила лошадь. — Это как раз то, что есть на самом деле. Только вы не говорите ему, что это я вам сказала. Он до смерти рассердится на меня. Он ведет себя в точности так, как в том месте из Евангелия — левая рука не знает, что делает правая. Вот какой он. — Она в последний раз вытерла глаза и высморкалась. — Ну вот, я слышу, как он идет, — проговорила она и, до того как Энтони успел вмешаться, вскочила, ринулась через всю комнату в шелестящей и грохочущей буре и открыла дверь. Марк вошел с подносом, на котором громоздились чайные принадлежности и тарелка разносортного печенья.

Мисс Пендл — воплощенная скромность — заявила, что не должна ничего есть в это время ночи, но тем не менее взяла круглое печенье с розовой сахарной глазурью.

— Ну теперь расскажите мне, каким учеником был мастер Марк в Балстроуде, — сказала она в своей игривой манере. — Ручаюсь, что изрядным шалопаем! — Она вонзилась зубами в печенье.

— Он сильно меня задирал, — произнес Энтони.

Мисс Пендл чуть не подавилась от смеха.

— Ах ты разбойник, — бросила она Марку, и затем ее челюсти заработали с удвоенной силой.

— Будучи прекрасным футболистом, он имел право задираться.

— Так ты был капитаном команды, Марк?

— Я не помню, — ответил Марк.

— Он не помнит! — отозвалась мисс Пендл, победоносно глядя на Энтони. — Весьма характерно для него. Он забыл. — Она угостилась еще одним печеньем, раздвинув обыкновенные и выбрав то, которое с глазурью, и снова начала от него отщипывать с сильной и сосредоточенной страстностью тех, чьим единственным чувственным удовольствием было удовольствие от поглощения пищи.

Когда она отошла ко сну, приятели сели к огню. Наступило долгое молчание.

— Она довольно трогательна, — наконец произнес Энтони.

Несколько секунд Марк воздерживался от комментария.

Затем проронил сквозь зубы:

— Пожалуй, слишком трогательна.

Энтони взглянул ему в лицо и увидел, что в уголках его рта притаилась сардоническая

усмешка. Снова наступила пауза. Часы, поддерживаемые драпированными нимфами из позолоченной бронзы, тикали из своего угла среди фигурок, напоминавших дрезденские, которыми была уставлена полка над камином. Намеренно уродливые, сказал себе Энтони, когда его взгляд рассмотрел в деталях каждый предмет издевательства над хорошим вкусом. И бедная старая лошадь, видимо, была самой большой и самой чудовищной из всех безделушек.

— Я удивлен, — сказал Энтони вслух, — что ты не носишь власяницу. Или, может быть, носишь? — добавил он.

Глава 23

1 июня 1934 г.

Сегодня вечером на ужине у Марка я видел Элен — в первый раз со времени моего возвращения из Америки.

Заметьте, как много может значить лицо. Лицо может быть символом сути человека, на подробное описание которой могут уйти многочисленные тома. Огромная сумма фактов, коей является личность, которую символизирует лицо, — чувства и мысли, хранящиеся в памяти ощущения, впечатления, суждения, опыты — все это отражается на лице вместе и одновременно, становится постижимым с первого взгляда. Войдя в ресторан, она предстала как видение, представляющееся глазам утопающего, — вся жизнь в один неуловимый миг. Бесполезная, дурная, никуда не годная жизнь. Весь вид Элен выражал одно огромное сожаление — о неверных решениях и безвозвратно упущенных возможностях. Это печальное лицо было не только выражением и символом, косвенно обозначающим мою историю, оно было и ее, Элен, непосредственной

эмблемой, обозначением ее истории, истории, за горечь и печаль которой я несу свою частицу ответственности. Если бы я воспринял ту любовь, которую она хотела отдать мне, если бы я огласился любить (ведь я мог полюбить) в ответ… Но я предпочел остаться свободным ради моего труда — другими словами, остаться порабощенным в мире, в котором отсутствовала свобода ради развлечения. Я настаивал на чувственности без всякой ответственности, а не на любви. Иначе говоря, настаивал на том, чтобы она была всецело средством моего физического удовлетворения и, в свою очередь, конечно же, чтобы и я стал для нее таким же средством.

Любопытно, каким незначительным кажется то, что в свое время люди физически были когда-то любовниками. Не это определяет ее безразличие и мои чувства. У Ларошфуко есть максима о том, что женщины забывают добро, оказанное им предыдущим любовником. Мне нравилась эта мысль, потому что я сам был циником, но в действительности это лишь голая констатация того факта, что то, что считается неважным, то есть чувственность, и на самом деле не является важным. Физическое желание, как мне кажется, едва ли вписывается в нынеш-

ний склад моих мыслей, чувств и воспоминаний. Несмотря на тот факт, что у меня есть воспоминания о сильном и полном удовлетворении. Удивителен размах, который обрела эротика, став сутью, основываясь на которой делают выбор и определяют приоритеты. Теперь я мало думаю об эротике, но очень легко бы смог, если бы захотел. Попытайтесь рассмотреть отдельную личность потенциально с точки зрения получения или отдачи ею удовольствия, сфокусируйте внимание на чувственном удовольствии — эротика станет чрезвычайно важной, и по этим каналам будет передаваться колоссальный объем энергии. Изберите другую концепцию личности, иной фокусный план: энергия будет литься отовсюду, и эротика покажется относительно неважной.

Провел добрую часть вечера в споре о мире и социальной справедливости. Марк заявил с саркастическим несогласием Миллера и моего нового воплощения Иисуса: «Если свиньи захотят выпустить друг другу кишки, пускай. Им просто-напросто нельзя будет помешать. Свиньи останутся свиньями». — «Но могут возобладать человеческие качества, — настаивал я. — Homo

поп nascitur, fit[153]. Или, скорее, делай себя из уже готовых элементов и врожденных человеческих резервов».

Элен была воплощенным коммунистическим аргументом — нет мира или социальной справедливости без предварительной «ликвидации» капиталистов, либералов и иже с ними. Как будто можно достичь мира и справедливости путем использования насильственных и нечестных средств. Средства ведут к предполагаемой цели и определяют ее. Средства в корне отличаются от предлагаемых целей и достигают целей, подобных себе. Насилие и война приведут к миру и к социальной организации, способным породить гораздо большее насилие и войну. Война за прекращение войны окончилась, как обычно, взрывоопасным миром; революция привела к победе коммунизма в стране, где есть устоявшаяся иерархия, где управляет меньшинство с помощью полицейских методов *a la* Меттерних[154], Гитлер и Муссолини и где сила, подавляющая

[153] Примечания: 153

Зд.: Человек нерожденный, родись (*лат.*).

[154] Примечания: 154

Меттерних (Меттерних-Виннебург), Клеменс (1773–1850) — князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809–1821 гг., канцлер в 1821–1848 гг., один из организаторов Священного союза. (*Прим. перев. М. Ловина*)

во имя права быть богатым, заменяется силой, подавляющей во имя права быть членом олигархии. Мир и социальная справедливость всегда достижимы лишь честными и миролюбивыми средствами. И люди будут вести себя честно и мирно, только если они приучили себя к этому как личности, даже в обстоятельствах, когда легче было бы вести себя агрессивно и бесчестно. А выучка должна быть одновременно физическая и умственная. Знания, как использовать себя и как могут тебя использовать. Идеалами Марка были Лойола[155] и Сэндоу.

Усадив Марка в кеб, мы с Элен прошлись по ночному Лондону от Сохо до Челси . Ночь была прекрасной. Театры закрывались. Настроение Элен внезапно улучшилось от злобного до крайне восторженного. Она делала звенящим голосом замечания о прохожих, словно мы были в зоопарке. В смущении, но забавна и остра, когда она указывала на богатых молодых людей в цилиндрах, пытавшихся подогнать свою внешность к внешности аристократа де Решке или открывавших и закрывавших портсигары в стиле Джеральда дю Морье, на женщин, желавших выглядеть,

[155] Примечания: 155

Лойола, Игнатий (1491?-1556) — итальянский богослов, основатель ордена иезуитов. (*Прим. перев. М. Ловина*)

как Мода, или дорогие рекламы зимних круизов или шуб, с головой по ветру и ресницами, надменно опущенными, или как обольстительницы с экрана с выпяченными животами, словно ожидающими рождения близнецов. Жалкие образцы, которым подражают люди. Раньше в мире существовало подражание Христу — теперь подражание Голливуду.

Толпа постепенно рассеялась, и Элен примолкла. Затем она спросила, счастлив ли я. Я ответил «да», хоть и не знал, является ли счастье правильным словом. Я стал более основательным, более совершенным, обрел интересы и осознание происходящего. Если я и не счастлив непосредственно, то, по крайней мере, имею гораздо более сильные стимулы к счастью. Снова помолчали. Затем она сказала: «Я думала, что никогда снова не увижу тебя из-за той собаки. Потом появился Экки, и собака отошла на второй план. И теперь, когда нет и его, не важным стал он сам. По другой причине. Мне давно ясно, что по сути своей не важно все. За исключением коммунизма». Но это было вторично — некое выражение пиетета, продиктованное силой привычки. Я сказал, что наши цели совпадали, а средства оказывались разными. Для нее цель оправдывает средства,

для меня средства — цель. Может быть, сказал я, в один прекрасный день она поймет значимость средств.

3 июня 1934 г.

На сегодняшнем уроке у Миллера я внезапно почувствовал продвижение вперед в овладении теорией и практикой его метода. Чтобы освоить правильное самоиспользование, нужно раз и навсегда закрыть все неправильные. Отказаться от поспешного стремления к цели субъектом (в психофизиологических терминах) насильственной революции; пресечь эту тенденцию, сконцентрироваться на средствах, которые ведут к цели, затем действовать. Этот процесс влечет за собой то, что впоследствии можно разбираться в полезном и вредном саморасходовании — познать это все по отдельности. Посредством чутья. Повышенной осведомленности и мощности результата контроля. Компетентность и контроль: то, что прежде считалось тривиальным, ныне приобрело новую значимость. Отныне ничто нельзя будет признать мелким и незначительным. Чистка зубов, процесс надевания ботинок — все это нивелируется из-за отсутствия доброй привычки. Осознайте, остановитесь, прекра-

тите быть ненасытным преследователем цели, сосредоточьтесь на средстве: утомительное несуществование превратится в невыразимо интересную реальность. В последней книге Эванса-Венца о Тибете[156] я нашел среди заветов гуру предписание: «Постоянно сохраняйте легкость мыслей, когда гуляете, сидите, едите, спите». Это предписание, как и все прочие предписания, сопровождается указанием правильного его соблюдения. Вот и здесь практическая инструкция сопровождает наказ; людей пытаются научить, как достичь осмысленности жизни. И не только этому. Вдобавок как правильно себя вести, как действовать так, чтобы все понимать. Но и это еще не все. Компетентность и сила контроля допускают замену. Умение достигается познанием главной функции умственной мускулатуры — того, как она помогает при исследовании других ее функций. Существует все увеличивающаяся возможность выявить мотивы человека при определенном поведенческом акте для того, чтобы правильно оценить характер чувства и истинную значимость мысли. Человек также более

[156] Примечания: 156

Эванс, Артур Джон (1851–1941) — английский археолог, исследовавший минойскую культуру на острове Крит. Один из авторов книги, которую упоминает Энтони. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ясно и точно отдает себе отчет в том, что происходит в окружающем мире, и суждение, связанное с нарастанием сознания, исправляется. Контроль тоже может трансформироваться. Овладейте искусством пресечения неправильного мышечного движения, и вы научитесь пресекать более сложные поведенческие процессы. И вдобавок лучше предотвратить болезнь, чем ее излечивать. При условии надлежащего баланса многие опасности, связанные с нежелательным поведением, просто не возникнут. Наступит, например, конец невротическим расстройствам и депрессиям, независимо от их этиологии. Заметьте — многие детские и подростковые болезни ужасны, но только у некоторых развиваются серьезные неврозы. А именно у тех, чье самоиспользование отличается слабостью. Они поддаются в силу слабой сопротивляемости. На практике невроз всегда связан с одним из видов неправильного самоиспользования. Возьмите, к примеру, шатающуюся походку невротиков и сомнамбул. Они часто прогибаются назад, напрягают мышцы и низко опускают голову. Нужно научить их ходить заново. Привить им нормы правильного самоиспользования. Вы удаляете краеугольный камень, на котором зиждется невроз. Неврозу

приходит конец. Вместо него закладываются основы здоровой личности с нормальным самоиспользованием. Но нормальное физическое использование влечет за собой (поскольку разум тела неразделим нигде, кроме как в мыслях) изменения в складе мыслей. Большинство из нас страдают от легких неврозов. Но даже легкий невроз может вызвать нескончаемый поток злобы и нытья. Обучение правильному самоиспользованию освобождает от неврозов и, следовательно, от срывов в поведении. Следовательно, этика предотвращения мыслится как направленная на нужды личности. Социальные и экономические реформы проводятся с целью уничтожить возможность срывов в поведении. Это крайне важно, но не вполне достаточно. Вера в то, что этого достаточно, делает концепцию социальных преобразований бессмысленной. Осознание того, что она бессмысленна, всегда доставляло мне удовольствие. Заколки и до предела надутые шары — наиболее приятные из всех развлечений. Правда, они слегка детские и по прошествии времени надоедают. И все же как отрадно обнаружить, что, кажется, есть возможность придать смысл бессмыслице. Способ достижения прогресса изнутри — так же, как и извне. Прогресс не только граж-

данственный, направленный на уничтожение или благоиспользование машин, но и на защиту человека. Предотвращение само по себе хорошо, но оно не может исключить необходимость лечения. Сила исцеления от поведенческих срывов кажется чрезвычайно похожей на силу исцеления плохой координации движений. Этому последнему можно научиться также в ходе обучения правильному самоиспользованию. Имеет место переход. Сила сдерживания и контроля. Становится легче подавлять нежелательные импульсы. Легче следовать или просто видеть и брать на вооружение лучшее. Легче внедрять на практике добрые намерения, быть терпеливыми, уравновешенными, добрыми, нежадными и целомудренными.

Глава 24

23 июня и 5 июля 1927 г.

Она не могла себе этого позволить; впрочем, дело было даже не в этом. Миссис Эмберли привыкла делать вещи, которые были ей не по карману. В реальности все было очень просто; нужно было всего лишь продать небольшую часть военного займа, и все бы этим кончилось. Тут бы было и турне по Италии на мотоцикле, и обнаженные натуры Пуссена, и счет в банке Фортнама и Мейсона [157]. И в конце концов она бы оказалась в Беркшире, в невыразимо прекрасном маленьком домике, пахнувшем всякой всячиной, где на газоне высятся липовые деревья, а позади дома открываются бескрайние низины и гладь зеленых лугов под синим небом. Она не могла себе этого позволить; но это было так прекрасно, так великолепно. И вдобавок что значили полтораста фунтов военного займа? Сколько они приносили ей процентов? Около пя-

[157] Примечания: 157

Банк Фортнама и Мейсона — один из самых крупных английских банков двадцатых годов. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ти фунтов в год после уплаты налогов. А что такое пять фунтов в год? Ничто. Совершенное ничто. И кроме того, Джерри собирался заново вложить деньги для нее. Ее капитал мог уменьшиться, но ее доход через некоторое время все равно начнет расти. В следующем году она уже сможет это себе позволить, и поэтому в предвкушении того счастливого времени она сидела под липовыми деревьями на газоне в окружении гостей.

Опершись на локоть, Элен лежала на коврике за спинкой стула, на котором сидела ее мать. Она не обращала внимания на то, о чем говорили. Природа была так несказанно прекрасна, что было невозможно слушать, что там разглагольствовал старина Энтони о роли машин в истории, — единственное, что можно было делать в таких райских условиях, это играть с котенком. Самым любимым занятием котенка, как она обнаружила, была игра на коврике. Нужно заложить веточку под угол коврика, очень медленно, пока конец не вылезет с другой стороны, словно голова какого-то животного осторожно выглядывает из своей норы. Чуть-чуть, чтобы возбудить подозрение, и затем легким движением убрать. Словно животное испугалось и залезло вновь в укрытие. Затем, набравшись мужества,

вылезло снова, обнюхало носом все справа и слева от травяных стеблей и ретировалось, чтобы спокойно закончить трапезу под ковром. Прошли долгие секунды, и внезапно оно выскочило наружу как чертик из табакерки, как будто пыталось заранее предвосхитить любую опасность и моментально уходило назад. Затем снова, колеблясь и не решаясь, вынуждаемое всего лишь жестокой необходимостью, оно открыто рвалось навстречу смерти, предчувствуя свою печальную участь. Все это время полосатый котенок следил за движением прутика с неослабевающей и слепой свирепостью. Каждый раз, когда прут скрывался под ковриком, он подползал, не зная меры предосторожностям, на несколько дюймов. Ближе, ближе, и наконец наступал момент, когда он подкрадывался, чтобы сделать последний, решающий прыжок. Зеленые глаза смотрели с бессмысленной злобой, маленькое тельце было настолько заряжено тигриной целеустремленностью, что не только хвост, но и задние лапы тряслись от эмоционального напряжения. Тем временем над головой под слабым ветерком шелестели липовые деревья, круглые блики яркого света беспокойно скользили по траве из стороны в сторону. На другом конце лужайки травяные

бордюры сверкали на солнце, словно охваченные огнем, а между ними простирались впадины, как огромные животные, крепко спящие, и темно-синие тени облаков ласкали их бока. Все было настолько прекрасным, настолько божественным, что Элен то и дело не выдерживала, роняла веточку и брала на руки котенка, терлась щекой об его шелковистую шерстъ и шептала нечленораздельные слова на птичьем языке, держа его так, что его лапы нелепо болтались у нее перед лицом, а их носы почти соприкасались, и вглядывалась в его ярко горящие зеленые глаза, пока наконец маленькое беззащитное животное не начинало мяукать так жалобно, что ей приходилось отпускать его.

— Бедный крошка! — замурлыкала она, словно каясь. — Разве я мучила его? — Но мучение послужило цели; болезненный избыток ее счастья переполнился, как всегда, и принес ей спокойствие, так что божественная красота окружающей природы снова была ненарушимой. Она подняла с земли веточку. Все простив, ибо он успел уже все позабыть, котенок начал игру с удвоенной энергией.

Звяканье велосипедного звонка заставило ее поднять глаза. Приближался почтальон, разво-

зивший дневную почту. Элен вскочила на ноги и, взяв в руки котенка, быстро и, как она надеялась, незаметно подошла к дому. У двери ей повстречалась горничная с подносом, на котором лежали письма. Ей предназначались два. Первое, которое она распечатала, было от Джойс, из Олдершота. Она не могла не улыбнуться, когда прочла адрес сверху письма. «Джойс теперь живет в О-Олдершоте», — говаривала ее мать, протягивая первый слог названия с характерным глухим акцентом, слегка шокированным и недоверчивым тоном, как будто было действительно немыслимо то, что любая из ее дочерей могла оказаться в подобном месте. «В О-Олдершоте, моя дорогая». И ей удалось придать этому военному пригороду волшебную неизведанность Тибета, ужас и отдаленность либерийского мрака. «Живет в О-Олдершоте — как мемсаиб [158]».

По-прежнему улыбаясь, Элен начала читать:

> «Всего пару строчек для того, чтобы поблагодарить тебя за твое восхитительное письмо. Я серьезно обеспокоена тем, что мама, как ты говоришь, принимает слиш-

[158] Примечания: 158

Мемсаиб — жена европейского поселенца в Индии, преимущественно англичанина или португальца. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ком большие дозы снотворного. Это не доведет ее до добра. Колин думает, что ей нужно больше заниматься физкультурой. Может быть, было бы лучше, если бы она опробовала верховую езду. Я с недавнего времени беру уроки верховой езды, и это безумно приятно, когда умеешь ездить. Мы сейчас довольно неплохо устроены, ты и представить себе не можешь, как великолепно выглядит наш маленький домик. Колин и я работали как негры, чтобы добиться этого, и я должна сказать, что результаты оправдывают все наши беспокойства. Мне пришлось заплатить за множество визитов, которые нас ужасно нервировали, но все обходились со мной очень хорошо, и теперь я чувствую себя чрезвычайно уютно. Колин шлет тебе свои поцелуи.

Всегда твоя Джойс».

* * *

Другое письмо — и именно из-за него она бросилась навстречу почтальону — было от Хью Ледвиджа. Если бы письма были принесены мис-

сис Эмберли на лужайку, если бы она рассмотрела их при всех… Элен вспыхнула от воображаемого стыда и гнева при мысли о том, что ее мать могла бы сказать об этом письме от Хью. Несмотря на то что вокруг сидело много народу или даже как раз поэтому. Когда они оставались одни, Элен обычно произносила какое-нибудь дразнящее словечко. Но в присутствии всех остальных миссис Эмберли получила бы вдохновение от публики и ударилась бы в какое-нибудь изысканное описание или комментарий. «Хью и Элен, — стала бы объяснять она, — некая смесь между Сократом и Алкивиадами и Дон Кихотом с Дульцинеей». — Бывали моменты, когда она ненавидела свою мать. «Это тот случай, — говорил хорошо знакомый голос, — случай, когда «Я бы любила тебя, мой дорогой, сильнее, не люби я так сильно этнологию». Элен пришлось немало выстрадать из-за этих писем.

Она разорвала конверт.

22 июня 1927 г.

«Элен, сегодня хороший летний день. Я думаю, ты слишком молода, чтобы задумываться о значении отдельных дней. Ты живешь на этой земле всего около семи

тысяч дней, а человеку нужно прожить на ней по крайней мере десять тысяч, чтобы начать осознавать, что жизнь не бесконечна и с днями нельзя поступать как попало. Я существую на свете уже больше, чем тринадцать тысяч дней, и уже виден конец — безграничные возможности сильно сузились. Нужно шить костюм в зависимости от количества сукна, а сукна не просто мало, но оно еще и постоянно рвется. Когда ты молода, тебе кажется, что можно выкроить время и сделать себе всевозможные роскошные наряды — кивера, ризы да докторские мантии, трико Нижинского [159] и брюки грифельного цвета, которые носил Рембо , или же алую рубаху Гарибальди [160]. Когда число твоих дней подойдет к десяти тысячам, ты начнешь понимать, что будешь счастлива, если тебе удастся скроить один приличный рабочий костюм,

[159] Примечания: 159

Нижинский, Вацлав Фомич (1889–1950) — русский танцовщик, эмигрировал из России. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[160] Примечания: 160

Гарибальди, Джузеппе (1807–1882) — народный герой Италии, сражался добровольцем в других странах. (*Прим. перев. М. Ловина*)

который был бы всегда в твоем распоряжении. Это гнетущее осознание, а летний день — один из немногих, который способен тебя успокоить. Самый долгий день. Один из шестидесяти — семидесяти самых длинных дней из отпущенных нам двадцати пяти тысяч. А что я сделал с этим самым долгим днем — одним из самых обыденных, самых заурядных? Перечень моих занятий унизительно нелеп и бессодержателен. Единственное, делающее мне честь и в глубоком смысле этого слова разумное дело, которое я сделал, это недолгое размышление о тебе, Элен, и это письмо…»

— Что-нибудь интересное в письмах? — спросила миссис Эмберли, когда ее дочь снова вышла из дома.

— Только записка от Джойс.

— От нашей мемсаиб?

Элен кивнула.

— Она живет в О-Олдершоте, ну, вы знаете, — объявила Мери Эмберли собравшейся компании. — В О-Олдершоте, — повторила она, протянув первый слог так, что место стало сме-

хотворно нереальным, а факт проживания в нем Джойс превратился в фантастический и почти неприличный миф.

— Можешь благодарить звезды за то, что ты не живешь в О-Олдершоте, — сказал Энтони. — В конце концов, это ты должна была там оказаться как генеральская дочь.

В самый первый момент тот факт, что он перебил ее, заставил Мери сделать паузу, она уже пыталась развить свои фантастические вариации на тему Олдершота. Но хорошее настроение вернулось к ней, когда она осознала, насколько большую возможность он предоставил ей.

— Да, я знаю! — нетерпеливо вскричала она. — Генеральская дочь. Но ты понимаешь, что по милости Божьей я могла бы сейчас быть полковничьей женой? Я была на волосок от выхода замуж за военного. На волосок, говорю я тебе. За восхитительно прекрасного человека. Но мамонта. — Она потерла лоб. — Абсолютного мамонта. Еще хорошо, что он оказался таким непробиваемым занудой. Будь он хоть на миллиметр привлекательнее, я бы бежала с ним в Индию. И что потом? Это невообразимо.

— Невообразимо! — повторил Беппо с легким смешком.

— Отнюдь, — сказал Энтони. — Прекрасно вообразимо. Каждый вечер клуб от шести до девяти, вечеринки в доме правительства, адюльтер в жаркую погоду и поло в прохладную, непрестанная возня с индийскими слугами, постоянные денежные затруднения и домашние сцены, время от времени эпидемии малярии и дизентерии, ежемесячная связка подержанных романов из Книжного клуба, газета «Таймс» и все время неминуемое приближение старости — в два раза быстрее, чем в Англии. Если вы когда-нибудь были в Индии, ничего проще вообразить нельзя.

— И ты думаешь, все это постигло бы меня? — спросила Мери.

— А что еще могло случиться? Не думаешь же ты, что тебе пришлось бы ходить и покупать в Кветте[161] натуры Пуссена?

Мери рассмеялась.

— Или читать Макса Джейкоба в Равалпинди[162]? Ты стала бы такой же мемсаиб, как и все остальные мемсаиб. Может быть, еще более замученной и недовольной, чем большинство из

---

[161] Примечания: 161

Кветта — город в Пакистане. (Прим. перев. М. Ловина)

[162] Примечания: 162

Равалпинди — город в северной части Пакистана, в то время входивший в состав Индийского доминиона. (*Прим. перев. М. Ловина*)

них. Но все же мемсаиб.

— Пожалуй, что так, — согласилась она. — Но неужели человек находится целиком в распоряжении обстоятельств?

Он кивнул.

— И ты думаешь, я бы не спаслась?

— Не вижу, каким способом.

— Но это значит, что такого человека, как Я, просто нет. Я, — повторила она, положив руку на грудь. — Я не существую в реальности.

— Конечно же, не существуешь. В абсолютном смысле этого высказывания. Ты химическое вещество, а не живое существо.

— Но если человек реально не существует, удивительно, почему… — Она замялась.

— Зачем поднимать вокруг этого такую суматоху? — внес предложение Энтони. — Выть, кричать «ура» и скрежетать зубами. Вокруг приключений человека, лишенного самости вследствие ряда случайностей. И, несомненно, — продолжал он, — если ты начала интересоваться, ты рано или поздно поймешь, что нет причины поднимать такую шумиху — если ты обладаешь здравым смыслом. Как и я, — добавил он с улыбкой.

Наступило молчание. «Ты не поднимаешь шу-

ма, — подумала про себя миссис Эмберли, имея в виду Джерри Уотчета. — Не поднимаешь шума. Но как было возможно не поднимать шума, если он так глуп, так эгоистичен, так звероподобен и в то же время так дьявольски привлекателен — как вода в пустыне, как сон в пору бессонницы?» Она ненавидела его, но мысль, что через несколько дней он будет здесь, останется дома и заставит ее испытывать колкое ощущение по всему телу, преследовала ее. Она закрыла глаза и глубоко вдохнула.

Все еще держа в руках котенка, как ребенка, покрытого мехом, Элен покинула лужайку. Она хотела побыть в одиночестве, вне пределов слышимости смеха, звенящих и беспомощных голосов. «Семь тысяч дней», — повторяла она снова и снова. И не только клонившееся к закату солнце делало картину величественно и узорчато прекрасной, но и раздумье о минувших днях, человеческих слабостях, о конечном неминуемом разуверении. «Семь тысяч дней, — произнесла она вслух, — семь тысяч дней». Слезы потекли у нее по лицу, и она еще сильнее прижала к груди спящего котенка.

Севернейк, Уайт-Хорс, Оксфорд, и между ними рев и вой «бугатти» Джерри Уотчета, порывы

ветра, уклонения и падения, тошнотворное, но в то же время приятное ощущение ужаса от головокружительной скорости. И вот они уже вернулись назад. Казалось, прошло столетие, и одновременно — будто они никуда не уезжали. Машина сделала остановку, но Элен и не пошевельнулась, чтобы выйти.

— В чем дело? — спросил Джерри. — Почему ты не выходишь?

— Кажется, будто наступил страшный конец, — произнесла она со вздохом. — Словно разрушились чары. Или я вышла из магического круга.

— Магического? — вопросительно повторил он. — Это какой магии? Черной или белой?

— Пегой. — Элен рассмеялась. — Совершенно прекрасной и совершенно ужасной. Знаешь, Джерри, за то, как ты водишь, тебя нужно упрятать за решетку. Или в сумасшедший дом. Безумец и преступник. Но я обожаю такую езду, — добавила она, открывая дверцу и выходя из машины.

— Хорошо! — только и ответил он, награждая ее улыбкой, которая была подчеркнуто бесстрастной. Он нажал на газ, и автомобиль, выдохнув облако горелого масла, завернул за угол дома к гаражу.

«Восхитительна!» — думал он. И как он мудро поступил, когда взял ее в эту частную прогулку под своим покровительством. Хитрая приманка. Создал все условия для игры. Скоро она будет есть из его рук. Настоящей бедой, конечно же, была Мери. «Надоедливая сучка!» — подумал он с внезапным приступом ненависти. Ревнивая, подозрительная, назойливая. Вела себя так, будто он ее частная собственность. И вдобавок жадная и ненасытная. Все время бросалась на него — бросалась своим стареющим телом. Его лицо, когда он заводил автомобиль в гараж, сморщилось от презрения.

Не утруждая себя снятием пальто, полностью забыв о болезни своей матери и на секунду вообще о ее существовании, Элен прошла через прихожую и почти бегом ворвалась в кухню.

— Где Томпи, миссис Уикс? — потребовала она ответа у кухарки. Действие солнечного света, деревни и «Бугатти» Джерри таково, что ей сейчас обязательно был нужен котенок. Немедленно. — Мне нужен Томпи, — настаивала она. И тут же извинилась и объяснила: — У меня не было времени увидеть его сегодня утром. — Мы собирались в спешке.

— Кажется, Томпи неважно себя чувствует,

мисс Элен. — Миссис Уикс отложила в сторону шитье.

— Неважно?

— Я положила его здесь, — продолжала миссис Уикс, поднимаясь с виндзорского кресла и указывая на дверь в буфетную. — Здесь прохладнее. Видимо, это реакция на жару. У него словно лихорадка. Не знаю даже, что с ним случилось, — заключила она тоном наполовину жалобным, наполовину сочувственным. Она сострадала Томпи. Но еще более она сострадала себе, потому что Томпи принес ей все это беспокойство.

Котенок лежал в тени под раковиной. Присев на корточки перед его корзиной, Элен протянула руку, чтобы взять его, затем, слегка вскрикнув от ужаса, отдернула ее, словно коснулась чего-то отталкивающего.

— Но что стряслось с ним? — закричала она.

Полосатая шкурка маленького животного потеряла всю свою гладкость, весь шелковистый блеск и свалялась сырыми, неровными комками. Отекшие глаза были закрыты и полны желтого гноя. Насморк испортил некогда красивый узорчатый мех на морде. Несмышленый, но милый маленький Томпи, которого она, беспомощного, держала в одной руке, к которому она прижима-

лась лицом и в чьи глаза смотрела, исчез, и на его месте лежал грязный, едва живой комочек. Как та печенка, внезапно пришло ей на ум, отчего она брезгливо содрогнулась. И моментально она почувствовала стыд за мысль, за тот жест презрения, продиктованный бессознательным импульсом.

«Какая я сволочь! — думала она. — Чистая сволочь!»

Томпи был болен, несчастен, может быть, умирал. А она оказалась настолько брезгливой, что побоялась прикоснуться к нему. Сделав усилие, чтобы побороть свое отвращение, она снова протянула руку, взяла маленького котенка и свободной рукой пыталась приласкать (с какой-то болезненной неохотой) мокрую и обвислую шерсть. Слезы навернулись ей на глаза, переполнили их и потекли вниз по щекам.

— Это ужасно, это невыносимо, — повторяла она срывающимся голосом. Бедный маленький Томпи! Прекрасный, родной, забавный Томпи! Убит — нет, хуже, чем убит, — превращен в жалкий комочек грязи, без всякой причины, просто бессмысленно — и в такой день, божественный день, когда над Уайт-Хорс плыли облака, а солнце светило над вершинами Севернейкского леса. А

теперь, что было еще хуже, ей внушало отвращение бедное маленькое животное, она не могла прикоснуться к нему, будто он был куском той печенки, — она, которая притворялась, что любит его, которая не любила его. Не стало лучше оттого, что она держала его, как теперь, и гладила, и не играло роли то, что она при этом чувствовала. Она могла изобразить жест переполнявшего ее отвращения, и отвращение никуда не исчезало. Несмотря на любовь.

Она подняла залитое слезами лицо и взглянула на миссис Уикс.

— И что же нам делать?

Миссис Уикс покачала головой:

— Я никогда не замечала, чтобы вы вообще что-либо могли сделать. Даже с кошками.

— Но есть же какое-то лекарство.

— Никакого, кроме того, чтобы оставить их в покое, — заявила миссис Уикс с пессимизмом, очевидно, подкрепляемым желанием, чтобы оставили в покое ее. Затем, тронутая несчастьем Элен, она утешительно добавила: — Он поправится. Не нужно плакать. Пускай он поспит.

На плитках конюшенного дворика послышался звук шагов, и через открытое окно донеслась слегка фальшиво исполненная песенка «Да, сэр,

она моя малышка». Элен распрямилась и, выглянув, крикнула:

— Джерри! — Затем, в ответ на выражение удивленного соболезнования, добавила: — Случилось что-то ужасное.

В больших, сильных руках Томпи чувствовал себя более маленьким и несчастным, чем обычно. Но Джерри был мягок и грациозен. Наблюдая за ним, когда он промокал глаза котенка, удалял слизь из ноздрей, Элен поразилась тонкой точности его движений. Она сама, как она думала, придавая высокое значение своему собственному неумению, была не способна сделать ничего, кроме как погладить Томпи и почувствовать отвращение. Безнадежен, почти обречен. А когда он попросил ее помочь в том, чтобы засунуть Томпи в рот полтаблетки аспирина, размельченного в молоке, она все испортила, разлив лекарство.

— Может быть, я сделаю это лучше сам, — сказал он и взял у нее ложку. Элен была слишком сильно унижена…

Мери Эмберли была разгневана. Она лежала здесь, больная и в лихорадке, и волнением доводила себя до еще более сильной лихорадки и боли, думая об опасном вождении Джерри. И здесь же была Элен, внезапно забредшая к себе в

комнату после того, как ее не было в доме более двух часов, не имея элементарной порядочности прийти и убедиться, все ли с ней в порядке, более двух часов, когда ее мать — заметьте! — лежала там в агонии, испытывая стресс, думая, что дочь попала в аварию.

— Но Томпи умирал, — объясняла Элен. — Теперь он уже мертв. — Ее лицо было очень бледным, а глаза красными от слез.

— Ну, если ты предпочитаешь жалкого кота родной матери…

— Кроме того, ты спала. Если бы ты не спала, ты бы услышала, как приехала машина.

— И теперь ты желаешь мне сна, — с видом оскорбленной добродетели сказала миссис Эмберли. — Могу ли я на минуту забыться от такой боли? Вдобавок, — прибавила она, — я не спала. Я находилась в бреду. Я бредила несколько раз на протяжении дня. Конечно же, я не слышала машину. — Ее взгляд упал на бутылку сомнифейна, стоявшую на столике рядом с ее постелью, и подозрение, что Элен также могла заметить ее, привело ее в еще больший раж. — Я всегда знала, что ты эгоистка, — не унималась Мери. — Но я, должна сказать, не думала, что ты будешь настолько паскудной.

В другой раз Элен вспылила бы и вступилась за оскорбленное достоинство, или же, обвиненная в аморализме, разрыдалась. Но сегодня она чувствовала себя слишком несчастной, чтобы еще проливать слезы, слишком подавленной стыдом и неудачей, чтобы негодовать даже против самой вопиющей несправедливости. Ее молчание еще более усугубило надрыв миссис Эмберли.

— Я всегда привыкла думать, — продолжала она, — что ты всего лишь эгоистична от безалаберности. Но теперь я вижу, что это бессердечность. Обычная бессердечность. Вот я — я пожертвовала тебе лучшие свои годы, и что я получила взамен? — Ее голос дрожал, когда она задала этот вопрос. Она была уверена в реальности своей жертвы, глубоко тронута мыслью о том, что она обладает масштабом, мученической значимостью. — Самое циничное — это безразличие. Я могла умереть в канаве, и ты бы не проявила беспокойства. Ты бы больше горевала о своем котенке. А теперь уходи, — почти закричала она. — Уходи! Я знаю, что у меня поднялась температура. Уходи.

После одинокого ужина, поскольку Элен ушла к себе в комнату, сославшись на головную боль, Джерри поднялся в спальню, чтобы поговорить с

миссис Эмберли. В тот вечер он был особенно очарователен и так располагающе внимателен, что Мери забыла все накопившиеся поводы для жалоб и снова влюбилась в него по уши — не только потому, что этот безжалостный и совершенный любовник был красив и так легко и надменно умел подчинять себе, но и потому, что он был добр, задумчив и обаятелен, одним словом, был всем, чем, как она знала, он раньше не был.

Часы пробили пол-одиннадцатого. Он поднялся с кресла.

— Пора тебе ложиться в кроватку.

Мери воспротивилась, но он был непреклонен — для ее же блага.

Тридцать капель были нормальной дозой сомнифейна, но он отмерил сорок пять, чтобы быть доподлинно уверенным, что она спит, заставил ее выпить, затем («Как старая Нэнни!» — воскликнула она, смеясь от удовольствия) он обошел несколько раз вокруг кровати, подоткнул одеяло и, поцеловав ее на ночь с почти материнской нежностью, выключил свет и вышел из ее комнаты.

Часы на деревенской церковке пробили одиннадцать. Как печально, думала Элен, слушая удары колокола на расстоянии, как одиноко!

Ей казалось, будто она слушала голос своего собственного духа, вибрировавшего каким-то таинственным способом между стен опускавшейся ночи. Один, два, три, четыре… Каждый звонкий, чуть надтреснутый звук казался все более безнадежным и траурным, словно поднимался из глубин более печального одиночества, чем прежнее. Томпи не стало, и она даже не смогла дать ему ложечку молока и растертый аспирин, не могла найти в себе силы побороть отвращение.

Эгоистична и бессердечна — ее мать абсолютно права. Но настолько же одинока, одинока в окружении бесчувственной злобы, убившей бедного маленького Томпи; и ее бессердечность возопила отчаянным голосом этого колокола — ночь была пустой и величественной.

— Элен! — внезапно раздался голос.

Она встрепенулась и повернула голову. Комната была непроницаемо черной.

— Это я, — продолжал голос Джерри. — Я очень беспокоился о тебе. Тебе уже лучше?

Ее первое удивление и тревога уступили место чувству негодования против его вторжения в одинокое пространство ее несчастья.

— Тебе не следовало беспокоиться, — хладнокровно произнесла она. — Со мной все в порядке.

Заключенный в призрачное облако турецкого табачного дыма, перцово-мятной зубной пасты и лаврового рома, он невидимо приблизился. Через одеяло рука на ощупь коснулась ее голени; затем, когда он сел на краешек кровати, прогнулись и скрипнули пружины.

— Почувствовал за собой некоторую ответственность, — продолжал он. — Все эти мертвые петли! — Тон его голоса заключал в себе невидимую улыбку, а сощуренные глаза причудливо и завораживающе блестели.

Она промолчала в ответ, и молчание превратилось в долгую паузу. «Плохое начало», — подумал Джерри, нахмурился в темноте и начал с другого края.

— Я не могу не думать о несчастном маленьком Томпи, — произнес он уже изменившимся голосом. — Поражаюсь, как удручающе то, что животное заболевает и умирает так быстро. Это кажется столь чудовищно несправедливым.

Через несколько минут она уже рыдала, и у него был повод утешить ее.

Мягко, так же как он брал в руки Томпи, и с той же самой нежностью, которая настолько тронула миссис Эмберли, он погладил волосы Элен и затем, когда ее всхлипывания начали стихать,

коснулся пальцами другой руки ее предплечья. Снова и снова, с терпеливой регулярностью кормилицы, убаюкивающей ее, снова и снова… «По крайней мере триста раз», — думал он, перед тем как отважился на жест, который мог быть истолкован как любовный. Три сотни раз; и даже ласкам его пришлось видоизмениться на десятки ладов, как будто случайно, пока постепенно, непроизвольно рука, бывшая сперва у нее на плече, наконец стала впиваться все крепче ей в кожу, с той же самой материнской настойчивостью прильнула к ее груди, пока пальцы, методично передвигавшиеся по ее локонам, касались ушей, потом щек и губ и замирали, легко и невинно, наполненные энергией поцелуев, обещаний и близкой немоты, в конце концов снизошедших к ней из темноты в качестве награды за долготерпение.

Глава 25

20 мая 1931 г.

Это было еще одним «ударом». Фитцсиммонс, Джефрис, Джек Джонсон, Карпентьер, Демпси, Джин Танни — чемпионы приходили и уходили; но метафора, которой мистер Бивис описывал свои утраты, оставалась неизменной.

Да, это был тяжелый удар. И все же, как казалось Энтони, в воспоминаниях отца за обеденным столом о детских годах дяди Джеймса звучала почти триумфальная нота.

— Бедный Джеймс… у него были такие курчавые волосы. *Nos et mutamur*[163]. — Сожаление и ностальгия смешивались с некоторым удовлетворением — удовлетворением старика, обнаружившего, что он еще жив, еще способен ходить на похороны своих одногодков и тех, кто моложе, чем он. — Два года, — настаивал он. — Между мной и Джеймсом была разница почти в два года. В школе я был Бивис-старший. — Он с

[163] Примечания: 163

И мы меняемся (*лат.*). — Окончание известного латинского выражения «Времена меняются, и мы меняемся с ними».

прискорбием покачал головой, но старые усталые глаза заблестели неукротимым светом. — Бедняга Джеймс! — Он вздохнул. — Мы не очень часто виделись в последние годы — со времени его перехода в другую веру. Как он мог? Это до сих пор терзает меня. Католик — он один из всех…

Энтони ничего не ответил. «Но в конце концов, — думал он, — это не так удивительно». Старик вырос атеистом толка Брэдлоу. Должно быть, был невыразимо счастлив, выставляя напоказ свой вызов космосу и бесплодное отчаяние. Но ему выпало несчастье родиться гомосексуалистом в то время, когда в этом было стыдно признаться даже самому себе. Врожденное извращение отравило ему всю жизнь. Превратило воображаемое и восторженное, как у мистера Пиквика, отчаяние в настоящую, обыденную трагедию. Несчастье и неврастения; старик наполовину сошел с ума. (Что не помешало ему стать первоклассным статистиком страхового общества.) Затем, во время войны, тучи немного рассеялись. Можно было быть добрым к раненым солдатам — быть добрым *pro patria*[164] и с чистой совестью. Энтони припомнил визиты дяди

[164] Примечания: 164
Зд.: патриотом (*лат.*).

Джеймса к нему в госпиталь. Он приходил почти каждый день. Нагруженный дарами для дюжины приемных племянников так же, как и для родного. На его длинном меланхоличном лице в те дни царила постоянная улыбка. Но счастье никогда не бывает слишком долгим. Наступил мир, и после четырех райских лет ад стал казаться чернее, чем всегда. В 1923 году он перешел в лоно католической церкви, чего и следовало ожидать.

Но мистер Бивис просто не мог понять этого. Мысль о том, что Джеймс, окруженный иезуитами, Джеймс, преклонявший колена во время мессы, Джеймс лег в лурдский госпиталь с неоперабельной опухолью и, умирая, нашел утешение в религии, — наполняла его ужасом и изумлением.

— И все же, — сказал Энтони, — я восхищаюсь тем, как они помогают человеку расстаться с жизнью. Умирание — это совершенно животный процесс. Более животный, чем морская болезнь. — Он секунду помолчал, думая о последнем и самом мучительном часе дяди Джеймса. Тяжелое, носовое дыхание, рот, открытый, словно пещера, руки, скребущие простыню. — Как мудра была церковь, сделавшая из смерти таинство!

— Суета и фарс, — презрительно произнес ми-

стер Бивис.

— Но гениальный фарс, — не поддавался Энтони. — Произведение искусства. Сама по себе процедура слегка напоминает переплытие Ла-Манша — только гораздо хуже. Но им удается превратить это во что-то действительно прекрасное и величественное. В основном для зрителя, конечно. Но, может быть, так же значимо и для исполнителя.

За столом наступило молчание. Горничная унесла грязные тарелки и подала десерт.

— Будете яблочный торт? — спросила Полин и надрезала корку.

— Яблочный пирог, моя дорогая. — Тон мистера Бивиса был суровым. — Когда ты усвоишь то, что торт всегда открыт? А то, что имеет корку, — пирог.

Каждый взял себе сливок и сахара.

— Кстати говоря, — внезапно сказала Полин, — вы слышали о миссис Фокс?

Энтони и мистер Бивис покачали головами.

— Мэгги Кларк вчера сказала мне. У нее случился удар.

— Ах бедная, бедная, — вздохнул мистер Бивис. Затем задумчиво: — Удивляюсь, как просто люди уходят из жизни, после того как становятся

чем-то. Мне кажется, я видел ее не более полудюжины раз за последние двадцать лет. И вот, прежде чем…

— У нее не было чувства юмора, — вмешалась Полин.

Мистер Бивис повернулся к Энтони.

— Я полагаю, ты не… ну… «держался возле нее» с тех пор, как погиб ее бедный сын.

Энтони покачал головой, не ответив на вопрос. Между ними был уговор не вспоминать о том, что он сделал, чтобы избегать общения с миссис Фокс. Те длинные письма, полные любви, которые она писала ему в первый год войны — письма, на которые он отвечал все короче и короче, поверхностнее, с большим количеством общих фраз и наконец перестал отвечать совсем, даже не успевая прочитывать ее послания. Даже не читал, и все же, движимый какими-то суеверными угрызениями совести, никогда не выбрасывал. По крайней мере дюжина синих конвертов, надписанных крупным, разборчивым, наклонным почерком, лежала нераспечатанная в одном из ящиков его стола. Их присутствие каким-то таинственным, необъяснимым способом проливало бальзам на его совесть. Вопрос, заданный отцом, заставил его почувствовать неудобство, и он

поспешил сменить тему разговора.

— И во что ты так усердно вкапывался последнее время? — спросил он тем же самым шутливо-архаичным языком, которым порой так увлекался его отец.

Мистер Бивис усмехнулся и начал рассказывать о результатах своих исследований современного американского сленга. Какие смачные выражения! Богатство поистине елизаветинское, с новыми образованиями и первозданными метафорами! Лошадиные перья, смазать тарелку, застегни свой рот — великолепно!

— А как тебе, если тебя назовут чахоточной фрау? — обратился он к своей младшей дочери Диане, которая просидела весь ужин в суровом молчании. — Или еще хуже — слабой подпругой, дорогая моя? Или я мог бы сказать, что у тебя, Энтони, дамский комплекс. Или с сожалением вспомнить о твоей привычке крутить любовную катушку. — Он засиял от удовольствия.

— Напоминает китайскую грамоту, — сказала Полин с другого конца стола. Ее круглое спокойное лицо приняло веселое выражение; тройной подбородок затрясся, как желатин. — Твой отец думает, что он кошачья пижама. — Она протянула руку, взяла с серебряного подноса пару

шоколадных пирожных и затолкала одно из них себе в рот. — Кошачья пижама, — невнятно повторила она и подавилась от нового приступа смеха.

Мистер Бивис, выработавший в себе необходимую степень надменности, нагнулся вперед и спросил Энтони интимным шепотом:

— Что бы ты делал, если бы чахоточная фрау имела несчастье задохнуться?

«Они оба душки», — подумала Диана и вышла из-за стола, ничего не сказав. Но как глупы они казались, как невыразимо глупы! Но все равно, у Энтони не было права критиковать их, а своей чрезмерной вежливостью он их критикует, негодяй. Она была возмущена. Никто не имел права на это, кроме нее и, может быть, ее сестры. Она попыталась подумать о том, как бы досадить Энтони, но он не подал ей удобного случая, да и у нее не было таланта к составлению эпиграмм. Ей пришлось довольствоваться молчанием и нахмуренными бровями. Вдобавок наступило время возвращаться в лабораторию.

— Мне нужно идти, — произнесла она в своей резкой отрывистой манере, поднялась из-за стола, и добавила, наклонившись, чтобы поцеловать мать: — Я категорически запрещаю вам есть эти

сладости. Предписание врача.

— Ты не врач, моя дорогуша.

— Буду ровно через год.

Спокойным жестом Полин сунула в рот еще одно шоколадное пирожное.

— Вот через год я и прекращу есть сладкое, — проговорила она.

Энтони ушел несколькими минутами позже. Идя по улице, он поймал себя на том, что постоянно возвращается в мыслях к миссис Фокс. «Пережила удар, — думал он, — и, может быть, очень опасный. Наступил ли паралич?» Он был чрезвычайно обеспокоен тем, как не допустить того, чтобы отец говорил о ней и у Полин не было случая сказать свое слово. Он представлял, как она лежит беспомощная, полумертвая, и чувствовал ужас притом что наряду с печалью испытывал некое удовлетворение, странное облегчение. Потому что, в конце концов, она была главным свидетелем обвинения, человеком, способным принести роковое свидетельство против него. Мертва или всего лишь наполовину мертва, и ее уже нельзя будет призвать в суд, а при ее отсутствии дело против него будет прекращено. В глубине своей души он даже был рад известию, которое сообщила Полин. Рад, к невероятному

своему стыду. Он пытался сосредоточиться на чем-нибудь другом, и как раз кстати подошел автобус, на котором он быстро добрался до надежной гавани Лондонской библиотеки.

Он провел там около трех часов, просматривая материалы по истории анабаптистского движения, затем побрел к себе на квартиру в Блумсбери. В тот вечер он ожидал Глэдис к себе на ужин. Девушка последнее время чувствовала себя немного утомленной, но тем не менее… Он улыбнулся про себя в предвкушении удовольствия.

Они договорились, что она придет к шести, но пятнадцать минут седьмого ее еще не было. Не было и полседьмого, и в семь. В восемь часов он, глядя на синие конверты со штемпелем 1914 и 1915 года и адресом, выведенным почерком миссис Фокс, задумался над унылой дилеммой, появившейся после того, как прошли нетерпение и гнев: стоит ли открывать их. Он все еще предавался раздумьям, когда зазвонил телефон, и Марк Стейтс спросил его, не свободен ли он случайно вечером. В самый последний момент составилась вечеринка. Там будут Питли с женой, психолог, тот индийский политик, Сен и Элен Ледвидж… Энтони убрал письма обратно в ящик стола и поспешил из дома.

Глава 26

5 сентября 1933 г.

Был третий час. Энтони лежал на спине, уставясь в темноту. Сон не шел, словно его намеренно отгонял чуждый злой дух, поселившийся в теле Энтони. Снаружи в соснах цикады непрестанным стрекотом возвещали миру о своем существовании, и изредка пение петуха раздавалось из темноты, все громче и все ближе, пока все птицы в близлежащих садах не стали, принимая этот вызов, кричать как сумасшедшие. Затем ни с того ни с сего сперва одна, потом другая утихли, и весь ансамбль становился все тише и тише, удаляясь на расстояние, — вот этот крик летит над Францией, вообразил он, вслушавшись в удаляющиеся звуки, в резкую волну вороньего карканья. Может быть, они уже за сотни миль. И затем где-то эта волна повернет назад и покатится обратно так же быстро, как и пришла. Назад, может быть, с Северного моря, над полями битв, над пригородами Парижа и через леса от первой до последней птицы; затем по Беосским равнинам, по холмам Бургундии и, со стремительностью воздушного

потока, по долине Роны, мимо Валанса, Оранжа и Авиньона, мимо Арля, через голые холмы Прованса, пока снова не окажутся здесь, час спустя после предыдущего всплеска, беспокойно и пронзительно нарушая громкий, непрекращающийся стрекот цикад.

Внезапно ему на ум пришел отрывок из «Человека, который умер» Лоренса, и, благодарный за повод прервать ненадолго тщетные попытки погрузиться в сон, он включил свет и спустился вниз, чтобы поискать книгу. Да, она была здесь. «Когда он отошел, закукарекал молодой петух. Это был сдавленный, истерзанный крик, но в голосе птицы было что-то, что было сильнее, чем печаль. Это была жажда жизни, воспевание ее триумфа. Человек, который умер, стоял и смотрел на петуха, который сбежал и был пойман, взъерошился, поднялся на лапы, закинул голову и открыл клюв в очередной битве между жизнью и смертью. Храбрец кричал, и его крики, словно становившиеся тише от шнура, схватившего птичью лапу, все же не умолкали. Человек, который умер, знал, что ему нечего терять, и видел отчаянное бесстрашие в трясущемся кровяном гребне, пенистые облака на небосклоне, черно-рыжего кочета и зеленые языки пламени, изрыгаемые

ветвями фиговых деревьев. Эти весенние твари подошли ближе, горя от желания и уверенности. Они приблизились, как пламенные гребни, из синего потопа незримого желания, из огромного, невидимого моря силы и страсти, цветные, горячие, мимолетные и уже мертвые в момент своего прихода. Человек, который умер, пытался постигнуть суть неумерших вещей, но более не видел их трепетного желания быть и существовать. Вместо этого он слышал их звенящие, гремящие, вызывающие возгласы всем оставшимся живым существам…»

Энтони читал до тех пор, пока не закончил историю о человеке, который умер и снова вернулся к жизни, о человеке, который сам был спасшимся петухом; затем отложил в сторону книгу и снова лег в постель. Пена на волнах невидимого моря желания и силы. Но жизни, жизни как таковой, внутренне воспротивился он, было недостаточно. Как можно было довольствоваться безымянностью чистой энергии, чем-то меньшим, чем сила личности, ее мистическая божественность, которая, все еще бессознательная, была вне добра и зла? Цикады непрестанно стрекотали, и снова, около четырех часов, волна петушиного крика пронеслась по земле и покинула пределы слыши-

мости, уйдя по направлению к Италии.

Жизнь неизбежно выдыхалась. Но в ней были образы, как он помнил, более яркие и впечатлявшие, чем кричащий петух или молодые листочки, проклевывавшиеся на зимних ветвях белого древесного скелета. Он вспомнил фильм об оплодотворении кроличьей яйцеклетки, который когда-то смотрел. Сперматозоиды на экранной плоскости отчаянно пробивали дорогу к своей цели — лунообразной сфере яйцеклетки. Бессчетные, стремящиеся со всех сторон, они бешено вибрировали своими хвостиками. И вот самые первые достигли цели и вгрызались в нее, бросались на наружную стенку живой материи, прорывали в сумасшедшей спешке целые клетки, отслаивающиеся и умирающие. И наконец один из захватчиков достиг глубины ядра, и акт оплодотворения свершился — пассивная сфера внезапно пришла в движение. После быстрого, сильного сокращения гладкая, округлая поверхность превратилась в складчатую и до определенной степени нечувствительную к другим живчикам, которые тщетно бросались на нее. И затем яйцеклетка начала разделяться, стенки ее стали изгибаться, пока не коснулись центра, и образовались две клетки вместо од-

ной; потом, когда две клетки повторили этот же процесс, их стало четыре, затем восемь, затем шестнадцать. И внутри клеток зернышки протоплазмы находились в постоянном движении, как горох в варящемся супе, но движение их было самостоятельным, стимулировалось их собственной энергией.

По сравнению с этими крошечными кусочками живой материи кукарекающий петух, цикады, неумолчно заявлявшие о своем существовании, были всего лишь едва живыми. Жизнь под микроскопом казалась гораздо более оживленной и неудержимой, чем в макромире. Неукротимой. Ужасна была жуткая бессознательность этого непреодолимого, примитивного вожделения! И какой страх таился в игре этой иррациональной страсти, насильственного и безличного эгоизма! Невыносимого, пока думаешь об этом в понятиях сырой материи и имеющейся в наличии энергии.

Да, сырой материал и поток энергии. Внушительный по своему количеству и протяженности. Но качественно они представляли собой лишь относительную ценность: стали бы ценными, только переплавившись во что-либо другое, приспособленные служить какой-то скрытой цели.

Для Лоренса животная цель казалась достаточной и удовлетворительной. Петух, кукареканье, борьба, случка — все это анонимно, и человек так же безличен, как и петух. Лучше такая бессознательная анонимность, считал он, чем жалкие отношения человеколюдей, наполовину подчиненные сознанию и все же лишь частично достигшие уровня цивилизации.

Но Лоренс никогда не глядел в микроскоп, никогда не видел биологическую энергию в ее примитивном, бесформенном состоянии. Он и не желал взглянуть, из принципа не принимал микроскопов, боясь того, что они могут разоблачить, и был прав в своем страхе. Те глубины за глубинами безымянности, неумолимо надвигающиеся, приводили его в ужас. Он настаивал на переработке сырого материала, но переработке только до определенной стадии и ни в коем случае не дальше, на том, чтобы энергия ползучей биомассы была пущена на относительно полезные цели и чтобы ее использование не пошло дальше животных. Произвольно и не рационалистично. На противоположный случай существовали и не игнорировались скрытые цели и институты. Двигаясь во времени и пространстве, человеческое существо неминуемо встречало их на своем пути,

недвусмысленно присутствующих и реальных.

Мышление и жажда знаний — вот были цели, ради которых Энтони использовал энергию, которую наблюдал под микроскопом, которая вызывающе кричала петухом во тьме. Мысль как результат и знание как результат. И теперь внезапно стало ясно, что это были только средства — такой же несомненный сырой материал, как и сама жизнь. Сырой материал — и он предсказывал, он знал, что конечный продукт будет таким же, и частью своего существа он восставал против знания. И что же, засесть за превращение этого сырого жизненного, мыслительного, информационного материала в это — в его годы, при всем при том, что он цивилизованный человек! Сама мысль казалась смешной. Одно из тех абсурдных послехристианских похмелий — как страх его отца перед более неоспоримой существующей реальностью, все равно что исполнение гимна во славу рабочих во время всеобщей стачки. Мигрень, икота после опьянения религией вчерашнего дня. Но, с другой стороны, он понимал, что никогда не будет способен превратить этот сырой материал в конечный продукт, не знал, где и откуда начать. Он боялся предстать круглым дураком, человеком, не имеющим достаточно

смелости, терпения, силы духа.

Где-то около семи, когда солнце за ставнями было уже высоко над горизонтом, он погрузился в тяжелый сон и, пробудившись три часа спустя, увидел Марка Стейтса, стоящего перед его кроватью и пристально смотрящего на него с улыбкой, — лицо напоминало занятную и любопытную горгулью, затянутую москитной сеткой.

— Марк? — в изумлении воскликнул он. — Какого лешего?…

— Свадебная! — произнес Марк, указывая на муслиновую фату. — Поистине *première communion*![165] Я наблюдал за тобой, пока ты спал.

— Долго?

— О, не беспокойся, — сказал он, отвечая не на сказанный вслух, а на скрытый в недовольном тоне Энтони вопрос. — Ты не ходишь в гости во сне. Наоборот, сам приглашаешь гостей. Никогда не видел настолько невинный образ, чем ты в этой вуали. Как младенец Самуил[166]. Совсем как ангел.

---

[165] Примечания: 165

Первое причащение (фр.).

[166] Примечания: 166

Самуил — герой Ветхого Завета, великий пророк, его рождение описывается как чудо. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Вспомнив о том, как Элен употребила то же самое слово утром перед их разрывом, Энтони нахмурился. Затем, помолчав секунду, спросил:

— Зачем ты пришел?

— Чтобы посидеть с тобой.

— Я тебя не звал.

— Это ясно и так, — ответил Марк.

— Что это значит?

— Значит то, что ты обнаружишь это после самого события.

— Обнаружу что?

— То, что ты хотел моего появления. Сам не подозревая о своем желании.

— С чего ты взял?

Марк пододвинул стул и сел, перед тем как ответить.

— Я видел Элен той ночью, когда она вернулась в Лондон.

— В самом деле? — Голос Энтони был до предела блеклым и невыразительным. — Где? — докончил он.

— У Хью. Хью устраивал вечеринку. Там возникли кое-какие неудобные моменты.

— Почему?

— Ну, потому что она так хотела. Она была в странном настроении, видишь ли.

— И она объяснила тебе почему?

Марк кивнул.

— Она даже дала мне прочитать твое письмо. По крайней мере его начало. Я не стал читать целиком.

— Элен заставила тебя прочитать мое письмо?

— Вслух. Она настояла. Но ты понимаешь, она была в очень странном состоянии. — Повисла длинная пауза. — Вот из-за чего я пришел, — наконец добавил он.

— Думая, что я буду рад видеть тебя, — отпарировал Энтони ироничным тоном.

— Думая, что ты будешь рад видеть меня, — серьезно ответствовал Марк.

После очередной паузы Энтони произнес:

— Ну, может быть, ты не совсем уж не прав. Вообще, конечно, мне противен твой вид. — Он улыбнулся Марку. — Заметь, никаких переходов на личности. Мне был бы так же противен вид кого бы то ни было. Но, с другой стороны, я рад, что ты пришел. А это уже касается личности. Потому что ты, похоже, имеешь кое-какое представление о том, что к чему, — заключил он с уклончивой расплывчатостью. — Если есть кто-нибудь, кто может… — Он хотел сказать «помочь», но мысль о том, чтобы ему оказывали помощь, казалась

столь отпугивающей для него, гротескно ассоциировалась с хорошо подобранными словами приходского священника после смерти главы семейства, с откровенным, дружеским разговором домовладельца об искушениях пола, что он в неудобстве осекся. — Если кто-либо и в состоянии разумно рассуждать на эту тему, — продолжал он на другом выразительном уровне, — так это, я думаю, ты.

Марк кивнул, не говоря ни слова, и подумал: как свойственно было этому человеку говорить о разумных рассуждениях — даже сейчас!

— У меня возникло чувство, — продолжал Энтони медленно, преодолевая внутренние трудности перед тем, как сказать, — чувство, что я смогу пережить это и все уладить. На другой основе, — вымолвил он словно под пыткой. — Настоящая… — он покачал головой, — я немного устал от нее. — Затем, осознав с чувством стыда нелепость, неуместность и, хуже, чем нелепость, — фальшивость недоговоренности, уверенно закончил: — …Не пойдет. Это основа, которая не может вынести больше, чем вес призрака. И чтобы воспользоваться ею, я сам превращусь в призрака. — После паузы он так же медленно продолжал: — Последние несколько

дней у меня странное чувство, что я нахожусь не там, где был все эти годы. С тех пор… я даже не знаю когда. Видимо, с предвоенного времени. — Он никак не мог собраться и заговорить о Брайане. — Не там, — повторил он.

— Огромное количество людей находятся «не там», — сказал Марк. — По крайней мере не как люди. Только лишь как животные и биологические функции.

— Животные и биологические функции, — повторил Энтони. — Точно сказано. Но в большинстве случаев у них нет выбора. Небытие навязано им силой обстоятельств. В то время как я имел свободу выбирать — по крайней мере так же, как и все вольны выбирать. Если я нахожусь не там, в этом есть смысл.

— И ты хочешь сказать, что только что обнаружил тот факт, что никогда там не был?

Энтони покачал головой.

— Нет, нет, я, конечно же, знал это. Все время. Но в теории. Так же, как любой знает… ну, например, что есть птицы, которые живут в симбиозе с осами. Любопытный и интересный факт, но не более того. Я не допустил бы большего. И затем имел бы оправдания. Работа: слишком богатая личная жизнь мешает мне работать. И необхо-

димость в свободе: свободе мыслить, свободе утолять страсть познания мира. И в свободе самой по себе. Я захотел быть свободным, потому что было невыносимо им не быть.

— Я могу это понять, — сказал Марк, — при условии, если есть кто-то, кто доволен этой свободой. И при том условии, — продолжал он, — что кто-то осознает свою свободу путем преодоления препятствий на пути к ней. Но как ты можешь быть свободным, если «тебя» нет?

— Я всегда строил обратный силлогизм — как ты можешь быть свободным, или, скорее (поскольку необходимо мыслить об этом в отрыве от конкретных личностей), как может существовать свобода, если «ты» продолжает существовать? «Ты» должно быть состоятельно и ответственно, должно делать выбор и быть ему верным. Но если человек освобождается от себя, он освобождается от ответственности и нужды в состоятельности. Человек свободен как ряд безусловных, несвязанных состояний без прошедшего и будущего, за исключением тех случаев, когда нельзя намеренно избавиться от воспоминаний и предчувствий.

Секунду спустя он выругался.

— Шаткий идиотизм старого Сократа! Он воображал, что человеку только и оставалось знать,

что правильную линию поведения и то, как ей следовать. Человек практически всегда ее знает — и чаще всего не следует ей. Или, может быть, тебе это не понравится, — добавил он другим тоном, смотря на Марка сквозь москитную сеть. — Людям свойственно приписывать другим свои недостатки. В моем случае слабость. Не говоря уже о робости, — прибавил он со смехом, автоматическим, настолько глубоко укоренившейся была привычка наполовину отступать, что выражалось в самой природе личной уверенности в том, что слушатель сомневается в серьезности его намерений во время разговора. Он снова рассмеялся, словно все это было нелепицей, недостойной, чтобы о ней говорили. — Почему-то забыли, что люди могут оказаться разными. С тугим умом и толстым кошельком. Осмелюсь также утверждать, что все, что ты делаешь, ты считаешь правильным.

— Да, я всегда поступаю так, — согласился Марк. — Независимо от того, верно это или неверно. — Он изобразил на лице анатомическую улыбку.

Энтони откинулся на подушки, сцепив руки за головой и полузакрыв глаза. Затем после долгой тишины он повернулся к Стейтсу и резко

произнес:

— Неужели ты не чувствуешь, что тебе просто никто не в силах помешать в том, на что ты решился? Вот теперь, например, я поймал себя на том, что ни с того ни с сего стал говорить с тобой именно так — почему я думал об этом еще до того, как ты пришел, почему пытался отважиться на какой-то смелый поступок. Я удивлялся и чувствовал, что мне просто никто не сможет помешать. Подумал, что было бы лучше отказаться от всего этого и вернуться к обычным занятиям. К спокойной жизни. Даже при том, что спокойная жизнь окажется роковой. Роковой, смертельной, но в то же время я отдал бы за нее что угодно. — Он покачал головой. — Видимо, если бы ты не явился и не вселил в меня с помощью стыда некоторую уверенность, я бы так и сделал — бросил бы все и стал бы жить спокойной жизнью. — Он рассмеялся. — А может быть, — добавил он, — я буду жить спокойно прямо сейчас. Независимо от тебя. — Он встал, снял москитную сетку и вышел на середину комнаты. — Я собираюсь принять ванну.

Глава 27

27 мая 1914 г.

Энтони спустился к завтраку и обнаружил, что его отец объяснял двум девочкам этимологию названий того, что они ели.

— …Просто вариант слова «pottage». Вы говорите «porridge» так же, как… — он подмигнул им, — или, я надеюсь, вы не говорите «заглохни» вместо «замолчи».

Девочки вяло продолжали есть.

— А, Энтони! — вновь заговорил мистер Бивис. — Лучше поздно, чем никогда. Что, остался без овса сегодня утром? Но тебе, надеюсь, достанется абердинская котлета.

Энтони положил себе пикши и сел на свое место.

— Вот письмо для тебя. — Мистер Бивис протянул ему конверт. — Узнаешь почерк Брайана?

Энтони кивнул.

— Ему все еще нравится работа в Манчестере?

— Думаю, что да, — ответил Энтони. — За исключением того, конечно, что он работает слишком много. Он бывает в газете до часу или

двух ночи. А затем с обеда до вечера пишет диплом.

— Что ж, приятно видеть молодого человека с такой энергией и целеустремленностью, — сказал мистер Бивис. — Хотя, конечно, ему не нужно так усердно трудиться. Он ведет себя так, словно у его матери нет средств.

«Средства» так возмутили Энтони, что он, хоть и считал поступки Брайана нелепыми, ответил отцу с язвительной суровостью.

— Он бы не принял денег своей матери, — произнес он крайне холодно. — Это вопрос принципа.

Неприятности отошли в сторону, когда девочки отставили тарелки из-под каши и набросились на абердинские котлеты. Энтони воспользовался случаем и принялся читать письмо.

> «Как долго о тебе не было весточки. Здесь все идет по-прежнему, или должно быть так, если бы я чувствовал себя веселей. Но я сплю ничуть не лучше, и мозг работает не так, как мог бы. Уже наконец закругляюсь с дипломом, как и с работой в газете. Все это дает мне право с нетерпением ожидать намечен-

ных нами двухнедельных каникул в Лэнгдейле. Ради Бога, не подведи меня. Какое невыносимое ощущение доставляет тело, когда оно хоть в чем-то малом работает не так! Даже если все в порядке, это невыносимо при таком количестве несовременных неудобств. Иногда я горько возмущаюсь этой физиологической подверженностью копрологии и непристойностям. Напиши скорее и дай мне знать, как у тебя дела, что ты читаешь, встретил ли ты кого-либо интересного. И сделай мне, пожалуйста, одну любезность. Джоан сейчас в городе у своей тети, работает в Обществе взаимопомощи. Ее отец, конечно же, не хотел, чтобы она шла туда — предпочел, чтобы она была дома, чтобы у него была возможность тиранить ее. Разыгралась настоящая битва, в которой он окончательно проиграл; итак, она работает уже около месяца. За это я ей крайне благодарен — но в то же время по разным причинам чувствую некоторую обеспокоенность. Если бы я мог выезжать на выходные, я бы приехал сам, но у меня нет такой возможности. И

может быть, в некотором смысле это даже и к лучшему. В моем теперешнем скверном состоянии я скорее буду скелетом на пиру, и ко всему прочему есть серьезные осложнения. Я не могу рассказать о них в письме, но если ты совершишь путешествие на север в июне, я попробую. Перед этим мне следовало бы попросить у тебя совета. У тебя характер понапористей, чем у меня. И это единственная причина, по которой я не стал излагать тебе суть дела — из-за боязни того, что ты сочтешь меня дураком. Такова человеческая глупость. Но впоследствии мы обязательно обсудим эту проблему. Тем временем не мог бы ты сблизиться с ней, пригласить ее куда-нибудь на ужин, разговориться с ней и затем написать мне, какова, ты думаешь, ее реакция на Лондон, что она чувствует в жизни в целом и так далее. Это тяжелый переезд — из отдаленного уголка в Лондон, из полунищенской лачуги в богатый дом, от подчинения злобной тирании отца до независимости. Крутой переход, и, хоть я и рад этому, я слегка нервничаю, предчувствуя последствия.

Но ты увидишь.

Твой Б.».

Энтони увиделся с ней в тот же день. Та же прежняя застенчивость, заметил он, когда они обменивались рукопожатиями в вестибюле ресторана, та же смущенная улыбка, то же слабое подергивание бровей. Лицом и телом она была более женственной, чем тогда, когда он ее видел в последний раз, год назад, выглядела также более привлекательной — в основном, несомненно, потому, что была лучше одета.

Они прошли в зал и сели за столик. Энтони заказал ужин и бутылку «Вувре», затем начал зондировать почву.

Лондон — как ей нравился Лондон?

Восхищалась им.

И даже работой?

Да, за исключением, может быть, конторской. Но три раза в неделю она подрабатывала в яслях.

— Я люблю маленьких детей.

— Даже совсем маленьких, от которых вечно разит?

Джоан кипела от негодования.

— Они чудесны. Я люблю ухаживать за ними. Кроме того, это позволяет мне наслаждаться

всей остальной лондонской жизнью с чистой совестью. Я чувствую, что заработала на театр и танцы.

Стыдливость прервала ее разговор, выставив его, как и было раньше, в другом свете. На секунду ей стало трудно говорить, она едва шевелила губами, а голос стал тихим и невнятным. Она спрятала лицо, и затем внезапный порыв сильного чувства — восхищения, некоторого отчаяния или непреодолимой радости, и она смотрела на него внезапно и удивительно осмелевшими глазами; голос, будучи почти неслышимым, стал чистым; крепкие белые зубы сверкали между губами, открывшимися в искреннем выражении чувства. Потом внезапно она словно испугалась своей смелости; поняв, что он, возможно, станет осуждать ее за это. О чем он думал? Не поступила ли она глупо? Ее голос прервался, кровь прилила к щекам, и она уставилась на свою тарелку, так что несколько последующих минут ему не удалось добиться от нее ничего, кроме коротких, сумбурных ответов на его вопросы, ничего, кроме самых поверхностных нервозных смешков в ответ на его лучшие попытки рассмешить ее. Еда и вино тем не менее делали свое дело, и, когда подошел официант, она почувствовала себя более

уверенной. Они начали говорить о Брайане.

— Ты должна сказать ему, чтобы он не работал так много, — проговорил он.

— Ты думаешь, я не пытаюсь? — Затем, при этом в ее голосе появились сердитые нотки, она продолжила: — Это в его природе. Он ужасно добросовестный.

— От тебя требуется сделать так, чтобы он стал недобросовестным. — Энтони улыбнулся ей, ожидая того же в ответ. Но вместо этого она нахмурилась; ее лицо выразило негодование и несчастье.

— Тебе легко говорить, — пробормотала она. Наступила пауза, во время которой она сидела с опущенными глазами, потягивая вино.

«Они могли бы пожениться, — в первый раз мелькнуло в голове у Энтони, — если бы он согласился жить за счет своей матери. Почему же нет, если он так любит эту девушку?...»

С персиковым десертом все мысли облеклись в слова.

— Трудно говорить, — изрекла она. — Я почти ни с кем этим не делилась. С тобой все по-другому. Ты знаешь Брайана очень давно; ты самый старый из его друзей. Ты поймешь. Я чувствую, что тебе я могу сознаться.

Заинтересовавшись, но вместе с тем ощутив некоторое беспокойство, он пробурчал какую-то вежливую несуразицу.

Она не заметила следов его взволнованности; для нее в тот момент Энтони был единственной посланной небом возможностью выплеснуть наконец поток мучительных чувств, так долго сдерживаемый.

— Это все его добропорядочность. Если б ты только знал!.. С какой стати он считает, что в любви есть что-то постыдное? В обычной, счастливой любви. Он думает, что это неправильно, что у него не должно быть подобных чувств.

Она отставила тарелку и, наклонившись вперед и положив локти на стол, заговорила более тихим, более доверительным тоном о том, как Брайан целовал ее и потом стыдился этого, и о тех других поцелуях, от которых в знак искупления вины он отказался.

Энтони изумленно слушал. «Некоторые осложнения», — написал Брайан в письме; это мягко сказано. Это было чистое сумасшествие. Трагичное, но также гротескное и нелепое. Ему подумалось, что Мери сочла бы эту историю просто смешной.

— Он говорил, что хочет быть достойным ме-

ня, — продолжала Джоан. — Достойным любви. Но все, что произошло, заставило меня чувствовать себя недостойной. Недостойной всего и во всем. Виноватой — ощущающей себя правонарушительницей. И грязной вдобавок, если ты понимаешь, о чем я говорю, — как будто я упала в грязь. Но, Энтони, в этом же нет ничего плохого, ведь так? То есть мы никогда не занимались тем, что не было… ну, ты понимаешь… целиком невинным. Почему он говорит, что он недостоин, и делает так, чтобы я в то же время чувствовала себя недостойной. Почему это так? — не унималась она. У нее в глазах стояли слезы.

— Он всегда был таким, — произнес Энтони. — Видимо, он так воспитан… Его мать — восхитительный человек, — добавил он и тотчас заметил, что ввернул в речь оборот миссис Фокс. — Может быть, только она отчасти угнетала его, и, очевидно, поэтому…

Джоан энергично закивала, но не вымолвила ни слова.

— Мне кажется, она заставила его метить слишком высоко, — продолжал он. — Слишком высоко и так все время, если понимаешь, и даже тогда, когда он не следовал прямо ее примеру. Например, нежелание брать от нее деньги…

Джоан подхватила эту тему со страстным энтузиазмом.

— Да, почему он так хотел отличаться от всех остальных? В конце концов, в мире есть множество хороших людей, и они не считают это необходимостью. Но тем не менее, — добавила она, пристально глядя в глаза Энтони, словно пытаясь уловить в них и смягчить любой неодобрительный взгляд или, хуже, ироничную заботу, — тем не менее я думаю, что это очень идет ему. Очень! — повторила она с каким-то вызовом. Затем, снова обретя критический тон, которым она не позволяла говорить Энтони, но на который, как ей казалось, ее чувства к Брайану давали право ей самой, она продолжала: — Все равно, я не понимаю, почему то, что его мать предлагала ему деньги, могло оскорбить его. Я уверена в том, что это по преимуществу заслуга его матери.

Он удивился.

— Но Брайан говорил мне, что миссис Фокс настаивала на том, чтобы он взял их.

— О, она сделала вид, будто хотела, чтобы он их взял. Мы приезжали туда в мае на выходные, чтобы все обсудить. И она не уставала повторять ему, что в том, что он возьмет сумму, нет ничего

плохого, и что ему следует подумать обо мне и о женитьбе. Но потом, когда мы с Брайаном сказали ей, что я согласна на то, чтобы он отказался, она…

Энтони перебил ее:

— Так ты согласилась?

Джоан опустила глаза.

— В какой-то мере, — произнесла она угрюмо. Затем, с внезапной злостью подняв глаза, она вымолвила: — Как я могла не согласиться с ним? Видя, что именно это он хотел сделать и сделал бы, даже если бы я и не дала своего согласия. И к тому же я говорила тебе, что в этом есть что-то совершенно прекрасное и удивительное. Конечно же, я согласилась. Но согласие не означало то, что я действительно хотела, чтобы он отказался от денег. И вот тут неискренность его матери вышла наружу, — она притворилась, будто думает, что я хочу, чтобы он не взял эту сумму, и поздравила меня и его с нашим решением. Сказала, что мы герои и все такое. И тем самым внушила ему эту идею. Я уверяю тебя, что это ее дело. Гораздо в большей степени, чем ты думаешь.

Она умолкла, и Энтони счел лучшим закрыть эту тему. Только Бог знал, чего она могла бы наговорить, если бы он позволил ей дальше рас-

пространяться о миссис Фокс.

— Бедняга Брайан! — сказал он громко и добавил, найдя спасение в тривиальной фразе: — Лучшее — враг хорошего.

— Истинно так! — воскликнула она. — Враг хорошего. Он хочет быть совершенным — но посмотри на результат! Он мучает себя и причиняет боль мне. Почему меня можно заставить чувствовать себя грязной и преступной? А он именно это и делает. В то время как я ни в чем не виновата. Да и он, если разобраться. И все же он хочет, чтобы я чувствовала то же самое по отношению к нему. Нечистоту и преступность. Почему он так осложняет мое положение? Делает все неимоверно трудным? — Ее голос дрожал, и слезы наполнили глаза. — Извини, — сказала она. — Я выставила себя глупой. Но если б ты знал, как это тяжело для меня! Я так сильно его люблю и хочу любить его и впредь. Но он, кажется, не позволяет мне этого. Это, должно быть, так прекрасно, но он делает все, чтобы это казалось гнусным и отвратительным. — Затем, после паузы, почти перейдя на шепот, она добавила: — Иногда я сомневаюсь, смогу ли я выдержать дальше.

«Значило ли это, — думал он, — что она уже решила разорвать с Брайаном отношения —

уже встретила кого-то, кто был готов любить ее и быть любимым менее трагично, более естественно, чем он? Нет, вероятно, нет, — решил Энтони. — Но все походило на то, что скоро так оно и окажется. На его взгляд (хоть это было не совсем то, что подходило ему), она была привлекательна. В кандидатах не было бы недостатка, и, если бы представился достойный, была бы она способна — хоть она могла сознательно желать этого — отказать?»

Джоан нарушила молчание.

— Я очень часто мечтаю о доме, в котором мы собираемся жить, — сказала она. — Прохожу из комнаты в комнату, и все это выглядит великолепно. Такие милые занавески и чехлы для кресел. И вазы, полные цветов. — Она вздохнула и затем, после паузы, продолжала: — Ты понимаешь причину того, почему он отказывается взять деньги матери?

Энтони помедлил минуту, затем уклончиво ответил:

— Я понимаю, но не думаю, что мне самому следовало бы делать подобное.

Она снова вздохнула.

— Я с тобой согласна. — Она взглянула на часы, затем надела перчатки. — Мне нужно идти. — И

с этим возвращением от разговора по душам к прозе жизни, людям и назначенным встречам в ней внезапно снова пробудилось болезненное самосознание. Не утомила ли она его? Не посчитал ли он ее за дурочку? Она посмотрела ему в лицо, пытаясь угадать его мысли, затем опустила глаза. — Я боюсь, что уже достаточно много наговорила о себе, — пробормотала она. — Не знаю, могу ли я еще надоедать тебе…

Он воспротивился:

— Единственное, чего я желаю, это быть в чем-нибудь полезным.

Джоан снова подняла лицо и наградила его мимолетной улыбкой благодарности.

— Ты сделал многое уже тем, что просто выслушал.

Они вышли из ресторана, и Энтони, проводив ее до автобуса, направился к Британскому музею, раздумывая по дороге, какого рода письмо написать Брайану. Стоило ли ему умыть руки и просто послать отписку о том, что Джоан чувствует себя хорошо и счастлива? Или он должен сообщить Брайану, что она все ему рассказала, и затем продолжать советовать, увещевать, убеждать? Энтони прошел мимо двух огромных колонн портика в холодный мрак внутри. «Обычная

проповедь, — подумал он с отвращением. — Если только можно подходить к этой проблеме так, как к ней нужно подходить — как к раблезианской шутке. Но от бедного Брайана вряд ли можно было ожидать того, что он увидит все в нужном свете. Даже если бы размышления — для разнообразия — в раблезианском стиле принесли ему огромнейшую пользу. — Энтони показал свой билет служащему и прошел в читальный зал. В этом всегда была беда, — размышлял он, — никогда не удается заставить человека быть каким-нибудь, кроме того, какой он есть в действительности, или повлиять на него средствами, в надежности которых он уже усомнился». Он толкнул тяжелую дверь и оказался под куполом, источавшим слабый запах книжной пыли. Миллионы книг. Сотни тысяч авторов из разных веков, и каждый был убежден в своей правоте, уверен, что знает заветную тайну, думал, что сможет убедить весь мир тем, что доверит ее бумаге и чернилам. В то время как, конечно же, единицы, которых удавалось убедить, были те, которых природа и обстоятельства уже убедили. И даже на них нельзя было полностью полагаться. Обстоятельства менялись. То, что казалось истинным в январе, уже не действовало в августе. Служащий

протянул Энтони книги, отложенные для него, и он прошел на свое место. Огромные духовные пласты в непрекращающихся родовых муках, и в результате — что? *Si ridiculum murem requiris, circumspice*[167].

Довольный своим открытием, он оглядел читающих рядом с ним — мужи, похожие на моржей, тусклые фемины, индийцы, изможденные или цветущие, усатые патриархи, молодые люди в очках. Наследники всех веков. Удручающие, если воспринимать их серьезно, но также нестерпимо смешные. Он сел и открыл книгу де Ланкре «*Tableau de l'Inconstance des Mauvais Anges*[168] — на том месте, где он кончил читать накануне. «*Le Diable estoit en forme de bouc, ayant une queue et au dessoubs un visage d'homme noir, où elle fut contrainte le baiser*…[169] Он беззвучно рассмеялся. Еще одна шутка для Мери, подумал он. В пять часов он встал с места, оставил книги на столике и доехал на метро от Холборна до Глостер-роуд.

---

[167] Примечания: 167

Если хочешь увидеть глухую мышь, оглянись (*лат.*).

[168] Примечания: 168

«Книга уличения злых духов» (*фр.*).

[169] Примечания: 169

«Дьявол принимает образ козла, сзади у которого хвост, а спереди черное лицо, требующее поцелуя…» (*фр.*)

Через несколько минут он уже стоял перед парадной дверью дома Мери Эмберли. Дверь открыла горничная; он по привычке улыбнулся ей и, воспользовавшись привилегией завсегдатая дома, побежал наверх в гостиную без объявления.

— У меня есть рассказ для тебя, — провозгласил он, перелетев порог комнаты.

— Наверное, грубоватый и пошлый, — ответила Мери Эмберли, сидевшая на софе.

Энтони поцеловал ей руку в той вычурной манере, которую недавно усвоил, и сел.

— Тем, кто пошл сам, — произнес он, — все кажется пошлым.

— Удачно сказано! — И с кривой улыбкой маленьких губ и темным мерцанием суженных век она добавила: — Грязный ум — это пир на время.

Шутка была старой и не принадлежала ей, но смех Энтони тем не менее польстил ей. Это был смех от всей души, громкий и долгий — громче и дольше, чем позволяло само высказывание. Но на самом деле он смеялся не над ним. Шутка едва ли была отговоркой; его смех был реакцией, но не на отдельный стимул, а на всю необычайную и волнующую ситуацию. Чтобы иметь возможность свободно разговаривать о чем угодно (прошу заметить, о чем угодно) с женщиной, леди, под-

линной «мясительницей теста», как мистер Бивис в моменты шутливых этимологических замечаний, бывало, говорил, ревностной английской мясительницей теста, которая была чьей-то любовницей, читала Маллармe[170] и была знакома с Гийомом Аполлинером[171]; послушать, как мясительница теста проповедует то, чем она занимается, вскользь упоминая постели, ватерклозеты, физиологию того, что вследствие неудобопроизносимости англосаксонского слова они были вынуждены называть *làmour* — для Энтони этот двухлетний опыт, несмотря на нерегулярные измены Мери, был отравляющей смесью свободы и запретного плода, облегчения и приятного возбуждения. Во вселенной его отца, в мире Полин и тетушек таких вещей просто не было — но не было с болезненно, ярко заметным отсутствием. Как загипнотизированный пациент, которому было приказано увидеть пятерку пик как что-то эфемерное, они намеренно не замечали то, что не желали видеть, заговорщицки молчали о том,

[170] Примечания: 170

Малларме, Стефан (1842–1898) — французский поэт-символист. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[171] Примечания: 171

Аполлинер, Гийом (1880–1918) — французский поэт-экспериментатор. (*Прим. перев. М. Ловина*)

насчет чего были слепы. Естественные функции даже самых низших животных необходимо было игнорировать, не говорили даже о четвероногих. Случай с козой, например, был теперь одним из отборнейших анекдотов Энтони. Изысканный юмор — но теперь, по прошествии почти двух лет после того, как он познакомился с Мери и когда все это произошло, это казалось гораздо забавнее! Пикник в том жутком Шайдекском ущелье, с Вайсхорном, висевшим в нем как наваждение или пучок горечавки, подобранный внимательным мистером Бивисом в подножной траве, после того как семью посетил едва выросший козленок, жадный до соли с их яиц вкрутую. Уклоняясь и чувствуя легкое отвращение, несмотря на полученное удовольствие, две его маленькие сводные сестрички вытягивали руки, чтобы животное их облизало. Полин в это время делала моментальный снимок, а мистер Бивис, чей интерес к козам был чисто филологическим, цитировал Феокрита. Пастушеская сцена! Но внезапно маленькое создание расставило ноги и, столь же невыразительно глядя на семейство Бивисов округлыми зрачками своих больших желтых глаз, стало мочиться на горечавку.

«Они не очень-то щедры на масло» и «Как

великолепно сегодня выглядит старый Вайсхорн», — вымолвили Полин и мистер Бивис почти одновременно — она, вглядываясь в свой бутерброд, жалобным тоном, а он, смотря в отдаление, с восторженной нотой в голосе.

В спешке и словно виновато дети подавили внезапный крик веселья и отвели лица друг от друга и от разгневанной козы. Моментально пойдя на компромисс, мир мистера Бивиса, Полин и тетушек снова обрел достоинство.

— И как же твоя история? — полюбопытствовала миссис Эмберли, когда смех поутих.

— Ты ее услышишь, — сказал Энтони и несколько секунд помолчал, зажигая сигарету и раздумывая, что и как сказать. Он хотел сделать свой рассказ интересным, одновременно занимательным и психологически глубоким; история для курительной комнаты, которая годилась бы для библиотеки или лаборатории. Дня этого у Мери нужно вызвать двойную порцию смеха и восхищения.

— Ты знаешь Брайана Фокса? — начал он.

— Конечно.

— Старый бедняга Брайан! — Самим тоном, употреблением ласкательного прилагательного Энтони утвердил положение превосходства,

заявил о своем праве, праве просвещенного вивисектора от науки на анатомирование и исследование. — Да, старый бедняга Брайан! Маниакальная озабоченность своим целомудрием! Девственность — самое неестественное из всех сексуальных извращений, — плакатно прибавил он, используя цитату из Реми де Гурмона. Одобрительная улыбка Мери вселила в него новые силы. Свежие силы, естественно, за счет Брайана. Но в тот момент он не додумался до этого.

— Но чего можно ожидать, — вмешалась миссис Эмберли, — если у него такая мать? Один из эмоциональных вампиров. Очередная святая Моника.

— Святая Моника Эри Шеффера, — дополнил он. Но в миссис Фокс не было ни единой черты святой Шеффера. Однако конец его рассказа, вызвавшего смех и восторг Мери, был достаточным оправданием каких бы то ни было целей. Шутка с Шеффером была великолепной, слишком хорошей, чтобы ей пренебречь, даже если она была отпущена не к месту. И когда Мери произнесла то, что в тот момент было ее любимой фразой, то есть сказала что-то о «маточной реакции» миссис Фокс, он цепко ухватился за слова и начал применять их не только к миссис Фокс, но

и к Джоан, и даже (состряпав еще одну шутку на физической нелепости явления) к Брайану. Маточные реакции Брайана против целомудрия в противоборстве с маточными реакциями его самого и Джоан против обычных вожделений — это была драма. Драма, объяснил он, существование которой он до сих пор только подозревал и логически выводил. Теперь нужда в догадках отпала; он знал доподлинно. Прямо из первых уст. Или скорее из вторых — от Джоан. Бедная Джоан! Вивисектор положил очередную жертву на операционный стол.

— Как ранние христиане, — отпустила комментарий миссис Эмберли, когда он закончил.

Злоба и презрение в ее голосе внезапно заставили его вспомнить, в первый раз с того момента, когда он начал рассказывать, что Брайан его друг и что Джоан на самом деле несчастна. Слишком поздно ему захотелось объяснить, что, несмотря на все обстоятельства, опровергающие это, не было никого, кого бы он любил и кем бы так восхищался, как Брайаном. «Пойми меня правильно, — говорил он Мери задним числом и в воображении. — Я абсолютно предан ему». Он начал обдумывать эту тему. Но ни одна сколь угодно великая часть его внутренних излияний

не могла опровергнуть того факта, что он предал того, кто доверился ему, и был непростительно злобен, не умея даже оправдать свое поведение. В то же время, конечно же, эта злоба казалась ему выражением собственной психологической остроты; это обманутое доверие, неотъемлемые факты, без которых острота не могла бы подействовать. Но теперь…

Он внезапно почувствовал смущение и одновременно косноязычие и укор совести.

— Я ужасно сострадал Джоан, — запинаясь, пробормотал он, пытаясь исправить свою вину. — Я обещал, что сделаю все, что могу, чтобы помочь бедной девушке. Но что? Вот в чем вопрос. Что? — Он произнес это с преувеличенной долей смущения. Смущенный, он был оправдан в том, что не оправдал доверие Джоан; он рассказал обо всем (начал он теперь убеждать себя) единственно для того, чтобы спросить совета у Мери — совета опытной светской женщины.

Но опытная светская женщина смотрела на него с сильным беспокойством. Глаза миссис Эмберли сузились и презрительно засверкали; левый уголок ее рта иронически сдвинулся.

— Самое прекрасное в тебе, — сказала она с мудрым видом, — это твоя невинность.

Ее слова были настолько оскорбительными, что он на мгновение забыл Джоан, Брайана, свое недостойное поведение и мог думать только о своем уязвленном тщеславии.

— Благодарю, — сказал он, пытаясь наградить ее откровенно забавной улыбкой. Невинен, она полагала, что он невинен? После времени, проведенного вместе в Париже. После всех шуток о маточных реакциях?

— Так восхитительно юн, так трогателен.

— Я рад, что ты так думаешь. — Улыбка на его лице стала кривой; он почувствовал, как кровь приливает к щекам.

— К тебе приходит девушка, — продолжала миссис Эмберли, — и жалуется на то, что ее недостаточно целовали. А ты тут как тут, торжественно спрашиваешь, что ты можешь сделать, чтобы помочь ей! И теперь ты краснеешь, как свекла. Дорогой мой, я тебя обожаю! — Положив руку ему на плечо, она приказала: — Встань на колени посреди комнаты.

С изрядной долей застенчивости он повиновался. Мери Эмберли с минуту смотрела на него молча и с лучисто-издевательской улыбкой в глазах. Затем мягко спросила:

— Хочешь, я покажу тебе, как тебе нужно по-

мочь ей? Хочешь?

Он кивнул, не отвечая ни слова, но тем не менее на расстоянии руки она испытующе улыбалась ему в лицо.

— Или же я кажусь тебе дурочкой? — спросила она. — Хорошо ли ты усвоишь урок? Может быть, я буду тебя ревновать? — Она покачала головой и улыбнулась — веселой и «цивилизованной» улыбкой. — Нет, я не верю в ревность. — Она сжала его виски обеими руками и шепнула, придвинувшись к нему вплотную: — Вот как ты можешь помочь ей.

Энтони почувствовал себя униженным из-за того, что она почти с презрением взяла на себя ведущую роль, но ни стыд, ни негодование не могли отменить знакомой телу приятной щекотки и желания. Он отдал себя ее поцелуям.

Пробили часы, и немедленно с верхнего этажа донесся приближающийся звук пронзительных детских голосов. Миссис Эмберли подалась назад и, прислонив пальцы к губам, оттолкнула его от себя.

— Ты должен быть семьянином, — со смехом сказала она. — Сейчас шесть часов. В шесть часов я становлюсь любящей матерью.

Энтони вскочил на ноги и, думая, как бы не

выдать того, что здесь происходило, подошел к камину и встал там, положив локти на каминную полку, глядя на акварель Кондера[172].

Дверь с шумом распахнулась, и с визгом, похожим на свист скорого поезда, маленькая круглолицая девочка лет пяти ворвалась в комнату и закружилась вокруг матери.

Другая девочка, на три или четыре года старше, влетела следом.

— Элен! — непрестанно выкрикивала она, и ее лицо, выражавшее взволнованное неодобрение, было до смешного похоже на лицо гувернантки. — Элен! Ты не должна. Скажи ей, что она не должна так орать, мама, — обратилась она к миссис Эмберли.

Но миссис Эмберли только засмеялась и прошлась пятерней по пышным светлым волосам.

— Джойс верит в Десять Заповедей, — сказала она, оборачиваясь к Энтони. — Родилась с верой в них. Не так ли, родная моя? — Она обняла Джойс за плечо и поцеловала ее. — В то время как Элен и я… — Она качнула головой. — Слишком упрямы.

— Нэнни говорит, что сквозняк вызывает у нее упрямство, — подала голос Джойс и выразили-

---

[172] Примечания: 172

Кондер, Чарлз (1868–1909) — австрийский живописец, писал акварелью и маслом. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ла негодование, когда ее мать, Энтони и даже, в результате непостижимой передачи заразы, маленькая Элен расхохотались. — Но это верно, — кричала она, и слезы разгневанной добродетели стояли у нее в глазах. — Нэнни так сказала.

Глава 28

25 июня 1934 г.

С какой легкостью человек может стать Стиггинсом в современном обличье! Гораздо более изысканным и, следовательно, более отвратительным, более опасным Стиггинсом. Ибо сам Стиггинс был, несомненно, слишком глуп для того, чтобы обладать чрезвычайно скверным характером или быть способным причинять вред окружающим. Посему уж, если я предал этому свой ум, Бог знает к чему я могу прийти, двигаясь по пути духовной лжи. Даже если бы я не предавал этому свой ум, я мог бы зайти далеко — как я, к своему ужасу, представил сегодня, когда разговорился с Перчезом и тремя-четырьмя его адептами. Говорили об «антропологическом подходе» Миллера, о мире как образе жизни при условии, что любая политика имела хоть малейшую надежду быть перманентно успешной. Разговор был чрезвычайно ясным, глубоким и убедительным. (Бедные желторотые слушали развесив уши.) Гораздо более убедительно, чем когда-либо, говорил сам Перчез: этот атлетиче-

ски-шутливый христианский стиль начинает с произведения эффекта, но вскоре заставляет слушателей почувствовать, что с ними говорят, как с ничего не понимающими. Они любят прежде всего то, чтобы оратор был как можно более серьезным, но при этом чтобы его можно было понять. Именно этим секретом я, кажется, владею. Так я поистине мастерски разглагольствовал на тему духовной жизни, втайне радуясь тому, что я не слишком заумен, и в то же время кажусь доброжелательным — и внезапно я понял, кто я такой. Я Стиггинс. Я говорил о теории смелости, самопожертвования, терпения без знания практики. Говорил, ко всему прочему, тем людям, которые испытали на деле то, о чем я так громогласно вещал — проповедовал с таким эффектом, что мы поменялись ролями — они слушали меня, а не я их. Обнаружение того, что я делал, наступило внезапно. Меня охватил стыд. И все же, что было еще более постыдным, я продолжал речь. Правда, недолго. Через минуту или две я просто был вынужден прекратить, извиниться и настоятельно заявить, что читать лекцию на данную тему — не мое занятие.

Сие иллюстрирует, как легко можно стать Стиггинсом по ошибке или неосознанно. Но эта

неосознанность, однако, не является извинением, и человек в ответе за ошибку, которая возникает, конечно же, из удовольствия, которое он получает оттого, что он более талантлив, чем другие, и оттого, что может управлять ими посредством своего таланта. Откуда же берется несознательность? Оттого, что человек никогда не утруждал себя анализом своих мотивов; а анализ мотивов не происходит потому, что мотивы большей частью сомнительны. Если, конечно, человек отдает себе отчет в мотивах, но лжет себе насчет них, пока наконец не начинает верить, что они хорошие. Таково убеждение Стиггинса. Я всегда осуждал самохвальство и стремление к насильному принуждению, считая его вульгарным, и воображал себя полностью свободным от этих вульгарностей. И постольку, поскольку я вообще свободен, я теперь понимаю, что это только благодаря безразличию, которое отделило меня от остальных, благодаря финансовым и интеллектуальным обстоятельствам, которые сделали меня социологом, а не банкиром, администратором, инженером, работающим в прямом контакте с моими друзьями. Не вступать в контакты, как я понял, неправильно; но в тот момент, когда я в них вступаю, то ловлю себя на мысли, что

навязываю себя и свой диктат. Навязываюсь, что гораздо хуже, совсем как Стиггинс, пытаясь оказывать чисто словесное воздействие путем игры добродетелями, которую я не стану применять на практике. Унизительно обнаруживать, что предполагаемые хорошие качества человека происходят в основном как следствие обстоятельств и дурной привычки ни на кого не обращать внимания, что и заставляло меня избегать поводов вести себя плохо. Заметьте: неплохо бы поразмышлять о добродетелях, противоположных тщеславию, жажде власти, лицемерию.

Глава 29

24 мая 1931 г.

Занавески были подняты; солнечный свет ярким пятном ложился на туалетный столик. Элен, как обычно, была еще в постели. Дни тянулись долго. Нежась в мягкой, затмевающей сознание теплоте под одеялом, она сокращала время сном, смутными, непоследовательными мыслями, полусонным чтением. В это утро у нее на столике лежали стихотворения Шелли. «И платье легкое точило аромат…» Она увидела длинноногую фигуру в белой кисее с покатыми плечами и высоко поднятой грудью.

…точило аромат,
И волосы, и локоны, и взгляд
Остановили бег, упавши вниз…[173]

(Фигура в туфлях-лодочках с квадратными носами и в перевязанных крест-накрест черной лентой белых хлопковых чулках пустилась бе-

---

[173] Примечания: 173

Здесь и далее — отрывки из поэмы Шелли «Эпипсихидон» (1821). (*Прим. перев. М. Ловина*)

гом.)

И сладость напоила слабый бриз:
И дышащая дикостью краса
Вне чувств, как та взогненная роса,
Растаяла в ветвях замерзших тех…

Полуоткрывшаяся роза перед ее внутренним взором уступила место странно исказившемуся лицу Марка Стейтса. Что он рассказывал вчера о духах… Мускус, амбра… И Генрих IV со зловонным потом своих ног. *Bien vous en prend d'être roi; sans cela on ne vous pourrait souffrir. Vous puez comme charogne*[174]. Она скорчила гримасу. Запах Хью был похож на запах прокисшего молока.

Пробили часы. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать! Она почувствовала за собой вину; затем вызывающе сказала себе, что останется в постели до обеда. Знакомый голос, принадлежащий Синтии, укором прозвучал у нее в памяти. «Тебе следовало бы почаще выезжать в свет, встречаться с людьми». Но эти люди, люди Синтии, были нестерпимыми занудами. Она явственно увидела, как мать стучит пальцем по

[174] Примечания: 174

Лучше бы вы были королем — вы бы так не страдали. Вы смердите, как падаль (*фр.*)…

ее голове. «Твердая слоновая кость, моя дорогая! Безнадежно глупа, невежественна, безвкусна, медлительна». «Я была воспитана выше моих умственных способностей, — вот и все, что она сказала Энтони той ночью. — И поэтому сейчас, если я когда-либо провожу время с людьми такими же глупыми и необразованными, как я сама, это мучительная, невыносимая пытка!»

Синтия была мила, конечно, мила всегда, даже в ту пору, как они вместе ходили в школу. Но муж Синтии — эта поисковая собака! А ее молодые люди и молодые женщины этих молодых людей! Мой дружок. Моя подружка. Как она ненавидела эти слова и тем более ту невыносимую манеру, с которой они произносили их! Такие беззастенчивые, такие наглые намеки на то, что они спят вместе! И в то же время большинство из них были крайне респектабельными. В тех случаях, когда они не были респектабельными, это казалось еще хуже — двойное лицемерие. На самом деле спали друг с другом и притворялись, что всего лишь лукаво притворяются. К тому же это носило угрюмый налет высокопоставленных англичан. А после этого они всегда играли в игры. «Ы-ыгры, — протягивала миссис Эмберли еще до того, как стала употреблять морфий. — Старая Добрая

Школа в каждом доме». Смотри больше на этих людей, делай больше того, что делают они… Элен покачала головой.

Супруга! Ангел! Посланная Роком,

Летящая в беззвездных небесах…

Было ли это все бессмыслицей? Или же это значило что-то, что-то восхитительное, чего она никогда не испытывала? Но нет, она когда-то переживала нечто подобное.

Ибо в полях Бессмертия

Мой дух сперва почтит дух верный твой,

Что там нашел божественный покой…

Это было унизительно теперь, несомненно, но факт оставался фактом, с помощью Джерри она знала точно, что означали эти строчки. Божественное присутствие в божественном месте. И это было присутствием в постели мошенника, который являлся также виртуозом в искусстве любви. Она нашла извращенное удовольствие в том, чтобы настаивать как можно сильнее на гротескном несоответствии между фактами и тем, что она чувствовала.

Тебя люблю я, мне дано познать.
Что на сердце моем лежит печать,
Что влагу чистой, яркой сохранит
Тебе…

Элен бесшумно рассмеялась. Звук часов, отбивших четверть, снова заставил ее подумать о совете Синтии. Были также другие люди — те, которых они встречали, когда обедали с Хью в музее университета. «Эти богобоязненные люди, — вновь заговорила ее мать, — которые не перестают бояться Бога даже тогда, когда выбросили его на обочину дороги». Комитет по богобоязни. Бояться Бога в лекционных залах Мировой ассоциации образования. Бояться его на нескончаемых дискуссиях Планового общества. Но приятная внешность Джерри, его искусство любовника — как все это запланировать так, чтобы это не существовало? Или зародыш беспрепятственно рос и рос в материнском чреве? «Координированная система планирования семьи на всю страну». Она вспомнила взволнованный, убедительный голос Фрэнка Дитчлинга. У него был вздернутый нос, и большие ноздри смотрели пристально, как вторая пара глаз. «Перераспределение населения… Спутниковые городки… Зеленые пояса… Лифты

даже в домах рабочих...» Она слушала, поддаваясь гипнотическому воздействию его ноздрей, и в то время это казалось прекрасным, тем, за что стоит умереть. Но впоследствии... Да, лифты — это очень удобно; ей захотелось иметь лифт у себя в квартире. Парки были прекрасным местом для гуляний. Но как могла кампания Фрэнка Дитчлинга привести к каким-либо желаемым результатам? Координированная политика не сделает ее мать менее грязной, менее безнадежно преданной на милость ее отравленного тела. А Хью — станет ли Хью другим в городе-спутнике или в доме с лифтом, если не будет ежедневно подниматься и спускаться с четвертого этажа в Лондоне? Хью! Она с издевкой подумала о его письмах — обо всем нежном, прекрасном, о чем он писал — и затем о человеке, которым он был в каждодневной жизни, — о ее муже. «Скажи мне, как я могу тебе помочь, Хью?» Приводя в порядок его бумаги, печатая на машинке его записки, выискивая для него ссылки в библиотеке. Но всегда, со стеклянными глазами за стеклами очков, он качал головой: или ему не нужна была помощь, или она была неспособна оказать ее. «Я хочу быть хорошей женой, Хью». Со смехом матери, звучавшим у нее в воображении, ей было

трудно произносить эти слова. Но они были искренни; она действительно хотела быть хорошей женой. Штопать чулки, греть для него молоко перед сном, читать написанное им, быть sérieuse, впервые и глубоко. Но Хью не хотел, чтобы она была хорошей женой, она была не нужна ему. Божественное присутствие в божественном месте. Но местом были его письма; она присутствовала, когда дело касалось его, только на противоположном конце почтовой связи. Он даже не хотел, чтобы она спала с ним — или по крайней мере хотел ее не очень, не так, как это бывает обычно. Вот уж воистину зеленый пояс!

Но это не относилось к делу. Ибо делом были минуты молчания, которые наступали в те моменты, когда Хью принимал пищу. Делом было то мученическое выражение лица, которое появлялось, когда она входила в его кабинет во время работы. Делом были унизительные, жалкие приближения в темноте, отвратительная дистанция и чувственная аккуратность, в которой роль, отведенная ей, была чисто идеальной. Делом было выражение отчаяния, почти ужаса и отвращения, которое она распознала в первые недели их брака, когда она слегла с гриппом. Он выказал участие; и первое время она была

тронута, почувствовала себя благодарной. Но когда она обнаружила, каких героических усилий ему стоило ухаживать за ней во время болезни, благодарность рассеялась. Сами по себе, без сомнения, усилия были восхитительны. То, чем она возмущалась, то, что она не могла простить, был как раз тот факт, что усилие было затрачено. Она хотела, чтобы ее принимали такой, какая она была, даже в лихорадке, даже с пеной и желчью на губах. В этой мистической книге, которую она читала, был отчет мадам Гийон о том, как она подняла с пола жуткий комок слюны и гноя и сунула себе в рот — ради испытания воли. Больная, она была испытанием воли Хью; и с тех пор каждый месяц обновляла тайный ужас тела. Это было нестерпимое оскорбление, и было бы не менее невыносимым в одном из спутниковых городков Дитчлинга, в распланированном мире, где только и слышались бы бредни богобоязненных атеистов.

Но существовала также Фанни Карлинг. «Мышь» — так прозвала ее Элен: она была маленькой, сизой, юркой и молчаливой. Но это была таинственная мышь. Мышь с огромными голубыми глазами, казавшимися постоянно удивленными тем, что они видели за оболочкой

вещей. Удивленные, но в то же время невыразимо счастливые: это счастье казалось Элен почти неприличным, но она завидовала ему. «Как можно верить вещам откровенно *лживым*?» — спрашивала она наполовину злобно, наполовину действительно желая познать ценный секрет. — «Жизнь заставляет, — отвечала мышь. — Если ты живешь истинной жизнью, все это оказывается абсолютно истинным». И она снова стала нести несусветную чушь о любви Бога и любви человеческой по воле Божьей. «Не понимаю, что ты хочешь сказать». — «Только потому, что не хочешь понять, Элен». Глупый, приводящий в бешенство ответ! «Откуда ты можешь знать, чего я хочу?» Со вздохом Элен снова обратилась к книге.

В ту секту никогда я не вступал,
Чей был устав, чтоб каждый выбирал
Любовницу и друга из толпы,

(«Одного из моих мальчиков-друзей…»)

А всем же остальным, хоть похвальбы
Ведут к забвенью, хоть такие нравы,
И торная дорога, что без права

Уводит вдаль измученных рабов,
Домой спешащих сенью мертвецов
Путем широким по земле — и так
Один им будет друг, а может, враг
На сей унылый, бесконечный шлях.

«Унылый и бесконечный, — повторила она про себя. — Но он мог быть таким же долгим, — подумала она, — и таким же унылым с несколькими спутниками, как и с одним — с Бобом, Сесилом, Квентином и Хью».

Любовь — не то, что золотая нить
Из-за того, что взять — не разделить.

— Я не верю в это, — сказала она вслух, и как-никак, она не испытывала слишком большой любви, чтобы делить ее. Для бедного мальчика Сесила она никогда не изображала больше чем сострадание. С Квентином это было просто… просто гигиена. Что касается Боба, он проявлял искреннюю заботу о ней, и она со своей стороны делала все, что могла, чтобы платить ему тем же. Но под его восхитительными манерами, под геройскими взглядами на самом деле не скрывалось ничего. А как любовник он был безнадежно неуклюж, груб, некультурен и непонятлив! Она

порвала с ним всего несколько недель спустя. И может быть, продолжала думать она, это был ее рок — терять сердце только от таких мужчин, как Джерри, быть любимой только такими, как Хью, Боб и Сесил. Поклоняться жестокости и подлости, быть боготворимой пороком.

Зазвонил телефон, Элен подняла трубку.

— Алло.

Это был голос Энтони Бивиса. Он приглашал ее поужинать с ним завтра.

— Было бы неплохо, — сказала она, хотя уже обещала вечер Квентину.

У нее на лице играла улыбка, когда она снова легла на подушки. Интеллигентный человек, думала она. Стоит полсотни таких бедолаг, как Сесил или Квентин. Забавный, очаровательный, даже достаточно красивый. Каким приятным он показался ей в тот вечер у Марка! Специально постарался, чтобы выглядеть милым. В то время как этот осел и выскочка Питчли специально постарался, чтобы вести себя грубо, и оскорблял ее. Она была заинтригована, не был ли Энтони неравнодушен к ней. Ей бы очень этого хотелось. Теперь его приглашение подавало повод не только надеяться на это, но и со всей уверенностью так считать. Она напевала про себя; затем с вне-

запной энергией отбросила в сторону одеяло. Наконец она решилась встать с постели и одеться к завтраку.

Глава 30

2 июля 1914 г.

Что касается Мери Эмберли, та весна и начало лета были для нее невыразимо скучными. Энтони, без сомнения, очаровательный мальчик. Но два года достаточно длинный промежуток времени; он потерял свою новизну. И к тому же он был слишком влюблен. Конечно, приятно, что в тебя влюблены, но не настолько же… и если любовь длится не так долго. В таком случае любовники причиняют лишь неприятности; они начинают воображать, что у них есть права, а у тебя обязанности. Что совершенно невыносимо. Весь тот шум, который Энтони поднял прошлой зимой из-за того художественного критика в Париже!

Мери вряд ли видела, чтобы кто-нибудь был так безутешно расстроен, что льстило в определенном смысле. Художественный критик при более близком знакомстве оказался немного занудным, ей даже понравился процесс шантажа немыми несчастиями и слезами Энтони. Но сам принцип был неверен. Она не хотела, чтобы ее любили с помощью шантажа. Особенно если это затяжной

шантаж. Она предпочитала, чтобы такого рода вещи были краткими, острыми и возбуждающими. В другой раз и с кем-нибудь другим, кто не был бы художественным критиком, она бы позволила ему шантажировать ее. Но беда в том, что, кроме Сидни Гэттика, — а она не полностью уверена, сможет ли выносить голос и манеры Сидни, — в поле зрения не было никого. Мир был местом, где все занятные и волнующие вещи, казалось, ни с того ни с сего перестали происходить. Вот почему она набросилась на Энтони с тем, что называла «лечение Джоан», просто в надежде немного позабавиться и нарушить вялое течение времени.

— Как продвигается лечение? — спросила она в очередной раз в тот июльский день.

Энтони ответил длинным рассказом, тщательно отрепетированным заранее, о своем положении Почтенного Дядюшки и о том, как он утверждался в более привилегированном статусе Большого Брата; как из Большого Брата он предложил почти незаметно эволюционировать до Сентиментального Кузена, а из Сентиментального Кузена…

— На самом деле, — сказала миссис Эмберли, перебив его, — ты маешься бездельем.

Энтони запротестовал.

— Я двигаюсь медленно. Пользуюсь стратегией.

— Стратегией! — презрительно откликнулась она. — Это всего-навсего трусость.

Он отверг ее обвинение, но не мог удержаться, чтобы не покраснеть. Потому что она, конечно же, была наполовину права. Это была трусость. Несмотря на два года, проведенные в качестве любовника Мери, он все еще страдал от застенчивости, ему все еще не хватало уверенности в себе в присутствии женщин. Но его робость была не единственной тормозящей силой в этом деле. Были также угрызения совести, привязанность и верность. Но обо всем этом говорить с Мери было невозможно. Она сказала бы, что он всего лишь пытается замаскировать свой страх с помощью нескольких удобных маскарадных костюмов, просто отказалась бы поверить в искренность всех других его чувств. И беда состояла в том, что это было бы оправдание ее отказа. Потому что в конце концов эти угрызения совести, привязанность и верность не сильно проступали наружу, когда он в первый раз рассказал ей свою историю. Как часто с тех пор в бесполезных выплесках гнева он проклинал себя за то, что это сделал. И, пытаясь убедить себя в том, что ответственность

лежала не целиком на его плечах, также проклинал Мери. Винил ее за то, что она не сказала ему, что он предал дружескую верность из чистого распутства и тщеславия; за то, что она не отказалась слушать его.

— Суть дела в том, — теперь Мери продолжала уже беспощадно, — что у тебя кишка тонка целовать женщину. Ты только и можешь что надевать на себя нежные и томные лица и молчаливо просить, чтоб тебя соблазнили.

— Что за чушь! — Но он краснел еще сильнее, чем раньше.

Не обратив внимания на то, что ее перебили, Мери продолжала:

— Конечно же, она не соблазнит тебя. Она слишком молода. Может быть, не слишком, чтобы самой быть соблазненной. Потому что то, что тебя тянет к ней, называется материнским инстинктом, а он есть даже у трехлетнего ребенка. Даже трехлетний ребенок почувствует, что у него от тебя сжимается сердце. Сжимается. — Она насмешливо протянула «м». — Но обольщение… — Миссис Эмберли покачала головой. — Нельзя ожидать, что оно последует скоро. И естественно, не от двадцатилетней девушки.

— Дело в том, — проговорил Энтони, пытаясь

отклонить ее от болезненного анатомирования его характера, — что я никогда не находил Джоан особенно привлекательной. Слишком проста. — Он произнес это слово с выговором, характерным для Мери. — Кроме того, она еще совсем ребенок, — добавил он, моментально пожалев о том, что сказал, потому что Мери снова набросилась на него, как стервятник.

— Ребенок! — повторила она. — Мне это нравится. А как ты сам? С твоей болтовней о чайниках и горшках! Соска называет пеленку малым дитем. Хотя, конечно, — продолжала она, возобновляя атаку в том месте, где только что прервала ее, — это не более чем естественно, что ты жалуешься на нее. Она слишком ребячлива для тебя. Слишком ребячлива, чтобы набрасываться на других, и достаточно ребячлива, чтобы на нее набрасывались. Бедная девочка — она пришла не по тому адресу. Она не получит от тебя больше поцелуев, чем получает от своего сидящего во мраке раннего христианина. Даже если ты кричишь по всем углам, что ты цивилизованный…

Внезапно открывшаяся дверь прервала ее.

— Мистер Гэттик, — объявила камеристка.

Огромный, вульгарный, почти светящийся внутренним свечением самодовольства и уверен-

ности, Сидни Гэттик гусиной походкой вполз в комнату. Его голос звучно загудел, когда он высказал свои приветствия и осведомился о здоровье. Глубокий, мужественный голос, какой может быть только у актера-режиссера, играющего роль силача. А его профиль, внезапно заметил Энтони, слишком походил на актерский — слишком добротный, чтобы быть естественным. И в конце концов, продолжал размышлять он, чувствуя презрение, порожденное ревностью и некоторой завистью к светскому успеху других, кто были эти адвокаты, если не актеры? Умные актеры, но ум у них как у прохожих зевак, способны зазубрить обстоятельства дела и все забыть через минуту после того, как оно окончено, как зазубривалась формальная логика или Деяния апостолов. Никакого нормального образования и связного мышления. Просто ум экзаменуемого вложен в тело актера и выражается тягучим актерским голосом. И за это общество платит человеку пять или шесть тысяч фунтов в год. И человек считается важным, мудрым, замечательным; человек чувствует себя в положении патрона. Нельзя сказать, чтоб это было престижно, уверял себя Энтони, когда тебе покровительствует этот продувной, гудящий шарлатан. Было впору рас-

смеяться — до такой степени это было нелепо! Но, несмотря на нелепость и даже когда люди смеялись, покровительство казалось болезненно унизительным. То, например, как он играл сейчас видного пожилого военного, фальшивого сельского сквайра и, похлопывая его по плечу, говорил: «Ну, Энтони, парнишка мой!» — это было совершенно невыносимо. Хотя в данном случае невыносимость, как казалось Энтони, стоила того, чтобы с нею смириться. Человек мог быть докучливым и амбициозным дураком, но по крайней мере его появление уберегло его от нападок Мери. В присутствии Гэттика она не могла бомбардировать его упреками, касающимися Джоан.

Но он и без Мери и ее докучливой злонамеренной болтовни почувствовал немедленную потребность в чем-то забавном и волнующем. Немногие вещи более восхитительны, чем намеренный дурной вкус, более забавны, чем замешательство кого-то другого. Перед тем как Гэттик успел закончить свои предварительные гудения, она опять вернулась к старой, болезненной теме.

— Когда вам было столько же лет, сколько сейчас Энтони, — начала она, — всегда ли вы ждали,

пока женщина соблазнит вас?

— Меня?

Она кивнула.

Оправившись от удивления, Гэттик улыбнулся понимающей улыбкой опытного донжуана и как можно более мужественным голосом первого любовника произнес:

— Конечно же, нет. — И самодовольно рассмеялся. — Наоборот, боюсь, что я врывался туда, куда ангелы боятся входить. Иногда получал пощечины. Но чаще всего нет. — Он пошловато подмигнул.

— Энтони предпочитает сидеть смирно, — сказала миссис Эмберли. — Сидеть смирно и ждать, пока женщина сделает первый шаг.

— О, это плохо, Энтони, это очень плохо, — прогудел Гэттик, и его голос снова заставил вспомнить усы военного и твидовый костюм сельского джентльмена.

— Вот бедная девочка, которая хочет, чтобы ее поцеловали, — продолжала миссис Эмберли, — но просто не находит мужества взяться рукой за талию и сделать это.

— Нечего сказать в свою защиту, Энтони? — спросил Гэттик.

Пытаясь, но довольно неуспешно, притворить-

ся, что ему все равно, Энтони пожал плечами.

— Только вот это и неверно.

— Что неверно? — спросила Мери.

— Что у меня нет смелости.

— Но правда то, что ты не поцеловал. Не так ли? — настаивала она на своем. — Ведь так? — И когда ему пришлось признать, что это правда, она заявила: — Я всего лишь делаю очевидные выводы из фактов. Вы юрист, Сидни. Скажите мне, справедливо ли это заключение?

— Абсолютно справедливо, — произнес Гэттик, и сам лорд-канцлер не говорил бы более веско. Он был окружен аурой мантий и пышных париков. Он был воплощенное правосудие.

Энтони открыл рот, чтобы что-то сказать, но затем снова его закрыл. Перед лицом Гэттика и Мери, упрямо считающей, что она очень «цивилизованна», он не мог прямо выразить свои чувства. И если это и были его истинные чувства, почему (вопрос снова возник сам собой), почему он рассказал ей об этом? И рассказал в ее своеобразном стиле — как будто он был режущим по живому комедиантом. Тщеславие, распутность, и затем, конечно, тот факт, что он был влюблен в Мери и старался ей угодить любой ценой, даже ценой того, что он искренне чувствовал. (И в

момент рассказа, как он был вынужден признать, он не чувствовал ничего, кроме желания быть интересным.) Но опять же это невозможно было выразить словами. Гэттик не знал об их связи и не должен знать. И даже если бы не Гэттик, было бы сложно, почти невозможно объяснить это Мери.

Она бы подняла на смех его романтические бредни — насчет Брайана, насчет Джоан, даже насчет себя, сочла бы его смешным и нелепым из-за того, что он делает трагедию из ничтожной любовной интрижки.

«Люди склонны настаивать, — говаривала она, — на том, чтобы относиться к *mons Veneris*[175] так, как если бы это была гора Эверест. Слишком глупо!»

Когда он наконец начал:

— Я не делаю этого… — ему пришлось ограничиться словами, — …потому что не хочу.

— Потому что ты не осмеливаешься, — воскликнула Мери.

— Осмеливаюсь.

— Нет. — Ее темные глаза сверкнули. Она была в высшей степени довольна собой.

Гудя, но с долей усмешки в низком голосе

---

[175] Примечания: 175
Венерин холм, лобок (*лат.*).

лорд-канцлер снова попытался отстоять свои позиции.

— Это сокрушительный удар по тебе, — сказал он.

— Готова держать пари, — сказала Мери. — Пять шансов против одного. Если тебе удастся сделать это в течение месяца, я дам тебе пять фунтов.

— Но я говорю тебе, что не хочу.

— Нет, так просто ты не отвертишься. Пари есть пари. Пять фунтов тебе, если ты успешно справишься с задачей за месяц. А если нет, то ты заплатишь мне один фунт.

— Вы слишком щедры, — заметил Гэттик.

— Всего один фунт, — повторила она. — Но я никогда не буду с тобой общаться.

Несколько секунд они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Энтони сильно побледнел. Сжав губы и наклонив голову, Мери улыбалась. за полузакрытыми веками ее глаза горели злобной усмешкой.

Почему ей нужно было быть такой грубой с ним, размышлял он, такой законченной стервой? Он ненавидел ее, ненавидел еще больше из-за того, что бешено хотел ее, из-за воспоминаний и предвкушения тех удовольствий, из-за ее сво-

бодного ума и эрудиции, словом, из-за того, что заставляло его неизбежно делать все, что она хотела. Даже тогда, когда он знал, что это глупо и неверно.

Наблюдая за ним, Мери видела взбунтовавшуюся ненависть у него в глазах, и, когда он наконец опустил их, она разгадала в них знак собственного триумфа.

— Больше никогда, — повторила она. — Никогда совсем.

Дома, когда Энтони вешал шляпу на вешалку в прихожей, отец окликнул его:

— Загляни сюда, сынок.

«Черт!» — выругался про себя Энтони; у него на лице явно отразилась досада, но мистер Бивис был слишком занят, чтобы заметить это, когда Энтони вошел в его кабинет.

— Я тут немного поразвлекся с картой, — сообщил мистер Бивис, сидевший за письменным столом с развернутым листком «Швейцарского артиллерийского обозрения». У него была страсть к картам, страсть, которой он частично был обязан своей любви к прогулкам, частично профессиональному интересу к именам собственным. — Комбаллас, — пробормотал он про себя, не глядя на карту. — Шамоссер. Очарова-

тельно, очаровательно! — Затем, повернувшись к Энтони, сказал: — Чрезвычайно сожалею о том, что твоя совесть не позволяет тебе взять отпуск и отправиться с нами.

Энтони, выдвинувший исследовательскую работу в качестве отговорки для того, чтобы остаться в Англии с Мери, веско кивнул головой.

— Совершенно невозможно читать серьезные книги на большой высоте, — пояснил он.

— Насколько я могу предсказать, — произнес мистер Бивис, снова занявшийся картой, — у нас будут веселые гуляния и восхождения на Дьябелере. И какое восхитительное это название! — добавил он кстати. — Ввысь на Коль-дю-Пийон, например. — Он проследил пальцем извилистый путь дороги. — Видишь?

Энтони нагнулся немного ближе и бегло взглянул.

— Нет, не увидишь, — продолжал мистер Бивис. — Я все закрыл рукой. — Он выпрямился и полез сначала в один карман, потом в другой. — Где же у меня, — сказал он, нахмурившись; затем внезапно самая смелая филологическая шутка пришла ему в голову, и нахмуренные брови сменились лукавой улыбкой. — Где у меня этот маленький пенис? Или, если точнее, крошечный

карандашик?…

Реакцией Энтони была только бледная, смущенная мина в ответ на озорное подмигивание отца.

— Pencil, — был вынужден объяснить мистер Бивис. — Penecillus — уменьшительное от peniculus — двойного уменьшительного от *penis*, что, как ты знаешь, — продолжил он, наконец вынув карандаш из левого внутреннего кармана, — первоначально означало «хвост». А теперь давай снова произведем атаку на Пийон. — И поднеся карандаш к карте, он проследил им зигзагообразные линии. — А когда мы поднимемся на вершину Кол, — говорил он, — то возьмем курс на северо-запад до склона Мон-Форнеттац, и потом…

Это был первый раз, думал Энтони, когда отец в его присутствии заговорил на тему физиологии пола.

Глава 31

6 сентября 1933 г.

— Смерть, — произнес Марк Стейтс. — Это единственное, что мы еще умудрились не опошлить. Не потому, конечно, что у нас не было такого желания. Мы как собаки в Акрополе. Бегаем с наполненными пузырями и только и норовим поднять ножку под каждой статуей. И в большинстве случаев нам это удается. Искусство, религия, героизм, любовь — на всем мы оставили свои визитные карточки. Но смерть — смерть остается недосягаемой. Мы оказались неспособными осквернить эту статую. Пока по крайней мере. Но прогресс все еще идет вперед. — Он растянул рот в неестественной улыбке. — Чем более многообещающие надежды, тем светлее будущее… — Костлявые руки изобразили загребающий жест. — Когда-нибудь какой-то будочный гений, без сомнения, сумеет вскарабкаться и нанести точный и заслуженный удар прямо в лицо этой статуи. Но, к счастью, прогресс еще не зашел так далеко. Смерть пока остается.

— Остается, — повторил Энтони. — Но дымовая

завеса довольно плотная. Мы умудряемся почти всегда забывать о ней.

— Ну уж, не всегда. Она висит неуничтожимо. Нетронутая. И даже, — оценивающе произнес Марк, — больше чем нетронутая. В наших руках большие и лучшие дымовые завесы, чем были у наших отцов. Но за дымом враг более грозен. Смерть выросла, несомненно, а утешения и надежды растаяли, как дым. Выросла до таких размеров, какой была тогда, когда люди серьезно верили в ад. Потому что если ты теперь занят тем, что ходишь в кино, читаешь газеты, смотришь футбол, ешь шоколад, то знай, что наступит смерть, которая есть ад. Каждый раз, когда дымовая завеса немного рассеивается, люди одним глазком подглядывают за тем, что там, и ужасаются. Я считаю, что это утешительная мысль. — Он снова улыбнулся. — Это многое примиряет. Даже для тех занятных собачат в Акрополе. — Повисла тишина. Затем он продолжал, уже другим тоном: — Утешительно думать, что смерть остается верной. Все остальное преходящее, но смерть не изменит нам. Если случится так, что нам придется рисковать жизнью, мы сможем рисковать ею так же всецело, как раньше. — Он поднялся, обошел раз или два комнату, затем остановился

перед креслом, где сидел Энтони. — Вот зачем я пришел к тебе, — сказал он.

— Зачем?

— Чтобы поговорить о том, как рисковать жизнью. Я чувствовал, будто завяз в трясине. По горло в болоте цивилизованного общества. — Его лицо исказилось, как при вдыхании смрадного запаха. — Нет другого выхода. Снова рисковать. А это было бы как глоток свежего воздуха. Я думал, что, может быть, ты тоже… — Он оборвал фразу на середине.

— Мне никогда не приходилось подвергаться опасности, — сказал Энтони после паузы. — Кроме того случая, когда она меня прямо подстерегла, — добавил он, вспоминая о том тупоголовом с ручной гранатой.

— Не повод ли это для того, чтобы начать?

— Беда в том, — сказал Энтони хмурясь, — беда в том, что мне всегда мешала трусость. Нравственная трусость, конечно. Может быть, это было также вызвано физическим состоянием — не знаю. Мне никогда не представился случай доподлинно выяснить.

— Я бы подумал, что у тебя есть более надежная причина.

— Может быть.

— Если это повод для того, чтобы круто изменить свою жизнь, не было ли лучше всего изменить все одним ударом?

— Смертельным ударом?

— Нет, нет. Просто риск, никакого самоубийства. Это всего лишь опасно, то дело, о котором я думаю. Не более того. — Стейтс снова сел на стул. — На днях я получил письмо, — начал он. — От старого мексиканского приятеля. Человека, с которым я работал в фирме «Финка». Зовут его Хорхе Фуэнтес. По-своему замечательный человек.

Он рассказал историю Хорхе, окруженного революционерами в своем поместье в долине Оахаки. Большинство других землевладельцев бежали. Он был одним из тех немногих, кто поднял сопротивление. Сперва ему помогали два его брата. Но их убили, одного из ружья, с дальнего расстояния, а другого с помощью мачете в засаде среди кактусов. Хорхе бился в одиночку. Затем, когда он скакал на лошади по полям, дюжине бандитов удалось вломиться в его дом. Он вернулся и обнаружил свою жену и двух маленьких сыновей убитыми. После всего этого дом больше не было смысла защищать. Он достаточно долго продержался и застрелил троих убийц, затем

оставил родовое имущество и пошел работать по найму. Это было как раз в тот период, когда Марк познакомился с ним. Теперь у Хорхе снова был собственный дом и немного земли; он служил агентом для многих плантаторов на тихоокеанском побережье штата Оахака: набирал для них рабочую силу и был единственным, кому доверяли индейцы, единственным, кто не пытался их обмануть. Не так давно, однако, случилась беда. Дон Хорхе ударился в политику, стал главой партии, у него завелись враги и чуть менее опасные друзья. Теперь он был в оппозиции, губернатор штата преследовал его и его соратников. Плохой человек, по мнению дона Хорхе, продажный, несправедливый, да и непопулярный. Избавиться от него было бы не слишком сложно. Часть войск обязательно изменит ему. Но перед тем, как начать подготовку переворота, дон Хорхе хотел знать, есть ли какая-то перспектива того, что Марк окажется в районе Оахаки в ближайшем будущем.

— Бедный старый Хорхе! Он так трогательно верит в здравость моих рассуждений. — Марк рассмеялся. Приуменьшать веру в него дона Хорхе, устранять причины этой веры, — это разливало по всему его телу жгучее наслаждение.

Он мог рассказать Энтони о том случае, когда старый осел пошел и позволил бандитам поймать себя, и о том, как его вызволили. Хорошая история, к тому же вполне правдоподобная. Но он извлек бы большее удовольствие из того, чтобы не рассказывать ее. — Да, это лучше, чем его суждения, — продолжал Марк. — Но это все равно что ничего не сказать. Дон Хорхе смел — смел как лев, но по-глупому. Никакого чувства реальности. Он устроит путаницу из своего переворота.

— Если там не будет тебя и ты не поможешь ему. А ты предлагаешь отправиться туда?

Марк кивнул.

— Я написал ему, что приеду, как только смогу уладить свои дела в Англии. Мне пришло в голову, что ты… — И он опять оборвал фразу на полуслове и вопросительно посмотрел на Энтони.

— Неужели ты думаешь, что это уважительная причина? — наконец задал вопрос Энтони.

Марк рассмеялся.

— Такая же уважительная, как любой другой мексиканский политик, — ответил он.

— Это достаточно уважительно?

— Для моей цели. И в любом случае, что такое уважительная причина? Тирания при комисса-

рах, тирания при гауляйтерах — не все ли равно? Тупоголовый сержант всегда тупоголовый сержант, независимо от цвета его рубашки.

— То есть революция с целью сделать революцию?

— Нет, у меня своя цель. Все это ради каждого, кто примет участие в восстании. Ведь каждый сможет позабавиться во время переворота так же, как и я.

— Надеюсь, что буду чувствовать себя великолепно, — вымолвил Энтони после паузы.

— Несомненно.

— Хотя я чертовски боюсь — даже с этого расстояния.

— Что сделает всю процедуру еще более интересной.

Энтони глубоко вздохнул.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Я поеду с тобой. — Затем с силой: — Это наиглупейшая, наибессмысленнейшая идея, о которой я когда-либо слышал, — заключил он. — Но так как я всегда был умным и рассудительным… — Он осекся и, смеясь, потянулся за трубкой и жестянкой табаку.

Глава 32

29 июля 1934 г.

Сегодня после обеда пошли с Элен послушать речь Миллера в Тауэр-Хилле[176]. Собралась большая толпа. Он говорил хорошо — правильный подбор аргументов, шуток, эмоциональный настрой. Тема — мир. Мир везде или никакого мира вообще. Мир между народами недостижим без включения в политику межличностных отношений. Милитаристы дома, на фабрике и в конторе в отношениях с подчиненными и конкурентами не могут претендовать на то, чтобы правительство относилось к ним как к пацифистам. Лицемерны и глупы те, кто защищает мир между государствами и в то же время ведет личные войны в бизнесе и в семье. В это время коммунисты в толпе стали забрасывать оратора вопросами. Как можно чего-либо достигнуть без революции? Без ликвидации личностей и классов, стоящих на пути социального прогресса? И так далее. Ответ (как всегда с чрезвычайно острым чувством юмора): цель

---

[176] Примечания: 176
Тауэр-Хилл — лекторий в Лондоне. (Прим. перев. М. Ловина)

определяет результат. Насилие и принуждение приводят к постреволюционному обществу; не к коммунистическому, но (как в России) иерархичному, управляемому олигархией, использующей методы тайной полиции. И тому подобное.

Спустя около четверти часа рассерженный молодой клакер забрался на маленькую стенку, где стоял Миллер, и стал угрожать тем, что сбросит его, если тот не прекратит. «Ну давай, Арчибальд!» Толпа расхохоталась; молодой человек еще более рассердился, приблизился, сжал кулаки, выпрямился. «Слезай, старый ублюдок, или я…» Миллер стоял достаточно спокойно, улыбался, руки по швам, повторял «хорошо», — он не возражал против того, чтобы его сбросили. Атакующий по-боксерски задвигал руками, сунув кулак на расстояние дюйма от носа Миллера. Старик не шелохнулся, не выдал ничем страха или гнева. Противник отвел руку, но вместо удара в лицо нанес достаточно сильный удар в грудь. Миллер зашатался, потерял равновесие и свалился со стенки в толпу. Извинившись перед людьми, на которых он упал, Миллер рассмеялся и снова поднялся на стенку. Пошла еще одна репетиция представления. Снова молодой человек набычился, но когда Миллер снова не поднял

рук, не показав и тени страха или гнева, ударил его в грудь. Миллер упал и снова вскарабкался. Получил еще один удар. Поднялся еще раз. В этот раз человек вознамерился ударить по лицу, но ладонью плашмя. Миллер прямо держал голову и улыбался. «Пенни за три удара, Арчибальд». Человек налетел на Миллера и сбил его со стенки. Тот снова взобрался на нее, посмотрев на часы. «Еще десять минут, и тебе придется приниматься за работу, Арчибальд. Давай». Но в этот раз у того нашлось смелости только сжать кулаки и назвать Миллера старым кровопийцей и реакционером. Затем он повернулся и сошел со стенки, преследуемый злобным смехом, выкриками, посвистами и улюлюканьем толпы. Миллер продолжил речь.

Реакция Элен была любопытной. Негодование при виде зверства юнца по отношению к старику. Но в то же время гнев на Миллера, который позволил себя сшибать, не оказывая сопротивления. Причина этого недовольства? Неясна, но я думаю, что она с негодованием отнеслась к успеху Миллера. Отрицала тот факт, что юнец был психологически доведен до бессилия. Отрицала и возмущалась тем, что подобная демонстрация была альтернативой терроризму и ненасильственным средствам борьбы. «Это всего лишь

уловка», — сказала она.

«Не такая уж легкая уловка, — настаивал я. — Я уж, конечно, не смог бы осуществить такое». — «Любой мог бы научиться, если б попробовал». — «Возможно, здорово бы было, если б мы все попробовали?» — «Нет, я думаю, это глупо». — «Почему?» Она затруднилась с ответом. «Потому что это неестественно», — такова была причина, которую ей наконец удалось сформулировать, и она принялась развивать ее в терминах какой-то эгалитарной философии [177]. «Я хочу быть, как все другие. Хочу иметь такие же чувства и интересы. Я не хочу быть какой-нибудь особой. Просто обычный человек; не кто-нибудь, кто горд тем, что освоил сложный трюк. Как этот твой Миллер». Я отметил, что все мы обучаемся таким сложным трюкам, как вождение машины, работа в конторе, чтение и письмо, переход через улицу. Почему бы нам не освоить и другой сложный трюк? Трюк потенциально гораздо более полезный. Если бы все смогли научиться этому, то кто-то мог бы позволить себе быть как все, безопасно разделять все чувства с уверенностью,

[177] Примечания: 177

Эгалитаризм — мелкобуржуазная утопия, проповедующая всеобщую уравнительность как принцип организации общественной жизни. (*Прим. перев. М. Ловина*)

что приобретешь что-то хорошее, а не плохое. Но Элен никак не поддавалась увещеваниям. И когда я предложил присоединиться к старику и устроить совместный вечерний обед, она отказалась. Сказала, что и знать его не хочет. Что тот молодой человек был совершенно прав — Миллер реакционер. Реакционер, кутающийся в маскировочный саван разговоров об экономической справедливости, но за всем этим он — всего лишь агент тори. Его настойчивые утверждения, что перемен в социальной организации было недостаточно, что они должны сопровождаться, должны вырастать из перемен в межличностных отношениях — что это, если не нота консерватизма? «Я считаю, что он вредный элемент, — сказала она. — И считаю также, что ты вредный элемент». Но она согласилась на ужин со мной. Что показывало, насколько дешево она оценивала мои силы и способности поколебать ее убеждения! Аргументы… я мог привести кучу аргументов; она не восприняла бы их. Но акция Миллера задела ее. Он высказал свою доктрину и подкрепил ее действием, не ограничившись одной декларацией. Ее признание в том, что я не мог уязвить ее сквозь доспехи, как он, было крайне оскорбительным. Тем более что я знал, что это правда.

Настойчивость, храбрость, выносливость. Все это плоды любви. Полюби добро, и безразличие и лень станут неприемлемы. Смелость приходит так же, как к матери, защищающей свое дитя; и в то же время нет страха перед противником, которого любишь, что бы он ни делал, любишь за возможность добра в нем. Что же до болезни, утомленности, злобы — они уносятся с радостью, ибо кажутся незначительными по сравнению с добром, которое любишь и которого хочешь достичь. Огромная пропасть отделяет меня от этого состояния! То, что Элен не испугалась моей вредности (которая была лишь теоретической), но устрашилась Миллера (так как сама его жизнь была аргументом) являлось болезненным напоминанием об этой пропасти.

Глава 33

18 июля 1914 г.

Занавес поднялся, и их взору предстала Венеция, зеленая при лунном свете; Яго разговаривал с Родриго на пустынной улочке.

— Огня скорее высекайте, Свечей сюда![178] — кричал Брабанцио из своего окна. И спустя секунду улицу заполнила толпа, послышалось бряцание оружия и доспехов, факелы и светильники горели желтым светом в зеленой темноте…

— Невыносимо вульгарная декорация, — вынес вердикт Энтони, когда занавес упал после первой картины.

Джоан посмотрела на него с удивлением.

— Неужели? Да, наверное, она плохая, — прибавила она, неискренне отдавая филистерскую дань вкусу. На самом деле она находила ее восхитительной. — Ты знаешь, — призналась она, — я всего лишь пятый раз в театре.

— Только пятый раз? — словно не веря, пере-

---

[178] Примечания: 178

Здесь и далее цитаты из пьесы Шекспира «Отелло» даются в переводе П. Вейнберга. (*Прим. перев. М. Ловина*)

спросил он.

Но перед ними уже возникла другая улица и еще больше вооруженных людей, снова Яго, грубовато-добродушный, и сам Отелло, гордый, как настоящий король, отдающий приказания каждым словом и жестом; и когда Брабанцио вошел со всей свитой, когда свет от факелов мерцал на их копьях и алебардах, какой героически величавой казалась сцена! «…вложите Вы светлые мечи свои в ножны, Не то роса их ржавчиной покроет». — Мучительный озноб пробежал у нее по спине, когда она слушала реплики героев, когда поднялась черная рука, и кончики мечей опустились к земле от одного этого жеста.

— Он совершенно правильно произносит текст, — признал Энтони.

Зал совета был богато украшен лепниной; туда и сюда проходили сенаторы в красных мантиях. И вот снова появился Отелло.

Все еще по-королевски величествен, но королевское благородство на этот раз выражалось не в командах, не в поднятии руки, а выше — в божественной надмирности его слов, спокойной, величественной музыке.

Говорил я

Ему о том, что мне встречать случалось

Во времена странствий: о больших пещерах,

Бесплоднейших пустынях, страшных безднах,

Утесах неприступных и горах,

Вершинами касающихся неба…

Ее губы пошевелились, когда она повторила за ним знакомые слова — знакомые, но видоизмененные голосом, позой говорящего, местом действия, и, хоть она знала их наизусть, они казались совершенно новыми. И вот наконец вышла Дездемона, юная, прекрасная; ее шея и обнаженные плечи хрупко и нежно поднимались над тяжелым, величественным платьем. Роскошная парча, и под нею восхитительно манящее девичье тело; прекрасные слова девичьим голосом.

…Вы мой глава, я ваша дочь, родитель,

Но вот мой муж.

Она снова почувствовала, как по ее спине бегут мурашки. И вот все удалились, Отелло, Дездемона, сенаторы, воины, вся красота, все благородство — остались только Яго и Родриго, что

шептались в пустом покое. «Когда насытится его телом, то увидит, как ошиблась». И затем тот жуткий монолог. Намеренное, сознательное зло…

Аплодисменты, свет, возвещающий об антракте, были почти святотатством, и, когда Энтони предложил купить ей коробку шоколада, она почти негодующе отказалась.

— Как ты думаешь, есть ли такие люди, как Яго? — спросила она.

Он покачал головой.

— Люди не признаются себе в том, что зло, которое они совершают, есть зло. Они поступают так, не отдавая себе отчета. Или же изобретают причины, по которым верят, что так правильно. Яго — плохой человек, который пропускает суждения других людей мимо ушей.

Свет снова потух. Началась сцена на Кипре. Они увидели Дездемону и Отелло под палящим солнцем и охраняющую нежность его любви!

Солнце село. В сумеречном помещении, между каменных стен пили, ругались, бряцали мечами и снова Отелло королевским приказом, требующим молчания, призвал к повиновению. Последним королевским приказом. В последующих сценах было невыносимо смотреть на великого воина, сановитого дворянина, благородного венециан-

ца, превращающегося под ударами Яго в негра, дикаря, неуправляемого, первобытного неандертальца. «Платок… Признался… Платок!.. Носы, уши, губы! Возможно ли?» И потом намерение убить. «Не умерщвляйте ее ядом; задушить ее на постели, той самой постели, которую она опозорила». И затем жуткое излияние его гнева на Дездемону, удар, нанесенный публично; унизительное уединение в запертой комнате и диалог между девушкой, вставшей на колени, и Отелло, моментально обретшим здравомыслие, но здравомыслие низкое, неблагородное, такое, как у Яго, цинично признающего только худшее, верящего в возможность свершения только того, что было самым низменным.

Ну, извини; а я тебя считал
Венецианской хитрою девчонкой,
Успевшей за Отелло выйти замуж.

У него в голосе была омерзительная нота издевки, отдающая жутким пошлым смехом. Джоан невольно начала дрожать.

— Это невыносимо, — прошептала она Энтони между картинами. — Зная о том, что должно случиться. Это слишком ужасно. Я просто не могу этого вынести.

Ее лицо побледнело; она говорила с искренней силой чувства.

— Тогда давай уйдем, — предложил он. — Прямо сейчас.

Она замотала головой.

— Нет, нет. Я должна досмотреть до конца. Должна.

— Но если тебе не вынести…

— Не проси меня объяснить. Не сейчас…

Занавес снова поднялся.

У матери моей жила служанка —
Барбарою звалась она; у ней
Любовник был; но изменил и бросил
Бедняжку он. Я помню, у нее
Была тогда об иве песня…

Ее сердце учащенно билось и болело от ожидания трагедии. Почти детским голосом, сладостным, но тоненьким и не поставленным Дездемона начала петь:

Бедняжка сидела в тени сикоморы, вздыхая,
О, ива, зеленая ива!

Неясный образ возник перед глазами Джоан; слезы покатились по ее щекам.

Наконец спектакль кончился, и они вышли на улицу. Джоан глубоко вздохнула.

— Я хочу идти, милю за милей, без остановки.

— Но ты же не можешь этого сделать, — коротко сказал он. — Во всяком случае, не в этом платье.

Джоан взглянула на него с выражением болезненного удивления.

— Ты сердишься на меня? — спросила она.

Покраснев, он не нашел ничего лучшего, как улыбнуться.

— Сержусь? С чего это я должен сердиться? — Но она была, конечно, права. Он был сердит — сердит на все и всех, кто был виной теперешнего невыносимого положения: на Мери, за то, что она впутала его во все это, на себя, за то, что позволил себя связать, на Джоан, за то, что она была предметом того жуткого пари, на Брайана, потому что на нем лежала полная ответственность за все случившееся, и даже на Шекспира, актеров и теснящуюся толпу.

— Ну не сердись, — взмолилась она. — Сегодня такой чудесный вечер. Если б ты знал, как восхитительно я чувствую себя благодаря тебе! Но мне приходится быть слишком осторожной с восхищением. Все равно что нести чашку, наполненную до краев. Малейший толчок — и

все пропало. Так дай же я спокойно донесу ее до дома.

Ее слова заставили его смутиться, почти почувствовать за собой вину. Он нервно засмеялся.

— Как ты думаешь, тебе удастся спокойно довезти ее до дома в экипаже? — спросил он.

Ее лицо осветилось от удовольствия, вызванного этим предложением. Он помахал рукой, и кеб остановился перед ними. Они забрались внутрь и закрыли за собой дверь. Кебмен потянул за удила. Старая лошадь прошла несколько шагов и затем, после удара кнутом, пустилась очень медленной рысью. Мимо Ковентри-стрит, через горящий огнями цирк, на Пиккадилли. Над шпилем собора Святого Иакова растворенная чернота неба светилась медным свечением. Отражавшаяся в антрацитной мгле дороги длинная перспектива фонарей казалась невыразимо печальной, как напоминание о смерти. Но вот показались деревья Грин-парка — яркие, дышащие неземной, почти весенней свежестью там, где свет фонарей касался листьев. Жизнь царила так же, как и смерть.

Джоан сидела не говоря ни слова, бережно удерживая в душе хрупкую чашу неведомого блаженства, в которую также была налита сильнейшая печаль. Дездемона была мертва, Отелло

мертв, и фонари, удалявшиеся навсегда сужающейся галереей, стали символами их участи. И все-таки уныние сходящихся параллелей и скорбь после трагедии были такими же неотъемлемыми составляющими ее теперешней радости и восторга, вызванного красотой поэзии, как и радость и почти аллегорическая красота тех сияющих листьев. Но эта ее радость не была каким-то одним, особенным чувством, затмевающим все другие; это были все чувства, слитые воедино, — состояние, может быть, цельной и неделимой тревоги. Голоса и отголоски ужаса, восторга, жалости и смеха — все гармонично уживалось в ее сознании. Она сидела там, за лошадью, бегущей мелкой рысью, спокойная, но спокойствие это содержало в себе накал сколь угодно сильной страсти. Печаль, радость, боязнь, веселье — неразделимо, необыкновенно переплелись во всем ее существе. Она лелеяла в душе призрачное чудо.

Экипаж, думал он, был самым надежным местом. Они подъехали уже к углу Гайд-парка; к этому времени он уже должен был по крайней мере держать ее за руку. Но она сидела, как статуя, глядя в пустое пространство, в потусторонний мир. И если бы кто-то грубо вернул ее в сферу

реальности, она бы обрушила на того человека свой гнев.

«Мне нужно придумать версию для Мери, — решил он. — Но это не так уж легко». У Мери был исключительный талант распознавать ложь.

Старая лошадь в упряжи осторожно замедлила ход и остановилась. Они приехали. «Ой как быстро, — подумала Джоан, — ой как быстро». Она бы могла ехать так вечно, молчаливо нежась в лучах несказанной радости. Она вздохнула, едва ступив на тротуар.

— Тетушка Фэнни просила, чтобы ты зашел пожелать ей спокойной ночи, если она еще не ляжет.

Это означало, что последняя надежда на это исчезла, подумал он, последовав за ней в слабо освещенную прихожую.

— Тетушка Фэнни! — тихо позвала Джоан, открывшая дверь в гостиную. Но ответа не последовало; в комнате царил мрак.

— Легла спать?

Она повернулась к нему и утвердительно кивнула. Буквально секунду они молча стояли лицом к лицу.

— Мне пора идти, — наконец вымолвил он.

— Сегодня был удивительный вечер, Энтони.

Просто удивительный.

— Я рад, что тебе понравилось. — За улыбкой-ширмой он думал и понимал, что последний шанс еще не упущен.

— Это было больше, чем просто удовольствие, — говорила она. — Я не знаю, как назвать то, что было. — Она улыбнулась ему и добавила: — До свидания. — И протянула руку.

Энтони взял ее, сказал «до свидания» в ответ, затем, внезапно решив, что это может быть теперь или никогда, обнял ее за плечи и поцеловал.

Внезапность его решения и смущение придали его движениям неуклюжую резкость, неотличимую от той, которая могла бы быть результатом импульсивного влечения, не поддающегося никаким правилам рассудка. Сперва его губы коснулись ее щеки, затем прильнули ко рту. Она пыталась отвернуться, спрятаться; но движение было совершено почти до того, как началось. Она прильнула к его губам своими, повинуясь неожиданному порыву. Размытое и непостижимое чувство, наполнявшее ее весь вечер, внезапно обрело реальные формы, превратившись в почти сокрушительное наслаждение, которое, начиная от губ, овладело всем ее телом и разумом. Изумление и гнев первой секунды были поглощены

бурей новых ощущений. Казалось, будто тихие сумерки внезапно зажглись ярким пламенем, будто расслабленные, немые струны музыкального инструмента вдруг натянулись и стали вибрировать, издавая резкие и пронзительные звуки, пока наконец яркость и напряжение не истощились после чрезмерного накала. Она чувствовала, словно внутри у нее возникла пустота, разверзлась пропасть мрака.

Энтони ощущал, как тяжелеет в его руках ее тело. Оно стало настолько тяжелым, что Энтони едва не потерял равновесие. Собравшись с силами, он еще сильнее прижал ее к себе.

— Что с тобой, Джоан?

Она не ответила, прильнув лбом к его плечу.

Он чувствовал, что если сейчас отпустит Джоан, то она упадет. По всей видимости, ей внезапно стало дурно. Он уже собирался позвать на помощь, разбудить тетушку, объяснить, что случилось… В отчаянии раздумывая, что делать, он огляделся вокруг. Лампа в прихожей бросала полоску света сквозь открытую дверь гостиной, так что был виден край дивана, обитого желтым ситцем. Все еще держа ее одной рукой за плечи, он нагнулся и подхватил ее под коленями; затем с усилием (поскольку она оказалась тяжелее,

чем он предполагал) поднял ее на руки, пронес по узкой освещенной полосе, ведшей во тьму, и мягко, насколько смог, опустил ее на диван.

Встав на колени перед ней, он спросил:

— С тобой все в порядке?

Джоан глубоко вздохнула, приложила руку ко лбу, затем открыла глаза и взглянула на него мимолетным взглядом; охваченная робостью и стыдом, она закрыла лицо руками.

— Прости меня, — прошептала она. — Я не понимаю, что случилось. Я внезапно потеряла сознание. — Она помолчала секунду; лампы снова зажглись, нити накаливания колебались, но слегка, щадя зрение. Она вновь опустила руки и повернула лицо к нему, застенчиво улыбаясь.

Когда его глаза привыкли к слабому свету, он заботливо взглянул ей в лицо. Слава Богу, с ней, казалось, было все в порядке. Ему не нужно звать тетушку. Чувство облегчения было настолько глубоким, что он взял ее руку и нежно сжал ее.

— Ты не сердишься на меня, Энтони?

— А почему я должен сердиться?

— Ну, у тебя есть все права. Так упасть в обморок… — Она чувствовала, что лицо ее было обнаженным и открытым; освободив руку от его хватки, она снова была вынуждена скрывать свой

стыд. Так упасть в обморок… Воспоминание унизило ее. Помыслив о том внезапном, безмолвном, сильном его жесте, она сказала себе: «Он меня любит. А Брайан? Но существует ли Брайан?» Его нет, и таинственная сила заставила Джоан думать, что его не будет никогда и не может быть. Все, что она ощущала, было желание, присутствие рук и губ, присутствие сильное, ждущее вновь выразиться в поцелуях, как те. Грудь ее вздымалась, но она не ощущала этого, словно за нее дышал кто-то другой. «Он любит меня», — повторила она: это было тому подтверждением. Она убрала руки с лица, несколько мгновений смотрела на Энтони, потом протянула руки и, прошептав его имя, с силой притянула к себе его голову.

— Ну, и каков результат? — выкрикнула Мери, лежащая на диване, когда он вошел. По унылому выражению лица Энтони она сочла, что выиграла пари, и это повергло ее в уныние. Внезапно она почувствовала по отношению к нему сильный гнев — гнев вдвое и втрое более ожесточенный, чем раньше, за то, что он был так бессилен, из-за того, что он не потрудился выполнить то, что ему надлежало; потому что сделал то, чего она меньше всего хотела. После дня езды на машине с Сидни Гэттиком она пришла к выводу, что он был

абсолютно невыносим. Энтони, наоборот, казался самым очаровательным из всех мужчин. Она не хотела выгонять его, даже временно, но ее угроза прозвучала громко и недвусмысленно; если бы она не привела ее в действие, по крайней мере частично, весь ее авторитет был бы подорван. А теперь бедняга вынуждал ее сдержать слово. Рассерженно-упрекающим тоном она произнесла:

— Струсил и проиграл. По тебе это заметно.

Он покачал головой.

— Нет, я выиграл.

Мери с сомнением взглянула на него.

— По-моему, ты лжешь.

— Нет. — Он сел рядом с ней на диван.

— Тогда почему ты выглядишь так угрюмо? Мне это не очень-то льстит.

— Какого черта ты заставила меня сделать это? — взорвался он. — Все выглядело идиотски. — Это было мерзко, но Мери всего-навсего рассмеялась бы, произнеси он вслух это слово. — Я с самого начала знал, что это будет по-идиотски. Но ты настояла. — Его голос был резким, в нем слышались жалоба и возмущение. — И теперь бог знает как это аукнется. Что потом будет с Джоан и с Брайаном, если на то пошло. Бог знает.

— Но объясни! — кричала Мери Эмберли. —

Объясни. Не витийствуй, как малый пророк. — Ее глаза горели насмешливым любопытством. Она предощущала какую-то восхитительно-волшебную историю. — Расскажи, — повторила она.

— Я просто сделал то, что ты мне велела, — тускло ответил он.

— Герой!

— В этом нет ничего смешного.

— В чем дело? Ты получил пощечину?

Энтони сердито нахмурился и замотал головой.

— Тогда как она это восприняла?

— В этом-то вся и беда. Она восприняла это серьезно.

— Серьезно? — переспросила Мери. — Ты хочешь сказать, что она угрожала рассказать обо всем отцу?

— Нет, она как раз подумала, что я в нее влюблен. Она хочет порвать с Брайаном.

Миссис Эмберли запрокинула голову и разразилась звонким, раскатистым смехом.

Энтони почувствовал, что звереет.

— Я не шучу.

— Вот где была твоя ошибка. — Мери утерла глаза и глубоко вздохнула. — Это одна из лучших шуток, которые я когда-либо слышала. Но что ты

предлагаешь делать?

— Мне придется сказать ей, что это была ошибка.

— Будет восхитительная сцена!

Он покачал головой.

— Я напишу письмо.

— Смело, как и всегда! — Она похлопала его по колену. — Ну а теперь я хочу услышать подробности. Как получилось, что ты дал ей зайти так далеко? До того, что она подумала, что ты в нее влюблен. До того, что она собирается разорвать с Брайаном. Ты не мог подавить это в зародыше?

— Это было трудно, — пробормотал он, избегая ее инквизиторского взгляда. — Ситуация, понимаешь, слегка вышла из-под контроля.

— То есть ты потерял голову.

— Если хочешь, то да, — неохотно признался он, думая о том, каким он оказался глупцом, каким несусветным олухом.

Ему, несомненно, следовало отступить, когда она пошла с ним на сближение в темноте; он должен был воспрепятствовать ее поцелуям, быть уверенным, что его собственные были невинными и не имели подоплеки. Но вместо этого он отвечал на них — из лени или трусости, потому что требовалось слишком серьезное усилие, что-

бы сделать необходимые и обязательно сложные объяснения; из слабой и неуместной душевной доброты, поскольку это могло причинить ей боль или унизить ее, если бы он сказал «нет» и вызвать страдание, которое, как он собственными глазами видел, было нестерпимым. И, принимая ее поцелуи, он испытывал блаженство, отвечал на них со страстностью, которая как он знал, была результатом всего-навсего неглубокой, минутной чувственности, но которую Джоан теперь, это было очевидно (но он знал об этом еще тогда), неизбежно стала бы рассматривать как само собой возникшую, для которой она стала особым и неуничтожимым предметом. Сторонний наблюдатель сказал бы, что он сделал все от него зависящее, чтобы создать наибольшее непонимание в кратчайшее время.

— Как ты предлагаешь выпутываться из этого? — спросила Мери.

Он ненавидел ее за то, что она задала этот вопрос, так мучивший его.

— Я напишу ей письмо, — ответил он, словно это могло сойти за нормальный ответ.

— А что об этом скажет Брайан?

— Я собираюсь поехать с ним на озера послезавтра, — отвечал Энтони, словно это не имело

отношения к предмету разговора.

— Как Во-ордсворт, — протянула Мери. — Здорово это будет. А что конкретно ты собираешься сказать ему о Джоан? — неумолимо продолжала она.

— Ну, я объяснюсь.

— Но, предположим, Джоан объяснится первой — под другим углом?

Он покачал головой.

— Я сказал ей, что не хочу, чтобы она писала Брайану до того, как я поговорю с ним.

— И ты думаешь, она тебя послушает?

— А почему нет?

В ответ Мери пожала плечами и взглянула на него, лукаво улыбаясь, ее глаза блестели за сощуренными веками.

— А почему, собственно говоря, да?

Глава 34

3 марта 1928 г.

«Реорганизация»… «Перестройка»… «Список капиталовложений в свете существующих условий торговли». Энтони оторвал глаза от напечатанной страницы. Упершись локтями в подушки, Мери Эмберли смотрела на него, как он заметил, внимательно и смущенно.

— Ну? — спросила она, подаваясь вперед. Выкрашенные хной до неприлично рыжего цвета, ее растрепанные волосы пьяно ниспадали на лоб. Ночная рубашка распахивалась, когда она двигалась, под замусоленными кружевами ее грудь тяжело вздымалась в опасной близости от него. — Что это все значит?

— Это значит, что тебя собираются разорить.

— Разорить?

— Платя тебе шесть шиллингов и восемь пенсов с каждого фунта.

— Но Джерри сказал мне, что у них великолепно идут дела, — запротестовала она рассерженно-жалобным тоном.

— Джерри не знает всего, — милостиво объ-

яснил он.

Но конечно же, этот прохвост знал все слишком хорошо; знал и видел выгоду в своем знании, когда акционеры не скупясь вознаградили его, желая сбыть свои приобретения перед обвалом.

— Почему ты не спросишь его об этом? — В его голосе слышалось некоторое возмущение, которое он почувствовал этим вечером сразу же по возвращении из Нью-Йорка, когда его втянули в запутанные обстоятельства денежной трагедии Мери. Любой другой, предполагал он, бросил бы ее с того момента, как она начала принимать морфий; единственный из ее друзей, проведший вне Англии полгода, он еще не имел случая и не нашел повода, чтобы скрыться. Его отъезд сохранил их дружбу, словно замороженные продукты, в том же состоянии, в котором она была, когда он уезжал. Когда она срочно попросила его вернуться, у него не нашлось причин отказываться. Кроме того, слухи были преувеличены; она не могла быть настолько испорченной, насколько ее изобразили.

— Почему бы тебе не спросить его? — раздраженно повторил он.

— Он уехал в Канаду.

— Ах, он уехал в Канаду…

Наступила пауза. Он положил акцию на одеяло. Миссис Эмберли взяла ее и перечитала в ней написанное — в сотый раз, надеясь выискать в ней что-то новое, что-то отличное от того, что было.

Энтони взглянул на нее. Лампа на ночном столике освещала ее профиль с безжалостно откровенной ослепительностью. Какие впалые у нее щеки! И эти морщины вокруг рта, обрюзгшие мешки под глазами! Вспоминая, как она выглядела в тот раз, когда он последний раз видел ее, тогда в Беркшире, всего лишь прошлым летом, Энтони ужаснулся. Наркотик состарил ее на двадцать лет за считаные месяцы. И не только тело ее было испорчено; морфий изменил и ее характер, превратил ее в другого, несравненно худшего человека. Та обворожительная рассеянность, например, та невыразительность, которой, как и любым другим средством женской привлекательности, она всегда с некоторым раздражением гордилась, теперь превратились почти в идиотское безразличие. Она стала забывчивой, на многое не обращала внимания; вдобавок ко всему ничего не желала делать и не могла терпеть любого беспокойства. Ее волосы, экстравагантно накрашенные (в надежде, как ему показалось, приобрести большую привлекатель-

ность, которую она уже сама не могла не считать потерянной) были жирными и нерасчесанными. Мазок красной краски, неумело наложенный, сделал ее нижнюю губу бесформенной и асимметричной. Сигаретный окурок прожег пуховое одеяло, и его перья трепыхались, как снежные хлопья, всякий раз, когда она двигалась. Подушки измазаны яичными румянами. На простыни красовалось пятно от кофе. Между ее телом и стеной опасно накренился поднос, на котором стоял принесенный ей ужин. Столовый нож, все еще в подливке, соскользнул на пододеяльник.

Внезапным движением миссис Эмберли скомкала акцию и швырнула ее прочь.

— Эта сволочь! — крикнула она голосом, дрожащим от гнева. — Эта сволочь буквально силой заставила меня вложить деньги. И вот — посмотри, что случилось! — Слезы навернулись ей на глаза, и черная краска потекла с ресниц по щекам, оставляя длинные темные следы. — Он специально сделал это, — продолжала она, все так же сердито всхлипывая. — Только для того, чтобы навредить мне. Он натуральный садист. Ему доставляет удовольствие причинять людям боль. Он сделал это ради наслаждения.

«Ради выгоды», — чуть не сказал Энтони, но

осекся. Может быть, ее слегка утешала мысль о том, что ее обманули не из грубых коммерческих интересов, а из дьявольской злобы, таящейся и проистекающей в любовной страсти. Было бы негуманно лишать ее этой иллюзии. Пусть бедная женщина допускает к себе мысли наименее болезненные и унижающие. Вдобавок, чем менее противоречивой и сбившейся с пути она будет, тем скорее она перестанет колоться. Разумно и рассудительно он удовлетворился ни к чему не обязывающим кивком.

— Когда я думаю о всем том, что я сделала для этого человека! — снова не выдержала миссис Эмберли. Но пока она оглашала свой невнятный перечень благодеяний и уступок, Энтони не мог удержаться, чтобы не подумать, что этот человек сделал для нее, сверх того, в выражениях, в которых Джерри обычно описывал свои деяния. Грубые, невыразимо циничные термины. Он словно упражнялся в том, чтобы говорить гадости. Было страшно, хотелось нервно смеяться и было стыдно, что такие недопустимые грубости могут содержать долю правды. И вот — все это оказалось правдой.

— Весь цвет лондонской интеллигенции, — продолжала всхлипывать миссис Эмберли. — Со

всеми ними он встречался у меня дома.

«Эти старые ведьмы! — Голос Джерри Уотчета отчетливо звучал в памяти Энтони. — Они все сделают, чтобы завладеть этим, абсолютно все».

— Что-то не видно, чтобы он когда-либо ценил их, — продолжала она. — Он был слишком глуп для этого, слишком некультурен.

«Не просто старая ведьма, однако, если она просит дорого за молчание. Проблема в том, чтобы дать ей достаточно. Это не такая уж простая задача, смею тебя заверить».

Тон ее голоса сменился от разгневанного до жалобного.

— Но что мне делать? — взмолилась она. — Что я могу сделать? У меня нет ни гроша. Я живу на подаяние.

Он пытался убедить ее в обратном. Что-то обязательно оставалось. Небольшая, но достаточно приличная сумма. С голоду она никогда не умрет. Если бы она жила умеренно, если бы научилась экономить…

— Но мне придется снять более дешевую квартиру, — прервала она его и, когда он согласился, что ей, несомненно, придется отсюда съехать, выдала новую, более громкую порцию жалоб. Сменить жилье на более дешевое еще хуже, чем

остаться без гроша и жить на милостыню — хуже, потому что более ощутимо. Без картин на стенах, без ее мебели — как она могла жить? Она и так физически больна, и теперь переезд в маленькие комнаты — да у нее там разовьется клаустрофобия. И как ей обойтись без необходимых книг? Как он надеялся, что стесненные обстоятельства заставят ее начать работать. Ведь ей, конечно, придется работать; она уже думала написать критическое исследование одного современного французского романа. Да, как он хотел, чтобы они это сделала, если благодаря ему она лишалась литературы?

Энтони беспокойно завертелся в кресле.

— Я не ожидаю от тебя ничего, — сказал он. — Я просто говорю о том, что ты сама сочтешь нужным сделать.

Они долго молчали. Затем, с едва заметной улыбкой, которую она попыталась сделать вкрадчивой и обаятельной, она проговорила:

— Теперь ты будешь на меня сердиться.

— Нисколько. Я просто хочу, чтобы ты реально посмотрела в лицо фактам. — Он поднялся и, почувствовав реальную опасность быть сильно втянутым в беды Мери, символически заявил о своем праве на свободу тем, что стал ходить

взад-вперед по комнате.

«Я должен поговорить с ней о морфии, — думал он, — попытаться убедить ее лечь в больницу и вылечиться. Для ее же пользы. Ради бедной Элен». Но он знал Мери. Она начнет сопротивляться, будет кричать, впадет в раж. Будет выть, как волк. Или, что еще хуже, гораздо хуже, подумал он с содроганием: она раскается, пообещает бросить, изойдет слезами. Окажется, что он ее единственный друг, моральная опора в жизни. В результате он не сказал ничего. «Это не доведет ее до добра, — уверял себя он. — От случаев с морфием ничего хорошего не жди».

— Нужно трезво оценивать реальность, — произнес он вслух Бессмысленная банальность, но что еще он мог сказать?

Неожиданно, с покорной быстротой, которую он нашел определенно недоброй, она согласилась с ним. Согласилась всецело. Нечего было плакать над разлитым молоком или строить воздушные замки. Необходим план — множество планов — серьезных, практичных, мудрых планов новой жизни. Она улыбнулась ему с некоторой долей потворства, словно они были парой конспираторов.

Неохотно, с недоверием он принял ее пригла-

шение посидеть на краешке кровати. Планы разворачивались сами — достаточно серьезные. Маленькая квартирка в Хэмпстеде. Или же небольшой домик на одной из грязных улочек рядом с Кингз-роуд, в Челси. Время от времени она даже сможет устраивать недорогие вечеринки. Будут приходить настоящие друзья, несмотря на скромность предложенного — они ведь не откажутся. Она упорствовала с довольно жалким желанием, чтобы ее переубедили.

— Конечно, — пришлось сказать ему, хоть не дешевизна заставляла их избегать ее общества, а грязь, нищета, морфий, этот невыносимый запах эфира при дыхании.

— Можно устраивать винные вечеринки, — говорила она. — Это будет здорово! — Ее лицо засветилось. — Ты, Энтони, какую бутылку принесешь? — И до того, как он успел ответить, она продолжала: — Нам будет бесконечно туго с напитками. Бесконечно… — И секунду спустя она принялась рассказывать о внимании, которым Джордж Уиверн вдруг принялся окружать ее тогда. Довольно странно при таких обстоятельствах, видя к тому же, что Сэлли Уиверн тоже… Она улыбнулась своей загадочной улыбкой — со сжатыми губами и полузакрытыми глазами. И

что уж было совсем удивительно — даже старина Ледвидж недавно подавал ей знаки…

Энтони удивленно слушал. Те сочувствующие, немногие, но настоящие друзья превратились, словно по воле колдовства, в натуральную стаю пылких любовников. Верила ли она серьезно в свои собственные планы? Но так или иначе, продолжал размышлять он, это, казалось, не играло никакой роли. Даже невыполнимые, эти фантазии определенно могли поднять ее дух, восстановить ее, по крайней мере временно, до состояния бодрой самоуверенности.

— В тот раз в Париже, — говорила она с той откровенностью, на которую только была способна. — Ты помнишь?

Но это было ужасно.

— Отель «Сен-Пер». — Ее голос завибрировал и потонул в низком гортанном смехе.

Энтони кивнул, не поднимая головы. Она, видимо, хотела, чтобы он ответил ей хотя бы намеком на многозначительную улыбку, вызванную скабрезным напоминанием о той старой шутке о святых отцах и их развлечениях с высшей церковной санкции. На их жаргоне «поиграть в святого отца» или, более идиоматично, «сыграть святошу» означало «заняться любовью». Он

нахмурился, внезапно разгневавшись. Как она посмела?…

Шли секунды. Сделав отчаянное усилие, чтобы заполнить ледяную пропасть молчания, Мери произнесла, словно сентиментально вспоминая о прошлом:

— Мы славно веселились тогда.

— Славно, — повторил он голосом как можно более вялым.

Внезапно она схватила его за руку.

— Энтони, милый!

«О Боже!» — подумал он и попытался как можно вежливее высвободиться, но хватка горячих и сухих пальцев не ослабевала.

— Как мы были глупы, когда ссорились, — продолжала она. — Точнее, я была глупа.

— Не так-то уж, — вежливо заметил он.

— Это дурацкое пари. — Она покачала головой. — И Сидни…

— Ты добилась того, что хотела.

— Я напоролась на то, чего не хотела, — быстро возразила она. — Всегда выходит то, чего не хочешь — глупо, из чистой вредности. Выбираешь худшее только потому, что оно худшее. Гиперион против сатира — и, следовательно, сатир.

— Но при определенных целях, — не выдержав,

произнес он, — сатир лучше удовлетворяет.

Не обращая внимания на его слова, Мери Эмберли вздохнула и закрыла глаза.

— Делаешь то, чего не хочешь, — повторила она, словно про себя. — Всегда делаешь то, чего не хочешь. — Она разжала пальцы и, положив ладонь под голову, откинулась на подушки с уверенностью — старой знакомой уверенностью, что в отеле «Сен-Пер» была та сладостная по своей изящности беззаботность, дико-волнующая из-за белой тесемки, перевязанной вокруг горла, как у жертвы, выпяченных грудей, поднятых и твердых под кружевами. Но сегодня кружева были грязными и рваными, груди изможденно обвисли, горло жертвы было не более чем увядшей плотью, сморщившейся, полой между вздувшихся сухожилий.

Она открыла глаза, и он с испугом узнал взгляд, который она бросила ему, как тот же самый, фотографически тот же взгляд, одновременно полуобморочный и циничный, насмешливый и вяло-рассеянный, который неудержимо манил его тогда, в Париже, пятнадцать лет назад. Это был взгляд тринадцатого года на лице двадцать восьмого — болезненно неуместный. Он в ужасе вглядывался в ее черты секунду или две, затем

решился нарушить молчание:

— Мне нужно идти.

Но до того, как он успел подняться, миссис Эмберли быстро нагнулась вперед и положила руки ему на плечи.

— Нет, не уходи. Тебе нельзя уходить. — Она пыталась повторить то весело-соблазнительное приглашение, но не смогла скрыть сильное волнение, таившееся в ее глазах.

Энтони покачал головой и, несмотря на запах эфира, искренне улыбался, когда лгал насчет званого ужина, на который ему нужно было поспеть к одиннадцати. Стоя у края кровати, он мягко, но точным и решительным движением отвел ее пленяющие руки.

— Спокойной ночи, дорогая Мери! — Его голос был теплым: теперь он мог позволить себе быть дружелюбным. — *Bon courage!*[179] — Он сжал ее запястья, затем, нагнувшись, поцеловал руки — сперва одну, потом другую. Затем он поднялся и, как только путь к свободе открылся перед ним, почувствовал, что свобода позволит ему любую экстравагантность чувств. Но вместо того, чтобы что-то сказать, Мери Эмберли посмотрела

---

[179] Примечания: 179
Будь молодцом! (*фр.*)

на него взглядом, теперь уже пристальным и недвижным, словно каменным от неминуемого несчастья. Маска, которая казалась ему светящейся любовной капризностью, внезапно стала жуткой от столкновения с реальностью. Он всем своим существом почувствовал эту неуместность. Дурак, лицемер, трус! И он почти бегом рванулся к двери и ринулся вниз по ступенькам.

«Если женщина, — читала Элен в Британской энциклопедии, — принимает яд или любое вредное вещество, или же незаконно использует любой инструмент, производящий выкидыш, она виновна в...» Звук шагов Энтони достиг ее уха. Она встала, быстро прошла к двери и оттуда на лестничную площадку.

— Ну? — Она не улыбнулась в ответ на его приветствие и сделала вид, что его приход не вызвал у нее никакой радости. Когда она обратила к нему свое лицо, в нем было лишь беспокойство, лишенное жеманства, столь характерного для ее матери.

— Что с тобой, Элен? — Он был настолько испуган, что выкрикнул эти слова. Она несколько секунд смотрела на него молча, затем покачала головой и начала расспрашивать его об акциях и финансовом положении.

Очевидно, думал он, отвечая на ее вопросы, известие воспринимается как трагическое. Но трагическое до такой степени — он взглянул на нее: нет, этого невозможно было ожидать. Вряд ли девушка испытывала дикую привязанность к своей матери. Да и как она могла иметь место при волчьем эгоизме Мери? И в конце концов, прошло около года с той поры, как несчастная женщина начала прибегать к морфию. Можно было рассчитывать, что к этому времени ужас потерял часть своей силы. И все-таки он никогда не видел лица более несчастного. Такая молодость, такая свежесть — невероятно, чтобы такое лицо могло ассоциироваться с подобным выражением отчаяния. Один лишь вид Элен вызывал в нем странное чувство вины, чувство ответственности. Но когда он сделал очередной жест искреннего участия, она только покачала головой и отвернулась.

— Тебе лучше уйти, — бросила она.

Энтони секунду поколебался и затем ушел. В конце концов, она этого хотела. Все еще чувствуя за собой вину, но испытав полное облегчение, он закрыл за собой парадную дверь и, глубоко вздохнув, направился к станции метро.

Элен снова обратилась к энциклопедии. «…Про-

изводящий выкидыш, она виновна в преступлении и подлежит наказанию в виде пожизненных исправительных работ, но не менее трех лет, или тюремного заключения сроком до двух лет. В случае если ребенок рождается живым…» Но там не были перечислены ни необходимые яды, ни инструменты, ни как ими пользоваться. Только эта глупая ерунда насчет тюремного заключения. Еще одна лазейка закрылась перед ней. Казалось, словно целый мир сговорился, чтобы запереть ее наедине с жгучей, невыносимой тайной.

Часы в задней гостиной мелодично пробили одиннадцать. Элен поднялась, поставила тяжелый фолиант на место и прошла наверх в комнату матери.

Мери Эмберли в это время была занята тем, что с печальной медлительностью, но весьма ловко и осторожно наполняла шприц для подкожного впрыскивания содержимым маленькой стеклянной ампулы. Она встрепенулась, лишь только открылась дверь, подняла глаза, судорожным жестом пытаясь спрятать шприц и ампулу в постельном белье, затем, боясь пролить хоть малую часть драгоценной жидкости, застыла на месте.

— Уходи отсюда! — гневно крикнула она. — И вообще, откуда у тебя эта привычка входить без

предупреждения? Я никому не позволяю входить к себе без предварительного стука, — повторила она еще более резко, обрадовавшись внезапному оправданию своему гневу.

Элен постояла секунду или две в дверях, практически без движения, словно не веря тому, что говорили ей ее глаза; затем стремительно прошла в центр комнаты.

— Дай мне эти вещи, — сказала она, протягивая руку.

Миссис Эмберли отступила к стене.

— Убирайся, — закричала она.

— Но ты обещала…

— Тебе пригрезилось.

— Ты обещала, мама…

— Нет. И знаешь — я вправе делать все, что хочу.

Не говоря ни слова, Элен шагнула вперед и схватила мать за запястье. Миссис Эмберли закричала так громко, что Элен, боясь, как бы слуги не пришли посмотреть, что случилось, ослабила хватку.

Миссис Эмберли прекратила кричать, но взгляд, которым она смотрела на Элен, был ужасающим по своей злобности.

— Если я из-за тебя разолью хоть каплю вот

этого, — заявила она голосом, дрожащим от гнева, — я тебя убью. Убью тебя, — повторила она.

Они секунду молча смотрели друг на друга. Наконец Элен нарушила тишину.

— Ты хочешь убить меня, — медленно проговорила она, — потому что я не даю тебе убить себя. — Она вздрогнула. — Хорошо, уж если ты действительно хочешь себя доконать. — Она не договорила.

Миссис Эмберли в молчании смотрела на дочь.

— Если ты действительно хочешь… — Она вспомнила слова, которые за несколько минут до того сказала Энтони, и внезапно у нее по щекам покатились слезы. Ее охватила жалость к самой себе. — Ты же не думаешь, что я хочу себе вреда, — сломанным голосом произнесла она. — Я ненавижу это. Ненавижу. Но ничем не могу помочь себе.

Сидя на краешке постели, Элен обняла мать за плечи.

— Мамочка дорогая! — взмолилась она. — Не плачь. Все будет хорошо. — Она была глубоко тронута.

— Это все Джерри виноват, — плакала миссис Эмберли и, не заметив легкого содрогания Элен, продолжала: — Во всем он виноват. Во всем. Я

всегда знала, что он сволочь. Даже тогда, когда я изо всех сил заботилась о нем.

Словно ее мать вдруг стала чужой, той, с кем нельзя было говорить так доверительно, Элен убрала согнутую руку.

— Ты заботилась о нем? — не веря своим ушам прошептала она. — Каким образом?

Отвечая на совершенно другой вопрос, отражая упрек, который не был сделан, миссис Эмберли ответила:

— Я не могла ничего сделать… Как с этим. — Она легко взмахнула рукой, державшей подкожный шприц.

— Ты хочешь сказать, — произнесла Элен очень медленно, словно преодолевая необоримое сопротивление, — хочешь сказать, что… он был твоим любовником?

Странность тона в первый раз после начала их разговора пробудила в душе миссис Эмберли что-то, напоминающее осознание реального, личного присутствия ее дочери. Повернувшись, она взглянула на Элен с удивлением.

— А ты не знала? — Но старшая из женщин увидела невыразимо бледные, непроизвольно дрожащие губы, и ее охватило внезапное раскаяние. — Ой, дорогая моя, прости. Я не думала… Ты

так молода, и ты не понимаешь. Ты не должна… Но куда ты уходишь? Вернись, Элен!..

Дверь хлопнула. Миссис Эмберли рванулась было, чтобы последовать за своей дочерью, но затем, поразмыслив, вновь занялась наполнением шприца.

Глава 35

4 августа 1934 г.

Вернулся удрученный с вечера, на котором была Элен и с полдюжины ее новых политических друзей. Какая страсть к «ликвидации» тех, кто с ними не согласен! И такая искренняя убежденность в том, что ликвидация необходима!

Революция — только ее и ждут. Займитесь проблемой реформ исключительно в сфере политики и экономики — и вам придется признать, что ликвидация необходима.

Вспомните Новую историю. Рост промышленности параллельно с ростом населения. Теперь там, где расширяются рынки, две наиважнейших проблемы всех индустриальных государств решатся сами собой. Новые изобретения могут привести к технологической безработице, но расширяющиеся рынки уничтожают ее при возникновении. Отдельный человек может обладать неопределенной покупательной способностью, но средний ее уровень неуклонно растет. Покупательная способность многих делает то же, что раньше делала покупательная способность

немногих.

Численность нашего населения, теперь стабильного, скоро начнет падать. Сужение вместо расширения рынков. Следовательно, не стоит ждать автоматического решения проблемы. Контроль за рождаемостью делает необходимым координированное политическое мышление. План должен быть крупномасштабным. Иначе машина не заработает. Другими словами, политическим деятелям придется быть в двадцать раз более осмотрительными, чем раньше. Будет ли, например, удовлетворена потребность в образованных людях?

И конечно же, образование, как всегда настаивал Миллер, не является изолированным. Система идеологического планирования подразумевает чувства тех, кто будет планировать. Возьмите для примера английскую политику. Мы сделали огромное число преобразований, но не подумали учесть принципы, лежащие в их основе. (Сравните титулы короля с его теперешним положением. Сравните наши протесты против социализма с реальностью государственного регулирования.) В английской политике нет крупномасштабных планов, в ней никогда не шла речь о важнейших принципах. К каким

это привело результатам? Помимо всего прочего английские политические лидеры всегда отличались чрезмерно добрым нравом. Причина тому проста. Решение практических проблем по мере их возникновения и без соответствия ведущим принципам. Политика — это вообще на восемьдесят процентов торговля. Теперь торговцы теряют спокойствие, но не смотрят друг на друга как на дьяволов в человеческом обличье. Но именно от этого не способны удержаться принципиальные люди и те, кто занимается системным планированием. В основе такого принципа лежит право; план, направленный на благо всех людей. Отсюда вытекает логическая аксиома — те, кто не согласен с вашим планом — враг рода человеческого и его блага. Эти люди больше не являются мужчинами или женщинами — они враги, воплощение зла и дьявола. Убивать мужчин и женщин — нехорошо, но убивать порождения дьявола — почетно. Отсюда возникают святая инквизиция, ОГПУ и Робеспьер. То есть люди с сильной, почти фанатичной религиозной или революционной верой, люди с хорошо продуманными планами улучшения судеб их сограждан, в этом мире или в загробном, стали более систематичными и хладнокровно жестокими, чем все

прочие. Мышление посредством примитивных лозунгов влечет за собой использование ружей и дубинок. Правительство со всеобщим планом улучшения жизни общества — это правительство, прибегающее к пытке. *Per contra*[180] если вы никогда не будете руководствоваться принципами и составлять планов, а действовать в каждой ситуации сообразно с обстоятельствами и постепенно, вы сможете себе позволить невооруженную полицию, свободу слова и habeas corpus[181]. Великолепно. Но что произойдет, если индустриальное общество, во-первых, научится осуществлять технологические достижения с постоянно возрастающей скоростью и, во-вторых, изобретет противозачаточные средства? Ответ: оно должно либо осуществлять планирование в соответствии с общими политическими и экономическими принципами, либо развалиться. Но правительства с принципами и планами почти всегда основаны на тирании и прибегают к политическому шпионажу и терроризму. Так нужно ли делать шаг назад к рабству и пыткам ради сплочения нации?

---

[180] Примечания: 180
Зд.: наоборот (*лат.*).

[181] Примечания: 181
Неприкосновенность личности (*лат.*).

Развал, с одной стороны, правление инквизиции и ОГПУ — с другой. Настоящая дилемма, если план в основном касается экономики и политики. Но подумайте о нуждах конкретных людей: мужчин, женщин и детей, а не Государств, Религий, Экономических Систем и тому подобных абстракций — и тогда есть надежда пройти меж двух огней. Поскольку, если вы начнете принимать в расчет интересы народа, вы тотчас же увидите, что свобода от принуждения является необходимым условием их развития до уровня сознательных личностей, что форма экономического процветания, состоящая из обладания предметами, которые не нужны, не ведет к индивидуальному благосостоянию, что досуг, наполненный пассивными развлечениями, не очень-то приятен, что за удобства городской жизни платится высокая физическая и умственная цена, что образование, которое позволяет вам уклоняться не в ту сторону, почти бессмысленно, что социальная организация, которая приводит к принуждению личности, а еще через несколько лет к тому, что люди начинают убивать друг друга, должна быть неправильной. И так далее. А если вы будете исходить из интересов Государства, Религии, Экономической Системы,

произойдет полнейшая переоценка ценностей. Люди должны стрелять друг в друга, потому что интересы Нации этого требуют; людей нужно учить думать о цели и не выбирать средства, потому что учителя не знают никаких других методов; люди должны жить в городах, должны иметь время для досуга, чтобы читать газеты и ходить в кино, им должно внушать смелость покупать вещи, которые им не нужны, ради поддержания государственной промышленности; их нужно принуждать и порабощать, потому что иначе они могут подумать о своих нуждах и тем самым причинить беспокойство своим правителям.

Воскресенье для человека, а не человек для воскресенья. Но человек сейчас ведет себя по-фарисейски и настаивает, что он сотворен ради других вещей — науки, промышленности, нации, денег, религии, образования — всего, что на самом деле сотворено для него. Почему? Потому что он так мало беспокоится о своих общечеловеческих интересах, что чувствует непреодолимое искушение принести себя в жертву этим идолам. Другого средства, кроме как позаботиться о своем будущем, нет, и, когда люди научатся заботиться о себе, им предстоит действовать согласно своим

интересам. А это значит научиться использовать себя и свой разум. Это очень утомительно — постоянно возвращаться к той же самой точке. Но было бы здорово, если бы был другой выход из всех затруднений?! Резкий и простой. Метод, не требующий большего человеческого усилия, кроме как регистрации голоса на выборах или приговора к расстрелу какого-нибудь «врага народа». Спасение извне, как доза каломели [182].

[182] Примечания: 182

Каломель — один из хлоридов ртути, твердое бесцветное вещество, используемое в медицине как противомикробное средство. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Глава 36

19 июля 1914 г.

В поезде, идущем на север, Энтони думал о том, что ему предстояло. В течение следующих двух или в крайнем случае трех дней Брайан должен узнать о том, что произошло, и необходимо было также написать письмо Джоан. Но какими словами? И какие извинения у него были тому, что он совершил? Стоило ли ему говорить всю правду о пари с Мери? Для него правда имела некоторые преимущества; если бы он рассказал ее, он мог свалить большую часть вины за случившееся на Мери — но возникала угроза, продолжал размышлять Энтони, что сам он покажется слабым и безвольным. Но для Джоан вся правда была бы невыносимо унизительной. Как бы он ни винил Мери, Джоан по-прежнему останется оскорбленной. Если бы только он мог рассказать всю правду Брайану и придумать что-либо другое для Джоан!

Но это было невозможно. Им нужно рассказать одну и ту же историю и, ради Джоан, историю, которая была бы вымышленной. Но какую ис-

торию? Какое объяснение этих фактов было бы для него наименее дискредитирующим и повлекло бы наименьший позор для Джоан? В целом, решил он, самым лучшим было бы утверждать, что он потерял голову, что его увлек внезапный порыв, порыв, которому он безумно поддался и потом сожалел об этом. Это был кто-то другой, кто поцеловал ее, — вот что он напишет Джоан. Кто-то другой — но не слишком другой. Она бы обиделась, если бы он заставил ее почувствовать, что этот другой был всего-навсего вислоухим остолопом, случайно попавшим в темную гостиную. Человек, который поцеловал ее, должен был быть частично им самим — Энтони Бивисом. В достаточной мере собой, чтобы сказать, что он был очень к ней привязан и глубоко ей сочувствовал; но кем-нибудь другим до той степени, чтобы в тот вечер позволить обстоятельствам превратить привязанность и сочувствие в… Во что? Любовь? Желание? Нет, он бы поостерегся говорить что-нибудь настолько определенное; он заговорил бы об ошибке, временном умопомрачении, испортившем такие прекрасные отношения, и так далее. Пока он мог всего лишь пояснить, что он ужасно расстроен и чувствует за собой вину; что вина его была сильнее, чем та, которую он испы-

тывал когда-либо, что Брайан единственный, кто достоин ее, что осложнения, которые возникли между нею и Брайаном, всего-навсего временные и скоро… И все остальное.

Да, письмо должно быть достаточно простым. Беда в том, что от него потребуются разъяснения и оправдания, что ему придется выдержать упреки, выслушать доверительные признания, может быть, защищаться от проявлений страсти. И в промежутке нужно будет говорить с Брайаном — а с Брайаном все начнется с расспросов, и чем больше он думал об этих расспросах, тем сложнее ему было предугадать, какую роль Брайан станет играть в них.

Энтони воображал, как ему самому придется объяснять, что он не был влюблен, что Джоан только на время потеряла голову, а он потерял свою, что ничего не изменилось и что Брайану всего-то и нужно было пойти и поцеловать ее самому. Но удастся ли ему заставить Брайана поверить себе? Человек всегда остается собой — это казалось ему вероятным, тем более вероятным, чем дольше он раздумывал и приходил к выводу, что Брайан не поверит. Брайан — человек, который вообразит, что мужчина может поцеловать женщину только по поводу не менее серьезному,

чем чистосердечная любовь. Ему будет сказано, что Джоан приняла поцелуи и ответила на них, и никакая болтовня о потерянных головах не убедит его в том, что не было серьезной любовной авантюры со всем отсюда вытекающим. А затем, раздумывал Энтони, что мужчина делает затем? Он будет унижен, конечно же, он почувствует, что его предали, но так есть шансы, что дело обойдется без ругани. Нет, может случиться нечто похуже. Брайан, вероятно, примет всю вину на себя, откажется от всех своих прав, откажется верить клятве Энтони, что он не был влюблен, что все случившееся всего лишь неудачная шутка. Это была бы слишком мучительная жертва, если Джоан уйдет к человеку, которого она действительно любит и который любит ее. И потом, что, если Джоан согласится? И вероятно, уныло подумал Энтони, вспоминая то, как она отвечала на его поцелуи, она почти наверняка так поступит. Жуткая перспектива! Он не мог себе представить, как столкнется со всем этим. А с какой, собственно, стати ему нужно сталкиваться с этим? Он мог прибегнуть к безопасным средствам — даже выехать из страны и остаться за границей — полгода, может быть, даже год, если необходимо. И глядя на поля, проплываю-

щие за окном, он откинул голову и закрыл глаза, воображая себя в Италии или, если Италия недостаточно далека от Англии, в Греции, в Египте, даже в Индии, на Малайских островах, на Яве. С Мери, поскольку Мери, конечно, пришлось бы отправиться также, по крайней мере на половину срока. Она могла бы оставить детей кому-либо из родственников, а поехать в Египет, раздумывал он, практичный в своих грезах, в межсезонье было довольно дешево, а учитывая панику военного времени, и вообще почти даром. Был ли Луксор таким же внушительным, как он выглядел на фотографиях? А Парфенон? А Пестум?[183] А как теперь обстоят дела в тропиках? В воображении он бороздил океан от острова к острову в Эгейском море, курил гашиш в каирских трущобах, травился героином в Бенаресе, почитывал понемногу Джозефа Конрада[184] в Индии, даже,

[183] Примечания: 183

Пестум (*Посейдония*) — город на юго-западе Италии, выстроенный греками в VI в. до н. э. и существовавший до IX в. н. э. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[184] Примечания: 184

Конрад, Джозеф (1857–1924) — английский писатель польского происхождения, бывший моряком английского торгового флота. Наиболее известны его романы «Сердце тьмы» (1902), «Лорд Джим» (1900). (*Прим. перев. М. Ловина*)

может быть, Лоти[185], несмотря на его чеканно-казенный стиль, среди девочек с медным загаром и гортензий, и разглядывал бы репродукции Гогена, хотя он считал невозможным любить его так, как его любила Мери. Это гипотетическое бегство в будущем было также бегством теперь, сейчас, и он надолго забыл, сидя в углу своего купе, о причине своего предполагаемого побега к экзотике. Память о том, что случилось, явное предвосхищение того, что еще случится, вернулось только с сознанием того, что поезд пересекал Шап Фелл и уже через час он будет разговаривать с Брайаном на платформе в Эмблсайде. Что он должен сказать? Как? Как подготовить его? И какова будет реакция Брайана? Как будет вести себя Джоан, когда получит письмо? Страшные вопросы! Но почему он поставил себя в необходимость отвечать перед ними? Как глупо он поступил, сразу не уехав! К этому времени он был бы уже в Венеции, в Калабрии, на борту корабля в Средиземном море. Там, где даже письма не дойдут к нему. Надежный и счастливый в полном неведении о последствии своих действий. И вдо-

[185] Примечания: 185

Лоти, Пьер (1850–1930) — французский писатель. Продолжительный опыт службы моряком на Востоке нашел отражение в его романах. (*Прим. перев. М. Ловина*)

бавок свободный. И вместо этого он тупо сидел на прежнем месте и довольствовался положением раба обстоятельств, созданных собственной глупостью. Но даже теперь, в одиннадцатом часу, не было слишком поздно. Он мог выйти на следующей станции, вернуться обратно в Лондон, достать немного денег и уехать в течение двадцати четырех часов. Но когда поезд остановился в Кендале, он не сделал ни единого движения. Он всегда чурался принятия внезапных решений. Он ненавидел страдания и с ужасом смотрел вперед, ожидая того, что приготовили ему следующие несколько дней и недель. Но его страх перед страданием был меньше, чем страх перед действием. Он считал, что легче в бездействии ожидать того, что надвигалось, чем сделать решительный выбор и действовать согласно ему.

Когда поезд снова тронулся, он думал о причинах, которые оправдывали его пассивность в принятии решения. Брайан рассчитывал на него и был бы очень обеспокоен, если бы Энтони не приехал. Он, пожалуй, сразу помчится в Лондон, чтобы выяснить, что случилось, встретится с Джоан и моментально обо всем узнает. И как он должен был объясняться с отцом? Кроме того, не было причины думать, что Мери поедет с ним;

у нее имелись планы на лето, и она, видимо, не расположена менять их. И пока бы он был в отъезде, Бог знает, какие всплыли бы обстоятельства. Вдобавок бегство явилось бы трусостью, продолжал он уверять себя, и практически сразу же ему подумалось, что он, может быть, и смог бы с тем же успехом избежать всех осложнений, не выезжая из Англии. Немного такта, чуть-чуть выжидательного терпения…

Брайан ждал на платформе, и, увидев его, Энтони почувствовал внезапный мучительный укол сострадания. Все же между человеком и его обликом было подчас пугающее и болезненное противоречие. Грубый домотканый жакет и бриджи, английские гетры, сапоги на подковах, набитый до отказа рюкзак служили показателями энергии и хорошего самочувствия. Но сам вид Брайана свидетельствовал об обратном. Продолговатое лицо выглядело изможденным и бледным. Нос, казалось, вырос по сравнению с тем, что было раньше, глазницы стали глубже, а скулы выдавались вперед еще больше. А когда он заговорил, заикание делало его речь еще более трудной для восприятия.

— Что с тобой случилось? — воскликнул Энтони, кладя руку на плечо своего друга. — Ты

выглядишь несчастным.

Отчасти тронутый проявлением подлинного участия (было удивительно, думал он, каким неожиданно красивым оказался Энтони), отчасти оттого, что его вид выдавал его, Брайан покачал головой и пробормотал что-то невнятное насчет небольшой усталости и нужды в отдыхе.

Но его представление об отдыхе, как выяснилось, заключалось в том, чтобы отправиться в поход с прохождением двадцати миль в день по самым отвесным горам, которые только можно было найти.

Энтони неодобрительно взглянул на него.

— Тебе бы следовало сидеть в шезлонге, — сказал он, но по его словам было видно, что совет сделан неискренне. Брайан уверил себя, что усиленные упражнения с горным пейзажем всегда были на пользу. На пользу — из-за Вордсворта, потому что в той интерпретации христианства, которую давала его мать, пейзаж означал откровение.

— Я л-люблю г-гулять, — стоял на своем Брайан. — Вчера в-видел н-нырка. Это м-место п-полно п-прекрасными птицами.

Опечаленный внезапной болезнью друга, Энтони позабыл о Джоан и обо всех событиях

последних дней; но эти птицы (птю-юцы, этакие щебетуньи) разительно напомнили ему о том, что случилось. Испытав внезапный стыд, словно он был пойман в каком-то недостойном проявлении лицемерия, Энтони убрал руку с плеча Брайана. Они в молчании продолжили свой путь по платформе и вышли на улицу. Там они остановились, чтобы обговорить дальнейшие действия. Брайан хотел отослать багаж с носильщиком и отправиться пешком к особняку в Лэнгдейле. Энтони предложил остановить попутную машину.

— Сегодня тебе нельзя ходить пешком вообще, — заявил он, когда Брайан, протестуя, сказал, что еще недостаточно тренировался, и сменил тему дискуссии, возразив, что это Энтони устал с дороги и в любом случае не мог топать пешком из-за своей неудобной одежды и обуви. После окончательного довода, не позволявшего вернуться в Лэнгдейл на своих двоих, Брайан уступил и согласился на машину. Так они и поступили.

Нарушив затянувшееся молчание, Брайан спросил:

— Т-ты видел Джоан н-недавно?

Энтони молча кивнул.

— И к-как она?

— Довольно хорошо. — Энтони вдруг поймал

себя на том, что его ответ был бодрым и невнятным, таким, каким отвечают на вопрос о здоровье человека, к которому не испытывают особого интереса. Его разум защитил себя от вопроса Брайана автоматически и рефлекторно, с помощью лжи — а это была ложь по упущению, как и тело — Энтони сморгнул, отдернув руку, подавшись назад, — защитилось, как от выброшенного вперед кулака. Но лишь только были произнесены эти слова, как Энтони успел пожалеть о краткости и необдуманности, с которой они вылетели; он почувствовал, что необходимо сейчас же перейти к сути дела. Он должен рассказать все немедленно, без дальнейшей задержки облегчив душу. Но время шло, он никак не мог решиться заговорить и через несколько секунд уже стал относиться к своей трусости как к выдержке, сочтя, что ошибочно, вредно для здоровья Брайана рассказать все теперь же и по-настоящему дружеским поступком было выждать удобного случая, может быть, завтра или через два дня, когда Брайан придет в лучшее состояние для того, чтобы принять новость.

— Т-тебе н-не п-показалось, что она б-была обеспокоена? — продолжал Брайан. — Н-насчет всей этой з-задержки со свадьбой?

— Ну, да, конечно, — признал Энтони. — Нельзя сказать, что она обрадована этим.

Брайан покачал головой.

— К-как и я. Н-но я д-думаю, что все это п-правильно. Я д-думаю, что в к-конечном итоге она п-поймет, что все т-так и н-нужно. — Затем после паузы он произнес: — Если бы т-только можно б-было б-быть абсолютно уверенным. Иногда я д-думаю, н-не есть ли это какой-то эг-гоизм?

— Что — это?

— П-приверженность п-принципам и н-невнимание к-к людям. К д-другим людям, — м-может быть, они в-важнее д-даже, чем к-какой-нибудь истинный п-принцип. Н-но если ты д-до самого к-конца следуешь своим убеждениям… — Он замялся, обратив смущенное и несчастное лицо к Энтони, затем снова поглядел в сторону. — Н-ну, как ты думаешь? — отчаянно закончил он.

— Воскресенье создано для человека, — произнес Энтони, подумав, каким все-таки дураком оказался Брайан, не принявший достаточную сумму денег для того, чтобы спокойно жениться. Если бы Джоан без всяких проволочек вышла замуж, не было бы никаких личных объяснений, никаких обещаний, поцелуев и жутких последствий этих поцелуев. И потом, конечно

же, была бедная Джоан. Он все еще чувствовал почти праведный гнев к Брайану за то, что тот не выполнял основной христианский принцип, что воскресенье существует для человека, а не человек для воскресенья. Но даже если это и так, внезапно вмешался навязчивый внутренний голос, был ли человек вправе ради договора нарушить равновесие чувств другого, разорвать давние отношения, предать друга?

Брайан тем временем размышлял о случившемся пару месяцев назад, когда они с Джоан обсуждали тему денег с его матерью.

«Ты все еще думаешь, — спросила она тогда, — что тебе не следует ничего брать?» И продолжала, когда он сказал ей, что ничего в его планах не изменилось, приводить доводы за то, чтобы он со спокойной совестью забрал эти несчастные деньги. Система, может быть, была несправедливой, и человек должен был изменить ее, но пока можно было использовать финансовые преимущества для того, чтобы помочь отдельным жертвам системы.

«Именно так я всегда и считала», — заключила миссис Фокс.

Ну и правильно, закончил он; и то, что он и не собирался подвергать критике то, что она делала,

даже не мыслил, что это возможно: критиковать. Но ее положение слишком отличалось от его. Мужчина, он имел возможность зарабатывать на жизнь так, как она никогда не была вправе. Кроме того, у нее оставалась ответственность, в то время как у него…

«А как насчет Джоан? — перебила она его, мягко кладя руку на плечо девушке. — Разве за нее ты не в ответе?»

Он опустил глаза и, чувствуя, что не он должен был отвечать на этот вопрос, молчал.

Последовали долгие секунды неудобной и даже чреватой тишины, после которой он поинтересовался, будет ли Джоан отвечать, и, если нет, он станет говорить и действовать сам.

И наконец, к его облегчению, Джоан странно зажатым и сдавленным голосом произнесла: «Все-таки Брайан был тогда ребенком. А я взрослая, я отвечаю сама за себя. И я вполне понимаю его мотивы».

Он поднял голову и посмотрел на нее с благодарной улыбкой.

Но ее лицо оставалось холодным и словно чужим; она встретилась с ним глазами и тотчас отвела взгляд.

«Ты понимаешь, почему он вынужден так по-

ступить?»

Джоан кивнула.

«И ты это одобряешь?»

Она минуту помялась и затем снова кивнула. «Если Брайан считает, что это правильно…» — начала она, затем прервалась.

Миссис Фокс смотрела то на него, то на нее. «Я уверена, уж вы-то молодая, героическая пара», — сказала она, и тон ее голоса, такой красивый, так сочно наполненный чувством, придал словам еще большую значительность. Он понял, что она была убеждена в правильности своего вывода.

Но позднее, когда Джоан и он остались наедине, и он пытался благодарить ее за то, что она сделала для него, он вспомнил с печальным недоумением, что она взглянула на него со злобным и горьким гневом.

«Ты любишь свои идеи больше, чем меня. Гораздо больше».

Брайан вздохнул, стряхнув с себя долгую рассеянность, посмотрел на деревья на обочине дороги, на горы, так роскошно усеянные тенями и освещенные поздним вечерним полусветом, на мраморные острова облачков в небе — посмотрел на них, увидел всю их красоту и понял, что красота эта совершенно напрасна.

— Если б я з-знал, — произнес он, — что мне д-делать.

Энтони думал о том же, но промолчал.

Глава 37

Осень 1933 г.

Улаживание дел заняло у Марка больше времени, чем он ожидал, и иногда, в долгие недели, что предшествовали их отъезду, искушение бросить всю эту глупую затею и рвануть в восхитительный потусторонний мир средиземноморского солнца и отвлеченных идей стало для Энтони практически непреодолимым.

— С какой целью ты сам туда едешь? — спрашивал он негодующе.

— Для забавы, — был весь ответ, который Марк удостоился дать.

— А твой дон Хорхе, — настаивал Энтони. — Чего он надеется достичь этой своей маленькой революцией?

— Своей великой славы.

— Ну а индейцы?

— Они останутся там же, где были и раньше и где будут всегда — внизу.

— И тем не менее ты считаешь, что стоит туда ехать и помогать этому дону Хорхе?

— Мне стоит. — Марк улыбнулся анатомиче-

ской улыбкой. — И тебе стоит. Тебе очень даже стоит, — стоял он на своем.

— Но уж никак не пеонам [186], я полагаю.

— Ни в коем случае. Что получат от этой революции французские пеоны? Или наши друзья, русские, если на то пошло? Несколько лет приятного опьянения. Затем все та же каторга. Может быть, позолоченная и перекрашенная.

— И ты ожидаешь, что я укачу с тобой туда ради забавы? — Мысль о Средиземном море и о книгах разбудила воображение Энтони. — Это безумно, это отвратительно.

— Другими словами, — сказал Марк, — ты боишься. Что ж, почему бы и нет? Но уж если трусишь, ради Бога, так и скажи. Имей мужество сознаться даже в собственной трусости.

Как он ненавидел Марка за то, что тот высказал ему явные истины, которые он и сам хорошо знал! Если бы не мистер Бивис, и тот разговор с Элен, и в конце концов с Беппо Боулзом, может быть, у него хватило бы смелости признать свою трусость. Но они все вместе и каждый по отдельности сделали это признание невозможным. Прежде всего его отец, все еще глубоко зарывший-

[186] Примечания: 186

Пеон — неквалифицированный работник, находящийся фактически в полуфеодальной зависимости у хозяина. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ся в семейной норе среди юбок и этимологии, да запаха рыжеволосых женщин — но возбужденный, Энтони никогда раньше не видел его таким возбужденным: он был оскорблен, разгневан, просто взбешен. Пост президента Филологического общества, который должен был без всяких вопросов перейти к нему, вместо того достался Дженкинсу. Дженкинсу, видите ли.

Обычному ни в чем не смыслящему популисту, сугубой противоположности настоящего ученого. Шарлатану, мошеннику от филологии, настоящей, если пользоваться американским жаргоном, продувной бестии.

Избрание Дженкинса на несколько шагов приблизило мистера Бивиса к смерти. Из человека, выглядевшего гораздо моложе своих лет, он превратился в того, у кого возраст выдает каждая морщина. Старик, изможденный до полусмерти, сотлевший изнутри.

— Я беспокоюсь, — призналась Полин Энтони. — Он доведет себя до болезни. До того, что прямо-таки впадет в детство. Мне никак не удается заставить его понять, что не в этом дело. Или, скорее, мне никак не удается сделать так, чтобы он это почувствовал. Умом он понимает, что все в порядке, но все равно продолжает волноваться.

Даже в глубокой пучине чувств, раздумывал Энтони, когда возвращался к себе домой, даже в уютных интеллектуально-потусторонних мирах человека может застигнуть судьба. И внезапно он понял, что, проведя всю свою жизнь в попытках бороться против ориентиров того мира, в котором жил его отец, он всего лишь преуспел в том, что стал как раз тем, кем был его отец, — человеком в норе. С той небольшой разницей, что в его случае нора оказалась целиком построенной на адюльтере, а не на браке, а его идеи касались типов общества, а не слов. Изредка он вылезал из своей норы — его выгоняли оттуда, словно хорька. Но было чрезвычайно легко поддаться искушению и вернуться туда. Вернуться, чтобы спокойно и уютно жить. Нет, не спокойно; в том-то все и заключалось. В любой момент какого-нибудь Дженкинса могли избрать президентом или главой чего-нибудь, и тогда он, беззащитный в своей норе мыслей и ощущений, окажется на милости любой внезапно возникшей детской страсти. Может быть, за границей он научится защищаться от таких непредвиденных обстоятельств. Он решил отправиться с Марком.

Но в последующие дни искушение продолжало посещать его. Несмотря на зрелище того, что

характер мистера Бивиса рушится на глазах, что старик неудержимо впадает в детство, спокойная жизнь казалась невыразимо привлекательной. «Марк безумец, — продолжал уверять себя он. — Мы делаем что-то глупое и неправильное. И в конце концов моя социология важнее. Она поможет людям мыслить более здраво». Было ли это «обязанностью» (нелепое слово!) заниматься его наукой? Но все-таки спустя более чем два с половиной месяца после своего возвращения в Лондон он увидел Элен и Беппо Боулза — увидел их обоих в один день. Встреча с Элен оказалась счастливой. Они столкнулись во французском зале Национальной галереи. Энтони почти вплотную разглядывал картину Сезанна «Гора Сент-Виктуар» в тот момент, когда ощутил, что два других посетителя остановились прямо у него за спиной. Он сдвинулся чуть-чуть в сторону, чтобы дать им возможность видеть картину, и продолжал детальное рассмотрение полотна.

Прошло несколько секунд. Затем очень медленно и с иностранным акцентом мужской голос произнес:

— Смотрите, как мелкие буржуа девятнадцатого века пытались сбежать от индустриализма. Зачем ему понадобилось рисовать такие роман-

тические пейзажи? Потому что так он забудет о новых средствах производства. Потому что он не будет думать о пролетариате. Вот зачем.

— Да, я полагаю, именно поэтому, — произнес другой голос.

В испуге Энтони понял, что за ним стояла Элен. «Что мне делать?» — лихорадочно думал он, когда голос послышался снова.

— Ой, это Энтони! — Рука коснулась его плеча.

Он разогнулся и повернулся к ней, подкрепляя удивление на лице жестами и звуками, не подходящими восторженному изумлению. То лицо, которое он в прошлый раз видел каменным и светящимся от злобной насмешки, затем в агонии ликования, затем налившимся кровью и с жалкими, исказившимися чертами от невыразимого горя, и наконец непроницаемым, каким оно было сначала, но еще более жестким и непроницаемым, теперь лучилось красотой, нежностью, озаряясь изнутри какой-то уверенной радостью. Она взглянула на него без малейшего следа смущения, словно ее прошлое совершенно исчезло, а оставалось и было реальным только настоящее.

— Это Экки Гизебрехт.

Светловолосый молодой человек рядом с ней поклонился, словно резиновый, и они обменя-

лись рукопожатиями.

— Ему пришлось бежать из Германии, — объяснила она. — Его бы расстреляли за его убеждения.

Переводя взгляд с одного довольного лица на другое, Энтони чувствовал не зависть и не ревность, а настолько горькое и острое несчастье, что оно, казалось, причиняло почти физическую боль. Боль, которая не утихала и нисколько не утолялась торжественной нелепостью короткой лекции, которую Элен сейчас же произнесла на тему «Роль искусства в проявлении классовых интересов». Слушая, он не мог удержаться от внутреннего смеха, думая, забавляясь, о том, какие фантастические вещи порой делает любовь, когда дело доходит до вопросов вкуса, политических убеждений, религиозного мировоззрения. Но за смехом, за ироническими размышлениями все сквозила, не переставая, та же самая несчастная боль.

Он отверг приглашение выпить с ними чаю.

— Я обещал навестить Беппо, — объяснил он.

— Передай ему, что я его люблю, — сказала она и тотчас спросила, не встречал ли он с момента своего возвращения Хью. Энтони отрицательно покачал головой.

— Мы с ним больше не общаемся, если хочешь знать.

Сделав усилие, чтобы улыбнуться, Энтони произнес, поспешая прочь:

— Счастливо вам с ним развестись.

Сквозь тусклую дымку дня он видел перед собой ее нежнолучистое лицо и чувствовал вместе с болью несчастья возобновление той другой, более сильной боли неудовлетворенности самим собой. Со времени его возвращения в Лондон он вел заурядную столичную жизнь — обеды с учеными и государственными мужами, ужины, где женщины поддерживали разговор сплетнями и анекдотами, и легкие, ничего не значащие успехи, которые его дарование и некоторая природная обаятельность всегда позволяли ему приобрести на таких посиделках, заставляли его совершенно забыть о своем недовольстве, утоляли его боль, как лекарство снимает мучения зубной боли. Встреча с Элен моментально нейтрализовала действие лекарства и оставила его беззащитным перед новой болью, нисколько не уменьшавшейся от временного действия болеутоляющей таблетки — даже, скорее, усиливавшейся благодаря ей. Ибо несчастье, которое он позволил себе унять опием такого плохого качества, было

новой причиной для неудовлетворения вдобавок к старой. И думай после этого, что он серьезно лелеял мысль о возвращении к прежней спокойной жизни! Спокойно несчастной, спокойно бесчеловечной, поскольку все подобные мысли вели к тихому помешательству. Затея Марка могла оказаться глупой и даже бесчестной, но как бы она ни была плоха, это все-таки лучше, чем тихая, дремотная работа и редкие, холодные чувственные забавы на средиземноморском берегу.

Стоя перед дверью квартиры Беппо, он услышал голоса — Беппо и еще одного мужчины. Он позвонил. Время шло. Дверь оставалась закрытой. Голоса были все слышны, но невнятные; пронзительный визг Беппо и грубый, все усиливающийся лающий голос какого-то незнакомца свидетельствовали о ссоре. Он снова позвонил. Визг и крики еще какое-то время раздавались, но затем их сменил шум шагов. Дверь распахнулась, на пороге стоял Беппо. Лицо его было красным, а лысина покрылась испариной. За его спиной появился грубый, но красивый молодой человек с прямой солдатской выправкой, небольшими усами и вьющимися каштановыми волосами, смазанными маслом. Он был одет в синий саржевый костюм, делавший его совершенно

неотразимым.

— Войди, — произнес Беппо почти бездыханно.

— Я не помешал?

— Нет, нет. Мой друг как раз собирался — кстати, это мистер Симпсон, — сейчас собирается уходить.

— Разве? — спросил молодой человек многозначительным голосом и с ноттингемпширским акцентом. — Я не знал об этом.

— Может быть, мне лучше уйти, — предложил Энтони.

— Нет, пожалуйста, не надо, лучше не надо. — В голосе Беппо сквозила почти отчаянная мольба.

Молодой человек засмеялся.

— Ему нужна защита — вот в чем все дело. Думает, что его собираются шантажировать. И я мог бы, если б захотел. — Он посмотрел на Энтони многозначительным наглым взглядом. — Но я не хочу. — Его лицо выражало то, что первоначально было задумано как гордое праведное негодование. — Не стал бы делать этого и за тысячу фунтов. Это собачья игра, вот что я скажу. — От красноречивой безличности негодование спустилось на землю и сфокусировалось на Беппо. — Ни у кого нет резона быть подлецом, — продолжал он. — Это тоже собачья игра. — Он поднял обвиня-

ющий палец. — Низкая, грязная свинья. Вот кто ты есть. Я говорил это раньше, говорю и теперь. И мне все равно, кто меня слышит. Я могу доказать это. Да, я уверен в этом. Низкая, грязная свинья.

— Хорошо, хорошо! — кричал Беппо тоном человека, готового к безоговорочной капитуляции. Схватив Энтони за плечо, он взмолился: — Иди посиди в гостиной.

Энтони выполнил то, что ему велели. Снаружи, в прихожей, те почти шепотом обменялись несколькими фразами. Затем, после короткого молчания, передняя дверь хлопнула, и Беппо, бледный и растерянный, вошел в комнату. Одной рукой он вытирал лоб, но только после того, как тот сел, Энтони увидел, что было у него во второй. Пухлые белые пальцы Беппо крепко держали бумажник. В смущении он сунул примиривший их с Симпсоном предмет в нагрудный карман. Затем, шипя, словно чайник, от несчастья, так, как он шипел и от радости, он взорвался, как открытая бутылка имбирного пива.

— Вот все деньги, которые остались. Ты видел. Зачем мне прятать их? Всего только деньги. — И он загремел, захлопал, завизжал, зашипел, почти бессвязно отрекаясь от «всего этого», чувствуя глубокое сострадание к себе. Да, его можно было

вдвойне пожалеть — пожалеть за то, что ему пришлось страдать из-за «их» торгашеского отношения к нему, в то время как то, чего он искал, была любовь ради любви и авантюра ради авантюры; пожалеть также за все растущую неспособность получить хоть малейшее удовольствие от любовного приключения, в котором не было новизны. Повторение все больше становилось угрожающим. Повторение уничтожало то, что он называл *frisson*[187]. Неимоверная трагедия. Он, который так желал нежности ради понимания, взаимодействия, был лишен того, в чем так нуждался. Связь с кем-либо, принадлежащим к его классу, с кем-либо, с кем было о чем поговорить, оставалась вне вопроса. Но как была возможна настоящая нежность без настоящих чувств? С ними связь была возможна, дико желаема. Но нежность питалась не более за счет общения, чем за счет чувственности. А чувственность, совершенно лишенная общения и нежности, казалась теперь возможной только при постоянной смене объекта. Каждый раз должен был быть другой. За это его можно было пожалеть, но положение имело свою романтическую сторону.

---

[187] Примечания: 187
Трепет (*фр.*).

Или по крайней мере могло иметь — зачастую так и было. А теперь Беппо жаловался, что «они» изменяли, становились продажными, открытыми хищниками, обычными торговцами собой.

— Ты только что видел, — сказал он, — гнусность всего этого, всю эту низость. — Его отчаяние кипело и переливало через край под внутренним давлением углекислого газа. Полный возбуждения, он взлетел со стула и стал расхаживать взад-вперед по комнате, демонстрируя Энтони то оттопырившийся жилет, то роскошный галстук от Сульки, то лицо с висящим подбородком, гладкую, словно лакированную лысину, широкие клетчатые брюки, черный жакет, насаженный подобно груше на узкие плечи, а за лысиной посредине, чуть выше воротника, пух бледно-каштановых волос, как у флорентийского пажа. — И я не подлец. У меня тьма недостатков, но только не этот. Почему они не могут понять, что это не низость, а желание… — Здесь он замялся. — Желание остаться человеком? Всего лишь жажда романтики, приключений. Вместо этого они устраивают эти жуткие, оскорбительные сцены. Отказываясь просто-напросто понять…

Он продолжал расхаживать по комнате, не говоря ни слова. Энтони оставил все сказанное им

без ответа, но задумался, знал ли Беппо истину слишком хорошо или также отказывался понять, что для «них» стареющий и малоприятный человек вряд ли мог показаться романтиком, что единственным завлекающим средством, остававшимся у него помимо некоторого хорошего вкуса, который «они» не в состоянии оценить, были его деньги. Знал ли он все это? Да, разумеется, знал — это было неизбежно. Он знал это великолепно и тем не менее отказывался понимать. «Как и я», — подумал Энтони. В тот же вечер он позвонил, чтобы дать окончательный ответ Марку, после чего тот уже мог заказывать билеты.

Глава 38

10 августа 1934 г.

Сегодня Элен опять говорила о Миллере. Говорила с каким-то пылким возмущением. (Некоторые воспоминания, некоторые логические ходы похожи на больные зубы, до которых нужно все время дотрагиваться, только чтобы удостовериться, что они все еще болят.) Ненасилие: на этот раз это была всего лишь чистая уловка, но дело не в этом — все равно все было неправильно. Если вы убеждены в людской низости, вы не имеете права не прилагать усилий к тому, чтобы заставить их вести себя порядочно. Согласен — но как вы вероятнее всего добьетесь этой цели? Насилием? Насилие может привить людям нормы положительного поведения лишь на очень короткое время; подлинной и долговременной праведности из этого не выйдет. Она обвинила меня в том, что я ухожу от истинных целей, находя убежище в туманном идеализме. Все это наконец переплавилось в непримиримую ненависть к нацистам. Везде мир, но только не у нацистов, и всю Европу постепенно отравляет

фашистская зараза. Их необходимо наказать, истребить поголовно — как крыс. (Заметьте, что мы все на девяносто девять процентов пацифисты. В согласии с Нагорной проповедью [188]; без учета того, что один процент в ряде случаев может породить Наполеона или Тамерлана. Мир, прекрасный мир до тех пор, пока не начнется война, которая нас устраивает. Отсюда результат — каждый человек является заведомой жертвой чьей-то крайне желательной войны. Девяносто девять процентов. Этот пацифизм есть всего лишь завуалированный милитаризм. Мир возможен только тогда, когда в обществе сто процентов пацифистов.)

Мы обменялись огромным количеством «за» и «против»; затем некоторое время молчали. Наконец она заговорила о Гизебрехте — человеке, прошедшем бог знает какие пытки. «Ты не удивлен моим мнением о нацистах?» Я не был нисколько удивлен, так же как и самими нацистами. Удивительной была бы терпимость с их стороны и прощение с ее. «Но человек, который мог прощать, исчез, когда исчез Экки. Я была доброй, когда он был со мной. Теперь я зла. Если

[188] Примечания: 188

Нагорная проповедь — согласно Новому Завету, первая проповедь, прочитанная Иисусом Христом. (*Прим. перев. М. Ловина*)

бы он все еще был здесь, я смогла бы простить тех, кто убрал его. Но это невозможное условие. Я никогда не смогу прощать». (На это, конечно, можно было дать ответ, но в том положении, в котором я находился, я не имел права давать какие бы то ни было ответы.) Она продолжала рассказывать о том, кем он был для нее. Кем-то, кого она не стыдилась любить, в отличие от того стыда, который она испытывала от своих чувств к Джерри. Кем-то, кого она была способна любить всем своим существом — «не время от времени или частью своей души, на крыше, и не просто ради забавы, в художественной мастерской, перед обедом». И она все возвращалась к одному и тому же — что Экки сделал ее доброй, правдивой, неэгоистичной и, уж конечно, счастливой. «Я стала совершенно другой, пока была с ним. Или, может быть, я впервые стала собой». Затем: «Помнишь, как ты смеялся надо мной в тот раз на крыше, когда я говорила о моем истинном Я?» Естественно, я помнил! В тот момент я не был сам достаточно истинным, чтобы постичь мою собственную отдаленность от реальности. Впоследствии, когда я увидел, как она рыдает, когда я узнал, что намеренно отказывался любить ее, я понял это.

После паузы она сказала:

«Вначале я думала, что смогу любить тебя почти так же, как я любила Экки».

И я уж сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать ей.

Ее лицо осветилось внезапной злобной усмешкой — точь-в-точь как у ее матери.

«Удивительно, как смешна трагедия, когда посмотришь на нее с обратной стороны!» Затем, все еще улыбаясь, она произнесла: «Неужели ты способен вообразить, что тебе есть до меня дело? Одним словом, что ты лю-юбишь меня?»

Не только воображал, но и на самом деле любил.

Она вытянула вперед руку, как полицейский. «Только не разводи здесь сантиментов, как в кино. Иначе мне придется выставить тебя за дверь — чего я не хочу делать. Потому что (довольно странно!) ты мне действительно нравишься. Несмотря ни на что. Я никогда не думала, что так будет. Не из-за той собаки. Но ты мне нравишься». Болезненная яркость вновь появилась у нее на лице. «Как и все то, что я никогда не рассчитывала делать снова! Как, например, есть досыта — но я смогла это себе позволить через каждые три дня. И хотеть заниматься любовью.

Это казалось немыслимым святотатством. И все же через три или четыре месяца мне в голову пришло, что я только об этом и мечтала. И на днях, я полагаю, я обязательно этим займусь. Займусь «без всяких гарантий», как пишут в инструкции к пылесосу, который высылают на дом для проверки качества. Так же, как и раньше. — Она снова рассмеялась. — Вероятнее всего, с тобой, Энтони. Пока с неба не свалится еще одна собака. Ты будешь готов начать заново?»

Только если это будет не так, как раньше. Я бы хотел отдавать больше и получать больше.

«Отдавать и получать зависит от обоих». Затем она переключила разговор на другую программу — с кем я «был» в настоящее время. И когда я ответил, что ни с кем, спросила, не было ли сложно и неприятно воздерживаться и почему я стараюсь подражать Марку Стейтсу. Я пытался объяснить, что я не подражал Марку, что аскетизм Марка только ради него самого, чтобы он чувствовал себя более уединенным, более сосредоточенным, в более удобном положении для того, чтобы оценивать других людей. В то время как я как раз пытался избегать случаев, когда можно было подчеркнуть уникальность личности чувственностью. Ненависть, гнев, амбиции

открыто противоречат назначению человека; похоть и жадность делают то же самое косвенно и скрытно: настаивая исключительно на частном, личном опыте и, в случае похоти, используя других людей как средство приобретения такого опыта. Менее опасная, чем злые умыслы и стремление к превосходству, престижу, общественному положению, похоть все-таки несовместима с пацифизмом — но может стать совместимой, если перестанет быть самодостаточной и станет средством к объединению посредством любви между двумя отдельными личностями. Такой вот союз и представляет собой модель союза вообще.

Глава 39

25 марта 1928 г.

Стоило Элен прикрыть глаза, как за веками во всей своей дикости и хаотичности вновь оживала красноватая мгла. Казалось, словно это был железнодорожный вокзал, полный снующих туда-сюда людей и громких голосов; цвета накалялись, силуэты резко выделялись, расцвечиваясь четкой до нереальности оболочкой форм и оттенков необычайной яркости. Было такое впечатление, что лихорадка собрала в ее голове многочисленную толпу, включила яркий свет и на полную мощность завела граммофон. На неестественно яркой сцене самочинно являлись и исчезали странные силуэты, злостно не считаясь с желаниями Элен. Являлись и исчезали, говорили между собой, жестикулировали, непрестанно играли свою изысканную безумную драму, не жалея ее, измученную, не принимая в расчет ее страстного желания обрести покой и одиночество. Иногда, в надежде, что окружающий мир затмит эти словно чаплиновские перемещения, она открывала глаза. Но свет при-

чинял ей боль, и, несмотря на бутончики роз на обоях, несмотря на белый пододеяльник и шишки в изголовье кровати, несмотря на зеркало, щетки для волос, флакон одеколона, эти образы на обратной стороне век продолжали жить своей частной жизнью, никем не обеспокоенные. Сумасшедшей, лихорадочной жизнью — теперь уж совершенно неправдоподобной, словно рассказ, сочиненный кем-то другим, но тем не менее мучительно уместной, мучительно ее.

Этим утром, например, этим утром (который был час? Время вдруг стало бесконечным и несуществующим; но по крайней мере это было как раз после того, как мадам Бонифе вошла проведать ее, удушая — удушая запахом чеснока и грязного белья) здесь была огромная прихожая со статуями. Золотые статуи. Она узнала Вольтера пятидесяти футов в вышину, и рядом стоял один из огромных китайских верблюдов. Люди располагались группками, прекрасно смотрясь, как актеры на сцене. И действительно, они были на сцене. Играли пьесу с интригой, пьесу с любовными сценами и револьверами. Как ярко светила рампа! Как внятно и патетично они произносили свой текст! Каждое слово звучало, словно колокольчик, каждая фигура была как

светящаяся лампа.

«Руки вверх… Я люблю тебя… Если она попадет в ловушку…» И все-таки кто они были, что значили их слова? И вот по какой-то непонятной причине они стали вслух производить арифметические вычисления. Шестьдесят шесть ярдов линолеума по три фунта одиннадцать шиллингов за ярд. А женщина с револьвером внезапно оказалась мисс Космас. Вольтер куда-то исчез и с ним же позолоченный верблюд. Остался только фон. Мисс Космас всегда ненавидела ее за то, что она не успевала по математике, всегда была жестокой и несправедливой. «По три одиннадцать, — кричала мисс Космас, — по три и одиннадцать». Но номер мадам Бонифе был одиннадцать, и Элен снова и снова гуляла по улице Томб-Иссуар, чувствуя себя все более и более нездоровой с каждым шагом. Шла все медленнее и медленнее в надежде никогда туда не дойти. Но дома очумело неслись ей навстречу, как стены движущихся эскалаторов метро. Неслись на полной скорости навстречу ей, и затем, когда номер одиннадцать поравнялся с ней, замерли намертво, не издав ни звука. «Мадам Бонифе. Sage Femme

de lère Classe[189]». Она стояла и разглядывала надпись, так же, как и на самом деле два дня назад; затем прошла вперед — так же, как тогда. «Ну еще одну минутку», — молила она себя, пока не справилась со своей нервозностью, пока не стала чувствовать себя менее больной. Пошла снова в начало улицы и оказалась в садике вместе со своей матерью и Хью Ледвиджем.

Это был садик, обнесенный стеной, где на одном конце росли сосны. И из этого подлеска выбегал человек — человек с какой-то жуткой кожной болезнью на лице. Красные пятна, струпья и шелушение. Ужасно! Но ее бабушка только и нашла сказать, что «Господь плюнул ему в лицо», и все засмеялись. Но в середине леса, продолжала грезить она, стояла кровать, и она тотчас улеглась на нее, глядя на огромные толпы людей, играющих другую пьесу, а может быть, ту же самую. Они были яркими из-за света рампы, и их голоса звучали, как колокола, у нее в ушах, но это был неразборчивый, сливающийся воедино гомон. И там был Джерри, сидевший на краешке постели, и целовал ее, ласкал ее плечи, грудь. «Джерри, не надо! И эти люди — они могут увидеть нас.

---

[189] Примечания: 189
Мудрая женщина 1-го класса (*фр.*).

Не делай этого, Джерри!» Но когда она попыталась оттолкнуть его, он был неподвижен, словно глыба гранита, и все это время его руки, его губы доставляли легкое и мимолетное наслаждение ее коже; и стыд, отчаяние оттого, что ее видит весь народ, причинял в то же время какое-то физическое страдание — еще более щекотливое, дикое ощущение, уже напоминающее не мотылька, а какого-то огромного жука, вращающегося, жужжащего, и все же приятного. «Не надо, Джерри, не надо!» И внезапно она вспомнила все — ту ночь после того, как умер котенок, все последующие ночи и затем первые признаки охлаждения, растущее беспокойство и тот день, когда она звонила ему и получила известие о его отъезде в Канаду, затем, наконец, вложенные деньги и тот вечер с матерью… «Я ненавижу тебя!» — кричала она, но, когда ей удалось последним нечеловеческим усилием оттолкнуть его, она почувствовала настолько сильный приступ боли, что на мгновение забыла весь свой бред и оказалась целиком во власти животных, физических ощущений. Постепенно боль утихла, и потусторонний мир, созданный лихорадкой, вновь взял ее в свои объятия. Джерри перед ней больше не было — внезапно возникла мадам

Бонифе, держа что-то в руке «*Je vous ferai un peu mal*»[190]. И оказалось, что не было никакой кровати в сосновой рощице, а кушетка в гостиной мадам Бонифе. Она сжала зубы точно так же, как она сжимала их тогда. Только на этот раз все было гораздо хуже, потому что она знала, что сейчас произойдет. И в ярком свете опять появились люди, игравшие сумасшедшую пьесу. И, лежа там, на кушетке, она сама была частью действия снаружи и наконец перестала быть собой, превратившись в кого-то другого, кого-то в купальном костюме и с огромной грудью, как у леди Кнайп. И как можно было предотвратить то, чтобы ее грудь стала такой же? Звонко, как колокольчики, но невнятно актеры обсуждали кошмарную возможность. Возможность того, чтобы у Элен была такая же грудь, жирные бедра, складки на икрах, Элен с огромным количеством детей, постоянно ревущих, — и этот отвратительный запах свернувшегося молока и детских пеленок. И внезапно здесь появилась Джойс, катящая коляску по улицам Олдершота. Вот она вынула ребенка. Вот покормила его. Наполовину с испугом, наполовину с интересом, она смотрела, как

---

[190] Примечания: 190
«Могу сделать вам немного больно» (*фр.*).

он гремит погремушкой и сосет грудь. Вот он прижался к ее груди лягушачьим лицом с жадным выражением, постепенно расслабляясь по мере насыщения, приходя в бессмысленный восторг. Но руки — они были полностью человеческими, чудесно тонкими и изящными. Восхитительные, прекрасные маленькие ручки! Непреодолимые ручки! Она взяла его у Джойс, прижала вплотную к груди и нагнулась, чтобы поцеловать эти очаровательные маленькие пальчики. Но то, что она теперь держала в руках, было умирающим котенком, печенкой в мясницкой, то ужасное нечто, что она, открыв глаза, увидела в руках у мадам Бонифе и как она затем выбрасывает его в оловянный таз в кухне.

За хирургом послали вовремя, и Элен теперь была вне опасности. Уверившись в этом, мадам Бонифе вновь обрела материнское раблезианское добродушие, так присущее ее характеру.

И мгновение спустя она уже заговорила об операции, которая спасла жизнь Элен. «*Ton petit curetage*»[191], — говорила она с каким-то веселым лукавством, словно о каком-то запретном удовольствии. Для Элен любая вибрация этого

[191] Примечания: 191
«Твоя маленькая сиделка» (*фр.*).

сытого, довольного голоса являлась очередным оскорблением, унизительной выходкой. Лихорадка прошла; теперь она чувствовала слабость, но сознание ее было чистым. Она вновь вернулась в реальный мир. Повернув голову, она увидела свое отражение в гардеробном зеркале. Вид собственной худобы, бледность и голубые прозрачные тени под глазами доставили ей некоторое удовольствие, она вглядывалась в свои глаза, теперь словно безжизненные и лишенные блеска. Сейчас она бы по привычке напудрилась, слегка подкрасила губы, навела щеточкой лоск на тусклые немытые волосы, но она, наоборот, предпочла болезненную бледность и растрепанность. «Как у котенка», — не переставала думать она. Превращенный в грязный маленький комочек больной плоти, бывший резвым и милым животным, а ставший чем-то отвратительным, словно та самая печенка, словно та ужасная вещь, что мадам Бонифе… Она содрогнулась. И теперь этот *ton petit curetage* — таким же голосом, что и *ton petit amoureux*[192].

Это последнее унижение было ужасным. Она люто ненавидела отвратительную женщину, но

[192] Примечания: 192
Твой маленький любовник (*фр.*).

в то же время была рада тому, что та была такой противной. Эта радостно-грубая вульгарность подходила всему остальному. Но когда мадам Бонифе покинула комнату, Элен разрыдалась — тихо, надрывно, охваченная жалостью к себе.

Неожиданно возвратившись, мадам Бонифе нашла ее на второе утро после *petit curetage* отчаянно плачущей. Искренне расстроенная, она стала успокаивать Элен. Но успокоение, как всегда, пахло луком. Испытав физическое отвращение, смешанное с возмущением против вторжения в замкнутый мир ее несчастья, Элен отвернулась и, когда мадам Бонифе усиленно пыталась утешить ее, покачала головой и попросила, чтобы та ушла. Мадам Бонифе секунду помялась, затем подчинилась, но пустила парфянскую стрелу[193] в форме мягкого упоминания о письме, которое она принесла и теперь положила на подушку Элен. От него, без сомнения. Доброе сердце, несмотря ни на что… Письмо, как оказалось, было от Хью. Она принялась читать его.

Он писал:

«Отпуск в Париже! Из моей грязной ма-

---

[193] Примечания: 193

Парфянская стрела (перен.) — замечание, приберегаемое к моменту ухода. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ленькой конуры, наполненной безделушками, как я завидую тебе, Элен! Париж в разгаре лета. Восхитительно красивый, не то что эта страна туманных дымок. Лондон всегда траурный, даже при солнечном свете. И чистый, немеркнущий блеск парижского лета! Как бы я хотел быть там! Желание, конечно же, эгоистичное по сравнению с удовольствием быть с тобой вне Лондона и Британского музея. И неэгоистичное из-за тебя — потому что мысль о том, что ты одна в Париже, беспокоит меня. Теоретически, если рассуждать рационально, я знаю, что с тобой ничего не может случиться. Но тем не менее — тем не менее я хотел бы быть там, чтобы невидимо охранять тебя — так, чтобы ты не знала о моем присутствии, никогда не воспринимала мою преданность как назойливость, так, чтобы ты всегда ощущала уверенность, исходящую от двоих, а не от одного. Я, к сожалению, не смог бы быть хорошим помощником в тесном углу. (Как я иногда ненавижу себя за свои постыдные неуместные замечания!) Но, наверное, лучше, чем никто.

И я никогда бы не посягнул на недозволенное, никогда не вмешался в чужое дело. Я буду словно призрак — кроме тех случаев, когда ты испытаешь нужду во мне. Моей наградой станет всего лишь пребывание вблизи тебя, чтобы просто видеть и слышать тебя, — наградой того, кто выходит из запыленного места в сад и смотрит на цветущие деревья, слушая шум фонтанов.

Я никогда раньше не говорил тебе (боялся, что ты будешь смеяться — пускай, ведь, в конце концов, это твой смех) о том, что я часто придумываю сам себе истории, в которых я всегда с тобой — так же, как теперь я рассказал тебе, что хотел бы быть с тобой в Париже. Присматривать за тобой, оберегать тебя от зла и взамен вдыхать свежесть твоей красоты, согреваться твоим огнем, твоей прекрасной чистотой…»

Рассерженно, словно ирония этих слов была намеренной, Элен отбросила письмо в сторону. Но час спустя она снова взяла его и стала перечитывать с самого начала. В конце концов, было

утешительно знать, что есть на земле кто-то, кто готов о тебе заботиться.

Глава 40

11 сентября 1934 г.

Был с Миллером на показе научных фильмов. Развитие морского ежа. Оплодотворение, деление клеток, рост. Вновь передо мной встает прошлогодний кошмарный образ более чем бергсоновской жизненной силы, всесильного Темного Божества — гораздо более темного, странного и жестокого, чем воображал Лоренс. Сырой материал, который на своем уровне эволюции уже является готовым продуктом. За этим последовали таблицы с земляными червями. Недельное бесполое совокупление червя с червем в пробирке со слизью. Затем невообразимо прекрасный фильм, рассказывающий об истории жизни мясной мухи. Яйца. Личинки на куске разлагающегося мяса. Белоснежные, как стадо овец на лугу. Прячутся от света. Потом, после пяти дней роста, спускаются на землю, обматывают себя тонкой паутинкой и делают кокон. Еще через двенадцать дней выходит готовая муха. Фантастический процесс воскресения! Орган, заменяющий головной мозг, надувается, как воз-

душный шарик. Распухает настолько, что стенки кокона ломаются. Из него вылупляется муха. (Маленькое нечаянное чудо!) Пробивается наверх, к свету. На поверхности видно, как она буквально напитывает свое мягкое, влажное тело воздухом, расправляя скомканные крылья и пуская кровь в вены. Удивительное и трогательное зрелище.

Я задал вопрос Миллеру: каков будет результат распространения подобных знаний? Знаний о мире несравненно более невероятном и более прекрасном, чем может вообразить любой мифотворец. О мире, всего несколько лет назад совершенно неизвестном, за исключением узкого круга специалистов. К чему приведет то, что об этом будут знать все? Миллер рассмеялся. «Результат будет настолько же малым или настолько же большим, насколько люди этого захотят. Те, которые предпочитают думать о сексе и деньгах, будут думать о сексе и деньгах. Как бы громко ни возвещалась с экранов слава Божия». Господствует наивное представление о том, что реакция на благоприятные обстоятельства будет неизбежно и автоматически положительной. Опять-таки сырой материал нужно обработать. Одни продолжают верить в машинный прогресс, потому что хочется лелеять эту глупейшую иллюзию — на-

столько она утешительна. Утешительна, потому что перекладывает всякую ответственность за то, что вы делаете или не можете делать, на кого-то или что-то другое.

Глава 41

Декабрь 1933 г.

Вечером в Колоне[194] они сели в кеб и проехали по эспланаде. Белесое, как огромный рыбий глаз, перед ними простиралось, словно мертвое, море. Вопреки почтовым открыткам с изображением заката тощие пальмы были символом покорной безнадежности, а горячий воздух в ноздрях пахнул паленой шерстью. Они немного поплавали в теплом рыбьем глазу и затем вернулись в город сквозь сгущающийся ночной мрак.

Для богатых после ужина существовали кабаре, дорогие напитки и белые проститутки за десять долларов. Для бедных, живущих в маленьких улочках, у открытых на улицу дверей, ведущих в освещенную спальню с широкой кроватью, сидели мулатки.

— Будь у меня побольше добросовестности, я пошел бы и подхватил сифилис, — сказал Энтони, когда они поздней ночью вернулись в отель.

---

[194] Примечания: 194

Колон — порт в Панаме, у входа в Панамский канал. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Запах пота, запах алкоголя, запахи канализации, отходов и дешевых духов; затем, наутро, канал, огромные замки и корабль, бороздящий пространство двух океанов. Дьявольский прогресс сделал возможным, говорил Марк, улыбаясь своей анатомической улыбкой, перевозить шлюх и виски по воде вместо суши от Колона в Панаму.

Корабль двигался на север. Раз в два дня они заходили в какой-нибудь маленький порт взять на борт груз. Из залежей бананов в Сан-Хосе к ним в каюту забрался паук величиной с кулак, покрытый шерстью. У Чамперико [195], где из гавани выходили лихтеры [196], нагруженные ящиками с кофе, в море упала индианка и тотчас утонула.

Ночью, казалось, двигался не корабль, а звезды. Они медленно, наискось подымались, зависали на вершине своей траектории, затем падали вниз, нерешительно забирали вправо и опять возвращались на прежнее место, затем, начиная все заново, опять тянулись к зениту.

— Достаточно удручает, — вынес вердикт Энто-

---

[195] Примечания: 195

Чамперико — город в Гватемале, на Тихоокеанском побережье. (*Прим. перев. М. Ловина*)

[196] Примечания: 196

Лихтер — несамоходное грузовое судно. (*Прим. перев. М. Ловина*)

ни. — Но красиво.

Усовершенствование привычной небесной механики. Можно было лежать на палубе и смотреть на них хоть без конца.

В голосе Стейтса прозвучала нота мрачного удовлетворения, когда он провозгласил, что через два дня они будут в Пуэрто-Сан-Фелипе.

Пуэрто-Сан-Фелипе было селением, состоявшим из хижин с ветхими деревянными пристройками прямо у воды, где хранился кофе. Агент дона Хорхе в порту помог им пройти таможенный досмотр. Настоящий испанец, полумертвый от тропических болезней, но все же на редкость учтивый.

— Мой дом — ваш дом, — заверил он их, когда они поднимались вверх по крутой тропинке к его бунгало. — Мой дом — ваш дом.

На веранду сверху свисали орхидеи, а среди них были клетки с непрестанно кричащими зелеными попугаями.

Изможденная женщина, преждевременно и безнадежно замучившаяся и состарившаяся, надорванная сверх всякой меры, шаркая, выползла из двери, чтобы наградить их улыбкой и заранее извиниться за плохое гостеприимство. Пуэрто-Сан-Фелипе было небольшим местечком,

не имевшим особых удобств; и ко всему прочему, объяснила она, ребенок чувствовал себя плохо, очень плохо.

Марк спросил у нее, что с ним случилось. Она смотрела на него глазами, лишенными выражения от утомления, и ответила, что причиной была лихорадка. Лихорадка и головная боль.

Вместе с ней они прошли в дом, и им представилась маленькая девочка, лежавшая на раскладушке, беспокойно метавшаяся головой по сторонам, тщетно пытаясь отыскать прохладное место на подушке, место, на котором могла отдохнуть ее щека, какое-то положение, в котором ее боль могла казаться слабее. Комната была полна мух, и запах жареной рыбы доносился с кухни. Глядя на девочку, Энтони внезапно поймал себя на том, что вспомнил Элен в тот день на крыше, как она вертела головой и мучительном наслаждении.

— Я полагаю, это мастоидит, — сказал Марк. — Или, может быть, менингит.

Когда он произнес это, девочка вынула слабые ручонки из-под одеяла, подняла их вверх, сжав голову между ладоней, и начала еще сильнее вертеться из стороны в сторону, наконец разразившись душераздирающим воплем.

— Тихо, тихо, — все повторяла мать, сперва заискивающе, затем с возрастающей настойчивостью, умоляя, увещевая, приказывая ребенку перестать кричать, не чувствовать такую зверскую боль. Вопли все продолжались, голова по-прежнему металась из стороны в сторону.

Измученная наслаждением, измученная болью. Мы отданы на милость собственной коже и слизистым оболочкам, на милость тонких, готовых порваться нервов.

— Тихо, тихо, — повторяла женщина почти рассерженно. Она склонилась над кроватью и изо всех сил потянула на себя два тонких запястья одной рукой, положив другую на лоб, желая с усилием удержать голову неподвижной на подушках. Все еще крича, маленькая девочка боролась против силы, давившей ее. Костлявая рука женщины еще крепче сжала ее запястья и придавила лоб. Если бы она могла силой подавить болевые приступы, может быть, боль бы и отступила, может быть, девочка прекратила бы вопить и, выздоровев, с улыбкой села бы на кровати.

— Тихо, тихо, — приказывала женщина сквозь сжатые зубы.

Нечеловеческим усилием девочка освободила

руки от хватки этих когтеобразных пальцев. Рука снова прижала ее голову. Перед тем как женщина успела снова схватить руки девочки, Марк коснулся ее плеча. Она оглянулась и посмотрела на него.

— Лучше оставить ее в покое.

Подчинившись, она выпрямилась и отошла к двери, ведущей на веранду. Они последовали за ней, поскольку больше им ничего не оставалось делать.

— *Mi casa es suya*[197].

Но слава Богу, это было не так. Детские крики поутихли, но жареная рыба и попугаи среди орхидей… Марк вежливо отклонил предложенный ранний завтрак, и они снова вышли на мучительный солнцепек. *Mozos*[198] навьючили их багажом ломовых мулов, а верховые мулы уже стояли оседланными в тени дерева. Марк и Энтони надели огромные шпоры и сели в седла.

Тропинка поднималась все выше и выше, уклоняясь от берега, и вела сквозь джунгли, серебристые и коричневато-розовые от засухи. Сидя в седле с высокой спинкой, Марк читал

---

[197] Примечания: 197
Мой дом ваш (*исп.*).

[198] Примечания: 198
Ребята, парни (*исп.*).

«Тимона Афинского»[199] в карманном издании шекспировских трагедий. Каждый раз, переворачивая страницу, он пришпоривал мула, и несколько ярдов они ехали чуть быстрее, затем вновь переходя на прежний медленный шаг.

В гостинице в Тапатлане, где они остановились на ночь, Энтони впервые в жизни покусали постельные жуки, и на следующее утро начался приступ дизентерии… На четвертый день он уже оправился и можно было осматривать виды. Последнее землетрясение почти полностью разрушило церковь, густые, черные гроздья летучих мышей свисали, как спелые сливы, со стропил; индейский мальчик, босой и в лохмотьях, шпатлевал стены с облупившейся краской; на алтарях барочные святые колыхались и взмахивали руками, застыв в боговдохновенном порыве. Затем Марк и Энтони снова пошли на рыночную площадь, где черные индианки тайно, словно в засаде, прикрывшись темными шалями, сидели на корточках в пыли перед маленькими подносами с фруктами и вялыми овощами. Мясо на лотке мясника было покрыто коростой мух. Ритмично раскачивая ушами, мимо проплывали ослы,

[199] Примечания: 199

«Тимон Афинский» (1608) — пьеса Шекспира на сюжет из древнегреческой истории. (*Прим. перев. М. Ловина*)

бесшумно вздымая пыль маленькими быстрыми копытами. Молчаливо проходили женщины, неся на голове оловянные сосуды, наполненные водой с радужными керосиновыми пятнами на ее поверхности. Из-под широких полей шляп черные глаза разглядывали незнакомцев с непостижимым змеиным блеском, который казался лишенным всякого любопытства, всякого интереса, любого ощущения, вызванного их присутствием.

— Я устал, — объявил Энтони. Они прошли всего немного, но в Тапатлане жить и что-то чувствовать было чрезвычайно утомительно. — Когда я умру, — продолжил он после паузы, — то меня пошлют именно в это место ада. Я его тотчас узнаю.

Гостиничный бар располагался в тусклом, как склеп, помещении со сводчатым потолком, подпираемым в середине кирпичной колонной, достаточно широкой для того, чтобы выдержать землетрясение. Марк назвал это место саксонской усыпальницей и тотчас пошел к себе в комнату, чтобы принести носовой платок, оставив Энтони сидеть в плетеном кресле.

Опершись о стойку, красиво одетый молодой мексиканец в дорожных бриджах и огромной

фетровой шляпе хвастался перед барменшей аллигаторами, которых он подстрелил в болотах рядом с устьем Коппалиты, затем стал рассказывать ей о своей жесткости при обращении с индейцами, воровавшими у него кофе, о деньгах, которые он рассчитывал выручить от продажи урожая.

«Пожалуй, это чересчур», — думал Энтони, смотревший и слушавший из своего кресла. Ему нравилось это зрелище, но молодчик повернулся и, поклонившись с церемонностью изрядно пьяного человека, спросил, не выпьет ли с ним чужеземный кавалер стаканчик текилы.

От усталости Энтони заговорил по-испански с большими паузами, и его усилия, потраченные на то, чтобы объяснить, что он чувствует себя плохо и что из-за алкоголя ему может быть еще хуже, очень скоро оказались напрасными. Молодчик слушал, неотрывно глядя на него своими темными, яркими, как у индейца, но в то же время чрезвычайно выразительными глазами европейца, в которых можно было прочитать сильную и страстную заинтересованность и внимательную настороженность. Энтони продолжал бормотать, и внезапно эти глаза приобрели новый и опасный блеск; красивое лицо исказилось

от гнева, костяшки сильных, хищных рук побелели от внезапно сжавшихся кулаков. Молодчик угрожающе выступил вперед.

— *Usted me disprecia*![200] — прокричал он. Его движения, злоба, таящаяся в его голосе, заставили Энтони испытать панический страх. Он с усилием поднялся на ноги и, стоя за спинкой кресла, начал объясняться голосом, первоначально тихим и миролюбивым, но затем, несмотря на все его усилия сохранить его серьезным и твердым, обрывающимся и бездыханно пронзительным, в том, что он и не думал никого оскорблять, что это просто проблема (он помедлил перед тем, как дать медицинское обоснование и не мог придумать ничего лучшего, кроме боли в желудке) — *un dolor en mi estómago*.

По какой-то причине слово *estómago* показалось мексиканцу последним, самым грубым оскорблением. Он проревел что-то нечленораздельное; его рука потянулась к карману бриджей, и одновременно с тем, как барменша закричала о помощи, он снова выступил вперед, держа револьвер.

— Не смей! — закричал Энтони, не соображая, что говорит. Затем с невероятным проворством

---

[200] Примечания: 200
Это мне не нравится! (*исп.*)

он вылетел из своего угла, чтобы укрыться за массивной колонной посреди комнаты.

В течение секунды мексиканца не было видно. Но не решил ли он подкрасться на цыпочках? Энтони вообразил, как револьвер внезапно высовывается из-за колонны прямо ему в лицо — или даже с тыла. Он почувствовал бы дуло, упершееся ему в спину, услышал бы чудовищный разрыв, и затем… Ужас, настолько сильный, что напоминал самую мучительную физическую боль, охватил его целиком: сердце билось более учащенно, чем когда бы то ни было, и он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Подавив страх еще большим страхом, он высунул голову слева. Молодчик стоял всего лишь в двух ярдах от него, уставившись жутко-пронзительным взглядом на колонну. Энтони увидел, как мексиканец слегка дернулся, и с отчаянным криком о помощи отпрыгнул вправо, снова выглянул и подался влево, затем опять вправо.

«Это не может так продолжаться, — думал он. — Я не могу стоять здесь бесконечно». Мысль о револьвере, внезапно показывающемся из-за колонны, заставила его снова выглянуть. Мексиканец чуть шелохнулся, и он поспешно отпрянул влево.

Послышался скрежет револьвера — этого Энтони боялся больше всего. Чудовищный скрежет, внезапный и парализующий, как тот взрыв восемнадцать лет назад. Он зажмурил веки, но они не переставали дрожать, готовые моргнуть в ожидании жуткого последствия. Ресницы застили ему глаза, и сквозь какую-то дымку он видел, как отворилась дверь и Марк стремительно вошел в комнату. Вот он взял мексиканца за запястье… револьвер выстрелил, звук, громкий, прогремел по стенам и потолку, Энтони издал страшный крик, словно был ранен, и, закрыв глаза, вплотную прижался к колонне. Чувствуя всего лишь тошноту, боль в паху и резь в кишечнике, он ждал, превращенный в простое воплощение жуткого ожидания следующего взрыва. Ожидание казалось вечным. Он вскрикнул: «Нет, не надо!» — но, открыв глаза, которые все еще дергались, увидел Марка Стейтса, демонстрировавшего мускулами лица дружелюбно-ироническую улыбку.

— Все в порядке, — сказал он. — Можешь выходить.

Чувствуя глубокий стыд и подавленность, Энтони последовал за ним на свежий воздух. Молодой мексиканец был снова у стойки и снова пил. Когда они приблизились, он повернулся

и с распростертыми объятиями двинулся им навстречу.

— *Hombre*, — обратился он к Энтони, горячо сжимая его руку. — *Hombre*![201]

Энтони чувствовал себя невыразимо униженным и подавленным.

[201] Примечания: 201
Мужик! (*исп.*)

Глава 42

15 сентября 1934 г.

Последние несколько дней я задумываюсь над изречением Уильяма Пенна [202] — «Сила может покорить, а Любовь побеждает, и тот, кто прощает первым, достоин лаврового венка».

«Сила может покорить…» Я представляю, как люди применяют силу. Сперва в рукопашном бою. Кулаки, ножи, дубинки, кнуты. Рубцы, алые или синие, по всему телу. Рваные раны, синяки, осколки сломанных костей, лица, жутко распухшие и кровоточащие. Затем я пытаюсь вообразить на своем собственном теле боль искрошенного пальца или от ударов палкой или плетью по лицу, след от ожога раскаленным железом. Другие более мелкие пытки и истязания. Затем я представляю себе силу на расстоянии: пули автоматической винтовки, тротиловые шашки, удушающий газ, волдыри от ожогов, пожары.

---

[202] Примечания: 202

Пенн, Уильям (1644–1718) — основатель английской квакерской колонии в Северной Америке. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Наконец я рисую в воображении силу в форме экономического принуждения. Голодные дети со вспученными животами, похожими на шары, и конечностями, тонкими как спички. Тридцатилетние женщины, похожие на старух. И все эти живые трупы, стоящие в молчании на уличных углах в Дареме или Южном Уэльсе или шаркающие ногами по дорожной грязи.

Да, сила может покорить. Покорить с помощью смерти, ран, путем голода и страха. Мне видятся запуганные лица, жалкие, несчастные мольбы о подаянии. Управляющий за своей конторкой, произносящий очередную угрозу. Клерк, пресмыкающийся перед начальством перед угрозой увольнения. Сила есть акт открытого выступления против предусмотренного Богом человеческого братства. «Сила может покорить, а Любовь побеждает…» Я повторяю краснокожим историю жизни самого Пенна. Вспоминаю, как Миллер, бывало, улаживал подозрительность и враждебность индейцев горных деревень. Думаю о Пеннеле на северо-западной границе, о квакерах во время голода в России, об Элизабет Фрай и Дамиэне.

Вслед за этим я анализирую перевод любви в сферу и термины политики. Кэмпбелл и Бэннер-

ман настаивали на восстановительных работах в Южной Африке — посыпалась куча протестов и кассандровские пророчества таких «здоровых и практичных людей», как Артур Бэлфур. Любовь побеждает даже в неуклюжей, искаженной форме политической конституции. «Тот, кто прощает первым, достоин лаврового венка». В Южной Африке англичане простили тех, кого они обманули, что не намного легче, чем простить того, кто обманул тебя, — и таким образом выиграли приз, который никогда бы не получили, веди они долгую насильственную войну. Ни один приз не был завоеван со времени прошедшей войны, потому что ни один из тех, кто воевал, до сих пор еще не простил тех, кого он оболгал, или тех, кто оболгал его. При правильном приложении к ситуации любовь всегда побеждает. Это эмпирически установленный факт. Любовь — лучшая политика. Лучшая не только для тех, кто любит, поскольку любовь всегда конструктивна. Она вырабатывает средства, которыми может осуществляться эта политика. Чтобы продолжать любить, человеку нужны терпение, смелость и выдержка. Но процесс любви порождает эти средства, только пока длится сама любовь. Любовь побеждает, поскольку ради предмета любви тот,

кто любит, терпелив и смел.

А что значит быть любимым? Доброта и стремление к доброте во всех человеческих существах — в том числе в тех, кто охотнее других занят тем, что отказывается проявить это стремление к доброте даже по отношению к тем, кто любит. Если любовь достаточно велика, она может изгнать страх даже перед самыми злобными врагами.

Я заканчиваю тем, что перед моим внутренним взором все еще стоит образ доброты — образ матери. Доброта, если ее силы используются в полной мере, есть достигнутый идеал, видимый в своем совершенстве и также заметный в том, как он реализован на практике, в том, как он присутствует в любой ситуации, в которой мы можем оказаться. Ведь в реальности это целый образ мыслей, чувств и переживаний. Это целая система, которую представляю себе достаточно спокойно, во всей ее полноте — представляю ее без слов, без образов, но цельно, как единое простое сущее. Я прорываюсь к ней — и тотчас отступаю обратно в сферу слов и, наконец, обратно (хоть с новыми силами и с большим пониманием, наполнив мозг образами) в обычную жизнь.

17 сентября 1934 г.

Сегодня Элен позвала меня для того, чтобы я помог ей развлечь ее сестру и зятя, только что вернувшихся из Индии. Пришлось надеть вечерний костюм — первый раз за этот год, — потому что Колин не мог позволить себе появиться в театре или в «Савой-гриле» в чем-нибудь кроме белого галстука. Удручающий вечер. Джойс тощая и нездоровая раньше времени. Колин украдкой поглядывает на более стройных и молодых женщин. Она ревнует и постоянно гундит, а он, недовольный тем, что привязан, словно веревкой, к жене и детям, винит ее в собственной излишней строгости, которая не позволяет ему быть распутником, а он хочет им быть. Каждый из них хронически не выносит другого. То и дело подаются признаки дурного нрава и происходят обмены гадкими и злобными словами. У Колина помимо этого другие несчастья. Англия, как показалось, не встретила офицера и джентльмена должным почетом. Извозчики грубы с ним, люди низших классов толкают его на улице. «Они называют Англию страной белых. (Это после второй «маленькой» в театральном баре в антракте.) Это не так. Подавайте мне Пуну каждый раз».

Допустим, у нас у всех будут свои Пуны, убежища от неприятной реальности. Опасность

медитации, как все время говорит Миллер, в том, что она становится вот такой лазейкой. Квиетизм [203] может быть простым сибаритством. Силы притягивания очень похожи на мастурбацию. Но такую, которая более возвышенна, которую практикуют мистики-любители, употребляющие священные термины религии и философии. «Созерцательная жизнь». Это может послужить высокоинтеллектуальной заменой Марлен Дитрих: предмет для эротических фантазий в сумерках. Медитация сама по себе вещь ценная, но только если это не приводит к такому приятному концу; только как средство проведения желаемых перемен в личности и образе существования. Вести созерцательную жизнь не значит жить, утопая в роскоши и вожделениях к заманчивой Пуне; это значит жить в Лондоне, но не создавать себе стиль, похожий на кокни .

[203] Примечания: 203

Квиетизм — религиозное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле Бога до требования быть безразличным к собственному «спасению». (*Прим. перев. М. Ловина*)

Глава 43

20 и 21 июля 1914 г.

Энтони казалось, что нужный, подходящий момент для того, чтобы сказать Брайану правду (или по крайней мере ту долю правды, которую ему было целесообразно знать), никогда не представится сам. Первый вечер был заранее исключен — потому что Энтони чувствовал, что должен повременить, так как Брайан выглядел уж чересчур больным и изможденным. За вечерним ужином и после него Энтони говорил на крайне непринужденные темы. Предметом разговора были «Размышления о насилии» Жоржа Сореля — чтение совершенно неуместное для фабианцев. И видел ли Брайан, как метко попадала в его любимого Бергсона Джульен Бенда? А что он думает о белом стихе Лесли Аберкромби? А о последней публикации Джилберта Кэннана? На следующее утро они вышли погулять к Лэнгдейлскому пику. Оба не собирались тренироваться, но, несмотря на учащенное дыхание и бьющееся, как колеса поезда, сердце, Брайан настаивал с поистине спартанским упорством на том, что Энтони сперт-

ва счел нелепицей, а потом издевательством. Когда они вернулись домой, солнце уже было высоко, и они изрядно устали, а Энтони вдобавок терзало возмущение. Отдых и ленч несколько улучшили его настроение, но он все-таки посчитал невозможным обращаться с Брайаном иначе как с мужчиной, все ему прощать, но тем не менее сохранять достоинство. Достоинство, однако, было несовместимо с тем, чтобы поведать ему всю правду. Вечер они провели в тишине — Энтони читал, а Брайан беспокойно бродил по комнате, словно подыскивая повод заговорить — повод, который не давали ни Энтони, ни царивший вокруг него дух крайней занятости.

Следующим утром Энтони внезапно разбудила тревожная мысль о том, что время шло, и не только для него, но также и для Джоан и для Брайана. Нетерпение Джоан могло заставить ее забыть об обещании ничего не писать Брайану, и, кроме того, чем дольше он оттягивает неизбежное объяснение, тем хуже Брайан будет о нем думать.

Сославшись на нездоровье, он позволил Брайану выйти одному и, глядя, как тот упорно штурмует отвесный склон за усадьбой, сел за стол, чтобы написать письмо Джоан. Или, скорее, попытаться написать его, поскольку каждый из

набросков, которые он делал, содержали один из двух недостатков, и каждый из этих недостатков подвергал его, как он понимал, некоторой опасности. Если он станет слишком настаивать на уважении и привязанности, которые подогрели его так, что он потерял голову в тот проклятый вечер, она ответит, что настолько сильные уважение и привязанность уже походят на любовь, а посему оправдывают его предательство Брайана, ибо любовь покрывает все. А если он станет слишком сильно напирать на потере головы и временном безумии, она почувствует себя оскорбленной и пожалуется Брайану, миссис Фокс, своим родственникам, поднимет шум и в бешенстве назовет его подонком, совратителем и еще бог знает кем. Проведя три часа и испортив с дюжину листов бумаги, он понял, что лучшее из того, что он сотворил, отсылать стыдно. Он сердито отложил это письмо в сторону и в состоянии гнева начертал грозное послание Мери, полное упреков. Проклятая женщина! Это она должна ответить за все. «Намеренная злоба…» «Бесстыдно эксплуатировала мою любовь к тебе…» «Обращаясь со мной, как с каким-то животным, ты могла издеваться ради собственного удовольствия». Фразы так и сыпались с его пера. «Это проща-

ние, — заключил он, и наполовину уже сам верил в то, что он в сердцах написал. — Я не желаю больше тебя видеть. Никогда». Но ссору, думала вторая его половина, всегда можно уладить: он ее проучит, и затем, если она будет себя хорошо вести, если он почувствует, что не может без нее, то… Он запечатал письмо и тут же отправился на местный почтамт, чтобы его отправить. Этот решительный поступок мог поправить его чувство собственного достоинства. По дороге домой он задумал, на этот раз вполне определенно, привлечь Брайана к разговору этим вечером и затем, уже зная его реакцию, снова попробовать написать письмо Джоан на следующее же утро.

Брайан вернулся к шести часам, объятый ликованием оттого, что прошел еще дальше и взобрался на вершины еще большего количества гор, чем в прошлый раз, но выглядел он, несмотря на всю его радость, совершенно измочаленным. Увидев его так давно знакомое лицо, теперь трагически изможденное и понурое, хотя и излучавшее диковатую улыбку, Энтони почувствовал сильный прилив тех же чувств, которые он испытал в первый же вечер: заботливое участие к старому другу, искреннее сочувствие его страданиям — и вместе с этим невыразимое чувство

вины перед ним, ответственность за его судьбу. Моментальное признание могло бы уменьшить его боль и в то же время позволило бы ему выразить свои чувства, но он колебался и не говорил ни слова. И через несколько секунд, в ходе почти моментального химического процесса, произошедшего в его психике, сочувствие и участие соединились с чувством вины и образовали гнев. Да, он определенно злился на Брайана за то, что тот выглядел таким усталым, за то, что он уже был таким несчастным, и за то, что станет еще более несчастным в тот момент, когда ему будет поведана правда.

— Ты с ума сошел, изнуряя себя так, — резко сказал Энтони и повел Брайана в дом, чтобы тот отдохнул перед ужином.

После еды они пошли на маленький лужок рядом с домом и террасой и, расстелив коврик, улеглись, глядя на небо, зеленое ко времени их приезда, а теперь постепенно приобретающее все более густой синий оттенок.

«Вот и настал неумолимый срок», — подумал Энтони с екнувшим сердцем и в тягостном молчании стал готовить речь, просчитывая в мозгу все возможные ходы; он все еще колебался между резкой и скоропалительной правдой и уклончи-

вой стратегией, которая постепенно подготовит жертву к последнему удару.

Но перед тем, как он решил, какой подход наиболее соответствовал его признанию, Брайан внезапно начал длинную и сбивчивую речь. Было очевидно, что он также ждал удобного случая облегчить душу, но вместо того, чтобы изображать кающегося грешника, как он намеревался, Энтони внезапно обнаружил в себе (отчасти к облегчению, отчасти к огорчению и смущению) стремление к тому, чтобы сыграть роль исповедника и духовника; ему захотелось прослушать заново историю, которую Джоан уже рассказала ему — ту самую, что была разукрашена святыми Мониками и внутриутробными реакциями и так чудесно подействовала на Мери Эмберли. Ему предстояло услышать, какой унизительной, какой болезненной его друг сочтет невозможность сдержать в узде собственное тело, подавить в себе низкую похоть, недостойную любви, которую он чувствовал к Джоан. Или, может быть, Брайан, цитировавший строки Мередита: «Вулкан огромный изрыгает языки пламени из бездны к небесам», — не счел бы «это» недостойным, когда обстоятельства позволили бы «этому» занять свое место в неразрывном комплексе, составляющем

идеальный брак, но недостойным именно тогда, когда «это» не могло найти законного выражения, потому что «это» могло бы бросить вызов здравому рассудку.

— Мне п-пришлось б-бежать, — объяснил он, — ф-физически устраниться на б-безопасное расстояние. П-потому что я н-не был сп-пособен к-к-к… — «контролировать» у него не получилось, и он удовольствовался менее выразительным словом, — управлять с-собственной в-волей. Стыдно быть слабым, — закончил Брайан.

Энтони кивнул. Слабым в том, чтобы решиться на поцелуй, и не менее слабым, когда дело дошло до прерывания того, что совершилось по общему согласию — хоть и было чем-то большим, чем просто слабость, чем-то положительным, развратной пирушкой в ситуации глупой, опасной, неуместной.

— Н-но если знаешь, что н-не м-можешь это п-побороть, — говорил Брайан, — я считаю, что лучше уйти в с-сторону. Лучше, чем вп-путаться в неизбежную п-передрягу.

— Да, я согласен, — процедил Энтони, удивляясь, почему он не поддался своему порыву и не вышел в Кенделе.

— И н-не т-только впутаться с-самому, н-но и

впутать других. — Повисла длинная тишина, и затем медленно и усердно Брайан принялся объяснять, что самым великолепным, самым прекрасным в Джоан была ее естественность. Она была сильна, как сама природа, и так же непредсказуема; она была добра, как природа, щедра и до глубины души невинна. Она обладала всеми качествами летнего пейзажа, цветущего дерева, водоплавающей птицы, что летает, вся сверкающая и с горящими глазами, между камышей. Эта естественность и была тем, что он так любил в ней, потому что она так разительно отличалась от его собственной скрупулезности и рационализма. Но та же естественность делала для Джоан невозможным понимание, почему он считал ее присутствие таким опасным, почему он чувствовал необходимость держаться от нее подальше. Ей было неприятно оттого, что он удерживал себя от этого, она считала, что это происходит потому, что он ее не любит, в то время как на самом деле…

На самом деле, говорил себе Энтони, находя некоторое утешение, вновь будившее в нем чувство превосходства и насмешливый цинизм, она жаждала поцелуев, и при первой ласке все ее тело с содроганием протестовало против запрета,

наложенного на «это».

— Н-на самом д-деле, — с усердием выговаривал Брайан, — я люблю ее б-больше, чем всегда. Н-несоизмеримо больше. — Он секунду помолчал, затем продолжал, глядя на Энтони: — Н-но что мне д-делать?

Все еще охваченный высокомерным презрением, Энтони грубость молчаливого ответа счел еще одной победой, столь, однако, недолгой, как и легкой. Первая мысль его сменилась беспокойным осознанием того, что он поставлен перед выбором: или сказать Брайану, что произошло между ним и Джоан, или дать еще один успокоительный и уклончивый ответ на его вопрос, отложив разглашение правды на потом. Но такой успокоительный ответ был бы чудовищно лживым, и когда бы он наконец решился сказать Брайану правду, то тот навсегда бы запомнил именно эту ложь и непременно использовал бы ее против Энтони при первом удобном случае. Но сказать правду теперь же, в этом конкретном контексте, было бы особенно болезненно, и болезненно, продолжал думать он, не только для него самого, но также, помимо всего прочего, для Брайана. После всего, что Брайан сказал в этот вечер, выдать обыкновенный отчет того, что

случилось, было бы чрезмерной жестокостью и преднамеренным оскорблением.

Глава 44

21 сентября 1934 г.

Размышления святой Терезы. «Давайте смотреть на наши собственные недостатки, а не на недостатки других. Нам не следует настаивать на том, чтобы каждый следовал нашим путем, не следует брать на себя смелость учить других духовности, ведь мы сами толком не знаем, что это такое. Стремление к праведности души, хоть и данное нам Богом, может часто свести нас с прямого пути». Ко всему этому добавьте следующее: великая благодать Божия — заниматься самоисследованием, но слишком много — так же плохо, как и слишком мало, как говорится; поверьте мне, с Божьей помощью мы совершим больше путем размышлений о Божественном, чем если будем заняты исключительно собой. Но наш опыт говорит нам о том, что размышление о Боге — о благости в самом открытом виде — есть путь к осознанию того, что благость присутствует в незначительной степени в жизни человека и часто стремление к осознанию благости удерживает от какого-то сущего, не являющегося

обычной человеческой личностью и сильно подчиненного ей. Христианский Бог и буддийский высший Разум суть результаты конкретного опыта, но буддист отклоняется от нормального состояния больше, чем христианин. Христиане, конечно, находились в этом состоянии чаще, чем буддисты, и столкнулись с более серьезными трудностями при выражении его в ортодоксальных терминах. Обе концепции правомочны — так же, как правомочны как макроскопический, так и микроскопический взгляды на материю. Мы наблюдаем окружающий мир с помощью физиомыслительного аппарата, и этот аппарат может отвечать только на определенные стимулы. В пределах относительно узких он работает. Природа явлений, воспринимаемых каждым из нас, зависит от природы индивидуального инструмента и от его применения, заложенного в нас с детства или выбранного нами впоследствии. Исходя из этих данных, можно сделать выводы, которые могут быть логически состоятельными или несостоятельными. Любая философия интеллектуально оправданна, если, во-первых, она опирается на факты, которые для философа являются данными, и если, во-вторых, логическое построение, основанное на этих фактах,

выдерживает критику. Но философия, интеллектуально оправданная, не означает философию, оправданную нравственно.

Мы можем применить наш инструмент намеренно, с помощью воли. Это означает, что можно подчинять воле вариации в личном опыте, которые лежат в основе нашей философии, данные, из-за которых мы спорим. Проблема: необходимо построить действительно крепкие логические мосты между заданными фактами и логическими выводами. Что совершенно недостижимо. Нет неопровержимых подтверждений ни одной из основных на сегодняшний день космологических теорий. Ну и что же с этим делать? Опираться, насколько это возможно, на эмпирические факты и всегда помнить, что они могут быть изменены любым, кто захочет изменить механизм восприятия. Так что можно видеть, например, или неизлечимую бессмысленность и порочность, или ощутимые перемены к лучшему — что угодно: это вопрос выбора.

Глава 45

14 апреля 1928 г.

Невыразимое чувство счастья — вот что должно было принести ему ее письмо. Но лицо Хью, когда он гулял — гулял вместо обеда взад-вперед по длинной галерее этнографического собрания, было смущенной и расстроенной маской. Слова письма Элен настойчиво звучали в его памяти. «Никого ни капельки не волнует, жива я или умерла…»

Символ смерти в хрустале и череп, украшенный бирюзой, посмотрели на него из мексиканской витрины. «Никого не волнует…» Это должно было стать его возможностью… Он думал о ее несчастье с мучительным состраданием, но также с надеждой. В несчастье она обратится к нему. «Никого не волнует…»

«Никого, кроме тебя». К его восторгу, гордости и ликованию, вызванному чтением этих слов, примешивалось, по мере того, как он читал дальше, осознание, что она не понимала на самом деле, как его это волновало, не могла оценить истинную глубину его чувства. «Моя мать? — пи-

сала она. — Но с тех пор, как она начала пичкать себя той жутью, она стала какой-то другой — да и всегда была какой-то другой, даже когда была здорова (хотя, конечно, не настолько не похожей). Так же, как и я всегда была кем-то другим, если на то пошло. Ей нужна была дочь, а я всегда была самовлюбленной и безответственной. Как и она, в сущности. Какая-то другая. Как я могла волновать ее? Ты не эгоист, Хью. Ты…» Но дело было не просто в эгоистичности или альтруизме, внутренне воспротивился он, глядя на разрисованные лица на перуанских вазах, пялящиеся сверху справа с немигающей пристальностью застывшей жизни. Все дело было в чем-то другом, в чем-то более глубоком и более духовном. Слева висели высохшие, фантастически размалеванные трофеи папуасских охотников за скальпами, напоминавшие обезглавленных клоунов. В черепа из пролива Торреса были вставлены круглые блестящие глаза из перламутра. Да, более духовном, настаивал Хью, думая о том, что он писал о ней — лирично! лирично! — и о том тонком анализе своих собственных чувств. Тут был альтруизм, уже растаявший и, как и должно было быть, превратившийся во что-то более утонченно-эстетическое. Альтруизм на картинке. Альтруизм

кисти Ватто или Чимы да Конельяно [204]. А она сама, предмет его созерцательно-эстетического альтруизма, — она также в его воображении, во все растущей стопке страниц романа о ней обладала качествами, характерными для картины или музыкальной пьесы; была чем-то, увидеть или услышать что являлось уже достаточным счастьем; может быть, иногда прикоснуться, словно она была статуей, приласкать с почти неощутимой нежностью. И иногда в этих грезах она представала холодной, несчастной — никому до нее не было дела, — и она просила, чтобы он успокоил и согрел ее, ластилась к нему, хотела забраться под крыло, в те альтруистические, созерцательные, неощутимые руки и оставаться там в безопасности, хоть и обнаженной, как на картине, девственной, идеальной, но тающей, тающей… Пернатая, как посол при полном параде, с птичьим клювом, зубами, как у акулы, эта деревянная маска однажды заставила того, кто ее носит, почувствовать в головокружительном танце, что он больше не человек, а божество. «Ты говорил, что всегда хочешь быть со мной. Ну что ж, я много об этом размышляла за недавнее вре-

[204] Примечания: 204

Конельяно, Чима да (Джованни Батиста (ок. 1459–1517/1518) — итальянский живописец. (*Прим. перев. М. Ловина*)

мя, и думаю, что я бы тоже этого хотела. Дорогой Хью, я не влюблена в тебя, но ты нравишься мне больше, чем кто бы то ни было. Я уверена, что ты милее, добрее, нежнее многих и не эгоист. И конечно же, это достаточно крепкий фундамент для того, чтобы что-то построить».

Эти слова, когда он прочел их в первый раз, наполнили его чувством, напоминавшим панику, и с тем же самым протестующим волнением он теперь прогуливался между Новой Каледонией и Соломоновыми островами. Во чреве деревянной рыбы бонито меланезийская вдова открыла маленькую дверцу, и там, напоминавший ночной горшок, находился череп ее мужа. Но это всегда было духовно и эстетично, и он хотел быть с ней. Или она была не способна понять это? Он определенно заявил с достаточной ясностью: «Если ты все еще хочешь этого, я тут как тут — я тоже этого хочу». Это было кошмарно, думал он, абсолютно кошмарно. Она вынуждала его принять решение и делала невозможным то, чтобы он сказал «нет», беря на вооружение то, что он уже сказал «да». Он чувствовал себя загнанным в угол, связанным по рукам и ногам. Женитьба? Но ему придется полностью переменить образ жизни. Его квартира слишком мала. Ей будет хотеться

есть мясо по ночам. Миссис Бартон заметит. Из копий, висевших слева от него, некоторые были украшены вулканическим стеклом, некоторые — спинными хребтами скатов, а некоторые — человеческой костью. «Ты, вероятно, думаешь, что я дура, да вдобавок ветреная и безответственная. Это правда — я такой была до настоящего времени. Я безнадежна — я сделалась такой в результате жизни, которую вела. Теперь я хочу в корне изменить все, и знаю, что я смогу стать совершенно другой. *Serieuse*. Хорошей женой и всем прочим. (Боже, как это глупо, когда переносится на бумагу.) Но я отказываюсь больше стыдиться хорошего. Отказываюсь бесповоротно». Эта безответственность, думал он, была одной из самых прекрасных и наиболее трогательных черт ее характера. Это отделяло ее от мира обыденности, лишало вульгарности, свойственной многим людям. Он не хотел, чтобы она брала на себя ответственность и становилась доброй женой. Он хотел, чтобы она была похожа на Ариэля [205], на нежное создание в его собственной рукописи, существом иного порядка, находившимся между добром и злом. Тем временем он направлялся в

[205] Примечания: 205

Ариэль — персонаж пьесы Шекспира «Буря», светлый дух в противоположность Калибану. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Африку. Фигурка негритянки, державшей свои длинные остроконечные груди в обеих руках, мрачно сверкала из стеклянной коробки. Живот у нее был татуирован, а пупок выпирал маленькой шишечкой. Копья в следующей витрине имели стальные наконечники. «Похожа на Ариэля, — повторил он про себя, — как те полотна Ватто в Дрездене, как Дебюсси». В качестве резонатора этот ксилофон вместо обычной тыквы имел человеческий череп, и на рогах из слоновой кости висели черепа в виде гирлянд, берцовые кости окружали священнодейственный барабан из Ашанти[206]. «Она все испортила», — в отчаянии сказал он себе. И внезапно, подняв глаза, он увидел, что она была здесь, спешила по узкому проходу между витрин навстречу ему.

— Ты? — едва вымолвил он.

Но Элен была слишком обеспокоена, чтобы обратить внимание на его мрачный взгляд, бледность и, наконец, виновато вспыхнувшие щеки, слишком сильно занята своими мыслями, чтобы услышать ножу испуганного понимания в его голосе.

---

[206] Примечания: 206

Ашанти — раннефеодальное государство, существовавшее с конца XVII в. на территории современной Ганы и захваченное Великобританией. (*Прим. перев. М. Ловина*)

— Прости, — сказала она, едва дыша, когда взяла его руку. — Я не хотела помешать тебе здесь. Но ты не знаешь, что творилось сегодня утром у меня дома. — Она покачала головой, и губы ее задрожали. — Мама как сумасшедшая — это невозможно описать… Ты единственный, кто…

Он нелепо пытался утешить ее, но действительность глубоко отличалась от того, как он воображал себе ее несчастье. Воображение всегда было прекрасной областью, а реальность — угрозой неминуемой катастрофы. В отчаянии он прибегнул к тому, чтобы переменить тему. Эти штучки из Бенина были довольно интересны. Леопард из слоновой кости, испещренный медными точками, бронзовые негритянские воины с листьеобразными копьями и мечами, у которых с пояса свисали головы их врагов. Европейцы с бородами и орлиными носами в головных уборах шестнадцатого века, мешковидных чулках и повязках крест-накрест вокруг шеи. Иронично, как будто в скобках, он заметил, что единственное, чему эти люди научились у христианства, это искусству распинать людей. Карательная экспедиция в 1897 году обнаружила место, полное крестов. А прекрасная головка молодой девушки в конусообразной фригийской шапочке с корал-

ловыми бусинками…

— Взгляни на это, — внезапно прервала его Элен и, отогнув рукав, показала ему две красные полукруглые отметины на коже в нескольких дюймах выше запястья. — Это она укусила меня, когда я пыталась заставить ее лечь в постель.

Хью был полон брезгливости и негодования.

— Это ужасно! — прокричал он. — Просто жутко. — Он взял ее за руку. — Ах ты бедный ребенок! — И они буквально секунду стояли, не говоря ни слова. Затем внезапно его жалость испарилась от осознания того, что случилось. Теперь пути к бегству не было. Он снова поймал себя на мысли о миссис Бартон. Если она заметит, то что он будет делать?

Глава 46

30 октября 1934 г.

Марк сказал за ужином, что перечитывает «Анну Каренину». Она ему нравилась, как и все романы. Он лишь пожаловался на крайнюю неправдоподобность даже самой лучшей беллетристики. И начал перечислять все недостатки. Почти никакого внимания маленьким физиологическим событиям, которые определяют, будет ли день иметь приятный или неприятный тон. Испражнение, например, способное создать или испортить весь день. Пищеварение. И для героинь романа их месячные драмы. Затем небольшие заболевания — катар, ревматизм, головные боли, усталость глаз. Хронические физические недостатки — от чрезмерной полноты (в случае импотенции или уродства) до восхитительных психических расстройств. И наоборот, внезапные припадки неизвестного внутреннего или мышечного характера или просто обыкновенное ухудшение здоровья. Не говоря уже, конечно, о роли, которую играют простые чувства, доставляющие удовольствие.

Горячая ванна, например, вкус бекона, мех на ощупь, запах фрезий. В жизни, например, пустая пачка из-под сигарет может причинить больше беспокойства, чем отсутствие любовницы, чего никогда не найдешь в книгах. Почти полностью умалчивается о маленьких развлечениях, заполняющих значительную часть человеческой жизни. Чтение газет, походы по магазинам, обмен сплетнями, всевозможные грезы, начиная от лежания в постели и воображения того, что бы ты делал, если бы у тебя была нужная любовница, доход, лицо, общественное положение, и кончая сидением в кинозале и пассивным получением готовых грез из Голливуда.

Ложь по упущению неизбежно превращается в позитивную ложь. Литература намекает, что людей контролирует если не разум, то по крайней мере внятные, хорошо организованные, открыто проявляющиеся чувства. В то время как факты свидетельствуют об обратном. Иногда чувства играют роль, а иногда нет. Да восторжествует любовь, хотя бы погиб мир, но любовь может быть благородным названием для безотчетного влечения к одежде или запаху какого-то определенного человека, безумное желание повторить ощущение, вызванное каким-то ловким дви-

жением. Или возьмите подобные случаи (это редко предается огласке, но происходит крайне часто, если верить любому, кто оказывался в такой ситуации) из жизни знаменитых государственных деятелей, отцов церкви, юристов, промышленных магнатов — на первый взгляд таких разумных, показательно интеллигентных, таких высоконравственных, если кругом люди; но в частной среде, при непреодолимой тяге к бренди, молодым людям, юным девочкам в поезде, к эксгибиционизму, азартным играм или накопительству, к угрозам и к рабскому подчинению, ко всем бесчисленным сумасшедшим извращениям, связанным с жаждой к деньгам, власти и силе, с одной стороны, и к половому наслаждению, с другой. Обыкновенный тик или действие различных раздражителей, безумные и неподотчетные желания играют в человеческой жизни такую же роль, как и организованные и допустимые чувства. Любая художественная литература отрицает подобный факт и распространяет чудовищную ложь о природе мужчины и женщины.

Несомненно, это правильно, отвечает Марк. Потому что если бы людям показывали, кто они есть на самом деле, они бы либо поубивали друг

друга, как клопов, либо сами сунулись в петлю. «Но тем не менее я больше не могу утруждать себя чтением беллетристики. Выдумка и ложь мне не интересны. Как бы поэтично они ни были бы выражены. Это всего лишь занудство».

Я согласился с Марком в том, что беллетристика не выполняет свое предназначение. В том, что необходимо знать все, и знать это не просто по научной литературе, но также в той форме, которая позволила бы вжиться в факты, а не просто овладеть ими. Всецелое выражение (в терминах беллетристики) ведет к глубокому знанию, то есть всеми качествами разума, всей правды — безоговорочное предварительное условие любого спасительного действия, любой серьезной попытки воспитать настоящего человека. Воспитание изнутри, путем вырабатывания правильного самоиспользования. И в то же время воспитание извне, посредством социально-экономических условий, созданных в свете исчерпывающего знания личности и пути, на котором личность может проявлять себя и благодаря этому изменяться.

Марк всего-навсего рассмеялся и сказал, что я похож на людей, которые ходят из дома в дом и продают электрические стиральные машины.

4 ноября 1934 г.

Был на великолепной встрече в Ньюкасле с Миллером и Перчезом. Огромные, ликующие толпы, в основном состоящие из неимущих. Возьмите на заметку тот факт, что пацифистская настроенность обратно пропорциональна уровню благосостояния. Чем выше бедность, чем длиннее срок безработицы, тем более искренним становится желание не воевать больше и тем более сильным скептическое отношение к условным идолам — Империи, Чести Нации и всему прочему. Негативное отношение тесно связано с плохими экономическими условиями. Следовательно, на это не стоит полагаться. Такой пацифизм не имеет автономной жизни. Он находится прежде всего на милости тех, кто способен дать деньги, и угрозы войны приведут только к очередному всплеску безработицы. Во-вторых, он зависит от того, кто предложит заманчиво позитивную доктрину, какой бы криминальной ни была эта позитивность. Разум ненавидит пустоты. Отрицательный пацифизм и скептицизм по отношению к существующим институтам — всего-навсего дыры в разуме, пустоты, которые ожидают того, чтобы их заполнили. Фашизм и

коммунизм обладают достаточным позитивным содержанием, чтобы служить этими заполнителями. Внезапно может появиться кто-то, кто обладает способностями Гитлера. Отрицательная пустота способна наполниться до отказа в мгновение ока. Эти пацифисты-скептики за одну ночь превратятся в напичканных идеями фанатиков национализма, классовой войны или чего угодно. Отсюда вопрос — есть у нас время заполнить пустоту положительным пацифизмом? Или, даже при наличии времени, имеем ли мы способность сделать это?

Глава 47

10 и 11 января 1934 г.

Телеграмма дона Хорхе была приказом немедленно продать шесть сотен ящиков кофе. На самом же деле это был условный сигнал, возвещавший, что момент наступил и он немедленно ждал их к себе.

Марк посмотрел на своего компаньона с явной враждебностью.

— Все твои чертовы тонкие кишки! — сказал он.

Энтони воспротивился, утверждая, что с ним все к порядке.

— Ты не годен для марш-броска.

— Годен.

— Нет, — повторил Марк с настойчивостью, граничившей в то же время со страстным негодованием. — Три дня на муле по этим проклятым горам — это слишком тяжело для любого в твоем состоянии.

Уязвленный словами друга и боясь, что он, согласившись с Марком, выкажет свой страх перед теми трудностями, которые им предстояли,

Энтони упрямо твердил, что он готов преодолеть все. Желая верить этому, Марк быстро позволил убедить себя. Дону Хорхе был отправлен ответ — шестьсот ящиков кофе немедленно проданы, и он должен ожидать дальнейших подробностей в пятницу. И вот наконец, после ленча, в одуряющую полуденную жару они отправились за кофе «Финка», росшим высоко в горах над Тапатланом, где один из друзей дона Хорхе должен был предоставить им ночлег. Марк снова вытащил своего карманного Шекспира, и они четыре часа пришпоривали медлительных животных, все вперед и вперед, по запыленным зарослям маиса, и по полям, сквозь сухую, безлистную щетину ветвей, которая наконец уступила место зеленому мраку и золотым огням кофейных плантаций под возвышавшимися тенистыми деревьями. Вперед и вперед, и Марк тем временем прочитал целиком «Гамлета» и два первых акта «Троила и Крессиды»[207], а Энтони сидел и думал в дымке, окутавшей его глаза, как долго он еще сможет вынести это. Но наконец, когда стало совсем темно, они достигли места назначения.

В четыре часа на следующее утро они снова

[207] Примечания: 207

«Троил и Крессида» — пьеса Шекспира (1602), написана на сюжет из древнегреческой мифологии. (*Прим. перев. М. Ловина*)

были в седле. Под деревьями царила двойная ночь — листва поглотила яркие звезды, но мулы с твердой уверенностью выбирали себе путь по извилистой тропинке. Время от времени Марк и Энтони проезжали под невидимыми лимонными деревьями, и во тьме запах цветов был подобен мимолетному, невыразимому откровению чего-то неземного — минутному восторгу, и затем, по мере того, как мулы продвигались, перебирая копытами, вверх по каменистой тропе, запах кожи и пота символизировал угасание этой сверхъестественной жизни, знаменуя возвращение к обыденности.

Поднялось солнце, и чуть позже они выступили из возделанных кофейных зарослей на возвышенную местность обнаженных гор и сосен. Почти на одном уровне дорожка извивалась в обе стороны вдоль изрезанных гор. Слева под обрывом видна была долина, все еще темная от теней. Вдали, в дымном воздухе, пропахшем пылью засушливого лета и запахом лесных пожаров, в туманной белизне виделся тихоокеанский берег.

Марк все еще читал «Троила и Крессиду». Спуск был настолько отвесный, что им пришлось слезть с мулов и вести их под уздцы, еще через час они вышли к берегу речушки. Они перешли ее вброд

и под палящим солнцем начали карабкаться на склон. Не было ни одной тени, и огромные голые холмы имели цвет пыли и выжженной травы. Ничто даже не шелохнулось, ни одна ящерица меж камней. Вокруг не было ни малейшего признака жизни. Безнадежно пустой хаос гор, казалось, простирался вдаль бесконечно. Все выглядело так, словно они ехали через границу мира в небытие, в бесконечные просторы горячего и пыльного ничто.

В одиннадцать часов они остановились на ленч, и еще час спустя, когда солнце стояло прямо над головой, сделали еще один привал. Тропа уходила вверх, затем спускалась на полторы тысячи футов в ущелье и снова выходила на поверхность. К трем часам Энтони был настолько изможден, что едва мог думать и видеть. Пейзаж, казалось, колыхался перед ним, как нарисованный, иногда темнел, меркнул и полностью опадал. Он слышал голоса, и его мысли начинали жить своей собственной жизнью у него в голове — жизнью, не связанной с земной, безумной, дурманящей и беспощадной. В фантасмагории, прекратить которую было выше его сил, один образ следовал за другим. Он был словно одержим бесом, словно кто-то принуждал его жить

чужой жизнью и думать чужими мыслями. Но пот, который в три ручья лился у него с лица и промочил рубашку и хлопковые дорожные бриджи, был его собственным. Его собственным и страшным, невыносимым. Он ждал, что вот-вот заохает, даже разрыдается, но сквозь бред собственного двойника вспомнил о слове, данном Марку, и искреннее обещание того, что не утомится. Он мотал головой и продолжал ехать — ехать по несуществующему миру дикой фантазии и полупризрачного, зыбкого ландшафта, сквозь отвратительную реальность своей боли и усталости.

Голос Марка вывел его из полуобморока.

— С тобой все в порядке?

Очнувшись, с усилием приведя взгляд в норму, он увидел, что Марк остановился и ждал его прямо у изгиба тропинки. В пятидесяти ярдах вслед за багажным мулом ехал *mozo*.

— Мул-ла-а-а! — раздался долгий возглас, и вместе с ним глухой удар палки по спине мула.

— Извини, — пробормотал Энтони. — Я, должно быть, отстал.

— Ты уверен, что с тобой все в порядке?

Энтони кивнул.

— Осталось меньше часа езды, — сказал

Марк. — Поднажми, если можешь. — В тени огромной соломенной шляпы на его изможденном лице появилась ободряющая улыбка.

Тронутый, Энтони улыбнулся в ответ и, чтобы вселить в Марка уверенность, попытался пошутить о том, как тяжело, должно быть, деревянным седлам оттого, что на них беспрестанно ездят.

Марк рассмеялся.

— Если мы доберемся живыми и здоровыми, придется пожертвовать пару серебряных седел собору Святого Иакова в Компостелле. — Он рванул за уздцы, пришпорил мула, и тот потянулся вверх по склону, затем, сбросив вниз камни из-под копыт, споткнулся и упал вперед на колени.

Энтони закрыл глаза, чтобы они минуту отдохнули от яркого света. Услышав шум, он снова открыл их и увидел, что Марк лежит лицом на земле, а мул усиленными рывками пытается встать на ноги. Пейзаж вмиг приобрел ясные очертания, зыбкие образы застыли. Забыв о боли в спине и в ногах, Энтони спрыгнул с седла и побежал по тропинке. Когда он приблизился, Марк поднялся на ноги и уже залез на мула.

— Ушибся? — спросил Энтони.

Тот покачал головой, но ничего не ответил.

— У тебя идет кровь.

Бриджи были разорваны на левом колене, и на нем виднелось красное пятно. Энтони крикнул *mozo*, чтобы тот вернулся вместе с багажным мулом и затем, опустившись на одно колено, открыл перочинный нож и отрезал им кусок ткани, соприкасавшийся с раной, образовав длинную бахромчатую щель в плотном материале.

— Ты испортишь мне бриджи, — подал голос Марк.

Энтони ничего не ответил, оторвав большой кусок материала.

Коленная чашечка и верхняя часть голени представляли собой красное пятно плоти без кожи, серое там, где кровь пропиталась пылью и землей. На внутренней части колена зияла глубокая рана, обильно кровоточащая.

Энтони сжал зубы, словно боль была его собственной, и закусил нижнюю губу. Чувство болезненного физического отвращения смешивалось с мучительным состраданием. Он содрогнулся.

Марк нагнулся вперед, чтобы рассмотреть поврежденное колено.

— Месиво, — была его реакция.

Энтони ничего не сказал, затем открутил пробку фляги и, смочив носовой платок, стал удалять грязь с ран. Чувство брезгливости исчезло — он

был полностью поглощен выполняемой задачей. Сейчас не было ничего важнее, чем смыть песок, не причинив Марку лишней боли.

В это время *mozo* вернулся к ним с багажным мулом и в молчании стоял рядом, глядя сверху вниз своими ничего не выражающими глазами на то, что происходит.

— По-моему, он думает, что мы заняты ненужным делом, — произнес Марк, сделав попытку улыбнуться.

Энтони поднялся на ноги, приказал *mozo* снять с мула поклажу и вытащил из одного из холстяных узлов аптечку.

Почувствовав жжение дезинфицирующего средства, Марк разразился громким хохотом.

— Не говори мне больше своей социологической туфты насчет йода, — сказал он. — Это все старая как мир идея о причинении людям зла ради их же блага. Как Иегова. Господи! — И он снова расхохотался, когда Энтони промокнул очередной участок сырой плоти. Затем, когда колено было забинтовано, он сказал Энтони: — Дай мне руку. — Энтони помог ему подняться на ноги, он сделал несколько шагов вперед по тропинке и вернулся назад. — Кажется, ничего. — Марк нагнулся, чтобы осмотреть передние ноги мула.

На них едва виделись царапины. — Ничего не удерживает нас от того, чтобы двинуться вперед, — заключил он.

Они помогли ему забраться в седло, и он, пришпорив мула больной ногой, поскакал быстрым шагом вверх по склону холма. Остаток пути он казался Энтони, особенно когда приосанивался и выпячивал грудь и тогда, когда тропинка изгибалась и сзади виделся его профиль, мраморной и застывше-бледной статуей стоика, израненного, но еще живого и молчаливо мирящегося со своей агонией.

Позже назначенного часа — поскольку Марк предпочел сдержать шаг, но не заставлять мулов фырчать и обливаться потом в полдневную жару — они въехали в Сан-Кристобаль-эль-Альто.

Тридцать или сорок индейских ранчо виднелись на узком кряже между двумя вдающимися в море заливами, за которыми с каждой стороны гряда за грядой горы беспорядочно уходили вдаль, сливаясь с дымкой.

Увидев именитых путешественников, местный лавочник поспешил на площадь, чтобы предложить им ночлег. Марк выслушал его, со всем согласился и сделал движение, чтобы слезть с мула; затем, поморщившись, остался сидеть в седле.

Не поворачивая головы, он крикнул громким, сердитым голосом:

— Вам придется стаскивать меня с этого проклятого животного!

Энтони и *mozo* помогли ему спуститься, но, оказавшись на земле, Марк отверг всякую дальнейшую помощь.

— Я могу ходить и сам, — отрезал он и нахмурился, как будто, протянув руку, Энтони хотел оскорбить его.

Их пристанище на ночь оказалось дровяным сараем, наполовину заполненным кофейными ящиками и шкурами. Осмотрев место, Марк снова захромал, чтобы взглянуть на соломенный навес, служивший конюшней для мулов, затем предложил прогуляться по деревне — «осмотреть достопримечательности», как он выразился.

Прогулка, как было видно, причинила ему столько боли, что он не мог вымолвить ни слова. В молчании они пересекли маленькую площадь, в молчании же зашли в церковь, в школу и в городскую тюрьму. Также не говоря ни слова, они шли дальше друг за другом, поскольку, если бы они шли рядом, думал Энтони, он мог бы видеть лицо Марка, искаженное гримасой боли. В то время как если бы он шел впереди, это было

бы оскорблением, вызовом Марку, который бы заставил его ускорить шаг. Энтони намеренно тащился позади, не говоря ни слова, словно индейская женщина, следующая по пыльной дороге за своим мужем.

Примерно через полчаса Марк почувствовал, что достаточно измордовал себя.

— На сегодня хватит достопримечательностей, — мрачно сказал он. — Я предлагаю съесть что-нибудь.

Ночь была пронизывающе холодной, а спать им пришлось на обыкновенных нарах. На следующее утро Энтони очнулся после беспокойного, истомившего его сна.

— Проснись! — кричал ему в ухо Марк. — И поднимайся.

Энтони испуганно вскочил и увидел Марка, сидящего на противоположном конце нар, подперев рукой голову, и сердито глядящего на него.

— Пора отчаливать, — продолжал хриплый голос. — Уже седьмой час.

Внезапно вспомнив о случившемся вчера, Энтони спросил, как его колено.

— Да все так же.

— Ты выспался?

— Конечно же, нет, — раздраженно отозвался

Марк. Затем, отведя взгляд, добавил: — Я не могу встать. У меня нога как деревянная.

Энтони напялил сапоги и, открыв дверь сарая, чтобы впустить солнечные лучи, подошел к Марку и сел на краешек его кровати.

— Неплохо было бы наложить чистую повязку, — сказал он и начал развязывать бинт.

Корпия прилипла к сырой плоти. Энтони осторожно потянул за нее, затем отпустил.

— Пойду попрошу немного теплой воды в магазине, — сказал он.

Марк едва слышно хохотнул и, взяв кончик повязки большим и указательным пальцами, резко рванул. Квадратный кусок розоватой ткани остался у него в руке.

— Нет! — крикнул Энтони, морщась, как будто бы боль была его. Но Марк только презрительно улыбался. — Ну вот, теперь снова идет кровь, — добавил Энтони уже другим тоном, найдя медицинское оправдание своему выкрику. Но на самом деле не струйка свежей крови обеспокоила его больше всего, когда он склонился, чтобы посмотреть на рану, обнаженную Марком. Колено полностью распухло и было почти черным от синяков, а по краям вновь вскрывшейся раны плоть была желтой от гноя.

— С таким коленом ты вряд ли сможешь ехать, — сказал он.

— А это уж мне решать, — был ответ Марка, и спустя секунду последовало добавление: — В конце концов, ты сам решился ехать позавчера.

Эти слова выражали презрительное уничижение. «Если такой слабак, как ты, может превозмогать боль, то уж я-то, конечно». Именно это он имел в виду. Но оскорбление, как показалось Энтони, было ненамеренным. Причиной его послужило крайнее высокомерие, почти ребяческое по своей неразумной силе. Кроме того, колено бедняги было действительно повреждено. Времени для оскорблений не оставалось.

— Со мной было практически все в порядке, — примирительным тоном проговорил Энтони. — А у тебя нога, которая в любой момент воспалится.

Марк набычился.

— Уж если я не иду пешком, а еду на муле, все будет в порядке, — настаивал он. — Просто колено слегка задубело и в синяках. Да и кроме того, — добавил он, противореча тому, что было сказано перед этим, — в Миахутле есть врач. Чем скорее я попаду к нему в руки, тем лучше.

— Пока ты трясешься на муле, будет гораздо хуже. Вот если б ты подождал здесь денек-два…

— Дон Хорхе подумает, что я предал его.

— К черту дона Хорхе. Пошли ему телеграмму.

— Здесь не работает телеграф. Я спрашивал.

— Ну тогда пошли *mozo*.

Марк покачал головой.

— Я не доверяю ему.

— Почему?

— Он напьется при первой же возможности.

— Иными словами, ты не хочешь его посылать.

— Кроме того, будет слишком поздно, — продолжал Марк. — Дон Хорхе через день или два уже уедет.

— И ты воображаешь, что сможешь отправиться с ним?

— Я думаю быть там, — сказал Марк.

— Ты не сможешь.

— А я говорю тебе, что буду там. Я не собираюсь подводить его. — Его голос был холодным и охрипшим от едва сдерживаемого гнева. — А теперь помоги мне встать, — приказал он.

— Не буду.

Двое в молчании смотрели друг на друга. Затем, сделав усилие, чтобы сдержать себя, Марк пожал плечами.

— Ну ладно, так и быть. Я кликну *mozo*. А если

ты боишься отправляться в Миахутлу, — продолжил он тоном дикарского презрения, — можешь проваливать назад в Тапатлан. — Я обойдусь и один. — Затем, в открытую дверь, он крикнул: — Хуан! Эй, Хуан!

Энтони пришлось капитулировать.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Если ты действительно сошел с ума… — Он не договорил: — Но я ни за что не отвечаю.

— Тебя и не просили, — ответил Марк. Энтони встал и пошел за аптечкой. Вынув корпию, он промокнул рану и наложил свежую повязку. Сцена прошла в молчании; затем, пытаясь забинтовать рану, Энтони произнес:

— Надеюсь, мы прекратили ругаться? Так, наверное, будет легче?

Несколько секунд Марк был полон ненависти и безразличия. Затем он поднял глаза и выдавил из себя примирительно-дружескую улыбку.

— Мир, — сказал он, одобрительно кивая. — Мы заключим мир.

Но он не принял во внимание боль. Она началась, мучительная, лишь только он пытался выполнить поставленную перед собой задачу спуститься с нар. Но без того, чтобы согнуть поврежденное колено, это оказалось невозмож-

ным, даже с помощью Энтони, а согнуть колено было пыткой. Когда он наконец поднялся на ноги, он был весь бледен и его лицо выражало свирепость.

— Все в порядке? — спросил Энтони.

Марк кивнул и хромая вышел из сарая, даже не взглянув на Энтони, словно тот стал его заклятым врагом.

Пытка снова началась, когда пришла пора взбираться на мула, и возобновлялась с каждым шагом, делаемым животным. Как и днем раньше, Марк ехал впереди. Во главе кавалькады он доказывал свое превосходство и вместе с тем оставался недостижимым для любопытных глаз. Воздух был по-прежнему холодным, но время от времени Энтони замечал, что Марк вынимал платок и прикладывал его к лицу, словно был в испарине. Каждый раз, когда он клал платок в карман, он с новым, каким-то дикарским усердием пришпоривал мула.

Дорожка уходила вниз, затем снова поднималась, вилась по склону среди сосен и опять опускалась вниз, вниз, вниз. Прошел час, потом два, три; солнце высоко стояло в небе, и жара была нестерпимой. Три часа, затем три с половиной, и вот наконец пошли лесные опушки, холмы и

поля, скирды кукурузы с индейских полей, ряды хижин, старуха, несущая воду, загорелые дети, молчаливо играющие в пыли. Авантюристы находились на окраинах нового селения.

— Как насчет того, чтобы выйти и пообедать здесь? — высказал мнение Энтони и с помощью шпоры перевел мула на рысь. — Мы могли бы достать свежих яиц, — закончил он, поравнявшись с другим мулом. Лицо, когда Марк обратил его к нему, было белым, как полотно, и, когда он разжал стиснутые зубы, чтобы заговорить, нижняя челюсть непроизвольно затряслась.

— Мне думается, стоит двигаться вперед, — начал он почти неслышно. — У нас впереди еще длинный путь… — Затем он отчаянно заморгал, голова опустилась, а тело, казалось, вот-вот сползет. Он припал, нагнувшись вперед, к шее мула, завалился на сторону и упал бы на землю, если бы Энтони не подхватил его за руку и не удержал в седле.

Глава 48

23 июля 1914 г.

Энтони снова вздремнул после звонка и поэтому опоздал к завтраку. Когда он вошел в маленькую гостиную, Брайан взглянул на него испуганными глазами и, словно почувствовав за собой вину, быстро сложил письмо, которое в тот момент читал, и убрал его к себе в карман. Это, однако, произошло после того, как Энтони, находившийся на противоположном конце комнаты, узнал достаточно четкий и изысканно наклонный почерк Джоан. Произнеся подчеркнуто небрежным тоном «доброе утро», он сел и принялся медленно наливать себе кофе с таким видом, словно это был сложный научный процесс, требующий максимума внимания.

«Сказать ли ему сейчас? — размышлял он. — Да, я должен это сделать. Это должно исходить от меня, даже несмотря на то, что он уже все знает. Проклятая девчонка! Почему она не смогла сдержать свое обещание?» Он чувствовал праведный гнев по отношению к Джоан. Нарушить собственное слово! И какого черта она разболтала

Брайану? Что произойдет, если его рассказ будет отличаться от ее? И тем не менее каким дураком он будет выглядеть, если признается теперь, когда уже поздно? Она лишила его права, любой возможности рассказать Брайану о том, что случилось. Женщина сорвала план его действий, и пока его гнев превращался в жалость к самому себе, он ощущал себя человеком, полным самых наилучших намерений, исполнение которых нарушилось в самый последний момент. Она закрыла ему рот как раз перед тем, как он собирался произнести те слова, которые поставили бы все точки над i, и, поступив так, сделала ситуацию абсолютно невыносимой. Чего она ожидала от него теперь, когда Брайан обо всем знает? Вместо ответа на этот вопрос он, по крайней мере на первые несколько минут, закрылся газетой «Манчестер гардиан». В укрытии он притворялся, поедая яичницу, что испытывает огромный интерес ко всему тому, что там писалось о России, Австрии и Германии. Но затянувшееся молчание наконец стало невыносимым.

— Похоже, дело идет к войне, — в конце концов произнес он, не покидая своего бастиона.

С другого конца стола Брайан подал слабый знак согласия. Текли секунды. Затем послышался

шум отодвигаемого стула. Энтони сидел не двигаясь, глубоко озабоченный мобилизацией в России и не обращая внимание на то, что происходит в непосредственной близости от него. Только когда Брайан открыл дверь, он спросил, наполовину повернувшись, но не настолько, чтобы видеть лицо Брайана.

— Уже уходишь?

— Я в-вряд ли пойду г-гулять с-сегодня утром.

Энтони одобрительно кивнул, словно семейный врач.

— Правильно, — заметил он и добавил, что сам он хочет взять напрокат велосипед в деревне и съездить в Эмблсайд. Нужно купить кое-что. — Увидимся за обедом, — закончил он.

Брайан ничего не ответил. Дверь за ним закрылась.

Без четверти час Энтони уже вернул взятый велосипед и возвращался вверх по склону холма к усадьбе. На этот раз уже решено точно — раз и навсегда. Он расскажет Брайану все — почти все, и в тот самый момент, когда войдет.

— Брайан! — крикнул он с порога.

Ответа не было.

— Брайан!

Отворилась кухонная дверь, и старая миссис

Бенсон, служившая кухаркой и горничной, появилась в узкой прихожей. Мистер Фокс, объяснила она, отправился на прогулку где-то с полчаса; к обеду не будет, как он сам сказал, и собирался (можете ли поверить?) отправиться натощак, но она заставила его взять с собой бутерброды и вареные яйца.

С чувством внутреннего неудобства Энтони в одиночестве сел за ленч. Брайан намеренно избегал его, и поэтому должно быть сердится, или еще хуже, внезапно пришло ему на ум, обиделся — так глубоко, что не мог выносить его присутствия.

Мысль об этом заставила Энтони содрогнуться — обиды всегда были ужасны и мучительны также для того, кто их наносит. А если Брайан принесет со своей прогулки великодушное прощение, а зная его, Энтони чувствовал уверенность, что так и будет — что тогда? Столь же болезненно было быть прощенным, особенно болезненно в случае, если об обиде не было сказано заранее. «Если бы у меня только был шанс сказать ему, — неустанно повторял он себе, — если бы я только мог это сделать». И почти заставлял себя поверить в то, что ему помешали.

После ленча он вышел в поле за усадьбой, надеясь (поскольку именно сейчас он решил срочно

все рассказать), и в то же время, поскольку разговор мог стать мучительным и неприятным, сильно боясь, что встретит Брайана. Но он не встретил никого. Отдохнув на гребне холма, он сумел на какое-то время забыть о своих бедах на фоне прекрасного вида. Такой типично и обманчиво английский, думал он, желая, чтобы Мери была здесь и услышала его комментарии. Горы, долины, озера, но все в уменьшенном масштабе. Ничтожно маленькие, таящиеся, как английские усадьбы — все уютные, милые местечки — ничего грандиозного. Ни единого намека на мегаломанию тринадцатого века и никакой барочной вычурности. Уютная, пресыщенная величавость. И почти воспрянув духом, он начал спускаться.

Нет, сказала старая миссис Бенсон, мистер Фокс еще не вернулся.

Он в одиночестве пил чай, затем сел в шезлонг на лужайке и стал читать «Проблемы стиля» де Гурмона. В шесть часов вышла миссис Бенсон и после пространного объяснения того, что стол накрыт и что холодная баранина в кладовой, пожелала ему доброго вечера и отправилась вниз по дороге к своему домику.

Вскоре после этого его стали кусать комары, и он вернулся в дом. Маленькая кукушка в швей-

царских часах открыла свою дверцу, прокуковала семь раз и спряталась. Полчаса спустя она снова высунулась и крикнула один раз. Было время ужинать. Энтони поднялся и пошел к задней двери. В конце усадьбы холм светился почти сверхъестественным светом.

Брайана нигде не было. Энтони вернулся в гостиную и для разнообразия немного почитал Сантаяну[208]. Кукушка издала восемь пронзительных криков. Над оранжевым пятном заходящего солнца уже виделась вечерняя Венера. Он зажег лампу и задвинул шторы. Затем, снова сев, пытался продолжить чтение Сантаяны, но эти тщательно отшлифованные самоцветы остроумия перекатывались по плоскостям его ума и не оставляли ни малейшего впечатления. Наконец он захлопнул книгу. Кукушка объявила о том, что было полдевятого.

Несчастный случай, думал он. Мог ли Брайан стать жертвой несчастного случая? Но, в конце концов, люди не так-то часто попадают в них — тем более когда совершают тихие прогулки. Внезапно его осенила новая мысль, и в одно мгновение вероятность растянутых связок и

[208] Примечания: 208

Сантаяна, Джордж (1863–1952) — американский философ-идеалист, представитель критического реализма. (*Прим. перев. М. Ловина*)

переломанных ног исчезла. Эта прогулка — он совершенно в этом уверен — совершена на станцию. Брайан в поезде, он едет в Лондон, чтобы увидеть Джоан. Это было очевидно, лишь только такой вариант пришел ему в голову. Просто не могло быть по-другому.

— Господи! — сказал Энтони вслух в пространство маленькой комнаты. Затем, когда безнадежность ситуации вызвала в нем чувство цинизма и безразличия, он пожал плечами и с зажженной свечой отправился в кладовую за холодной бараниной.

На этот раз, решил он, пока ел мясо, он действительно может сбежать. Просто спрятаться до тех пор, пока положение не улучшится. Он не чувствовал никаких угрызений совести. Поездка Брайана в Лондон освободила его, по его собственной оценке, от любой другой ответственности в этом деле; он чувствовал, что теперь свободен и может делать все, что считает нужным.

В приготовлениях к побегу он, поужинав, поднялся на верхний этаж и начал упаковывать чемодан. Воспоминание о том, что он дал Брайану почитать «Жену сэра Айзека Хармана», заставило его со свечой в руке пройти через лестничную площадку. На комоде в комнате Брайана на вид-

ном месте стояли три конверта, прислоненные к стене. Два из них, как он заметил еще с порога, были с маркой, а на третьем марки не было. Это последнее письмо адресовалось ему, два других соответственно Джоан и миссис Фокс. Он поставил свечу на стол, взял свое письмо и вскрыл конверт. Его наполнило смутное, но сильное предчувствие, страх перед чем-то неизвестным, чем-то, что он не осмеливался знать. Он стоял долго, держа в руке открытый конверт и вслушиваясь в тяжелое биение собственной крови. Затем, наконец придя к окончательному решению, вынул сложенные листы. Их было два, один был исписан почерком Брайана, другой рукой Джоан. Сверху на письме Джоан Брайан сделал пометку: «Прочти сам». Он прочел:

«Дорогой мой Брайан. К этому времени Энтони, видимо, уже сказал тебе о том, что произошло. И знаешь ли, это действительно произошло — откуда-то со стороны, если ты понимаешь, что я имею в виду, — как несчастный случай, как будто меня переехал поезд. Я, конечно же, не думала об этом раньше, и Энтони, наверное, также не думал; открытие того,

что мы любим друг друга, внезапно пронзило нас, объяло нас сверху донизу. Не может быть и речи о том, что мы сделали это намеренно. Вот почему я не чувствую за собой вины. Прости, да — это больше, чем способны выразить слова, — за ту боль, которую я причиню тебе. Я готова сделать все, что смогу, для того, чтобы уменьшить ее. Я прошу у тебя прощения за то, что ущемила твои чувства, но я не чувствую себя виноватой, не чувствую, что обошлась с тобой бесчестно. Это было бы так, если бы я специально решилась оскорбить тебя, — но это не так. Я могу лишь сказать тебе, что это снизошло на меня — на нас обоих. Брайан, милый, я невыразимо страдаю оттого, что заставила тебя мучиться — тебя из всех людей. Если бы у меня действительно было такое намерение, я бы не смогла воплотить его. Не более того, как ты смог бы с умыслом причинить мне боль. Но это просто произошло — так же, как ты причинил боль мне из-за того страха, который ты всегда испытывал перед любовью. Ты не хотел обидеть меня, но обидел — ты ничем не

мог помочь. Тот порыв, который вынудил тебя к этому, охватил тебя всего, целиком, как порыв любви, который охватил меня и Энтони. Не думаю, что в этом есть чья-либо вина, Брайан. Нам просто жутко не повезло. Все должно было быть прекрасно, но это вдруг свалилось на нас — сперва на тебя — так, что ты причинил мне боль, затем на меня. Впоследствии, может быть, мы останемся друзьями. Я надеюсь, что так оно и будет. Вот почему я не говорю тебе «прощай», милый Брайан. Что бы ни случилось, я всегда буду твоим любящим другом.

Джоан».

Делая усилие, чтобы сохранить самообладание и унять глубокое внутреннее беспокойство, Энтони заставил себя с отвращением подумать о действительно тошнотворном стиле, которым обычно писались подобные письма. Разновидность амвонной проповеди, заключил он, пытаясь улыбнуться. Но улыбка не получилась. Его лицо отказалось выполнить то, о чем он его просил. Он выронил письмо Джоан и с неохотой взял в руки другой листок, написанный Брай-

аном.

«Здравствуй, Энтони. Прилагаю письмо, которое я сегодня утром получил от Джоан. Прочти его, и оно все объяснит. «Как он мог сделать это?» Я задавался этим вопросом все утро и теперь задаю его тебе. Как ты мог? Обстоятельства могут возобладать над нею — как поезд может переехать, по ее словам. И в этом, я знаю, была моя вина. Но обстоятельства не могли возобладать над тобой. Ты достаточно рассказал мне о себе и о Мери Эмберли, чтобы было совершенно ясно, что в твоем случае не возникало даже вопроса о непроизвольности действий. Почему ты так поступил? И почему ты приехал сюда и стал вести себя так, будто ничего не случилось? Как мог ты спокойно сидеть, выслушивать разговоры о моих трудностях с Джоан и изображать сочувствие, в то время как за два дня до этого дарил ей поцелуи, которые я был не способен дать? Бог знает, я, очевидно, наделал за свою жизнь кучу глупостей и подлостей, много лгал, но я абсолютно

искренне убежден, что не способен на то, что ты совершил. Я не думал, что кто-либо способен на это. Может быть, я пребывал в каком-то рае для дураков все эти годы, думая, что в мире просто недопустимы подобные вещи. Еще год назад я мог бы знать, как поступать, если обнаружу, что такое случилось. Но не теперь. Я знаю, что, если бы я попробовал, я бы каким-то образом сошел с ума. Последний год надломил меня больше, чем я ожидал. Теперь я понимаю, что изнутри я расколот на куски, и держусь, чтобы окончательно не рассыпаться, только благодаря продолжительному усилию воли. Словно разбитая статуя каким-то способом пытается не развалиться. Но теперь силы мои на исходе. Больше терпеть я не могу. Я знаю, что, если бы мне пришлось увидеть тебя теперь, я бы просто распался на части — и не потому, что я осознаю, что ты сделал то, чего не должен был делать, — такое могло случиться с кем угодно, даже с моей матерью. Статуя сейчас, а через секунду груда бесформенных осколков. Я не могу допустить этого. Может быть,

мне следовало бы, но я просто не могу. Я чувствовал злобу к тебе, когда начал писать это письмо, но сейчас в моей душе больше нет ненависти. Да благословит тебя Господь.

Брайан».

Энтони сунул два письма и надорванный конверт в карман и, забрав с собой два письма с марками и свечу, спустился вниз в гостиную. Через полчаса он прошел в кухню и поочередно сжег все письма и бумаги, которые оставил ему Брайан. Два нераспечатанных конверта с плотно сложенными листами горели медленно и время от времени вспыхивали, но наконец все было кончено. При помощи кочерги он измельчил обугленную бумагу до состояния пыли, расшевелил огонь, пока не возгорелся последний язык пламени, и закрыл печурку крышкой. Затем он вышел в сад и вниз по ступенькам на дорогу. По пути в деревню его сознание вдруг пронзила мысль о том, что он больше никогда не увидит Мери. Она стала бы расспрашивать его и вытянула бы из него правду, которую потом растрезвонила бы по всему свету. Кроме того, хочет ли он действительно видеть ее теперь, когда Брайан… Он

не смог даже допустить подобной мысли.

— Господи! — вскричал он вслух. На въезде в деревню он остановился на несколько секунд и подумал, что скажет, когда постучит в дверь полиции. «Пропал мой друг… Мой друг исчез и не появлялся целый день… Я беспокоюсь насчет своего друга…» Сойдет что угодно. И он поспешил с единственной мыслью о том, чтобы поскорее это пережить.

Глава 49

12 и 14 января 1934 г.

На маленьком ранчо было темно и с полудня до заката душно и жарко, а ночью стоял пронизывающий холод. Перегородка разделяла хижину на две комнаты — в середине первой находился очаг из неотесанных камней, и, когда загорался огонь для приготовления пищи, дым медленно уходил сквозь щели в деревянных без окон, стенах. Мебель состояла из табуретки, двух бочек из-под керосина, в которых хранили воду, нескольких необожженных глиняных горшков и каменной ступки для дробления кукурузы. С другой стороны вдоль перегородки располагались нары на подмостках. На них лежал Марк. К утру он был охвачен бредом и лихорадкой, а инфекция распространилась книзу, так что нога распухла до лодыжки.

Энтони, сидевшему здесь в горячих сумерках и слушавшему бормотание и внезапные выкрики ставшего незнакомым и чужим человека на нарах, в ту минуту нужно было решить только одно — послать ли *mozo* в Миахутлу за врачом и

лекарствами и не пойти туда самому.

Из двух зол предстояло выбрать меньшее. Он подумал о бедном Марке, брошенном и совсем одиноком в руках неумелых и не слишком-то доброжелательных дикарей. Но даже если он сам останется здесь, то что он сможет сделать с теми средствами, что у него есть? А допустим, *mozo* пойдет и не сможет уговорить врача прийти сразу же, не сможет принести необходимые припасы, не сможет, может быть, даже вернуться? Миахутла, как сказал Марк, была в местности пульке; там были океаны этого дешевого алкоголя. Пустив лошадь вскачь, он сам мог бы успеть туда и назад и быть у изголовья Марка не раньше, чем через тридцать часов. Белый человек с деньгами в кармане, он мог бы путем угроз и подкупа заставить врача пошевелиться. И что не менее важно, он знал бы, какие запасы нужно привезти с собой. Его ум был настроен решительно. Он поднялся и, шагнув к двери, велел *mozo* седлать его мула.

Он проехал не менее двух часов, когда случилось чудо. Достигнув изгиба дорожки, он увидел в пятидесяти ярдах от себя белого человека, сопровождаемого двумя индейцами, одного на лошади и другого, шедшего пешком с парой навьюченных багажных мулов. Когда они поравнялись,

человек учтиво снял шляпу. Волосы под ней были светло-каштановыми, с сединой на висках, а глаза на сильно загорелом лице на удивление светлыми.

— *Buenas dias, caballero*[209], — приветствовал он. Энтони безошибочно узнал акцент.

— Доброе утро, — ответил он.

Они оба дернули за вожжи своих мулов и разговорились.

— Это первое английское слово, которое я слышу за последние семь с половиной месяцев, — сказал незнакомец. Он был пожилым человеком небольшого роста, сухопарым, но с прямой осанкой, которая придавала ему некоторое достоинство. Лицо имело удивительно правильные черты, нос был короткий, а верхняя губа необыкновенно длинной. Рот, как у инквизитора. Но этот инквизитор, видимо, забыл о своем предназначении и научился улыбаться. Вокруг ярких, пытливых глаз лучились таинственные морщинки, которые казались иероглифическими символами постоянно вспыхивающих насмешливых и добрых огоньков. Нелепое лицо, решил Энтони, но очаровательное.

---

[209] Примечания: 209
Добрый день, кабальеро (*исп.*).

— Меня зовут Джеймс Миллер, — представился незнакомец. — А вас? — Получив ответ, он спросил, называя собеседника, по квакерскому обычаю, по имени и фамилии: — Вы путешествуете один, Энтони Бивис?

Энтони объяснил ему, куда он направляется и по какому делу.

— Я полагаю, вы ничего не знаете о докторах в Миахутле, — заключил он.

Иероглифы вокруг глаз стали четче, а около губ появились смешливые морщинки. Джеймс Миллер рассмеялся.

— Я знаю здешних докторов, — сказал он, похлопав себя по груди. — «Доктор медицины, Эдинбург». И хороший запас медикаментов на этих мулах, что тоже неплохо. — Затем, сменив тон, он живо проговорил: — Поехали. Вернемся к вашему бедному другу как можно быстрее.

Энтони повернул своего мула, и друг подле друга двое мужчин поехали по дорожке.

— Ну, Энтони Бивис, — сказал доктор, — вы обратились по верному адресу.

Энтони кивнул.

— К счастью, — заметил он, — я не молился, иначе мне пришлось бы поверить в провидение и чудесное вмешательство.

— Дело не в этом, — согласился врач. — Нельзя, разумеется, утверждать, что все происходит целиком по воле случая. Вытягиваешь карту, которую тебе навязывает фокусник — карту, которую сам неизбежно заставил себе навязать. Это дело причины и следствия. — Затем без паузы он спросил: — Чем вы занимаетесь?

— Допустим, я социолог. Или по крайней мере был им.

— Да неужели? — Доктор, казалось, был приятно удивлен. — А я антрополог, — продолжал он. — Последние месяцы живу с лакандонами в Чиапасе. Хорошие люди, если узнать их поближе. И я собрал много материала. Кстати говоря, вы женаты?

— Нет.

— И никогда не были?

— Никогда.

Доктор Миллер покачал головой.

— Это плохо, Энтони Бивис, — сказал он. — Вы должны были жениться.

— Почему вы так считаете?

— Это видно по вашему лицу: здесь и вот здесь — Он коснулся его губ и лба. — Я был женат четырнадцать лет. А потом моя жена умерла. Гемоглобинурия. Мы тогда работали в Западной

Африке. Она тоже была квалифицированным врачом. Знала свое дело в некоторых областях лучше, чем я. — Он вздохнул. — Знаете, вы бы стали хорошим мужем. Может быть, вы еще женитесь. Сколько вам лет?

— Сорок три.

— А выглядите моложе. Хотя мне не нравится землистый цвет вашей кожи. Не страдаете от запоров?

— Ну, нет, — ответил Энтони с улыбкой и подумал: что, если бы каждый говорил с ним подобным образом. Может быть, немного утомительно относиться к каждому встречному как к человеку и позволять им узнать о тебе все; но гораздо интереснее, чем обращаться с ними, как с предметами, обыкновенными кусками материи, прижимающимися к тебе в автобусе, давящими тебе ноги на тротуаре. — Не страдаю, — повторил он.

— Имеете в виду, что страдаете, но не сильно, — сказал доктор. — Экземой болели?

— Так, чуть-чуть.

— И волосы заражены перхотью. — Доктор Миллер закивал в подтверждение своего вывода. — А головные боли у вас случаются?

Энтони пришлось сознаться, что иногда слу-

чаются.

— И конечно же, ригидность затылка и прострел? Я знаю. Я знаю. Через несколько лет у вас разовьется пояснично-крестцовый радикулит или артрит. — Доктор помолчал секунду, с любопытством осматривая лицо Энтони. — Да-с, лицо землистое, — повторил он, качая головой. — И ирония, скептицизм, сухо-практическое отношение ко всему! Весьма неудовлетворительно! Все, что вы думаете, неудовлетворительно.

Энтони рассмеялся, но только чтобы скрыть некоторое беспокойство. Переход на дружеские отношения с каждым встречным мог быть слегка ошеломляющим.

— О, не воображайте, что я вас ругаю, — воскликнул доктор, и в его голосе была слышна нота искреннего раскаяния. Энтони все не мог прекратить смеяться. — Не берите вы в голову, что я в чем-то обвиняю вас. — Протянув руку, он дружелюбно похлопал Энтони по плечу. — Мы все — те, кто мы есть, и когда речь заходит о том, чтобы превратить нас в то, чем мы должны быть, — это непросто. Да, непросто, Энтони Бивис. Как можно ожидать, чтобы вы думали только о том, что надо, если у вас хроническое кишечное отравление? Полагаю, с рождения? Получили в

наследство? И в то же время сутулость. Ложиться так на своего мула — это же ужасно. Нагрузка на позвоночник, словно от тонны кирпичей. Уже почти слышно, как он скрипит. А когда спина в таком состоянии, что происходит с остальными частями тела? Страшно подумать.

— И все-таки, — вмешался Энтони, слегка задетый перечислением своих физических уродств, — я еще жив и хочу вам кое-что рассказать.

— Кто-то здесь должен кое-что рассказать, — ответствовал врач. — Но тот ли он, кем вы хотите, чтобы он был?

Энтони не ответил, только с чувством неудобства улыбнулся.

— И если этот кто-то будет рассказывать гораздо дольше, вас это не заботит. Я серьезно, — настаивал он. — Абсолютно серьезно. Вам нужно изменить образ жизни, если хотите остаться в живых. И если дело в смене образа жизни, да, вы должны принять любую помощь, в которой нуждаетесь — от Бога и от врача. Я говорю вам это, потому что вы мне нравитесь, — объяснил он. — Я думаю, вам стоит изменить жизнь.

— Спасибо, — произнес Энтони, улыбаясь на этот раз от удовольствия.

— Говоря от имени врача, я бы порекомендовал

курс иссушения тонкого кишечника.

— А говоря от имени Бога, — отпарировал Энтони, допуская, чтобы его удовольствие переросло в добродушную насмешливость, — я рекомендую курс молитв и поста.

— Нет, только не поста, — совершенно серьезно запротестовал врач. — Никакого поста. Только нормальная диета. Ни в коем случае мяса от мясника — это отрава для вас. И никакого молока; оно просто уничтожит вас. Принимайте его в форме сыра и масла, но ни в коем случае не жидкости. И как можно меньше яиц. И конечно же, только один плотный обед в течение дня. Вам не нужна половина того, что вы едите. А что до молитвы… — Миллер вздохнул и в задумчивости наморщил лоб. — Мне, знаете ли, это никогда не нравилось. По крайней мере то, что обычно имеется в виду под молитвой. Все эти просьбы об особых милостях, руководстве и прощении — я всегда находил, что это делает человека эгоистом, заставляя его заниматься целиком только своей ничтожной личностью. Когда вы молитесь обычным способом, вы просто пережевываете самого себя. Вы возвращаетесь к своей собственной блевотине, если понимаете, что я хочу сказать. В то время как все мы хотим кое-как освободиться от

собственной грязи.

Кое-как, думал Энтони, освободиться от книг, от ароматной и упругой женской плоти, от страха и лени, от болезненного, но таинственно интригующего видения мира как зверинца или сумасшедшего дома.

— Преодолеть эту мелкую, грошовую ничтожную личность, — продолжал доктор, — с ее жалкими добродетелями и пороками, с глупыми желаниями и не менее глупыми претензиями. Но если вы не внимательны, молитва просто утверждает в вас дурную привычку быть личностью. Я говорю вам, я наблюдал такие вещи в клинике, и кажется, это оказывает на человека такое же влияние, как мясо из мясницкой. Молитва делает вас более собой, более отстраненным. Так же, как и ромштекс. Взгляните на связь между религией и диетой. Христиане едят мясо, пьют алкоголь и курят табак, и христианство прославляет личность, настаивает на ценности пустяковых молитв, проповедует, что Бог чувствует гнев, и одобряет преследование еретиков. То же самое с иудеями и магометанами. Кошер [210] и разгневанный Иегова. Баранина и говядина — и человек живет

[210] Примечания: 210

Кошер (евр. «истинный, правоверный») — иудейский способ приготовления и сервировки пищи. (*Прим. перев. М. Ловина*)

среди гурий и готов на месть во имя Аллаха в священных войнах. Теперь посмотрите на буддистов. Овощи и вода. И какова их философия? Они не превозносят личность, а наоборот, пытаются преодолеть ее. Они не воображают, что Бог может рассердиться на них; они думают, что он сострадателен, если не просветлены, а если просветлены, то считают, что он не существует, кроме как в виде безличного вселенского разума. Поэтому они не предлагают просительную молитву; они медитируют или, другими словам, пытаются соединить свой разум с разумом вселенским. И в конце концов, они не верят в особую судьбу для отдельных людей; они верят в нравственный порядок, где каждое событие имеет свою причину и приводит к определенному результату — где карта навязана вам фокусником, но только потому, что ваши предыдущие действия вынудили его навязать вам карту. Какие миры вдали от Иеговы и Бога Отца и вечные, нетленные души! Факт, несомненно, в том, что мы мыслим так же, как едим. Я ем как буддист, потому что уверен, что это поддерживает во мне здоровье и бодрое расположение духа — и результат таков, что я мыслю как буддист, а мысля как буддист, я утверждаюсь в своей решимости есть таким же образом.

— И вы рекомендуете мне есть именно так?

— Более или менее.

— И вы также хотите, чтобы я так мыслил?

— В конечном итоге вы уже не сможете препятствовать этому. Но, конечно, лучше начать делать это сознательно.

— Но, дело в том, — начал Энтони, — что я уже мыслю как буддист. Может быть, не всегда, но, безусловно, во многом. Несмотря на ростбиф.

— Вам кажется, что вы мыслите как буддист, — возразил доктор. — Но на самом деле это не так. Все отрицать — это думать не по-буддийски, а как христианин, который ест больше мяса из мясницкой, чем может одолеть его кишечник.

Энтони рассмеялся.

— Да, я знаю, что это звучит смешно, — сказал доктор. — Но это единственно оттого, что вы дуалист.

— Никогда так не считал.

— Может быть, не по убеждениям. Но на практике — кто вы еще, если не дуалист? Кто вы, Энтони Бивис? Умный человек — это очевидно. Но также очевидно, что вы имеете бессознательное тело. Эффективно мыслящий аппарат и безнадежно глупый сгусток мышц, костей и внутренних органов. Конечно же, вы дуалист. Вы

живете двойной жизнью. И одна из причин тому — то, что вы слишком сильно отравляете себя животными белками. Как и миллионы других людей, конечно же! Какой сегодня самый главный враг христианства? Мороженое мясо. В прошлом только представители высших классов были глубоко скептичными, отчаянными и всеотрицающими. Почему? Среди других причин потому, что они были единственными, кто мог позволить себе есть много мяса. А теперь к вашим услугам дешевая кентерберийская телятина и охлажденная аргентинская говядина. Даже бедняки могут позволить себе отраву, вселяющую в них полный скептицизм и отчаяние. И только очень сильные стимулы побудят их к целенаправленной деятельности, но, что самое худшее, единственная деятельность, которую они могут развернуть, — дьявольская. Их стимулируют только истерические призывы преследовать евреев, казнить социалистов или развязывать войну. Вы лично, к счастью, слишком интеллигентны, чтобы быть фашистом или националистом, но опять-таки в теории, а не в жизни. Поверьте мне, Энтони Бивис, ваш кишечник созрел для фашизма и национализма. Он давно вынуждает вас стряхнуть с себя жуткое всеотрицание, к которому он же

вас и приговорил, — и превратить одну форму насилия в другую.

— Действительно, — согласился Энтони, — я здесь только по этой причине. — Он протянул руку по направлению к туманному кряжу гор. — Только для того, чтобы освободиться от негативизма. Мы были на пути к революции, когда бедный Стейтс получил рану.

Доктор кивнул головой.

— Вот видите, — сказал он. — Вы сами говорите! Неужели вы полагаете, что очутились бы здесь, будь у вас здоровый кишечник?

— Ну, я не знаю, — со смехом ответил Энтони.

— Вы прекрасно знаете, что не оказались бы, — почти сурово произнес доктор. — И по крайней мере не поехали бы по этому безумному делу. Потому что, конечно же, вы были бы здесь, скажем, как антрополог или как учитель, целитель или кто хотите, если бы это значило понимать людей и помогать им.

Энтони медленно кивал головой, ничего не говоря, и после этого они долго ехали в тишине.

За окнами было светло, и под открытым небом чище, чем на маленьком ранчо. Доктор Миллер выбрал для своего хирургического театра маленькую лесную полянку за пределами деревни.

— Там, где не налетит мушиный рой, будем надеяться, — сказал он, очевидно, не слишком сильно веря в это.

Два *mozo* выстроили очаг и поставили на огонь котел с водой. У школьного учителя был позаимствован стол и несколько табуреток, на которые были водружены бутыли с дезинфицирующим средством и хлопковая простыня для изголовья больного.

Доктор Миллер дал Марку дозу нембутала, и, когда наступило время, его в бессознательном состоянии перенесли на полянку среди сосен. Мальчишки со всей деревни окружили носилки и стояли вокруг с молчаливым вниманием, пока пациента перекладывали на стол. В брюках и широкополых шляпах, с маленькими одеялами, сложенными за плечами, они казались не детьми, а нелепой и злобной пародией на взрослых.

Энтони, державший гангренозную ногу, выпрямился и, оглянувшись, увидел ряд загорелых лиц и блеск ярких черных глаз. При этом зрелище он почувствовал растущий неконтролируемый гнев.

— Быстро убирайтесь! — крикнул он по-английски и приблизился к ним, махая руками. — Вон отсюда, чертенята!

Дети отступили, но медленно, с неохотой и явным намерением занять прежние позиции, лишь только он повернется к ним спиной.

Энтони сделал быстрый рывок вперед и схватил одного малыша за руку.

— Ах ты, сорванец!

Он с силой тряхнул ребенка и затем, движимый непреодолимым желанием причинить боль, дал ему тумака по голове, от которого большая шляпа мальчика слетела и упала между деревьев.

Не издав ни единого звука, ребенок побежал вслед за своими приятелями. Энтони сделал последний угрожающий жест в их направлении, потом повернулся и побрел обратно к середине опушки. Он не сделал и нескольких шагов, когда камень, хорошо нацеленный, ударил его прямо посреди плеч. Он в гневе развернулся и разразился такими пошлыми ругательствами, которых не произносил с того времени, как был школьником.

Доктор Миллер, умывавший руки у столика, быстро взглянул на него.

— Что-то случилось?

— Маленькие чертенята швыряются камнями.

— Так вам и надо, — без всякого сочувствия произнес он. — Оставьте их в покое и идите вы-

полнять свой долг.

Необычно клерикальное и военное слово внезапно заставило его с неудобством для себя осознать, что он вел себя глупо. Хуже, чем глупо. Вместе с осознанием непростительной глупости пришло желание оправдать ее. Тоном уязвленного негодования он произнес:

— Вы же не собираетесь позволять им смотреть, не так ли?

— Как я могу запретить им смотреть, если они хотят? — спросил доктор, вытирая руки. — А теперь, Энтони Бивис, — продолжил он почти свирепо, — крепитесь. Будет достаточно тяжело, так что, пожалуйста, без истерик.

Умолкнув и, из-за того, что тот пристыдил его, сердясь на Миллера, Энтони вымыл руки и надел чистую рубашку, которая должна была служить в качестве рабочего халата.

— Ну а теперь, — сказал доктор, шагнув вперед, — мы должны начать с удаления из этой ноги крови.

Из «этой», а не из «его» ноги, думал Энтони, стоя рядом с доктором и смотря на Марка, бесчувственно лежащего на ложе. Что-то безличное, никому, в сущности, не принадлежащее. Нога. Но лицо Марка, его спящее лицо, теперь так невероятно

спокойное, гладкое, несмотря на изможденность, как будто смертельное окостенение натянуло на искалеченные и напряженные мускулы новую кожу — оно никогда не стало бы просто «этим лицом». Оно было «его», его из-за несходства с той презрительной, страдающей маской, через которую Марк иногда смотрел на мир. Может быть, более всего из-за этого несходства. Энтони внезапно вспомнил, что говорил ему Марк еще несколько месяцев назад на Средиземном море, когда он проснулся и увидел эти глаза, теперь закрытые, но тогда широко открытые и яркие от насмешки, с сардонической ухмылкой разглядывающие его через москитную сетку. Может быть, человек на самом деле является тем, кем кажется во сне. Невинность и мир — сущность разума, а все остальное — простая случайность.

— Возьмите его ногу, — приказал доктор Миллер, — и поднимите ее как можно выше.

Энтони исполнил то, что ему было сказано. Нелепо поднятая, жутко распухшая и потерявшая естественный цвет, нога казалась более безличной и более неодушевленной, чем когда бы то ни было. Запах омертвевшей плоти ударял ему в нос. У него за спиной, среди деревьев послышался голос, пробубнивший что-то нечленораздельное,

затем раздался смех.

— А теперь пусть ногу держит *mozo*, а вы стойте рядом со мной. — Энтони повиновался и снова стал дышать смолой деревьев. — Подержите эту бутылку.

Доктор удивленно пробормотал: «*Amarllo*!»[211] — лишь только смочил бедро флавином [212]. Энтони снова взглянул в лицо своего друга; оно оставалось безмятежно-кротким. Совершенно чистым и спокойным. Нога с черной мертвой плотью; пила в растворе марганцовки, ножи и медицинский зажим; любопытные дети во все глаза смотрели из-за деревьев — никто не обращал особого внимания на Марка, виновника всего.

— Теперь хлороформ, — велел доктор Миллер. — И вату. Я покажу вам, как пользоваться этим. Затем вы продолжите сами. — Он открыл бутылку, и запах хвойных деревьев при солнечном свете сменился резким тошнотворно-сладковатым запахом.

— Ну, видите, в чем здесь секрет? — спросил доктор. — Вот так. Теперь делайте сами. Я скажу

---

[211] Примечания: 211

«Желтый!» (*исп.*)

[212] Примечания: 212

Флавин — органическое вещество желтого цвета, применявшееся в медицине для обеззараживания. (*Прим. перев. М. Ловина*)

вам, когда остановиться. А я буду накладывать жгут.

На деревьях не было птиц и почти никаких насекомых. Деревья были мертвенно-тихими. Эта солнечная полянка — маленький островок речи и движения среди океана молчания. И в центре островка еще одна молчаливая точка, более сильная, более роковая, чем молчание в лесу.

Жгут был наложен. Доктор Миллер приказал опустить нелепо задранную ногу. Он придвинул табурет к изголовью, сел, затем снова встал и, в последний раз вымыв руки, объяснил Энтони, что оперировать ему придется сидя. Ложе было слишком низким, чтобы он мог стоять. Еще раз придвинув табурет, он сунул руку в сосуд с марганцовкой и вытащил скальпель.

При виде того, как широкие лохмотья кожи свисали, как банановая кожура, но в этот раз с кровоточащего плода, Энтони охватило жуткое ощущение тошноты. Рот его увлажнился от слюны, и ему пришлось непрерывно глотать, чтобы избавиться от нее. Он непроизвольно закашлялся, словно с ним вот-вот случится приступ тошноты.

— Теперь осторожней, — сказал доктор, не поднимая глаз. Артериальным зажимом он закрепил

край гадко пахнущего сосуда. — Думайте об этом по-научному. — Он сделал еще один надрез алой плоти. — А если вам станет плохо, — продолжал он с внезапной резкостью, — ради Бога, идите и делайте все быстро! — Затем тоном профессора, который демонстрирует студентам интересный момент, проговорил: — Необходимо отрезать длинные нервы. Будет жуткое стяжение, когда ткани срастутся. И тем не менее, — добавил он, — ему, видимо, придется пережить еще одну ампутацию дома. Боюсь, культя не будет хорошей.

Спокойное и примиренное, свободное от всех желаний, всякой злобы и всяких амбиций — таково было лицо того, кто получил свободу, того, для кого больше не существовало тюрем и цепей, не было больше гробницы под камнем и к кому не прилипал больше птичий клей. Лицо того, кто обрел свободу… Но на самом деле, размышлял Энтони, на самом деле его свобода навязана ему этим жутким запахом зла. Можно ли было быть своим собственным освободителем? На этом пути имелись ловушки, но из них можно выбраться. Тюрьмы, но их можно открыть. А если камеры пыток никогда не будут упразднены, может быть, на пытки станут смотреть как на нечто

малозначащее. Такое же малозначащее, как скрежет полотна пилы, вгрызающийся в кость Марка. Марк лежал кротко и тихо; казалось, он улыбается.

Глава 50

Рождество 1934 г.

Бог — личность или не личность? *Quien sabe*?[213] Только с помощью откровения можно решать такие метафизические вопросы. А с откровением игры не удаются — это все равно что вытащить из рукава три козырных туза.

Более интересен практический вопрос. Он как раз дает человеку больше силы для осознания добра — верить или не верить в персонифицированного Бога? Ответ: смотря кому. Некоторые умы работают так, другие иначе. Мой, как оказалось, реально не имеет нужды и просто считает невозможным мыслить о мире в личностных терминах. Патанджали говорит, что можно верить в персонифицированного Бога, а можно и не верить, в зависимости от вкуса. Психологические результаты будут одними и теми же в каждом случае.

А что делать тем, чья натура нуждается в антропоморфности как в источнике энергии, и тем,

---

[213] Примечания: 213
Кто знает? (*исп.*)

которые одновременно не верят, что Вселенная управляется человеком в любом смысле этого слова? В большинстве случаев они отказываются от всего, что похоже на религию. Но это значит то же, что вылить ребенка вместе с водой. Желаемая связь с личностью может быть исторической, но никак не онтологической [214]. Контакт не с кем-то, кто существует в настоящем и управляет Вселенной, а с тем, кто, как известно, существовал некогда в прошлом. Подражание Христу (или любому другому историческому герою) будет эффективно, модель его поведения там и тогда будет восприниматься как модель поведения здесь и сейчас. Любое размышление о благодати, общение с благодатью, созерцание благодати есть явно эффективное средство обретения благодати в жизни, даже когда то, о чем человек размышляет, с чем общается и что созерцает, есть не личность, а общий разум или даже идеал, существующий только в сознании человека. Основная проблема касается практики — выработать системы психологических упражнений для всех типов людей в зависимости от пола. Католицизм имеет много типов умственной молитвы — иезуитскую,

[214] Примечания: 214

Онтология — учение о бытии в отличие от гносеологии — учения о познании. (*Прим. перев. М. Ловина*)

францисканскую, лигурийскую, кармелитскую и так далее. Индуизм, северный, южный и дзэн-буддизм также обладают множеством методик. Здесь необходимо провести огромную работу. Собрать и сопоставить данные из всех этих источников. Заимствовать опыт, изложенный в священных книгах, и, самое главное, поучиться у людей, использовавших на практике то, что там записано, и имеющих опыт обучения новичков. Со временем может стать возможным установить полное и окончательное *Ars Contemplativa*[215]. Серия методов, приспособленных к каждому типу мышления. Способы размышления, общения и созерцания благодати. Является самодостаточным и в то же время собирается реализовать часть этой благодати на практике.

1 января 1935 г.

За машинный труд и хорошую организацию — современные изобретения — нужно будет платить, как и за все благие пожелания. Платить по многим счетам. Один из них — всеобщая вера, подкрепляемая технической и социальной эффективностью, в то, что прогресс является

[215] Примечания: 215
Искусство созерцания (*лат.*).

автоматическим и может двигаться извне. Мы как личности можем ничего с этим не делать. Только уничтожать неугодных и распределять достаточное количество материальных благ — и все будет хорошо. Это то, что обратно магии, потворство естественной человеческой лени. Заметьте, как сильно эта тенденция господствует в современной жизни, обнаруживаясь при каждом удобном случае. Кажется, нет очевидной связи между Уэббами[216] и советским правительством, с одной стороны, и современным католицизмом — с другой. Но какое разительное внутреннее сходство! Недавнее возрождение католицизма представляло собой в основном возрождение святынь. С католической точки зрения это «век святынь». Магическая сила святынь считается достаточной для спасения. Умственная молитва определенно явно отсутствует. Точная аналогия с Уэбб-советской идеей о прогрессе извне, путем машинного труда и эффективной организации. Для английских католиков святыни являются психологическим эквивалентом тракторов в России.

---

[216] Примечания: 216

Уэббы, Сидней (1859–1947) и *Беатриче* (1858–1943) — английские экономисты, историки рабочего движения, идеологи тредюнионизма и фабианского социализма. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Глава 51

7 февраля 1934 г.

Доктор Миллер слез с мула у самой двери, оставил его *mozo* и шагнул в хижину.

Приподнявшись на постели, Марк смотрел, как он входит, — маленькая, прямая фигура, шустро передвигающаяся; его голубые глаза ярко горели добротой и любопытством, а уголки рта готовы были изогнуться в улыбке.

— И как себя чувствует сегодня наш маленький пациент?

Бледное и все еще изможденное лицо Марка исказилось, изобразив яростно-сардоническую улыбку.

С табуретки, на которой он сидел рядом с постелью, Энтони бросил взгляд на Марка и вспомнил кротость этого лица три недели назад, при рассветном солнечном сиянии среди сосен. Кротость и примиренность. Но теперь жизнь возвратилась к нему, он благополучно выздоравливал, примиренность исчезла, оставив его озлобленным врагом всего мира. В его глазах поселилась вражда, вспыхивавшая всякий раз еще до того, как он

был достаточно силен, чтобы заговорить. Вражда ко всем, кто появлялся рядом с ним, и особенно к старому Миллеру.

— Я не выношу, когда он начинает подмигивать, — сказал он один раз Энтони. — Никто не имеет права ходить здесь с таким видом, словно он ходячая реклама средств от запоров.

Но истинная причина ненависти Марка была другой. Он невзлюбил старого Миллера за то, что был зависим от него из-за неослабевающей и внимательной человеческой заботы. Бедный Марк! Как остро он страдал оттого, что ему приходилось принимать заботу, и еще больше оттого, что его физическое увечье заставляло его просить о ней! Как горько он отвергал даже сочувствие, если оно оказывалось кем-то, по отношению к кому он считал невозможным считать себя выше! Его нелюбовь к доктору родилась в тот самый момент, когда он пришел в сознание, и усиливалась с каждым днем, пока тот откладывал свой отъезд с тем, чтобы присматривать за Марком.

— Но почему бы вам не продолжить свой путь? — спрашивал он, и когда доктор отвечал, что он не торопится и хочет благополучно проводить его до берега и даже, поскольку он сам уезжал, через Ла-Манш до Англии, страстно про-

тестовал, говоря, что его нога уже практически зажила, что не составит никакой трудности вернуться обратно в Пуэрто-Сан-Фелипе и что сам он, может быть, сядет на судно, идущее на север, и уедет в Лос-Анджелес.

Но доктор не уезжал, наблюдая за Марком и в перерывах выезжая в соседние деревни лечить больных. Для выздоравливающего это было дополнительным источником раздражения — хотя причину, по которой это так нервировало Марка, Энтони не мог до конца понять. Возможно, Марка раздражал тот факт, что не он является благодетелем индейцев. Но как бы то ни было, Стейтс не уставал поддразнивать старого Миллера его «маленькими пациентами».

Затем, спустя две недели после операции поступило известие о бесславном провале восстания дона Хорхе. Он был схвачен на удивление малым количеством охраны, моментально осужден и расстрелян вместе с шефом-лейтенантом. В сообщении также говорилось, что эти двое откалывали шутки, когда шли под конвоем к кладбищу, где уже рылись их собственные могилы.

— И он умер, — заметил Марк, — веря, что я в последний момент испугался и подвел его.

Эта мысль была для него еще одной раной.

— Если бы не это проклятое несчастье… — непрестанно повторял он. — Если бы я был там и мог бы советовать ему… Эта его сумасшедшая неосмотрительность! Вот почему он просил меня приехать. Он не доверял собственным суждениям. И я лежал в это время в вонючем свинарнике, когда бедный вояка шагал на расстрел на кладбище… — Откалывали шутки, когда он нюхал холодный утренний воздух. *Huele al cimintero, Don Jaime*[217]. Он бы тоже отколол шутку. Но вместо этого… Это была просто неудача, обыкновенное безумство провидения. Но провидение не позволило Марку дать выход своему горю. Под рукой были только доктор и Энтони. Его поведение по отношению к ним после новости о смерти дона Хорхе стало злобным и агрессивным… Словно он считал их лично ответственными за то, что случилось. Обоих, особенно доктора.

— Как идут ваши дела у постелей больных? — продолжал свое Марк тем же насмешливым тоном, которым спрашивал о маленьких пациентах.

— Боюсь, что ужасно, — добродушно ответил доктор Миллер, при этом снимая шляпу и

---

[217] Примечания: 217
На кладбище забастовка, дон Хайме (*исп.*).

садясь. — Они либо не имеют постелей, возле которых я должен быть — только одеяло на полу, — либо не говорят по-испански, а я не владею их диалектом. А как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Я? — переспросил Марк тоном презрительного отвращения, как будто на него обрушилась волна сквернословия. — Очень хорошо, спасибо.

— Но слегка притворяется, как епископ Беркли [218], — вмешался Энтони. — Чувствует боль в колене, которого у него нет.

Марк бросил на него каменный, полный ненависти взгляд и затем отвел глаза и стал смотреть сквозь открытую дверь хижины на яркий вечерний пейзаж.

— Не боль, — холодно ответил он, хоть это и была боль, которую он описывал Энтони всего полчаса назад. — Просто ощущение того, что колено все еще здесь.

— Боюсь, это неизбежно. — Доктор покачал головой.

— Я и не предполагал, что этого не будет, — сказал Марк, словно с достоинством отвечая на

---

[218] Примечания: 218

Беркли, Джордж (1685–1753) — английский богослов и философ, субъективный идеалист, автор «Трактата о началах человеческого знания» (1710). (*Прим. перев. М. Ловина*)

упрек в бесчестии.

Доктор Миллер нарушил двусмысленное молчание, заметив, что в холмистых равнинах много больных с увеличенной щитовидной железой.

— В этом есть своя прелесть, — заявил Марк, поглаживая воображаемую опухоль на своем горле. — Как я жалею тех кретинов, которых еще в детстве видел в Швейцарии! Боюсь, теперь они напичкали себя йодом до смерти. Сейчас все словно помешались на санитарии. — Он покачал головой и улыбнулся прежней анатомической улыбкой. — Что они там делают в этих холмистых равнинах?

— Выращивают кукурузу, — ответил доктор. — А в перерыве убивают друг друга. В этих горах очень сильна вендетта. Задействован буквально каждый. Я говорил с зачинщиками, пытаясь убедить их забыть старые счеты и начать жизнь заново.

— Они умрут от скуки.

— Нет, я вместо этого научу их играть в футбол. Матчи между деревнями. — Он улыбнулся. — Я большой специалист по вендеттам, — добавил он. — По всему миру. Все благодарят за футбол, когда к нему привыкают.

— Господи!

— Почему «Господи»?

— Эти игры! Мы можем избежать их?

— Зачем? Это же величайшее благо, сделанное Англией для цивилизации, — сказал доктор. — Гораздо более важное, чем парламентское правление, паровой двигатель или «Начала» Ньютона. Важнее, чем английская поэзия. Поэзия никогда не может быть заменой войне или убийствам. А игры могут. Полная и подлинная замена.

— Замена! — презрительно отозвался Марк. — Вы все время довольствуетесь заменами. Энтони находит ее в своей постели или в читальном зале Британского музея. Вы ищете ее на футбольном поле. Ну и Бог в помощь! Почему вы так боитесь подлинного?

На некоторое время воцарилась тишина. Доктор Миллер посмотрел на Энтони и, видя, что тот не намерен отвечать, перевел взгляд на Марка.

— Вопрос не в том, боюсь я или нет, Марк Стейтс, — чрезвычайно мягко произнес он. — Вопрос в том, чтобы сделать правильный выбор вместо ложного…

— Подозреваю, что есть правильные варианты выбора, которые требуют меньшей смелости, чем неправильные.

— Опасность вашей меры благодати?

Марк пожал плечами.

— Что такое благодать? В большинстве случаев нечто неопределенное. Но по крайней мере нужно быть уверенным, что смело взглянуть в лицо опасности — хорошо.

— И ради этого вы считаете оправданным намеренное создание экстремальных ситуаций — за счет других. — Доктор Миллер покачал головой. — Так не пойдет, Марк Стейтс. Если вы хотите использовать бесстрашие, почему бы не сделать, чтобы оно служило добру?

— Например, обучению туземцев игре в футбол? — злобно усмехнулся Марк.

— Что зачастую не так легко, как кажется.

— То есть им не понять правил офсайда?

— Они не способны усвоить никакие правила, за исключением правил убивать людей из соседней деревни. А когда вы находитесь между двумя командами по одиннадцать человек, вооруженных до зубов и рычащих, что прикончат друг друга… — Миллер сделал паузу, и его широкий рот исказился в улыбке; почти невидимые иероглифы вокруг глаз углубились, когда он прищурил веки, и изобразили вполне явную радость. — Да, я говорю, что это не так просто, как кажется. Вы лично когда-нибудь смотрели в глаза

разъяренной толпе, которая жаждет убить вас?

Марк кивнул головой, и у него на лице появилось выражение довольно злобного удовлетворения.

— Несколько раз, — ответил он. — Когда я выращивал кофе «Финка» чуть дальше по берегу, в Чиапасе.

— И вы были без оружия?

— Без оружия, — повторил Марк и пояснил: — Политики тогда все еще говорили о революции. Земля крестьянам и все прочее. И в одно прекрасное утро жители деревни пришли захватить усадьбу.

— Что вы согласно вашим принципам должны были одобрить.

— И естественно, одобрил. Но я едва смог принять это — при тех-то обстоятельствах.

— Почему?

— По-моему, это совершенно очевидно, не так ли? Они тогда наступали прямо на меня. И что — я должен был сказать им, что сочувствую их политике, и затем сдать усадьбу? Ну уж нет, это было бы слишком просто!

— Ну, и что вы тогда сделали?

— В первый раз их было сто человек, — объяснил Марк. — И ружья с патронташами висели на

них, как игрушки на елке, и у каждого было по мачете. Но они были вежливы и говорили мягко. Они не хотели особенно ссориться со мной и не чувствовали себя безусловно уверенными. Да они и всегда не сильно-то шумят, — добавил он. — Я видел, как они убивают при полнейшей тишине. Как рыбы. Эта страна — натуральный аквариум.

— Кажется аквариумом, — поправил доктор Миллер. — Но когда я понял, как мыслят эти рыбы…

— Я всегда считал более важным понимать, как они пьют, — сказал Марк. — Текила — настоящий враг. К счастью, мои были более трезвыми. Иначе… Но кто знает, что случилось бы? — И после паузы он продолжал: — Они стояли на цементном полу, а я сидел у двери конторы в нескольких шагах над ними. Выше их, как будто давал торжественный прием своим верноподданным. — Он рассмеялся, румянец снова вернулся к щекам, и он заговорил с особенным смаком, словно слова обладали у него во рту каким-то чрезвычайно приятным вкусом. — Сотня озлобленных пеонов кофейного цвета, поедающих меня своими маленькими, блескучими черепашьими глазками — это было впечатляюще. Но я сумел сохранить лицо и голос и не сболтнул лишнего. Как я уви-

дел, это многим помогло, и я стал думать об этих людях как о каких-то жалких, ничтожных насекомых. Тараканах, навозных жуках. Просто отнесся к ним как к сотне больших пучеглазых жучков. И повторяю, помогло. Само по себе это ощущение вам знакомо, не так ли? Это как будто у вас под ребрами живая птица. Птица со своим птичьим сознанием, которая страдает от своих личных боязней. Странное ощущение, но вместе с тем восхитительное. Не думаю, что я в своей жизни был более счастлив, чем в тот день. Положение одного против ста. Ста вооруженных до зубов. Но насекомых, элементарных насекомых. В то время как один был человеком. Прекрасное ощущение. — Он немного помолчал, улыбаясь сам себе.

— И что произошло потом?

— Ничего. Я просто произнес им речь с трона. Сказал им, что «Финка» не была моей, и я не мог их ею одарить. Что я всего-навсего управляющий. И что если бы я поймал кого-либо при вторжении на территорию, я бы не стал задумываться, что делать. Уверенно, с достоинством и подлинной манерой великосветского раута. После чего я поднялся, сказал им, что они могут идти, и прошел по тропинке в дом. Полагаю, что я был в поле их зрения буквально минуту. Целую минуту моя спина

была под дулами их ружей — и из этой сотни насекомых никто бы никогда не определил, кто выстрелил. Птица под ребрами! — Подняв руку, он пошевелил пальцами. — И у меня было новое ощущение — муравьев, ползающих вниз-вверх по спине. Ужас — но только телесный; глубоко внутренний, если вам знакомо то, о чем я говорю. В глубине души я знал, что они не выстрелят — не могут выстрелить. Сотня ничтожных жучков — у них не было духовной силы сделать это. Птица под ребрами, муравьи на спине, но внутри черепа был человек, и он был уверен, несмотря на то что тело сомневалось; он знал, что игра выиграна. Эта минута была долгой, но и достойной. Очень достойной. И впоследствии случались такие же минуты, как эта. Единственно, когда они могли стрелять в меня, это по вечерам, из кустов. Я был в пределах их досягаемости, но они были далеки от меня. Далеки от моего сознания и воли. Вот почему у них нашлась смелость выстрелить. Когда нет человека, будут торжествовать черви. К счастью, никакая недюжинная храбрость не научит индейца стрелять метко. Со временем, конечно, они могли бы достать меня гарпуном, но тем временем революция выйдет из моды. Она никогда не рубила много льда на Тихоокеан-

ском побережье. — Он зажег сигарету. Повисла длинная пауза.

— Да, — наконец вымолвил доктор Миллер. — Это один способ действий с разгневанной толпой. И судя по тому, что вы здесь, с нами, именно этот способ является успешным. Но не для меня. Я антрополог, понимаете ли.

— Какая разница?

— Очень большая, — ответил доктор Миллер. — Антрополог — это человек, который изучает людей. А вы предпочитаете иметь дело с жучками. Я назвал бы вас энтомологом, Марк Стейтс. — Его улыбка не вызвала ожидаемого дружественного сочувствия. Лицо Марка было каменным, когда его глаза встретились с глазами доктора и снова ушли в сторону.

— Энтомолог! — презрительно повторил он. — Это просто глупо. С какой стати вы играете словами?

— Потому что слова выражают мысли, Марк Стейтс, а мысли определяют действия. Если вы называете человека жучком, это значит, что вы предлагаете относиться к нему как к жучку. В то время как если вы называете его человеком, вы будете относиться к нему как к человеку. Моя профессия заключается в изучении людей, это

означает, что я всегда буду называть их именем, всегда думать о них, как о людях и, что самое главное, всегда обращаться с ними как с людьми. Потому что если вы не обращаетесь с ними как с людьми, они не ведут себя как люди. Но я повторяю, я антрополог. Мне нужен человеческий, а не насекомый материал.

Марк издал короткий взрывчатый смешок.

— Вы можете хотеть человеческого материала, — сказал он. — Но это не значит, что вы обязательно получите его. Обычно получается… — Он снова рассмеялся. — Да, по большей части простой, беспримесный жучок.

— А вот в этом, — заявил доктор Миллер, — вы не правы. Если вы ищете людей, то вы их и находите. Весьма приличных в большинстве случаев. Например, пройдите среди подозрительных, плохо обращаемых дикарей; пройдите без оружия и с открытыми руками. — Он вытянул вперед свои прямоугольные руки, будто хотел добровольно отдать что-то. — Пройдите с твердым, упрямым решением сделать им хоть какое-то добро — излечить их больных, например. Мне все равно, насколько сильной может быть их ненависть к белым людям; в конце концов, если у вас будет достаточно времени прояснить ваши намерения,

они примут вас как друга, они будут людьми, обращающимися с вами как с человеком. Конечно же, — добавил он, и признаки внутреннего смеха вновь показались у него в глазах, — иногда происходит так, что они не дают вам времени. Они пронзят вас копьем, пока вы идете к ним. Но такое случается нечасто — это никогда не случалось со мной, как видите — но если уж случится, всегда есть надежда, что человек, который придет к ним вслед за вами, будет более удачлив. Антропологов могут убивать, но антропология будет жить, и в конечном итоге она неизбежно продвинется вперед. В то время как ваш энтомологический подход… — Он покачал головой. — Он может быть успешным вначале; вы сможете запугать их, внушить благоговение, чтобы покорить. Это и есть поступить с ними как с жучками и заставить их вести себя как жучки — ползать и возиться ради победы. Но придет удобный момент, и они восстанут против вас. Антрополог может быть убит, когда завязывает свой первый контакт, но, пройдя начальный этап, он в безопасности — он человек среди людей. Энтомолог может начать с безопасности, но он охотник на жучков среди жучков — жучков, которые, самое главное, ненавидят подобное к себе отношение, которые

знают, что они не такие. Его роковой час наступит позже. Это старая история: со штыками можно делать все, что угодно, кроме как сидеть на них.

— А и не придется сидеть на них, — сказал Марк. — Проткнут чужую задницу, а не вашу. Если вы умеете обращаться со штыками с определенной долей разума, не понимаю, почему вам не стоит продолжать управлять так же. Настоящая беда, конечно, в том, что нет необходимого разума. Большинство охотников за жучками неотличимы от самих жучков.

— Совершенно верно, — согласился доктор Миллер. — И единственный выход — чтобы охотник на жучков бросил свой штык и стал бы относиться к жучкам как к нормальным людям.

— Но мы говорим о разуме, — возразил Марк. Тон презрительной сдержанности подразумевал, что он изо всех сил пытался не рассердиться на старого дурака за его неспособность мыслить. — Чувствительность не имеет ничего общего с разумом.

— Наоборот, — настаивал доктор, — эти понятия тесно взаимосвязаны. Вы не можете разумом понять человека, если сперва не проникнетесь чувствами к нему. Чувствами добрыми, конечно. В том смысле, что вы проявите заботу о нем. Это

первое, неотделимое условие понимания. Если вы не имеете к нему участия, вы его не поймете; вся ваша острота будет просто иной формой глупости.

— А если вы заботитесь о нем и проявляете участие, — сказал Марк, — вас захватят слезливо-сентиментальные чувства, которые лишат вас возможности видеть его таким, каков он есть. Посмотрите, какие смешные, унизительные вещи случаются, если люди проявляют слишком большую заботу. Молодые люди влюбляются и воображают отвратительных, придурковатых девок образцами красоты и интеллекта. Преданные женщины, которые упорно считают своих жалких муженьков самыми очаровательными, благородными, мудрыми и глубоко мыслящими.

— Может быть, они и правы, — проговорил доктор Миллер. — Безразличие и ненависть всегда слепы, но не любовь.

— Не любо-овь, — издевательски протянул Марк. — Видимо, нам сейчас нужно спеть гимн.

— С удовольствием. — Доктор Миллер улыбнулся. — Христианский гимн, или буддийский, или конфуцианский — какой предпочитаете. Я антрополог, а в конце концов, что такое антропология? Просто религия, примененная в научных целях…

Энтони нарушил затянувшуюся паузу.

— Почему вы только применяете ее к туземцам? — спросил он. — Не лучше ли было начать с дома, как и благотворительность?

— Вы правы, — сказал доктор, — нужно было начать с дома. Ведь если она начинается с заграницы, это просто исторический несчастный случай. Она началась там, потому что мы были империалистами и таким образом входили в контакт с людьми, чьи привычки отличны от наших и поэтому казались нам странными. Несчастный случай, я повторяю. Но с некоторой стороны достаточно удачный случай. Ведь благодаря ему мы усвоили множество фактов и ценный метод, который, вероятно, был бы недоступен для нас дома. По двум причинам. Во-первых, трудно оценивать себя беспристрастно, а оценить себя правильно и того сложнее. Во-вторых, Европа — это высокоцивилизованное общество, которое оказывается нашим собственным. Общества дикарей, как оказалось, имеют простое цивилизационное устройство. Нам довольно легко познавать их. И когда мы научились понимать дикарей, мы можем научиться, как мы обнаруживаем, понимать цивилизованных людей. И это еще не все. Дикари обычно враждебны и подозри-

тельны. Антрополог должен уметь справляться с этой враждебностью и подозрительностью. И когда он постигает это, он постигает весь секрет политики.

— Который звучит…

— Если вы обращаетесь с людьми хорошо, они будут также обращаться с вами хорошо.

— Вы оптимист, как я вижу.

— Нет. В конечном итоге им все равно придется обращаться с вами хорошо.

— В конечном итоге, — нетерпеливо сказал Марк, — нас всех поубивают. Все дело в том, кого прикончат быстрее.

— Вам придется пойти на риск.

— Но европейцы — это не дикари из вашей воскресной школы. Это будет колоссальный риск.

— Может быть. Но всегда меньший, чем если вы будете обращаться с людьми как с падалью и вынуждать их на войну. Кроме того, они не хуже, чем дикари. С ними просто плохо обходятся, и им нужен антропологический подход, вот и все.

— И кто же будет применять к ним эту антропологию?

— Ну, наряду с другими я, — ответил доктор Миллер. — Надеюсь, что и вы тоже, Марк Стейтс.

Марк состроил болезненную гримасу и покачал

головой.

— Пусть они перережут друг другу глотки. Они сделают это в любом случае, независимо от того, что вы им скажете. Так предоставьте им спокойно вести свои идиотские войны. Кроме того, — он указал на плетеную сетку, которая предохраняла его рану от соприкосновения с нижним бельем, — что я могу сейчас сделать? Посмотрите — вот и все, что от меня осталось. Долго это никак не продлится. Всего несколько лет, а потом… — Он умолк, опустил глаза и нахмурился. — Как там у Рочестера? Да. — Он снова поднял голову и принялся декламировать.

Так старость вместе с опытом, как сеть,

Его убили, дав уразуметь

После исканий долгих и глухих,

Что жизнь провел в ошибках он сплошных.

В грязь втоптанный, лежит безмолвно Тор,

Кто был так горд, так мудр и так остер.

— В грязь втоптанный, — повторил он. — Это

просто восхитительно! В грязь втоптанный. И не нужно ждать, пока помрешь. Мы отыщем маленькую, уютную лужу грязи и сольемся с нею. Да? — Он обернулся к Энтони. — Станем грязью среди коровьих лепешек и будем взирать на то, как доктор станет испытывать свои лучшие антропологические методы на генерале Геринге. Будет очень смешно.

— И несмотря на это, — сказал Энтони, — думаю, я пойду с Миллером и буду в числе тех, над кем смеются.

Глава 52

24 июля 1914 г.

В поисках принимали участие четверо: Энтони, полицейский, старый пастух с седыми усами и величественным профилем викторианского государственного деятеля и светловолосый, румяный паренек семнадцати лет, сын булочника. Мальчика обязали нести кусок парусины для носилок, в то время как пастух и полицейский были вынуждены тащить длинные шесты, используемые как посохи.

Они начали с пространства за усадьбой, шагая в шеренгу — как загонщики, поймал себя на мысли Энтони, — вверх по склону холма. Был великолепный день, без ветра и без единого облачка. Холмы в отдалении казались покрытыми пеленой, тусклые от обилия солнечного света и почти бесцветные. Трава и вереск у них под ногами были пыльными от долгой засухи. Энтони снял свою куртку и затем, немного поразмыслив, еще и шляпу. Внезапный солнечный удар все бы упростил, не было бы нужды давать объяснения и отвечать на вопросы. И без этого он чувствовал

себя достаточно плохо из-за рези в кишечнике, но этого вряд ли было достаточно. Как много проблем отпало бы, если бы он действительно был болен! Много раз, пока они медленно продвигались, он прикладывал руку ко лбу, и всякий раз его волосы чувствовали тепло от прикосновения, как от шкурки кошки, сидящей перед камином. Жаль, думал он, что волосы такие жесткие.

Три часа спустя они нашли то, что искали. Тело Брайана лежало лицом вниз в какой-то скалистой бухте у подножия утеса, над карстовым озером. Между скалами рос папоротник-орляк, и в горячем воздухе его сладковатый, навязчивый запах был почти удушающим. Место изобиловало жужжащими мухами. Когда полицейский перевернул тело, изуродованное лицо было почти неузнаваемым. Энтони глядел буквально секунду, затем отвернулся. Все его тело непроизвольно затряслось; ему пришлось прислониться к скале, чтобы не упасть.

— Пойдем, дружок. — Старый пастух взял его под руку и, отведя в сторону, усадил на траву, откуда не было видно тела. Энтони ждал. Канюк медленно разворачивался в небе, прослеживая ход времени на циферблате невидимых часов. Затем они наконец вышли из-за столба, подпи-

рающего скалу, туда, где все было как на ладони. Пастух и мальчик шли впереди, каждый держа одну ручку носилок, а полицейский сзади был вынужден поддерживать вес на обоих перекладинах. Разорванную куртку Брайана сняли и положили ему на лицо. Одна окоченевшая рука выпросталась в сторону и при каждом шаге несущих неумолимо раскачивалась и дрожала в воздухе. На рубашке были пятна крови. Несмотря на протесты, Энтони настоял на том, чтобы взять половину ноши полицейского. Очень медленно траурная процессия двинулась вниз по направлению к долине. Был четвертый час, когда они достигли усадьбы.

Затем полицейский обшарил карманы куртки и брюк. Табачный кисет, трубка, сверток с бутербродами, данный миссис Бенсон, шесть или семь шиллингов и записная книжка, полная сокращений, посвященных истории хозяйства в Римской империи. И ни единого намека на то, что то, что случилось, было чем-то кроме обыкновенного несчастного случая.

Миссис Фокс приехала на следующий вечер. Сперва сжавшись и пытаясь держать себя в руках, она молча, с каменным лицом слушала рассказ Энтони, затем совершенно внезапно забилась в

отчаянии, страстно обливаясь слезами. Энтони секунду постоял возле нее в полной неуверенности, затем выполз из комнаты.

На следующее утро, когда он снова увидел ее, миссис Фокс вновь обрела спокойствие, но оно было совершенно другим. Спокойствие живого, чувствующего человека, а не механическая, замороженная недвижимость статуи. У нее под глазами появились темные синяки, а лицо говорило о том, что это была старая, страдающая женщина; но в страдании этом присутствовали прелесть и кротость, ярко выраженное достоинство, почти величественность. Смотря на нее, Энтони почувствовал себя в сильном замешательстве, как будто он находился в присутствии чего-то, чего был недостоин, к чему не имел права приближаться. Замешательство и вина, вина даже большая, чем вчера, когда ее горе вырвалось из-под ее контроля.

Он бы с облегчением сбежал еще раз, но она держала его при себе все утро, иногда сидя в тишине, иногда медленно говоря что-нибудь своим прекрасно смодулированным голосом. Для Энтони молчание и разговор одинаково казались пыткой. Сидеть там и слушать, не говоря ни слова, как тикают часы, было подобно смертельной

агонии; еще хуже казалось беспокойство о будущем — как избежать Джоан, что сказать ей о том проклятом письме, которое Брайан написал ей. И всякий раз, украдкой глядя на миссис Фокс, он спрашивал себя: что происходит у нее в душе, догадывается ли она, подозревает или нет о том, что на самом деле случилось. Да, ее молчание было болезненным, но не менее болезненными были ее слова.

— Я осознаю, — начала она медленно и задумчиво, — я осознаю теперь, что любила его не так, как было нужно, — слишком себялюбиво.

Что он мог ответить? То, что это было правдой? Конечно же, это было правдой. Она выполняла роль вампира, духовно эксплуатируя его. Высасывала из него жизненные соки. (Здесь Энтони вспомнилась святая Моника Эри Шеффера.) Да, она вампир. Если кто-то и был в ответе за смерть Брайана, так это она. Но его самооправдательное негодование против нее улетучилось, лишь только она заговорила снова.

— Может быть, именно поэтому все случилось — чтобы я усвоила, что любовь не должна быть такой. Мне думается, — продолжала она после паузы, — что Брайан достаточно усвоил. Ему, правда, немного нужно было понять. Он слиш-

ком хорошо знал все с самого начала. Как Моцарт — только его гений раскрылся не в музыке — он раскрылся в любви. Может быть, поэтому он ушел так рано. В то время как я… — Она тряхнула головой. — Я должна была извлечь этот урок. После всех этих долгих лет познания остаться своенравно-глупой и невежественной! — Она еще раз вздохнула.

Вампир! Но она знала это; она принимала свою часть ответственности. Оставалась его часть — еще не исповеданная. «Я обязан сказать ей», — мысленно произнес он и подумал: все произошло оттого, что он не сумел сказать правду Брайану. Но пока он колебался, миссис Фокс начала снова.

— Нужно любить каждого как своего единственного сына, — говорила она. — И единственного сына как любого встречного. Сына, которого не можешь не любить больше, чем всех остальных, потому что больше случаев любить его. Но любовь должна отличаться только количеством, а не своей природой. Нужно любить его так же, как любишь всех других единственных сыновей — только во имя Бога, а не во имя себя самого.

Голос, горячо вибрирующий, звучал громко, и с каждым произнесенным словом Энтони чувствовал себя все более виноватым и вместе с тем

полностью и безнадежно зависимым от своей вины. Чем дольше он откладывал свое признание и чем больше она говорила в этом состоянии смиренного напряжения, тем тяжелее ему становилось высказать все начистоту.

— Послушай, Энтони, — продолжила она после долгой паузы. — Ты знаешь, как я тебя всегда любила. С того времени, как умерла твоя мать — ты помнишь? — когда ты в первый раз приехал, чтобы остаться у нас. Ты был тогда беззащитным маленьким мальчиком. И именно таким я всегда видела тебя с тех пор. Беззащитным под твоей собственной броней. Ведь ты носил броню. Ты до сих пор под броней. Чтобы защититься от меня, да и от других напастей. — Она улыбнулась ему, и Энтони опустил глаза, покраснел и пробормотал что-то бессвязное. — Никогда не задумывайся, почему ты хотел защитить себя, — продолжала она. — Я не хочу знать, если ты не расскажешь это мне сам. А может быть, ты почувствуешь, что все еще хочешь защищать себя. Потому что я хочу сказать, я бы желала, чтобы ты занял место Брайана. Место, — определила она, — которое Брайан занимал бы, если б я любила его правильно. Вместе с другими единственными сыновьями одного, которого больше возможностей любить,

чем всех остальных. Вот кем я хочу, чтобы ты был, Энтони. Но, конечно же, я не стану принуждать тебя. Это можешь решить только ты.

Он сидел, не говоря ни слова, отвернув от нее лицо и нагнув голову. «Выговорись, — кричал внутри его неведомый голос. — Как хочешь, любой ценой!» Но если тогда это было сложно, то теперь вовсе невозможно. Сказать, что хочет, чтобы он заступил на место Брайана! Это она сама сделала признание невозможным. Он был потрясен приступом бесплодного гнева. Если б только она оставила его в покое, отпустила его. Внезапно его горло сжалось, слезы навернулись на глаза, мышцы груди напряглись и их пронзило несколько сильных судорог, он рыдал. Миссис Фокс подошла из другого конца комнаты, склонилась над ним, положила руку ему на плечо.

— Бедный Энтони, — прошептала она.

Он навечно стал рабом своей лжи.

В тот же вечер он написал Джоан. Этот жуткий несчастный случай. Так бессмысленно. Трагедия была ужасно глупой. Все дело в том, что она произошла до того, как он имел шанс рассказать Брайану о тех событиях в Лондоне. И кстати, писала ли она Брайану? Конверт, надписанный вручную, был доставлен около полудня, когда

бедняги уже не было дома. Он хранит его для нее и передаст лично при возможной встрече. Тем временем миссис Фокс прекрасно держалась, и все они должны быть мужественны, а он остается ее преданным другом.

Глава 53

23 февраля 1934 г.

Элен вошла в гостиную, держа в руке сковородку, на которой все еще скворчал бекон, снятый с огня.

— Завтрак! — объявила она.

— *Komme gleich*[219], — раздалось из спальни, и секунду спустя Экки появился в дверях в рубашке с закатанными рукавами, с бритвой в руке и со светло-багровым лицом, покрытым мыльной пеной. — Сейчас заканчиваю, — сказал он по-английски и снова исчез.

Элен улыбнулась сама себе и села за стол. Любя его так, как она только могла, она находила неизъяснимое удовольствие в этой тесной и нескончаемой близости к нему — близости, к которой бедность волей-неволей принудила их. Почему людям нужны большие дома, отдельные комнаты, все эти личные тайники, которые богачи считают неотъемлемой частью жизни? Теперь она не могла этого понять. Фальшиво напевая

---

[219] Примечания: 219
Сейчас иду (*нем.*).

песенку, Элен налила чай, положила себе бекона и затем принялась разбирать утреннюю почту. Элен Эмберли. Без обращения «миссис». Коммунистическая открытость и отсутствие ненужных церемоний. Она вскрыла конверт. Письмо было из Ньюкасла. Сможет ли она или Гизебрехт провести беседу о положении в Германии с молодыми товарищами? Ну, там будет видно. Мистеру Э. Гизебрехту. Из Швейцарии. Несомненно, этот ершистый почерк принадлежал Хольцману. Экки будет приятно.

— Что-то от Хольцмана, — сказала она, когда он вошел. — Интересно, что на этот раз.

Экки взял письмо и с методической уверенностью, которая была свойственна всем его движениям, вскрыл, затем положил его на стол рядом с тарелкой и стал нарезать бекон. Потом он сунул в рот кусок, снова взял письмо и, медленно жуя, начал читать. Его лицо приобрело внимательно-серьезное выражение; он все на свете делал тщательно и с полной отдачей. Закончив, он снова вернулся к первой странице и стал перечитывать письмо целиком.

Нетерпение наконец охватило Элен.

— Что-нибудь интересное? — спросила она. Хольцман был самым информированным из всех

изгнанных журналистов, у него всегда имелось что рассказать. — Что он там пишет?

Экки ответил не сразу, молча читая еще несколько секунд, затем свернул письмо и убрал его к себе в карман.

— Мах в Базеле, — наконец ответил он, глядя на нее.

— Мах? — повторила она. — Тот самый Людвиг Мах?

За последние несколько месяцев имя этого самого энергичного и бесстрашного из всех немецких товарищей, занятых в распространении коммунистической пропаганды и запрещенных известий, тотчас же стало для Элен знакомым и почти фантастическим, как имя какого-нибудь литературного или мифологического героя. То, что Людвиг Мах мог оказаться в Базеле, казалось так же невероятным, как и то, что там мог быть Одиссей, Один или Алый Цветок [220].

— Людвиг Мах из Штутгарта? — словно не веря переспросила она.

Экки кивнул.

---

[220] Примечания: 220

Алый Цветок — главный герой одноименной книги баронессы Орчи (1865–1947) — английской писательницы, помогавший во время Французской революции 1789–1794 гг. представителям благородных семей избегать якобинской расправы. (*Прим. перев. М. Ловина*)

— Мне нужно поехать и повидать его. Завтра.

Произнесенные медленно, с пафосом и немецким акцентом, слова имели странное свойство абсолютной безапелляционности. Даже самые случайные его реплики по-английски всегда звучали так, будто он говорил слова клятвы.

— Мне придется ехать, — повторил он.

Осторожно, тщательно произнесенный, каждый слог обладал одинаковой ценностью. Три тяжелых спондея, в то время как англичанин, как бы бесповоротно он ни решился на что-то, произнес бы фразу каким-нибудь кулдыкающим анапестом: мне-придет-ся-ехать. Если бы столь громоздкое, тарабарское высказывание, как она сама дразняще назвала это, было сделано другим человеком, Элен сочла бы его глупым. Но Экки это лишь прибавляло очарования. Ей казалось почти правильным и необходимым, чтобы этот человек, которым она (совершенно не принимая в расчет любовь) восхищалась и которого уважала более всех, кого она знала, был так трогательно нелеп.

«Если бы я не могла иногда посмеиваться над ним, — объясняла она себе, — все бы пошло прахом. Обыкновенное пустое обожание. Как религия. Как одна из лэндсирских собак. Смех

делает все воздушным и разнообразным».

Слушая и глядя ему в лицо, одновременно нелепо-несведущее благодаря своей чистой и искренней серьезности, и героически-непоколебимое, Элен не в первый раз чувствовала, что вот-вот взорвется от смеха, а затем опустится на колени и станет целовать ему руки.

— Мне тоже придется ехать, — громко сказала она, пародируя его манеру говорить. Вначале он подумал, что она шутит; затем, когда он понял, что она не шутила, стал серьезным и начал возражать. Она устанет — ведь ехать придется третьим классом. Расходы. Но Элен внезапно стала вести себя как ее мать — избалованная женщина, чьи капризы должны были быть удовлетворены.

— Это будет так забавно, — возбужденно кричала она. — Такое приключение! — И когда он продолжал приводить аргументы против ее поездки, она разозлилась. — Но я хочу поехать с тобой, — упрямо повторила она. — Хочу.

Хольцман встретил их на вокзале, оказавшись не высоким, худощаво-подтянутым, что было бы свойственно выдающейся личности и как представляла его себе Элен, а низеньким, коренастым и со складкой жира на затылке, а между маленькими свиными глазками сидел рыхлый,

бесформенный нос, похожий на картошку. Его рука, когда она пожала ее, была покрыта холодным потом, и она почувствовала себя осквернённой; украдкой, когда он не видел, она вытерла ее о свою юбку. Но еще хуже, чем внешность и потливые руки, было поведение этого человека. Ее присутствие, как она заметила, ошеломило его.

— Я не ожидал… — начал заикаться он, когда Экки представил ее, и его лицо на мгновение показалось распавшимся на отдельные черты от возбуждения. Затем, взяв себя в руки, он стал крайне вежливым и учтивым. Всю дорогу по платформе раздавалось *gnädige Frau, lieber Ekki, unbeschreiblich froh*[221]. Как будто он встречал их на сцене, подумала Элен. И вдобавок играл плохо, как второстепенный артист в третьесортной труппе. А как отвратительна была его нервозность! Человеку будто было нечего делать, кроме как подобным образом хихикать, жестикулировать и корчить рожи.

— Сплошные гримасы и ужимки, — проговорила она, едва открывая рот. Идя рядом с ним, она чувствовала себя окруженной плотным полем неприязни. Это жуткое создание за несколько

[221] Примечания: 221
Прекрасная леди, дорогой Экки, несказанно рад (*нем.*).

минут испортило все удовольствие от путешествия. Она уже почти стала жалеть, что поехала. — Какой омерзительный человек! — тайком шепнула она Экки, пока Хольцман экстравагантно разыгрывал роль того, кто велит носильщику аккуратней обращаться с печатной машинкой.

— Тебе так кажется? — спросил Экки с искренним удивлением — Я не думал… — Он запнулся и покачал головой. Едва заметная хмурая морщинка омрачила его гладкий лоб. Но секунду спустя, прервав новые заверения Хольцмана в преданности и любви, он уже спрашивал, что Мах думает о теперешней ситуации в Германии, и когда Хольцман принялся давать ответ, сосредоточенно слушал.

Наполовину рассердившись на него за бесчувственность и тупость, наполовину восхищаясь его способностью не обращать внимания на то, что ему казалось несущественным, Элен молча шла рядом с Экки. «Мужчины необыкновенный народ, — думала она. — И все-таки я тоже хочу быть такой».

Но вместо этого она позволила себе отвлекаться на лица прохожих, жесты и смешки; она тратила свои чувства на свиные глазки и складки жира. В это время миллионы мужчин, женщин и детей

мерзли и голодали, подвергались эксплуатации, работали до изнеможения, терпели скотское обращение, словно они были простой тягловой силой, винтиками и рычагами; миллионы были вынуждены жить в постоянном страхе, нищете и отчаянии, их подвергали погромам и избиениям, доводили до безумия ложью и запугивали с помощью угроз и зуботычин, гнали, как бесчувственное быдло, по дороге на рынок и в конечном итоге на бойню. А она здесь ненавидела Хольцмана потому, что у него потели руки, вместо того чтобы испытывать к нему уважение за его дерзновение, за то, что он осмелился пострадать ради этих несчастных миллионов. Он мог себе позволить иметь потные руки; он жил в изгнании, рискуя жизнью, подвергался гонениям за свои убеждения, был воплощением справедливости и истины. Она уже стыдилась своего чувства, но в то же время не могла не думать, что жизнь у таких людей, как Экки, должно быть, чрезвычайно узка и ограниченна, невообразимо бесцветна. Жизнь в черно-белых тонах, подумалось ей, тяжелая, ясная и четкая, как гравюра Альбрехта Дюрера . В то время как ее была расплывчато-яркая, как у Тер-

нера[222], Моне, дикарского Гогена. Но «ты похожа на полотно Гогена», сказал Энтони тем утром на раскаленной крыше, и здесь в прохладных сумерках, на Базельском вокзале она внезапно поморщилась, словно от физической боли.

«О, как ужасно! — сказала она про себя. — Как ужасно!»

— А трудовые лагеря, — спрашивал Экки, — что Мах говорит о настроениях в трудовых лагерях?

Выйдя с территории вокзала, они остановились.

— Может быть, начнем с того, что перетащим вещи в гостиницу? — предложил Экки.

Но Хольцман и слышать не хотел об этом.

— Нет, нет, вы должны прийти сразу, — настоял он. — Сразу ко мне домой. Мах ждет вас там. Мах неправильно поймет вас, если произойдет хоть какая-то задержка. — Но когда Экки согласился, он все еще непреклонно и нервозно стоял на краешке тротуара, как пловец, боящийся прыгнуть в воду. «Что случилось с этим человеком?» — нетерпеливо думала Элен, затем произнесла вслух.

— Ну, так почему мы не возьмем такси? — спросила она, забыв, что время такси давно уже

---

[222] Примечания: 222

Тернер, Уильям (1775–1851) — английский живописец и график, представитель романтизма. (*Прим. перев. М. Ловина*)

прошло. Теперь ездили на трамваях или на автобусах. Но Гоген неумолимо влек ее обратно в прошлое; думать о такси казалось естественным.

Хольцман не ответил ей, но внезапно, с быстрыми, взволнованными движениями, свидетельствующими о том, что волею обстоятельств он вынужден принимать непопулярные решения, схватил Экки за руку и, отведя его в сторону, заговорил с ним шепотом. Элен увидела удивленно-рассерженный взгляд Экки. Его губы задергались; он, очевидно, спорил. Хольцман с улыбкой стал возражать, гладя его по плечу, словно надеясь таким образом склонить его к согласию.

В конце концов Экки закивал головой, и, повернувшись к Элен, сказал в своей обычной тяжелой, отрывистой манере.

— Он говорит, что Мах не хочет, чтобы кто-нибудь был рядом со мной.

— Не думает же он, что я выдам его нацистам? — негодующе спросила Элен.

— Дело не в тебе, — объяснил Экки. — Он не знает тебя. Если бы он знал, все было бы по-другому. Но так он боится. Он боится любого, кого он не знает. И его предосторожность вполне оправданна, — добавил он непререкаемо окончательным

тоном, это значило, что вопрос был решен.

Сделав огромное усилие, чтобы подавить в себе недовольство и огорчение, Элен закивала головой.

— Ну хорошо, мы встретимся за обедом. Хотя зачем тогда я сюда приехала? — не могла не добавить она. — Не могу себе представить.

— Дорогая мисс Эмберли, *chere consoeur, gnädige Frait*…[223] — Хольцман сыпал буржуазными и коммунистическими любезностями на всех языках, которыми владел. — *Es tut mir so leid*. Простите, мне очень жаль. — У него в руках был его адрес. В половине первого. И если бы он только мог с самыми наилучшими намерениями посоветовать ей провести утро в Базеле…

Она сунула карточку в свою сумочку, не дожидаясь, пока он закончит свои предложения, повернулась спиной к двум мужчинам и быстро пошла прочь.

— Элен! — крикнул Экки ей вслед.

Но она не обратила внимания. Второй раз он окликать не стал.

Было холодно, но небо имело чистый бледно-голубой цвет, светило солнце. И внезапно,

---

[223] Примечания: 223
Товарищ (*фр.*), дорогая фрау (*нем.*).

выйдя из-за высоких домов, она очутилась на берегу Рейна. Облокотившись о гранит, она смотрела на быструю зеленую воду, молчаливо, но стремительно и целенаправленно стремящуюся мимо, словно живое существо, словно сама жизнь, как сила, что из-под земли правит миром, вечно, неумолимо плывущая. Элен смотрела, пока наконец ей не стало казаться, будто она сама плывет вместе с великой рекой, словно она растворилась в ней, став частью ее силы. «Если Трелони помрет, — ни с того ни с сего вдруг запела она. — Если Трелони помрет, в Корнуолле вмиг узнает весь народ». И она тут же почувствовала уверенность, что они победят, что революция произойдет вот-вот — словно за первым же поворотом этой реки. Поток уверенно шел в этом направлении. И какой же она была дурочкой, когда сердилась на Экки, какой самой последней тварью! Угрызения совести немного спустя уступили место восторженно нежному предощущению их примирения. «Родной мой, — скажет она ему, — прости меня, я была совсем глупая и плохая». И он обнимет ее одной рукой, а другой уберет волосы у нее со лба и нагнется, чтобы поцеловать ее…

Идя вдоль по набережной, она чувствовала,

что Рейн все еще бушует внутри ее, и, облегчив душу, в которой засела обида, нанесенная ей Экки, вдруг ощутила себя легкой, как пушинка, и стала словно парить в тонком, пьянящем ореоле счастья. Миллионы голодающих вновь превратились в какую-то абстракцию. Как все хорошо, как красиво вокруг, совсем так, как все должно быть! Даже эти полные старые женщины, даже готические дома начала девятнадцатого века были прекрасны. А чашка горячего шоколада в кафе — как невыразимо восхитительно! И старый официант, такой дружелюбный и чем-то похожий на ее отца. И вдобавок он говорил на швейцарском немецком, отчего она невольно взрывалась от смеха, как будто все, что он говорил — от замечаний о погоде до жалоб на суровость времени, — было огромной, длинной шуткой. Эти задненебные звуки, похожие на ржание! Как язык гуигнгнмов[224], подумала она, продолжая провоцировать его на дальнейший разговор и получая несравненное удовольствие от этого невольного представления.

Из кафе она прямиком направилась в картин-

[224] Примечания: 224

В страну гуигнгнмов (лошадей) попадает Лемюэль Гулливер, герой романа английского писателя Джонатана Свифта (1667–1745). (*Прим. перев. М. Ловина*)

ную галерею, и картинная галерея показалась ей такой же причудливо-комичной, как и немецкий официант. Эти полотна Беклина[225]! Фантастические картины, которые можно было видеть лишь на почтовых открытках или обоях, в репродукциях или на стенах пансионов в Дрездене. Русалки и тритоны, словно сфотографированные, кентавры в застывших, неуклюжих позах лошадей на скачках и фотографии в газете. Созданные доброй верой и усердием, заменяющим талант, они были чрезвычайно трогательными. А вот — несказанное удовольствие — *Tote ninsel*[226]. Надмогильные кипарисы, белые храмы, похожие на надгробия, фигуры в длиннополых халатах, одинокая лодочка, плывущая через море винного цвета. Шутка была великолепной. Элен громко рассмеялась. Несмотря ни на что, она все-таки была дочерью своей матери.

В зале примитивистского искусства она задержалась на секунду перед тем, как выйти, у картины мученичества святого Эразма. Инкви-

[225] Примечания: 225

Беклин, Арнольд (1827–1901) — швейцарский художник, представитель символизма и стиля модерн. Одна из лучших его картин — «Остров мертвых» (1880). (*Прим. перев. М. Ловина*)

[226] Примечания: 226

Остров мертвых (*нем.*).

зитор в костюме пятнадцатого века с блеклым, розовым, как раковина, куском трески, методично вращал коленчатую рукоятку, крутил кишки жертвы, ярд за ярдом из вспоротого живота, в то время как несчастный лежал на спине, словно на диване, устроившись как можно удобнее и глядя в небо с выражением невозмутимости и безразличия. Юмор здесь был более тонким, чем в «Острове мертвых», и более откровенным, более грубым, но тем не менее великолепным в своей простоте. Она все еще улыбалась, когда выходила на улицу.

Хольцман, как оказалось, жил всего лишь в нескольких сотнях ярдов от галереи, в маленьком, но милом домике эпохи поздней готики (уж слишком хорошо для человека с потными руками!), отделенном от проезжей части небольшим сквером, посыпанным гравием. У дверей стояло большое авто. «Хольцмана?» — подумала она. Он, должно быть, богат, старая свинья! Проход от галереи занял у нее так мало времени, что четверть первого она поднималась по ступенькам. «Ничего, — говорила она себе. — Им придется мириться со мной. Я не стану ждать ни единой секунды». Мысль о том, что меньше чем через минуту она увидит Экки, заставила ее сердце

учащенно забиться. «Какая я дура! Законченная дура». Но как восхитительно было быть в дураках! Она позвонила в дверь.

Хольцман лично открыл дверь, одетый в пальто, при виде которого она изумилась: он что, собирается уходить? На его лице появилось то же самое выражение, с которым он встречал ее на вокзале.

— Вы пришли слишком рано, — проговорил он с подобием улыбки, но она видела, что в его глазах застыли смущение и страх. — Мы не ждали вас до половины первого.

Элен рассмеялась.

— Я сама не ожидала, — объяснила она. — Но я добралась быстрее, чем предполагала.

Она сделала движение, чтобы шагнуть через порог, но Хольцман взял ее за руку.

— Мы еще не готовы, — сказал он. Его лицо вспыхнуло, потея от смущения. — Если б вы подошли через четверть часика, — почти взмолился он. — Всего лишь четверть часа.

— *Nur ein Viertel Stundchen*[227], — снова засмеялась Элен, думая о тех расшитых подушках на диванах, где спал тайный советник после

---

[227] Примечания: 227
Еще четверть часика (*нем.*).

полуденной трапезы. — Но почему бы мне не подождать в доме? — Она прошмыгнула мимо него в маленькую темную прихожую, наполненную чадом и спертым воздухом. — Где Экки? — спросила она, внезапно охваченная желанием увидеть его без единой секунды задержки, чтобы сказать ему, какой она была тварью, но в то же время такой любящей, такой страстной, несмотря на свою взбалмошность и плохой характер. Но она счастлива и хочет разделить с ним свое счастье. В другом конце вестибюля была открытая дверь. Выкрикнув его имя, Элен устремилась туда.

— Стойте! — крикнул Хольцман у нее за спиной.

Но она уже перелетела через порог.

Комната, в которой она очутилась, была спальней. На узкой железной кровати, повернув голову набок и открыв рот, лежал одетый Экки. Его дыхание было медленным, редким и хрипящим. Она ни разу не видела, чтобы он спал так!

— Экки! — успела крикнуть она, когда хлопнула дверь, и другой голос присоединился к голосу Хольцмана. Вестибюль наполнился громким топотом. — Дорогой мой…

Затем внезапно какая-то рука взяла ее за плечо. Она обернулась, увидела лицо незна-

комца в нескольких дюймах от нее, услышала голос Хольцмана откуда-то из глубины: *Schnell, Willi, schnell*![228] и незнакомец почти шепотом, сквозь сжатые зубы прошипел: «*Schmutziges Frauenzimmer*[229]; затем, когда она открыла рот, чтобы закричать, то почувствовала сокрушительный удар по подбородку, заставивший ее зубы с силой сомкнуться, и словно провалилась куда-то в темноту.

Она пришла в себя на больничной койке. Какие-то крестьяне нашли ее лежащей без сознания в маленькой рощице в пяти или шести милях от города. «Скорая помощь» привезла ее в Базель. Только на следующее утро действие барбитона прошло, и она вспомнила, что случилось. Но к тому времени Экки уже около двадцати часов был в Германии.

---

[228] Примечания: 228
Быстрей, Вилли, быстрей! (*нем.*)

[229] Примечания: 229
Букв.: грязный будуар (*нем.*).

Глава 54

23 февраля 1935 г.

Энтони провел утро в штаб-квартире организации, надиктовывая письма. Большей частью они касались трудностей с идеологическим настроем будущих пацифистов. «Что бы вы сделали, если б увидели, как иностранный солдат насилует вашу сестру?» Ну, что бы он ни сделал, он, конечно, не стал бы посылать сына убивать своего троюродного брата. Нуднейшая работа, но она должна быть сделана. Он продиктовал двадцать семь писем, и наступило время идти на обед с Элен.

— У меня нечего есть, — сказала она, когда он вошел. — Я просто не в состоянии ничего готовить! Какая это страшная скука — готовить! — Ее голос зазвучал с почти злобным негодованием.

Им пришлось довольствоваться банкой осетрины и салатом. Энтони пытался завязать беседу, но его слова, казалось, отскакивали, натыкаясь на непроницаемую оболочку ее хмурого и унылого молчания. В конце концов он прекратил попытки говорить с ней.

— Сегодня ровно год, — наконец произнесла

она.

— Год чего?

— Год назад эти сволочи в Базеле… — Она покачала головой и вновь умолкла.

Энтони ничего не ответил. Все, что бы он ни сказал, было бы неуместно, почти оскорбительно.

— Я часто жалею о том, что они не убили и меня тоже, — медленно проговорила она. — Вместо того чтобы оставить меня заживо гнить здесь, как кусок грязи на свалке мусора. Как мертвый котенок, — добавила она, поразмыслив. — Слишком много падали. — Эти слова прозвучали с сильным отвращением.

— Почему ты говоришь это? — спросил он.

— Потому что это правда. Я падаль.

— Не нужно добровольно втаптывать себя в грязь.

— Ничего не могу поделать. Я — падаль от природы.

— Да нет же, — уговаривал ее он. — Ты сама себя казнишь. Когда Экки был с тобой…

— Тогда я не была такой.

— Ты можешь снова вернуть то, что утратила.

— Без него — нет.

Он кивнул.

— Если захочешь, то сможешь. Все дело в

выборе. Нужно сделать правильный выбор и правильно взяться за дело.

Элен покачала головой.

— Я должна была быть на его месте. Если б ты знал, как я ненавижу себя! — Ее лицо исказилось в гримасе. — Я кончилась. Кончилась навсегда. Я теперь — просто комок грязи. — И после паузы она продолжала: — Мне даже неинтересно дело Экки. Мне не нравятся его друзья, эти коммунисты. Они обыкновенные мелкие, грязные людишки, как и многие другие. Тупые, вульгарные, завистливые, наглые. С тем же успехом можно было б носить шиншилловую шубу и обедать в «Клэридже»[230]. Может быть, единственное, что мне остается, — это продать себя какому-нибудь богачу. При условии, если мне удастся найти такого. — Она снова рассмеялась. Затем, тоном еще более горького презрения к себе, продолжала: — Сегодня всего лишь год, а я уже смертельно устала от всего этого. Терпение лопнуло, и я хочу поскорее свести все счеты. Я омерзительна.

— Да можешь ли ты обвинять целиком себя?

— Конечно же. А кого еще?

---

[230] Примечания: 230

Клэридж — один из самых престижных и дорогих лондонских отелей. (*Прим. перев. М. Ловина*)

Энтони покачал головой.

— Может быть, это все из-за твоей работы?

— То есть?

— Организованная ненависть — это не так-то приятно. Не то, ради чего большинство людей действительно хотят жить.

— Экки жил ради этого. Множество людей живут ради этого.

— Каких людей? — спросил он. — Они бывают трех видов. Идеалисты с обостренным чувством самообмана. Они либо не знают, что это организованная ненависть, либо искренне верят, что цель оправдывает средства, закрывая глаза на то, что средство обусловливает цель. Экки был одним из таких. Они-то и формируют большинство. Но, кроме них, есть еще два более мелких класса. Во-первых, люди, которые отдают себе отчет в том, что их дело — организованная ненависть, и радуются этому. И во-вторых, те, которые имеют какие-то цели и пользуются движением как удобным средством достижения этих целей. Ты, Элен, не имеешь никаких целей и не страдаешь от самообмана. И несмотря на то, что случилось в этот день год назад, не желаешь реально уничтожать людей — даже нацистов. И вот почему шиншилла и орхидеи так тебя привлекают. Не потому что

ты так уж рвешься к ним. Только лишь оттого, что другая альтернатива тебя не удовлетворяет.

Помолчали. Затем Элен встала, поставила другие тарелки и водрузила на стол вазу с фруктами.

— Какая же альтернатива меня удовлетворила бы? — спросила она, угощаясь яблоком.

— Все должно начаться, — ответил он, — с постижения тяжелого искусства любви к людям.

— Но большинство людей невыносимы.

— Они невыносимы, потому что мы их не выносим. Если бы мы их любили, они были бы неплохими.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно.

— И что нужно делать после этого?

— А после не будет, — ответил он. — Потому что, конечно, это задача на всю жизнь. Любой процесс перемены затягивается на всю жизнь. Каждый раз, когда ты забираешься на вершину пика, перед тобой открывается еще один пик — пик, который ты не могла видеть, когда находилась ниже. Возьми, к примеру, механизм взаимодействия разума и тела. Ты начинаешь познавать, как использовать его лучше, ты делаешь успехи, и с того положения, к которому

ты приблизилась, ты открываешь для себя то, как можно достичь еще более эффективного использования. И так далее до бесконечности. Идеал отдаляется от тебя по мере того, как ты к нему приближаешься; он кажется тебе иным, более значительным, чем казался до того, как ты сделала рывок вперед. Точно так же, как исправление отношений с людьми. Каждый шаг вперед обнаруживает необходимость делать новые шаги вперед — непредвиденные шаги по направлению к цели, которая была невидима, когда начался путь. Да, это длится всю жизнь, — повторил Энтони. — Не будет никакого после. Может быть всего лишь попытка, по мере того как двигающийся идет вперед, наложить то, что открыто, на личностную сферу, на сферу политики и экономики. Одно из первых открытий — то, что организованная вражда и насилие — не лучшие средства для обеспечения мира и справедливости. Все люди способны любить себе подобных. Но мы искусственно ограничили нашу любовь посредством условностей, которые есть не что иное, как ненависть и насилие. Ограничили ее внутри семей и кланов, внутри классов и наций. Твои друзья хотят удалить эти ограничения при помощи еще большей ненависти и большего насилия, то есть

при помощи тех же самых средств, которые были первопричиной этих ограничений.

Элен некоторое время смотрела на него, не говоря ни слова, затем покачала головой.

— Я предпочту свою шиншиллу.

— Нет, — ответил Энтони.

— Да. Лучше я буду комком грязи. Так легче. — Она встала. — Хочешь кофе? — В маленькой кухоньке, когда они ждали, пока закипит чайник, она вдруг принялась рассказывать ему о том молодом человеке в рекламном агентстве. Она встретилась с ним пару недель назад. Такой забавный и такой интеллигентный! И он тотчас же страстно влюбился в нее. Ее лицо загорелось какой-то безрассудной, насмешливой злобой. — Голубые глаза, — говорила она, словно аукционер, перечисляя достоинства своего молодого друга, — курчавые волосы, огромные плечи, тонкие губы, прекрасный боксер-любитель — лучше, чем каким ты когда-то был, мой бедный Энтони, — присовокупила она тоном презрительного сочувствия. — В общем, прекрасно подходит для моей постели. Или, по крайней мере, выглядит так. Ведь никогда не знаешь, пока не попробуешь, так ведь? — Она засмеялась. — Я твердо решила попробовать сегодня ночью, —

продолжала она. — Отпраздновать годовщину. Как тебе кажется, Энтони, неплохая идея? — И когда он не ответил ей, она продолжала настаивать: — Не правда ли? — Она посмотрела ему прямо в глаза, пытаясь по ним определить, что он чувствует — злобу, ревность или отвращение.

Энтони улыбался ей в ответ.

— Это не так-то просто — быть комком грязи, — сказал он. — Я бы даже сказал, что это очень непростое дело.

Румянец исчез с ее лица.

— Непростое дело, — повторила она. — Может быть, это одна из причин того, чтобы попробовать. — И после паузы, наливая воду через фильтр, спросила: — Так ты сказал, что у тебя встреча с народом сегодня вечером?

— В Бэттерси.

— Может быть, мне пойти послушать тебя. Если, конечно, — добавила она смеясь, — я не решу праздновать годовщину другим способом.

Когда они допили кофе, Энтони пошел назад к себе домой и на несколько часов сел за памфлет, который взялся написать для Перчеза. С дневной почтой пришли два письма. Одно было от Миллера с описаниями прекрасных встреч, которые он провел в Эдинбурге и Глазго. Другое, без обрат-

ного адреса, было отпечатано на машинке.

Он взял в руки второе.

> «Сэр, мы наблюдаем за вами некоторое время и считаем, что вам нельзя более позволять продолжать вашу теперешнюю преступную и предательскую деятельность. Мы предупреждаем вас по-хорошему. Если вы произнесете хоть одну из ваших поганых пацифистских речей, мы поступим с вами, как вы того заслуживаете. Обращение в полицию не принесет вам ничего хорошего. Мы рано или поздно доберемся до вас, и вы сильно пожалеете об этом. Ваша речь назначена на сегодняшний вечер в Бэттерси. Мы будем там. Поэтому мы предупреждаем вас, что, если вам дорога ваша трусливая шкура, убирайтесь подобру-поздорову. Вы не заслуживаете и этого предупреждения, но мы хотим вести себя дипломатично даже с такой собакой, как вы.
>
> ***Группа английских патриотов».***

«Шутка?» — подумал Энтони. Нет, похоже, что это серьезно. Он улыбнулся. «Каких благородных чувств они, видимо, преисполнены! — сказал

он себе. — И какого героизма! Мстят за родную Англию».

Но месть, продолжал размышлять он, усевшись перед камином, падет на него — если он произнесет речь, то есть если не предотвратить их нападение на него. И, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы отказаться от речи. Ни в коем случае не просить защиты у полиции. Ничего, кроме того, чтобы исполнять то, что он проповедовал.

Но хватит ли у него силы духа выдержать это? Допустим, они станут угрожать ему, допустим, они попытаются столкнуть его с трибуны. Удастся ли ему выстоять?

Он пытался работать над памфлетом, но личные вопросы неустанно преследовали его, оттесняя в сторону далекие и неактуальные проблемы колоний и престижа, рынков, инвестиций, миграций. У него перед глазами стояли жуткие, искаженные от гнева человеческие лица, ему слышались резкие оскорбления, виделись руки, то поднимающиеся, то опускающиеся. Сможет ли он не дрогнуть? И боль от ударов — острая, затмевающая все прочие чувства, на лице и тяжелая, ноющая по всему телу — как много и как долго он сможет терпеть? Если бы только Миллер был

здесь и помог ему советом, ободрил бы его! Но Миллер в Глазго.

Неуверенность в себе росла в нем. Стоять там и дожидаться, пока тебя ударят и столкнут, и не иметь возможности ни дать сдачи, ни уступить — он никогда не будет способен на подобное.

— У меня не хватит смелости, — все повторял он, охваченный паникой. Вспомнив то, как он вел себя в Тапатлане, он покраснел от стыда. А на этот раз позор будет всенародным. Все будут знать, и Элен в том числе.

И на этот раз, продолжал думать он, на этот раз не сработает эффект внезапности. Они сделали ему предупреждение — «такой собаке, как вы». И кроме того, он целый месяц тренировался обращаться с такой публикой, как эта. Сцена была отрепетирована. Он наизусть знал каждую реплику и жест. Но когда наступал его черед сыграть, когда боль была уже не воображаемой, а настоящей, вспомнит ли он свою роль? Где гарантия, что он просто-напросто не свалится с этой трибуны? На виду у Элен — в тот момент, когда Элен, колеблясь, стояла на пороге своей жизни, и, может быть, также и его. Вдобавок, если он упадет, он опозорит себя как нельзя более сильно. Упасть значит изменить своим убеждениям,

уничтожить свою философию, предать друзей. «Ну почему ты такой дурак? — стал спрашивать его тонкий голосок, — почему ты вдруг взвалил на себя всякие убеждения и философии? Почему не вернуться к тому, что тебя заставляет делать природа — взирать на все из своей ложи и делать комментарии? Что это все значит, в конце концов? И если это хоть что-то значит, что ты можешь сделать? Почему нельзя спокойно покориться неизбежности и между тем продолжать делать работу, которую умеешь делать лучше всего?»

Голос говорил с ним из какого-то томного облака. В течение минуты он был всего лишь мертвым, обмякшим телом, жутко изнуренным и не желающим ничего делать. «Позвони им, — продолжал голос. — Скажи, что заболел гриппом. Что должен посидеть дома несколько дней. Затем сделай вид, что врач посоветовал тебе поехать на юг Франции…»

Внезапно он расхохотался. Из мрачного, коварно-настойчивого голос превратился в нелепый. Доведенная до такой высоты, выраженная так невинно, низость была почти смешной.

— Единство, — прошептал он сценическим шепотом.

Он был предан им, как рука предана телу. Предан своим друзьям, предан даже тем, кто называл себя его врагами. Он ничего не мог сделать, кроме как воздействовать на них всех, как врагов, так и друзей, — ради добра, если его действия были добром, и на зло, если они были злом. Единство, повторил он. Единство.

Прежде всего физическое единство. Единство даже в различии, даже в разделении. Отдельные фрагменты, но повсюду одинаковые. Везде одни и те же сочетания предельных источников энергии. На поверхности солнца то же, что и на теле с солнечным загаром; в ароматном соцветии будлейи то же, что и в голубом океане и в облаках на горизонте; в пистолете пьяного мексиканца то же, что и в черной, спекшейся крови на изуродованном теле среди скал, свежая кровь алыми каплями забрызгала обнаженное тело Элен и те же капли источают смрад, исходя из гниющего колена Марка.

Одинаковые формы и одинаковая связь между ними. У него в мозгу вертелась эта мысль и наряду с ней мысль о жизни, непрестанно бьющей в этих формах, отбирая и сортируя их по видам. Жизнь строит сложные формы из более простых и все более сложные, доходя наконец до живых

тканей.

Сперматозоид проникает в яйцеклетку, клетка все делится и делится, чтобы наконец стать таким-то человеком, крысой или лошадью. Гипофиз коровы заставляет лягушек размножаться вне сезона. Моча беременной женщины приводит мышей в возбуждение. Щитовидная железа овцы превращает аксолотля [231] из земноводной гусеницы в саламандру, живущую на суше, полоумного карлика во вполне нормального, умного человека. Разные формы животной жизни взаимозаменяемы. Такая же связь существует между животными и растениями, растениями и неживым миром. Жизненные формы в виде семян, листьев и корней сотворены из более простых форм, существующих в воздухе и земле, а их используют и трансформируют насекомые, пресмыкающиеся, млекопитающие, рыбы.

Единство жизни. Единство, построенное на поглощении одной жизни другой. Жизнь и любое существо — одно. Иначе ни одно живое существо не смогло бы произойти из другой формы неживого материала вокруг себя. Единство даже посредством разрушения, даже несмотря на раз-

[231] Примечания: 231

Аксолотль — способная к размножению личиночная форма земноводного амбистомы. (*Прим. перев. М. Ловина*)

деление. Каждый организм уникален. Уникален и все же связан со всеми другими организмами одинаковостью строения; уникален несмотря на внешнюю неотличимость.

И сознание — сознание также уникально, но уникально выше субстрата умственной тождественности. Тождественности и взаимозаменяемости любви, доверия, смелости. Бесстрашная преданность превращает лунатика в здорового человека, злобного дикаря в друга, укрощает дикое животное. Умственный код любви может переводиться от одного индивидуума к другому и при этом сохранять все свои качества, так же, как физический код гормона может со всей эффективностью переводиться из одного тела в другое.

И не только любовь, но и ненависть также; не только доверие, но и подозрительность; не только доброта, щедрость, мужество, но и злоба, жадность и трусость.

Эмоции различны, но тот факт, что они могут быть взаимозаменяемыми, могут переходить из сознания в сознание и сохранять всю прежнюю страсть, является наглядным подтверждением, что существует фундаментальное умственное единство.

Реальность единства все же меньше, чем столь

же весомая реальность уникальности. Нет нужды раздумывать над фактом уникальности — он очевиден. Очевиден дуализм единства и различий; только иногда, и то чисто умозрительно, только как результат логического хода мысли можно сознавать неотрывность своего разума от разума других людей, других жизней и всего живого. Случайно в размышлении мы интуитивно наталкиваемся на единство, или эта интуиция работает наугад, шаг за шагом осваивая новые области.

Одно, одно, одно, повторял он, но в то же время разное, единое и все же не похожее.

Зло есть преобладание различия; добро, наоборот, служит воссоединению с другими живыми существами. Гордыня, ненависть, гнев — яркие признаки зла; и они тем сильнее оттого, что они усиливают данную реальность разобщенности, оттого, что они настаивают на разделении и уникальности, оттого, что они не считаются с другими. Похоть и алчность также настаивают на индивидуальности, что не влечет за собой неприятного ощущения соседства с другими, по вине которых разрушается единство. Принцип похоти таков: «Я должен получать удовольствие», но не «Ты должна испытывать боль». Алчность

в своем обычном качестве есть просто требование моего насыщения, а не твоего воздержания от насыщения. Они не правы в том, что делают упор на отдельную личность, но менее не правы, чем гордыня, ненависть или гнев, потому что их эгоизм не сопровождается ущемлением других.

Но зачем вообще нужны различия? Почему обязательно, даже при самой крепкой любви и, по другую чашу весов, даже в том, что есть или кажется ниже пределов добра и зла, зло различий должно существовать? Различий даже между двумя святыми или между двумя самыми примитивными жизненными формами. Один человек не может питаться другим. Лучшие должны мыслить, наслаждаться и страдать, должны осязать, зрить, вдыхать аромат, слушать сладкозвучия, вкушать амброзии в изоляции. Добрый человек всего-навсего чуть менее замкнутая вселенная, чем дурной, но все же замкнутая, как замкнут атом.

И, конечно же, если существует жизнь — жизнь в том виде, какой мы ее знаем, — бытие должно существовать в виде замкнутых вселенных. Такие умы, как наш, не могут воспринимать неопределенное единство вообще. Неизбежный парадокс о том, что мы всегда желаем, чтобы n

всегда равнялось единице, но на деле оно всегда равняется нулю.

Различия, неодинаковость — вот условия нашего существования. Условия, при которых мы обладаем жизнью и сознанием, познаем добро и зло и имеем власть выбирать между ними, распознаем истину, соприкасаемся с красотой. Но различие есть зло. Тогда зло есть условие жизни, условие познания добра и красоты.

То, что требуется, и то, что люди в конечном итоге требуют от себя сами, есть реализация союза между существами, которые обратились бы в ничто, не будь они различны; познание доброты созданиями, которые не существовали бы, не будь они злыми. Невозможно — но ничуть не менее необходимо.

«Рожден в одном и принужден к другому»[232].

Он сам, продолжал думать Энтони, он сам выбрал позицию смотреть на весь процесс как на шутку — либо непреднамеренную, либо умышленную. Да, выбрал. Ведь это был акт его воли. Если бы все это было бессмыслицей или шуткой, то он обладал бы свободой читать свои книги и упражнять свои таланты ради саркастического

---

[232] Примечания: 232

«Рожден в одном и принужден к другому...» — цитата из Шекспира. (*Прим. перев. М. Ловина*)

комментария; не было причины, по которой он не стал бы спать с любой подходящей женщиной, которая согласилась бы с ним переспать. Если бы это не было бессмыслицей, если бы у этого было какое-то значение, то он не мог бы более жить безответственно. У него были бы обязанности по отношению к себе, к другим и к самой природе вещей. Обязанности, выполнять которые не давали постельные связи, беспорядочное чтение и вошедшая в привычку отстраненная ирония. Он предпочел думать, что это была бессмыслица — вот чем все это казалось в течение свыше двадцати лет — бессмыслицей, несмотря на случайные неудобные откровения, что смысл все-таки есть, и смысл именно в том, что он предпочел смотреть на все как на бессмыслицу, на дежурную шутку. И вот наконец все прояснилось, теперь благодаря какому-то непосредственному опыту он знал, что смысл был парадоксален, заключаясь в том факте, что единство стояло в начале и в конце, что в это время условием жизни и существования всего было несходство, которое равнялось злу. Да, смысл, настаивал он, в том, что человек требует от себя достижения невозможного. Смысл тот, что даже самой доброй волей в мире разделенная, злая вселенная человека или любой другой

жизненной формы не станет одним с другими существами или совокупностью живых существ. Даже ради высочайшего блага эта борьба бесконечна, ибо никогда в природе при современном положении вещей то, что закрыто, не станет полностью открытым; добро никогда полностью не освободится от зла. Это проба, дело опыта — поиск, причем сложный, длящийся практически всю жизнь, а зачастую и несколько жизней. Жизней, проведенных в попытке открыть более и еще более закрытую вселенную, которая постоянно хочет захлопнуться вновь в тот момент, когда усилия ослаблены. Проведенных в преодолении разделяющих страстей — ненависти, злобы и гордыни. Проведенных в жажде постоянного самовыражения. Проведенных в постоянных усилиях воплотить в жизнь единство с другими жизнями и формами существования. Для того чтобы испытать любовь и сострадание. Испытать это на другом уровне через медитацию, в свете прямой интуиции. Единство за пределами суеты несходств и разделений. Доброту, несмотря на возможность зла. Но всегда факт разделения присутствует, всегда зло остается одним из условий жизни. В начальном давлении не должно быть ослабления. Но даже для самых лучших из нас

цель чрезвычайно далека.

Кроме того, существуют любовь и сострадание. Постоянно сталкивающиеся с препятствиями. Но — Боже! — пускай они останутся неутомимыми, неумолимыми в преодолении любого препятствия, душевного нерадения, безвкусицы, интеллектуального презрения. А извне — ненависть и подозрение со стороны другого. Приязнь, сочувствие и также вместе с тем этот созерцательный подход, это усилие связать единство живых существ и бытия с интеллектом и в конце концов, может быть, интуитивно прийти к всецелому пониманию. От одного аргумента к другому, шаг за шагом к цели, где нет более рассуждений, а только опыт, только первичное знание, как у цвета, благовония и музыкального звука. Шаг за шагом к познанию того, как не испытывать больше различий, но тесно воссоединиться с другими живыми существами, со всей жизнью. Соединиться в мире. В мире, повторял он, в мире. Мир в глубине сознания. Тот же самый мир для всех, мир между одним разумом и другим. С виду разные волны, водовороты, брызги, но посмотри чуть глубже — и там бесконечная, одинаковая гордыня моря, становящаяся чем глубже, тем спокойнее, пока наконец не обретающая пол-

ный покой. Мрачная тишина в глухих глубинах. Мрачная тишина, одинаковая для всех, кто сможет достичь ее. Тишина, которая по странному парадоксу стала составом и источником бури на поверхности. Порожденные тишиной, волны сами разрушают ее, но и это необходимо, поскольку без бури на поверхности не будет жизни, познания благодати, не будет старания победить воинствующее зло, не будет открытия тишины на дне, понимания того, что состав зла тот же, что и состав добра.

Зло и разделение бушуют, а в мире они образуют единство. Единство с другими жизнями. Единство со всем живущим. Ибо в основе всего живущего, под бессчетными, одинаковыми и в то же время разными моделями, под притяжениями и отталкиваниями лежит мир. Тот самый мир, который составляет основу непримиримому рассудку. Мрачный, бездонно глубокий мир. Мир, свободный от гордыни, ненависти и гнева, от вожделения и презрения, от разделяющей воинственности. Мир через освобождение, ибо мир есть достигнутая свобода. Свобода и в то же время истина. Истина единства, реально прожитая. Мир в глубинах, на дне бури, слишком далеко от бьющихся волн, бешено летящих брызг. Мир в этой

глубокой подводной ночи, мир в этом молчании, этой безмолвной пустоте, где нет более времени, нет более образов, нет более слов. Нет ничего, кроме переживания мира, мира в виде черной дыры за пределами всей жизни, и все-таки жизнь более интенсивная, несмотря на всю свою распыленность, на отсутствие цели и желания, более богатая и обладающая более высоким качеством, чем жизнь обычная. Мир за пределами мира, сконцентрированный, уплотненный и затем открывающийся в неизведанное, бескрайнее пространство. Мир на кончике сужающегося конуса концентрации и уничтожения, конуса, чья основа находится на мутной, вздыбленной поверхности жизни, а вершина в глубинном мраке. И в этой тьме вершина одного конуса соприкасается с вершиной другого; с одной-единственной, фокусной точки мир расширяется и расширяется по направлению к основе неизмеримо далекой и настолько широкой, что этот круг является основой и источником для всей жизни, всего сущего на земле. Конус, повернутый днищем к прерывистому и скользящему свету поверхности; конус, развернутый острием чуть вниз, туда, где сгущается тьма; поэтому в другом конусе, расширяющемся и расширяющемся сквозь тьму по

направлению к… да! к какому-то другому свету, падающему уверенно и прямо и такому же тихому, как и тьма, из которой он возникает. Конус, слившийся с другим, стоящим прямо. Проход из широкого штормового света в тихое жерло тьмы, а оттуда сквозь расширяющуюся мглу снова к свету. От шторма к затишью и снова сквозь еще более глубокий покой к конечной цели, к последнему свету, который есть источник и состав всего сущего; источник тьмы, пустоты, донной ночи живого покоя; источник даже волн и неистовых брызг — теперь забытых. Ибо теперь есть только одна тьма, расширяющаяся и углубляющаяся, углубляющаяся и стремящаяся к свету; есть только один последний покой, сознание свободы от разделения; это ослепительное свечение…

Часы пробили семь. Медленно и осторожно он позволил себе выскользнуть из света, обратно сквозь тьму к хаотичным лучам и теням каждодневного существования. Наконец он поднялся и прошел на кухню, чтобы приготовить себе какую-то еду. Времени оставалось немного; встреча была назначена на восемь, а дорога к залу займет у него добрых полчаса. Он поставил варить пару яиц и тем временем съел бутерброд с сыром. Удрученно и с кротостью он, бывший совершен-

но в ясном сознании, подумал о том, что ждало его впереди. Что бы ни случилось, он знал теперь, что все будет хорошо.